ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Жорж

САНД

Графиня Рудольштадт



Графиня Рудольштадт
Жорж Санд

Аннотация
Жорж Санд. Графиня Рудольштадт
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20

Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Глава 28
Глава 29
Глава 30
Глава 31
Глава 32
Глава 33
Глава 34
Глава 35
Глава 36
Глава 37
Глава 38
Глава 39
Глава 40
Глава 41
КОММЕНТАРИИ

Аннотация

Дилогия о Консуэло принадлежит к самым известным и популярным произведениям французской писательницы Жорж Санд. Темпераментная и романтичная женщина, Жорж Санд щедро поделилась со своей героиней воспоминаниями и плодами вдохновенных раздумий… Новая встреча со смуглянкой Консуэло — это прекрасная возможность погрузиться в полную опасностей и подлинной страсти атмосферу галантной эпохи, когда люди умели жить в полную силу и умирать с улыбкой на устах.

Жорж Санд
Графиня Рудольштадт

Глава 1

Зала Итальянской оперы в Берлине, построенная в первые годы царствования Фридриха Великого, была в то время одной из самых красивых в Европе. Вход был бесплатный, ибо за все спектакли платил сам король. Для доступа в театр требовался, однако, билет, так как все ложи предназначались определенным лицам: одни — принцам и принцессам королевской фамилии, другие — членам дипломатического корпуса, знаменитым путешественникам, ученым из Академии, генералам. Итак, повсюду — члены семьи короля, лица, состоящие на жалованье у короля, фавориты короля. Впрочем, роптать не приходилось — ведь то был театр короля и артисты короля. Для добрых обитателей доброго города Берлина оставался лишь маленький кусочек партера, ибо большая часть его была занята военными — каждый полк имел право присылать по несколько человек из каждой роты. И вот вместо веселой, легко воспламеняющейся и восприимчивой публики Парижа артисты видели перед собой «героев шести футов ростом», как называл

их Вольтер, в высоченных шапках, причем большинство из них сажало себе на плечи своих жен. Все это вместе составляло неотесанную, пропахшую табаком и водкой толпу, которая ни слова не понимала, таращила глаза и, не осмеливаясь ни аплодировать, ни свистеть из страха перед инструкцией, все-таки производила много шума, так как ни минуты не оставалась в покое.

Позади этих господ находились два ряда лож, откуда зрители ничего не видели и не слышали, но где они неизменно присутствовали, ибо приличия ради вынуждены были регулярно посещать спектакли, которые столь щедро преподносил им его величество король. Сам же король не пропускал ни одного спектакля. То был отличный способ всегда держать на виду многочисленных членов своей семьи и беспокойный муравейник придворных. Фридрих следовал примеру отца, Вильгельма Толстого, который делал то же, но в плохо сколоченной зале, где, слушая плохих немецких комедиантов, королевское семейство и его двор умирали со скуки в зимние вечера и терпеливо мокли под дождем, пока сам король спал. Фридрих долго страдал от этой домашней тирании, он проклинал ее, он вынужден был ее выносить, но, едва успев стать властелином,

восстановил этот обычай, как и многие другие, более деспотические и более жестокие, всю прелесть которых он, оценил теперь, когда сделался единственным человеком в королевстве, переставшим от них страдать.

Однако сетовать никто не смел. Здание оперного театра было великолепно, отделка роскошна, артисты пели превосходно, и король, почти всегда стоявший у рампы, подле оркестра, с наведенным на сцену лорнетом, являл собой образец неутомимого меломана.

Всем известно, что Вольтер, вскоре после того, как он водворился в Берлине, восхвалял великолепие двора «Северного Соломона». Раздраженный пренебрежением Людовика XV, невниманием своей покровительницы — госпожи Помпадур, преследуемый иезуитами, освистанный во Французском театре, он уехал в минуту досады за почестями, за большим жалованьем, за титулом камергера, за орденом Почетного легиона и за дружбой короля-философа, еще более лестной в его глазах, чем все остальное. Словно большой ребенок, великий Вольтер дулся на Францию, воображая, будто неблагодарные соотечественники «лопнут с досады». И, как видно, он слегка охмелел от своей новой славы, когда писал друзьям,

что Берлин не хуже Версаля, что опера «Фаэтон» — превосходнейшее зрелище, а у примадонны прекраснейший голос во всей Европе.

Однако в тот период, когда мы вновь начинаем наш рассказ (чтобы не утомлять память наших читательниц, скажем сразу, что со времени последних приключений Консуэло прошел почти год), зима оказалась в Берлине весьма суровой, великий король слегка приоткрыл свою истинную сущность, и Вольтер успел порядком разочароваться в Пруссии. Он сидел в своей ложе между д'Аржансом и Ламетри, уже не притворяясь, будто любит музыку, которую никогда не чувствовал так сильно, как истинную поэзию. У него болел живот, и он с грустью вспоминал неблагодарную, но пылкую публику парижских театров, чье неодобрение причиняло ему столько горя, чьи аплодисменты доставляли столько радости, — публику, соприкосновение с которой так сильно волновало его, что он поклялся никогда больше ее не видеть, хотя не мог помешать себе беспрестанно о ней думать и трудиться для нее не покладая рук.

А между тем сегодняшний спектакль был превосходен. Стояли дни карнавала, и все члены королевской семьи, даже маркграфы, нашедшие

себе жен в глубине страны, собрались в Берлине. Давали «Тита» Метастазио и Гассе, и обе заглавные роли исполняли двое лучших артистов итальянской труппы — Порпорино и Порпорина.

Если наши читательницы соблаговолят слегка напрячь память, они припомнят, что эти два действующих лица не являлись мужем и женой, как это можно было бы предположить по их псевдонимам. Нет, первый был синьор Уберти, обладатель изумительного контральто, а вторая Zingarella Консуэло, замечательная певица, причем оба являлись учениками профессора Порпоры, который, по итальянскому обычаю того времени, позволил им носить славное имя их учителя.

Надо сознаться, что синьора Порпорина пела в Пруссии далеко не с тем подъемом, на какой она чувствовала себя способной в прежние, лучшие времена. В то время как чистое контральто ее партнера звонко раздавалось во всех уголках берлинской Оперы, оберегаемое всеми благами обеспеченной жизни, привычкой к неизменным успехам и постоянным жалованьем в пятнадцать тысяч ливров за два месяца работы, бедная цыганочка, быть может более пылкая и, уж конечно, более бескорыстная и менее приспособленная

к ледяному холоду севера и прусских капралов, не чувствовала сейчас особого воодушевления и пела в той добросовестной, безупречной манере, которая не дает повода для порицания, но и не вызывает энтузиазма. Энтузиазм артистки и энтузиазм публики не могут не быть взаимны. Так вот, в дни славного царствования Фридриха Великого энтузиазма в Берлине не было. Пунктуальность, повиновение и то, что в восемнадцатом столетии, и особенно при дворе Фридриха, называли разумом, — таковы были единственные добродетели, какие могли расцветать в этой атмосфере, температуру которой устанавливал король. Никто из собравшихся в этой зале не имел права вздохнуть или пошевелиться, если на то не было его высочайшего соизволения. Среди всего этого множества зрителей только один из них мог свободно отдаваться своим впечатлениям, и то был король. Публику олицетворял он один, и хоть он был хорошим музыкантом, хоть он любил музыку, все его способности, все склонности были подчинены такой холодной логике, что королевский лорнет, словно прикованный ко всем жестам и ко всем переливам голоса певицы, не только не воодушевлял, а, напротив, совершенно парализовал ее.

Впрочем, для нее было даже лучше, что она повиновалась этому тягостному гипнозу. Малейшее проявление горячности, малейший порыв неожиданного вдохновения, по всей вероятности, шокировали бы и короля и придворных, тогда как трудные и сложные рулады, исполняемые с четкостью безупречного механизма, приводили в восторг короля, придворных и Вольтера. Как известно, Вольтер говорил: «Итальянская музыка намного лучше французской, потому что она более сложна, а преодоленная трудность что-нибудь да значит». Так понимал искусство Вольтер. Подобно некоему острослову — он еще жив, — у которого спросили, любит ли он музыку, Вольтер мог бы ответить: «Она не слишком мне мешает».

Все шло прекрасно, и опера беспрепятственно двигалась к развязке. Король был весьма доволен и время от времени кивал капельмейстеру, выражая ему одобрение; он уже собирался начать аплодировать певице, заканчивавшей свою каватину, как милостиво делал это обычно, всегда воздавая ей должное, но тут, по какой-то необъяснимой прихоти случая. Порпорина, посреди блестящей рулады, которая неизменно ей удавалась, внезапно умолкла, устремив странный взгляд в угол залы, стиснула руки и с криком:

«О, боже!» упала без чувств на подмостки. Порпорино поспешил ее поднять, пришлось унести ее за кулисы, а в зале раздался шум — вопросы, предположения, догадки. В разгаре этой суматохи король громко окликнул тенора, который еще оставался на сцене.

— Что все это значит, Кончолини? Что с ней такое? — спросил он властным и резким голосом, перекрывшим шум толпы. — Идите взгляните на нее, да поживее!

Через несколько секунд Кончолини вернулся и, почтительно перегнувшись через рампу, на которую облокотился король, сообщил:

— Ваше величество, синьора Порпорина лежит как мертвая. Боюсь, что она не сможет закончить спектакль.

— Полноте! — сказал король, пожимая плечами. — Пусть ей дадут стакан воды, пусть принесут понюхать чего-нибудь, и поскорее кончайте эту историю.

Певец, не имевший ни малейшей охоты рассердить короля и испытать на себе в присутствии публики вспышку его гнева, снова, как крыса, улепетнул за кулисы, а король раздраженно заговорил о чем-то с капельмейстером и с музыкантами, меж тем как часть публики, которую

дурное настроение короля интересовало значительно больше, нежели бедная Порпорина, прилагала невероятные, но — бесплодные усилия уловить слова монарха.

Барон фон Пельниц, обер-камергер короля и директор его театра, вскоре вернулся и доложил Фридриху, как обстоит дело. В театре Фридриха не было той атмосферы торжественности, какая могла бы быть, если бы публика чувствовала себя независимой и влиятельной. Король повсюду был у себя дома, спектакль принадлежал ему и шел для него одного. Поэтому никого не удивило, что главным действующим лицом этой неожиданной интермедии сделался он.

— Послушайте, барон, — говорил он довольно громко, не обращая внимания на то, что его слышала часть оркестра, — скоро ли это кончится? Ведь это просто смешно! Неужели там, за кулисами, у вас нет доктора? Вы обязаны постоянно держать доктора в театре.

— Ваше величество, доктор здесь. Он не решается пустить певице кровь, так как опасается, что от этого она ослабеет и не сможет играть дальше. Но ему все-таки придется прибегнуть к кровопусканию, если она не придет в чувство.

— Так, стало быть, это серьезно? Она не при-

творяется?

— Ваше величество, на мой взгляд, это очень серьезно.

— В таком случае, велите опустить занавес, и разойдемся по домам. Впрочем, пусть Порпорино споет нам что-нибудь взамен, чтобы мы не ушли под этим тяжелым впечатлением.

Порпорино повиновался и превосходно спел две вещицы. Король похлопал ему, публика сделала то же, и представление окончилось. Зрители стали расходиться, а король в сопровождении Пельница прошел за кулисы, в уборную примадонны.

Когда актрисе становится дурно во время исполнения роли, далеко не вся публика сочувствует ее беде; сколько бы любитель музыки ни обожал своего кумира, к его жалости всегда примешивается такая доля эгоизма, что он куда более огорчен потерей собственного удовольствия, нежели страданиями и тревогами самой жертвы. Некоторые чувствительные женщины, как говорили в то время, оплакивали сегодняшний несчастный случай следующим образом:

— Бедняжка! Должно быть, она только собралась начать трель, как вдруг у нее запершило в горле, и, побоявшись не вытянуть ее, она предпо-

чла упасть в обморок.

— А мне кажется, она не притворялась, — сказала другая дама, еще более чувствительная. — Люди не падают наземь с такой силой, если не больны по-настоящему.

— Ах, почем знать, моя милая? — подхватила первая. — Хорошая актриса умеет падать, как ей вздумается: она не боится причинить себе немножко боли. Ведь это так нравится публике!

— Что такое стряслось сегодня с этой Порпориной? — спрашивал Ламетри маркиза д'Аржанса в другом конце вестибюля, где толпились, уходя, великосветские зрители. — Уж не поколотил ли ее любовник?

— Не говорите так о прелестной, добродетельной девушке, — возразил маркиз. — У нее нет любовника, а если бы даже и был, то она никогда не заслужит с его стороны подобного оскорбления, разве только он последний негодяй.

— Ах, простите, маркиз! Я и забыл, что говорю с доблестным защитником всех актрис театра — бывших, настоящих и будущих! Кстати, как поживает мадемуазель Кошуа?

— Дорогая моя, — говорила в это же самое время, сидя в карете, принцесса Амалия Прусская, сестра короля, аббатиса Кведлинбургская, посто-

янной своей наперснице, прекрасной графине фон Клейст, — заметила ли ты, как волновался брат во время сегодняшнего приключения?

— Нет, принцесса, — ответила госпожа Мопертюи, старшая домоправительница принцессы, добрейшая, но весьма недалекая и весьма рассеянная особа, — я ничего не заметила.

— Да не с тобой говорят, — ответила принцесса тем резким и решительным тоном, какой придавал ей иногда такое сходство с братом. — Где тебе что-нибудь заметить! Лучше посмотри-ка на небо и сосчитай, сколько там сейчас звезд. Мне надо кое-что сказать графине фон Клейст, и я не хочу, чтобы ты нас слышала.

Госпожа де Мопертюи добросовестно заткнула уши, а принцесса, наклонясь к сидевшей напротив госпоже фон Клейст, продолжала:

— Говори что угодно, а по-моему, впервые за пятнадцать или даже за двадцать лет, словом, с тех пор, как я научилась наблюдать и понимать, король влюблен.

— Ваше королевское высочество говорили то же самое в прошлом году по поводу мадемуазель Барберини, а его величество король и не думал в нее влюбляться.

— Не думал! Ошибаешься, деточка. Так много

думал, что когда молодой канцлер Коччеи женился на ней, брат целых три дня злился, как никогда в жизни, хотя и скрывал это.

— Но ведь вашему высочеству хорошо известно, что его величество терпеть не может неравных браков. — Да, то есть браков по любви — ведь это называется так. Неравный брак! Какие громкие слова, бессмысленные, как все громкие слова, которые управляют светским обществом и тиранят человека.

Принцесса испустила глубокий вздох и вдруг, со свойственной ей быстротой меняя тему разговора, насмешливо и раздраженно сказала старшей домоправительнице:

— Мопертюи, ты слушаешь нас, а не смотришь на небесные светила, как я тебе приказала. Стоило ли выходить замуж за такого ученого человека, чтобы потом слушать болтовню двух сумасбродок, вроде фон Клейст и меня!.. Так вот, — продолжала она, обращаясь к своей любимице, — король и в самом деле чуть-чуть любил эту Барберини. Я знаю из верного источника, что часто после театра он заходил к ней выпить чашку чаю вместе с Жорданом и Шазолем и даже, что она не раз бывала на ужинах в Сан-Суси, а до нее такое событие было немыслимо в жизни

Потсдама. Если хочешь, я скажу тебе больше. Она жила там в отведенных ей апартаментах неделями, а может быть, и месяцами. Как видишь, я довольно недурно знаю то, что происходит, и таинственный вид моего брата меня нисколько не обманывает.

— Раз вашему королевскому высочеству так хорошо все известно, вы знаете и то, что по причинам… государственного порядка, о которых мне не подобает догадываться, королю иногда угодно бывает внушать окружающим мнение, будто он не так уж суров, как предполагают, хотя в действительности…

— Хотя в действительности брат никогда не любил ни одну женщину, даже и собственную жену, — ведь так? А я не верю в его пресловутую добродетель и еще меньше — в его холодность. Фридрих всегда был лицемером. Но он никогда не заставит меня поверить, будто мадемуазель Барберини подолгу жила у него во дворце единственно для того, чтобы ее считали его любовницей. Она красива, как ангел, и умна, как дьявол, хорошо образованна и говорит не знаю уж на скольких языках.

— Она порядочная женщина и обожает своего мужа.

— А муж обожает ее — тем более что это чудовищный мезальянс, не так ли, фон Клейст? Ага, ты не отвечаешь? Уж не задумала ли и ты сама, благородная вдова, другой мезальянс с каким-нибудь бедным пажом или жалким бакалавром?

— А вашему высочеству хотелось бы увидеть еще один мезальянс — мезальянс сердца — между королем и какой-нибудь девицей из Оперы?

— Ах, будь то Порпорина, эта связь была бы более вероятна, а дистанция меньше пугала бы меня. Мне кажется, на сцене, как и при дворе, существует определенная иерархия: ведь этот предрассудок — выдумка и болезнь человеческого рода. Певица ценится значительно выше, нежели танцовщица. К тому же говорят, что эта Порпорина еще более умна, образованна, воспитана, мила, и, наконец, что она знает даже больше разных языков, чем Барберини. А ведь желание уметь говорить на тех языках, которых он не знает, — это мания моего брата. И потом, музыка, которую он якобы так любит, хотя в действительности ему нет до нее дела… Понимаешь? Вот еще одна точка соприкосновения с нашей примадонной. И ведь она тоже ездит летом в Потсдам, занимает те же самые апартаменты, которые занимала в новом Сан-Суси Барберини,

поет на интимных концертах короля… Разве всего этого мало, чтобы подтвердить мою догадку?

— Напрасно ваше высочество льстит себя надеждой обнаружить какую-нибудь слабость в жизни нашего великого короля. Все это делается слишком явно и слишком обдуманно, чтобы можно было заподозрить тут хоть самую малость любви.

— Не любви, нет, Фридрих не знает, что такое любовь. Но, быть может, тут увлечение, интрижка. Ты не станешь отрицать, что об этом шепчутся решительно все.

— Да, но никто этому не верит. Все думают, что король, стремясь рассеять скуку, пытается развлечься, слушая болтовню и красивые рулады актрисы, но что после четверти часа такой болтовни и рулад он говорит ей, как сказал бы любому из своих секретарей: «На сегодня хватит. Если мне захочется послушать вас завтра, я дам вам знать».

— Да, не слишком любезно. Если именно так он ухаживал за госпожой де Коччеи, то неудивительно, что она его не выносила. А эта Порпорина ведет себя с ним так же нелюбезно?

— Говорят, она необыкновенно скромна, благовоспитанна, робка и печальна.

— О, это лучший способ понравиться королю! Как видно, она хитрая особа! Ах, если бы так! И если бы можно было довериться ей!

— Умоляю вас, принцесса, никому не доверяйтесь — даже госпоже Мопертюи, которая спит сейчас таким крепким сном.

— Пусть ее храпит. Спит она или бодрствует — одинаково глупа… Так вот, фон Клейст, мне бы хотелось познакомиться с этой Порпориной и узнать, может ли она быть мне чем-нибудь полезна. Очень жаль, что я не согласилась принять ее, когда король предлагал привезти ее ко мне как-то утром, чтобы я послушала ее пение: знаешь, я почему-то была предубеждена против нее.

— И, разумеется, напрасно. Ведь нельзя же было предположить, что…

— Ах, будь что будет! Горе и отчаяние так истерзали меня за последний год, что все второстепенные заботы уже исчезли. Я хочу видеть эту девушку. Как знать, а вдруг она сможет добиться от короля того, о чем мы тщетно его умоляем? Вот уже несколько дней, как я думаю об этом, и сегодня — ты ведь знаешь, что я не могу думать ни о чем другом, — итак, сегодня, увидев, как встревожил и испугал Фридриха ее обморок, я утвердилась в мысли, что якорь спасения — это

именно она.

— Берегитесь, ваше высочество… Опасность очень велика.

— Ты всегда твердишь одно и то же. Я еще более подозрительна и осторожна, чем «ты. И все-таки надо поразмыслить об этом. Проснись, моя милая Мопертюи, мы приехали.

Глава 2

В то время, как молодая и красивая аббатиса занималась этой беседой, сам король без стука входил в уборную Порпорины, начинавшей уже приходить в себя.

— Ну что, мадемуазель, — сказал он ей не слишком сочувственным и даже не слишком вежливым тоном, — как вы себя чувствуете?.. Вы, оказывается, подвержены подобным припадкам? При вашей профессии это весьма неудобно. Может быть, у вас была какая-нибудь неприятность? Неужели вы так больны, что не можете даже ответить мне? Тогда отвечайте вы, сударь, — сказал он врачу, который суетился возле певицы. — Она действительно больна?

— Да, государь, — ответил врач, — пульс едва прощупывается. Кровообращение нарушено, и все жизненные функции как бы приостановлены. Кожный покров похолодел.

— В самом деле, — сказал король, взяв руку молодой девушки. — Взгляд остановился, губы побледнели. Дайте ей выпить гофманских капель, черт побери! Я опасался, что это притворство,

но вижу, что ошибся. Девушка тяжело больна. Она не зла и не капризна, вы согласны со мной, господин Порпорино? Может быть, кто-нибудь огорчил ее нынче? У нее ведь не может быть врагов, правда?

— Государь, это не актриса, — ответил Порпорино. — Это ангел.

— Ни больше, ни меньше! Уж не влюблены ли вы в нее?

— Нет, государь, я питаю к ней безграничное уважение и люблю как сестру.

— Благодаря вам обоим и богу, который перестал проклинать актеров, мой театр скоро превратится в школу добродетели. Ага, вот она приходит в себя. Порпорина, вы не узнаете меня?

— Нет, сударь, — ответила Порпорина, растерянно глядя на короля, который легонько ударял ее по рукам.

— Кажется, она бредит, — сказал король. — Вы никогда не замечали у нее приступов эпилепсии?

— О нет, ваше величество, никогда! Это было бы ужасно, — ответил Порпорино, задетый бесцеремонностью, с какою король говорил о замечательной актрисе.

— Нет, нет, не пускайте ей кровь, — сказал король, отталкивая врача, который собирался вооружиться ланцетом. — Я не могу спокойно видеть, как льется невинная кровь, когда это происходит не на поле битвы. Вы, лекари, не воины — вы просто убийцы! Оставьте ее в покое. Дайте ей воздуху. Порпорино, не позволяйте пускать ей кровь — это может ее убить. Ведь эти господа ни перед чем не останавливаются.

Поручаю ее вам, Пельниц! Отвезите ее домой в своей карете. Вы отвечаете мне за нее. Это самая великолепная певица из тех, что были у нас до сих пор, и нам не скоро удастся найти такую же. Кстати, а что вы споете мне завтра, Кончолини?

Спускаясь с лестницы театра вместе с тенором, он говорил уже о другом, затем отправился ужинать во дворец, где в столовой уже сидели Вольтер, Ламетри, д'Аржанс, Альгаротти и генерал Квинт Ицилий.

Фридрих был жесток и глубоко эгоистичен. При всем том он бывал порой великодушен и добр, а иной раз даже нежен и отзывчив. И это отнюдь не парадокс. Все знают страшный и в то же время пленительный характер этого многогранного человека, эту сложную натуру, которая была полна противоречий, как у всех сильных людей,

если они к тому же облечены неограниченной властью и ведут бурную жизнь, способствующую развитию всех их недостатков и достоинств. За ужином, поддерживая язвительно-остроумную, пересыпанную тонкими, а иногда и грубоватыми шутками беседу с этими милыми друзьями, которых он совсем не любил, с этими умными людьми, которыми он отнюдь не восхищался, Фридрих внезапно впал в задумчивость и после нескольких минут молчания сказал, вставая из-за стола:

— Продолжайте беседу, я слушаю вас.

С этими словами он уходит в соседнюю комнату, берет шляпу и шпагу, делает пажу знак следовать за собой и исчезает в глубине длинных коридоров и потайных лестниц своего старого дворца, меж тем как гости, полагая, что он находится где-то поблизости, по-прежнему взвешивают каждое слово и не осмеливаются сказать друг другу ничего такого, чего бы не мог слышать король. Впрочем, все они до такой степени (и не без основания) не доверяли друг другу, что в любом уголке прусской земли ощущали реявший над ними призрак грозного и коварного Фридриха.

Ламетри — врач, с которым король почти ни-

когда не советовался, и чтец, которого он почти никогда не слушал, — был единственным, кто не знал страха и никому его не внушал. Все считали его совершенно безобидным, а он нашел средство сделаться совершенно неуязвимым. Средство было таково: он говорил в присутствии короля такие дерзости и совершал такие безрассудства, что ни один враг, ни один доносчик не смог бы обвинить его в проступке, который он сам не проделал бы на глазах у короля с величайшей смелостью и совершенно открыто. Казалось, он понимал буквально те софизмы о всеобщем равенстве, которыми якобы руководствовался король в узком кругу семи или восьми человек, удостоившихся его близости. В эту пору, после десятка лет царствования, Фридрих, человек еще молодой, не совсем утратил снискавшую ему расположение народа приветливость обращения, какой отличался наследный принц, дерзкий философ Ремусберга. Люди, хорошо его знавшие, и не думали доверять этой приветливости. Вольтер, самый избалованный из всех и прибывший сюда последним, уже начинал, однако, тревожиться, замечая, как из-под маски доброго государя проглядывает тиран, а из-под маски Марка Аврелия — Дионисий. Ламетри (что

это было — беспримерная искренность, тонкий расчет или дерзкая беспечность?) вел себя с королем так бесцеремонно, как того якобы желал сам король. Он снимал в его апартаментах галстук, парик, чуть ли не башмаки, лежал, развалясь на его кушетках, не стесняясь высказывал ему свои мысли, при всех противоречил ему, не задумываясь объявлял пустяками такие вещи, как королевская власть, религия и все прочие «предрассудки», в которых пробил брешь «свет разума» сегодняшнего дня. Словом, он вел себя как настоящий циник и подавал столько поводов для немилости и удаления, что казалось просто чудом, как это он все еще стоит на ногах, в то время как столько других давно опрокинуты и раздавлены из-за куда менее значительных провинностей. Дело в том, что на подозрительные, недоверчивые натуры — а именно таков был Фридрих — какая-нибудь неосторожная фраза, подслушанная и переданная шпионом, малейшее подозрение в лицемерии действуют сильнее, нежели тысяча необдуманных поступков. Фридрих считал Ламетри настоящим безумцем и нередко поражался, говоря про себя:

«Ну и скотина! Его бесстыдство превосходит все границы».

Но тут же добавлял:

«Зато это человек искренний, не двоедушный, не двуличный. Он не способен злословить исподтишка, раз высказывает свою злобу прямо мне в лицо. Вот другие пресмыкаются передо мной, но кто знает, что они говорят и думают, когда я поворачиваюсь к ним спиной и они встают во весь рост? Стало быть, Ламетри — честнейший из всех моих придворных, и я должен выносить его, хоть он и невыносим».

Так шло и дальше. Ламетри уже не мог рассердить короля и даже ухитрялся рассмешить Фридриха такими шутками, каких тот не простил бы никому другому. В то время как Вольтер с самого начала вступил на путь неумеренного славословия, которое начинало уже тяготить его самого, циник Ламетри вел себя по-прежнему, приятно проводил время, чувствуя себя с Фридрихом так же непринужденно, как с первым встречным, и ему не приходилось проклинать и ниспровергать кумир, которому он никогда ничем не жертвовал и ничего не обещал. Именно поэтому Фридрих, начавший уже скучать в обществе Вольтера, по-прежнему веселился, дружески беседуя с Ламетри, и не мог без него обойтись: ведь это был единственный человек, не притво-

рявшийся, что ему весело в обществе короля.

Маркиз д'Аржанс состоял в должности камергера с окладом в шесть тысяч франков (обер-камергер Вольтер получал двадцать тысяч). То был легкомысленный философ, способный, но поверхностный литератор, истинный француз своего времени, добрый, ветреный, распутный, чувствительный, храбрый и в то же время изнеженный, остроумный, великодушный и насмешливый; человек неопределенного возраста, мечтательный, как юноша, и склонный к скептицизму, как старик, он всю свою молодость отдал актрисам, то обманывая их, то будучи обманут сам, без памяти влюблялся в каждую и в конце концов тайно женился на мадемуазель Кошуа, лучшей актрисе Французской комедии в Берлине, особе некрасивой, но умной, которой ему вздумалось дать образование. Фридрих еще не знал об этом тайном союзе, и д'Аржанс остерегался говорить о нем тем, кто мог его выдать. Вольтер, однако, был посвящен в тайну. Д'Аржанс искренно любил короля, но тот любил его не больше, чем всех остальных. Фридрих не верил в чью бы то ни было привязанность, и бедный д'Аржанс оказывался то соучастником, то мишенью самых жестоких его шуток.

Известно, что полковник, которого Фридрих наградил высокопарным прозвищем Квинта Ицилия, был попросту француз Гишар, неутомимый воин и ученый стратег, а впрочем, изрядный мошенник, как все люди такого толка, и царедворец в полном смысле этого слова.

Чтобы не утомлять читателя длинным перечнем исторических лиц, не будем говорить об Альгаротти. Расскажем только, как вели себя гости Фридриха в его отсутствие. Впрочем, мы уже упомянули, что они не только не освободились от угнетавшего их тайного смущения, а напротив, почувствовали себя еще хуже и при каждом слове поглядывали на полуоткрытую дверь, в которую вышел король и за которой он, быть может, наблюдал за ними. Исключением оказался один Ламетри. Заметив, что в отсутствие короля им стали небрежно прислуживать за столом, он вскричал:

— Что же это такое, черт побери! По-моему, со стороны хозяина крайне неучтиво оставлять нас без слуг и без шампанского. Пойду взгляну, там ли он, и выскажу ему свое неудовольствие.

Он встал, вошел, не побоявшись быть нескромным, в опочивальню короля и тотчас вернулся с возгласом:

— Никого! Нет, как вам это понравится? Ничуть не удивлюсь, если окажется, что он сел на коня и совершает при свете факелов прогулку, чтобы ускорить процесс пищеварения. Вот чудак!

— Сами вы чудак! — ответил Квинт Ицилий, который никак не мог привыкнуть к странному поведению Ламетри.

— Так, стало быть, король ушел? — спросил Вольтер, вздохнув свободнее.

— Да, король ушел, — сказал, входя в комнату, барон фон Пельниц. — Я только что встретил его на заднем дворике в сопровождении одного-единственного пажа. Он был в сером плаще, который всегда надевает, когда хочет, чтобы его не узнали, и, разумеется, я его не узнал.

Мы должны сказать несколько слов о третьем камергере — новом госте, только что вошедшем в столовую, — не то читатель не поймет, каким образом кто-либо, кроме Ламетри, посмел столь дерзко отозваться о властелине. Пельниц, чей возраст был так же загадочен, как размер его содержания и его обязанности, был тот самый прусский барон, тот светский развратник времен регентства, который в молодости блистал при дворе графини Пфальцской — матери герцога Орлеанского — тот самый неистовый игрок, чьи

долги уже отказался платить прусский король, тот авантюрист крупного масштаба, циничный и распутный, весьма склонный к наушничеству и немного мошенник, тот наглый царедворец, которого держал на привязи, кормил, презирал, осыпал насмешками и весьма скупо оплачивал его хозяин. И все-таки этот хозяин не мог» без него обойтись, ибо всякий неограниченный властелин ощущает потребность иметь под рукой человека, который способен на любую подлость, ибо находит в этом некоторое возмещение своих собственных унижений и смысл своего существования. Вдобавок, Пельниц состоял в то время директором театров его величества, своего рода главным распорядителем придворных увеселений. Его тогда уже называли стариком Пельницем, как называли тридцать лет спустя. Это был вечный царедворец — ведь некогда он был пажом покойного короля. Утонченный разврат в духе регентства сочетался в нем с грубым цинизмом Табачной коллегии Вильгельма Толстого и с дерзкой непреклонностью царствования Фридриха Великого, отмеченного остроумием и военщиной. Так как единственной милостью со стороны последнего была постоянная опала, Пельниц не слишком боялся ее потерять, тем

более что роль наемного подстрекателя, которую он неизменно играл, действительно делала его неуязвимым для чьих бы то ни было наветов в глазах повелителя, чьи поручения он выполнял.

— Черт побери! — вскричал Ламетри. — Надо бы вам, милейший барон, пойти следом за королем, а потом прийти сюда и рассказать нам его приключения. Вот бы мы помучили его потом — получилось бы так, словно мы, не вставая из-за стола, видели, где он был и что делал.

— Или лучше того, — со смехом подхватил Пельниц, — сказали бы ему об этом только завтра, а свою прозорливость приписали бы чародею.

— Что это еще за чародей? — спросил Вольтер.

— Знаменитый граф де Сен-Жермен. Нынче утром он появился в Берлине.

— Вот как! Интересно бы узнать, кто он — шарлатан или сумасшедший.

— Это нелегкое дело, — ответил Ламетри. — Он так искусно скрывает свою игру, что никто не может сказать про него ничего определенного.

— Видно, не такой уж он сумасшедший! — вставил Альгаротти.

— Поговорим о Фридрихе, — сказал Ламетри. — Мне хочется какой-нибудь занятной историей возбудить его любопытство, а он в награду уго-

стит нас Сен-Жерменом и его допотопными приключениями. Это будет очень забавно. Но где же все-таки сейчас наш монарх? Барон, вы знаете, где он! Вы чересчур любопытны и, конечно, проследили за ним или чересчур хитры и уже давно обо всем догадались.

— Если угодно, я готов рассказать… — начал Пельниц.

— Надеюсь, сударь, — побагровев от негодования, вмешался Квинт, — что вы не станете отвечать на странные вопросы Ламетри. Если его величество…

— Ах, милейший, — перебил его Ламетри, — с десяти часов вечера до двух утра здесь нет никакого величества. Фридрих установил это раз навсегда, и я знаю лишь один закон: «За ужином король не существует». Да разве вы не видите, что бедняга король скучает, и разве вы, плохой слуга и плохой друг, не хотите хотя бы в отрадные ночные часы помочь ему забыть о гнете его величия? Ну, Пельниц, ну, добрый барон, скажите же нам, где сейчас король?

— Я не желаю этого знать! — заявил Квинт, выходя из-за стола.

— Как хотите, — сказал Пельниц. — Пусть те, кто не желает слушать, заткнут уши!

— Я весь превратился в слух, — сказал Ламетри.

— Я тоже, черт побери, — смеясь сказал Альгаротти.

— Господа, — проговорил Пельниц. — Его величество находится сейчас у синьоры Порпорины.

— Да вы просто морочите нас! — вскричал Ламетри. И добавил латинскую фразу, которую я не могу перевести, так как не знаю латыни.

Квинт Ицилий побледнел и вышел. Альгаротти прочитал вслух итальянский сонет, который тоже остался для меня не вполне понятным. А Вольтер тут же сочинил четверостишие, сравнивая Фридриха с Юлием Цезарем. После чего три ученых мужа с улыбкой переглянулись, а Пельниц повторил с серьезным видом:

— Даю вам честное слово, что король сейчас у Порпорины.

— Не могли бы вы преподнести нам что-нибудь другое? — сказал д'Аржанс, который был недоволен этим разговором, ибо не принадлежал к числу людей, выдающих чужие тайны, чтобы поднять свой авторитет.

Пельниц нимало не смутился.

— Тысяча чертей, господин маркиз! Когда король говорит, что вы находитесь у мадемуазель

Кошуа, мы и не думаем возмущаться. Почему же вас так возмущает тот факт, что король находится у мадемуазель Порпорины?

— Напротив, он мог бы стать для вас весьма поучительным, — возразил Альгаротти, — и если это правда, я поеду сообщить об этом в Рим. — Его святейшество любит позубоскалить, — добавил Вольтер, — и он отпустит на этот счет какую-нибудь забавную шутку.

— Над чем это будет зубоскалить его святейшество? — спросил король, неожиданно появляясь в дверях столовой.

— Над любовными похождениями Фридриха Великого и Порпорины из Венеции, — дерзко ответил Ламетри.

Король побледнел и бросил грозный взгляд на своих гостей; гости тоже побледнели — кто больше, кто меньше, — все, за исключением Ламетри.

— Ничего не поделаешь, — спокойно заявил Ламетри. — Сегодня вечером в театре господин де Сен-Жермен предсказал, что в тот час, когда Сатурн пройдет между Львом и Девой, его величество, в сопровождении пажа…

— Что же он такое, этот граф де Сен-Жермен? — спросил король, невозмутимо садясь за стол и

протягивая свой стакан Ламетри, чтобы тот налил ему шампанского.

Все заговорили о Сен-Жермене, и буря рассеялась, так и не разразившись. В первую минуту наглость Пельница, который его предал, и смелость Ламетри, который осмелился сказать это вслух, преисполнили короля гневом, но Ламетри еще не успел закончить фразу, как Фридрих вспомнил, что сам поручил Пельницу при первом удобном случае затеять разговор на известную тему и послушать, что будут говорить другие. Поэтому он тут же овладел собой с той необычайной непринужденностью и легкостью, какие были присущи ему одному, и никто больше не упомянул и словом о его ночной прогулке. Ламетри, конечно, не побоялся бы снова о ней заговорить, но мысли его немедленно приняли иное направление, которое предложил король. Так Фридрих часто побеждал даже Ламетри, обращаясь с ним как с ребенком, который вот-вот разобьет зеркало или выпрыгнет из окна, если не отвлечь его от этого каприза какой-нибудь игрушкой. Каждый высказал свое мнение о знаменитом графе де Сен-Жермене, каждый рассказал свой анекдот. Пельниц заявил, будто встречался с графом во Франции двадцать лет назад. — И когда я увидел

его сегодня утром, — добавил он, — мне показалось, что мы расстались только вчера — он ничуть не постарел. Помнится, как-то вечером во Франции, когда речь зашла о страстях господа нашего Иисуса Христа, он вдруг воскликнул с самой забавной серьезностью: «Ведь говорил же я ему, что его ждет плохой конец у этих злых иудеев. Я даже предсказал ему почти все, что с ним произошло впоследствии, но он не пожелал меня слушать — рвение заставляло его презирать любую опасность. Его трагическая гибель вызвала у меня такую скорбь, что я никогда не утешусь, и до сих пор не могу думать о нем без слез». Тут этот проклятый граф и в самом деле заплакал, и все мы тоже готовы были пролить слезу.

— Вы такой примерный христианин, — сказал король, — что меня это нисколько не удивляет.

Пельниц три или четыре раза внезапно менял религию ради выгодных должностей, которыми король его соблазнял, желая поразвлечься.

— Ваша история давно всем известна, — сказал д'Аржанс барону, — это просто выдумка. Я слышал кое-что получше. Нет, в моих глазах граф де Сен-Жермен интересен и замечателен тем, что у него есть множество совершенно новых и остроумных суждений об исторических событиях,

оставшихся для нас неясными и загадочными. По слухам, о каком бы предмете, о какой бы эпохе с ним ни заговорили, он поражает собеседника своими познаниями или умением тут же привести множество вполне правдоподобных и интересных суждений, проливающих новый свет на самые таинственные факты.

— Если эти суждения действительно правдоподобны, — заметил Альгаротти, — значит, он человек необыкновенно образованный и обладает к тому же поразительной памятью.

— Более того! — сказал король. — Одного образования недостаточно, чтобы объяснить историю. Очевидно, этот человек наделен могучим умом и глубоким знанием человеческого сердца. Интересно бы узнать, какой порок искалечил эту прекрасную натуру — желание ли сыграть исключительную роль, приписать себе бессмертие и память о событиях, которые предшествовали существованию этого человека, или он просто заболел навязчивой идеей вследствие глубоких размышлений и длительных научных занятий.

— Могу поручиться перед вашим величеством хотя бы в одном, — сказал Пельниц, — в искренности и скромности нашего героя. Граф крайне неохотно рассказывает о чудесных событиях,

коих, как ему кажется, он был свидетелем. Ему стало известно, что его считают фантазером, шарлатаном, и, видимо, это очень ему неприятно, так как теперь он отказывается обнаружить свое сверхъестественное могущество.

— Скажите, государь, разве вы не умираете от желания увидеть и услышать его? — спросил Ламетри. — Я просто сгораю от нетерпения.

— Неужели такие вещи могут вас интересовать? — возразил король. Зрелище безумия далеко не забавно.

— Согласен, если это действительно безумие. Ну, а если нет?

— Вы слышите, господа? — сказал король. — Человек, который ни во что не верит, закоренелый атеист, увлекается чудесами и уже готов поверить в бессмертие господина де Сен-Жермена! Впрочем, это неудивительно — ведь все знают, что Ламетри боится смерти, грома и привидений.

— Не отрицаю, бояться привидений действительно глупо, — сказал Ламетри, — но что касается грома и всего, что может стать причиной смерти, — тут мои страхи вполне обоснованны и разумны. Чего же нам бояться, черт побери, если не того, что может угрожать безопасности нашей жизни?

— Да здравствует Панург! — воскликнул Вольтер.

— Возвращаюсь к Сен-Жермену, — снова начал Ламетри. — Мессиру Пантагрюэлю следовало бы завтра же пригласить его отужинать с нами.

— Ни в коем случае, — возразил король. — Вы и без того не совсем в своем уме, мой бедный друг. Стоит Сен-Жермену появиться у меня в доме, как все суеверные лица, — а их так много вокруг нас, — мигом придумают сотню небылиц и разнесут их по всей Европе. Нет, нам нужен разум, дорогой Вольтер. О, разум, да придет царствие твое! Вот молитва, которую мы должны повторять каждый вечер и каждое утро.

— Разум, разум! — сказал Ламетри. — Я нахожу его удобным и приятным, когда он помогает мне оправдать и узаконить мои страсти, пороки… мои желания, назовите это как хотите! Но когда он мне докучает, я хочу иметь право выставить его за дверь. Мне не нужен такой разум — черт бы его побрал! — который заставляет меня притворяться храбрецом, когда мне страшно, стоиком, когда мне больно, смиренником, когда я вне себя от гнева… Плевать мне на такой разум, я его не признаю. Это какое-то чудовище, химера, изобретенная старыми болтунами античности,

которыми все вы так восхищаетесь неизвестно почему. Пусть царствие его не придет никогда! Я не поклонник неограниченной власти, в чем бы она ни проявлялась, и если бы кому-нибудь вздумалось принудить меня не верить в бога, — а я не верую добровольно и совершенно искренно, — пожалуй, я бы тотчас отправился на исповедь, просто из духа противоречия.

— О, как известно, вы способны на все, — сказал д'Аржанс, — даже на то, чтобы уверовать в философский камень графа де Сен-Жермена.

— А почему бы нет? Это было бы так приятно и так пригодилось бы мне!

— Философский камень! — вскричал Пельниц, потряхивая своими пустыми, беззвучными карманами и выразительно глядя на короля. — О да, пусть придет царствие его, и поскорей! Такую молитву я готов читать каждое утро и каждый вечер…

— Ах, вот оно что! — перебил его Фридрих, который всегда был глух к подобным намекам. — Стало быть, ваш Сен-Жермен причастен также и к искусству делать золото? Этого я не знал!

— Так позвольте же мне от вашего имени пригласить его к ужину на завтра, — сказал Ламетри. — Думаю, что и вам не мешало бы про-

никнуть в его тайну, господин Гаргантюа. У вас большие потребности и гигантские аппетиты — и как у короля, и как у преобразователя.

— Замолчи, Панург, — ответил Фридрих. — Отныне твой Сен-Жермен разоблачен. Это дерзкий обманщик, и я прикажу установить за ним бдительный надзор, ибо нам известно, что люди, владеющие этим прекрасным искусством, обычно вывозят из страны больше золота, нежели оставляют в ней. Разве вы уже успели забыть, господа, знаменитого чародея Калиостро, которого я велел выгнать из Берлина не более шести месяцев назад?

— И который увез у меня сотню экю, — подхватил Ламетри. — Пусть дьявол отнимет их у него!

— Он увез бы их и у Пельница, если бы только они у него были, — добавил д'Аржанс.

— Вы прогнали его, — сказал Фридриху Ламетри, — а он отплатил вам недурной шуткой.

— Какой?

— Ах, вы ничего не знаете? Так я угощу вас одним рассказом.

— Главное достоинство всякого рассказа — его краткость, — заметил король.

— Мой заключается в двух словах. Всем известно, что в тот день, когда ваше пантагрюэльское

величество приказали великому Калиостро убираться восвояси вместе с его кубами, ретортами, привидениями и дьяволами, в тот самый день, ровно в двенадцать часов пополудни, он собственной персоной проехал в своей коляске через все городские заставы Берлина одновременно. Да, да, это могут засвидетельствовать более двадцати тысяч человек. Каждый из сторожей, охраняющих заставы, видел его в той же шляпе, в том же парике, в той же самой коляске, с тем же багажом, на тех же лошадях, и вам никогда не удастся разубедить их в том, что в этот день существовало пять или шесть живых Калиостро.

Рассказ понравился всем. Не смеялся только Фридрих. Он весьма серьезно интересовался успехами милого его сердцу разума, и проявления суеверия, доставлявшие столько пищи для остроумия и веселости Вольтеру, вызывали у него лишь возмущение и досаду.

— Вот он, народ! — вскричал король, пожимая плечами. — Ах, Вольтер, вот он, народ! И это в то самое время, когда живете вы, когда яркий свет вашего факела озаряет весь мир! Вас изгнали, подвергли преследованиям, с вами боролись всеми возможными способами, а Калиостро — стоит ему где-нибудь показаться, и все уже околдованы.

Еще немного, и его будут носить на руках!

— А знаете ли вы, — спросил Ламетри, — что самые знатные ваши дамы так же верят в Калиостро, как и добрые кумушки из простонародья? Да будет вам известно, что эту историю мне передала самая хорошенькая из ваших придворных дам.

— Держу пари, что это госпожа фон Клейст! — сказал король.

— «Ты сам ее назвал!» — продекламировал Ламетри.

— Вот он уже на ты с королем, — проворчал Квинт Ицилий, за несколько минут до того вошедший в комнату.

— Милейшая фон Клейст совсем помешалась, — сказал Фридрих. — Она самая заядлая фантазерка, самая ярая поклонница гороскопов и волшебства… Надо проучить ее — пусть будет поосторожнее! Она сбивает с толку всех наших дам и, говорят, заразила своим помешательством даже собственного супруга: он приносит в жертву дьяволу черных козлов, чтобы разыскать сокровища, зарытые в бранденбургских песках.

— Но ведь все это считается у вас образцом самого хорошего тона, папаша Пантагрюэль, — сказал Ламетри. — Неужели вам угодно, чтобы и женщины подчинились вашему угрюмому богу

— Разуму? Женщины существуют, чтобы развлекаться и развлекать нас. Право же, в тот день, когда они потеряют свое безрассудство, мы сами окажемся в дураках! Госпожа фон Клейст очень мила, когда рассказывает о магах и чародеях. И щедро угощает ими Soror Amalia…

— Что это еще за Soror Amalia? — с удивлением спросил король.

— Да ваша благородная и прелестная сестра — аббатиса Кведлинбургская.

Ни для кого не секрет, что она всем сердцем предана магии и…

— Замолчи, Панург! — прогремел король, стукнув табакеркой по столу.

Глава 3

Наступило молчание, и часы медленно пробили полночь . Обычно Вольтер, когда чело его дорогого Траяна омрачалось, умел искусно переменить разговор и сгладить неприятное впечатление, невольно отражавшееся и на остальных сотрапезниках. Однако в этот вечер Вольтер, печальный и больной, сам испытывал глухой отголосок того прусского сплина, который быстро овладевал всеми счастливыми смертными, призванными созерцать Фридриха в ореоле его славы. Как раз сегодня утром Ламетри передал ему роковую фразу Фридриха, которой суждено было преобразить притворную дружбу этих двух выдающихся людей в весьма реальную вражду . Поэтому он не сказал ни слова. «Пусть он выбрасывает кожуру Ламетри, когда ему вздумается, — думал Вольтер. — Пусть сердится, пусть страдает, только бы поскорее кончился этот ужин. У меня резь в животе, и все его любезности не облегчат моей боли».

Итак, Фридриху волей-неволей пришлось сделать над собой усилие и обрести свое фило-

софское спокойствие без посторонней помощи.

— Раз уж зашла речь о Калиостро, — сказал он, — и только что пробил час, когда принято говорить о привидениях, я расскажу вам одну историю, и вы сами поймете, как следует относиться к искусству чародеев. Это приключение — чистая правда, ее рассказал мне тот самый человек, с которым оно произошло прошлым летом. Сегодняшний случай в театре напомнил мне о нем, и, быть может, этот случай имеет какую-то связь с тем, что вы сейчас услышите.

— А история будет страшная? — спросил Ламетри.

— Возможно! — ответил король.

— Если так, я затворю дверь, что за моей спиной. Не выношу открытых дверей, когда говорят о привидениях и чудесах.

Ламетри закрыл дверь, и король начал:

— Как вы знаете, Калиостро умел показывать легковерным людям картины, или, вернее, своего рода волшебные зеркала, в которых по его желанию появлялись изображения отсутствующих людей. Он уверял, что застает этих людей врасплох и таким образом показывает их в самые сокровенные и самые интимные минуты их жизни. Ревнивые женщины ходили к нему, чтобы

узнать о неверности мужей или любовников. Бывало и так, что любовники и мужья получали у него самые невероятные сведения о поведении некоторых дам, и, говорят, волшебное зеркало выдало множество тайных пороков. Так или иначе, но итальянские певцы оперного театра однажды вечером пригласили Калиостро на веселый ужин, сопровождаемый прекрасной музыкой, а взамен попросили его показать им несколько образчиков его искусства. Калиостро согласился и, назначив день, в свою очередь пригласил к себе Порпорино, Кончолини, мадемуазель д'Аструа и мадемуазель Порпорину, обещая показать все, что им будет угодно. Семейство Барберини также было приглашено. Мадемуазель Жанна Барберини попросила показать ей покойного дожа Венеции, и так как господин Калиостро весьма искусно воскрешает покойников, она увидела его, сильно перепугалась и в смятении вышла из темной комнаты, где чародей устроил ей свидание с призраком. Я сильно подозреваю, что мадемуазель Барберини любит «позубоскалить», как говорит Вольтер, и разыграла ужас нарочно, чтобы посмеяться над итальянскими актерами, которые вообще не отличаются храбростью и наотрез отказались подвергнуть себя

подобному испытанию. Мадемуазель Порпорина со свойственным ей бесстрастным видом заявила господину Калиостро, что она уверует в его искусство, если он покажет ей человека, о котором она думает в настоящую минуту и которого ей незачем называть, поскольку чародей, должно быть, читает в ее душе, как в открытой книге. «То, о чем вы меня просите, нелегко, — ответил Калиостро, — но, кажется, я смогу удовлетворить ваше желание, если только вы дадите мне самую торжественную и страшную клятву, что не обратитесь к тому, кого я вам покажу, ни с одним словом и не сделаете, пока он будет перед вами, ни одного движения, ни одного жеста». Порпорина поклялась и вошла в темную комнату с большой решительностью. Незачем напоминать вам, господа, что эта молодая особа обладает необыкновенной твердостью и прямотой характера. Она хорошо образованна, здраво рассуждает о многих вещах, и у меня есть основания думать, что она не подвержена влиянию каких-либо ложных или узких взглядов. Порпорина так долго оставалась в комнате с призраками, что ее спутники удивились и встревожились. Все происходило, однако, в абсолютной тишине. Выйдя оттуда, она была очень бледна, и, говорят, слезы

лились из ее глаз, но она тотчас же сказала товарищам: «Друзья мои, если господин Калиостро чародей, то это не настоящий чародей. Никогда не верьте тому, что он вам покажет». И не пожелала объяснить ничего более. Но несколько дней спустя Кончолини рассказал мне на одном из моих концертов об этом вечере с чудесами, и я решил расспросить Порпорину, что и сделал, как только пригласил ее петь в Сан-Суси. Заставить ее говорить оказалось нелегко, но в конце концов она рассказала следующее:

«Без сомнения, Калиостро обладает необыкновенными способами вызывать призраки, и они до такой степени похожи на реальных лиц, что самые уравновешенные люди не могут не взволноваться. Но все-таки он не волшебник, и то, что он якобы прочитал в моей душе, было, я уверена, основано на его осведомленности о некоторых обстоятельствах моей жизни. Однако эта осведомленность была неполной, и я бы не посоветовала вам, государь (это все еще слова Порпорины, — пояснил король), назначать его министром вашей полиции, ибо он мог бы наделать немало оплошностей. Ведь когда я попросила его показать мне одного отсутствующего человека, я имела в виду маэстро Порпору, моего

учителя музыки — сейчас он в Вене, — а вместо него я увидела в волшебной комнате одного дорогого мне друга, скончавшегося в этом году.

— Черт подери! — произнес д'Аржанс, — пожалуй, это будет потруднее, чем показать живого!

— Подождите, господа. Калиостро, имевший неточные сведения, даже не подозревал, что человек, которого он показал мадемуазель Порпорине, умер. После того как призрак исчез, он спросил у певицы, довольна ли она тем, что увидела. «Прежде всего, сударь, — ответила она, — я хотела бы понять, что это было. Объясните мне, прошу вас». — «Это не в моей власти, — ответил Калиостро. — Вы узнали, что ваш друг спокоен и что труд его приносит пользу, — этого довольно». — «Увы! — возразила синьора Порпорина. — Сами того не зная, вы причинили мне большое горе — вы показали человека, которого я не могла надеяться увидеть, и выдаете его за живого, меж тем как я сама закрыла ему глаза полгода назад».

— Вот, господа, — продолжал Фридрих, — как обманываются эти чародеи, желая обмануть других, и как разрушаются их хитроумные планы из-за какой-нибудь пружинки, которой нет в механизме их тайной полиции. Правда, до известного предела они проникают в семейные тайны,

в секреты личных привязанностей, и так как все человеческие судьбы более или менее сходны, а люди, склонные верить в чудеса, как правило, не слишком придирчивы, то из тридцати раз чародеи угадывают двадцать; и хотя в десяти случаях из тридцати они ошибаются, на это никто не обращает внимания, тогда как об удачных опытах громко кричат на всех перекрестках. То же происходит и с гороскопами. Вам предсказывают целый ряд самых обыденных вещей, таких, какие неизбежно случаются со всеми людьми: например, путешествие, болезнь, потерю друга или родственника, получение наследства, какую-нибудь встречу, интересное письмо и другие самые заурядные события человеческой жизни. Но вдумайтесь, на какие катастрофы, на какие горести обрекают людей слабых и впечатлительных ложные откровения этакого Калиостро! Поверив ему, муж убьет ни в чем не повинную жену; мать, которой покажут, как где-то вдали умирает ее отсутствующий сын, сойдет с ума от горя, а сколько других несчастий причиняет лженаука этих мнимых прорицателей! Все это гнусно, и вы должны признать, что я правильно поступил, изгнав из своего государства этого Калиостро, который угадывает так верно и передает

такие добрые вести о здоровье людей, умерших и преданных земле. — Допустим, — возразил Ламетри, — но все это не объясняет, каким образом Порпорина вашего величества увидела своего мертвеца здравым и невредимым. Ведь если она обладает такой твердостью и таким благоразумием, как утверждает ваше величество, то это противоречит доводам вашего величества. Правда, волшебник ошибся, вытащив из своей кладовой мертвеца вместо живого, который ей понадобился, но это еще больше убеждает в том, что он располагает жизнью и смертью, и тут он сильнее вашего величества, ибо, не в обиду будь сказано вашему величеству, вы повелели убить на войне множество людей, но не смогли воскресить хотя бы одного из них.

— Так, стало быть, мы будем верить в дьявола, дорогой мой подданный, — спросил король, смеясь над уморительными взглядами, которые бросал Ламетри на Квинта Ицилия всякий раз, как торжественно произносил титул короля.

— Почему бы нам и не уверовать в этого беднягу — Сатану? На него столько клевещут, а он так умен! — отпарировал Ламетри.

— В огонь манихея! — сказал Вольтер, поднося свечу к парику молодого доктора.

— И все же, великолепный Фриц, — продолжал тот, — я представил вам неоспоримый довод: либо прелестная Порпорина безрассудна, легковерна и видела своего мертвеца, либо она философ и не видела ровно ничего. Но ведь все-таки она испугалась? Она сама призналась в этом?

— Она не испугалась, — ответил король, — она огорчилась, как огорчился бы всякий при виде портрета, в точности воспроизводящего любимое существо, которое уже невозможно когда-либо увидеть. Но если говорить начистоту, то я думаю, что она испугалась уже после, задним числом, и что, выйдя из этого испытания, она утратила частицу своего обычного душевного спокойствия. С тех пор на нее находят приступы черной меланхолии, а это всегда является признаком слабости или нервного расстройства. Я убежден, что ум ее потрясен, хоть она и отрицает это. Нельзя безнаказанно играть с обманом. Обморок, который случился с ней нынче вечером, является, по-моему, следствием всей этой истории. И я готов держать пари, что в ее помраченном мозгу затаился смутный страх перед чудодейственным мастерством, которое приписывают Сен-Жермену. Мне сказали, что, вернувшись из театра домой, она не перестает плакать.

— Ну, тут уж позвольте не поверить вам, ваше дражайшее величество, сказал Ламетри. — Вы навестили ее, и, стало быть, она уже не плачет.

— Вам не терпится, Панург, узнать о цели моего визита. И вам тоже, д'Аржанс, хоть вы молчите и делаете вид, будто вас это не интересует. А может быть, и вам, дорогой Вольтер? Вы тоже не говорите ни слова, но, вероятно, думаете о том же.

— Можно ли не интересоваться тем, что считает нужным делать Фридрих Великий? — ответил Вольтер, видя, что король разговорился, и стараясь быть любезным. — Пожалуй, есть люди, которые не имеют права ничего утаивать от других, поскольку каждое их слово — пример и каждый поступок — образец.

— Дорогой друг, смотрите, как бы я не возгордился. Да и кто бы мог не возгордиться, когда его хвалит Вольтер? И тем не менее вы, конечно, подшучивали надо мной во время моего пятнадцатиминутного отсутствия. Однако не можете же вы предположить, что за эти пятнадцать минут я успел дойти до Оперы, где живет Порпорина, прочитать ей длинный мадригал и вернуться сюда пешком, — ибо я шел пешком.

— Ну, Опера находится совсем близко отсюда, — возразил Вольтер, — и вам — вполне довольно

четверти часа, чтобы выиграть сражение.

— Ошибаетесь, на это требуется значительно больше времени, — сдержанно ответил король. — Спросите у Квинта Ицилия или вот у маркиза — ему хорошо известно, как целомудренны актрисы, и он скажет вам, что требуется куда больше четверти часа, чтобы их покорить.

— Полноте, государь, это зависит от…

— Да, это зависит от многого, но хочу надеяться, что мадемуазель Кошуа досталась вам не так легко. Так вот, господа, я не видел сейчас мадемуазель Порпорину, а только справился у горничной о здоровье ее госпожи.

— Вы, государь! — вскричал Ламетри.

— Мне захотелось самому отнести ей флакон с лекарством. Я вспомнил, что оно очень помогало мне при спазмах желудка, от которых я несколько раз терял сознание. Что же вы молчите? Я вижу — вы остолбенели от изумления! По-видимому, вам хочется рассыпаться в похвалах моей доброте — отеческой и королевской, но вы не решаетесь, ибо в глубине души считаете меня смешным.

— Право же, государь, — сказал Ламетри, — если вы влюблены, как обыкновенный смертный, то я не вижу тут ничего дурного, и, по-моему, это не дает повода ни для похвал, ни для насмешек.

— Ну, нет, добрый мой Панург, уж если говорить откровенно, я вовсе не влюблен. Я обыкновенный смертный, это верно, но я не имею чести быть королем Франции, и галантные нравы, свойственные такому великому государю, как Людовик Пятнадцатый, были бы совсем не к лицу скромному маркизу Бранденбургскому. У меня есть дела поважнее, приходится работать не покладая рук, чтобы моя бедная лавчонка не захирела, и мне некогда почивать в рощах Киферы.

— В таком случае, мне непонятны ваши заботы об этой оперной певичке, — сказал Ламетри. — Быть может, это причуда меломана? А если и это не так, то я наотрез отказываюсь разгадать вашу загадку.

— Так или иначе, знайте, друзья мои, что я не любовник Порпорины и не влюблен в нее. Я просто очень расположен к ней, потому что однажды, даже не зная, кто я, она спасла мне жизнь. Рассказ об этом необыкновенном приключении отнял бы сейчас слишком много времени — я поделюсь им с вами как-нибудь в другой раз, а сегодня уже поздно, и господин Вольтер засыпает. Знайте только, что, если я здесь, а не в аду, куда меня хотел послать некий благочестивый субъект,

этим я обязан Порпорине. Теперь вы поймете, почему, узнав о ее серьезной болезни, мне захотелось осведомиться, жива ли она, и отнести ей флакон с лекарством Шталя, не желая при этом прослыть в ваших глазах ни Ришелье, ни Лозеном. Итак, я прощаюсь с вами, друзья мои. Вот уже восемнадцать часов, как я не снимал сапог, а через шесть мне снова придется их надевать. Молю бога, чтобы он удостоил вас своего святого покровительства, как пишут в конце письма... В ту самую минуту, когда на больших башенных часах дворца пробило полночь и молодая светская аббатиса Кведлинбургская только что улеглась в свою розовую шелковую постель, главная камеристка принцессы, ставя на горностаевый коврик ее ночные туфельки, вдруг вздрогнула, и у нее вырвался возглас испуга: кто-то постучал в дверь спальни.

— Ты в своем уме? — спросила прекрасная Амалия, приоткрывая полог кровати. — Что это тебе вздумалось подпрыгивать и охать?

— Разве ваше королевское высочество не слышали стука?

— Стука? Так поди посмотри, кто там.

— Ах, принцесса, да разве хоть один живой человек осмелится стучать в дверь спальни вашего

высочества в такой час? Ведь всем известно, что ваше высочество уже легли почивать.

— Ни один живой человек не осмелится, говоришь ты? Значит, это покойник. Так иди открой ему. Вот опять стучат. Иди же, не выводи меня из терпения.

Полумертвая от страха, камеристка неверным шагом побрела к двери и дрожащим голосом спросила: «Кто там?»

— Это я — госпожа фон Клейст, — ответил хорошо знакомый голос. — Если принцесса еще не спит, скажите, что у меня есть для нее важные новости. — Скорей! Скорей! Впусти ее! — вскричала принцесса. — И оставь нас. Как только аббатиса и ее любимица остались наедине, последняя села в ногах постели и сказала:

— Ваше королевское высочество были правы. Король до безумия влюблен в Порпорину, но еще не стал ее любовником, и, разумеется, благодаря этому пока что она имеет на него огромное влияние.

— Но каким образом тебе удалось узнать это за какой-нибудь час?

— Только что, когда я раздевалась, собираясь ложиться спать, моя горничная рассказала мне, что ее сестра служит камеристкой у этой самой

Порпорины. Тут уж я начала ее выспрашивать, выпытывать подробности, и так, слово за слово, узнала, что она несколько минут назад была у сестры и встретилась там с королем, выходившим от Порпорины.

— Ты уверена в этом?

— Моя горничная только что видела короля, как я вижу вас. Он даже заговорил с ней, приняв за сестру, а та в эту минуту была в другой комнате и ухаживала за своей госпожой, больной или мнимой больной — не знаю. Король осведомился о здоровье Порпорины с необыкновенной заботливостью. Он с огорчением топнул ногой, узнав, что она все время плачет. Он не стал просить позволения зайти к ней, боясь ее обеспокоить — таковы его собственные слова. Он передал для нее очень дорогой флакон, а уходя, приказал, чтобы утром больной сообщили, что в одиннадцать часов вечера он заходил проведать ее.

— Вот это так приключение! — воскликнула принцесса. — Я просто не верю своим ушам. А твоя субретка хорошо знает короля в лицо?

— Кто не знает короля в лицо! Ведь он постоянно разъезжает верхом. К тому же за пять минут до его прихода явился паж, чтобы узнать, нет ли у красотки какого-нибудь визитера. А в это время

сам король, закутанный с ног до головы, стоял на улице внизу, соблюдая, по своему обыкновению, строжайшее инкогнито.

— Итак, таинственность, заботливость, а главное — уважение: тут любовь, милая фон Клейст, или я ничего в этом не смыслю! И ты прибежала сюда, несмотря на холод, на темноту, чтобы поскорее сообщить мне об этом! Ах, бедняжка моя, как ты добра!

— Скажите-ка еще — несмотря на привидения. Известно ли вам, что вот уже несколько ночей, как во дворце снова царит паника? Мой долговязый егерь — он провожал меня сюда — дрожал как осиновый лист, когда мы проходили с ним по коридорам.

— Кто же это? Опять белая женщина?

— Да, Женщина с метлой.

— На сей раз не мы затеяли эту игру, милая фон Клейст. Наши привидения далеко, дай-то бог, чтобы мы вновь увидели их.

— Сначала я думала, что это проделки короля, — ему удобно играть роль привидения, раз у него появились причины удалять со своего пути любопытных слуг. Но меня удивило то, что все эти бесовские бдения происходят не по соседству с его апартаментами и не на дороге, ведущей от

него к Порпорине. Нет, духи разгуливают вокруг покоев вашего высочества, и теперь, когда я уже не участвую в этом, признаюсь, это немного пугает меня.

— Что за странные вещи ты говоришь, дитя мое! Как можешь ты верить в привидения? Тебе-то ведь хорошо известно, что это такое!

— В том-то и дело! Говорят, они очень сердятся на тех, кто им подражает, и в наказание начинают преследовать их.

— Если так, поздно же они спохватились — ведь они не трогали нас больше года. Полно, забудь об этих пустяках. Мы с тобой отлично знаем, что такое все эти «страждущие души». По-видимому, какой-нибудь паж или младший офицер, который ходит по ночам читать молитвы у ног самой хорошенькой из моих горничных. Поэтому старуха, у чьих ног давно уже никто не молится, была так перепугана, что я еле уговорила ее открыть тебе дверь. Впрочем, зачем мы говорим об этом? Милая фон Клейст, у нас в руках тайна короля, надо воспользоваться ею. Но как, как взяться за дело? — Надо забрать в руки эту Порпорину, и поскорее, пока благосклонность короля еще не сделала ее недоверчивой и тщеславной.

— Да, да, мы не будем скупиться ни на подар-

ки, ни на обещания, ни на лесть. Ты завтра же пойдешь к ней, попросишь от моего имени… ну, ноты, автографы Порпоры. Должно быть, у нее есть много неизданных вещей итальянских мастеров. А взамен пообещаешь рукописные ноты Себастьяна Баха. У меня есть несколько экземпляров. Начнем с обмена нотами. Потом я попрошу ее прийти и позаниматься со мной. Ну, а уж когда мне удастся ее заполучить, я берусь обворожить ее и покорить.

— Завтра же утром, принцесса, я буду у нее.

— До свидания, фон Клейст. Поцелуй меня. Ты единственный мой друг. Иди к себе, ложись спать, а если встретишь Женщину с метлой, посмотри хорошенько, не выглядывают ли у нее из-под юбок шпоры.

Глава 4

На следующий день, проснувшись в изнеможении после тяжелого сна. Порпорина увидела на постели два предмета, положенные горничной: флакон из горного хрусталя с золотым фермуаром, на котором был выгравирован вензель Ф, увенчанный королевской короной, и запечатанный сверток. На вопрос хозяйки горничная рассказала, что сам король приходил накануне вечером, чтобы передать этот флакон, и, узнав подробности его визита — столь почтительного, непритязательного и деликатного, Порпорина была растрогана. «Странный человек! — подумала она. — Как примирить такую доброту в частной жизни с жестокостью и деспотизмом в жизни общественной?» Задумавшись, она постепенно забыла о короле, а потом, начав размышлять о себе самой, смутно припомнила вчерашние события и вновь начала плакать.

— Что вы, мадемуазель? — воскликнула горничная, добрая, но болтливая девушка. — Вы опять будете плакать, как вчера вечером, перед тем как уснуть? Просто сердце разрывалось от

ваших слез, и король — он ведь стоял за дверью и все слышал — несколько раз покачал головой, жалея вас. А ведь многие могут позавидовать вашей судьбе. Король ухаживает далеко не за всеми. Говорят даже, что он вообще ни за кем не ухаживал. Так что дело тут яснее ясного — он влюбился в вас.

— Влюбился! Как посмела ты произнести такое? — вскричала Порпорина, вся задрожав. — Никогда не повторяй этого неприличного и нелепого слова. Король влюбился в меня — о господи, что за вздор!

— А что, мадемуазель? Может, и так.

— Сохрани меня бог! Но этого нет и никогда не будет. А это что за сверток, Катрин?

— Какой-то слуга принес его сегодня чуть свет.

— Чей слуга?

— Наемный. Сначала он не хотел говорить, кто его прислал, но в конце концов сознался, что его наняли люди графа де Сен-Жермена, который прибыл сюда только вчера.

— А почему ты стала расспрашивать его?

— Мне хотелось узнать, откуда он, мадемуазель.

— Это неумно. Оставь меня.

Как только горничная вышла, Порпорина

развернула сверток и увидела пергамент, испещренный странными, неразборчивыми буквами. Она много слышала о графе де Сен-Жермене, но не была с ним знакома. Вертя в руках пергамент, рассматривая его со всех сторон и не понимая ни слова, она никак не могла уразуметь, почему этот человек, совершенно для нее чужой, прислал ей подобную загадку, а потому, как и многие другие, решила, что он просто сумасшедший. Однако, продолжая рассматривать посылку, она вдруг обнаружила отдельный листок и прочитала: «Принцесса Амалия Прусская весьма интересуется составлением гороскопов и искусством предсказания. Вручите ей этот пергамент, и вы можете рассчитывать на ее покровительство и расположение». Подписи на листке не было. Почерк был незнакомый, а на свертке не было адреса. Порпорина не понимала, почему граф де Сен-Жермен, желая передать что-то принцессе Амалии, обратился именно к ней, — ведь она даже не была знакома с принцессой. Решив, что слуга, принесший пакет, ошибся, она уже хотела вновь свернуть пергамент и отослать его. Но, взяв в руки лист толстой белой бумаги, в которую была завернута вся посылка, она вдруг заметила, что на другой стороне были напечатаны ноты.

В ее памяти всплыл один эпизод. Разыскать в уголке листа условный значок, убедиться, что он написан карандашом ее собственной рукой полтора года назад, удостовериться, что нотный лист взят из тетради, которую она некогда отдала как опознавательный знак, было делом одной секунды, и умиление, которое она испытала, получив это напоминание об отсутствующем и несчастном друге, заставило ее забыть собственные горести. Оставалось узнать, что делать дальше с загадочным свитком и с какой целью ей поручили передать его принцессе прусской. Быть может, и в самом деле для того, чтобы снискать ей — ей самой — расположение и покровительство этой дамы? Но Порпорина совершенно не нуждалась ни в том, ни в другом. А быть может, для того, чтобы установить между принцессой и узником какие-то отношения, которые могли бы способствовать его спасению или облегчению его участи? Молодая девушка колебалась. Она вспомнила поговорку: «Если сомневаешься, воздержись». Но потом подумала, что есть поговорки хорошие, а есть плохие, причем одни служат осторожному эгоизму, а другие — отважной преданности. И она встала, говоря себе: «Если сомневаешься, действуй, коль скоро ты рискуешь

только собой и надеешься быть полезной твоему другу, твоему ближнему».

С некоторой медлительностью заканчивая туалет — после припадка, случившегося с ней накануне, она чувствовала себя слабой и разбитой — и закалывая свои прекрасные черные волосы, она думала о том, как бы поскорее и понадежнее переправить посылку принцессе, когда раздался стук и высокий лакей в галунах пришел узнать, одна ли она и может ли принять даму, которая желает с ней переговорить, не называя себя. Молодая певица нередко проклинала зависимость от высокопоставленных особ, в какой жили в ту пору артисты; у нее появилось искушение отослать бесцеремонную даму, передав через горничную, что у нее сейчас находятся ее коллеги певцы, но потом ей пришло в голову, что если такой способ и может отпугнуть некоторых жеманниц, то других женщин, напротив, он заставит быть еще назойливее. Поэтому, покорившись судьбе, она решилась принять гостью, и вскоре перед ней оказалась госпожа фон Клейст.

Эта изысканно одетая великосветская дама явилась с намерением обворожить певицу и заставить ее забыть различие их положения. Но она была смущена, так как, с одной стороны, слыша-

ла, что молодая девушка очень горда, а с другой, будучи от природы крайне любопытной, хотела заставить Порпорину разговориться и проникнуть в самые сокровенные ее мысли. Поэтому, несмотря на добросердечие и отзывчивость этой красивой дамы, в ее облике и поведении было сейчас что-то неискреннее, натянутое, и это не ускользнуло от Порпорины. Любопытство так близко примыкает к вероломству, что оно может обезобразить самые прекрасные лица.

Порпорине была хорошо знакома наружность госпожи фон Клейст, и в первую минуту, увидев у себя особу, которая на каждом оперном спектакле появлялась в ложе принцессы Амалии, она хотела было под предлогом интереса к некромантии попросить свою гостью устроить ей свидание с принцессой, которая, по слухам, была большой поклонницей этого искусства. Однако, не смея довериться особе, слывшей несколько экстравагантной и, сверх того, склонной к интригам, она решила выждать и, в свою очередь, принялась наблюдать за ней с той спокойной проницательностью обороняющейся стороны, которая способна отразить все нападки тревожного любопытства.

Наконец лед был сломан, и, когда гостья пе-

редала просьбу принцессы прислать ей еще не изданные партитуры, певица, стараясь скрыть радость, какую ей доставило столь удачное стечение обстоятельств, побежала разыскивать их. И вдруг ее осенило.

— Сударыня! — воскликнула она. — Я охотно сложу все мои скромные сокровища к ногам ее высочества и была бы счастлива, если бы она приняла их из моих рук.

— Вот как, милое дитя, — сказала госпожа фон Клейст, — вы желаете лично побеседовать с ее королевским высочеством?

— Да, сударыня, — ответила Порпорина. — Я хотела бы смиренно попросить принцессу об одной милости, и уверена — она не откажет мне. Я слышала, что она сама искусная музыкантша и, по всей вероятности, покровительствует артистам. Я слышала также, что она столь же добра, сколь прекрасна. Поэтому я надеюсь, что, если принцесса соблаговолит выслушать меня, она поможет мне добиться того, чтобы его величество король снова пригласил сюда моего учителя, знаменитого Порпору. Ведь он был приглашен в Берлин с согласия его величества, а на самой границе его прогнали, даже выслали, придравшись к какой-то неправильности в его бумагах. Однако,

несмотря на все заверения и обещания его величества, я так и не смогла добиться конца этой нескончаемой истории. Я больше не смею надоедать королю просьбой, которая, как видно, не слишком его интересует и о которой — я уверена — он совершенно забыл. Вот если бы принцесса соблаговолила сказать несколько слов тем должностным лицам, которым поручено отправить необходимые документы, я обрела бы счастье наконец-то соединиться с моим приемным отцом — единственной моей опорой в этом мире.

— То, что вы сказали, бесконечно меня удивило! — воскликнула госпожа фон Клейст. — Как, прелестная Порпорина, чье влияние на государя я считала неограниченным, вынуждена обращаться к чужой помощи, чтобы добиться такой мелочи? Если так, позвольте мне предположить, что его величество опасается найти в лице вашего приемного отца, как вы его Назвали, чересчур бдительного стража или советчика, который может восстановить вас против него.

— Графиня, я тщетно стараюсь понять слова, которые вы изволили произнести, — ответила Порпорина так серьезно, что госпожа фон Клейст пришла в замешательство.

— Ну, стало быть, я ошиблась, считая, что

король питает к всемирно известной певице величайшую благосклонность и безграничное восхищение.

— Достойной госпоже фон Клейст не подобает насмехаться над скромной артисткой, которая никому не причиняет зла.

— Насмехаться! Да кто же станет насмехаться над таким ангелом! Вы, мадемуазель, просто не знаете себе цены, и ваше чистосердечие преисполняет меня изумлением и восторгом. Я убеждена, что вы сразу покорите принцессу: она всегда поддается первому впечатлению. Стоит ей увидеть вас вблизи, и она тотчас влюбится в вас, как уже влюблена в ваш талант. — А мне говорили, графиня, что, напротив, ее королевское высочество всегда отзывается обо мне весьма сурово, что мое незначительное лицо имело несчастье не понравиться ей и что она совсем не одобряет мою методу пения.

— Кто мог сказать вам такую ложь?

— Если это ложь, то солгал король, — не без лукавства ответила Порпорина.

— Это была ловушка, попытка испытать вашу доброту и кротость, — возразила госпожа фон Клейст. — Но мне не терпится доказать вам, что я, простая смертная, не имею права лгать, как лжет

насмешник король, и я хочу сейчас же увезти вас в своей карете, чтобы вместе с вашими партитурами доставить к принцессе.

— И вы думаете, графиня, что она окажет мне любезный прием?

— Положитесь на меня.

— А если вы все-таки ошибаетесь, графиня, на чью голову падет унижение?

— На мою, только на мою. Я дам вам право рассказывать где угодно, что я похваляюсь расположением принцессы, а она не питает ко мне ни уважения, ни дружбы.

— Я еду с вами, графиня, — сказала Порпорина и позвонила, чтобы ей принесли муфту и мантилью. — Мой туалет очень скромен. Но вы застали меня врасплох.

— Вы очаровательны и в таком наряде, а нашу дорогую принцессу вы увидите в еще более скромном утреннем платье. Идемте!

Порпорина положила в карман таинственный сверток, захватила партитуры и решительно села в карету рядом с госпожой фон Клейст, мысленно повторяя: «Ради человека, рисковавшего из-за меня жизнью, я могу пойти на унизительное и бесплодное ожидание в передней какой-то принцессы». Порпорину провели в туалетную комнату

ее высочества, и она ждала там минут пять, пока аббатиса и ее наперсница беседовали в соседней комнате. — Принцесса, я привезла ее, она здесь.

— Уже? О искусная посланница! Как надо принять ее? Какова она?

— Сдержанна и осторожна, а может быть, простовата. Очень скрытна или просто глупа.

— Ну, в этом мы сумеем разобраться! — вскричала принцесса, и в глазах ее загорелся огонек, говорящий о привычке изучать и подозревать. — Пусть войдет!

Между тем Порпорина, ожидавшая в туалетной комнате, с изумлением рассматривала собрание самых удивительных предметов, когда-либо украшавших святилище красивой женщины и к тому же принцессы: глобусы, компасы, астролябии, астрологические карты, сосуды с неизвестной жидкостью, черепа, — словом, весь набор, потребный для колдовства. «Мой друг не ошибся, — подумала Порпорина, — людям хорошо известно, чем занимается сестра короля. И, кажется, она не делает из этих занятий тайны, если эти странные вещи лежат на самом виду. Итак, смелее».

Аббатисе Кведлинбургской было в ту пору лет двадцать восемь — тридцать. Когда-то она

была божественно хороша. Она бывала хороша еще и сейчас — вечером, при свете ламп и на расстоянии, но, увидев ее при дневном свете и так близко, Порпорина удивилась ее поблекшему, угреватому лицу. Голубые глаза, бывшие прежде прекраснейшими в мире, теперь были красны, казались заплаканными, и в их прозрачной глубине притаился болезненный блеск, не суливший ничего хорошего. Некогда она была любимицей своей семьи, всего двора и в течение долгого времени считалась самой приветливой, жизнерадостной, ласковой и привлекательной королевской дочкой, какие когда-либо встречались на страницах старинных романов из жизни аристократов. Но вот уже несколько лет, как характер ее изменился и вместе с тем потускнела ее красота. У нее бывали теперь припадки дурного расположения духа, даже злобы, и в эти минуты она как бы повторяла самые скверные черты характера Фридриха. Хотя она отнюдь не стремилась подражать брату и даже втайне его порицала, ее непреодолимо влекло к тем самым порокам, которые она в нем осуждала, и постепенно Амалия превращалась в надменную, не терпящую возражений властительницу, в женщину образованную, но ограниченную и

высокомерную, с умом скептическим и желчным. И, однако, сквозь эти ужасные недостатки, которые, к несчастью, усиливались с каждым днем, все еще пробивались прямодушие, чувство справедливости, сильный дух, пылкое сердце. Что же происходило в душе несчастной принцессы? Страшное горе терзало ее, а ей приходилось прятать его в своей груди и стоически выносить его, притворяясь веселой перед лицом любопытного, злорадного или равнодушного света. Вот почему, вынужденная румянить щеки и принуждать сердце, она сумела выработать в себе два совершенно различных существа: одно из них она скрывала почти от всех, а другое выставляла напоказ с ненавистью и отчаянием. Все заметили, что ее беседа стала более живой и блестящей, но эта беспокойная и натянутая веселость производила тягостное впечатление, вызывала какое-то необъяснимое леденящее чувство, граничившее со страхом. То чувствительная до ребячества, то холодная до жестокости, она удивляла окружающих и даже самое себя. Потоки слез гасили по временам пламя ее гнева, но внезапные пароксизмы свирепой иронии, нечестивого высокомерия вырывали ее из состояния этой благотворной слабости, которую ей не дозволено было поддер-

живать в себе и обнаруживать при других.

Первое, что бросилось в глаза Порпорине, когда она увидела принцессу, была эта своеобразная двойственность ее натуры. У принцессы были два облика, два лица — одно ласковое, другое угрожающее, два голоса — один нежный и гармоничный, как бы дарованный небом для дивного пения, другой хриплый, жесткий, словно исходящий из груди, снедаемой дьявольским огнем. С изумлением глядя на это странное существо, наша героиня, переходя от страха к сочувствию, спрашивала себя, кто из двоих сейчас подчинит и покорит ее — добрый гений или злой.

Принцесса тоже всматривалась в Порпорину, и та показалась ей гораздо более опасной, чем она предполагала. Она надеялась, что без театрального костюма, без грима, который, что бы там ни говорили, сильно уродует женщин, Консуэло окажется такой, какой для ее успокоения певицу описала госпожа фон Клейст: скорее дурнушкой, нежели миловидной. Но этот смуглый и бледный цвет кожи, гладкой и чистой, черные глаза, выражавшие твердость и нежность, правдивый рот, гибкий стан, естественные, непринужденные движения, словом, весь облик этого честного, доброго создания, которое излучало спокой-

ствие и какую-то внутреннюю силу — следствие прямодушия и истинного целомудрия, внушил беспокойной Амалии невольное почтение и даже чувство стыда, подсказавшее ей, что перед этим благородством все ее ухищрения окажутся бессильны.

Молодая девушка заметила усилия принцессы скрыть свое смущение и, разумеется, не могла не удивиться, что столь высокопоставленная особа робеет в ее присутствии. Чтобы оживить разговор, то и дело угасавший, она раскрыла ту из принесенных партитур, в которую спрятала кабалистическое письмо, и постаралась подложить ее таким образом, чтобы начертанные на листке крупные буквы бросились принцессе в глаза. Как только ей это удалось, она протянула руку, словно удивляясь, как попал сюда этот листок, и хотела его забрать, но аббатиса поспешно схватила его с возгласом:

— Что это? Ради бога, как попала к вам эта бумага?

— Ваше высочество, — с многозначительным видом ответила Порпорина, — признаюсь, что я хотела показать вам эту астрологическую таблицу, в случае если бы вы пожелали расспросить меня о некоем обстоятельстве, которое мне

небезызвестно.

Принцесса устремила на певицу жгучий взгляд, потом опустила глаза на магические письмена, подбежала к оконной амбразуре, с минуту вглядывалась в загадочный листок и вдруг, громко вскрикнув, как подкошенная упала на руки бросившейся к ней госпоже фон Клейст.

— Выйдите отсюда, мадемуазель, — поспешно сказала Порпорине приближенная принцессы, — пройдите в соседнюю комнату. И никому ничего не говорите, никого не зовите, никого — слышите?

— Нет, нет, пусть она останется… — слабым голосом проговорила принцесса. — Пусть подойдет поближе… сюда, ко мне. Ах, дитя мое, — воскликнула она, когда молодая девушка подошла к ней, — какую услугу вы мне оказали!

И, обняв Порпорину своими худыми белыми руками, принцесса с судорожной силой прижала ее к сердцу и осыпала градом отрывистых, похожих на укусы поцелуев, от которых у бедняжки заболело лицо и сжалось сердце. «Решительно, эта страна доводит людей до безумия, — подумала она. Мне и самой уже несколько раз казалось, что я схожу с ума, но, оказывается, самые высокопоставленные особы еще более безумны, чем я.

Безумие носится здесь в воздухе».

Принцесса наконец оторвала руки от ее шеи и тут же обняла госпожу фон Клейст, обливаясь слезами, всхлипывая и повторяя еще более хриплым голосом:

— Спасен! Спасен! Мои дорогие, мои добрые подруги, Тренк бежал из крепости Глац. Он в пути, он все еще бежит, бежит!..

И несчастная принцесса судорожно захохотала, перемежая смех рыданиями. На нее больно было смотреть.

— Ах, принцесса, ради всего святого, обуздайте свою радость! — вскричала госпожа фон Клейст. — Будьте осторожны — вас могут услышать!

И, подобрав с полу мнимую кабалистическую грамоту, оказавшуюся зашифрованным письмом барона Тренка, она вместе со своей госпожой снова начала читать его, причем чтение тысячу раз прерывалось возгласами неистовой, исступленной радости принцессы.

Глава 5

«Подкупив нижние чины гарнизона крепости благодаря средствам, доставленным моей несравненной подругой, я сговорился с узником, жаждущим свободы не менее меня, свалил ударом кулака одного стражника, пинком ноги другого и хорошим ударом шпаги третьего, спрыгнул с высокого вала, предварительно столкнув вниз приятеля, — он не сразу решился на прыжок, а при падении вывихнул ногу, — взвалил его на спину и, пробежав четверть часа с этой ношей, перебрался через Нейсе по пояс в воде в густом тумане, а затем продолжал бежать и на другом берегу, и прошагал так всю ночь — ужасную ночь!.. Сбившись с пути, я долго кружил по снегу вокруг какой-то незнакомой горы и вдруг услышал, как бьет четыре часа утра на башне Глаца — то есть даром потерял время и силы, чтоб на рассвете снова оказаться у городских стен!.. Собравшись с духом, я зашел в дом к неизвестному крестьянину и, приставив к его груди пистолет, увел двух лошадей, а потом умчался во весь опор куда глаза глядят; с помощью тысячи хитростей, опасно-

стей, мучений я завоевал свободу и наконец в страшный мороз оказался в чужой стране, без денег, без одежды, почти без хлеба. Но чувствовать себя свободным после того, как тебя приговорили к ужасному пожизненному заключению; думать о том, как обрадуется обожаемая подруга, узнав эту новость; строить множество дерзких и восхитительных планов, как увидеться с ней, — это значит быть счастливее Фридриха Прусского, значит быть счастливейшим из смертных, значит быть избранником судьбы».

Вот что писал молодой Фридрих фон Тренк принцессе Амалии, и легкость, с которой госпожа фон Клейст читала письмо, показала удивленной и растроганной Порпорине, что такого рода переписка с помощью нотных тетрадей была для них привычной. Письмо оканчивалось постскриптумом: «Особа, которая вручит вам это письмо, столь же надежна, сколь ненадежны были другие. Можете доверять ей безгранично и передавать все послания ко мне. Граф де Сен-Жермен поможет ей переправлять их. Однако необходимо, чтобы вышеназванный граф, которому я доверяю лишь до известного предела, никогда и ничего не слышал о вас и чтобы он считал меня влюбленным в синьору Порпорину, хотя это неправда

и я никогда не питал к ней иных чувств, кроме спокойной, чистой дружбы. Пусть же ни одно облачко не затуманит прелестного чела той, кого я боготворю. Я дышу для нее одной и скорее согласился бы умереть, нежели изменить ей».

В то время как госпожа фон Клейст вслух расшифровывала этот постскриптум, делая ударение на каждом слове, принцесса Амалия внимательно изучала лицо Порпорины, пытаясь обнаружить на нем выражение боли, унижения или досады. Ангельская безмятежность этого благородного создания совершенно ее успокоила, и она снова начала осыпать девушку ласками, восклицая:

— А я-то смела подозревать тебя, бедная крошка! Ты не знаешь, как я ревновала, как ненавидела тебя, как проклинала! Мне хотелось, чтобы ты оказалась дурнушкой и плохой актрисой именно потому, что я боялась увидеть тебя чересчур красивой и чересчур доброй. Ведь мой брат, опасаясь, что я подружусь с тобой, только делал вид, будто хочет пригласить тебя на мои концерты, а сам наговорил мне, будто бы в Вене ты была возлюбленной, кумиром Тренка. Он прекрасно знал, что таким способом навсегда отдалит меня от тебя. И я верила ему, меж тем как ты подвергаешь себя величайшим опасностям, чтобы только прине-

сти мне эту счастливую весть! Так ты не любишь короля? Ах, как ты права, ведь нет человека более развращенного, более жестокого!

— Принцесса, принцесса! — вмешалась госпожа фон Клейст, испуганная чрезмерной откровенностью и лихорадочным воодушевлением аббатисы Кведлинбургской. — Какую опасность могли бы вы навлечь на себя в эту минуту, не будь мадемуазель Порпорина ангелом мужества и преданности!

— Да, да... я в таком состоянии... Кажется, я совсем потеряла голову. Хорошенько закрой двери, фон Клейст, но прежде взгляни, не мог ли кто-нибудь подслушать меня в передней. Что касается этой девушки, — добавила принцесса, указывая на Порпорину, — посмотри на ее лицо и скажи, возможно ли сомневаться в ней. Нет, нет! Я не так неосторожна, как кажется, дорогая Порпорина. Не думайте, что я открыла вам сердце лишь в минуту смятения и что буду раскаиваться в этом, когда приду в себя. У меня безошибочный инстинкт, дитя мое. Глаз еще никогда не обманывал меня. Это у нас в роду, но мой брат король, который всегда похваляется своим чутьем, не может со мной сравниться в этом отношении. Нет, вы не предадите меня, я вижу, я знаю это!..

Вы не захотите обмануть женщину, снедаемую несчастной любовью, женщину, которая испытывает такие муки, каких никто не может даже вообразить себе.

— О нет, принцесса, никогда! — сказала Порпорина, опускаясь перед ней на колени и словно призывая бога в свидетели своей клятвы. — Ни вас, ни Фридриха фон Тренка, спасшего мне жизнь, да и вообще никого в мире!

— Он спас тебе жизнь? О, я уверена, что не тебе одной! Он такой храбрый, такой добрый, такой красивый! Он очень хорош собой, правда? Но, должно быть, ты не рассмотрела его как следует, не то непременно влюбилась бы, а ты ведь не влюблена в Тренка, нет? Ты еще расскажешь мне, как вы познакомились и каким образом он спас тебе жизнь, но только не сейчас. Сейчас я не смогу слушать тебя, я должна говорить сама, мое сердце переполнено до краев — уже так давно оно сохнет у меня в груди! Я хочу говорить, говорить без конца, оставь меня в покое, фон Клейст. Моя радость должна излиться, иначе меня разорвет на куски. Но только закрой двери, встань на страже, оберегай меня. Пожалейте меня, мои дорогие подруги, ведь я так счастлива!

И принцесса залилась слезами.

— Так знай же, — продолжала она через несколько мгновений прерывающимся от рыданий голосом, но все с тем же возбуждением, — что он понравился мне с первого дня нашего знакомства. Ему было тогда восемнадцать лет, он был божественно красив и так хорошо образован, чистосердечен, храбр! Меня хотели выдать замуж за шведского короля. Не тут-то было! А моя сестра Ульрика кусает ногти с досады, что вот я стану королевой, а она остается в девицах. «Милая сестра, — говорю я ей, — есть способ уладить это дело ко всеобщему удовольствию. Правители Швеции желают иметь королеву-католичку, а я не желаю отрекаться от своей веры. Им нужна покладистая, кроткая королева, чуждая политики, а если королевой стану я, то захочу властвовать. Стоит мне высказать все это посланникам, и завтра же они напишут своему государю, что для Швеции подходишь ты, а не я». Сказано — сделано, и теперь моя сестра — шведская королева. С этого дня я начала притворяться и притворяюсь ежедневно до сих пор. Ах, Порпорина, вы думаете, что вы актриса? Нет, вы не знаете, что значит всю свою жизнь играть роль, играть ее утром, днем и нередко даже ночью. Ибо нет человека, который бы не подсматривал за нами, не старался бы угадать

наши мысли и предать нас. Мне пришлось делать вид, будто я огорчена и раздосадована, когда сестра благодаря моим же стараниям отняла у меня шведский трон. Мне пришлось делать вид, будто я ненавижу Тренка, будто нахожу его смешным, чуть ли не издеваюсь над ним и бог знает что еще!.. И это в то время, когда я его боготворила, была его любовницей, задыхалась от упоения и счастья так же, как задыхаюсь сейчас!.. Ах, нет, увы! — больше, чем сейчас!.. Но Тренк не обладал моей силой духа и моей осторожностью. Он не был рожден принцем и не умел притворяться и лгать, как умела я. Король узнал обо всем и, по обычаю королей, солгал, притворившись, будто ничего не замечает. Однако он стал преследовать Тренка, и этот красавец паж, его любимец, сделался предметом его ненависти и злобы. Он старался всячески его унизить, он не знал жалости по отношению к нему. Семь дней из восьми Тренк проводил под арестом. Но на восьмой он снова был в моих объятиях, ибо он ничего не боится, ни от чего не падает духом. Ну, можно ли не преклоняться перед таким мужеством? Так вот, король придумал послать его с поручением за границу. А когда Тренк выполнил его столь же искусно, сколь и быстро, брат имел низость

обвинить его в том, что якобы он передал планы наших крепостей и выдал военные тайны своему двоюродному брату Тренку-пандуру, состоящему на службе у Марии-Терезии. То был способ не только разлучить нас навеки, осудив его на пожизненное заключение, но и обесчестить его, заставить погибнуть от горя, отчаяния и гнева в ужасной темнице. Теперь скажи, могу ли я почитать и благословлять моего брата. Говорят, он великий человек. А я говорю вам, он чудовище! О девочка, остерегайся полюбить его, он сломает тебя, как тростинку! Но надобно притворяться, все время притворяться! В той атмосфере, где мы живем, даже дышать приходится украдкой. И я притворюсь, что боготворю своего брата. Я его любимая сестра, все знают это или думают, что знают... Он осыпает меня знаками внимания. Он собственноручно собирает для меня вишни в садах Сан-Суси и отказывает в них даже самому себе, хоть любит их больше всего на свете, но перед тем как передать корзинку пажу, которому ведено принести ее мне, он пересчитывает вишни, чтобы паж не съел хоть одну по дороге. Какая нежная заботливость! Какое простодушие, достойное Генриха Четвертого и короля Рене! И в то же время он держит моего возлюбленного в

подземелье и старается обесчестить его в моих глазах, чтобы наказать за то, что я любила его! До чего же он великодушен, мой добрый брат! И как мы любим друг друга!..

Говоря это, принцесса побледнела, голос ее зазвучал слабее и угас, глаза остановились и, казалось, готовы были выскочить из орбит; застыв на месте, она умолкла и совсем побелела. Она была без чувств. Испуганная Порпорина помогла госпоже фон Клейст расшнуровать ее корсаж и перенести на постель; здесь она немного пришла в себя и снова начала шептать какие-то невнятные слова.

— Благодарение небу, припадок сейчас пройдет, — сказала госпожа фон Клейст певице. — Когда она полностью придет в себя, я позову горничных. А вам, милое дитя, надо непременно перейти в музыкальный салон и спеть что-нибудь, чтобы вас слышали стены, а вернее, слуги, сидящие в передней. Ведь король неминуемо узнает, что вы приходили сюда, и он должен думать, что вы занимались с принцессой только музыкой. Принцесса скажется больной, и это поможет ей скрыть свою радость. Никто не должен заметить, что она знает о побеге Тренка. И вам тоже нельзя этого знать. Сейчас, несомненно,

король уже осведомлен обо всем. Он будет не в духе и станет подозревать всех и вся. Берегитесь! Если он узнает, что это вы передали письмо принцессе, мы погибнем обе — и я, и вы. В этой стране женщины так же легко попадают в крепость, как и мужчины. Их умышленно забывают там — совсем так же, как мужчин. И они умирают там, тоже как мужчины. Я предупредила вас, прощайте. Спойте что-нибудь, а потом уходите без шума, но и без особой таинственности. Мы не увидимся с вами целую неделю — этого требует осторожность. Можете рассчитывать на признательность принцессы. Она очень щедра и умеет вознаграждать преданность…

— Ах, сударыня, — с грустью возразила Порпорина. — Вы, стало быть, думаете, что на меня могут повлиять угрозы и обещания? Мне жаль вас, если у вас такие мысли.

Разбитая от усталости и волнений, которые она только что пережила вместе с принцессой, и еще не оправившись от собственного вчерашнего потрясения, Порпорина все же села за клавесин и начала петь, как вдруг дверь за ее спиной бесшумно отворилась, и в зеркале, возле которого стоял инструмент, она внезапно увидела рядом со своим отражением фигуру короля. Вздрогнув,

она приподнялась, но король опустил свои жесткие пальцы на ее плечо, как бы приказывая ей снова сесть и продолжать петь. Очень неохотно, со стесненным сердцем, она заставила себя повиноваться. Никогда еще она не чувствовала себя менее расположенной петь, никогда присутствие Фридриха не казалось ей более замораживающим, более несовместимым с музыкальным вдохновением.

— Исполнение было превосходно, — сказал король закончившей свой отрывок Порпорине, которая во время пения с ужасом наблюдала, как король на цыпочках подходил к полуотворенной двери спальни своей сестры, стараясь услышать, что там происходит. — К сожалению, — добавил он, — я заметил, что ваш прекрасный голос звучал сегодня не так хорошо, как обычно. Вам бы следовало отдыхать, а не приходить сюда, повинуясь непонятному капризу принцессы Амалии, которая послала за вами, а сама даже не слушает вас.

— Ее королевское высочество внезапно почувствовала себя дурно, — ответила молодая девушка, напуганная суровым и мрачным тоном короля, — и мне было приказано продолжать петь, чтобы развлечь ее.

— Уверяю вас, что это напрасный труд и она вовсе не слушает вас, — сухо возразил король. — Она сидит там и, как ни в чем не бывало, шепчется с госпожой фон Клейст. А если так, мы тоже можем пошептаться здесь с вами, не обращая на них внимания. Ее болезнь представляется мне не слишком серьезной. По-видимому, особы вашего пола необыкновенно быстро переходят от одной крайности к другой. Вчера вечером вы чуть ли не умирали. Кто бы мог вообразить, что сегодня утром вы придете сюда ухаживать за моей сестрой и развлекать ее? Не будете ли вы любезны объяснить мне, каким чудом вы здесь оказались?

Ошеломленная вопросом, Порпорина мысленно молила небо вразумить ее.

— Государь, — сказала она, силясь казаться спокойной, — я и сама не совсем понимаю, как это произошло. Сегодня утром мне сообщили о желании принцессы иметь вот эту партитуру. Я подумала, что должна принести ноты сама, предполагая оставить их в передней и тотчас уйти. Здесь меня увидела госпожа фон Клейст. Она доложила обо мне принцессе Амалии, и, как видно, ее высочеству захотелось посмотреть на меня вблизи. Мне было ведено войти в комна-

ту. Принцесса удостоила меня беседой и стала расспрашивать о характере различных музыкальных отрывков. Потом ей стало нехорошо, и она решила лечь, а мне приказала выйти и спеть вот эту арию. Теперь, я думаю, меня соблаговолят отпустить на репетицию.

— Еще рано, — сказал король. — Не знаю, почему это вам так не терпится уйти, когда я желаю побеседовать с вами.

— Потому что в присутствии вашего величества я всегда боюсь оказаться лишней.

— Моя милая, у вас нет здравого смысла.

— Тем более, государь!

— Вы останетесь здесь, — сказал король, снова усадив ее за фортепьяно и встав напротив. А потом, устремив на нее не то отеческий, не то инквизиторский взгляд, спросил:

— Правда ли все, что вы мне тут наговорили? Порпорина превозмогла отвращение, которое ей внушала ложь. Она уже не раз говорила себе, что будет искренна с этим страшным человеком во всем, что касается ее самой, но сумеет солгать, если ложь понадобится для спасения его жертв. И вот критическая минута, когда благосклонность властелина могла превратиться в ярость, неожиданно настала. Она охотно пожертвовала

бы этой благосклонностью, только бы не унижаться до притворства, но от ее находчивости и присутствия духа зависели сейчас и участь Тренка и участь принцессы. Призвав на помощь все свое искусство актрисы, она с лукавой улыбкой выдержала орлиный взгляд короля. Впрочем, в эту минуту его взгляд скорее напоминал ястребиный.

— Ну, — сказал король, — почему же вы не отвечаете?

— А зачем его величеству королю угодно пугать меня, делая вид, что он сомневается в моих словах?

— У вас отнюдь не испуганный вид. Напротив. Сегодня вы смотрите на меня чрезвычайно смело.

— Государь, боишься только того, кого ненавидишь. Зачем же вам желать, чтобы я боялась вас?

Фридриху пришлось призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не уступить волнению, вызванному этим ответом — самым кокетливым из всех, каких ему до сих пор удавалось добиться от Порпорины. И, по своему обыкновению, он сейчас же переменил разговор, что само по себе является большим искусством, куда более труд-

ным, чем принято думать.

— Почему вчера вечером вы упали в обморок, будучи на сцене?

— Государь, это никак не может интересовать ваше величество и касается только меня одной.

— Какое это блюдо вам подали сегодня на завтрак, что у вас так развязался язык?

— Я вдохнула запах некоего флакона и уверовала в доброту и справедливость того, кто принес его мне.

— Ах вот как! Вы приняли это за декларацию? — сказал Фридрих холодно и с каким-то циничным презрением.

— Боже упаси, нет! — с непритворным ужасом ответила Порпорина.

— Почему вы сказали: «Боже упаси»?

— Потому что знаю, что декларации вашего величества носят чисто военный характер, даже когда они относятся к дамам.

— Вы не русская царица и не Мария-Терезия, какую же войну мог бы я объявить вам?

— Войну льва с мушкой.

— А какая муха укусила сегодня вас, если вы осмеливаетесь ссылаться на подобную басню? Ведь мушка погубила льва, преследуя его.

— Ну, это был, наверное, какой-нибудь жалкий

лев, рассерженный, а потому слабый. Могла ли я вспомнить об этом нравоучительном конце?

— А мушка была жестокой и больно кусалась. Пожалуй, это нравоучение скорее подходит вам.

— Вы так полагаете, ваше величество?

— Да.

— Государь, вы говорите неправду.

Фридрих схватил молодую девушку за руку и судорожно, до боли, сжал ее. В этом странном порыве гнев сочетался с любовью. Порпорина не изменилась в лице, и, глядя на ее покрасневшую, опухшую руку, король добавил:

— У вас есть мужество!

— Не такое уж большое, государь, но я не притворяюсь, будто у меня его нет, как это делают все те, кто вас окружает.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что человек часто притворяется мертвым, чтобы не быть убитым. Будь я на вашем месте, мне бы не хотелось слыть такой грозной.

— В кого вы влюблены? — спросил король, снова меняя разговор.

— Ни в кого, государь.

— Если так, отчего у вас бывают нервные припадки?

— Это не имеет значения для судеб Пруссии, а

следовательно, королю незачем это знать.

— Так вы думаете, что с вами говорит король?

— Я никогда не смела бы забыть об этом.

— И все-таки должны забыть. Король никогда не станет разговаривать с вами — ведь жизнь вы спасли не королю.

— Но я не вижу здесь барона фон Крейца.

— Это упрек? Если так, вы несправедливы. Не король приходил вчера справляться о вашем здоровье. У вас был капитан Крейц.

— Это различие чересчур тонко для меня, господин капитан.

— Так постарайтесь научиться замечать его. Посмотрите — когда я надену шляпу вот так, чуть-чуть на левый бок, я буду капитаном, а когда вот эдак, на правый, буду королем. А вы, в соответствии с этим, будете то Консуэло, то мадемуазель Порпориной.

— Я вас поняла, государь, но увы! Для меня это невозможно. Ваше величество может быть кем угодно — двумя лицами, тремя, сотней лиц, я же умею быть только самой собой.

— Неправда! В театре, при ваших товарищах актерах, вы бы не стали говорить со мной так, как говорите здесь.

— Не будьте так уверены в этом, государь.

— Да что это с вами? Видно, сам дьявол вселился в вас сегодня?

— Дело в том, что шляпа вашего величества не сдвинута сейчас ни вправо, ни влево, и я не знаю, с кем говорю.

Покоренный обаянием Порпорины, которое он особенно остро ощутил в эту минуту, король с добродушно-веселым видом поднес руку к шляпе и так сильно сдвинул ее на левое ухо, что его грозное лицо сделалось смешным. Ему очень хотелось, насколько это было в его силах, разыграть роль простого смертного и короля, отпущенного на каникулы, но внезапно он вспомнил, что пришел сюда вовсе не для развлечения, а затем, чтобы проникнуть в тайны аббатисы Кведлинбургской, и сердитым, резким движением окончательно снял шляпу; его улыбка исчезла, лоб нахмурился, он встал и, бросив певице: «Будьте здесь, я приду за вами», прошел в спальню принцессы, которая с трепетом ждала его появления. Слыша, что король беседует с Порпориной, но не смея отойти от постели своей госпожи, госпожа фон Клейст пыталась подслушать их разговор, но тщетно — покои аббатисы были чересчур велики, ей не удалось уловить ни слова, и она еле дышала от страха.

Порпорина тоже дрожала при мысли о том, что может сейчас произойти. Обычно серьезная, почтительная и искренняя в беседе с королем, на этот раз, желая отвлечь его от опасного допроса, она заставила себя быть с ним притворно кокетливой и, пожалуй, излишне бойкой. Она надеялась, что таким образом оградит от мучений его несчастную сестру. Но Фридрих был не таким человеком, чтобы отказаться от своих намерений, и все усилия бедняжки разбились об упорство деспота. Она мысленно поручила принцессу Амалию богу, ибо прекрасно поняла, что, приказывая ей остаться, король хотел сопоставить ее объяснения с теми, какие были приготовлены в соседней комнате. И еще более убедилась в этом, увидев, как тщательно он закрыл за собой дверь. В томительном ожидании просидела она около четверти часа, лихорадочновзволнованная и напуганная интригой, в которую ее втянули, недовольная ролью, какую ей пришлось сыграть, с ужасом припоминая намеки о вероятной любви к ней короля, — а эти намеки начинали теперь доходить до нее со всех сторон, — и сопоставляя с ними возбуждение, проскользнувшее только что в его странных речах и как будто подтверждающее эту догадку.

Глава 6

Но великий боже, разве изобретательность самого грозного доминиканца, будь он даже великим инквизитором, способна бороться с изобретательностью трех женщин, если любовь, страх и дружба подсказывают каждой из них один и тот же путь? Тщетно применял Фридрих самые разнообразные способы — ласковую любезность, оскорбительную иронию, неожиданные вопросы, притворное равнодушие, косвенные угрозы — ничто не помогало. Объяснение прихода Консуэло к принцессе как в устах госпожи фон Клейст, так и в устах принцессы Амалии совершенно совпало с тем, которое так удачно придумала Порпорина. Оно было самым естественным, самым правдоподобным. Отнести все за счет случайности — что может быть лучше? Случайность бессловесна, и ее нельзя уличить во лжи.

Устав от борьбы, король сдался, а быть может, решил переменить тактику. Так или иначе, он воскликнул:

— Да ведь я совсем забыл о Порпорине! Милая сестричка, сейчас вам уже лучше, позовите же ее

сюда — ее болтовня развлечет нас.

— Мне хочется спать, — ответила принцесса, опасаясь какой-нибудь западни.

— Тогда проститесь с ней и сами отошлите ее домой.

С этими словами король опередил госпожу фон Клейст, распахнул дверь и позвал Порпорину.

Но вместо того чтобы отпустить ее, он вдруг завязал с ней ученую беседу о немецкой и итальянской музыке, а когда эта тема иссякла, неожиданно сказал:

— Ах, да, синьора Порпорина, я и забыл сообщить вам одну новость. Думаю, что она обрадует вас. Ваш друг барон фон Тренк уже на свободе.

— Который барон фон Тренк, ваше величество? — спросила молодая девушка с ловко разыгранной наивностью. — Я знаю двоих, и оба в тюрьме.

— О, Тренк-пандур так и умрет в Шпильберге. На свободе оказался Тренк Прусский.

— Позвольте поблагодарить вас за это, ваше величество, — ответила Порпорина. — Вот справедливый и благородный поступок.

— Весьма обязан за комплимент, мадемуазель. А что думаете об этом вы, милая сестра?

— О чем идет речь? — спросила принцесса. — Я

не слышала вас, брат, я задремала.

— Я говорил о вашем протеже, красавце Тренке, который перелез через тюремную стену и сбежал из Глаца.

— Он прекрасно сделал, — равнодушно ответила Амалия.

— Нет, очень плохо, — сухо возразил король. — Его дело как раз собирались пересмотреть, и, быть может, он смог бы оправдаться в тех обвинениях, которые над ним тяготеют. Побег подтверждает его преступление.

— Ну, если так, я отступаюсь от него, — все так же бесстрастно сказала Амалия.

— А вот мадемуазель Порпорина все еще готова его защищать, — сказал Фридрих. — Я вижу это по ее глазам.

— Потому что я не могу поверить в предательство, — ответила она.

— Особенно когда предатель так хорош собой? Известно ли вам, сестра, что мадемуазель Порпорина весьма близка с бароном фон Тренком?

— Тем лучше для нее, — холодно заявила Амалия. — Однако если этот человек обесчещен, я все же советую ей позабыть о нем. А теперь, мадемуазель, прощайте — я устала. Попрошу вас посетить меня через несколько дней — вы

поможете мне разобрать эту партитуру. Кажется, она очень хороша.

— Вы снова полюбили музыку, — сказал король. — А мне казалось, что вы совсем забросили ее.

— Хочу попробовать снова позаниматься и надеюсь, милый брат, на вашу помощь. Говорят, вы сделали большие успехи и, стало быть, могли бы теперь давать мне уроки.

— Мы будем вместе брать уроки у синьоры. Я привезу ее к вам.

— Прекрасно. Вы доставите мне большое удовольствие.

Госпожа фон Клейст довела Порпорину до передней, и вскоре певица оказалась совсем одна в каких-то длинных коридорах, не зная толком, в каком направлении искать выход из дворца, и совсем забыв, какой дорогой она пришла сюда.

В доме короля соблюдалась строжайшая экономия, чтобы не сказать больше, и внутри дворца было очень мало лакеев. Порпорина не встретила ни одного, ей не у кого было спросить дорогу, и она начала блуждать наудачу по унылому и обширному зданию.

Поглощенная событиями сегодняшнего утра, разбитая от усталости, голодная — она ничего не

ела со вчерашнего дня, — Порпорина ощущала в голове какой-то туман, но, как это иногда бывает в подобных случаях, болезненное возбуждение еще поддерживало ее физические силы. Она шла наугад и даже быстрее, чем шла бы в более спокойном состоянии. Преследуемая неотвязной мыслью, мучившей ее со вчерашнего вечера, она совершенно забыла, где находится, заблудилась, миновав какие-то галереи и дворики, вернулась назад, спустилась вниз и вновь поднялась по каким-то лестницам, повстречала в разных местах разных людей, не догадавшись спросить у них дорогу, и наконец, словно пробудившись от сна, вдруг очутилась у входа в большую комнату, уставленную странными, неизвестно для чего предназначавшимися предметами, а на пороге этой комнаты стоял серьезный и учтивый господин, который, вежливо поклонившись, пригласил ее войти. Порпорина узнала ученейшего академика Штосса, хранителя кабинета редкостей и библиотеки дворца. Он несколько раз приходил к ней с просьбой разобрать драгоценные рукописные ноты — протестантскую музыку начала Реформации, истинные сокровища каллиграфии, которыми он обогатил королевскую коллекцию. Узнав, что певица ищет выход из

дворца, он тотчас вызвался проводить ее домой, но при этом стал так настойчиво просить хотя бы бегло осмотреть его необыкновенный кабинет, которым по праву гордился, что Порпорина не смогла ему отказать и, опираясь на его руку, стала обходить комнату. Она была совсем не расположена сейчас к подобному осмотру, но легко рассеиваясь, как все артистические натуры, вскоре заинтересовалась тем, что ей показывали, причем особое ее внимание привлек один предмет, на который указал достойнейший ученый муж.

— Вот этот барабан, — сказал он, — на первый взгляд не представляет ничего выдающегося. Я даже подозреваю, что он поддельный, и все-таки этот памятник старины пользуется большой известностью. Несомненно одно — что резонирующая часть этого боевого инструмента сделана из человеческой кожи, в чем вы можете убедиться сами по выпуклым линиям грудных мускулов. Этот трофей, взятый его величеством в Праге во время славной войны, недавно им завершенной, сделан, как говорят, из кожи Яна Жижки, поборника Чаши, который был знаменитым вождем великого восстания гуситов в пятнадцатом веке. По слухам, он завещал эти священные останки

своим товарищам по оружию, пообещав, что «там, где будут эти останки, будет и победа». Чехи уверяют, что грозные звуки этого барабана обращали в бегство их врагов, что они вызывали призраки их вождей, погибших за святое дело, и делали много других чудес… Но, не говоря о том, что в блестящий век разума, когда мы с вами имеем счастье жить, подобные суеверия заслуживают только презрения, господин Ланфан, проповедник ее величества королевы-матери и автор удостоенной одобрения истории гуситов, утверждает, что Ян Жижка был погребен вместе со своей кожей и что, следовательно… Мне кажется, мадемуазель, что вы побледнели… Вам нездоровится? Или, быть может, вид этого необыкновенного предмета вызвал у вас неприятное чувство? Ведь Жижка был страшный злодей и свирепый бунтовщик…

— Возможно, — ответила Порпорина, — но я жила в Чехии и слышала там, что Жижка был великий человек. Память о нем до сих пор так же чтится в его стране, как во Франции чтят память Людовика Четырнадцатого, и чехи видят в Жижке спасителя родины.

— Увы! Нельзя сказать, чтобы он действительно спас ее, — с улыбкой возразил господин

Штосе. — И сколько бы я ни ударял по гулкой груди ее освободителя, мне не удается вызвать даже его призрак, который пребывает в позорном заточении у победителя его потомков. После этих слов, произнесенных наставительным тоном, почтенный господин Штосе провел пальцами по барабану, от чего раздался тот глухой, зловещий звук, какой производят подобные, обтянутые черным инструменты при исполнении похоронного марша. Но тут ученый хранитель древностей внезапно прервал свою нечестивую забаву, ибо Порпорина вдруг испустила пронзительный крик и, бросившись в объятия старика, уткнулась лицом в его плечо, словно испуганный ребенок, увидевший что-то необыкновенное и страшное.

Почтенный господин Штосе оглянулся по сторонам, ища причину этого неожиданного испуга, и увидел стоявшего на пороге залы человека, чей вид внушил ему одно лишь презрение. Он хотел было махнуть ему рукой, чтобы тот удалился, но человек уже прошел мимо, меж тем как Порпорина все еще цеплялась за господина Штосса.

— Право, мадемуазель, не понимаю, что с вами случилось, — сказал он, подведя Порпорину к стулу, на который она тут же упала, обессиленная и дрожащая. — Я не заметил ничего такого, что

могло бы объяснить ваше волнение.

— Вы ничего не видели? Никого не видели? — спросила Порпорина угасшим голосом, с растерянным видом. — Там, возле той двери... Вы не видели там человека, который смотрел на меня страшным взглядом?

— Я прекрасно видел его — он часто бродит по замку. Быть может, ему и хочется казаться страшным, как вы изволили выразиться, но, признаюсь, меня он мало пугает, и я не принадлежу к числу тех, кого он дурачит.

— Так вы видели его? Ах, сударь, стало быть, он действительно стоял там? Это не почудилось мне? О боже, боже, что же это значит?

— Это значит, что благодаря особому покровительству одной любезной августейшей принцессы, — полагаю, что она больше забавляется его чудачествами, нежели верит в них, — он явился в замок и сейчас направляется в покои ее королевского высочества.

— Но кто он такой? Как его зовут?

— Так вы не знаете его? Почему же вы испугались?

— Бога ради, сударь, скажите мне, кто этот человек?

— Да ведь это Трисмегист, чародей принцессы

Амалии! Один из тех шарлатанов, которые умеют предсказывать будущее, находить спрятанные сокровища, делать золото и обладают тысячей других талантов, весьма ценившихся в здешнем обществе до славного царствования Фридриха Великого. Вы, конечно, слышали, синьора, что аббатиса Кведлинбургская питает склонность к…

— Да, да, я знаю, что она изучает кабалистику, — должно быть, просто из любопытства.

— О, конечно! Можно ли предположить, что такая просвещенная, высокообразованная принцесса станет всерьез заниматься подобным вздором?

— Так вы, сударь, знаете этого человека?

— Разумеется. И давно. Вот уже добрых четыре года, как он появляется здесь не менее одного раза в шесть или восемь месяцев. Нрав у него миролюбивый, он не вмешивается в придворные интриги, и потому его величество король, не желая лишать любимую сестру невинных развлечений, терпит его присутствие в городе и даже разрешает ему входить во дворец, когда ему вздумается. Трисмегист не злоупотребляет этим и в нашей стране занимается своим так называемым искусством только в присутствии ее высочества. Ему покровительствует и за него

ручается господин Головкин. Вот все, что я могу сообщить вам о Трисмегисте. Но скажите, синьора, почему все это так живо интересует вас?

— Уверяю вас, сударь, это нисколько меня не интересует, и, чтобы вы не сочли меня безумной, признаюсь вам, что этот человек показался мне — очевидно, я ошиблась — поразительно похожим на одно существо, которое было мне когда-то дорого, дорого даже и сейчас — ведь смерть не разрывает уз дружбы, вы согласны?

— Это благородное чувство, вполне достойное вас, синьора. Однако вы перенесли сильное волнение и теперь еле держитесь на ногах. Позвольте же мне проводить вас домой.

Придя к себе, Порпорина легла в постель и пролежала несколько дней, терзаемая лихорадкой и сильнейшим нервным возбуждением. Уже выздоравливая, она получила записку от госпожи фон Клейст: та приглашала ее к себе помузицировать к восьми часам вечера. Музыка оказалась лишь предлогом, чтобы украдкой провести ее во дворец. Разными потайными переходами дамы вместе пробрались к принцессе, которая встретила их в прелестном наряде, хотя комната была еле освещена, а слуги оказались отпущенными на весь вечер под предлогом нездоровья

их госпожи. Принцесса приняла певицу необыкновенно ласково и, дружески взяв ее под руку, привела в красивую круглую комнату, освещенную пятью десятками свечей; здесь со вкусом и роскошью был приготовлен изысканный ужин. Французское рококо еще не успело проникнуть в прусский двор. К тому же в эту эпоху принято было выказывать глубокое презрение ко двору Франции, и все стремились подражать традициям века Людовика XIV, о котором Фридрих, втайне стремившийся копировать этого великого короля, отзывался с неприкрытым и безграничным восхищением. Принцесса Амалия, однако, была одета по последней моде, и, хотя ее туалет был скромнее наряда госпожи де Помпадур, она казалась от этого не менее блестящей. На госпоже фон Клейст тоже было прелестное платье, а между тем на столе стояли всего три прибора, и не видно было ни одного слуги.

— Вы изумлены нашим маленьким пиршеством, — смеясь сказала принцесса.

— Так вот — вы изумитесь еще больше, когда узнаете, что мы ужинаем только втроем и будем сами прислуживать друг другу. Кроме того, мы и приготовили все своими руками — я и госпожа фон Клейст. Сами накрыли на стол, сами

зажгли свечи, и никогда еще мне не было так весело. Впервые в жизни я сама причесалась, сама оделась, и, мне кажется, я одета и причесана лучше, чем когда бы то ни было. Словом, мы будем развлекаться инкогнито. Король проведет ночь в Потсдаме, королева находится в Шарлоттенбурге, мои сестры гостят у королевы-матери в Мон-Бижу, братья куда-то исчезли, во дворце нет никого, кроме нас. Меня считают больной, и я хочу воспользоваться этой ночью свободы, чтобы почувствовать, что все-таки еще живу, и чтобы отпраздновать с вами двумя (единственными в мире существами, на которых я могу положиться) побег моего дорогого Тренка. Итак, мы будем пить шампанское за его здоровье, а если одна из нас опьянеет, две другие сохранят это в тайне. Да, да, прекрасные «философские» ужины Фридриха померкнут перед блеском и веселостью нашего!

Сели за стол, и Порпорина увидела принцессу в совершенно новом свете. Сегодня Амалия была добра, мила, естественна, весела, ангельски хороша, словом, в этот вечер она была так же обворожительна, как в лучшие дни ранней молодости. Она утопала в блаженстве, и это блаженство было чистым, великодушным, бескорыстным. Возлюбленный находился где-то далеко, она не

знала, увидится ли с ним когда-нибудь, но он был свободен, он перестал страдать, и его любовница, сияя от счастья, благословляла судьбу. — Ах, как мне хорошо с вами! — повторяла она, сидя меж своих двух наперсниц, которые вкупе с нею составляли самое прелестное, самое утонченное и кокетливое трио, какое когда-либо укрывалось от мужских взоров. — Я чувствую себя такой же свободной, как свободен в эту минуту Тренк. Такой же доброй, каким он был всегда и какой я уже не надеялась когда-либо стать! Не было часа, чтобы Глацкая крепость не тяготела над моей душой. В ночных кошмарах она всей своей громадой наваливалась мне на грудь. Я замерзала на своих пуховиках, когда думала, что тот, кого я люблю, дрожит на сырых каменных плитах мрачной темницы. Ах, дорогая Порпорина, вообразите ужас, который испытываешь, говоря себе: «Все эти муки он терпит из-за меня, это моя роковая любовь толкает его живым в могилу!» Вот эта мысль, словно дыхание гарпий, отравляла всю мою пищу… Налей мне шампанского, Порпорина. Я и прежде не любила его, а в последние два года пила только воду. Но сейчас оно кажется мне нектаром. Блеск свечей ласкает глаз, цветы благоухают, яства изысканны, а главное, вы, вы

обе, хороши как ангелы — и фон Клейст, и ты. Да, да, я вижу, слышу, дышу, из холодной статуи, из трупа, каким я была, я превратилась в живую женщину. Так давайте чокнемся — сначала за здоровье Тренка, а потом за здоровье бежавшего с ним друга. Мы чокнемся еще за здоровье добрых стражей, давших ему возможность бежать, и под конец за здоровье моего брата Фридриха, которому не удалось помешать ему. Нет, ни одна горькая мысль не омрачит сегодняшний праздник. У меня больше ни к кому нет злобы. Кажется, я люблю даже короля. Итак, за здоровье короля, Порпорина, да здравствует король.

Удовольствие, которое испытывали две прелестные гостьи бедной принцессы, видя ее ликование, еще усиливалось благодаря простоте ее обращения и той атмосфере полнейшего равенства, какую она создала вокруг себя. Когда наступала ее очередь, она вставала, меняла тарелки, сама разрезала торты, с трогательной детской радостью прислуживая своим подругам.

— Ах, если я и не была рождена для жизни, где царит равенство, — говорила она, — то любовь открыла мне его сущность, а горе, которое мне причинил мой титул, показало всю нелепость предрассудков, связанных с происхождением и

саном. Сестры у меня совсем другие. Сестра фон Анспах скорее взойдет на эшафот, нежели первая поклонится какой-нибудь нецарствующей особе. Другая сестра, маркграфиня Байрейтская (в обществе Вольтера она играет роль философа и вольнодумца), выцарапала бы глаза любой герцогине, если бы та позволила себе носить шлейф на дюйм длиннее, чем у нее. И все это потому, что они не любили! Всю свою жизнь они проведут в том безвоздушном пространстве, которое именуют «достоинством своего ранга». Так они и умрут, набальзамированные, словно мумии, в своем величии. Правда, они никогда не испытают моих горьких мучений, но за всю свою жизнь, отданную этикету и придворным торжествам, они не узнают таких минут беззаботности, радости и доверия, какими наслаждаюсь сейчас я с вами! Дорогие мои подружки, пусть мой праздник станет еще более радостным, — говорите мне сегодня ты. Я хочу быть для вас Амалией. Никаких высочеств! Просто Амалия. Ага, фон Клейст, я вижу, ты хочешь отказать мне. Жизнь при дворе испортила тебя — волей-неволей ты надышалась его вредоносных испарений. Ну, а ты, дорогая Порпорина? Правда, ты актриса, но мне кажется, у тебя цельная натура, и ты исполнишь мое

невинное желание.

— Да, дорогая Амалия, охотно, если это может доставить тебе удовольствие, — смеясь ответила Порпорина.

— О небо! — воскликнула принцесса. — Если бы ты знала, что я испытываю, когда слышу это «ты», когда меня называют Амалией! Амалия! Ах, как звучало это имя в его устах! Когда его произносил он, мне казалось, что это самое красивое, самое нежное имя, каким когда-либо называли женщину. Постепенно душевный подъем принцессы дошел до того, что она забыла о себе и стала думать о своих подругах. И когда ей удалось почувствовать себя равной им, она сделалась такой великодушной, такой счастливой, такой доброй, что инстинктивно сбросила с себя броню горечи и желчи, в которую ее заковали годы страсти и скорби. Она перестала говорить о себе и только о себе, отказалась от мелочного любования приветливостью и простотой своего обращения, начала расспрашивать госпожу фон Клейст о ее семье, об обстоятельствах ее жизни, о ее чувствах, чего не делала с той поры, как собственные горести целиком завладели ее душой. Ей захотелось также познакомиться с жизнью артистов, с душевными волнениями, связанными со сценой, узнать мыс-

ли и привязанности Порпорины. Полная доверия, она и сама его излучала и, с огромной радостью читая в душе других, она убедилась, что эти два создания, которые до сих пор казались ей совсем иными, не такими, как она, в действительности ничем от нее не отличаются, что они столь же заслуживают уважения перед лицом бога, столь же одарены природой, — словом, что эти создания столь же значительны на земле, как и она сама, давно уже уверившаяся в своем превосходстве над всеми другими.

Особенно поразила ее Порпорина, чьи простодушные ответы и милая откровенность преисполнили ее восхищением и симпатией.

— Ты просто ангел, — сказала она. — И это ты, актриса! В твоих словах и мыслях больше благородства, чем в словах и мыслях всех коронованных особ, каких я знаю. Ты внушаешь мне безграничное уважение, я просто влюбилась в тебя. Но и ты должна полюбить меня, прекрасная Порпорина. Открой мне сердце, расскажи о своей жизни, о своем происхождении, воспитании, о своих увлечениях, даже о своих ошибках, если они у тебя были. Но это могли быть лишь благородные ошибки, вроде моей, а моя вовсе не тяготит мою совесть: она таится в святая святых

моего сердца. Сейчас одиннадцать часов, впереди у нас вся ночь, наша маленькая «оргия» подходит к концу — ведь мы теперь просто болтаем, и я вижу, что вторая бутылка шампанского окажется лишней. Прошу тебя — расскажи мне свою историю. Мне кажется, если я узнаю твое сердце, если увижу картину жизни, в которой все для меня будет ново и незнакомо, это даст мне более правильное представление об истинном нашем долге на земле, чем все мои бесплодные размышления. Я чувствую, что способна слушать тебя так внимательно, с таким интересом, с каким никогда прежде не могла слушать что-либо, не связанное с предметом моей страсти. Исполнишь ты мое желание?

— Я охотно сделала бы это, принцесса… — начала Порпорина.

— Принцесса? Кого ты имеешь в виду? — шутливо перебила ее принцесса Амалия.

— Я хочу сказать, милая Амалия, — ответила Порпорина, — что охотно сделала бы это, не будь в моей жизни одной тайны, очень важной, почти зловещей тайны, с которой связано все остальное, и никакая потребность открыться, излить душу не позволяет мне выдать ее.

— Так знай же, дорогое дитя, что она мне из-

вестна, твоя тайна! И если я не сказала тебе об этом в начале ужина, то единственно из страха совершить нескромность. Однако теперь я чувствую, что моя дружба к тебе может смело стать выше этого страха.

— Вам известна моя тайна! — вскричала пораженная Порпорина. — О, принцесса, простите меня, но мне это кажется невероятным.

— Штраф! Ты опять назвала меня принцессой.

— Прости, Амалия, но ты не можешь знать мою тайну, если только и в самом деле не поддерживаешь связь с Калиостро, как уверяют многие.

— Я давно уже слышала о твоем приключении с Калиостро и умирала от желания узнать подробности, но, повторяю, сегодня мною движет не любопытство, а искренняя дружба. Так вот, чтобы тебя ободрить, скажу тебе — с сегодняшнего утра я отлично знаю, что синьора Консуэло Порпорина может, ежели пожелает, носить на законном основании титул графини Рудольштадтской.

— Ради всего святого, принцесса… Нет, Амалия… Кто мог рассказать вам?

— Милая Рудольштадт, неужели ты не знаешь, что моя сестра, маркграфиня Байрейтская, сейчас в Берлине?

— Знаю.

— И с нею ее доктор Сюпервиль?

— Ах так! Сюпервиль нарушил свое слово, свою клятву. Он рассказал все!

— Успокойся. Он рассказал только мне, и притом под большим секретом. Впрочем, я не понимаю, почему ты так уж боишься предать гласности это дело — ведь оно обнаруживает лучшие стороны твоей натуры, а повредить уже никому не может. Все члены семейства Рудольштадт умерли, за исключением старой канониссы, да и та, очевидно, не замедлит последовать в могилу за своими братьями. Правда, у нас в Саксонии существуют князья Рудольштадтские, твои близкие родственники — троюродные братья. Они очень кичатся своим именем, но если тебя поддержит мой брат, то это имя будешь носить ты, и они не посмеют протестовать… Впрочем, возможно, ты все еще предпочитаешь носить имя Порпорины? Оно не менее славно и гораздо более благозвучно.

— Да, таково и в самом деле мое желание, что бы ни случилось, — ответила певица. — Но мне бы очень хотелось узнать, по какому поводу господин Сюпервиль рассказал вам обо всем. Когда я это узнаю и совесть моя будет свободна от данной клятвы, обещаю вам… обещаю тебе рассказать по-

дробности этого печального и странного брака.

— Вот как это произошло, — сказала принцесса. — Одна из моих фрейлин заболела, и я попросила передать Сюпервилю, — а мне уже сообщили, что он находится в замке, при особе моей сестры, — чтобы он заехал посмотреть больную. Сюпервиль — человек умный, я знала его еще тогда, когда он постоянно жил здесь. Он никогда не любил моего брата, и тем удобнее было мне завязать с ним беседу. Случайно разговор зашел о музыке, об опере и, следовательно, о тебе. Я сказала ему о тебе столько лестного, что он — то ли желая сделать мне приятное, то ли искренно, — перещеголял меня и начал превозносить тебя до небес. Я слушала его с большим удовольствием, но заметила, что он чего-то недоговаривает; он намекал на какие-то романтические, даже захватывающие события, имевшие место в твоей судьбе, и на такое душевное величие, какого я, при всем моем добром к тебе отношении, якобы не могу себе представить. Признаюсь, я стала очень настаивать, и в его оправдание могу сказать, что он заставил долго себя упрашивать. Наконец, взяв с меня слово не выдавать его, он рассказал о твоем браке с умирающим графом Рудольштадтом и о твоем великодушном отре-

чении от всех прав и преимуществ. Теперь ты видишь, дитя мое, что можешь со спокойной совестью рассказать мне все остальное, если у тебя нет других причин это скрывать.

— Хорошо, — после минутной паузы сказала Порпорина, поборов свое волнение, — этот рассказ неминуемо пробудит во мне тяжелые воспоминания, особенно тяжелые с тех пор, как я нахожусь в Берлине, но я отвечу доверием на сочувствие и интерес вашего высочества… то есть, я хочу сказать, моей доброй Амалии.

Глава 7

— Я родилась в одном из уголков Испании. Не знаю точно, где именно и в каком году это было, но сейчас мне двадцать три или двадцать четыре года. Имя моего отца мне неизвестно, и думаю, что моя мать тоже не знала имени своих родителей. В Венеции ее называли Zingara — цыганкой, а меня Zingarella — цыганочкой. Моей покровительницей, по желанию матери, стала Maria del Consuelo, что по-французски означает богоматерь Утешения. Первые мои годы прошли в бродяжничестве и нужде. Мы с матерью всюду ходили пешком и песнями зарабатывали на хлеб. Смутно припоминаю, что в чешских лесах нас радушно приняли в каком-то замке, где красивый юноша по имени Альберт, сын владельца замка, был со мной очень ласков и подарил моей матери гитару. Этот замок был замком Исполинов, и настал день, когда я отказалась сделаться его хозяйкой, а этим юношей был граф Альберт Рудольштадт, чьей супругой мне суждено было стать.

Десяти лет от роду я начала петь на улицах.

Однажды, когда я пела свою песенку на пло-

щади святого Марка в Венеции, перед входом в какое-то кафе, маэстро Порпора — он как раз находился там, — пораженный моим голосом, слухом и естественной манерой пения, которую я переняла от матери, подозвал меня, стал расспрашивать, проводил меня до моей лачуги, дал матушке немного денег и обещал ей устроить меня в scuola dei mendicanti , одну из тех бесплатных музыкальных школ, каких так много в Италии и откуда выходят все знаменитые артисты обоего пола, ибо ими руководят лучшие учителя. Я сделала там большие успехи, и вскоре маэстро Порпора очень привязался ко мне, что немедленно вызвало ревность и неприязнь других учениц. Их несправедливая злоба и презрение к моим лохмотьям рано приучили меня к терпению, выдержке и покорности судьбе.

Не помню, когда именно я увидела его впервые, но твердо знаю, что в семь или восемь лет я уже любила одного юношу, или, вернее, мальчика, заброшенного сироту, который так же, как я, обучался музыке благодаря чьему-то покровительству и состраданию и так же, как я, проводил на улице целые дни. Наша дружба, или наша любовь, ведь это было одно и то же, была целомудренным и восхитительным чувством.

Невинные, мы вместе бродили по улицам в те часы, которые не были отданы музыке. Матушка, тщетно пытавшаяся разлучить нас, наконец согласилась признать нашу взаимную склонность, но, лежа на смертном одре, взяла с нас слово, что мы поженимся, как только будем в состоянии прокормить семью своим трудом.

Когда мне было восемнадцать или девятнадцать лет, я уже пела довольно хорошо. Граф Дзустиньяни, знатный венецианец, владелец театра Сан-Самуэле, услыхал однажды мое пение в церкви и пригласил меня на первые роли, желая заменить Кориллу — красивую женщину и искусную певицу, которая до того была его любовницей, но изменила ему. Этот самый Дзустиньяни и был покровителем моего жениха Андзолето. Андзолето пригласили на главные мужские роли одновременно со мною. Первые наши выступления проходили с огромным успехом. Андзолето обладал великолепным голосом, необыкновенным природным дарованием и обольстительной внешностью; ему покровительствовали самые красивые дамы. Но он был ленив, у него не было такого искусного и усердного учителя, как у меня. Его успех оказался менее блистательным. Сначала это вызвало у него огорчение, потом досаду,

наконец зависть, и так я утратила его любовь.

— Возможно ли? — воскликнула принцесса Амалия. — Из-за такой ничтожной причины? Так он, значит, был очень дурной человек?

— Увы, принцесса, нет. Но он был тщеславен, как все актеры. Он стал искать покровительства певицы Кориллы, впавшей в немилость, а потому озлобленной, и она отняла у меня сердце Андзолето, а его быстро научила, как оскорбить и ранить мое. Однажды вечером маэстро Порпора, — а он всегда восставал против нашей любви, ибо, по его мнению, женщина, чтобы стать великой артисткой, должна оставаться чуждой любому влечению сердца, любому проявлению страсти, — итак, маэстро Порпора помог мне обнаружить измену Андзолето. А на следующий вечер сам граф Дзустиньяни объяснился мне в любви, чего я никак не ожидала и что глубоко меня оскорбило. Андзолето притворился, будто ревнует меня, будто верит, что я уступила графу... Он попросту хотел порвать со мной. Ночью я убежала из дома и явилась к моему учителю. Этот человек умеет быстро принимать решения, а меня он научил так же быстро выполнять то, что решено. Он дал мне рекомендательные письма, небольшую сумму денег, объяснил маршрут

путешествия, посадил в гондолу, проводил за пределы города, и на рассвете я одна отправилась в Богемию.

— В Богемию! — повторила госпожа фон Клейст, пораженная мужеством и добродетелью Порпорины.

— Да, сударыня, — подтвердила молодая девушка. — На нашем языке — языке кочующих актеров — мы часто употребляем выражение «бродить по Богемии», когда хотим сказать, что пускаемся на волю случая, что идем на риск бедной, полной трудов, а иногда далеко не безупречной, жизни цыган, которых по-французски называют также богемцами. Но я-то отправилась не в ту символическую Богемию, в которую как будто послала меня судьба вместе со множеством мне подобных, а в несчастную рыцарскую страну чехов, на родину Гуса и Жижки, в Бемервальд , словом — в замок Исполинов, где мне оказало самый радушный прием все семейство Рудольштадтов. — Почему ты поехала именно к ним? — спросила принцесса, слушавшая ее с большим вниманием. — Помнили они о том, что видели тебя ребенком?

— Нет. И я тоже совершенно забыла об этом.

Лишь много времени спустя случайно граф

Альберт вспомнил сам и напомнил мне об этом маленьком приключении. Дело в том, что мой учитель Порпора, в бытность свою в Германии, очень дружил там с главой семьи — достопочтенным Христианом Рудольштадтом. А молодой баронессе Амалии, его племяннице, требовалась гувернантка, или, вернее, компаньонка, которая бы делала вид, что учит ее музыке, и разгоняла скуку суровой и унылой жизни обитателей Ризенбурга . Ее благородные и добрые родные приняли меня по-дружески, почти по-родственному. Несмотря на все мое желание, я ничему не научила мою хорошенькую и капризную ученицу, и…

— И граф Альберт влюбился в тебя, как того и следовало ожидать.

— Увы, принцесса, я не могу так легко говорить об этой серьезной и печальной истории. Граф Альберт считался помешанным. Благородная душа, восторженный ум сочетались в нем с большими странностями, с необъяснимыми, болезненными причудами воображения.

— Сюпервиль рассказывал мне об этом, но сам он ничему не верит, и я ничего не поняла. Молодому графу приписывали какие-то сверхъестественные свойства, дар пророчества, ясновидения, способность делаться невидимым…

Его семья рассказывала самые невероятные вещи… Но ведь все это невозможно, и, надеюсь, ты тоже этому не веришь?

— Избавьте меня, принцесса, от мучительной необходимости высказывать мнение о том, что недоступно моему пониманию. Я видела непостижимые вещи, и порой граф Альберт казался мне каким-то неземным существом. А бывало и так, что я видела в нем лишь несчастного человека, который именно вследствие избытка своих добродетелей был лишен светоча разума. Но никогда он не был в моих глазах обыкновенным смертным. В лихорадочном бреду и в спокойном состоянии, в порыве восторга и в припадке уныния, всегда он был самым лучшим, самым справедливым, самым мудрым и просвещенным, самым поэтически-вдохновенным из всех людей в мире. Словом, я никогда не смогу думать о нем или произносить его имя иначе, как с трепетом глубокого уважения, глубокого умиления, но также и некоторого страха: ведь невольной, но не вполне безвинной причиной его смерти являюсь именно я. — Осуши свои прекрасные глаза, дорогая графиня, соберись с духом и продолжай. Поверь, что я слушаю тебя без малейшей иронии и без пошлого легкомыслия.

— Он полюбил меня, но я долго не подозревала об этом. Он никогда не обращался ко мне ни с единым словом и, казалось, даже не замечал моего присутствия в замке. Пожалуй, он впервые обратил на меня внимание в ту минуту, когда услышал мое пение. Надо вам сказать, что сам он был замечательным скрипачом, и невозможно даже вообразить себе, как совершенна его игра. Впрочем, я уверена, что была единственной в Ризенбурге, кому довелось слышать игру графа Альберта, ибо его семейство даже не подозревало о несравненном таланте графа. Так что его любовь ко мне родилась в порыве восторга и родства душ, вызванном любовью к музыке. Его кузина баронесса Амалия — он был помолвлен с ней в течение двух лет, но не любил ее — рассердилась на меня, хотя тоже не любила его. Она высказала мне свою досаду откровенно, но без злобы, так как, несмотря на свои недостатки, обладала некоторым великодушием. Холодность Альберта, грусть, царившая в замке, — все это наскучило ей, и в одно прекрасное утро она покинула нас, похитив, если можно так выразиться, барона Фридриха — своего отца, брата графа Христиана; барон был человек добрый, но ограниченный, с ленивым умом и бесхитростным сердцем, покор-

ный раб своей дочери и страстный охотник.

— Но ты ничего не говоришь о способности графа Альберта становиться невидимым, о его исчезновениях на две-три недели, после которых он неожиданно появлялся снова, думая при этом или делая вид, что думает, будто не выходил из дому, а потом не мог или не хотел открыть, что же с ним происходило в то время, когда его искали во всех окрестностях замка.

— Ну, раз уж господин Сюпервиль рассказал вам об этом странном и, казалось бы, необъяснимом явлении, я открою вам эту тайну — ведь сделать это могу только я одна, потому что о ней не знал никто, кроме нас двоих. Вблизи замка Исполинов находится гора под названием Шрекенштейн . В глубине ее есть пещера, а за ней несколько потайных комнат. Это старинное подземное сооружение существует со времен гуситов. Альберт, изучивший целый ряд весьма смелых, даже мистических философских и религиозных течений, в душе оставался гуситом, или, вернее, таборитом. Потомок по материнской линии короля Георга Подебрада, он сохранил и развил в себе то стремление к национальной независимости и к евангельскому равенству, которое проповеди Яна Гуса и победы Яна Жижки,

так сказать, привили жителям Чехии…

— Как она рассуждает об истории и философии! — воскликнула принцесса, взглянув на госпожу фон Клейст. — Могла ли я думать, что актриса разбирается в подобных предметах не хуже, чем я, всю жизнь изучавшая их по книгам? Недаром я говорила тебе, фон Клейст, что среди этих созданий — а ведь ходячая молва причисляет их к низшим слоям общества — есть выдающиеся умы, равные тем, которые мы с таким старанием и с такими затратами выращиваем в первых его рядах, а быть может, даже и превосходящие их.

— Увы, принцесса! — возразила Порпорина. — Я очень невежественна и до пребывания в Ризенбурге никогда ничего не читала, но там так много говорилось об этих предметах, и мне, чтобы понять, что же происходит в уме Альберта, пришлось так много размышлять, что в конце концов у меня сложилось о них определенное представление.

— Да, конечно, но ты и сама стала мистиком и немного потеряла рассудок, дорогая Порпорина! Можешь восхищаться походами Яна Жижки и республиканским духом Чехии — быть может, я и сама не меньшая поборница республиканских идей, потому что и мне любовь открыла

понятия, противоположные всему тому, что внушали мне наставники по поводу прав народа и значения отдельных индивидуумов. Но я не разделяю твоего преклонения перед фанатизмом таборитов и перед их исступленным стремлением к христианскому равенству. Все это нелепо, неосуществимо и ведет к жестокости и насилию. Пусть ниспровергают троны, я согласна и даже… готова способствовать этому, если понадобится! Пусть создаются республики, такие, как в Спарте, Афинах, Риме или в старой Венеции, — это я еще могу допустить. Но твои кровожадные и неопрятные табориты так же не привлекают меня, как недоброй памяти вальденсы, как отвратительные мюнстерские анабаптисты и пикарты древней Германии.

— Я слышала от графа Альберта, что все это не совсем одно и то же, — скромно возразила Консуэло, — но не смею спорить с вашим высочеством, так как вы основательно изучали этот предмет. У вас есть здесь историки и ученые, которые много занимаются подобными важными материями, и вы лучше меня можете судить, насколько их мнение мудро и справедливо.

И все-таки мне кажется, что, даже будь у меня возможность учиться у самых образованных

профессоров, я все равно не изменила бы своим симпатиям. Однако продолжу мой рассказ.

— Да, прости, что я тебя перебила своими скучными рассуждениями. Продолжай. Итак, граф Альберт, увлеченный подвигами своих предков (что вполне понятно и вполне простительно), влюбленный в тебя, что, впрочем, еще более естественно и законно, не мог допустить, чтобы тебя не считали равной ему перед богом и людьми. Он был вполне прав, но это еще не причина убегать из родительского дома и доводить до отчаяния всех родных.

— Как раз к этому я и подхожу, — сказала Консуэло. — Он уже давно начал посещать пещеру гуситов, скрытую в недрах Шрекенштейна. Он любил мечтать и размышлять там, и ему особенно нравилось то, что только он да еще один бедный помешанный крестьянин, ходивший туда вместе с ним, знали о существовании этих подземных жилищ. Альберт привык уединяться там всякий раз, как вследствие какой-нибудь семейной неприятности или сильного волнения он терял власть над своими поступками. Чувствуя приближение такого припадка и не желая огорчать родных зрелищем своего безумия, он убегал в Шрекенштейн через обнаруженный им

подземный ход; ход этот начинался в колодце, находившемся посреди цветника, разбитого близ его покоев. Оказавшись в своей любимой пещере, Альберт забывал о времени, не замечал, как проходят часы, дни, недели. Находясь на попечении крестьянина Зденко, мечтателя с душой поэта, в чьей экзальтации было нечто общее с его собственной, он вспоминал о том, что надо вернуться к дневному свету и родным лишь тогда, когда припадок затихал, и, к несчастью, эти припадки становились все сильнее и продолжительнее. Но вот однажды Альберт отсутствовал так долго, что все сочли его погибшим, и тогда я решила разыскать его убежище. Это стоило мне больших опасностей и мучений. Я спустилась в тот колодец, откуда однажды ночью — я это видела из укромного места — вышел Зденко. Не зная дороги, я едва не погибла в этих подземных переходах. Наконец я нашла Альберта, мне удалось рассеять его болезненное забытье, я привела его к родным и заставила поклясться, что он никогда не вернется без меня в эту роковую пещеру. Он уступил, но сказал мне, что это значит осудить его на смерть. И его предсказание сбылось!

— Что ты говоришь! Ведь, напротив, это значило вернуть его к жизни!

— Нет, принцесса, для этого я должна была суметь его полюбить, а не сделаться для него источником горя.

— Как! Значит ты не любила его? Ты спустилась в колодец, ты рисковала жизнью в этом подземном странствии…

— Во время которого безумец Зденко — он не понимал цели моих поисков и, подобно верному глупому псу, оберегая безопасность своего хозяина, едва меня не убил. Я чуть не погибла в бушующем потоке. Альберт не сразу узнал меня и чуть не заразил меня своим безумием: страх и волнение делают человека восприимчивым к галлюцинациям. Затем припадок у него повторился, он снова привел меня в подземелье и едва не покинул там одну. И все это я вынесла без любви к Альберту.

— Так, может быть, чтобы избавить его от болезни, ты дала обет своей богоматери Утешения?

— Да, действительно, нечто вроде того, — ответила Перпорина с грустной улыбкой. — Чувство искреннего сострадания к его семье, глубокая симпатия к нему самому, возможно — романтический ореол истинной дружбы, но ни малейшей искры любви, во всяком случае — ничего похожего на мою прежнюю слепую, отуманивающую

и сладостную любовь к неблагодарному Андзолето, которая преждевременно иссушила мне сердце… Что еще сказать вам, принцесса? После этого ужасного приключения у меня сделалась горячка, и я была на волосок от смерти. Меня спас Альберт — ведь он не только искусный музыкант, но также искусный врач. Мое медленное выздоровление и его неусыпные заботы породили у нас обоих чувство братской близости. Рассудок полностью вернулся к нему. Его отец дал мне свое благословение и стал обращаться как с любимой дочерью. Даже старая горбатая тетка Альберта, канонисса Венцеслава, ангел доброты, но при этом полная предрассудков аристократка, примирилась с мыслью принять меня в свою семью. Альберт молил меня о любви. Граф Христиан превратился теперь в адвоката своего сына. Я была взволнована, испугана. Альберта я любила, как любят добродетель, истину, образец совершенства, но он все еще внушал мне страх; меня отталкивала мысль, что я могу стать графиней, заключить брак, который восстановил бы против Альберта и его семьи всю местную аристократию, а на меня навлек бы обвинение в низменных и корыстных побуждениях. А кроме того — признаюсь в этом, кажется, единственном

моем преступлении! Мне было жаль расставаться с моей профессией, свободой, с моим старым учителем, с моей артистической карьерой и с этой волнующей ареной — ареной театра, где я появилась лишь на миг, чтобы блеснуть и исчезнуть, как метеор; с этими раскаленными подмостками, где была разбита моя любовь, где свершилось мое несчастье, с подмостками, которые я собиралась проклинать и презирать всю жизнь и которые, однако, снились мне все ночи напролет — с их аплодисментами и свистками…

Вы, принцесса, вероятно, сочтете это странным и достойным презрения, но если тебя с детства готовили для театра, если всю свою жизнь ты трудился, мечтая об этих битвах и этих победах, если ты выиграл наконец свое первое сражение, тогда… тогда мысль, что никогда больше ты не вернешься на сцену, может быть так же страшна, как для вас, дорогая Амалия, была бы страшна мысль, что отныне вы будете принцессой лишь на подмостках, как ныне бываю я — дважды в неделю…

— Ты ошибаешься, друг мой. Это нелепость! Ведь если бы я могла из принцессы превратиться в актрису, я бы вышла замуж за Тренка и была бы счастлива. А ты не захотела превратиться

из актрисы в принцессу, чтобы стать супругой Рудольштадта. Да, теперь я вижу, что ты не любила его! Но тут нет твоей вины… Сердцу не прикажешь!

— Как бы мне хотелось, принцесса, убедить себя в том, что этот афоризм верен, — тогда моя совесть была бы спокойна. Но я бьюсь над этой задачей всю жизнь и все еще не разрешила ее.

— Это серьезный вопрос, — сказала принцесса, — и как аббатиса я должна попытаться высказать свое мнение о такого рода велениях совести. Ты сомневаешься в том, что мы вольны любить или не любить? Ты, стало быть, думаешь, что любовь способна считаться с голосом рассудка?

— Так должно было быть. Благородное сердце должно уметь подчинить свое влечение рассудку, но, разумеется, не тому вульгарному рассудку, который равносилен безумию и лжи, а благородному умению распознавать и выбирать — то есть любви к прекрасному, стремлению к истине. Вот вы, принцесса, как раз и являетесь подтверждением того, о чем я говорю, и ваш пример — это мой приговор. Рожденная для трона, вы пожертвовали ложным величием ради истинной страсти, ради обладания сердцем, достойным

вашего сердца. А у меня, тоже рожденной, чтобы стать королевой (королевой подмостков), недостало мужества и великодушия, чтобы с радостью пожертвовать мишурой этой ложной славы ради мирной жизни и возвышенной привязанности, которая меня ожидала. Я готова была сделать это из преданности, но не без боли, не без страха. И граф Альберт, чувствуя мою мучительную тревогу, не пожелал принять мое согласие как жертву. Ему нужны были пылкие восторги, разделенная радость, сердце, свободное от всяких сожалений. Я не должна была обманывать его. Да и можно ли обмануть в подобных вещах? Поэтому я попросила не торопить меня, и моя просьба была исполнена. Я обещала сделать все, что от меня зависит, чтобы моя любовь стала подобной его любви. Я была искренна, но с ужасом ощущала, как мне хотелось освободиться от веления совести, заставившей меня принять это страшное обязательство.

— Странная девушка! Могу поручиться, что ты все еще любишь того, другого.

— О боже! Я была уверена, что разлюбила его, но однажды утром, ожидая на горе Альберта, чтобы пойти с ним на прогулку, я вдруг услышала песню, которую когда-то разучивала вместе с

Андзолето, а главное, узнала этот проникающий в душу голос, который я так любила, и венецианский выговор, столь милый моему сердцу. Я посмотрела вниз и увидела всадника. То был он, принцесса, то был Андзолето.

— Но зачем, во имя всего святого, явился он в Чехию?

— Впоследствии я узнала, что он нарушил свой контракт и бежал из Венеции, страшась мести графа Дзустиньяни. Быстро пресытившись деспотической любовью сварливой Кориллы, с которой он снова начал успешно выступать в театре Сан-Самуэле, он добился благосклонности некой Клоринды, моей бывшей школьной подруги, второразрядной певицы и любовницы графа Дзустиньяни. Как человек светский, иначе говоря — как легкомысленный развратник, граф отомстил ей, вернувшись к Корилле, но не расставшись и с Клориндой. В разгаре этой двойной интриги Андзолето, не выдержав издевательств соперника, сначала разозлился, потом пришел в ярость и в одну прекрасную летнюю ночь перевернул гондолу, где Дзустиньяни наслаждался прохладой в обществе Кориллы. Обе пары отделались тем, что приняли холодную ванну, — не все каналы Венеции глубоки. Однако Андзоле-

то, понимая, что эта шутка может привести его в тюрьму, сбежал и по дороге в Прагу проехал мимо замка Исполинов. Итак, он проехал мимо, а я встретилась с Альбертом, чтобы совершить с ним паломничество в пещеру Шрекенштейна, которую ему хотелось увидеть еще раз вместе со мной. Я была вся во власти волнения и печали. Мне пришлось пережить в этой пещере тяжелые потрясения. Мрачное убежище, таинственный источник, возле которого Альберт соорудил алтарь из костей гуситов, восхитительный и душераздирающий звук его скрипки, какие-то смутные страхи, темнота, суеверные мысли, которые всегда завладевали им здесь и от которых я уже не в силах была его уберечь…

— Договаривай! Он считал себя Яном Жижкой. Он верил, что живет вечно и помнит то, что произошло в прошлых веках. Словом, он был одержим той же манией, что и граф де Сен-Жермен, не так ли?

— Да, принцесса, раз уж вы знаете все… И его уверенность в том, что он говорил, действовала на меня так, что я не только не разубеждала его, а напротив, почти готова была разделить его взгляды.

— Неужели, невзирая на мужественное сердце,

твой рассудок так слаб?

— Да, я не могу похвалиться силой рассудка.

И откуда бы я могла взять ее, эту силу? Настоящие, серьезные знания я получила только от Альберта. Могла ли я не подпасть под его влияние и не разделить его заблуждений? В его уме таилось столько высоких истин, что я не могла отличить ошибочное от достоверного. Придя в пещеру, я почувствовала, что близка к помешательству. Меня особенно ужаснуло то, что, вопреки моим ожиданиям, там не оказалось Зденко. Он не появлялся уже несколько месяцев. Так как юродивый продолжал гневаться на меня, Альберт отстранил его, прогнал, и, по-видимому, между ними произошла ссора, ибо Альберта, как мне казалось, мучили угрызения совести. Быть может, он думал, что расставшись с ним, Зденко покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае, Альберт говорил о нем как-то загадочно, и его таинственные недомолвки приводили меня в трепет. Я вообразила (да простит мне бог эту мысль!), будто во время одного из своих припадков Альберт, не сумев заставить этого несчастного отказаться от намерения лишить меня жизни, отнял жизнь у него самого.

— Но за что этот Зденко так возненавидел

тебя?

— Он был безумен. По его словам, он видел во сне, что я убила его господина и потом плясала на его могиле. О, принцесса, это зловещее предсказание сбылось. Любовь ко мне убила Альберта, а неделю спустя я уже пела здесь, в Берлине, в одной из самых веселых комических опер. Правда, я поступила так не по собственной воле, на душе у меня было невыразимо тяжело, но трагический конец Альберта свершился согласно зловещему предсказанию Зденко.

— Право, твой рассказ столь ужасен, что я уже ничего не понимаю и, слушая тебя, просто теряю рассудок. Но все-таки продолжай. Очевидно, впоследствии все это получит свое объяснение?

— Нет, принцесса, фантастический мир, таившийся в загадочных душах Альберта и Зденко, так и остался для меня тайной. Придется и вам удовлетвориться лишь тем, что вы узнаете дальнейшие события.

— Ах вот как! Но, надеюсь, граф Рудольштадт не убил своего бедного шута?

— Зденко не был для Альберта шутом, он был для него товарищем в минуту горя, другом, преданным слугой. Альберт оплакивал его, но, к счастью, мысль о том, чтобы пожертвовать им

ради любви ко мне, никогда не приходила ему в голову. А я, безумная, я, преступная, убедила себя, что он совершил это убийство. Свежий холмик, выросший в пещере, холмик, под которым, как сказал мне Альберт, покоилось самое дорогое, что было у него во всем мире до встречи со мной, а также его признание в том, что он совершил какое-то преступление, — все это привело меня в ужас. Я решила, что это могила Зденко, и выбежала из пещеры, крича, как безумная, и плача, как ребенок.

— Еще бы! — заметила госпожа фон Клейст. — Да я бы просто умерла там со страху. Нет, такой возлюбленный, как ваш Альберт, совсем бы мне не подошел. Почтенный господин фон Клейст верил в дьявола и приносил ему жертвы. Это он сделал меня такой трусихой, и, если бы я не решилась развестись с ним, думаю, что он окончательно свел бы меня с ума.

— Ну, до некоторой степени ему это удалось, — сказала принцесса Амалия. — Боюсь, что ты немного опоздала с разводом. Впрочем, не прерывай нашу графиню Рудольштадт.

— Когда я вернулась в замок вместе с Альбертом — он шел со мной, даже не думая оправдываться или опровергать мои подозрения, — я застала

там… Кого? Угадайте, принцесса.

— Андзолето!

— Он назвался моим братом и ждал меня. Не знаю, каким образом, но дорогой он узнал, что я живу в замке и собираюсь обвенчаться с Альбертом, — такие слухи ходили в наших краях еще до того, как у нас это было решено, — и повернул коня. Под влиянием ли досады, искорки прежней любви ко мне или, может быть, просто из любви причинять зло он вдруг решил расстроить этот брак и отнять меня у графа. Он пустил в ход все — мольбы, слезы, все свои чары, угрозы. Внешне я казалась непреклонной, но в глубине своего низкого сердца я была поколеблена, я уже не владела собой. Благодаря той лжи, которая помогла ему войти в замок и которую я не решилась опровергнуть, хотя никогда не рассказывала Альберту об этом несуществующем брате, он провел в замке целый день. Вечером старый граф попросил нас исполнить венецианские песни. Эти песни удочерившей меня родины пробудили во мне воспоминания о детстве, о моей чистой любви, о моих прекрасных грезах, о моем ушедшем счастье. Я почувствовала, что все еще люблю… и люблю не того, кого должна, кого хочу, кого обещала любить. Андзолето шепотом заклинал меня

впустить его ночью в мою комнату, угрожая, что все равно придет — придет, рискуя своей жизнью, а главное моей. Я всегда была для него только сестрой, и он приукрашивал свой план самыми благородными намерениями: якобы он готов подчиниться моему приговору, он уедет на рассвете и хочет лишь проститься со мной. Я подумала, что он способен устроить в замке шум, скандал, что у него может выйти с Альбертом какая-нибудь ужасная сцена, что я буду опозорена. Тогда я приняла отчаянное решение и осуществила его. В полночь я сложила в небольшой узел самые необходимые вещи, написала записку Альберту, захватила небольшую сумму денег, какая у меня была, вышла из комнаты, вскочила на лошадь, на которой приехал Андзолето, заплатила проводнику, чтобы он помог мне бежать, миновала подъемный мост и добралась до ближайшего города. Верхом я ехала впервые в жизни. Проскакав галопом четыре мили, я отпустила проводника, направив его по ложному следу и сказав, что буду ждать Андзолето, моего так называемого брата, на дороге в Прагу, а сама отправилась пешком по направлению к Вене. Итак, на рассвете я оказалась одна, почти без средств, в незнакомой стране, стремясь как можно быстрее убежать от

любви этих двух людей — любви, казавшейся мне одинаково гибельной. Однако, должна сказать, что по прошествии нескольких часов призрак вероломного Андзолето навсегда изгладился в моей душе, а чистый образ моего благородного Альберта сопутствовал мне как символ защиты и обещание светлого будущего во всех опасностях и тяготах моего путешествия.

— Но почему же ты направилась в Вену, а не в Венецию?

— Незадолго до этого туда приехал маэстро Порпора — мой учитель, по приглашению нашего посланника. Тот хотел помочь ему поправить денежные дела и восстановить былую славу, которая померкла и отвернулась от него на фоне успехов более удачливых и более современных мастеров. К счастью, я встретилась с одним чудесным юношей. Это был настоящий музыкант, и его ждало большое будущее. Когда он проходил по Богемскому Лесу, до него дошли слухи обо мне, и он решил меня разыскать, чтобы попросить моего покровительства перед маэстро Порпорой. Мы вместе отправились пешком в Вену, нередко испытывая по дороге усталость, но не теряя при этом ни веселости, ни взаимной братской дружбы. Меня особенно привлекло к нему то, что он не

вздумал ухаживать за мной, — мне и в голову не приходило его остерегаться. Я переоделась в мужское платье и так хорошо сыграла роль подростка, что это вызвало множество забавных недоразумений, причем одно из них чуть не оказалось роковым для нас обоих. Чтобы не затягивать свое повествование, обойду молчанием все остальное и расскажу только об этом приключении, ибо знаю, что оно заинтересует ваше высочество больше, чем вся моя дальнейшая история.

Глава 8

— Догадываюсь, что сейчас ты расскажешь мне о нем, — сказала принцесса, облокачиваясь на стол и отодвигая подальше свечи, чтобы лучше видеть рассказчицу.

— Когда мы шли вдоль берега Влтавы, на баварской границе нас схватили вербовщики вашего брата короля, и нам обоим — мне и Гайдну — предстояла блестящая перспектива стать флейтистом и барабанщиком славной армии его величества.

— Ты — барабанщик! — со смехом вскричала принцесса. — Ах, если бы фон Клейст увидела тебя в таком костюме, ты бы вскружила ей голову, могу поручиться. Брат сделал бы тебя своим пажом, и одному богу известно, какие бури вызвала бы ты в сердцах наших красавиц. Но ты упомянула имя Гайдна? Мне оно знакомо. Недавно мне прислали музыку какого-то Гайдна, и, насколько я помню, она хороша. Уж не тот ли это мальчик, о котором ты говоришь?

— Простите, принцесса, но этому мальчику двадцать лет, хотя на вид ему не более пятнадцати. Он был моим дорожным спутником, искренним

и верным другом. На опушке одного леска наши похитители расположились позавтракать, и мы убежали. За нами погнались, но мы мчались, как зайцы, и нам посчастливилось догнать карету, в которой ехали благородный красавец Фридрих фон Тренк и бывший сердцеед граф Годиц фон Росвальд.

— Муж моей тетушки маркграфини фон Кульмбах? — воскликнула принцесса.

— Вот еще один брак по любви, фон Клейст! Впрочем, это единственный честный и умный поступок в жизни моей толстухи тетки. Каков же он, этот граф Годиц?

Консуэло начала было рисовать ей портрет владельца замка Росвальд, но принцесса то и дело перебивала ее, задавая уйму вопросов о Тренке, о том, какое платье было на нем в тот день, обо всем, что его касалось, а когда Консуэло рассказала ей, как Тренк поспешил на ее защиту, как его едва не настигла пуля, как в конце концов он обратил злодеев в бегство и освободил одного несчастного дезертира, которого те везли связанным по рукам и ногам в своей повозке, Амалия потребовала, чтобы она рассказала ей все сначала, еще более подробно, чтобы она повторила все его слова, даже самые незначительные. Радость

и умиление принцессы дошли до предела, когда она узнала, что Тренк, сидя вместе с графом Годицем и двумя путешественниками в карете, не уделил Консуэло ни малейшего внимания и без конца смотрел, вздыхая, на портрет, спрятанный у него на груди, не переставая рассказывать графу о своей тайной любви к некоей высокопоставленной особе, составляющей счастье и горе всей его жизни.

Получив наконец позволение перейти к дальнейшему, Консуэло рассказала, как граф Годиц, угадавший в Пассау, что она женщина, хотел было получить за свое покровительство чересчур высокую плату и как они с Гайдном сбежали, возобновив свое короткое, но полное приключений путешествие на лодке, плывшей вниз по Дунаю.

Затем она рассказала, как они зарабатывали на хлеб, играя — она на свирели, а Гайдн на скрипке, — как крестьяне плясали под их музыку и как, наконец, однажды вечером они набрели на живописное маленькое аббатство, где Консуэло, все еще переодетая мальчиком, назвалась синьором Бертони, цыганом и странствующим музыкантом.

— Каноником этого аббатства, — продолжала Консуэло, — был страстный любитель музыки,

человек умный и необыкновенно добрый. Он принял нас, в особенности меня, очень радушно и даже хотел меня усыновить, обещая хорошую бенефицию в случае, если бы я согласилась принять хотя бы низший сан. Принадлежность к мужскому полу начинала мне надоедать. Карьера священника так же мало прельщала меня, как карьера барабанщика, но одно необыкновенное происшествие вынудило меня немного продлить пребывание у нашего любезного хозяина. Некая путешественница, ехавшая на почтовых, внезапно почувствовала предродовые схватки у самых ворот аббатства и произвела на свет девочку, которую покинула на следующее же утро и которую, под влиянием моих уговоров, добрый каноник решил удочерить вместо меня. Ее назвали Анджелой по имени ее отца, Андзолето, и госпожа Корилла, ее мать, уехала в Вену, чтобы домогаться там ангажемента в придворный театр. Она получила этот ангажемент, отняв его у меня. Князь фон Кауниц представил ее императрице Марии-Терезии как почтенную вдову, а я была отвергнута, ибо меня заподозрили в недозволенной связи с Иосифом Гайдном, который брал уроки у Порпоры и жил в том же доме, что и мы. Консуэло подробно описала свое свидание с великой импе-

ратрицей. Принцесса с любопытством слушала ее рассказ об этой необыкновенной женщине, в чью добродетель никто не желал верить в Берлине, считая ее любовниками князя фон Каунница, доктора Ван-Свитена и поэта Метастазио.

Консуэло рассказала далее о своем примирении с Кориллой, — оно произошло из-за Анджелы, — и о своем дебюте в главной роли на сцене императорского театра, дебюте, который устроила все та же Корилла, эта странная девушка, почувствовавшая угрызения совести и охваченная внезапным порывом великодушия. Она рассказала также о благородной и нежной дружбе, завязавшейся у нее с бароном фон Тренком в доме посланника в Венеции, и подробнейшим образом описала, как, прощаясь с молодым человеком, она придумала условный знак, с помощью которого они могли бы в будущем поддерживать связь друг с другом, если бы преследования прусского короля вызвали необходимость в конспирации. Этим условным знаком, сказала она, явилась некая нотная тетрадь, причем страницы ее должны были служить оберткой и заменять подпись на тех письмах, которые Тренк собирался посылать Порпорине для передачи их предмету его любви. Вот каким образом, объяснила она, одна из

этих страниц и помогла ей понять всю важность таинственного послания, полученного ею для передачи принцессе.

Разумеется, эти подробности заняли больше времени, нежели весь остальной рассказ. И под конец, описывая свой отъезд из Вены вместе с Порпорой и встречу в Моравни, в роскошном замке Росвальд, с прусским королем, переодетым в мундир простого офицера и носившим имя барона фон Крейца, Консуэло вынуждена была упомянуть о важной услуге, которую она оказала монарху, не имея ни малейшего понятия, кому она ее оказывает.

— Вот это мне особенно интересно, — сказала госпожа фон Клейст. — Фон Пельниц, страшный болтун, по секрету сообщил мне, что за ужином несколько дней назад его величество объявил своим гостям, будто его дружеское расположение к прекрасной Порпорине имеет более глубокие корни, нежели мимолетное увлечение.

— А между тем я не сделала ничего необыкновенного, — возразила графиня Рудольштадт. — Я только воспользовалась своим влиянием на одного несчастного фанатика и помешала ему убить короля. Карл — тот самый чешский великан, которого барон фон Тренк вырвал из рук

вербовщиков одновременно со мной, — поступил в услужение к графу Годицу. Он узнал короля и решил отомстить ему за смерть жены и ребенка, погибших от нужды и горя после того, как его самого увезли вторично. К счастью, этот человек не забыл, что я тоже способствовала его спасению и когда-то дала его жене немного денег. Он поддался моим уговорам, и мне удалось отнять у него ружье. Король, скрывавшийся в соседней беседке, слышал все — он рассказал мне об этом впоследствии — и, опасаясь, как бы на убийцу снова не нашел приступ ярости, уехал другой дорогой, не той, где намеревался ждать его Карл. Король ехал верхом один — его сопровождал только господин фон Будденброк, и весьма вероятно, что такой искусный стрелок, как Карл, попал бы в цель; на празднестве, которое в то самое утро устроил в нашу честь граф Годиц, он трижды попал на моих глазах в голубя на шесте.

— Кто знает, — задумчиво произнесла принцесса, — какие изменения вызвало бы это несчастье в европейской политике и в судьбах отдельных лиц! А теперь, дорогая Рудольштадт, я, кажется, знаю конец твоей истории вплоть до кончины графа Альберта. В Праге ты встретилась с бароном — его дядей, который привез тебя в замок

Исполинов, и Альберт при тебе умер от чахотки, успев перед этим обвенчаться с тобой на смертном одре. А ты, стало быть, так и не смогла его полюбить?

— Увы, принцесса, я полюбила его слишком поздно и была жестоко наказана за свои колебания и страсть к театру. Порпора, мой учитель, утаил последние письма Альберта, обманул меня относительно его намерений, и вот, решив, что граф уже излечился от своей роковой любви, я по настоянию маэстро выступила в Вене, поддалась обаянию сцены и, ожидая приглашения в Берлин, начала играть в Вене с чувством, похожим на опьянение.

— И с блестящим успехом! — вставила принцесса. — Мы знаем об этом.

— С жалким и гибельным успехом, — возразила Консуэло. — Ваше высочество знает не все. Ведь Альберт тайно прибыл в Вену, он видел мою игру; следя, словно незримая тень, за каждым моим шагом, он услышал однажды, как я сказала за кулисами Гайдну, что не смогла бы отказаться от своего искусства без горьких сожалений. А между тем я любила Альберта! Клянусь богом, я поняла, что отказаться от него мне было бы еще труднее, чем от своего призвания, и написала

ему об этом, но Порпора, считавший любовь химерой и безумием, перехватил мое письмо и сжег его. Я застала Альберта погибающим от скоротечной чахотки. Я отдала ему свою руку, но не смогла вернуть к жизни. Я видела, как он лежал на роскошной постели в костюме средневекового вельможи, прекрасный в объятиях смерти, с челом, спокойным как у ангела Всепрощения, но мне не пришлось проводить его в последний путь. Я оставила его на катафалке в часовне замка Исполинов под охраной Зденко, этого жалкого безумного пророка. Он протянул мне руку, смеясь и радуясь тому, что Альберт спит так спокойно. Именно он, более почтительный, «более верный друг, чем я, поставил гроб в усыпальницу предков Альберта, не понимая, что тот уже никогда не встанет с этого ложа успокоения! А я — я уехала, увлекаемая маэстро Порпорой, другом преданным, но суровым, человеком с сердцем отеческим, но непреклонным, с Порпорой, который кричал мне почти над гробом моего супруга: „В ближайшую субботу ты выступишь в „Забавных музыкантах“!“

— Да, таковы превратности жизни актрисы! — сказала принцесса, смахивая слезу, потому что Порпорина рыдала, кончая свою историю. — Но

ты даже не упомянула, дорогая Консуэло, о самом прекрасном поступке в твоей жизни, о том, что мне с восторгом рассказал Сюпервиль. Чтобы не огорчать старую канониссу и не изменить своему романтическому бескорыстию, ты отказалась от титула, от наследства, от имени. Ты потребовала соблюдения тайны от Сюпервиля и Порпоры, единственных свидетелей этой поспешной свадьбы, и приехала сюда такой же бедной, как прежде, такой же цыганочкой, какой была всегда.

— И актрисой до конца своих дней! — добавила Консуэло. — Я хочу сказать — независимой, девственной и мертвой для какой бы то ни было любви. Словом, такой, какою Порпора постоянно рисовал мне идеальный тип жрицы муз! Он победил, мой грозный учитель! И вот я дошла до той ступени, на которой он хотел меня видеть. Но, право, не стала от этого ни более счастливой, ни более талантливой. С тех пор как я никого не люблю и уже не чувствую себя способной любить, во мне больше нет ни огня, ни вдохновения. Этот ледяной климат, эта гнетущая дворцовая атмосфера повергают меня в какое-то мрачное уныние. Отсутствие Порпоры, ощущение заброшенности и прихоть короля, который затягивает

мой ангажемент вопреки моей воле… ведь вам, принцесса, я могу признаться в этом, не так ли?

— Как я могла не угадать этого прежде? Бедное дитя, все думают, что ты гордишься предпочтением короля, а в действительности ты его пленница и раба, как я, как вся его семья, как его любимцы, его солдаты, его пажи, как его собачки. Да, таково обаяние королевского титула, таков ореол, окружающий великих государей! Как тяжко это бремя для тех, кто тратит жизнь, доставляя им лучи света и блеск! Однако, милая Консуэло, ты должна еще многое рассказать мне, и кое-что живо меня интересует. Надеюсь, ты откровенно скажешь мне, какие отношения связывают тебя с моим братом, и для этого буду откровенна сама. Считая тебя его любовницей и думая, что ты сможешь добиться помилования Тренка, я искала встречи с тобой, чтобы передать наше дело в твои руки. Теперь, когда — благодарение небу! — мы уже не нуждаемся в тебе для этой цели и я счастлива, что могу любить тебя ради тебя самой, мне кажется, ты можешь сказать мне все, не боясь скомпрометировать себя, — тем более что, по-видимому, брат не слишком преуспел в своих ухаживаниях за тобой…

— Ваш тон и ваши выражения, принцесса,

повергают меня в трепет, — ответила Консуэло, побледнев. — Прошла всего неделя с тех пор, как я впервые услышала, как люди вокруг меня с серьезным видом перешептываются по поводу мнимой склонности нашего повелителя короля к его печальной и робкой подданной. До того я никогда не предполагала, что между ним и мною возможно что-либо, кроме оживленной беседы, благосклонной с его стороны, почтительной — с моей. Он выказывал мне дружеское расположение и признательность, каких вовсе не заслуживала вполне естественная с моей стороны услуга, которую я случайно оказала ему в Росвальде. Но отсюда до любви — целая пропасть, и, надеюсь, даже мысленно он никогда не переступит ее!

— А я уверена в обратном. Он резок, насмешлив и фамильярен с тобой, разговаривает с тобой, как с мальчишкой, гладит тебя по голове, как гладят своих борзых. Вот уже несколько дней, как он убеждает своих друзей, будто ты ему безразлична. Все это доказывает, что он готов влюбиться в тебя. Я хорошо его знаю и ручаюсь, что очень скоро тебе придется дать ему ответ. Если ты окажешь сопротивление — ты погибла. Если уступишь — тем более. Что ты выберешь, когда наступит

эта минута?

— Ни то, ни другое, принцесса. Я поступлю так, как его рекруты, попросту сбегу.

— Это нелегко, и к тому же я вовсе этого не хочу. Я так сильно привязалась к тебе, что, пожалуй, готова была бы еще раз послать за тобой вербовщиков. Лучше поищем другой выход. Твое положение весьма серьезно, и надо хорошенько поразмыслить. Расскажи мне все, что произошло после смерти графа Альберта.

— Несколько странных, необъяснимых событий на фоне унылой, однообразной жизни. Я расскажу их вам, и, может быть, ваше высочество поможет мне понять их.

— Попробую, но с условием, что ты будешь называть меня Амалией, как вначале. Сейчас еще нет полуночи, и я не хочу превращаться в высочество до завтрашнего утра.

Порпорина продолжала свой рассказ.

— Я уже говорила госпоже фон Клейст, когда она впервые удостоила меня своим посещением, что, уезжая из Чехии, я была внезапно разлучена с Порпорой на прусской границе. Я до сих пор не знаю, в чем причина, — в том ли, что у моего учителя оказались не в порядке бумаги, или же в том, что король опередил нас, послав приказ,

долетевший с чудодейственной быстротой и запретивший Порпоре въезд в его владения. Эта мысль, быть может, предосудительная, сразу пришла мне в голову, едва я вспомнила, как резко и с какой вызывающей откровенностью маэстро защищал честь Тренка и осуждал жестокость короля. — Это произошло во время ужина у графа Годица в Моравии, после того, как король, выдававший себя за барона фон Крейца, сообщил нам о мнимой измене Тренка и о его заточении в крепость Глац.

— Ах вот как! — вскричала принцесса. — Значит, маэстро Порпора навлек на себя королевскую немилость из-за Тренка?

— Король ни разу не заговаривал со мной об этом, а я боюсь напоминать ему, но ясно одно: несмотря на все мои просьбы и на обещания его величества, Порпора так и не был приглашен в Берлин.

— И никогда не будет, — сказала Амалия. — Король ничего не забывает и никогда не прощает откровенности, если она уязвляет его самолюбие. Северный Соломон ненавидит и преследует каждого, кто сомневается в непогрешимости его решений, и особенно в тех случаях, когда его приговор является лишь явным притворством, лишь

возмутительным предлогом, чтобы избавиться от врага. Итак, похорони эту мечту, дитя мое, ты никогда не увидишь Порпору в Берлине.

— Как я ни огорчена его отсутствием, у меня уже нет желания видеть его здесь, принцесса. И я не буду больше добиваться для него прощения короля. Сегодня утром я получила от моего учителя письмо, где он сообщает, что его опера принята к постановке в венском императорском театре. После тысячи злоключений он наконец добился своего, и его творение наконец-то будет репетироваться. Теперь я предпочла бы сама переехать к нему в Вену, но боюсь, что я так же не вольна уехать отсюда, как не вольна была отказаться от приезда сюда.

— Что ты хочешь этим сказать?

— На границе, увидев, что моего учителя заставляют снова сесть в коляску и повернуть обратно, я решила уехать с ним и порвать ангажемент с Берлином. Меня до того возмутили грубость и явная недоброжелательность подобного приема, что я готова была уплатить неустойку и работать в поте лица, только бы не ехать в страну, где господствует такой деспотизм. Но стоило мне заикнуться о своем намерении, как полицейский чиновник приказал мне сесть в другую почтовую

карету, заложенную и поданную в мгновение ока, меня окружили солдаты, которые не задумались бы усадить меня силой, и я со слезами обняла своего учителя, решившись ехать в Берлин, куда прибыла в полночь, разбитая усталостью и горем. Меня привезли в принадлежащий королю хорошенький домик, который находился совсем близко от дворца и неподалеку от оперного театра. Судя по его устройству, он был предназначен для меня одной. Там я нашла слуг, готовых исполнять мои распоряжения, и накрытый для ужина стол. Оказывается, господин фон Пельниц заранее получил приказание приготовить все к моему приезду. Не успела я немного прийти в себя, как явился человек и спросил, могу ли я принять барона фон Крейца. Я поспешила ответить согласием, сгорая от нетерпения пожаловаться на прием, оказанный Порпоре, и попросить загладить это оскорбление. Я решила не узнавать в бароне фон Крейце Фридриха Второго. Ведь это могло быть мне неизвестно. Дезертир Карл, сообщив по секрету о своем намерении убить его, как прусского обер-офицера, не сказал мне, кто он, эту тайну я узнала от графа Годица лишь после того, как король покинул Росвальд. Он вошел с таким приветливым и веселым видом, какого я ни разу

не видела, когда он жил инкогнито. Нося чужое имя, в чужой стране он чувствовал себя несколько стесненно, в Берлине он, по-видимому, обрел все величие, подобающее его высокому положению, другими словами — отеческую доброту и великодушную мягкость, какими он так хорошо умеет при случае украсить свое всемогущество. Он подошел ко мне и, протягивая руку, спросил, помню ли я, что мы уже встречались прежде. «Да, господин барон, — ответила я, — и я помню также, что вы обещали прийти мне на помощь, если она мне понадобится в Берлине».

Тут я с горячностью рассказала ему все, что произошло со мной на границе, и спросила, не может ли он передать королю просьбу о том, чтобы оскорбление, нанесенное прославленному музыканту, и насилие над моей волей были заглажены.

«Заглажены! — повторил король с иронической улыбкой. — Не более того?

Уж не собирается ли господин Порпора вызвать прусского короля на поединок? А мадемуазель Порпорина потребует, пожалуй, чтобы король встал перед ней на колени?»

Эта язвительная насмешка усилила мою досаду.

«Его величество король, — ответила я, — может добавить к тому, что я уже перестрадала, свою иронию, но я предпочла бы иметь возможность благословлять его, а не бояться».

Король резко стиснул мою руку.

«Ах так! Вы хотите меня перехитрить, — сказал он, устремив на меня испытующий взор. — Я считал вас прямодушной и бесхитростной, а вы, оказывается, отлично знали в Росвальде, кто я».

«Нет, государь, — ответила я. — Я вас не знала, и лучше бы мне никогда не знать вас!»

«Я не могу сказать того же, — мягко возразил он. — Ведь если бы не вы, я, может быть, остался бы лежать в каком-нибудь рве росвальдского парка. Успех в сражениях отнюдь не защищает от пули убийцы, и я никогда не забуду, что если судьба Пруссии еще находится в моих руках, то этим я обязан одной доброй душе, которая не терпит подлых заговоров. Итак, милая Порпорина, ваше дурное настроение не сделает меня неблагодарным. Прошу вас, успокойтесь и расскажите более вразумительно, что именно вызвало ваше недовольство, ибо пока что я не совсем понял, о чем идет речь».

Возможно, что король только делает вид, будто ничего не знает, а может быть, его полицейские

чиновники действительно обнаружили какую-нибудь неправильность в бумагах моего учителя, но он выслушал меня с большим вниманием и затем сказал спокойным тоном судьи, не желающего высказывать необдуманное решение:

«Я все проверю и сообщу вам. Было бы очень странно, если бы мои люди придрались без достаточных оснований к путешественнику, у которого все в порядке. Тут какое-то недоразумение. Не тревожьтесь, я выясню, в чем дело, и, если кто-нибудь превысил свои полномочия, он будет наказан». «Государь, я прошу не об этом. Я прошу вызвать Порпору сюда».

«И я обещаю вам сделать это, — ответил он. — А теперь перестаньте хмуриться и расскажите, каким образом вы открыли тайну моего инкогнито». Я непринужденно беседовала с королем, и он показался мне таким добрым, таким приветливым, таким интересным собеседником, что все мои предубеждения рассеялись, и я лишь восхищалась его умом, здравым и вместе с тем блестящим, мягкой благосклонностью его обращения, — я не обнаружила этого качества у Марии-Терезии, — и, наконец, тонкостью чувств, которая проявлялась во всех его суждениях, какой бы темы он ни коснулся. «Послушайте, —

сказал он, берясь за шляпу, — я хочу сразу же дать вам один дружеский совет: никому не говорите ни об услуге, которую вы мне оказали, ни о моем сегодняшнем визите. Хотя в моем нетерпении поблагодарить вас нет ничего предосудительного для нас обоих, даже напротив, это могло бы вызвать совершенно ложное представление о наших отношениях — отношениях возвышенной духовной близости, какие мне хотелось бы завязать с вами. Люди вообразят, что вы стремитесь к „благосклонности властелина“ — так называют это придворные на своем языке. Вы станете предметом недоверия для одних и зависти — для других. Наименьшее из неудобств будет то, что к вам потянется рой просителей, которые захотят передавать через вас свои нелепые ходатайства. А так как вы, разумеется, слишком благоразумны, чтобы согласиться на роль посредницы, вам придется терпеть либо их навязчивые требования, либо враждебность».

«Обещаю вести себя так, как приказывает ваше величество», — ответила я.

«Я ничего не приказываю вам, Консуэло, — возразил он. — Просто я рассчитываю на ваш здравый смысл и на ваше прямодушие. С первого взгляда я разглядел в вас прекрасное сердце и

справедливый ум. Мне захотелось сделать вас жемчужиной моего департамента изящных искусств, — вот почему я и послал из глубины Силезии приказ приготовить вам за мой счет карету, которая должна была доставить вас сюда немедленно по вашем прибытии на границу. Не моя вина, если эта карета превратилась для вас в подобие тюрьмы на колесах и что вас разлучили с вашим покровителем. А пока его нет, я хочу заменить вам его, если вы сочтете меня достойным такого же доверия и такой же привязанности».

— Признаюсь вам, милая Амалия, что меня глубоко растрогал этот отеческий тон, это утонченное проявление дружбы. Быть может, к этому чувству примешалась и некоторая доля тщеславия, но только слезы выступили у меня на глазах, когда на прощание король протянул мне руку. Я чуть было не поцеловала ее, и, должно быть, именно таков был мой долг, но раз уж я исповедуюсь вам, то должна сказать, что в этот миг меня вдруг охватил ужас, и холод недоверия словно сковал мои движения. Мне показалось, что король столь ласково беседовал со мной и льстил моему самолюбию лишь для того, чтобы помешать мне рассказывать ту сцену в Росвальде, которая могла бы произвести на иных впечатле-

ние, способное неблагоприятно отразиться на его политике. Мне показалось также, что он боится стать смешным в глазах тех, кто узнал бы о его доброте и признательности по отношению ко мне. И, кроме того, внезапно, в какую-то долю секунды, мне припомнилось все — страшный военный режим Пруссии, описанный бароном фон Тренком, жестокость вербовщиков, несчастья Карла, заточение благородного Тренка, которое я приписывала его участию в освобождении бедного дезертира, крики солдата, которого наказывали однажды утром, когда я проезжала мимо какой-то деревни, — вся эта деспотическая система, составляющая силу и славу Великого Фридриха. Я уже не могла ненавидеть его самого, но вновь увидела в нем неограниченного властелина, прирожденного врага всех простых сердец, не понимающих необходимости бесчеловечных законов и не способных проникнуть в тайны империи.

Глава 9

— После этого дня, — продолжала Порпорина, — король ни разу не был у меня, но иногда он приглашал меня в Сан-Суси, где я проводила по несколько дней вместе с Порпорино или Кончолини, моими товарищами, а также сюда, во дворец, где я участвовала в его маленьких концертах и аккомпанировала скрипке господина Грауна, Бенды или же флейте господина Кванца, а иногда и самого короля.

— Последнее значительно менее приятно, — сказала прусская принцесса.

— Я по опыту знаю что, когда мой дорогой брат берет фальшивую ноту или не попадает в такт, он сердится на своих партнеров и возлагает всю вину на них.

— Это правда, — ответила Порпорина, — и даже его искусный учитель, господин Кванц, не всегда бывает огражден от этих мелочных и несправедливых упреков. Зато если королю случается вспылить, он быстро заглаживает свою вину какими-нибудь знаками уважения или тонкими похвалами, льющими бальзам на раны уязвлен-

ного самолюбия. Даже артисты, самые обидчивые в мире люди, прощают ему за ласковое слово или просто за возглас восхищения все его резкости и вспышки гнева.

— Но после того, что ты о нем знала, — ты, такая скромная и прямая, неужели и ты поддалась чарам этого василиска?

— Должна признаться, принцесса, что я, сама того не замечая, нередко испытывала на себе его обаяние. Все эти мелкие хитрости всегда были мне чужды, и я каждый раз оказывалась обманутой, а если и разгадываю их, то лишь потом, хорошенько поразмыслив. Часто мне приходилось видеть короля в театре, а иногда после спектакля он даже заходил в мою уборную. Он всегда он бывал со мной отечески ласков. Но мы никогда не оставались наедине, если не считать двух или трех встреч в садах Сан-Суси, да и то, должна признаться, это я сама проследила часы его прогулок и старалась попасться ему на глаза. В подобных случаях он подзывал меня или сам любезно шел мне навстречу, и я пользовалась минутой, чтобы заговорить с ним о Порпоре и напомнить о моей просьбе. Все время я получала те же самые обещания, но они так и не были исполнены. Впоследствии я изменила тактику

и стала просить позволения уехать в Вену, но король отвечал мне то ласковым упреком, то ледяной холодностью, а чаще всего проявлял явное раздражение. Так что и эта моя попытка оказалась столь же безуспешной. Правда, как-то раз король сухо ответил мне: «Поезжайте, мадемуазель, вы свободны». Но даже и после этого я не получила ни полного расчета, ни бумаг, ни подорожной. Итак, ничто не изменилось, и, если мое положение сделается невыносимым, я вижу только один выход — бегство. Увы, принцесса! Меня часто коробило отсутствие у Марии-Терезии музыкального вкуса, но я и не подозревала тогда, что король-меломан гораздо более опасен, чем императрица, лишенная слуха.

Вот, в сущности, и все, что я могу рассказать вам о моих отношениях с его величеством. Ни разу у меня не было повода испугаться или просто заподозрить его в фантазии полюбить меня, — фантазии, которую вашему высочеству угодно было ему приписать. Правда, я испытывала иногда гордость при мысли о том, что благодаря некоторому музыкальному таланту и тому необыкновенному случаю, когда мне посчастливилось спасти королю жизнь, он питает ко мне нечто вроде дружбы. Он не раз говорил мне это

и говорил так мило, с такой непринужденной откровенностью, он как будто испытывал от беседы со мной такое неприкрытое, исполненное такого благоволения удовольствие, что я, быть может бессознательно и, уж конечно, невольно, привыкла отвечать ему столь же своеобразной дружбой. Это слово звучит странно в моих устах и, без сомнения, кажется неуместным, но чувство горячей почтительности и робкого доверия, какое мне внушают присутствие, взгляд, голос и ласковые речи этого царственного василиска, как вы его назвали, столь же необычно, сколь искренно. Мы собрались здесь, чтобы говорить все, и условились, что я буду откровенна до конца. Так вот — признаюсь вам, что король внушает мне страх, почти ужас, когда я его не вижу и только дышу разреженным воздухом его империи, но стоит мне увидеть его, как я подпадаю под его обаяние и готова любым способом доказать ему всю ту преданность, какую застенчивая, но любящая дочь может питать к строгому, но доброму отцу.

— Я вся дрожу! — вскричала принцесса. — О боже! А вдруг ты поддашься его влиянию или его чарам настолько, что выдашь нашу тайну!

— О нет, принцесса. Не бойтесь, этого никогда не будет. Когда дело касается моих друзей и вооб-

ще кого бы то ни было, кроме меня самой, то не только королю, но даже и более искусным фарисеям, если они существуют, не удастся поймать меня в ловушку.

— Я тебе верю. Твое чистосердечие оказывает на меня такое же действие, какое на тебя оказывает Фридрих. Ну, ну, не сердись, я вовсе не сравниваю вас. Продолжай свою историю и расскажи о Калиостро. Мне говорили, что на одном сеансе магии он показал тебе мертвеца, который, как я предполагаю, оказался графом Альбертом.

— Я готова исполнить ваше желание, благородная Амалия, но если уж я решусь рассказать вам еще одну тягостную историю, о которой хочу, но не могу забыть, то, по нашему условию, я тоже имею право задать вам несколько вопросов. — Я готова тебе ответить.

— Если так, скажите, принцесса, верите ли вы, что мертвые могут выходить из могилы, или по крайней мере что маги способны показать нам их лица, одушевленные каким-то подобием жизни, причем эти видения могут до такой степени завладеть нашим воображением, что мы почти теряем рассудок и видим их собственными глазами?

— Вопрос этот очень сложен, и я могу ответить

только одно: я не верю в то, чего не может быть. Не верю ни в магию, ни в воскрешение мертвых. А вот наше бедное, безумное воображение — оно способно на все, в это я верю.

— Ваше высочество… прости, твое высочество не верит в магию, а между тем… Но может быть, этот вопрос будет нескромным?..

— Закончи свою мысль: между тем я посвятила себя магии? Да, это всем известно. Но позволь мне, дитя мое, объяснить тебе эту странную непоследовательность в более подходящую минуту. Уже при виде таинственной тетрадки, присланной через чародея Сен-Жермена и оказавшейся письмом, адресованным мне Тренком, ты могла бы понять, что вся эта мнимая некромантия способна служить ширмой для чего угодно. Но не могу же я за такой короткий срок открыть тебе все то, что она скрывает от глаз толпы, что она утаивает от шпионов, шныряющих при дворах, и от тирании законов. Наберись терпения, я решила приобщить тебя ко всем моим тайнам. И ты заслуживаешь этого гораздо больше, чем моя дорогая фон Клейст, потому что она труслива и суеверна. Да, этот ангел доброты, эта кроткая душа не обладает здравым смыслом. Она верит в дьявола, в чародеев, в привидения,

в предзнаменования, верит так, словно не в ее руках были сосредоточены тайные нити всей этой грандиозной аферы. Она напоминает тех алхимиков минувших времен, которые терпеливо и умело создавали уродов, а потом до такой степени пугались своих собственных созданий, что становились рабами какого-нибудь чертика, вышедшего из их реторты.

— Быть может, я и сама оказалась бы не храбрее госпожи фон Клейст, — возразила Порпорина, — и должна признаться, что мне довелось стать свидетелем власти, если даже не всемогущества Калиостро. Вообразите, что, пообещав показать задуманного мною человека, имя которого он якобы прочитал в моих глазах, он показал мне другое лицо и — более того — показал мне его живым, как будто и не подозревая, что тот умер. И все же, несмотря на эту двойную ошибку, он воскресил перед моими глазами покойного моего супруга, и это навсегда останется для меня мучительной и страшной загадкой.

— Он показал тебе какой-нибудь призрак, а твое воображение дополнило все остальное.

— Воображение тут совершенно ни при чем, могу вас уверить. Я ожидала, что увижу через стекло или сквозь прозрачную завесу изображе-

ние маэстро Порпоры. Дело в том, что за ужином я несколько раз заговаривала о нем и, выражая сожаление по поводу его отсутствия, заметила, что господин Калиостро внимательно прислушивается к моим словам. Чтобы облегчить ему задачу, я мысленно представила себе лицо моего учителя и ждала совершенно спокойно, пока еще не принимая этот опыт всерьез. И хотя мысль об Альберте никогда не покидает меня, как раз в этот момент я не думала о нем. Входя в колдовскую лабораторию, Калиостро спросил, позволю ли я завязать себе глаза и согласна ли пойти с ним, держась за его руку. Зная, что он человек воспитанный, я согласилась без колебаний, но при условии, что он ни на минуту не оставит меня одну. «А я как раз и собирался, — сказал он мне, — попросить вас не отходить от меня ни на шаг и не выпускать моей руки, что бы ни случилось и какое бы волнение вы ни испытали». Я обещала, но это его не удовлетворило, и он заставил меня торжественно поклясться, что, когда появится видение, я не сделаю ни одного жеста, не издам ни одного восклицания, словом, буду безмолвна и неподвижна. Затем он надел перчатку и, накинув мне на голову черный бархатный капюшон, ниспадающий до самых плеч, повел меня куда-то.

Мы шли так около пяти минут, но я не слышала, чтобы закрывалась или открывалась хоть одна дверь. Благодаря капюшону я не чувствовала никакого изменения воздуха и не знаю, выходили мы из кабинета или нет: чтобы помешать мне запомнить направление, Калиостро заставил меня проделать множество кругов и поворотов. Наконец он остановился и снял с меня капюшон, но сделал это так легко, что я ничего не заметила. Мне стало легче дышать, и только поэтому я поняла, что перед глазами у меня уже нет преграды, но вокруг был такой глубокий мрак, что и без капюшона я ровно ничего не видела. Однако через некоторое время я различила перед собой звезду, сначала мерцающую и бледную, а потом сверкающую и яркую. В первое мгновение она показалась мне очень отдаленной, но, став яркой, совсем приблизилась. Вероятно, это зависело от более или менее сильного света, проникавшего сквозь прозрачную завесу. Калиостро подвел меня к этой звезде, как бы врезанной в стену, и по ту сторону я увидела странно убранную комнату с множеством свечей, размещенных в определенном порядке. Эта комната своим убранством и расположением казалась вполне подходящей для какого-нибудь колдовского действа. Но я не

успела хорошенько ее разглядеть; мое внимание сразу приковал к себе человек, сидевший за столом. Он сидел один, закрыв руками лицо, видимо, погруженный в глубокое раздумье. Итак, я не могла рассмотреть его черты, и фигуру его тоже скрывало одеяние, какого я никогда ни на ком не видела. Насколько я могла различить, это была белая шелковая мантия или плащ на ярко-красной подкладке, застегнутый на груди какими-то золотыми иероглифическими эмблемами, среди которых я различила розу, крест, треугольник, череп и несколько роскошных разноцветных лент. Я поняла одно — это был не Порпора. Но через минуту или две это таинственное существо, которое я уже начала принимать за статую, медленно опустило руки, и я отчетливо увидела лицо графа Альберта — не такое, каким видела его в последний раз, с печатью смерти, нет, бледное, но живое, одухотворенное и безмятежно ясное, словом, такое, каким оно бывало в лучшие часы его жизни — в часы спокойствия и доверия. Я чуть было не вскрикнула и не разбила невольным движением стекло, которое нас разделяло, но Калиостро сильно сжал мне руку, и это напомнило мне о моей клятве; я почувствовала смутный страх. К тому же в эту минуту в глубине комнаты,

где сидел Альберт, открылась дверь, и туда вошли несколько незнакомых людей, одетых почти так же, как он, и со шпагами в руках. Проделав какие-то странные телодвижения, словно играя пантомиму, они поочередно обратились к нему с торжественными и непонятными словами. Он встал, подошел к ним и ответил им столь же непонятно, хотя теперь я знаю немецкий язык не хуже, чем родной. Их речи походили на те, какие мы порой слышим во сне, да и вся необычность этой сцены, чудесное появление этого призрака так напоминали сон, что я сделала попытку шевельнуться, желая убедиться, что не сплю. Но Калиостро заставил меня стоять неподвижно, да и голос Альберта был так хорошо мне знаком, что я уже не могла сомневаться в реальности того, что вижу. Поддавшись непреодолимому желанию заговорить с ним, я готова была забыть свою клятву, как вдруг черный капюшон вновь опустился на мои глаза. Я быстро сорвала его, но светлая звезда уже исчезла, и все погрузилось в кромешный мрак. «Если вы сделаете хоть малейшее движение, — глухо прошептал Калиостро дрожащим голосом, — ни вы, ни я — мы никогда больше не увидим света». Я нашла в себе силы последовать за ним, и мы еще долго зигзагами

шагали в неведомом пространстве. Наконец он в последний раз снял с меня капюшон, и я оказалась в его лаборатории, освещенной так же слабо, как и в начале нашего приключения. Калиостро был очень бледен и все еще дрожал, как прежде, во время нашего перехода. Тогда тоже рука его, державшая мою руку, судорожно вздрагивала, и он очень торопил меня, видимо испытывая сильный страх. С первых же слов он начал горько упрекать меня за недобросовестность, с какой я нарушила свои обещания и едва не подвергла его ужасной опасности. «Мне бы следовало помнить, — добавил он суровым и негодующим тоном, — что честное слово женщин ни к чему их не обязывает и что ни в коем случае нельзя уступать их праздному и дерзкому любопытству».

Пока что я не разделяла страха моего проводника. Я увидела Альберта живым — и это так меня потрясло, что я даже не задала себе вопроса, возможно ли это. На миг я забыла о том, что смерть навсегда отняла у меня моего милого, дорогого друга. Однако волнение Калиостро наконец напомнило мне, что все это было лишь чудом, что я видела призрак. И все-таки мой рассудок стремился отвергнуть все сомнения, а язвительные упреки Калиостро вызвали во мне какое-то болез-

ненное раздражение, которое избавило меня от слабости. «Вы притворяетесь, будто принимаете всерьез ваши собственные лживые измышления, — с горячностью возразила ему я, — но это жестокая игра. Да, да, вы играете с самым священным, что есть в мире, — со смертью».

«Душа неверующая и слабая, — ответил он с горячностью, но внушительно. — Вы верите в смерть, как верит в нее толпа. А ведь у вас был великий наставник — наставник, сотни раз повторявший вам: „Никто не умирает, ничто не умирает, смерти нет“. Вы обвиняете меня во лжи и как будто не знаете, что единственной ложью является во всем этом слово смерть, которое сорвалось с ваших нечестивых уст». Признаюсь, этот странный ответ взволновал меня и на миг победил сопротивление моего смятенного ума. Как мог этот человек быть так хорошо осведомлен не только о моих отношениях с Альбертом, но даже и о тайне его учения? Разделял ли он его веру, или просто воспользовался ею как оружием, чтобы покорить мое воображение?

Я была растеряна и сражена. Но вскоре я поняла, что не могу разделить этот грубый способ истолкования верований Альберта и что только от бога, а не от обманщика Калиостро зависит

вызывать смерть или пробуждать жизнь. Убедившись наконец, что я была жертвой иллюзии, которая в эту минуту казалась мне необъяснимой, но могла получить какое-то объяснение в будущем, я встала и, холодно похвалив искусство мага, спросила у него с легкой иронией, что означали странные речи, которыми обменивались его призраки. На это он ответил, что не может удовлетворить мое любопытство и что я должна быть довольной уже тем, что видела этого человека исполненным спокойствия и занятым полезной деятельностью. «Вы напрасно стали бы спрашивать у меня, — добавил он, — каковы его мысли и поступки в жизни. Я ничего о нем не знаю, не знаю даже его имени. Когда вы стали о нем думать и попросили показать вам его, между ним и вами образовалась таинственная связь, и моя власть оказалась настолько сильной, что он предстал перед вами. Дальше этого мое искусство не идет».

«Ваше искусство не дошло и до этого, — сказала я. — Ведь я думала о маэстро Порпоре, а ваша власть вызвала образ совсем другого человека». «Я ничего не знаю об этом, — ответил он с пугающей искренностью, — и даже не хочу знать. Я ничего не видел ни в ваших мыслях, ни в колдов-

ском изображении. Мой рассудок не выдержал бы подобных зрелищ, а мне, чтобы пользоваться своей властью, необходимо сохранять его в полной ясности. Но законы магии непогрешимы, и, значит, сами того не сознавая, вы думали не о Порпоре, а о другом человеке».

— Вот они, прекрасные речи маньяков! — сказала принцесса, пожимая плечами. — У каждого свои приемы, но все они с помощью какого-либо хитроумного рассуждения, которое можно, пожалуй, назвать логикой безумия, всегда умеют выпутаться из затруднительного положения и своими выспренными речами сбить собеседника с толку.

— Уж я-то, бесспорно, была сбита с толку, — продолжала Консуэло, — и совсем потеряла способность рассуждать здраво. Появление Альберта, действительное или мнимое, заставило меня еще острее ощутить свою утрату, и я залилась слезами.

«Консуэло! — торжественно произнес маг, предлагая мне руку, чтобы помочь выйти из комнаты. (И можете себе представить, как поразило меня еще и это — мое настоящее имя, никому здесь неизвестное и прозвучавшее вдруг в его устах.) Вам надо искупить серьезные прегрешения, и, я

надеюсь, вы сделаете все, чтобы вновь обрести спокойную совесть». У меня не хватило сил ответить ему. Оказавшись среди друзей, нетерпеливо ожидавших меня в соседней комнате, я тщетно пыталась скрыть от них слезы. Я тоже испытывала нетерпение — нетерпение как можно скорее уйти от них, и, оставшись одна, на свободе предалась своему горю. Всю ночь я провела без сна, вспоминая и обдумывая события этого рокового вечера. Чем больше я старалась понять их, тем больше запутывалась в лабиринте догадок и, признаюсь, мои домыслы были более безумны и более мучительны, чем могла бы быть слепая вера в пророчества магии. Утомленная этой бесплодной работой мозга, я решила отложить свое суждение, пока на эту историю не прольется хоть луч света, но с тех пор я сделалась болезненно впечатлительной, подверженной нервическим припадкам, неуравновешенной и смертельно грустной. Я не ощущаю потерю друга острее, чем прежде, но угрызения совести, — а они немного заглохли во мне после его великодушного прощения, — теперь не перестают меня мучить. Продолжая выступать на сцене, я быстро пресытилась суетным опьянением успеха, а кроме того, в этой стране, где души людей представляются

мне такими же угрюмыми, как ваш климат…

— И как деспотизм, — добавила аббатиса.

— В этой стране, где, кажется, я и сама сделалась печальной и холодной, мое пение не сможет развиваться так, как я мечтала…

— Да разве твое пение еще нуждается в этом? Мы никогда не слышали такого голоса, как твой, и я думаю, что во всем мире нет подобного совершенства. Я говорю то, что думаю, и моя похвала — это не комплимент в духе Фридриха.

— Даже если бы суждение вашего высочества было справедливо (а я не берусь судить об этом, ибо, кроме певиц Романины и Тези, слышала до сих пор только самое себя), — с улыбкой возразила Консуэло, — мне кажется, что человек всегда может к чему-то стремиться и что-то находить сверх того, что он уже сделал. Да, я могла бы приблизиться к тому идеалу, о котором всегда мечтала, если бы моя жизнь была деятельной, полной борьбы, дерзаний, разделенных привязанностей, словом — вдохновения! Но холодная регулярность, которая царит здесь, военная дисциплина, установленная даже за кулисами театра, спокойная и неизменная благосклонность публики, которая, слушая нас, думает о своих делах, высокое покровительство короля, заранее

обеспечивающее нам успех, отсутствие соперничества и обновления как в составе артистов, так и в репертуаре, а главное, мысль о нескончаемом плене, — вся эта обыденная, полная равнодушного труда, унылой славы и невольной бережливости жизнь в Пруссии отняла у меня надежду и даже охоту совершенствоваться. Бывают дни, когда я чувствую себя настолько вялой, настолько лишенной того щекочущего самолюбия, которое помогает артисту в его игре, что готова была бы заплатить даже за свисток, только бы он разбудил меня. Увы! Я могу дурно спеть начало, могу выдохнуться к концу спектакля — меня неизменно ждут аплодисменты. Они не доставляют мне ни малейшего удовольствия, если я их не заслужила, и причиняют боль, если я случайно заслужила их, — ведь и в этом случае они так же официально рассчитаны, так же соразмерены с правилами придворного этикета, как обычно, а между тем я чувствую, что имела бы право на большее. Все это может показаться вам ребячеством, благородная Амалия, но вы хотели заглянуть в тайники души актрисы, и я ничего от вас не скрыла.

— Ты рисуешь свои чувства так живо, что я словно сама переживаю все это вместе с тобой.

Что ж, я готова услужить тебе и освистать, когда ты будешь чересчур вялой, а потом бросить венок из роз, после того как мне удастся тебя расшевелить.

— Увы, моя добрая принцесса! Король не одобрил бы ни того, ни другого. Королю не угодно, чтобы кто-нибудь обижал его актеров, ибо ему известно, что вслед за шиканьем могут быстро последовать овации. Нет, несмотря на ваши великодушные намерения, скука моя неизлечима. И к этой томительной тоске у меня с каждым днем добавляется сожаление о том, что жизни, полной любви и преданности, я предпочла это ложное и пустое существование. После приключения с Калиостро черная меланхолия заняла еще больше места в моем сердце. Не проходит ночи, чтобы я не увидела во сне Альберта, то разгневанного, то равнодушного и озабоченного, говорящего на непонятном языке, погруженного в размышления, совершенно чуждые нашей любви, — словом, такого, каким он был во время сеанса магии. Просыпаясь в холодном поту, я плачу и думаю, что в том новом существовании, в которое он вступил после смерти, его скорбящая и смятенная душа, быть может, еще страдает от моего пренебрежения и неблагодарности. Так

или иначе, но я убила его, это несомненно, и ни один человек, даже если он заключил соглашение со всеми силами неба или преисподней, не властен соединить меня с ним. Я ничего уже не могу исправить в этой жизни, бесполезной и одинокой, и теперь у меня одно желание — чтобы конец наступил как можно скорее.

Глава 10

— Но разве ты не приобрела здесь новых друзей? — спросила принцесса Амалия. — Неужели среди стольких умных и одаренных людей, которых мой брат собрал у себя со всех концов света — и он очень гордится этим, — нет ни одного, достойного уважения?

— Разумеется, есть, принцесса, и если бы меня не тянуло к уединению, я могла бы найти вблизи себя несколько лиц, которые питают ко мне дружбу. Мадемуазель Кошуа…

— Ты хочешь сказать — маркиза д'Аржанс?

— Я не знала, что она носит это имя.

— Это хорошо — ты не выдаешь чужих тайн. Скажи мне, она воспитанная особа?

— Чрезвычайно. И, в сущности, она очень добра, только немного надменна: из-за ухаживания и уроков господина маркиза она смотрит на своих товарищей актеров несколько свысока.

— Как посрамлена была бы она, если б узнала, кто ты. Имя Рудольштадтов — одно из самых прославленных в Саксонии, тогда как д'Аржансы — всего лишь мелкопоместные дворяне из Про-

ванса или Лангедока. А что собой представляет синьора Коччеи? Ты с ней знакома?

— После замужества мадемуазель Барберини уже не танцует в Опере и большую часть времени проводит за городом, поэтому мне редко удавалось видеться с ней. Я симпатизировала ей больше, чем всем остальным актрисам театра, и оба — и она и ее муж — часто приглашали меня погостить в свои владения. Однако король дал мне понять, что мои поездки туда были бы ему неприятны, и мне пришлось отказаться, даже не зная, чего ради меня лишают этого удовольствия.

— Сейчас узнаешь. Прежде король ухаживал за мадемуазель Барберини, но она предпочла ему сына главного канцлера, и король боится, как бы дурной пример не оказался для тебя заразительным. Ну, а мужчины? Разве ты не подружилась ни с кем из них?

— Я очень расположена к Францу Бенде, первой скрипке оркестра его величества. В наших судьбах есть немало общего. Так же, как я в детстве, он вел в юности цыганскую жизнь, так же, как я, он не слишком ценит блага сего мира и свободу ставит выше богатства. Он часто рассказывал мне, как убежал от роскоши саксонского двора,

чтобы разделить бродячее, веселое и нищенское существование странствующих артистов. Светские люди не знают, что на больших дорогах и городских улицах можно встретить настоящих больших музыкантов. Учителем Бенды в его скитаниях был старый еврей по имени Лебедь, и Бенда говорит о нем с восхищением, хоть тот и умер на соломе, а может быть, даже в канаве. До того как Франц Бенда посвятил себя скрипке, у него был великолепный голос, и пение было его профессией. В Дрездене от огорчений и тоски голос у него пропал, но на чистом воздухе скитаний у него появился новый талант, его гений снова расцвел. И вот из этой походной консерватории вышел замечательный виртуоз, которого его величество удостаивает приглашать на свои камерные концерты. Георг Бенда, самый младший его брат, тоже своеобразный и одаренный человек, порой эпикуреец, порой мизантроп. Его причудливый ум не всегда приятен, но всегда интересен. Думаю, что этот не остепенится, как все остальные его братья, которые теперь покорно влачат золотую цепь королевской любви к музыке. Потому ли, что он моложе их, или потому, что его натура неукротима, он не перестает говорить о бегстве. Он скучает здесь так непритворно, что

мне доставляет удовольствие скучать вместе с ним.

— А не надеешься ли ты, что эта разделенная скука приведет к более нежному чувству? Любовь не раз рождалась из скуки.

— Нет, — ответила Консуэло, — эта мысль не внушает мне ни надежд, ни опасений, так как я чувствую, что этого никогда не будет. Ведь я уже сказала вам, дорогая Амалия, — со мной происходит нечто странное. С тех пор, как Альберт умер, я люблю его, думаю лишь о нем одном, не могу любить никого другого. Вероятно, впервые любовь родилась из смерти, и тем не менее со мной случилось именно так. Я безутешна при мысли, что не дала счастья человеку, который был его достоин, и это стойкое раскаяние превратилось у меня в навязчивую идею, в нечто похожее на страсть, быть может — на безумие!

— Да, возможно, — сказала принцесса. — Во всяком случае, это болезнь… А между тем я очень хорошо понимаю такую боль, ибо испытываю ее сама. Ведь я люблю человека, которого здесь нет и которого я, может быть, никогда не увижу. Пожалуй, это то же или почти то же, что любить умершего. Но скажи мне, разве принц Генрих, мой брат, не привлекательный молодой

человек?

— Без сомнения.

— Ценитель всего прекрасного, артист душой, герой на войне… Некрасив, но лицо его поражает и привлекает… Ум независимый и гордый. Враг деспотизма, непокоренный раб, несущий угрозу моему другому брату — тирану… Словом, лучший из нашей семьи, это несомненно. Говорят, он в тебя влюблен, — не признавался ли он тебе в этом?

— Я приняла его слова за шутку.

— И не хочешь принять всерьез?

— Нет, принцесса.

— Ты чересчур разборчива, дорогая. Что же ты можешь поставить ему в упрек?

— Один большой недостаток или, во всяком случае, непреодолимое препятствие для моей любви к нему: он принц.

— Благодарю за комплимент, злюка! Так, значит, не он был причиной твоего обморока во время одного из последних спектаклей? Я слышала, что король, недовольный тем, что принц бросал на тебя нежные взгляды, отправил его под арест в самом начале спектакля, и ты заболела от огорчения. — Я даже не подозревала, что принц был арестован, и убеждена, что это произошло не по моей вине. Нет, причиной моего нездоро-

вья было совсем другое. Вообразите, принцесса, что посреди арии, которую я пела несколько машинально, как это часто бывает со мной здесь, взгляд мой случайно упал на ложи первого яруса — те, что близ сцены, и вдруг из глубины ложи господина Головкина показалось бледное лицо человека, который наклонился вперед, рассматривая меня. То было лицо Альберта, принцесса. Клянусь самим богом, я видела его, я узнала его. Быть может, это была иллюзия, видение, но никакое видение не могло быть более отчетливым, более страшным.

— Бедняжка! Ты подвержена галлюцинациям, в этом нет сомнения.

— О, это еще не все. На прошлой неделе, в тот день, когда я передала вам письмо барона фон Тренка, уходя от вас, я заблудилась во дворце и, встретившись у входа в кабинет редкостей с господином Штоссом, остановилась побеседовать с ним. И вот я снова увидела лицо Альберта, но на этот раз оно было угрожающим, а не равнодушным, как накануне, в театре, и теперь по ночам в моих сновидениях оно все время видится мне то разгневанным, то исполненным презрения.

— А господин Штосе тоже видел его?

— Прекрасно видел и сказал мне, что это некий

Трисмегист, с которым ваше высочество охотно беседует о некромантии.

— Праведное небо! — вскричала госпожа фон Клейст, побледнев. — Я так и знала, что он настоящий колдун! Никогда я не могла смотреть на этого человека без страха. Несмотря на красивое лицо и благородный вид, в нем есть что-то сатанинское, и я убеждена, что, подобно Протею, он способен принимать любой облик, чтобы пугать людей. К тому же, как все эти маги, он вечно всех бранит, вечно всем недоволен. Помню, как, составляя мой гороскоп, он отчитал меня за то, что я развелась с господином фон Клейстом после того, как муж разорился, и сказал, что это настоящее преступление. Я собиралась что-то ответить в свое оправдание и, так как он держался со мной несколько высокомерно, начинала уже сердиться, как вдруг он с горячностью предсказал мне, что я вторично выйду замуж и второй мой муж погибнет по моей вине еще более трагически, чем первый, но что я буду наказана за это угрызениями совести и всеобщим осуждением. При этих словах лицо его стало таким грозным, что мне показалось, будто передо мной

воскресший господин Клейст, и я с криком убежала в покои ее высочества.

— Да, это была забавная сцена, — произнесла принцесса сухим и едким тоном, который по временам возвращался к ней как бы помимо ее воли. — Я хохотала как безумная.

— По-моему, тут не над чем было смеяться, — простодушно возразила Консуэло. — Но кто все-таки он такой, этот Трисмегист? Ведь если ваше высочество не верит в магов, то…

— Я обещала, что когда-нибудь расскажу тебе, что такое магия, но не торопи меня. А пока что знай: прорицатель Трисмегист — это человек, к которому я отношусь с большим уважением и который сможет быть полезен нам — всем трем… И не только нам одним!..

— Мне очень хотелось бы увидеть его еще раз, — сказала Консуэло. — Да, хоть при одной мысли об этом меня бросает в дрожь, мне хочется в спокойном состоянии проверить, действительно ли он так похож на графа Рудольштадта, как я вообразила.

— Действительно ли он похож на графа Рудольштадта, говоришь ты… Знаешь, ты напомнила мне об одном обстоятельстве, которое я совсем забыла. И, быть может, оно весьма прозаически разъяснит всю эту великую тайну… Подожди минутку, дай подумать… Да, да! Вспомнила! Слушай,

бедняжка моя, и учись относиться с недоверием ко всему, что кажется сверхъестественным. Тот, кого показал тебе Калиостро, был Трисмегист, ибо у Калиостро есть с ним какие-то сношения. Тот, кого ты видела в театре, в ложе графа Головкина, был Трисмегист, ибо Трисмегист живет у него в доме и они вместе занимаются химией или алхимией. И, наконец, тот, кого ты видела во дворце на следующий день, тоже был Трисмегист, ибо вскоре после того, как я простилась с тобой, он приходил ко мне и, между прочим, рассказал мне множество подробностей о побеге Тренка.

— Чтобы похвастаться, будто способствовал его побегу, — добавила госпожа фон Клейст, — и получить с вашего высочества деньги, которых, он, конечно, не издержал. Ваше высочество может думать о Трисмегисте что угодно, но я осмелюсь сказать это и ему самому: он авантюрист.

— Что не мешает ему быть великим магом, не так ли, Клейст? Каким же образом в тебе уживается такое глубокое почтение к его искусству и такое презрение к нему самому?

— Ах, принцесса, это вполне понятно. Мы боимся чародеев, но и ненавидим их. Это чувство очень похоже на то, какое мы испытываем по отношению к дьяволу.

— И тем не менее все хотят увидеть дьявола и не могут обойтись без чародеев. Такова твоя логика, моя прекрасная Клейст!

— Но, принцесса, каким же образом вы узнали, что этот человек похож на графа Рудольштадта? — спросила Консуэло, слушавшая этот странный спор с жадным вниманием.

— Совершенно случайно — я и забыла тебе сказать. Сегодня утром, когда Сюпервиль рассказывал мне твою историю и историю графа Альберта, этого странного человека, мне захотелось узнать, был ли он красив и отражалось ли на его наружности его необыкновенное воображение. Сюпервиль задумался, а потом ответил: «Знаете, сударыня, мне нетрудно дать вам о нем правильное представление. Ведь среди ваших „игрушек“ есть один чудак, который необыкновенно походил бы на этого беднягу Рудольштадта, если бы он был более худым, более бледным и причесывался по-другому. Это ваш чародей Трисмегист». Вот где разгадка, моя прелестная вдова, и эта разгадка столь же мало загадочна, как вся их компания — Калиостро, Трисмегист, Сен-Жермен и так далее.

— Вы сняли у меня с сердца огромную тяжесть, — сказала Порпорина, — и сорвали с глаз

черную пелену. Мне кажется, что я возрождаюсь к жизни, пробуждаюсь от мучительного сна! Да благословит вас бог за это объяснение. Значит, я не безумная, значит, у меня нет видений, значит, я больше не буду бояться себя самой!.. И все-таки… Человеческое сердце непостижимо… — добавила она после минутного размышления. — Кажется, я уже жалею о своем былом страхе и о своих прежних мыслях. В своем помешательстве я почти убедила себя, что Альберт не умер и что наступит день, когда, заставив меня страшными галлюцинациями искупить зло, которое я ему причинила, он вернется ко мне без чувства обиды или неприязни. Теперь же я твердо уверена в том, что Альберт спит в гробнице своих предков, что он уже не проснется, что смерть не отдаст своей добычи, и эта уверенность ужасна!

— И ты могла в этом сомневаться? Да, в безумии есть доля счастья. А я вот не надеялась, что Тренк выйдет из темниц Силезии, хотя это было возможно, хотя это все-таки случилось.

— Если бы я рассказала вам, прекрасная Амалия о всех тех догадках, какие приходили мне на ум, вы бы увидели, что, несмотря на кажущееся неправдоподобие, они были не так уже невозможны. Взять хотя бы летаргию… У Альберта

бывали припадки летаргического сна. Впрочем, я не хочу вспоминать о всех этих безумных догадках. Теперь они мне неприятны — ведь человек, которого я приняла за Альберта, оказался каким-то авантюристом.

— Трисмегист не тот, за кого его принимают… Достоверно одно — это не граф Рудольштадт: я знаю его уже несколько лет, и все это время он, по крайней мере для вида, занимается ремеслом прорицателя. Притом он не так уж похож на графа Рудольштадта, как ты себя в этом убедила. Сюпервиль — а он слишком искусный врач, чтобы хоронить людей, когда они в летаргическом сне, и к тому же не верит в привидения, — итак, Сюпервиль увидел и кое-какие различия, которых ты в своем смятении не смогла заметить.

— Как бы мне хотелось еще раз увидеть этого Трисмегиста, — задумчиво произнесла Консуэло.

— Ты увидишь его не скоро, — холодно ответила принцесса. — Как раз в день вашей встречи во дворце он уехал в Варшаву. Он никогда не проводит в Берлине более трех дней. Но через год он, конечно, вернется.

— А что, если это Альберт!.. — сказала Консуэло, погруженная в глубокое раздумье.

Принцесса пожала плечами.

— Право, — сказала она, — судьба приговорила меня не иметь иных друзей, кроме сумасшедших — как мужчин, так и женщин. Одна принимает моего мага за своего покойного мужа, каноника фон Клейста. Другая — за своего покойного супруга, графа Рудольштадта. К счастью, у меня еще есть голова на плечах, не то я приняла бы его за Тренка, и бог весть, что могло бы из этого выйти. Трисмегист плохой маг, если не воспользовался подобными ошибками! Успокойтесь, Порпорина, не смотрите на меня так испуганно и смущенно, моя красавица. Придите в себя. Помните, ведь если бы граф Альберт не умер, а очнулся от летаргического сна, столь необыкновенное происшествие наделало бы в обществе много шума. К тому же вы, должно быть, сохранили какую-то связь с его семьей, и она, конечно, известила бы вас.

— Нет, я не сохранила с ней никакой связи, — ответила Консуэло. — Канонисса Венцеслава дважды написала мне за этот год и сообщила о двух печальных событиях: о смерти графа Христиана — ее старшего брата и отца моего мужа, который так и умер в беспамятстве и до последнего дня своей долгой, полной страданий жизни не осознал постигшего его несчастья, и о смерти

барона Фридриха, брата Христиана и канониссы, который погиб на охоте, свалившись в овраг с роковой горы Шрекенштейн. Разумеется, я сочла своим долгом ответить на письмо канониссы, но не решилась просить у нее позволения приехать и разделить с ней ее печаль. Судя по письмам, в сердце ее боролись два чувства — доброта и высокомерие. Она называла меня своей дорогой дочерью, своим великодушным другом, но, по-видимому, вовсе не нуждалась ни в моих заботах, ни в моем сочувствии.

— Так ты думаешь, что оживший Альберт спокойно и безвестно живет в замке Исполинов, не написав тебе об этом, втайне от всех, находящихся за пределами замка?

— Нет, принцесса, я этого не думаю, потому что это было бы совсем уж невероятно, и я просто сошла с ума, если еще в чем-то сомневаюсь, — ответила Консуэло, закрывая руками лицо, залитое слезами.

По мере того, как текли ночные часы, дурной характер принцессы начинал вступать в свои права. Ее насмешливый и беспечный тон при упоминании о событиях, столь близких сердцу Консуэло, жестоко ранил молодую девушку.

— Довольно, перестань сокрушаться, — рез-

ко сказала Амалия. — Нечего сказать, веселый получился вечер! Ты наговорила таких вещей, что сбежал бы сам дьявол. Фон Клейст все время дрожала и бледнела; кажется, она готова умереть со страху. Мне так хотелось быть счастливой, веселой, а вместо этого я сама страдаю, глядя на твои страдания, бедное мое дитя! Последние слова принцесса произнесла уже другим тоном, и, подняв голову, Консуэло увидела слезы сострадания, катившиеся по ее щеке, хотя губы все еще кривила ироническая усмешка. Консуэло поцеловала протянутую ей руку и мысленно пожалела аббатису за то, что она не может быть доброй четыре часа кряду.

— Как ни глубока таинственность, окружающая твой замок Исполинов, — добавила принцесса, — как ни велика гордыня канониссы и скрытность ее слуг, уверяю тебя, — все, что там происходит, так же быстро становится достоянием гласности, как и в любом другом месте. Тщетно пытались родные скрыть странности графа Альберта, — вскоре о них узнал весь край, и еще до того, как к твоему несчастному супругу пригласили доктора Сюпервиля, о них заговорили придворные Байрейтского двора. Теперь в этой семье есть другая тайна, которую, без сомнения, скрывают с не

меньшим старанием и тоже не смогли уберечь от людского злословия. Я говорю о побеге молодой баронессы Амалии — она сбежала с красивым искателем приключений вскоре после смерти своего кузена.

— А я довольно долго не знала об этом. И могу сказать, что не все становится известным на этом свете: ведь до сих пор неизвестно ни имя, ни звание человека, похитившего молодую баронессу, как неизвестно и место, где они скрываются.

— Да, правда, Сюпервиль тоже говорил об этом. Поистине, старая Чехия — страна таинственных приключений. Однако это еще не значит, что граф Альберт…

— Во имя неба, принцесса, не будем больше говорить об этом. Простите, что я утомила вас своей длинной историей, и, когда ваше высочество прикажет мне удалиться, я…

— Два часа ночи! — воскликнула госпожа фон Клейст, вздрагивая при мрачном звуке башенных часов замка.

— Если так, дорогие подруги, нам надо расстаться, — сказала принцесса, вставая. — Моя сестра фон Анспах придет будить меня в семь часов, чтобы поделиться слухами о любовных похождениях своего дорогого маркграфа, который недавно

вернулся из Парижа, безумно влюбленный в мадемуазель Клерон. Прекрасная Порпорина, это вы, королевы сцены, в действительности являетесь королевами мира, как мы являемся ими по праву, и, поверьте, ваша участь завиднее. Нет такого монарха, которого вы не можете у нас отнять, если вам придет подобная фантазия, и я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день умная мадемуазель Ипполита Клерон сделается маркграфине фон Анспах, заменив мою глупую сестру. Дай мне шубу, фон Клейст, я хочу проводить вас до конца галереи.

— И потом принцесса вернется одна? — с испугом спросила госпожа фон Клейст.

— Да, одна, — ответила Амалия, — и притом без малейшего страха перед дьяволом и его приспешниками, хотя, по слухам, они уже несколько ночей в полном составе собираются у нас во дворце. Пойдем, Консуэло, пойдем! Полюбуемся, как будет дрожать фон Клейст, проходя через галерею.

Принцесса взяла свечу и вышла первая, увлекая за собой взволнованную госпожу фон Клейст. Консуэло шла за ними, тоже немного встревоженная, сама не зная почему.

— Уверяю вас, принцесса, — говорила госпожа

фон Клейст, — что страшно неосторожно проходить сейчас через эту часть замка. Что вам стоит оставить нас у себя еще на полчаса? В половине третьего все привидения уже исчезают.

— Нет, нет, — возразила Амалия, — я не прочь встретиться с ней и взглянуть, что она собой представляет.

— О ком вы говорите? — спросила Консуэло, догоняя госпожу фон Клейст.

— Ты не знаешь? — удивилась принцесса. — Вот уже несколько ночей, как белая женщина, та, что обычно подметает лестницы и коридоры дворца перед тем, как один из членов королевской фамилии должен умереть, появилась опять. И, по слухам, она начала свои забавы именно здесь, возле моих комнат. Значит, под угрозой именно моя жизнь. Вот почему я так спокойна. Моя невестка, королева прусская (самая безмозглая голова, когда-либо носившая корону) не может, говорят, уснуть от страха и каждый вечер уезжает ночевать в Шарлоттенбург, но так как и она, и королева, моя мать, которая в этих делах ничуть не умнее ее, питают к Женщине с метлой бесконечное почтение, обе дамы запретили выслеживать призрак и нарушать его благородные занятия. Поэтому дворец усиленно подметает сам

Люцифер, что, как видишь, не мешает полу быть довольно грязным.

В эту минуту большущий кот, выскочивший откуда-то из темноты галереи, с громким мяуканьем промчался мимо госпожи фон Клейст. Та испустила пронзительный крик и хотела было бежать обратно, в сторону покоев принцессы, но Амалия силой удержала ее, огласив пустоту коридоров раскатами хриплого язвительного хохота, еще более зловещего, чем северный ветер, свистевший в обширном пустом здании. Консуэло дрожала от холода, а может быть, и от страха, так как искаженное лицо госпожи фон Клейст говорило, казалось, о реальной опасности, а деланная и вызывающая веселость принцессы отнюдь не убеждала в искренности ее спокойствия.

— Я восхищаюсь упорным неверием вашего королевского высочества, — с досадой сказала госпожа фон Клейст прерывающимся от волнения голосом, — но если бы вы видели и слышали, как я, эту белую женщину накануне смерти короля, вашего августейшего отца…

— К несчастью, я убеждена, — язвительным тоном прервала ее Амалия, — что на этот раз она пришла не затем, чтобы возвестить смерть короля, моего августейшего брата, и, стало быть,

она пришла за мной, чему я очень рада. Чертовка отлично знает, что для моего счастья необходима либо одна, либо другая из этих двух смертей.

— Ах, принцесса, не говорите так в подобную минуту! — с трудом выговорила госпожа фон Клейст, у которой стучали зубы. — Умоляю, остановитесь и прислушайтесь — разве сейчас можно оставаться спокойной? Принцесса остановилась с насмешливым видом, но когда шум ее плотного и жесткого, словно картон, шелкового платья перестал заглушать более отдаленные звуки, наши три героини, стоявшие в конце коридора, уже почти у самой лестничной площадки, явственно различили сухой стук метлы, которая неравномерно ударяла по каменным ступенькам и, казалось, быстро приближалась к ним, поднимаясь все выше, словно кто-то из слуг спешил закончить свою работу.

Принцесса с секунду колебалась, потом решительно сказала:

— Так как на этом свете ничего сверхъестественного нет, я хочу узнать, кто там — лунатик-лакей или проказливый паж. Опусти вуаль, Порпорина, не надо, чтобы нас видели вместе. Ну, а ты, фон Клейст, можешь падать в обморок, если тебе угодно. Предупреждаю, что не буду с

тобой возиться. Идем, храбрая Рудольштадт, тебе случалось без страха встречать и более страшные приключения. Если любишь меня, следуй за мной.

Амалия твердым шагом направилась к началу лестницы. Консуэло, которой принцесса не позволила нести свечу, пошла за ней, а госпожа фон Клейст — ей было одинаково страшно и оставаться одной и двигаться вперед — поплелась сзади, цепляясь за накидку Порпорины.

Адская метла умолкла, и принцесса, дойдя до перил, остановилась, вытянув руку со свечой, чтобы осветить себе путь. Однако потому ли, что спокойствие ее было наигранным, или потому, что она увидела нечто страшное, рука ее дрогнула, и позолоченный подсвечник с хрустальным узорчатым ободком с треском упал вместе со свечой в глубокий и гулкий лестничный пролет. Тут госпожа фон Клейст, совсем потеряв голову и забыв не только об актрисе, но и о принцессе, пустилась бежать обратно по галерее и бежала до тех пор, пока не наткнулась в темноте на дверь в покои своей повелительницы, где и нашла убежище. А принцесса, не в силах побороть волнение и вместе с тем стыдясь признаться себе, что сдала позиции, направилась вместе с Консу-

эло той же дорогой, вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее, ибо чьи-то другие шаги слышались за ее спиной, и это не были шаги Порпорины — певица шла с ней рядом и, пожалуй, еще более решительно, хотя и без малейшей рисовки. Эти странные шаги громко отдавались в темноте на каменных плитах и словно догоняли их с каждой секундой, напоминая шаркающие шаги старухи, обутой в ночные туфли: метла же делала свое дело, стукаясь о стены — то справа, то слева. Этот короткий путь показался Консуэло бесконечно длинным. Людей здравомыслящих и истинно бесстрашных может победить только такая опасность, которую нельзя ни предвидеть, ни понять. Не претендуя на бесполезную отвагу, Консуэло ни разу не обернулась. Принцесса же утверждала потом, будто она сама неоднократно оборачивалась, но так ничего и не увидела в кромешном мраке, и впоследствии никто не мог ни опровергнуть, ни подтвердить ее слова. Консуэло помнила только, что во время этого вынужденного отступления Амалия ни разу не замедлила шаг, не обратилась к ней ни с единым словом и что, поспешно войдя к себе, она едва не захлопнула дверь перед самым носом у своей гостьи. Однако же принцесса не призналась в своей

слабости и, быстро обретя хладнокровие, начала высмеивать госпожу фон Клейст, совсем больную от перенесенного волнения, и горько упрекать ее в трусости и невнимании к ее особе. Сострадательная Консуэло, которой жалко было смотреть на тяжелое состояние госпожи фон Клейст, постаралась смягчить принцессу, и та удостоила заметить, что ее любимица Клейст все равно ничего не слышит, ибо в полной прострации лежит на кушетке, зарывшись лицом в подушки. На часах пробило три, когда бедняжка пришла в себя, но пережитый ужас все еще заставлял ее проливать слезы. Принцессе уже прискучила роль простой смертной, и ей вовсе не улыбалась мысль самой раздеваться и самой прислуживать себе. А кроме того, в душе ее затаилось, как видно, какое-то зловещее предчувствие. Так или иначе, она решила оставить у себя госпожу фон Клейст до утра.

— Мы успеем еще, — сказала она, — выдумать какой-нибудь предлог, чтобы приукрасить эту историю, в случае если она станет известна брату. Но объяснить твое присутствие здесь, Порпорина, было бы гораздо труднее, и я не хочу, чтобы кто-нибудь увидел, как ты выходишь отсюда. Стало быть, тебе надо уходить одной, и как

можно скорее, — ведь в этой гнусной гостинице встают необыкновенно рано. Послушай, Клейст, успокойся, я оставляю тебя здесь до утра, и если ты в состоянии произнести хоть одно разумное слово, объясни, какой дорогой ты сюда пришла и где тебя ждет твой провожатый, чтобы Порпорина могла воспользоваться его услугами, когда пойдет домой.

Страх делает человека столь эгоистичным, что госпожа фон Клейст, радуясь, что ей уже не угрожают ужасы галереи и мало заботясь о том, что певице, быть может, будет страшно идти одной, сразу обрела сообразительность и объяснила, какой дорогой ей надлежит идти и какой условный знак следует подать доверенному слуге, которому приказано ждать у выхода из дворца в некоем укромном и пустынном уголке.

Вооруженная этими сведениями и уверенная, что на сей раз она уже не заблудится во дворце, Консуэло простилась с принцессой, которая не выразила ни малейшего желания проводить ее по галерее. Итак, молодая девушка вышла одна и ощупью, но беспрепятственно добралась до страшной лестницы. Висевший внизу фонарь облегчил ей путь, и она спустилась без всяких приключений и даже без особого страха. На этот

раз она взяла себя в руки, так как чувствовала, что выполняет свой долг по отношению к несчастной Амалии, а в подобных случаях она всегда бывала мужественна и сильна. Наконец через маленькую потайную дверь — ключ от нее ей дала госпожа фон Клейст — она вышла из дворца и оказалась в углу заднего двора. Пройдя двор, она пошла вдоль наружной стены, отыскивая слугу госпожи фон Клейст. Не успела она шепотом произнести условленную фразу, как от стены отделился темный силуэт, и мужчина, закутанный в широкий плащ, с почтительным поклоном молча подал ей руку.

Глава 11

Консуэло вспомнила, что госпожа фон Клейст, желая скрыть свои частые и тайные визиты к принцессе Амалии, не раз приходила по вечерам в замок, пряча голову под плотным черным чепцом, кутаясь в темную накидку и опираясь на руку слуги. В таком виде она не бросалась в глаза прислуге замка и могла сойти за одну из тех бедных женщин, которые украдкой пробираются во дворец и получают кое-что от щедрот королевской семьи. Однако, несмотря на все предосторожности наперсницы и ее госпожи, секрет их был отчасти секретом полишинеля, и если король молчал, то единственно потому, что есть такие мелкие скандальные истории, которые лучше терпеть, не поднимая шума, чем бороться с ними. Он прекрасно знал, что обе дамы больше заняты Тренком, нежели магией; почти одинаково осуждая и то и другое, он закрывал на это глаза и в глубине души был признателен Амалии за то, что она окутывает свой роман ореолом тайны и таким образом освобождает его от ответственности. Он предпочитал казаться

одураченным, только бы люди не думали, что он поощряет любовь и безумие своей сестры. Вся тяжесть жестокого нрава короля обрушилась, — таким образом, на несчастного Тренка, и пришлось обвинить его в мнимых преступлениях, чтобы никто не догадался об истинных причинах опалы.

Думая, что слуга госпожи фон Клейст желает помочь ей сохранить инкогнито, а потому протягивает руку, принимая ее за свою госпожу, Порпорина не колеблясь оперлась на нее, ступая по скользкой от льда мостовой. Но не успела она сделать и трех шагов, как этот человек сказал ей развязным тоном:

— Ну что, прекрасная графиня, в каком расположении духа оставили вы сумасбродную Амалию?

Несмотря на холод и ветер, Консуэло почувствовала, как вся кровь прихлынула к ее лицу. Очевидно, слуга принял ее за госпожу фон Клейст и таким образом выдал возмутительную близость с ней. Порпорина брезгливо вырвала у него руку и сухо произнесла:

— Вы ошиблись.

— Я не имею обыкновения ошибаться, — возразил человек в плаще столь же непринужденно. — Публика может не знать, что божественная

Порпорина является графиней Рудольштадт, но граф де — Сен-Жермен осведомлен лучше. — Кто же вы? — спросила Консуэло вне себя от изумления. — Разве вы не принадлежите к числу слуг госпожи фон Клейст?

— Я принадлежу только самому себе и служу только истине, — ответил незнакомец. — Я назвал свое имя, но, видимо, графине Рудольштадт оно незнакомо.

— Так, стало быть, вы граф де Сен-Жермен?

— А кто еще мог бы назвать вас именем, которого никто не знает? Послушайте, графиня, вот уже дважды вы чуть не упали, сделав два шага без моей помощи. Благоволите снова опереться на мою руку Я прекрасно знаю, где вы живете, и считаю своим почетным долгом довести вас до дому целой и невредимой.

— Вы очень любезны, граф, — ответила Консуэло, чье любопытство было чересчур возбуждено, чтобы она могла отказаться от предложения этого удивительного, необыкновенного человека, — но, может быть, вы окажете мне и другую любезность — скажете, почему вы назвали меня так?

— Потому что хотел сразу добиться вашего доверия и доказать, что я достоин его. Я давно знаю

о вашем браке с Альбертом и все время свято хранил вашу общую тайну, как буду хранить ее и впредь, пока на то будет ваша воля.

— Зато господин Сюпервиль, как видно, совсем не посчитался с моей волей, — сказала Консуэло, которой не терпелось удостовериться в том, что граф де Сен-Жермен получил эти сведения именно от него.

— Не обвиняйте бедного Сюпервиля, — возразил граф. — Он рассказал это только принцессе Амалии, желая сделать ей приятное. Я узнал обо всем не от него.

— В таком случае от кого же?

— От самого графа Альберта Рудольштадта. Да, да, я знаю, сейчас вы скажете, что он умер под конец соединившей вас с ним брачной церемонии, но я отвечу, что смерти нет, что никто не умирает и что можно разговаривать с теми, кого люди называют усопшими, если понимать их язык и знать тайны их жизни.

— Если вы так много знаете, граф, то, вероятно, вам известно, что меня нелегко убедить такими утверждениями и что они причиняют мне много горя, беспрестанно напоминая о несчастье, которое я считаю непоправимым, несмотря на лживые обещания магии.

— Вы правы, что остерегаетесь чародеев и шарлатанов. Мне известно, что Калиостро напугал вас, явив вам призрак, что было по меньшей мере несвоевременно. Желая доказать вам свое могущество, он уступил чувству мелкого тщеславия, не подумав при этом о состоянии вашей души и о величии собственной миссии. И все же Калиостро не шарлатан, отнюдь нет! Просто он слишком честолюбив, и это нередко давало повод упрекнуть его в шарлатанстве.

— Вас, граф, упрекают в том же, но так как при этом обычно добавляют, что вы человек выдающийся, я осмеливаюсь признаться, что питаю к вам предубеждение и оно мешает мне уважать вас.

— Эта благородная прямота вполне в духе Консуэло, — спокойно ответил господин де Сен-Жермен, — и я благодарю вас за призыв к моей чести. Я откликнусь на него и буду говорить с вами откровенно. Но мы уже у ваших дверей, холод и поздний час не позволяют мне задерживать вас долее. Если вам угодно узнать нечто чрезвычайно важное, от чего зависит ваше будущее, позвольте мне поговорить с вами на свободе.

— Если господину графу угодно будет навестить меня завтра в течение дня, я буду ждать его в

удобное для него время.

— Да, мне необходимо говорить с вами завтра. Но завтра к вам явится с визитом Фридрих, а я не желаю с ним встречаться, потому что мало к нему расположен.

— Позвольте, граф, о каком Фридрихе вы говорите?

— О, разумеется, не о нашем друге Фридрихе фон Тренке, которого нам удалось вырвать из рук короля. Речь идет о том ничтожном и злобном короле Пруссии, который волочится за вами. Вот что: завтра вечером в Опере состоится большой публичный бал. Будьте там. Можете переодеться в любой костюм, я все равно узнаю вас и помогу узнать себя. В этой толпе мы найдем и уединение, и безопасность. Иначе наши встречи могут навлечь большие несчастья на головы дорогих нам людей. Итак, до завтра, графиня! С этими словами граф де Сен-Жермен низко поклонился Порпорине и исчез, оставив девушку окаменевшей от изумления на пороге ее жилища. «Положительно, в этом царстве разума ни на минуту не прекращается заговор против разума, — думала певица перед тем, как уснуть. — Не успела я избежать одной опасности, угрожавшей моему собственному рассудку, как сразу

появилась другая. Принцесса Амалия объяснила мне таинственные явления последних дней, и я уже было успокоилась, как вдруг, почти тотчас же, мы встречаем фантастическую Женщину с метлой или, во всяком случае, слышим ее шаги, и она разгуливает в этом дворце сомнения, в этой цитадели неверия так же спокойно, как это могло бы случиться двести лет назад. Едва я избавилась от страха, мучившего меня после встречи с Калиостро, как появляется другой маг, который, по-видимому, еще лучше осведомлен о моих делах. Когда все эти маги и волшебники следят за событиями жизни королей и других могущественных или знаменитых людей, — это еще понятно, но почему мне, бедной девушке, непритязательной и скромной, не удается утаить от их бдительного ока ни одного обстоятельства моей собственной жизни, — вот что невольно смущает меня и тревожит. Впрочем, послушаюсь совета принцессы. Хочу надеяться, что будущее разъяснит и эту загадку, а пока что воздержусь от всякого суждения. Пожалуй, больше всего я удивлюсь, если визит короля, предсказанный Сен-Жерменом, действительно состоится завтра. Это будет лишь третий королевский визит. Уж не является ли этот Сен-Жермен его наперсником?

Говорят, что надо опасаться тех людей, которые дурно отзываются о своем господине. Постараюсь этого не забывать».

На следующий день, ровно в час, во двор домика, где жила певица, въехала карета без ливрейного лакея и герба, и король, за два часа до того приславший предупредить Порпорину, чтобы она ждала его одна, вошел к ней в шляпе, сдвинутой на левое ухо, с улыбкой на губах и с маленькой корзинкой в руке.

— Капитан Крейц принес вам фруктов из своего сада, — сказал он. Злые языки уверяют, будто они сорваны в садах Сан-Суси и предназначались на десерт королю. Но король, благодарение богу, забыл о нас, и скромный барон пришел провести часок-другой со своей скромной подружкой.

Вместо того, чтобы развеселить Консуэло, это милое вступление сильно встревожило ее. С тех пор как она тайно нарушала королевскую волю, выслушивая откровенные признания принцессы Амалии, певица уже не могла с прежней смелой прямотой беседовать с инквизитором — королем. Отныне следовало обходиться с ним осторожно, быть может, льстить ему, стараться с помощью искусного кокетства отвращать его подозрения. Консуэло чувствовала, что эта роль не по ней, что

она сыграет ее плохо, особенно в том случае, если Фридрих действительно питал к ней склонность, как утверждали при дворе, где слово любовь применительно к какой-то актрисе сочли бы унизительным для королевского достоинства. Взволнованная и смущенная, Консуэло неловко поблагодарила короля за его чрезмерное внимание, после чего выражение его лица внезапно изменилось и сделалось столь же мрачным, сколь лучезарным оно было секунду назад.

— Что это значит? — резко спросил он, хмуря брови. — Вы не в духе?

Или нездоровы? Почему вы назвали меня «государь»? Быть может, мой визит помешал любовному свиданию?

— Нет, государь, — ответила молодая девушка, вновь обретая спокойствие искренности, — у меня нет ни свиданий, ни любви.

— Прекрасно! Впрочем, если бы даже и так — какое мне дело! Я потребовал бы от вас лишь одного — чтобы вы сознались мне в этом.

— Созналась? Очевидно, господин капитан хотел сказать — чтобы я доверилась ему?

— Объясните, в чем тут различие.

— Думаю, что вы, господин капитан, и сами знаете, в чем.

— Допустим. Но знать — еще не значит получить ответ. Если вы влюбитесь, я бы хотел узнать об этом.

— Не понимаю, зачем?

— В самом деле, не понимаете? Посмотрите мне в глаза. У вас сегодня какой-то рассеянный взгляд.

— Господин капитан, вы, кажется, подражаете королю. Говорят, что при допросе обвиняемого он пристально смотрит ему в глаза. Поверьте, такие приемы дозволены ему одному. Впрочем, если бы он пришел с тем же ко мне, я бы попросила его вернуться к своим делам.

— Вот как! Вы бы сказали ему: «Идите прочь, государь»?

— А почему бы и нет? Место короля на коне или на троне, а если бы ему вздумалось навестить меня, я была бы вправе отказаться терпеть его дурное настроение.

— Согласен. Но вы так и не ответили мне. Вы не хотите избрать меня поверенным ваших будущих любовных приключений?

— У меня не может быть любовных приключений, барон, я уже не раз повторяла вам это.

— Да, в шутку, потому что я и спрашивал вас в шутку. Ну, а если сейчас я говорю серьезно?

— Я отвечу то же самое.

— Знаете, вы странная особа.

— Но почему же?

— Потому что вы единственная актриса, которая не занимается ни любовью, ни флиртом.

— Вы дурного мнения об актрисах, капитан.

— Нет! Я знавал и добродетельных актрис, но все они стремились к выгодному замужеству, а вы… уж и не знаю, о чем думаете вы.

— Я думаю о том, что вечером мне предстоит петь.

— Так вы живете сегодняшним днем?

— Да, теперь я живу так, а не иначе.

— Значит, не всегда было так?

— Нет, капитан.

— Вы любили?

— Да, капитан.

— Серьезно?

— Да.

— И долго?

— Да.

— А что случилось с вашим возлюбленным?

— Он умер!

— Но вы не утешились?

— Нет.

— О, вы еще утешитесь.

— Боюсь, что нет.

— Странно. Так вы не думаете выходить замуж?

— Никогда.

— И никогда никого не полюбите?

— Никогда.

— И даже не заведете себе друга?

— Даже друга — в том значении, какое придают этому слову прекрасные дамы.

— Полноте! Если вы поедете в Париж и король Людовик Пятнадцатый, этот галантный кавалер…

— Я не люблю королей, капитан, и особенно не терплю королей галантных.

— Ага, понимаю, вы предпочитаете пажей. Например, такого красивого кавалера, как Тренк!

— Я никогда не обращала внимания на его наружность.

— И тем не менее сохранили с ним какие-то отношения!

— Будь это так, наши отношения носили бы характер чистой и незапятнанной дружбы.

— Значит, вы признаетесь, что эти отношения существуют?

— Этого я не сказала, — ответила Консуэло, испугавшись, что может выдать принцессу.

— Так вы отрицаете это?

— Если бы эти отношения существовали, у меня бы не было причин отрицать их. Но почему капитан Крейц расспрашивает меня так упорно? Неужели это может его интересовать?

— Очевидно, это интересует короля, — ответил Фридрих, снимая шляпу и резким движением нахлобучивая ее на белую мраморную голову Полигимнии, чей античный бюст украшал одну из консолей.

— Если бы меня удостоил своим посещением король, — сказала Консуэло, превозмогая овладевший ею страх, — я бы решила, что ему угодно послушать музыку, и села бы за клавесин, чтобы спеть ему арию из «Покинутой Ариадны»…

— Король не любит, когда предвосхищают его желания. Он желает, чтобы ему отвечали на вопрос определенно и ясно. Что вы делали сегодня ночью в королевском дворце? Видите ли, раз вы ходите к нему во дворец в неурочное время и без его позволения, значит, и он вправе вести себя у вас в доме как хозяин.

Консуэло затрепетала, но, к счастью, присутствие духа всегда словно чудом спасало ее от многих опасностей. Она вспомнила, что Фридриху нередко случалось прибегать ко лжи,

чтобы выведать правду, и что его излюбленным средством вырвать у человека признание было напасть на него врасплох. Она овладела собой и, побледнев, но все-таки улыбаясь, сказала:

— Какое странное обвинение! Не знаю право, что и отвечать на столь экстравагантные вопросы.

— Вы стали разговорчивее, — заметил король. — Совершенно ясно, что вы лжете. Были вы этой ночью во дворце? Отвечайте — да или нет?

— В таком случае — нет! — смело сказала Консуэло, предпочитая быть с позором уличенной во лжи, нежели сделать подлость и выдать чужую тайну, лишь бы оправдаться самой.

— Вы не выходили из дворца в три часа ночи, одна, без провожатых?

— Нет, — ответила Консуэло, которая немного приободрилась, заметив в выражении лица короля едва уловимый оттенок неуверенности, и теперь превосходно разыгрывала удивление.

— Вы осмелились трижды произнести слово нет, — гневно вскричал король, испепеляя девушку взглядом.

— Я осмелюсь произнести это слово и в четвертый раз, если того потребует ваше величество, — ответила Консуэло, решаясь противостоять грозе

до конца.

— О, я знаю, женщина способна защищать свою ложь даже под пыткой, как первые христиане защищали то, что они считали правдой. Кто может похвастаться тем, что вырвал искренний ответ у женщины? Послушайте, мадемуазель, до сих пор я питал к вам уважение, ибо полагал, что вы являетесь единственным исключением среди обладательниц пороков вашего пола. Я не считал вас способной ни к интригам, ни к вероломству, ни к наглости. Мое доверие к вам простиралось до дружбы…

— А теперь, ваше величество…

— Не перебивайте меня. Теперь я держусь другого мнения, и скоро вы почувствуете его последствия. Слушайте меня внимательно. Если вы имели несчастье вмешаться в мелкие дворцовые интриги, выслушать чьи-то неуместные излияния, оказать кому-то опасные услуги, не обольщайтесь — вам недолго удастся обманывать меня, и я прогоню вас отсюда, причем позор вашего изгнания будет столь же велик, сколь велики были благожелательность и уважение, с какими я вас встретил.

— Государь, — бесстрашно ответила Консуэло, — так как самое заветное и самое неизменное

мое желание — это желание покинуть Пруссию, я с благодарностью приму приказ о моем выезде, как бы унизителен ни был предлог моего удаления и как бы сурово вы со мной ни говорили.

— Ах, так! — вскричал Фридрих вне себя от ярости. — Вы осмеливаетесь разговаривать со мной в подобном тоне!

При этом он поднял трость, словно собираясь ударить Консуэло, но спокойный и презрительный вид, с каким она ждала этого оскорбления, отрезвил его, и, далеко отбросив трость, он взволнованно проговорил:

— Забудьте, что вы имеете право на благодарность капитана Крейца, и обращайтесь к королю с подобающим уважением, не то я могу выйти из себя и наказать вас, как упрямого ребенка.

— Государь, мне известно, что в вашей августейшей семье бьют детей, и я слышала, что ваше величество, стремясь избавиться от такого обращения, когда-то сами пробовали бежать. Мне, цыганке, будет легче совершить побег, чем кронпринцу Фридриху. Если король в течение двадцати четырех часов не удалит меня из своего государства, я сама постараюсь успокоить его относительно моих интриг и покину Пруссию без всяких бумаг, хотя бы мне пришлось идти

пешком и перебираться через рвы, подобно дезертирам и контрабандистам.

— Вы сумасшедшая! — пожимая плечами, сказал король, расхаживая по комнате, чтобы скрыть досаду и раскаяние. — Да, вы уедете, таково и мое желание, но уедете не торопясь, без скандала. Я не хочу, чтобы вы расстались со мной, сердясь и на меня и на самое себя. Где, черт возьми, вы набрались этой невероятной дерзости? И какого черта я так снисходителен к вам?

— Думаю, что причина этой снисходительности в той крупице великодушия, от которой король вполне может себя избавить. Он думает, что обязан мне чем-то за услугу, которую я с такой же готовностью оказала бы самому ничтожному из его подданных. Пусть же он считает, что расквитался со мной тысячу раз, и поскорее отпустит меня — свобода будет вполне достаточной наградой. Никакой другой мне не надо.

— Опять? — сказал король, пораженный дерзким упрямством молодой девушки. — Все те же речи? Так вы не скажете мне ничего другого? Нет, это уже не смелость, это ненависть!

— А если бы и так? — спросила Консуэло. — Разве вашему величеству это не безразлично?

— Праведное небо! Что такое вы говорите,

глупенькая девочка! — воскликнул король с простодушным выражением искренней боли. — Вы сами не понимаете, что сказали. Только извращенная душа может быть нечувствительна к ненависти себе подобных.

— А разве Фридрих Великий считает Порпорину существом себе равным?

— Только ум и добродетель возвышают отдельных людей над остальными. В области своего искусства вы гениальны. Совесть должна подсказать вам, верны ли вы своему долгу… Но в эту минуту она говорит вам совсем другое, ибо в душе у вас горечь и вражда.

— Допустим, но разве великому Фридриху не в чем упрекнуть свою совесть? Не он ли разжег эти дурные страсти в душе, привыкшей к чувствам мирным и добрым?

— Вы сердитесь? — спросил Фридрих, пытаясь взять молодую девушку за руку. Но тут же в смущении остановился: закоренелое презрение и антипатия к женщинам сделали его застенчивым и неловким. Консуэло намеренно подчеркнула свою досаду, чтобы заглушить в сердце короля нежность, готовую погасить вспышку гнева, но когда она заметила, как он робок, страх ее сразу исчез, так как она поняла, что первого шага он

ждет с ее стороны. Странная прихоть судьбы! Единственная женщина, которая могла вызвать у Фридриха чувство, похожее на любовь, была, быть может, единственной в его королевстве, которая ни за что в жизни не согласилась бы поощрить в нем эту склонность. Правда, недоступность и гордость Консуэло были, пожалуй, в глазах короля главным ее очарованием. Завоевание этой непокорной души привлекало деспота, словно завоевание какой-нибудь провинции, и, сам не отдавая себе в этом отчета, отнюдь не стремясь прослыть героем любовных похождений, он испытывал невольное восхищение и сочувствие к этому сильному характеру, в какой-то мере родственному его собственному. — Вот что, — сказал он, быстро пряча в карман жилета руку, которую протянул было к Консуэло, — никогда больше не говорите мне, что я равнодушен к ненависти окружающих, не то я буду думать, что меня ненавидят, а эта мысль мне невыносима.

— Но ведь вы хотите, чтобы вас боялись.

— Нет, я хочу, чтобы меня уважали.

— И ваши капралы внушают солдатам уважение к вашему имени с помощью палочных ударов. — Что можете вы знать об этом? О чем вы говорите? Во что вмешиваетесь?

— Я отвечаю на вопросы вашего величества определенно и ясно.

— Вам угодно, чтобы я попросил у вас прощения за вспышку, вызванную вашим безрассудством?

— Напротив. Если бы вы могли разбить о мою голову ту палку-скипетр, который управляет Пруссией, я стала бы просить ваше величество поднять эту трость.

— Полноте! Ведь эту трость мне подарил Вольтер, и если бы я прошелся ею по вашим плечам, у вас только прибавилось бы хитрости и ума. Послушайте, я очень дорожу этой тростью, но вижу, что вам нужно какое-то удовлетворение. Итак…

Король поднял трость и хотел было ее сломать. Однако, как он ни старался сделать это, даже помогая себе коленом, бамбук гнулся, но не ломался.

— Вот видите, — сказал король, бросая трость в камин, — вы ошиблись: моя трость не является символом моего скипетра. Это символ верной Пруссии. Она сгибается под давлением моей воли, но не будет сломлена ею. Поступайте так же, Порпорина, и вам будет хорошо.

— Какова же воля вашего величества по отношению ко мне? Стоит ли такой сильной личности повелевать и нарушать ясность своего духа ради

столь незначительной особы?

— Моя воля — чтобы вы отказались от мысли уехать из Берлина. Вам это неприятно?

Быстрый и почти страстный взгляд Фридриха достаточно убедительно пояснил, что он имел в виду, говоря о так называемом удовлетворении. Консуэло почувствовала, что ее страхи вернулись, и сделала вид, что не поняла его.

— На это я никогда не соглашусь, — ответила она. — Мне слишком ясно теперь, как дорого пришлось бы платить за честь изредка развлекать своими руладами ваше величество. Здесь подозревают всех. Самые незаметные, самые незначительные люди не защищены от клеветы, и для меня такая жизнь невыносима.

— Вы недовольны своим жалованьем? — спросил король, — Оно будет увеличено.

— Нет, государь. Я вполне удовлетворена им — я не корыстолюбива, и ваше величество знает это.

— Вы правы. Надо отдать вам справедливость, вы не любите деньги.

Впрочем, неизвестно, что вы любите?

— Свободу, государь.

— А кто стесняет вашу свободу? Вы просто хотите поссориться со мной и не можете найти подходящий предлог. Вы хотите уехать — это

мне ясно.

— Да, государь.

— Да? Это решено твердо?

— Да, государь.

— Если так, убирайтесь к дьяволу! Король схватил шляпу, поднял трость, которая так и не сгорела, откатившись за решетку, и, повернувшись спиной, направился к двери. Но, перед тем, как ее открыть, он обернулся, и Консуэло увидела его лицо, такое непритворно грустное, такое поотечески огорченное, словом, такое непохожее на обычную страшную маску короля с его горькой, скептическифилософской усмешкой, что бедная девушка почувствовала раскаяние и волнение. Привычка к бурным сценам, усвоенная ею в те времена, когда она еще жила в доме Порпоры, заставила ее забыть, что в сердце Фридриха было по отношению к ней нечто такое, чего никогда не было в целомудренной и благородно пылкой душе ее приемного отца, — нечто эгоистическое и страшное. Она отвернулась, чтобы скрыть невольную слезу, покатившуюся по ее щеке, но зоркий, как у рыси, взгляд короля замечал все. Он воротился и снова занес над Консуэло трость, но на этот раз с такою нежностью, словно играл со своим ребенком.

— Скверное создание, — сказал он ей растроганным и ласковым тоном, у вас нет ко мне ни малейшей дружбы.

— Вы сильно ошибаетесь, господин барон, — ответила добрая Консуэло, поддавшись обаянию этого полупритворства, которое так искусно загладило искреннюю и грубую вспышку королевского гнева. — Моя дружба к капитану Крейцу столь же велика, сколь велика неприязнь к королю Пруссии.

— Это потому, что вы не понимаете, не можете понять короля Пруссии, — возразил Фридрих. — Но не будем говорить о нем. Наступит день, когда вы более справедливо оцените человека, который пытается править своей страной как можно лучше, но для этого вам надо пожить здесь подольше и ознакомиться с ее духом, с ее потребностями. А пока что будьте немного полюбезнее с этим беднягой бароном — ведь ему так наскучил двор, наскучили придворные льстецы, и он пришел сюда, чтобы найти хоть немного покоя и счастья рядом с чистой душой и ясным умом. У меня был всего один час, чтобы насладиться всем этим, а вы все время ссорились со мной. Я приду еще как-нибудь, но с условием, что вы примете меня полюбезнее. Чтобы развлечь вас, я приведу с

собой левретку Мопсюль, а если будете умницей, подарю вам красивого белого щенка, которого она теперь кормит. Вам придется хорошенько заботиться о нем. Да, совсем забыл! Я принес вам стихи собственного сочинения, несколько строф. Можете подобрать к ним мелодию, а моя сестра Амалия охотно споет их нам.

Король уже собрался уходить, но несколько раз возвращался, непринужденно болтая и расточая предмету своей благосклонности ласковые комплименты. При случае он умел говорить милые пустяки, хотя вообще речь его была сжатой, энергичной, исполненной здравого смысла. Ни один человек не мог вести столь содержательный разговор, и такой серьезный, такой уверенный тон редко преобладал в интимных беседах той эпохи. Но с Консуэло король хотел быть «славным малым», и эта роль до такой степени ему удавалась, что иной раз молодая девушка начинала простодушно им восхищаться. Когда он ушел, она, по обыкновению, пожалела, что не сумела оттолкнуть его от себя и отбить охоту к этим опасным визитам. Со своей стороны, король тоже ушел немного недовольный собой. Он по-своему любил Консуэло и желал бы внушить ей чувство истинной привязанности и восхищения, которое

его лжедрузья философы только разыгрывали перед ним. Быть может, он многое бы отдал — а он не любил что-либо отдавать, — чтобы хоть раз в жизни познать радости любви, искренней и неподдельной. Но он прекрасно понимал, что это было бы нелегко совместить с привычкой властвовать, от которой он не желал отказаться. И словно сытый кот, который играет с готовой ускользнуть мышкой, он и сам не знал хорошенько, чего хочет — приручить ее или задушить. «Она заходит слишком далеко, и это кончится плохо, — думал он, садясь в карету. — Если она будет продолжать упрямиться, придется заставить ее совершить какую-нибудь оплошность и услать на некоторое время в крепость, чтобы тюремный распорядок умерил это надменное бесстрашие. Однако я предпочел бы пленить ее и подчинить своему обаянию — ведь действует же оно на других. Быть не может, чтобы я не добился цели, если проявлю немного терпения. Эта незначительная задача злит меня, но в то же время и забавляет. Посмотрим! Несомненно одно — ей не следует уезжать сейчас — нельзя позволить ей похваляться тем, что она безнаказанно высказывала мне в глаза свои прописные истины. Нет, нет! Она расстанется со мной лишь тогда, когда будет

покорена или сломлена…» После чего король, у которого, как понимает читатель, было в голове немало других забот, раскрыл книгу, чтобы не терять и пяти минут на ненужные размышления, а выходя из кареты, уже не помнил, с какими мыслями садился туда.

Встревоженная и дрожащая, Порпорина значительно дольше раздумывала об опасностях своего положения. Она сильно упрекала себя за то, что не сумела окончательно настоять на своем отъезде и, хоть безмолвно, но все же согласилась от него отказаться. Из этих размышлений ее вывел посыльный, который принес деньги и письмо от госпожи фон Клейст для передачи Сен-Жермену. Все это предназначалось Тренку, и ответственность целиком ложилась на Консуэло: в случае надобности, чтобы сохранить тайну принцессы, она должна была взять на себя еще и роль возлюбленной беглеца. Итак, певица оказалась втянутой в неприятную историю, тем более опасную, что она была не слишком уверена в надежности таинственных посредников, с которыми ее заставили вступить в сношения и которые, видимо, хотели завладеть ее собственными секретами. Обдумывая все это, она занялась маскарадным костюмом для бала в Опере, где обещала встре-

титься с Сен-Жерменом, с каким-то покорным ужасом повторяя про себя, что находится на краю пропасти.

Глава 12

Сразу же после окончания спектакля зала была прибрана, ярко освещена, украшена, как того требовал обычай, и ровно в полночь большой бал-маскарад, который в Берлине назывался публичным, был открыт. Публика здесь была весьма смешанная, поскольку принцы, а быть может, даже и принцессы королевской крови слились с толпой актеров и актрис всех театров. Порпорина проскользнула в залу одна, переодетая монахиней, так как этот костюм давал ей возможность скрыть шею и плечи под покрывалом, а очертания фигуры — под широким платьем. Она чувствовала, что, во избежание толков, могущих возникнуть после ее свидания с Сен-Жерменом, нужно стать неузнаваемой, а кроме того, не прочь была испытать проницательность графа — ведь он уверял, что узнает ее в любом костюме. Поэтому она собственноручно, не поделившись своим секретом даже со служанкой, смастерила себе этот простой, непритязательный наряд и вышла из дому, закутавшись в длинную шубку, которую сняла лишь тогда, когда оказалась в густой толпе.

Но не успела она обойти залу, как произошло нечто сильно ее встревожившее. Какая-то маска, одинакового с ней роста и, по-видимому, одного пола, одетая в точно такой же костюм монахини, несколько раз подходила к ней и подшучивала над полным сходством их наряда.

— Милая сестра, — говорила ей монахиня, — мне бы хотелось знать, кто из нас является тенью другой. Мне кажется, ты легче, прозрачнее меня, и я хочу прикоснуться к твоей руке, чтобы убедиться кто ты: мой близнец или же мой призрак.

Консуэло отделалась от этих приставаний и хотела было пройти в свою уборную, чтобы надеть другой костюм или, во избежание недоразумений, хотя немного изменить этот. Она боялась, что, несмотря на все предосторожности, граф де Сен-Жермен все-таки разузнал, в каком она будет костюме, что он заговорит с ее двойником и откроет той, другой маске тайны, о которых сообщил ей накануне. Но она не успела сделать то, что задумала. Какой-то капуцин уже бежал за ней следом и, невзирая на сопротивление, завладел ее рукой.

— Вам не удастся убежать от меня, милая сестра, — тихо сказал он ей.

— Я ваш духовник и сейчас перечислю все ваши

прегрешения. Вы принцесса Амалия.

— Ты еще послушник, брат, — ответила Консуэло, меняя голос, как это принято на маскарадах. — Ты плохо знаешь своих прихожанок.

— Бесполезно менять голос, сестрица. Не знаю, такой ли костюм носит твой орден, но ты аббатиса Кведлинбургская и можешь смело признаться в этом мне, твоему брату Генриху.

Консуэло действительно узнала голос принца, который не раз беседовал с ней и довольно сильно картавил. Чтобы убедиться, что ее двойник и в самом деле принцесса, она продолжала все отрицать, но принц добавил:

— Я видел твой костюм у портного, а так как для принцев секретов нет, мне стала известна твоя тайна. Впрочем, не будем терять времени на болтовню. Вы вряд ли намерены интриговать меня, дорогая сестра, а я не для того хожу за вами по пятам, чтобы докучать вам. Мне нужно сообщить вам нечто важное. Давайте отойдем в сторону.

Консуэло пошла за увлекавшим ее вперед принцем, твердо решив, что скорее снимет маску, нежели воспользуется ошибкой и станет выслушивать семейные тайны. Но при первых же словах, которые произнес принц, когда они вошли в одну из лож, она невольно насторожилась

и сочла себя вправе дослушать до конца.

— Будьте осторожны, не слишком сближайтесь с Порпориной, — сказал принц своей мнимой сестре. — Это не значит, что я сомневаюсь в ее умении хранить тайны или в благородстве ее сердца. За нее ручаются самые высокие лица, принадлежащие к ордену. Боюсь, что дам вам повод для насмешек над моим чувством к этой привлекательной особе, но все же повторю, что разделяю вашу симпатию к ней. Тем не менее и эти лица и я — мы считаем, что вы не должны быть чересчур откровенны с нею, прежде чем не станет совершенно ясно ее умонастроение. Подобное начинание, способное моментально воспламенить пылкое воображение вроде вашего и исполненный законного возмущения ум вроде моего, может вначале устрашить робкую девушку, чуждую, без сомнения, философии и политики. Доводы, повлиявшие на вас, не способны произвести впечатление на женщину, живущую в совершенно иной сфере. Предоставьте же заботу о ее посвящении Трисмегисту или Сен-Жермену.

— Но разве Трисмегист не уехал? — спросила Консуэло, которая была слишком хорошей актрисой, чтобы ей не удавалось имитировать хриплый, то и дело меняющийся голос принцес-

сы Амалии.

— Вам лучше знать, уехал он или нет; ведь этот человек видится только с вами. Я с ним незнаком. Но вот господин де Сен-Жермен представляется мне самым умелым и самым сведущим человеком в том искусстве, которое интересует вас обоих. Он изо всех сил старается привлечь к нам эту прелестную певицу и отвратить угрожающую ей опасность.

— А ей в самом деле грозит опасность? — спросила Консуэла.

— Да, если она будет все так же упорно отвергать любезности господина Маркиза.

— Какого маркиза? — с удивлением спросила Консуэло.

— Как вы рассеяны, сестрица! Я говорю о Фрице, то есть о Далай-Ламе.

— Ах, о маркизе Бранденбургском! — сказала Порпорина, сообразив наконец, что речь идет о короле. — Так, по-вашему, он действительно принимает эту девчушку всерьез?

— Не скажу, что он ее любит, но он ревнует ее. И кроме того, сестра, должен сказать, что вы сами ставите эту бедную девушку под угрозу, открывая ей свои тайны… Я ничего не знаю и не хочу знать, но во имя неба, будьте осторожны и не давайте

нашим друзьям повода заподозрить, что вами движет не любовь к политической свободе, а какое-то иное чувство. Мы решили принять вашу графиню Рудольштадт. Когда она примет посвящение и будет связана клятвами, обещаниями и угрозами, вы сможете видеться с ней без всякого риска. А до тех пор, умоляю вас, воздержитесь от встреч с ней и от разговоров о наших общих делах. Для начала уезжайте с этого бала. Вам не подобает присутствовать здесь, и Далай-Лама непременно узнает, что вы сюда приходили. Дайте руку, и пойдемте к выходу. Проводить вас дальше я не смогу, ибо считается, что я нахожусь под арестом и Потсдаме, а у дворцовых стен есть глаза, которые могут проникнуть даже через железную маску.

В эту минуту кто-то постучал в дверь ложи, и так как принц не открывал, стук повторился.

— Каков наглец! Он хочет войти в ложу, где находится дама! — сказал принц, высунув бороду в окошечко ложи. Но человек в красном домино, в мертвенно-бледной маске — в ней было что-то Пугающее — вдруг появился перед окошечком и, сделав какой-то странный жест, проговорил: «Идет дождь».

Это известие, видимо, произвело на принца

сильное впечатление.

— Что я должен делать — уйти или остаться здесь? — спросил он у человека в красном домино.

— Вы должны найти другую монахиню, — ответил тот, — очень похожую на эту. Она бродит где-то в толпе. А об этой даме я позабочусь сам, — добавил он, указывая на Консуэло и входя в ложу, дверь которой перед ним предупредительно открыл принц. Они шепотом обменялись несколькими фразами, и принц вышел, не сказав Порпорине ни одного слова.

— Почему вы избрали для себя точно такой же маскарадный костюм, как у принцессы? — спросил человек в красном домино, усаживаясь в глубине ложи. — Это может повести к недоразумениям, гибельным и для нее и для вас. Не узнаю вашей обычной осторожности и преданности.

— Если мой костюм похож на костюм какой-то другой дамы, мне об этом ничего не известно, — ответила Консуэло, державшаяся с этим новым собеседником настороже.

— Я решил, что это карнавальная шутка, о которой вы обе условились заранее. Но раз я ошибся и это дело случая, поговорим о вас, графиня, и предоставим принцессу ее участи.

— Но, сударь, если кому-то угрожает опасность, по-моему, лицам, говорящим о преданности, не подобает сидеть сложа руки.

— Человек, только что покинувший вас, позаботится об этой шальной августейшей головке. Вам, конечно, небезызвестно, что эта авантюра интересует его больше, чем нас, — ведь он тоже ухаживает за вами.

— Ошибаетесь, сударь. Я знаю этого человека не больше, чем вас. К тому же ваши речи не похожи ни на речи друга, ни на речи шутника. Позвольте же мне вернуться на бал.

— Сначала позвольте попросить у вас бумажник, который вам поручено мне передать.

— С чего вы взяли? Мне никто ничего не поручал.

— Прекрасно, другим вы должны отвечать именно так. Но не мне — я граф де Сен-Жермен.

— Мне это неизвестно.

Даже если я сниму маску, вы все равно не узнаете меня — ведь вы видели меня в темноте, ночью. Но вот вам моя верительная грамота.

Человек в красном домино показал Консуэло нотный листок с условным значком, который она сразу же узнала. Дрожа от волнения, она отдала бумажник, но добавила:

— Запомните мои слова. Мне никто ничего не поручал. Это я, я сама посылаю известному вам лицу письма и прилагаемые к ним переводные векселя. — Так, значит, это вы любовница барона фон Тренка?

Испуганная тягостной ложью, которую от нее требовали, Консуэло молчала.

— Отвечайте, сударыня, — сказал человек в красном домино. — Барон не скрыл от нас, что он получает утешение и помощь от особы, которая его любит. Стало быть, это вы подруга барона?

— Да, я, — твердо ответила Консуэло, — и меня удивляют, меня оскорбляют ваши вопросы. Разве нельзя мне дружить с бароном, не выслушивая при этом грубых намеков и унизительных подозрений, которые вы позволяете себе произносить в разговоре со мной?

— Положение чересчур серьезно, чтобы придираться к словам. Вы даете мне поручение, подвергающее мою жизнь опасности. Тут может оказаться политическая подкладка, а мне отнюдь не желательно быть замешанным в каком-нибудь заговоре. Я дал слово лицам, сочувствующим барону фон Тренку, что помогу ему поддерживать сношения с предметом его любви. Но поймите — я не обещал помогать ему поддерживать сно-

шения с людьми, которые с ним дружат. Дружба — понятие растяжимое, оно внушает мне беспокойство. Я знаю, что вы неспособны на ложь. Если вы прямо скажете мне, что Тренк ваш возлюбленный и я смогу сообщить это Альберту фон Рудольштадту…

— Боже праведный! Не мучьте меня, сударь, Альберта больше нет!..

— По мнению людей, он умер, я это знаю, но для вас, как и для меня, он жив и будет жить вечно.

— Если вы понимаете это в смысле религиозном и условном, тогда конечно, но в смысле материальном…

— Не будем спорить. Завеса еще покрывает ваш ум, но скоро она исчезнет. Сейчас мне важно знать одно — каковы ваши отношения с Тренком. Если он ваш любовник, я берусь передать ему эту посылку, от которой, быть может, зависит его жизнь, ибо у него нет никаких средств к существованию. Но если вы откажетесь высказаться яснее, то и я отказываюсь быть посредником между вами.

— Пусть так, — сказала Консуэло, сделав над собой мучительное усилие, — он мой любовник. Возьмите же бумажник и поспешите ему передать.

— Довольно, — сказал граф де Сен-Жермен, беря бумажник. — А теперь, благородная и смелая девушка, позволь выразить тебе мое восхищение и уважение. Это было лишь испытанием твоей преданности и твоего самоотречения. Я знаю все! Знаю, что ты солгала из великодушия и что ты свято хранишь верность своему супругу. Знаю, что принцесса Амалия, хотя и пользуется моими услугами, не удостаивает меня своим доверием и, пытаясь освободиться от тирании Далай-Ламы, не перестает при этом быть принцессой и скрытничать. Это на нее очень похоже — беззастенчиво обрекать тебя, девицу без роду и племени (так выражаются в свете), на вечное несчастье — да, на величайшее из всех несчастий, мешая блистательному воскрешению твоего мужа и ввергая его теперешнее существование в чистилище сомнений и отчаяния. К счастью, между душой Альберта и твоею постоянно протянута цепь невидимых рук, дабы помочь общению души, действующей на земле, при свете солнца, с той, что трудится в неведомом мире, под сенью тайны, вдали от взоров обыкновенных смертных.

Эта странная речь взволновала Консуэло, хотя она и решила не доверять пышным фразам так называемых прорицателей.

— Поясните свою мысль, граф, — сказала она, силясь говорить спокойно и хладнокровно. — Я знаю, что задача Альберта еще не выполнена на земле и что душа его не уничтожена дыханием смерти. Но общение, могущее существовать между ним и мною, прикрыто завесой, которую способна разорвать только моя собственная смерть, если богу угодно будет оставить нам хотя бы смутное воспоминание о нашей прошлой жизни. Это великая тайна, и никто не властен помочь силам небесным соединить в новой жизни тех, кто любил друг друга в жизни прошлой. Что же вы имели в виду, сказав, будто некие дружественные силы заботятся обо мне, стараясь помочь этому сближению?

— Я могу говорить только о себе, — ответил граф де Сен-Жермен, — и скажу, что, зная Альберта во все эпохи — и тогда, когда я служил под его начальством во время войны гуситов с Сигизмундом, и позднее — во времена Тридцатилетней войны, когда он был…

— Мне известно, граф, что вы утверждаете, будто помните все свои прежние существования… Альберт тоже обладал этой болезненной и гибельной уверенностью. Видит бог, я никогда не сомневалась в его искренности, но подобные

мысли всегда совпадали у него с периодом такого лихорадочного возбуждения, даже бреда, что я не верила в реальность этого исключительного и, пожалуй, невероятного свойства. Так избавьте же меня от неприятных и странных рассуждении по этому поводу. Я знаю, многие люди охотно заняли бы сейчас мое место и, движимые пустым любопытством, слушали бы вас с ободряющей улыбкой, делая вид, будто верят чудесным историям, которые вы рассказываете так искусно. Но я не умею притворяться, когда в этом нет крайней необходимости, я не могу забавляться вашими «химерами», как их называют. Они слишком похожи на те, которые так пугали и огорчали меня, когда я слышала их из уст графа Рудольштадта. Приберегите же их для тех, кто разделяет ваши заблуждения. А я ни за что в мире не стала бы обманывать вас притворством. Впрочем, даже если бы эти химеры и не пробуждали во мне горьких воспоминаний, я все равно не могла бы насмехаться над вами. Прошу вас, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы, не пытаясь смутить мой ум туманными и двусмысленными речами. Чтобы помочь вам быть откровенным, скажу прямо — мне уже известно, что у вас есть какие-то таинственные и необыкновенные намерения,

связанные с моей дальнейшей судьбой. Вы собираетесь посвятить меня в опасные секреты, и некие высокопоставленные лица поручили вам ознакомить меня с начатками тайного учения.

— Высокопоставленные лица, графиня, бывают иногда большими пустословами, — весьма спокойно ответил граф. — Благодарю вас за откровенность. Хорошо, я не стану касаться явлений, которые вам непонятны — и, быть может, именно потому, что вы не хотите их понять. Скажу только, что в самом деле существует некая оккультная наука, в коей я немного смыслю, причем мне помогают в этом самые просвещенные умы. Однако в этой науке нет ничего сверхъестественного, ибо предметом ее является всего лишь изучение человеческого сердца или, если хотите, углубленное изучение жизни человека, его сокровеннейших побуждений и самых тайных его поступков. А чтобы доказать вам, что это не похвальба, я могу подробно рассказать вам то, что происходит в вашем собственном сердце — с тех пор, как вы расстались с графом Рудольштадтом. Разумеется, если вы позволите.

— Согласна, — ответила Консуэло, — ведь тут уж вы никак не можете ввести меня в заблуждение.

— Так вот, вы любите, любите впервые в жизни, любите по-настоящему, всем сердцем. И тот, кого вы любите так сильно, со слезами раскаяния, ибо год назад вы еще не любили его, тот, чье отсутствие для вас мучительно, чье исчезновение обесцветило вашу жизнь и отняло у вас будущее, это не барон Тренк — к нему вы питаете лишь чувство дружеской и спокойной признательности, не Иосиф Гайдн — он является вашим младшим братом в искусстве, и только, не король Фридрих — его вы боитесь, хоть он чем-то и привлекает вас, это даже не красавец Андзолето, уже потерявший ваше уважение, — нет, это тот, кого вы видели лежащим на смертном ложе в пышном облачении, в каком знатные семьи с гордостью опускают в могилу своих усопших, это Альберт Рудольштадт.

В первую минуту Консуэло изумилась, услышав, как этот незнакомый человек высказывает вслух самые затаенные ее чувства. Но, вспомнив, что прошлой ночью она рассказала принцессе Амалии всю свою жизнь и открыла ей сердце, вспомнив все, что она только что узнала от принца Генриха о сношениях принцессы с таинственным обществом, где Сен-Жермен играл одну из главных ролей, она перестала удивляться

и простодушно сказала графу, что не считает такой уж заслугой с его стороны повторять то, что недавно доверено нескромной подруге.

— Вы говорите об аббатисе Кведлинбургской? — спросил Сен-Жермен. Скажите, поверите ли вы моему честному слову?

— У меня нет права в нем сомневаться, — ответила Порпорина.

— Тогда даю вам честное слово, — продолжал граф, — что принцесса ничего не говорила мне о вас по той простой причине, что у меня никогда не было возможности обменяться хотя бы единым словом ни с ней, ни с ее наперсницей — госпожой фон Клейст.

— Но ведь вы как-то связаны с ней, граф, если не прямо, то через других людей?

— Связь эта сводится к тому, что я через третьих лиц пересылаю ей письма Тренка и получаю письма принцессы для передачи ему. Как видите, я не пользуюсь особым ее доверием, если она до сих пор полагает, будто я не знаю, какого рода чувство заставляет ее заботиться о нашем беглеце. Впрочем, принцесса не вероломна, она просто взбалмошна. Такими становятся все деспотические натуры, когда их притесняют. Служители истины ожидали от нее многого и покровитель-

ствовали ей. Дай бог, чтобы им не пришлось раскаяться!

— Вы несправедливы, граф, к этой привлекательной и несчастной принцессе. Быть может, вы плохо осведомлены о ее делах. Я, впрочем, совсем ничего не знаю о них, но…

— Не лгите понапрасну, Консуэло. Вы ужинали у нее прошлой ночью, и я могу рассказать вам все детали.

Тут граф де Сен-Жермен привел мельчайшие подробности этого ужина, повторил речи, произнесенные принцессой и госпожой фон Клейст, рассказал даже, как они были одеты, каково было меню, сообщил о встрече с Женщиной с метлой и т.д. Не ограничившись этим, он упомянул также об утреннем визите короля к нашей героине, привел фразы, которыми они обменялись между собой, рассказал о том, как король замахнулся тростью на Консуэло, об угрозах и раскаянии Фридриха, обо всем — вплоть до жестов и выражения лица обоих собеседников. Словом, ему было известно все, словно он сам присутствовал при этой сцене.

— Вы сделали большую ошибку, наивное и великодушное дитя, — сказал он под конец, — что поддались этому обманчивому возврату дружбы

и доброты: король очень искусен в изъявлениях такого рода, когда ему это нужно. Царственный тигр даст вам почувствовать свои когти, если вы не примете более влиятельного и более достойного покровительства — покровительства поистине отеческого и всесильного. Не ограничиваясь узкими пределами маркграфства Бранденбургского, оно будет сопутствовать вам на всей поверхности земного шара — вплоть до незаселенных пространств нового мира. — Кроме бога, я не знаю никого, — ответила Консуэло, — кто мог бы оказать подобное покровительство и пожелал бы распространить его на столь незначительное существо, как я. Если я и подвергаюсь здесь опасности, то на одного лишь бога возлагаю я свои надежды. И буду остерегаться всякого иного заступничества, ибо мне неизвестны ни способы его, ни побуждения.

— Подозрительность плохо вяжется с великодушием, — возразил граф. — Графиня Рудольштадт великодушна — поэтому, и только поэтому, она имеет право на покровительство истинных служителей божьих. Что касается способов этих служителей, то их не счесть, и по своему могуществу и нравственной чистоте они столь же отличны от способов, применяемых королями

и принцами, сколь высокие деяния божьи своею святостью отличны от дел честолюбцев и деспотов этого мира. Вы питаете любовь и доверие к одному лишь божественному правосудию — пусть так! Но вы не можете не признать его влияния на людей добрых и умных, являющихся здесь, на земле, исполнителями воли всевышнего и вершителями его закона. Восстанавливать справедливость, покровительствовать слабым, сдерживать тиранию, поощрять и вознаграждать добродетель, распространять принципы высокой нравственности, оберегать священную сокровищницу чести — такова во все времена была миссия знаменитой и почтенной корпорации, которая под разными названиями и в разных формах существует со времени возникновения обществ до наших дней. Взгляните на грубые и бесчеловечные законы, управляющие народами, взгляните на человеческие предрассудки и заблуждения, взгляните — и вы увидите следы чудовищного варварства! Чем же вы объясните, что в мире, которым так дурно распоряжается невежество толпы и вероломство правителей, могут иногда расцветать добродетельные сердца и распространяться некоторые истинные учения? А ведь это случается, и белоснежные

лилии, чистейшие цветы, такие души, как ваша, как душа Альберта, распускаются и блестят на нашей грязной земле. Но разве могли бы они сохранить свой аромат, уберечься от укусов гнусных пресмыкающихся, устоять против бурь, если бы их не поддерживали и не оберегали какие-то благодетельные силы, чьи-то дружеские руки? Разве мог бы Альберт, этот благородный человек, совершенно чуждый мерзостям толпы, человек, стоящий настолько выше простых смертных, что они сочли его безумцем, разве мог бы он черпать свое величие и веру только в самом себе? Разве он одинок во вселенной и разве никогда не закаляет свои силы в горниле сочувствия и надежды? А вы сами? Разве стали бы вы тем, что вы есть, если бы божественное дыхание не перешло из души Альберта в вашу душу? Но сейчас, разлученная с ним, попав в недостойную вас сферу, подвергаясь тысячам опасностей, вы — актриса, вы — поверенная тайн влюбленной принцессы и слывущая любовницей развратного себялюбца короля, — неужели вы надеетесь сохранить незапятнанной вашу чистоту, если крылья таинственных архангелов не раскроются над вами, осенив вас небесным щитом? Помните, Консуэло, не в себе самой, во всяком случае — не только в себе самой,

почерпнете вы необходимые вам силы. Благоразумие, которым вы так гордитесь, будет легко обмануто хитростью и лукавством, окружающими во мраке ваше девственное ложе. Научитесь же уважать святое воинство, невидимых солдат веры, которые уже стоят стеной, оберегая вас. Никто не требует от вас ни обязательств, ни услуг; вам приказывают одно — ощутив неожиданное действие этой благодетельной поддержки, покоритесь и доверьтесь. Я сказал все, что мог. Теперь обдумайте хорошенько мои слова, и когда наступит должное время, когда вы увидите чудеса, свершающиеся вокруг вас, вспомните, что все возможно для тех, которые верят и трудятся сообща, для тех, которые равны и свободны. Да, да, для них нет ничего невозможного, когда нужно вознаградить добродетель, и если ваша окажется достаточно высокой, вы получите наивысшую награду — они смогут даже воскресить Альберта и вернуть его вам.

Проговорив все это возбужденным, полным восторженной уверенности тоном, человек в красном домино встал, склонился перед Консуэло и, не ожидая ответа, вышел из ложи, а она застыла на месте, погруженная в странные мечтания.

Глава 13

Консуэло, желавшая теперь одного — уйти отсюда, наконец-то спустилась вниз и встретила в коридоре двух человек в масках: те подошли к ней, и один из них шепнул:

— Остерегайся графа де Сен-Жермена.

Ей показалось, что это голос Уберти Порпорино, ее партнера по сцене, и, схватив его за рукав домино, она спросила:

— Кто такой граф де Сен-Жермен? Я не знаю его.

Но второй человек в маске, даже не пытаясь изменить голос, — Консуэло сразу узнала, что это был грустный скрипач, молодой Бенда, — взял ее за руку и сказал:

— Избегай приключений и искателей приключений.

После чего они поспешно отошли, словно желая уклониться от ее вопросов. Консуэло, потратившая столько усилий, чтобы сделаться неузнаваемой, удивилась, что ее узнают так легко, и теперь ей не терпелось уйти отсюда. Но вскоре она заметила, что за ней наблюдает еще

один человек в маске; по походке и по фигуре она как будто узнала в нем господина фон Пельница, директора королевских театров и камергера короля. Она окончательно в этом убедилась, когда он обратился к ней, как он ни старался изменить голос и манеру говорить. Он завел с ней беседу на разные темы, но она молчала, понимая, что он хочет услышать ее голос. Ей удалось как-то отделаться от него, и она нарочно прошла через всю залу, чтобы запутать его на тот случай, если бы ему вздумалось пойти за ней следом. В зале толпились люди, и она с трудом пробралась к выходу. Здесь она обернулась, желая убедиться, что за ней не следят, и с удивлением заметила в углу Пельница, шепотом разговаривавшего с красным домино — судя по всему, с графом де Сен-Жерменом. Она не знала, что Пельниц познакомился с ним еще во Франции, и, опасаясь предательства со стороны искателя приключений, вернулась домой, терзаемая тревогой — не столько за себя, сколько за принцессу, чей секрет она невольно выдала весьма подозрительному человеку.

Проснувшись утром, она увидела над своей головой венок из белых роз, подвешенный к распятию, которое ей досталось от матери и с которым она никогда не расставалась. Одновре-

менно она заметила исчезновение кипарисовой ветки, неизменно украшавшей распятие с тех пор, как однажды в Вене, в вечер ее триумфа, ее бросила на сцену чья-то неизвестная рука. Она стала повсюду искать ветку, но тщетно. Казалось, вешая на ее место цветущий, радостный венок, кто-то намеренно убрал этот мрачный трофей. Горничная не смогла объяснить ей, каким образом произошла эта замена. Она уверяла, что накануне весь день не выходила из дому и никого не впускала. А приготовляя на ночь постель своей хозяйке, она не заметила, висел уже венок или нет. Словом, она была так искренне удивлена этим происшествием, что трудно было заподозрить ее во лжи. Эта девушка отличалась редким бескорыстием — Консуэло не раз убеждалась в этом, — и единственный ее недостаток заключался в чрезмерной болтливости и в стремлении поверять своей госпоже разные пустяки. Будь ей известно хоть что-нибудь, она не упустила бы случая утомить ее длинным рассказом и скучнейшими подробностями. Пустившись в бесконечные рассуждения по поводу таинственного поклонника, который, конечно, преподнес певице этот венок, она до того наскучила Консуэло, что та попросила девушку замолчать и оставить

ее в покое. Оставшись одна, Консуэло внимательно осмотрела венок. Цветы были так свежи, словно их только что сорвали, и так благоухали, словно сейчас было лето, а не зима. Консуэло горестно вздохнула, подумав, что таких прекрасных роз нет сейчас нигде, кроме как в теплицах дворца, и что, по всей вероятности, служанка была права, приписывая этот знак внимания королю. «Но ведь он не знал, как я дорожу своим кипарисом, — подумала она. — Почему же ему вздумалось унести его? Все равно! Кому бы ни принадлежала рука, совершившая это святотатство, я проклинаю ее!» Порпорина сокрушенно отбросила от себя венок и вдруг увидела, что из него выпал маленький свиток пергамента. Она подняла его и прочитала написанные незнакомым почерком слова:

«Всякий благородный поступок заслуживает награды, и единственной наградой, достойной возвышенной души, является знак преданности со стороны родственных душ. Пусть же кипарис не висит более над твоим изголовьем, доблестная сестра, и пусть эти цветы хоть на мгновение увенчают твое чело. Это твой свадебный убор, знак вечного супружества с добродетелью и твоего приобщения к союзу верующих».

Пораженная, Консуэло долго рассматривала буквы, тщетно пытаясь уловить хоть отдаленное сходство с почерком графа Альберта. Несмотря на недоверие к неизвестному обществу, в которое ее, по-видимому, хотели вовлечь, на неприязнь к обещаниям и предсказаниям магии, столь распространенным в те времена в Германии и во всей философски настроенной Европе, несмотря, наконец, на предостережения друзей, убеждавших ее держаться настороже, последние слова красного домино и содержание анонимной записки зажгли в ее воображении то радостное любопытство, которое вернее было бы назвать поэтическим ожиданием. Сама не зная почему, она повиновалась ласковому повелению неизвестных друзей, надела на распущенные волосы венок и стала смотреться в зеркало, словно ожидая увидеть за собой дорогой призрак.

Из мечтательности ее вывел резкий звук звонка, заставивший ее вздрогнуть, и горничная сообщила, что господин фон Будденброк желает немедленно сказать ей несколько слов. Эти несколько слов королевский адъютант произнес со всем высокомерием, каким отличались его речи и манеры, когда за ним не следили глаза его повелителя.

— Мадемуазель, — сказал он, как только Порпорина вышла в гостиную, вы немедленно поедете со мной к королю. Поторопитесь, король не любит ждать.

— Но не поеду же я к королю в ночных туфлях и капоте, — возразила она.

— Даю вам пять минут, чтобы одеться подобающим образом, — объявил Будденброк, вынимая часы и знаком отсылая ее в спальню.

Испуганная, но полная решимости взять на себя все опасности и несчастья, какие могли угрожать принцессе и барону фон Тренку, Консуэло оделась даже раньше данного ей срока и появилась перед Будденброком внешне совершенно спокойная. Будденброк, который заметил, что, отдавая приказ привезти преступницу, король был рассержен, немедленно заразился королевским гневом, хоть и не знал, чем он вызван. Однако, видя спокойствие Консуэло, он вспомнил, что король питал к этой девушке большую склонность. «Она еще может выйти победительницей из завязавшейся борьбы, — подумал он, — и отомстить мне за дурное обхождение». Поэтому он счел за благо снова вернуться к подобострастному тону, решив, что еще успеет досадить певице, когда ее опала будет окончательной. С неуклюжей и

напыщенной галантностью он подал ей руку, помогая сесть в карету, и уселся напротив, держа шляпу в руке.

— Какое прекрасное зимнее утро, мадемуазель! — произнес он с глубокомысленным и лукавым видом.

— Вы правы, господин барон, — насмешливо ответила Консуэло. — Сегодня прекрасная погода для далекой прогулки.

Произнося эти слова, Консуэло со стоической веселостью думала про себя, что остаток этого прекрасного дня ей, по всей вероятности, придется провести в экипаже, уносящем ее в какую-нибудь крепость. Но Будденброк, не способный постичь эту безмятежность героической покорности, решил, что певица угрожает ему, в случае если выйдет победительницей из предстоящего ей грозного испытания, навлечь на него немилость и заточение. Он побледнел, попытался было завести приятную беседу и в смущении умолк, с тревогой спрашивая себя, чем он мог вызвать неудовольствие Порпорины. Консуэло провели в комнату с выцветшей розовой мебелью, обивка которой была изодрана постоянно валявшимися на диване щенками, обсыпана табаком, словом — весьма неопрятна. Король еще не появился, но

из соседней комнаты до нее донесся его голос, и этот голос был страшен, ибо король гневался.

— Говорю вам, что я примерно накажу всю эту сволочь и очищу Пруссию от нечисти, которая давно уже подтачивает ее! — кричал он, и сапоги его громко скрипели, указывая на то, что он взволнованно шагает из угла в угол.

— Ваше величество окажет этим огромную услугу разуму и Пруссии, — ответил его собеседник. — Но из этого еще не следует, что можно женщину… — Нет, следует, дорогой Вольтер. Разве вы не знаете, что самые гнусные интриги и самые дьявольские козни возникают именно в этих куриных мозгах?

— Но женщину, государь, женщину!..

— Можете повторять это сколько угодно! Вы любите женщин! Вы имели несчастье жить под владычеством юбки и не знаете, что, когда женщины суют нос в серьезные дела, с ними надо обращаться, как с солдатами, как с рабами.

— Но, государь, не можете же вы думать, что в этой истории кроется хоть что-нибудь серьезное! Всем этим изготовителям чудес и адептам «великого дела» следовало бы прописать успокоительную микстуру и холодный душ.

— Вы не знаете, о чем говорите, господин Воль-

тер! А что, если я вам скажу, что бедняга Ламетри был отравлен!

— Как будет отравлен всякий, кто съест больше, чем может вместить и переварить его желудок. Расстройство желудка — то же отравление.

— Говорю вам, что его убило не только обычное обжорство. Под видом паштета из фазанов ему подсунули паштет из орла.

— Прусский орел смертоносен, я знаю, но он убивает оружием, а не ядом.

— Довольно! Избавьте меня от ваших метафор. Держу сто против одного, что его отравили. Бедняга Ламетри стал жертвой их нелепых выдумок. Он сам рассказывал, полушутя-полусерьезно, что ему показывали выходцев с того света и чертей. Они сбили с толку этот недоверчивый, но податливый ум. А потом, когда он отвернулся от Тренка, своего бывшего друга, они по-своему наказали его. Теперь я, в свою очередь, накажу их. И они запомнят это. Что же касается тех, кто хочет под прикрытием всех этих гнусных мошеннических проделок ткать сеть заговоров и обманывать бдительность законов…

Тут король захлопнул полуоткрытую дверь, и Консуэло уже ничего больше не слышала. После четверти часа тревожного ожидания перед ней

наконец появился Фридрих, грозный, постаревший и подурневший от гнева. Не глядя на нее, не говоря ни слова, он тщательно закрыл все двери, и, когда он подошел к ней, в его взгляде было столько злобы, что ей показалось, будто он собирается ее задушить. Она знала, что в пароксизме ярости он, сам не отдавая себе в этом отчета, обретал зверские инстинкты своего отца и нередко позволял себе пинать сапогами не угодивших ему чиновников. Ламетри смеялся над этими жестокими выходками и уверял, что такого рода физические упражнения являлись превосходным средством от мучившей короля преждевременной подагры. Но Ламетри уже не суждено было ни смешить короля, ни смеяться над ним. Этот молодой, бодрый, полнокровный, цветущий человек умер два дня назад после застольного излишества, и король, находившийся во власти какого-то мрачного заблуждения, вообразил, будто смерть Ламетри явилась следствием, не то ненависти иезуитов, не то злых козней магов, бывших тогда в моде. Фридрих и сам, хоть он не признавался себе в этом, был во власти смутного ребяческого страха, который оккультные науки внушали всей Германии.

— Слушайте меня внимательно! — сказал он

Консуэло, испепеляя ее взглядом. — Вы изобличены, вы погибли, у вас есть одно средство спастись — немедленно признаться во всем, прямо и без отговорок.

Консуэло хотела отвечать, но король не дал ей сказать ни слова.

— На колени, несчастная, на колени! — вскричал он, указывая на пол. — Подобные признания нельзя делать стоя. Вам бы следовало пасть ниц, не ожидая моего приказания. Повторяю, на колени, или я не буду вас слушать. — Так как мне совершенно нечего вам сказать, — ответила Консуэло ледяным тоном, — вам не придется меня слушать. А встать перед вами на колени… нет, этого вы никогда от меня не добьетесь.

Одно мгновение король готов был швырнуть на пол и растоптать эту безумную девушку. Консуэло невольно взглянула на судорожно протянутые к ней руки Фридриха, и ей показалось, будто ногти у него удлинились и он выпустил их наружу, как кошка, готовая броситься на добычу. Но королевские когти тут же спрятались. Фридрих, несмотря на мелочность своей натуры, обладал слишком возвышенным умом, чтобы не уметь оценить мужество других. Он улыбнулся, изображая презрение, которого отнюдь

не испытывал. — Несчастное дитя! — сказал он сочувственным тоном. — Им удалось превратить тебя в фанатичку. Но слушай меня — дорого каждое мгновение! Ты еще можешь спасти свою жизнь. Через пять минут будет поздно. Я даю тебе эти пять минут, воспользуйся ими. Решайся, открой все или готовься к смерти.

— Я готова к ней, — ответила Консуэло, возмущенная этой угрозой, но считавшая ее неосуществимой и высказанной лишь для того, чтобы ее запугать.

— Молчите и думайте, — сказал король, садясь за письменный стол и раскрывая книгу со спокойным видом, который, однако, не мог полностью скрыть его мучительное и глубокое волнение.

Консуэло вспомнила, как Будденброк, нелепо копируя короля, и тоже с часами в руке, дал ей на приготовления пять минут, и решила использовать отпущенный ей срок на то, чтобы выработать план своего поведения. Она чувствовала, что главное для нее сейчас суметь избежать искусных и тонких вопросов короля, которыми он мог опутать ее, как сетью. Кто мог бы надеяться ввести в заблуждение такого судью? Консуэло рисковала попасть в расставленные королем силки и, пытаясь спасти принцессу, погубить

ее. И вот она приняла великодушное решение не делать попыток оправдаться, не спрашивать даже, в чем ее обвиняют, и рассердить судью своей дерзостью до такой степени, чтобы он вынес свой приговор необдуманно и несправедливо, ab irato . Прошло десять минут, а король все еще не поднимал глаз от книги. Быть может, он хотел дать ей время одуматься, а быть может, книга действительно поглотила его внимание.

— Ну как, приняли вы решение? — спросил он наконец, откладывая книгу, положив ногу на ногу и опершись локтем на стол.

— Мне нечего решать, — ответила Консуэло. — Я нахожусь во власти несправедливости и насилия. Мне остается одно — терпеть связанные с ними тягостные последствия.

— Это меня вы обвиняете в насилии и несправедливости?

— Если не вас, то неограниченную власть, которая развращает вашу душу и отклоняет от истины ваши суждения.

— Превосходно! И вы позволяете себе судить мои поступки, забывая, что у вас остались секунды, чтобы отвратить от себя смерть.

— У вас нет права располагать моей жизнью, я не ваша подданная, а если вы нарушаете права

человека, тем хуже для вас. Что до меня, я предпочитаю умереть, нежели прожить еще хоть один день под властью ваших законов. — Вы откровенно меня ненавидите, — сказал король, по-видимому разгадавший замысел Консуэло и решивший вооружиться хладнокровным презрением, чтобы его разрушить. — Как видно, вы прошли хорошую школу, и роль спартанской девственницы, которую вы играете так искусно, только доказывает вину ваших сообщников и разоблачает их поведение больше, нежели вы предполагаете. Но вы плохо осведомлены о правах людей и человеческих законах. Каждый властелин имеет право уничтожить любого человека, который прибыл в его государство для участия в заговоре против него.

— В заговоре? И вы говорите это обо мне? — с негодованием вскричала Консуэло, сознавая свою правоту. Пожав плечами, сама не понимая, что делает, она повернулась к дверям, как бы собираясь уходить.

— Куда вы идете? — спросил король, пораженный видом этого неотразимого чистосердечия.

— В тюрьму, на эшафот, куда вам будет угодно, лишь бы мне не слышать этого нелепого обвинения.

— Как вы рассердились! — заметил король с сардоническим смехом. — Сказать вам, почему? Да потому, что вы явились сюда с решением задрапироваться в мантию римлянки, и увидели, что ваше притворство только смешит меня — не более. Ничто не может быть обиднее — особенно для актрисы, — чем роль, сыгранная неудачно.

Не удостаивая короля ответом, Консуэло скрестила руки и посмотрела ему в глаза с таким спокойствием, что он чуть было не смутился. Желая утишить пробуждавшийся гнев, он вынужден был нарушить молчание и возобновить свои оскорбительные насмешки, в надежде, что, защищаясь, обвиняемая выйдет из себя и потеряет выдержку и хладнокровие.

— Да, — сказал он, словно в ответ на немой упрек этого надменного лица, — мне известно, что вас уверили, будто я в вас влюблен, и вы вообразили, будто можете безнаказанно мне дерзить. Все это было бы весьма забавно, если б в этом деле не оказались замешаны особы, которыми я дорожу побольше, чем вами. Тщеславие побудило вас сыграть эффектную сцену, но вам бы следовало знать, что наперсники, находящиеся в подчинении, всегда бывают принесены в жертву теми лицами, которые воспользовались их

услугами. Поэтому я собираюсь покарать отнюдь не их. Они чересчур близки мне, и наказывать их я могу только одним путем: строго покарав вас у них на глазах. А теперь решайте, стоит ли вам подвергать себя таким несчастьям ради особ, которые вас предали и свалили всю вину на вашу нескромность и тщеславие.

— Государь, — ответила Консуэло, — я не знаю, что вы имеете в виду, но ваши слова о наперсниках и о тех, кто пользуется их услугами, заставили меня содрогнуться за вас.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ваши слова заставляют меня поверить, что в ту пору, когда вы оказались первой жертвой тирании, вы действительно способны были отдать майора Катте во власть палачей своего отца.

Король смертельно побледнел. Все знали, что в молодости, после попытки бежать в Англию, наперснику Фридриха отрубили голову у него на глазах по приказанию отца. Сам Фридрих в это время находился в тюрьме, но его насильно подвели к окну и держали там, чтобы он видел, как льется на эшафоте кровь его друга. Эта чудовищная казнь, хоть он был в ней совершенно неповинен, произвела на него ужасное впечатление. Однако принцам суждено следовать

примеру деспотизма, даже если в прошлом они сами жестоко от него пострадали. Душа Фридриха ожесточилась в несчастии, и после молодости, полной мучений и рабской зависимости, он вступил на престол, успев впитать все принципы и предрассудки неограниченной власти. Никакой упрек не мог бы уязвить его больнее: Консуэло напомнила ему о его собственных былых злоключениях и дала почувствовать его теперешнюю несправедливость. Он был поражен в самое сердце, но эта рана не смягчила его очерствевшую душу, как в юности «не смягчила ее казнь майора Катте. Он встал и произнес изменившимся голосом:

— Довольно, вы можете идти.

Он позвонил, снова раскрыл книгу и в ожидании слуг несколько секунд делал вид, будто углублен в чтение. Однако рука его дрожала, и он никак не мог перевернуть шелестевшую страницу.

Вошел лакей, король сделал ему знак, и Консуэло увели в другую комнату. Одна из левреток короля, которая все время ластилась к ней, прыгая и виляя хвостом, пошла следом за осужденной, и король, питавший истинно нежные чувства лишь к своим маленьким животным,

окликнул собачку в тот миг, когда она была уже в дверях. У короля была фантазия, быть может и не лишенная разумного основания: он верил, будто его собаки обладают даром инстинктивного проникновения в чувства тех, кто его окружал. Он начинал испытывать недоверие к тем, кому они упорно оказывали дурной прием, и, напротив, убеждал себя, что вполне может положиться на тех людей, к которым ластились его собаки. Несмотря на возбуждение, от него не ускользнула явная симпатия левретки к Порпорине, и когда его любимица вернулась к нему с опущенной головой, всем своим видом выражая сожаление и грусть, он ударил кулаком по столу, сказав самому себе: «А все-таки эта девушка не замышляла против меня ничего дурного! «.

— Ваше величество изволили звать? — спросил Будденброк, входя в другую дверь.

— Нет! — ответил король, рассерженный поспешностью, с которой придворный готов был броситься на свою жертву. — Выйдите, я позвоню вам. Задетый тем, что с ним обращаются как с лакеем, Будденброк вышел, и в течение нескольких минут, которые король провел размышляя, Консуэло оставалась под присмотром в Гобеленовой зале. Наконец раздался звонок, и оскорбленный

адъютант не менее поспешно ринулся к своему господину. Король как будто бы смягчился и был более склонен к общению.

— Будденброк, — сказал он, — у этой девушки поразительный характер! В Риме ее с триумфом возили бы в колеснице, запряженной восьмеркой лошадей, надели бы на нее венок из дубовых листьев. Вели запрячь почтовую карету, сам проводи ее из города и отправь под надежной охраной в Шпандау. Она должна быть заточена в крепость и подвергнута режиму государственных преступников, но не самому мягкому, ты меня понял?

— Да, государь.

— Погоди. Ты сядешь в карету вместе с ней, провезешь ее по городу и хорошенько напугаешь. Пусть она подумает, что ее собираются отдать палачу и наказывать плетьми на каждом перекрестке, как это делалось «при моем отце. Но помни, что, рассказывая ей эти басни, ты не смеешь коснуться даже волоса на ее голове и должен надевать перчатку, когда она будет опираться на твою руку. Иди и учись на примере ее стоической преданности, как надо себя вести по отношению к тем, кто удостоил вас своим доверием. Это будет для тебя хорошим уроком.

Глава 14

Консуэло препроводили домой в той самой карете, которая привезла ее во дворец. Перед каждой дверью ее апартаментов были поставлены двое часовых, и Будденброк с часами в руке, подражая строгой пунктуальности своего господина, дал ей на сборы ровно час, не забыв предупредить, что весь ее багаж будет просмотрен служителями крепости, где отныне ей предстоит жить. Войдя в свою спальню, она нашла свои вещи в живописном беспорядке. Пока она беседовала с королем, агенты тайной полиции, явившиеся по его распоряжению, взломали все замки и унесли все бумаги. У Консуэло не было иных бумаг, кроме нот, и она огорчилась при мысли, что, быть может, никогда уже не увидит творений своих любимых композиторов, а это составляло единственное богатство, которое она накопила за всю свою жизнь. Гораздо меньше опечалило ее отсутствие немногих драгоценностей, преподнесенных разными высокопоставленными лицами в Вене и в Берлине за ее концерты. Их отобрали под тем предлогом, что между ними могли

быть спрятаны перстни с ядом или крамольные эмблемы. Король так никогда и не узнал об этом, а Консуэло никогда их больше не увидела. Исполнители темных дел Фридриха бесстыдно проделывали такого рода «честные» махинации, ибо платили им мало и они знали, что король скорее готов закрыть глаза на их грабеж, нежели увеличить им жалованье.

Прежде всего Консуэло посмотрела, на месте ли ее распятие, и, увидев, что они не взяли его — слишком ничтожна была ценность этой вещи, — поспешно сняла его со стены и сунула в карман. Увядший венок из роз валялся на полу. Подняв его, она с ужасом заметила, что прикрепленная к нему полоска пергамента с загадочными и ободряющими словами исчезла. Это было единственным доказательством ее причастности к так называемому заговору, но какие толки могла бы породить эта ничтожная улика! Продолжая с тревогой искать пергамент, Консуэло сунула руку в карман и нашла его. Она машинально положила его туда час назад, когда за ней пришел Будденброк. Успокоившись и прекрасно зная, что ее бумаги не могут никого скомпрометировать, она начала торопливо собирать вещи, необходимые в заточении, отнюдь не льстя себя надеждой

на то, что оно будет коротким. Помочь ей было некому, так как ее служанка была арестована для допроса, и не говоря уже о тревоге, мешавшей Консуэло сосредоточиться, она с трудом могла разобраться в множестве костюмов, выброшенных из шкафов и валявшихся на всех стульях. Внезапно стук какого-то предмета, упавшего посреди спальни, привлек ее внимание: это был большой гвоздь с наколотой на него запиской.

В ней было несколько слов:

«Угодно вам бежать? Тогда подойдите к окну. Через три минуты вы будете в безопасности».

Первым побуждением Консуэло было подбежать к окну. Но она остановилась на полдороге, так как подумала, что бегство, если оно удастся, явится с ее стороны как бы признанием своей вины, а такое признание всегда заставляет предполагать существование сообщников… «О принцесса Амалия! — сказала она про себя. — Если даже вы действительно предали меня, я все равно не предам вас! Я заплачу свой долг Тренку. Он спас мне жизнь, я, если понадобится, отдам за него свою».

Воодушевленная этим благородным решением, она связала в узел свои вещи, уже вполне овладев собой, и, когда за ней пришел Будденброк, была

совершенно готова. Он показался ей еще более лицемерным и злобным, чем обычно. Раболепный и в то же время высокомерный, Будденброк ревновал своего господина ко всем тем, к кому тот был привязан, и, подобно старому псу, готов был укусить всех друзей, бывающих в доме. Он был уязвлен уроком, который дал ему король, приказав, однако, помучить жертву, и теперь хотел одного — выместить на ней свою обиду.

— Мне очень неприятно, мадемуазель, — сказал он, — стать исполнителем столь суровых приказаний. В Берлине давно уже не видели ничего подобного… Не видели со времен короля Фридриха-Вильгельма, августейшего отца нынешнего государя. То был жестокий пример строгости наших законов и грозной власти наших королей. Я буду помнить о нем до конца жизни.

— О каком примере вы говорите, сударь? — спросила Консуэло, начиная думать, что ее жизни грозит опасность.

— Я не имел в виду ничего определенного, — ответил Будденброк. Просто я вспомнил о царствовании Фридриха-Вильгельма, оно с начала до конца являлось примером такой твердости, какую невозможно забыть. В те времена, если надо было наказать за важное преступление, не

считались ни с возрастом, ни с полом. Помнится, некую весьма привлекательную молодую особу благородного происхождения отдали в руки палачей, избили плетьми и выгнали из города за то, что она, вопреки воле короля, несколько раз принимала у себя одного из членов королевской фамилии.

— Мне известна эта история, — возразила Консуэло, терзаемая страхом, но полная негодования. — Эта молодая особа была чиста и невинна. Все ее преступление состояло в том, что она музицировала с его величеством — нынешним королем, а в то время — наследным принцем. Неужели Фридрих остался столь равнодушен к тем несчастьям, которые некогда сам навлек на других, что сегодня хочет напугать меня угрозой такой же низости?

— Не думаю, синьора. Все, что делает его величество, благородно и справедливо. Вам лучше знать, виновны вы перед ним или нет и заслуживаете ли его гнева. Мне хотелось бы верить в вашу невиновность, но король был сегодня в такой ярости, какой я, пожалуй, еще никогда у него не видел. Он кричал, что напрасно было его желание править с мягкостью и снисходительностью и что никогда при жизни его отца ни

одна женщина не проявляла подобной дерзости. Словом, некоторые выражения его величества заставляют меня опасаться, что вас ожидает какое-то унизительное наказание, не знаю — какое именно… и не хочу его предугадывать. Моя роль во всем этом весьма затруднительна. Если у городских ворот окажется, что король успел отдать приказ, который противоречит тому, который получил я — немедленно отвезти вас в Шпандау, — я поспешу удалиться, ибо занимаю слишком высокое положение, и мне не подобает присутствовать при…

Тут господин фон Будденброк, убедившись, что эффект удался и бедная Консуэло близка к обмороку, умолк. В эту минуту она готова была раскаяться в своей преданности и невольно обратилась мыслью к неведомым покровителям. Но, взглянув блуждающим взором на Будденброка, она угадала в его лице колебание лжи и немного успокоилась. Сердце ее, однако, едва не разорвалось, когда агент полиции остановил их у берлинской заставы и о чем-то заговорил с Будденброком. В этот момент один из гренадеров, сопровождавших карету верхом, подъехал к противоположной дверце и прошептал ей на ухо:

— Успокойтесь, синьора, никто не причинит

вам ни малейшего зла — не то прольется много крови.

В своем смятении Консуэло не успела разглядеть лицо неизвестного друга, ибо тот немедленно отъехал. Экипаж быстро покатился по дороге к крепости, и спустя час Порпорина была заключена в замок Шпандау со всеми обычными, или, вернее, с теми немногими формальностями, какие необходимы неограниченной власти для ее действий.

Эта крепость, слывшая в те времена неприступной, выстроена посреди пруда, образовавшегося при слиянии Гавеля с Шпрее. День омрачился, небо нахмурилось, и Консуэло, выполнив свой долг, ощутила апатию и изнеможение — обычное следствие подобных актов героического самопожертвования. Поэтому она вошла в предназначенный ей приют, даже не глядя по сторонам. Силы ее иссякли, и, хотя день был еще в разгаре, она, не раздеваясь, бросилась на постель и крепко заснула. К чувству усталости примешивалось у нее то чудесное спокойствие, какое дает чистая совесть, и, несмотря на то, что ложе ее было жестким и узким, она уснула там глубоким и сладким сном.

Она спала уже не так крепко, когда башенные

часы вдруг звонко пробили полночь. Любой звук так сильно действует на музыкальный слух, что Консуэло окончательно проснулась. Приподнявшись, она поняла, что находится в тюрьме и что первую ночь ей предстоит провести в размышлениях, поскольку она проспала весь день. Перспектива бессонницы в темноте и полном бездействии не слишком ей улыбалась, но она сказала себе, что надо покориться и постараться как можно быстрее к этому привыкнуть. К своему удивлению, она не чувствовала холода, и отсутствие хотя бы этого физического страдания, сковывающего мысль, обрадовало ее. Снаружи жалобно выл ветер, дождь бил в стекла, и сквозь узкое оконце Консуэло видела лишь частую решетку, выделявшуюся на темной синеве заволоченного беззвездного неба.

В первые часы этой новой, дотоле неизвестной ей муки бедная узница сохраняла полную ясность духа, и ход ее мыслей отличался логичностью, рассудительностью и философской безмятежностью. Однако напряжение постепенно утомило ее мозг, и ночь начала казаться ей зловещей. На смену хладнокровным рассуждениям пришли неясные и причудливые грезы. Какие-то фантастические образы, тягостные воспоминания,

смутные страхи завладели ею, и она оказалась в таком состоянии, которое не было ни сном, ни бодрствованием и когда все ее мысли, принимая отчетливые формы, казалось, реяли во мраке ее каморки. То ей казалось, что она на сцене, и она мысленно пела длинную арию, страшно ей надоевшую, но преследовавшую ее неотступно. То она видела себя в руках палача, с обнаженными плечами, перед тупой и любопытной толпой — ее хлестали плетьми, а король гневно смотрел на нее с высокого балкона, и Андзолето смеялся где-то в уголке. Наконец она впала в какое-то оцепенение, и призрак Альберта вдруг возник перед ее глазами; лежа в своей гробнице, он тщетно силился подняться, чтобы прийти к ней на помощь. Потом этот образ исчез, и ей показалось, что она спит на земле в пещере Шрекенштейна, а где-то далеко, в глубине грота, раздаются прекрасные, душераздирающие звуки скрипки Альберта, выражающие скорбь и мольбу. Консуэло действительно наполовину спала, и мелодия скрипки, лаская слух, вносила успокоение в ее душу. Музыкальные фразы лились так связно, а модуляции были так отчетливы, хотя звук их и ослабляла дальность расстояния, что Консуэло почти поверила в их реальность, хотя почему-то

совсем не удивилась. Ей казалось, что этот фантастический концерт длился более часа и в конце концов затих, незаметно угаснув. Консуэло заснула по-настоящему, и когда она вновь открыла глаза, уже забрезжил день.

Первым делом она осмотрела свою камеру. Накануне она даже не взглянула на нее, настолько нравственные переживания заглушили в ней все, касавшееся внешней стороны жизни. Это была голая, но чистая комнатка, теплая благодаря сложенной из кирпичей печке, которая топилась снаружи и потому не давала света, зато поддерживала вполне сносную температуру. Комнату освещало одно сводчатое окошечко, но она не казалась темной, так как стены были невысоки и выбелены известью.

Кто-то трижды постучал в дверь, и раздался громкий голос сторожа:

— Узница номер три, встаньте и оденьтесь. Через четверть часа к вам войдут.

Консуэло поспешно встала и успела прибрать постель до прихода тюремщика, который с почтительным видом принес ей дневную порцию хлеба и воды. У него была чопорная осанка бывшего дворецкого из приличного дома, и он так аккуратно и заботливо поставил на стол этот

скудный тюремный рацион, словно подавал самый изысканный завтрак.

Консуэло бросила на него внимательный взгляд. Это был пожилой мужчина с добрым и неглупым лицом, в котором на первый взгляд не было ничего неприятного. На него была возложена обязанность прислуживать женщинам, так как он отличался безупречной нравственностью, хорошими манерами и умел держать язык за зубами. Шварц — такова была его фамилия, и он сообщил ее заключенной.

— Я живу под вами, — сказал он, — и если вам случится заболеть, окликните меня через окно, я тотчас поднимусь.

— Вы женаты? — спросила Консуэло.

— Разумеется, — ответил он, — и если вам потребуется помощь, моя жена будет к вашим услугам. Но сноситься с заключенными дамами ей позволяют только в случае их болезни. Это решает врач. Кроме того, у меня есть сын, и он разделит со мной честь прислуживать вам…

— Мне не понадобится столько слуг. Если позволите, господин Шварц, я буду иметь дело только с вами и с вашей женой.

— Я знаю, что мой возраст и моя наружность успокоительно действуют на дам. Но моего сына

тоже нечего бояться. Это превосходный мальчик, благочестивый, кроткий и твердый духом.

Последние два слова тюремщик намеренно подчеркнул, и узница прекрасно поняла его.

— Господин Шварц, — сказала она, — по отношению ко мне вам не придется применять вашу твердость. Я прибыла сюда почти добровольно и отнюдь не собираюсь бежать. Пока со мной будут обращаться вежливо и в пределах приличия — а кажется, именно так оно и будет, — я безропотно вынесу тюремные порядки, как бы они ни были суровы.

Сказав это, Консуэло, ничего не евшая целые сутки и всю ночь страдавшая от голода, отломила кусок черного хлеба и стала с аппетитом есть. Она заметила, что ее непритязательность произвела на старого тюремщика большое впечатление и что он восхищен, но в то же время и не совсем доволен.

— Разве ваша милость не испытывает отвращения к такой грубой пище? спросил он несколько смущенно.

— Не скрою, что если это протянется долго, я была бы не прочь питаться чем-нибудь более существенным, чтобы сохранить здоровье, но если придется удовольствоваться и подобной пищей,

для меня это будет не таким уж лишением.

— Но ведь вы привыкли жить хорошо? Я полагаю, у вас был хороший стол?

— Разумеется.

— В таком случае, — продолжал Шварц вкрадчивым тоном, — почему бы вам не заказать приличную еду за свой счет?

— А разве это дозволено?

— Ну конечно! — вскричал Шварц, и глаза его заблестели при мысли, что желанная сделка состоится; он боялся, что девушка окажется чересчур бедной либо чересчур неприхотливой. — Если ваша милость позаботились, входя сюда, припрятать немного денег… тогда мне не запрещается доставлять вам пищу по вкусу. Жена прекрасно готовит, и посуда у нас очень чистая. — Весьма любезно с вашей стороны, — сказала Консуэло, которой неприкрытая алчность господина Шварца внушала больше омерзения, чем удовольствия. — Однако прежде всего надо посмотреть, есть ли у меня деньги. При входе сюда меня обыскали. Мне оставили распятие — я очень дорожу им, — но забрали у меня кошелек или нет, этого я не заметила.

— Не заметили?

— Нет, вас это удивляет?

— Но, без сомнения, ваша милость знает, сколько денег было в кошельке?

— Приблизительно знаю.

С этими словами Консуэло осмотрела свои карманы и не нашла ни гроша.

— Господин Шварц, — сказала она с веселым мужеством, — я вижу, что мне не оставили ничего. Придется мне удовлетвориться обычным питанием узников. Так что не обольщайтесь на этот счет.

— Хорошо, сударыня, — ответил Шварц, сделав над собой явное усилие, — сейчас я вам докажу, что семья у нас честная и что вы имеете дело с порядочными людьми. Ваш кошелек у меня в кармане. Вот он!

И он показал Порпорине кошелек, после чего спокойно положил его обратно в карман.

— Что ж, пусть он пойдет вам на пользу! — сказала Консуэло, удивленная его бесстыдством.

— Погодите! — продолжал жадный и мелочный Шварц. — Вас обыскивала моя жена. Ей приказано не оставлять узникам денег, чтобы они не могли подкупить тюремщиков. Но когда тюремщики неподкупны, эта предосторожность излишня. Поэтому жена решила, что не обязана отдавать ваши деньги коменданту. Однако

существует инструкция, которой мы должны добросовестно подчиняться, и ваш кошелек не может быть возвращен вам.

— Так оставьте его у себя, — сказала Консуэло, — раз такова ваша воля.

— Разумеется, я оставлю его у себя, и вы сами поблагодарите меня за это. Отныне я ваш казначей, и ваши деньги пойдут на ваши нужды. Я буду приносить вам вкусные блюда, хорошенько протапливать вашу печку, смогу даже поставить вам кровать получше и почаще менять постельное белье. Свои расходы я буду подсчитывать ежедневно и брать из ваших денег, пока они не кончатся.

— В добрый час! — сказала Консуэло. — Я вижу, что с господином Шварцем можно сговориться, и отдаю должное его честности. Но, скажите, когда эта сумма — а она не очень велика — будет исчерпана, вы, надеюсь, найдете способ раздобыть для меня еще денег?

— Не надо говорить так! Ведь это значило бы для меня нарушить свой долг, а на это я не согласен. Но вы не пострадаете, ваша милость. Вам стоит только указать мне в Берлине или в любом другом месте лицо, которое распоряжается вашими деньгами, и я буду посылать ему счета,

чтобы оно аккуратно платило по ним. Против этого инструкция не возражает.

— Отлично. Вы нашли способ исправлять непоследовательность своей инструкции — ведь она разрешает вам хорошо обращаться с нами, а у нас отнимает возможность просить вас об этом. Когда мои золотые придут к концу, я постараюсь что-нибудь сделать. Для начала принесите мне чашку шоколада, к обеду подайте цыпленка и какой-нибудь зелени. Днем раздобудьте книги, а вечером свечу.

— Шоколад ваша милость получит через пять минут. Обед будет подан вовремя. К нему я добавлю хороший суп, сладкие блюда, к которым так неравнодушны дамы, и кофе, весьма полезный в этом сыром помещении. Что до книг и до свечи — не могу. Меня немедленно уволят, да и совесть запрещает мне нарушать инструкцию.

— Но ведь изысканные блюда и сладости тоже запрещены?

— Нет. Нам разрешено угождать дамам, а особенно вашей милости, во всем, что связано со здоровьем и хорошим самочувствием.

— Но ведь скука тоже вредит здоровью!

— Ошибаетесь, ваша милость. Если человек хорошо питается и дает отдых уму, он здесь всегда

полнеет. Я мог бы назвать вам одну даму, которая пришла сюда такой же стройной, как вы, а через двадцать лет, выходя отсюда, весила не менее ста восьмидесяти ливров. — Очень вам благодарна, господин Шварц, но мне совсем не нужна такая чудовищная полнота. Надеюсь, вы все-таки не откажете мне в книгах и освещении.

— Смиренно прошу прощения, ваша милость, но я не стану нарушать свои обязанности. Впрочем, ваша светлость не будет скучать, — у вас будет здесь клавесин и ноты.

— В самом деле! И этим утешением я обязана вам, господин Шварц?

— Нет, синьора, таково распоряжение его величества, и у меня есть приказ коменданта пропустить и поставить в вашей комнате вышеназванные предметы.

Обрадовавшись возможности заниматься музыкой, Консуэло уже не стала просить ни о чем другом. Она с удовольствием выпила шоколад, меж тем как господин Шварц расставлял мебель — бедную кровать, два соломенных стула и еловый столик.

— Вашей милости понадобится комод, — сказал он тем мягким, ласковым тоном, какой появляется у людей, когда они собираются окружить нас

заботами и вниманием за наши деньги. — И, кроме того, я доставлю вам более удобную кровать, ковер, письменный стол, кресло и туалет.

— Согласна на комод и на туалет, — ответила Консуэло, решив, что надо быть бережливее. — Об остальном не беспокойтесь. Я не такая неженка, и поэтому доставляйте мне лишь то, о чем вас попрошу.

Почтенный Шварц покачал головой с удивленным и почти презрительным видом, но воздержался от ответа.

— Она неплохая девушка, — сказал он своей достойной супруге, придя домой, — но денег у нее мало. На ней не очень-то поживишься.

— Что она может себе позволить? — ответила, пожимая плечами, госпожа Шварц. — Это ведь не знатная дама! Говорят, она просто актриса.

— Актриса! — вскричал Шварц. — Какая удача для нашего Готлиба!

— Еще что скажешь! — нахмурившись, возразила госпожа Шварц. — Уж не хочешь ли ты сделать из него комедианта?

— Ты не понимаешь, жена. Он будет священником. Во что бы то ни стало. Для этого он учился, и вообще в нем есть все, что для этого требуется. Но ведь ему придется читать проповеди, а пока что

он не слишком красноречив, — так вот эта самая актриса и будет давать ему уроки декламации. — Неплохо придумано. Лишь бы она не вздумала вычитать плату за уроки из наших счетов!

— Успокойся. Для этого она слишком проста, — ответил Шварц, ухмыляясь и потирая руки.

Глава 15

Клавесин прибыл днем. Тот самый, который Консуэло брала напрокат в Берлине. Она очень обрадовалась, что ей не придется привыкать к другому инструменту, быть может менее приятному и не такого верного тона. Со своей стороны, король, любивший вникать в мельчайшие деловые подробности, осведомился, отдавая приказ перевезти инструмент в крепость, является ли он собственностью примадонны, и, узнав, что клавесин был взят на прокат, велел передать владельцу, что ручается за возврат клавесина, но что пользование им по-прежнему будет оплачиваться самой заключенной. Владелец позволил себе заметить, что у него не будет возможности предъявлять иск особе, сидящей в тюрьме, особенно в случае, ежели она там умрет. На что фон Пельниц, которому были поручены эти важные переговоры, ответил, смеясь:

— Не станете же вы, милейший, ссориться с королем из-за таких пустяков. Впрочем, это ни к чему бы не привело. Ваш клавесин арестован и сегодня же будет отправлен в Шпандау.

Ноты и партитуры Порпорины были также доставлены в тюрьму, и она уже начала удивляться столь приятному тюремному распорядку, когда к ней явился комендант крепости и сообщил, что она по-прежнему будет выполнять свои обязанности примадонны придворного театра. — Такова воля его величества, — сказал он. — Всякий раз, как в недельной программе Оперы будет значиться ваше имя, карета в сопровождении конвойных будет отвозить вас к назначенному часу в театр, а потом привозить обратно в крепость сразу после представления. Эти переезды будут производиться с величайшей пунктуальностью и со всеми подобающими вам знаками уважения. Надеюсь, мадемуазель, что вы не вынудите нас попыткой к бегству сделать ваше заточение более суровым. По приказу короля мы поместили вас в теплой комнате, и вам разрешено будет прогуливаться по крепостному валу — вот он виден отсюда — сколько вам будет угодно. Словом, мы отвечаем не только за вас самих, но также за ваше здоровье и за ваш голос. Вам придется испытать здесь только одно неудобство: полное одиночество и невозможность общаться с кем бы то ни было ни в самой тюрьме, ни вне ее стен. Дам у нас мало, и на все это здание достаточно одного сторожа,

так что вы будете избавлены от досадной необходимости принимать услуги людей грубых. Честная физиономия и хорошие манеры господина Шварца должны были успокоить вас на этот счет. Вам придется немного поскучать, но это будет единственной неприятностью, которую вам придется здесь переносить. Конечно, я понимаю, что в вашем возрасте и после того блестящего положения, которое вы занимали…

— Не беспокойтесь, господин комендант, — ответила Консуэло с оттенком гордости, — я никогда не скучаю, если могу заниматься делом. И прошу только об одном одолжении — дать мне принадлежности для письма и свечи, чтобы я могла играть по вечерам.

— Это совершенно невозможно. Мне очень жаль, что я не в силах исполнить единственную просьбу столь мужественной особы. Зато я могу разрешить вам петь в любое время дня и ночи. Ваша комната — единственное жилое помещение во всей этой уединенной башне. Правда, под вами живет сторож, но господин Шварц чересчур хорошо воспитан и не станет жаловаться, что слышит такой прекрасный голос; я же весьма сожалею, что живу далеко и не смогу им насладиться.

После этого диалога, происходившего в при-

сутствии почтенного Шварца, старый офицер удалился с низким поклоном, в полном убеждении благодаря спокойному тону певицы, что она попала сюда из-за какого-то нарушения театральной дисциплины и самое большее на несколько недель. Консуэло и сама не знала, за что ее заточили в крепость: за то ли, что сочли участницей политического заговора, за услугу, оказанную Фридриху фон Тренку, — а это тоже считалось преступлением, — или просто за то, что она была тайной наперсницей принцессы Амалии.

В течение двух или трех дней наша пленница испытывала уныние, печаль и тревогу, хотя ей не хотелось признаться в этом даже самой себе. Длинные ночи, продолжавшиеся в это время года по четырнадцать часов, казались ей особенно тягостными, пока она надеялась добиться от Шварца освещения, чернил и перьев, но вскоре она убедилась, что этот предупредительный тюремщик совершенно непреклонен. Шварц был человек не злой и, в противоположность большинству людей его профессии, не любил причинять страдания. По-своему он был даже благочестив и набожен, считая, что служит богу и спасает душу, поскольку выполняет лишь те служебные обязанности, от которых уж никак

нельзя уклониться. Правда, иной раз ему случалось делать исключения, но это бывало редко, лишь тогда, когда шанс заработать на узнике был менее велик, нежели опасность потерять место.

— До чего она глупа, — сказал Шварц жене, рассказывая о Консуэло. Воображает, что я стану рисковать службой, чтобы заработать несколько грошей на ее свечках!

— Смотри будь осторожен, — ответила ему жена, вдохновительница его корыстолюбивых побуждений. — Как только кончатся деньги, не давай ей ни одного обеда.

— Не беспокойся. У нее есть сбережения, она сама мне об этом сказала, и распоряжается ими господин Порпорино, певец театра.

— Ненадежный распорядитель! — возразила жена. — Перечитай-ка свод наших прусских законов, и ты увидишь, что насчет актеров есть такая статья, по которой должник может не платить долгов. Смотри, как бы доверенный нашей барышни не сослался на эту статью и не придержал денежки, когда ты предъявишь ему счета.

— Но ведь, несмотря на заточение, ее контракт с театром не расторгнут, она будет продолжать выступать на сцене, и, значит, я смогу наложить арест на ее жалованье.

— А кто поручится, что ей будут платить жалованье? Король знает законы лучше всех, и если ему вздумается сослаться на статью…

— Ну и умница же ты, жена, — ответил Шварц. — Я буду настороже. Нет денег — нет обеда, нет дров, нет лишней мебели. Все строго по инструкции.

Так чета Шварц мирно обсуждала судьбу Консуэло. А Консуэло, убедившись, что достойный страж неподкупен в отношении свечей, решила распределить свой день таким образом, чтобы не слишком страдать в долгие ночи. Она намеренно избегала петь в течение дня, чтобы приберечь это занятие на вечер. Старалась, насколько это было в ее силах, даже не думать о музыке и не предаваться музыкальному вдохновению или воспоминаниям о музыке до тех пор, пока не становилось темно. Вместо этого утро и день она отдавала размышлениям о своем положении, перебирала в памяти минувшие события своей жизни и думала о том, что еще могло ожидать ее в будущем. Вот почему ей довольно быстро удалось разделить свое существование на две половины: одну — чисто философскую, вторую — музыкальную, и она убедилась, что с помощью выдержки и предусмотрительности можно до

известной степени направить и подчинить своей воле бег того капризного и норовистого скакуна, что зовется фантазией, и ту прихотливую музу, что зовется воображением. Живя так размеренно, не обращая внимания на предписания и намеки Шварца, много, хотя и без особого удовольствия, гуляя по крепостному валу, она научилась чувствовать себя по вечерам вполне спокойно и с приятностью проводить те полуночные часы, которые у других узников, спешащих уснуть, чтобы избавиться от скуки, населены призраками и тревогами. Словом, отдавая сну лишь шесть часов, она вскоре привыкла крепко спать каждую ночь, так как ни разу излишком отдыха не нарушила покоя следующей.

Через неделю она уже так освоилась со своим заточением, что ей стало казаться, будто она никогда и не жила иначе. Вечера, вначале такие жуткие, сделались для нее любимейшим временем суток, а темнота не только не нагоняла на нее того страха, какого она опасалась, но, напротив, вызывала к жизни сокровища музыкальных образов, которые она давно уже вынашивала, но не могла ни разработать, ни отчетливо сформулировать в кипучей суете театра. Когда она почувствовала, что импровизация и исполнение

по памяти вполне может заполнить вечер, она позволила себе посвящать несколько дневных часов записи своих композиций и изучению любимых авторов, причем она работала еще более усердно, потому что ее уже не отвлекало множество душевных переживаний или бдительный надзор нетерпеливого и педантичного учителя. Чтоб записывать музыку, она сначала пользовалась булавкой, накалывая ноты между строчками, а затем маленькими деревянными щепками, которые отламывала от мебели и коптила о печку, когда та была раскалена. Но все это отнимало много времени, да и запас линованной бумаги был у нее очень невелик, и она решила, что лучше постараться еще более развить свою поразительную память, а потом в определенном порядке расположить в ней многочисленные композиции, которые зарождались у нее по вечерам. В конце концов это ей удалось, и, упражняясь таким образом, она смогла вспомнить свои мелодии, не записывая их и не смешивая одну с другой.

Так как в каморке Консуэло бывало порой слишком жарко — господин Шварц чересчур щедро подкладывал в печку дров сверх положенной порции, — а на крепостном валу, где она гуляла,

ее беспрестанно продувало ледяным ветром, она простудилась и в течение нескольких дней вынуждена была сидеть взаперти, что лишило ее удовольствия поехать в Берлин для выступления в Опере. Тюремный доктор, которому вменялось в обязанность навещать ее дважды в неделю и докладывать господину фон Пельницу о состоянии ее здоровья, сообщил ему, что певица потеряла голос в тот самый день, когда барон с позволения короля собирался вновь выпустить ее на сцену. Итак, выезд ее был отложен, чем она ничуть не огорчилась: ей хотелось впервые вдохнуть воздух свободы лишь тогда, когда она настолько свыкнется со своей тюрьмой, что сможет вернуться в нее без сожаления.

Поэтому она не лечилась с той заботливостью и вниманием, с какими обычно певица бережет свое драгоценное горло. Она продолжала выходить на крепостной вал, и вот по ночам ее стало лихорадить. Тогда с ней произошло то, что часто бывает с людьми в подобных случаях. Жар вызывает в мозгу каждого человека какой-либо бред, более или менее тягостный. Одному чудится, будто стены комнаты, все суживаясь, надвигаются на него, готовые вот-вот раздавить ему голову; потом они раздвигаются, отпускают его и встают

на свое место, чтобы через некоторое время надвинуться вновь, грозя снова сдавить его, и так без конца, принося ему то муку, то облегчение. Иным кажется, будто их кровать — это волна, которая вздымает их до самого балдахина, затем опускает вниз, затем снова поднимает вверх, словно на качелях. Когда рассказчику сей правдивой истории случается болеть лихорадкой, ему мерещится, будто огромная черная тень нависла над некой блестящей поверхностью, в центре которой находится он сам. Эта тень, реющая над воображаемой плоскостью, беспрерывно движется, то сжимаясь, то расширяясь. Растягиваясь, она покрывает собой всю сверкающую поверхность; уменьшаясь, сжимается, доходя до узкой, как проволока, полоски, потом снова расширяется, снова сжимается — и так без конца. В этой галлюцинации не было бы ничего неприятного, если бы больной не испытывал трудно объяснимого ощущения, будто он сам является неясным отблеском чего-то неведомого, что неустанно реет над ограниченным пространством, сжигаемым огнем невидимого солнца. Это ощущение до такой степени живо, что, когда воображаемая тень сжимается, больному кажется, что и он тоже уменьшается и утончается, превращаясь в тень

от волоска; когда же она расширяется, он чувствует, как его тело раздувается, превращается в тень от горы и закрывает всю долину. Но в этой галлюцинации нет ни горы, ни долины. Нет ничего, кроме отблеска какого-то непрозрачного тела, которое так же воздействует на солнечное отражение, как черный зрачок кошки в ее радужной оболочке, и эта галлюцинация, не смягчаемая сном, превращается в какую-то странную пытку.

Можно было бы рассказать о человеке, который, горя в лихорадке, ежесекундно видит, как на него обрушивается потолок; и о другом, которому чудится, будто он превратился в шар, плавающий в воздушном пространстве; о третьем, принимающем промежуток между кроватью и стеной за пропасть, причем он воображает, что все время падает влево, в то время как четвертому кажется, что он вот-вот упадет вправо. Впрочем, каждый читатель мог бы поделиться собственными наблюдениями и опытом, но это бы ничем нам не помогло и тоже не объяснило бы, почему каждый индивид в течение всей своей жизни или хотя бы на протяжении многих лет видит один и тот же сон — свой собственный сон, и при каждом приступе лихорадки становится жертвой одной и той же галлюцинации, которая всякий раз

причиняет ему одни и те же ощущения мучительной тревоги. Вопрос этот относится к области физиологии, и, быть может, врач нашел бы здесь какие-нибудь признаки, говорящие о наличии если не явной болезни, проявляющейся и в других, не менее бесспорных симптомах, то болезни скрытой, которая берет начало в наиболее уязвимом участке организма и для которой могут представлять опасность некоторые вещества.

Впрочем, этот вопрос находится вне моей компетенции, и я прошу у читателя прощения за то, что осмелился его коснуться.

Что до нашей героини, то галлюцинация, вызванная лихорадкой, неминуемо должна была носить у нее музыкальный характер и влиять на органы слуха. Итак, она снова впала в то странное дремотное состояние, похожее на сон наяву, какое было у нее в первую ночь, проведенную в тюрьме. Ей чудилось, будто она слышит жалобные звуки скрипки Альберта, его выразительную игру. Иногда эта музыка звучала отчетливо и громко, словно инструмент находился тут же, в комнате, а иногда становилась еле слышной, словно доносилась откуда-то издалека. В этих чередованиях интенсивности воображаемых звуков было что-то необыкновенно мучительное.

Когда песнь скрипки приближалась, Консуэло испытывала страх; когда звуки делались громче, сила их ужасала больную. Когда же звуки замирали, девушка не испытывала особого облегчения, ибо напряженное внимание, с каким она прислушивалась к этой затихающей в пространстве мелодии, доводило ее до полного изнеможения. В такие минуты ей казалось, что она уже ничего не слышит, но вот гармонический шквал возвращался и снова приносил ей озноб, смятение, и она горела как в огне, словно мощные удары фантастического смычка воспламеняли воздух и разнуздывали бурю вокруг нее.

Глава 16

Так как Консуэло не встревожилась по поводу своего нездоровья и почти не изменила образа жизни, она быстро поправилась, смогла снова петь по вечерам и обрела глубокий сон прежних спокойных ночей.

Однажды утром — то было двенадцатое утро ее заточения — она получила записку от господина фон Пельница, извещавшего ее, что вечером следующего дня ей предстоит выступить в театре.

«Я добился от короля позволения, — писал он, — самому заехать за вами в дворцовой карете. Если вы дадите слово не выскакивать в окошко, то, надеюсь, мне удастся даже избавить вас от конвоя и дать вам возможность появиться в театре без этой зловещей свиты. Поверьте, у вас нет более преданного друга, и я весьма сожалею о том суровом обхождении, которое вам приходится переносить, — быть может, незаслуженно».

Порпорину несколько удивила эта внезапная дружба и чуткое внимание со стороны барона. До сих пор, ежедневно встречаясь в качестве распорядителя театра со своей примадонной, господин

фон Пельниц, слывший отставным кутилой и не любивший добродетельных девиц, всегда бывал с ней весьма холоден и сух. Он даже любил подтрунивать — и притом не слишком дружелюбно — над ее безупречным поведением и сдержанностью ее манер. При дворе знали, что старый камергер — шпион короля, но Консуэло не была посвящена в дворцовые тайны и не подозревала, что можно заниматься этим гнусным ремеслом, как будто не теряя при этом уважения высшего света. Однако какое-то инстинктивное отвращение подсказывало Порпорине, что Пельниц более чем кто-либо способствовал ее несчастью. Поэтому на закате следующего дня, оказавшись с ним наедине в карете, уносившей их в Берлин, она взвешивала каждое свое слово.

— Бедная моя узница, — сказал он, — что с вами сделали! До чего свирепы ваши сторожа! Они ни за что не хотели впустить меня в крепость, ссылаясь на то, что у меня нет пропуска, и, не в упрек вам будь сказано, я мерзну здесь уже более пятнадцати минут в ожидании вас. Закутайтесь хорошенько в шубку — я привез ее, чтобы уберечь от простуды ваше горло, — и расскажите свои приключения. Что же такое произошло на последнем костюмированном бале? Все задают

себе этот вопрос, и никто ничего не знает. Несколько чудаков, которые, на мой взгляд, никому не причинили вреда, внезапно исчезли словно по волшебству. Граф де Сен-Жермен — он, кажется, принадлежал к числу ваших друзей? Некий Трисмегист — по слухам, он скрывался у господина Головкина, и с ним вы, вероятно, тоже знакомы… Ведь говорят, что вы в прекрасных отношениях со всеми этими сынами дьявола…

— Эти лица арестованы? — спросила Консуэло.

— Или сбежали. По городу ходят обе версии.

— Если они так же не знают, за что их преследуют, как не знаю я, то лучше бы им не трогаться с места, а спокойно ждать доказательств своей невиновности.

— Или молодого месяца, который может изменить расположение духа монарха. Пожалуй, это будет самое верное. Мой совет — пойте сегодня как можно лучше. Это произведет на него более сильное впечатление, чем красивые слова. Как это вы, мой прелестный друг, оказались столь неловки, что ухитрились попасть в Шпандау? Никогда еще за такие пустяки, в каких обвиняют вас, король не выносил столь неучтивого приговора даме. Должно быть, вы дерзко ему отвечали и вели себя весьма воинственно. Маленькая

дурочка — вот вы кто! Да какое же преступление вы совершили? Расскажите мне все, прошу вас. Держу пари, что я улажу ваши дела, и, если вы последуете моим советам, вам не придется ехать обратно в эту сырую мышеловку Шпандау — вы сегодня же будете ночевать в своей уютной квартирке в Берлине. Ну, покайтесь же мне в своих грехах. Говорят, вы были на званом ужине во дворце у принцессы Амалии и посреди ночи развлекались тем, что изображали привидение и разгуливали с метлой по коридорам, чтобы попугать фрейлин королевы. По слухам, у некоторых из этих девиц произошли преждевременные роды, а самые добродетельные произведут на свет младенцев с родимым пятном на носу в виде крошечной метлы. Говорят также, будто вам предсказывал будущее прорицатель госпожи фон Клейст, а господин де Сен-Жермен открыл вам все тайны политики Филиппа Красивого. Неужели вы настолько наивны и не понимаете, что король вместе со своей сестрой хочет посмеяться над всеми этими чудачествами — только и всего. Ведь привязанность короля к госпоже аббатисе доходит до ребячества. Ну, а предсказатели… Королю нужно узнать, берут ли они деньги за свои басни, и если да, он предложит им поки-

нуть страну. Вот и все. Как видите, вы сильно преувеличили важность своей роли, и, если бы вы согласились спокойно ответить на некоторые незначительные вопросы, вам не пришлось бы попасть в государственную тюрьму и так скучно провести дни карнавала. Консуэло слушала болтовню старого царедворца, не перебивая, а когда он стал настойчиво просить ее ответить, она твердо заявила, что не понимает, о чем идет речь. Она чувствовала, что под этим шутливым и благожелательным тоном скрывается западня, и была настороже.

Тогда Пельниц переменил тактику и заговорил серьезно.

— Хорошо, — сказал он, — вы не доверяете мне, но я не сержусь. Напротив, я очень ценю вашу осторожность. Если так, мадемуазель, я буду говорить начистоту. Вижу, что на вас можно положиться и что наша тайна в верных руках. Так знайте же, синьора Порпорина, что я ваш друг в еще большей степени, чем вы можете предполагать, ибо я свой. Я принадлежу к партии принца Генриха.

— Стало быть, у принца Генриха есть партия? — спросила Порпорина, стремясь выяснить, в какую же интригу ее вовлекли.

— Не притворяйтесь, будто ничего не знаете, — возразил барон. — Эту партию сейчас сильно преследуют, но она отнюдь не унывает. Далай-Лама, или, если хотите, господин маркиз, не так уж крепко сидит на престоле, чтобы его нельзя было свергнуть. Пруссия — хороший боевой конь, но не следует доводить его до крайности.

— Итак, вы участвуете в заговоре, барон? Вот уж никогда бы не поверила!

— Кто сейчас не участвует в заговорах? Наш тиран как будто окружен верными слугами, но все они дали клятву погубить его.

— Как вы легкомысленны, барон, если открываете мне подобную тайну.

— Я открыл вам ее лишь потому, что принц и принцесса уполномочили меня на это.

— О какой принцессе вы говорите?

— Вы прекрасно знаете, о какой. Не думаю, чтобы в заговоре участвовали другие принцессы!.. Разве только маркграфиня Байрейтская — ведь она недовольна своим жалким положением и сердится на короля с тех пор, как он разбранил ее за дружбу с кардиналом Флери. Это старая история, но женщины злопамятны, а маркграфиня Гильеметта обладает выдающимся умом — не правда ли?

— Я никогда не имела чести беседовать с ней.

— Но вы виделись с ней у аббатисы Кведлинбургской!

— Я была у принцессы Амалии только однажды, и единственный член королевской семьи, которого я там видела, это король.

— Ну, все равно! Так вот, принц Генрих поручил мне передать вам, что…

— В самом деле, барон? — презрительным тоном проговорила Консуэло. Принц Генрих поручил вам что-либо передать мне?

— Сейчас вы убедитесь, что я не шучу. Он просил сообщить вам следующее: дела его отнюдь не так плохи, как говорят; никто из сообщников не предал его; Сен-Жермен уже во Франции, где пытается объединить оба заговора — наш и тот, который собирается немедленно восстановить на английском престоле Карла Эдуарда; арестован один только Трисмегист, но Сен-Жермен поможет ему бежать и вполне уверен в его молчании. Что касается вас, мадемуазель, то он заклинает вас не поддаваться угрозам маркиза, а главное не доверяться некоторым лицам; чтобы заставить вас заговорить, они будут притворяться, будто действуют в ваших интересах. Вот почему я подверг вас сейчас небольшому испытанию. Вы вышли из

него победительницей, и я скажу нашему герою, нашему храброму принцу, будущему королю, что вы одна из самых надежных защитниц его дела!

Изумленная беззастенчивой наглостью фон Пельница, Консуэло громко расхохоталась, и когда, задетый ее презрением, барон спросил о причине столь неуместной веселости, она ответила:

— Нет, вы просто бесподобны, вы неподражаемы, господин барон!

И снова невольно рассмеялась. Она бы смеялась и под ударами палки, смеялась бы, как Николь у господина Журдена.

— Когда ваш нервический припадок пройдет, — сказал Пельниц, нимало не смутившись, — вы, может быть, соблаговолите открыть мне ваши намерения. Собираетесь ли вы предать принца? Думаете ли, что принцесса и в самом деле выдала вас королю? Считаете ли себя свободной от данных клятв? Берегитесь, мадемуазель. Быть может, вы не замедлите раскаяться в этом. Силезию мы очень скоро отдадим Марии-Терезии, которая отнюдь не отказалась от своих планов и превратится в мощную нашу союзницу. Россия и Франция, несомненно, поддержат принца Генриха — ведь госпожа де Помпадур не забыла

пренебрежения Фридриха. Могучее объединение, несколько лет борьбы легко могут свергнуть с престола надменного монарха, который держится уже только на ниточке… Благосклонность нового государя обеспечит вам высокое положение. В результате, — и это еще самое меньшее, что могут повлечь за собой эти события, — курфюрст Саксонский лишится польского королевства, а в Варшаве воцарится принц Генрих. Таким образом…

— Таким образом, барон, если судить по вашим словам, существует заговор, который в угоду принцу Генриху готов снова предать Европу огню и мечу? И этот принц ради удовлетворения собственного тщеславия не постыдится отдать свою родину чужеземцам? Мне трудно поверить в возможность подобных гнусностей, но если, к несчастью, вы говорите правду, я глубоко оскорблена тем, что меня считают вашей сообщницей. Давайте прекратим эту комедию. Вот уже четверть часа, как вы с большим искусством пытаетесь заставить меня сознаться в каких-то мнимых преступлениях. Я слушала вас для того, чтобы узнать, под каким предлогом меня держат в тюрьме. Теперь мне остается понять, чем я могла заслужить ненависть, которая столь низкими

способами преследует меня? Если вам угодно будет сказать мне это, я постараюсь оправдаться. Если же нет, я могу ответить на все те интересные истории, которые вы мне рассказали, лишь одно — что они очень меня удивили и что подобные проекты не вызывают во мне ни малейшего сочувствия.

— Если вы так мало осведомлены, мадемуазель, — обиженным тоном заявил Пельниц, — я поражаюсь легкомыслию принца. Как мог он поручить мне столь откровенно говорить с вами, не убедившись заранее в том, что вы одобряете его планы!

— Повторяю, барон, мне совершенно неизвестны планы принца, но я убеждена, что он не поручал вам передавать мне что бы то ни было. Простите, что я говорю вам это прямо в глаза. Я питаю уважение к вашему возрасту, но не могу не презирать ту отвратительную роль, какую вы сейчас играете передо мной.

— Нелепые женские подозрения нисколько меня не задевают, — ответил Пельниц, который уже не мог отступить и вынужден был лгать дальше. — Придет время, и вы отдадите мне должное. При том смятении, которое вызывает у человека преследование, и грустных мыслях, какие

неизбежно порождает тюрьма, неудивительно, что вы вдруг лишились своей обычной проницательности и сообразительности. Когда речь идет о заговоре, надо быть готовым к подобным причудам, особенно со стороны дам. Возможно, впрочем, что вы всего лишь преданный друг Тренка и наперсница августейшей принцессы… Это тайны чересчур деликатного свойства, чтобы я стал говорить о них с вами Сам принц Генрих смотрит на них сквозь пальцы, хотя ему небезызвестно, что единственной причиной, побудившей принцессу принять участие в заговоре, является надежда восстановить доброе имя Тренка и, быть может, выйти за него замуж.

— Об этом мне ничего не известно, господин барон, и я думаю, что, будь вы искренно преданны какой-нибудь августейшей принцессе, вы не стали бы рассказывать о ней такие странные вещи.

Стук колес по мостовой положил конец этой бесе — де — к великой радости барона, не знавшего, что еще придумать, чтобы выпутаться из неловкого положения. Они въехали в город. Певица прошла за кулисы и в свою уборную под охраной двух часовых, следивших за каждым ее шагом. Актеры встретили ее довольно холодно. Они любили ее, но ни у кого не было мужества

открыто восстать против явной немилости короля. Все были печальны, держались принужденно, и казалось, что они охвачены страхом перед какой-то заразой. Порпорине хотелось приписать их унылое смущение не трусости, а состраданию, и она сделала вывод, что ее заточение будет долгим. Решив показать им, что не боится, она со спокойствием мужества вышла на сцену.

В эту минуту в зале произошло нечто странное. Арест Порпорины наделал в свое время много шуму, и так как публика состояла исключительно из лиц, по своему убеждению или положению подчинявшихся королевской воле, все спрятали руки в карманы, чтобы противостоять желанию и привычке аплодировать опальной певице. Все глаза были устремлены на монарха, который, со своей стороны, обводил публику испытующим взором, как бы приказывая ей хранить глубочайшее молчание. Внезапно венок из живых цветов, брошенный неизвестно откуда, упал к ногам певицы, и несколько голосов одновременно и достаточно громко, чтобы их услышали во всех концах залы, выкрикнули слова: «Это король! Это прощение короля!» Странный возглас с быстротой молнии распространился из уст в уста, и так как каждый счел своим долгом сделать приятное

Фридриху, гром аплодисментов, какого никогда и никто не слышал в Берлине, раскатился по зале от галерки до партера. В течение нескольких минут Порпорина, растерявшаяся и смущенная столь смелым изъявлением чувств, не могла начать сцену. Изумленный король с грозным видом обернулся к зрителям, но этот вид был принят за знак согласия и одобрения. Сидевший неподалеку от него Будденброк спросил у молодого Бенды, что все это значит, а когда тот ответил, что венок был брошен из ложи короля, тоже начал аплодировать с недовольным и поистине комическим видом. Порпорине казалось, что она видит сон; король ощупывал себя, желая удостовериться, что не спит.

Каковы бы ни были причина и цель этой овации, на Консуэло она подействовала благотворно — певица превзошла самое себя, и не менее восторженные аплодисменты прерывали ее в продолжение всего первого действия. Но во время антракта недоразумение понемногу рассеялось, и лишь часть зрителей, наиболее незаметных и меньше всего пользовавшихся откровенностью придворных, продолжала упорно выражать одобрение. Наконец во время второго антракта болтуны, разгуливавшие в коридорах и в фойе,

сообщили всем, что король, по-видимому, очень недоволен неразумным поведением публики, что все это с неслыханной дерзостью подстроила сама Порпорина и что каждый, кто будет дальше проявлять свои нелепые восторги, жестоко раскается. Во время третьего действия в зале стояла мертвая тишина, и несмотря на все чудеса искусства, совершаемые примадонной, после каждой ее арии можно было бы услышать полет мухи. Зато другие певицы снискали бурные аплодисменты.

Что до Порпорины, она быстро утратила все иллюзии относительно своего успеха.

— Мой бедный друг, — сказал Кончолини, подавая ей за кулисами венок после первой сцены, — жаль, что у тебя такие опасные друзья. Они окончательно погубят тебя.

В антракте в ее уборную вошел Порпорино.

— Я предупреждал, чтобы ты не доверяла графу де Сен-Жермену, — произнес он вполголоса, — но было уже поздно. В каждой партии есть предатели. Но продолжай доверять друзьям и будь послушна голосу совести. Рука, которая тебя защищает, сильнее той, что угнетает тебя.

— Что ты хочешь этим сказать? — воскликнула Порпорина. — Разве и ты тоже…

— Я говорю, что тебя защитит бог, — ответил Порпорино, видимо, опасаясь, что их могут услышать.

И он показал на перегородку, разделявшую уборные актеров. Они были десяти футов в высоту, но между верхом и потолком оставалось все же значительное пространство, и из одной уборной было легко услышать все, что говорилось в другой.

— Я предвидел, что тебе понадобятся деньги, вот они, — сказал он еще более тихим голосом, передавая ей кошелек.

— Благодарю, — ответила Консуэло. — Тюремщик по дорогой цене продает мне съестные припасы. Если он вздумает требовать у тебя денег, не плати ему по счетам — здесь хватит надолго. Он настоящий ростовщик.

— Это пустяки, — возразил добрый и преданный Порпорино, — Я ухожу.

Твое положение может ухудшиться, если кому-нибудь покажется, что у нас с тобой есть тайны.

Он выскользнул из уборной, и вскоре туда вошла госпожа де Коччеи (Барберини). Она храбро высказала Консуэло свое сочувствие и дружбу. Маркиза д'Аржанс (Кошуа) присоединилась к ним с более чопорным видом и произнесла несколь-

ко слов тоном королевы — покровительницы несчастных. Несмотря на это, Консуэло оценила ее визит и попросила не задерживаться, так как это могло повредить положению маркиза, ее супруга.

Король спросил у Пельница:

— Ну, как? Ты расспросил ее? Нашел ты способ заставить ее заговорить?

— Скорее заставишь говорить каменную тумбу, — ответил барон.

— Намекнул ли ты ей, что я прощу все, если только она скажет мне, что именно ей известно о Женщине с метлой, и сообщит содержание ее разговора с Сен-Жерменом?

— Ее это интересует как прошлогодний снег. — А припугнул ты ее длительным заточением?

— Нет еще. Ваше величество приказали мне действовать добром. — Так припугни ее на обратном пути.

— Попытаюсь, но это не поможет.

— Кто же она — святая, мученица?

— Она фанатичка, одержимая, а может быть, сам черт в юбке.

— Если так, горе ей! Я брошу ее на произвол судьбы. Сезон итальянской оперы кончается через несколько дней. Устрой так, чтобы эта особа

больше не понадобилась на сцене, и я не желаю слышать о ней до будущего года.

— Целый год! Вашему величеству не выдержать.

— Твоя голова, Пельниц, не так твердо держится у тебя на плечах, как твердо мое решение!

Глава 17

У Пельница было достаточно поводов досадовать на Порпорину, чтобы ухватиться за возможность отомстить ей. И тем не менее он этого не сделал: он был необыкновенно труслив и решался проявлять свою неприязнь лишь по отношению к тем, кто всецело ему подчинялся. Стоило кому-нибудь поставить его на место, как он пугался, а возможно, испытывал невольное уважение к тем, кто не поддавался его обману. Случалось даже, что он отдалялся от льстецов, потакавших его порокам, и пресмыкался перед теми, кто выказывал ему презрение. Что это было — сознание собственной слабости или воспоминание о молодости, когда он еще не был так низок? Хочется верить, что в самых развращенных душах сохраняется нечто, изобличающее лучшие инстинкты, которые подавлены и проявляются лишь тогда, когда человек страдает или когда его мучит совесть. Известно, что Пельниц в течение долгого времени ходил по пятам за принцем Генрихом, притворяясь, будто сочувствует его горестям, что он часто подстрекал его жаловаться

на дурное обхождение короля, жалуясь на него сам, а потом передавал Фридриху слова принца, даже сгущая краски, чтобы еще более разжечь гнев короля. И ведь Пельниц занимался этим гнусным ремеслом исключительно из любви к искусству, ибо, в сущности, не питал ненависти к принцу. Он не питал ненависти ни к кому, кроме короля, который все более и более унижал его, не желая при этом возмещать унижения деньгами. Итак, Пельниц любил обман ради обмана. Одурачив кого-нибудь, он гордился, он торжествовал. Он получал истинное наслаждение, черня короля и заражая своим примером других. А передавая Фридриху все эти проклятия, был безмерно счастлив тем, что сам сумел их вызвать и что сумел одурачить также и своего властелина, скрыв от него то, что и он, Пельниц, насмехался над ним вместе с его врагами, выдавая им его чудачества, его смешные стороны, его пороки. Таким образом, он обманывал каждую из сторон, и эта жизнь, полная интриг, это умение разжечь ненависть, не навлекая ее на себя, — все это имело для него неизъяснимую тайную прелесть.

Однако в конце концов принц Генрих заметил, что всякий раз, как он делился с услужливым Пельницем своими обидами, через несколько

часов король начинал разговаривать с ним еще более раздраженным и сердитым тоном, чем обычно. Стоило ему пожаловаться Пельницу на то, что его целые сутки держат под арестом, как на следующий день срок удваивался. Этот принц, откровенный и храбрый, настолько же доверчивый, насколько подозрителен был Фридрих, наконец прозрел и понял, что барон — низкий человек. Не умея действовать осторожно, он прямо высказал ему свое негодование, и с этих пор Пельниц, согнувшись перед ним до земли, перестал ему вредить. Казалось даже, что он от всего сердца полюбил принца, насколько вообще способен был любить. Умиляясь, он говорил о Генрихе с таким восхищением, и уважение его было, по-видимому, столь искренним, что все поражались, находя подобные чувства странными, даже необъяснимыми со стороны этого человека.

Дело в том, что Пельниц, считая принца в тысячу раз великодушнее и снисходительнее Фридриха, предпочел бы служить Генриху. Так же, как король, он смутно угадывал, что принц окружен таинственной атмосферой заговора, и жаждал держать все нити в своих руках, чтобы знать, могут ли заговорщики рассчитывать на

успех, и вовремя присоединиться к ним. Вот почему он расспрашивал Консуэло о ее взглядах и убеждениях — ему хотелось разузнать кое-что для самого себя. Если бы она открыла ему то немногое, что было ей известно, он не передал бы этого королю — разве только тот дал бы ему большую сумму денег. Но Фридрих был чересчур скуп, чтобы иметь под своим началом крупных негодяев. Какую-то долю этой тайны Пельниц вырвал у Сен-Жермена. Он так горячо и так убежденно поносил перед графом короля, что даже этот ловкий авантюрист потерял обычную осторожность. Заметим в скобках, что этот авантюрист был не лишен безрассудного пыла, что, будучи во многих случаях шарлатаном и даже лицемером, он в то же время обладал фанатической убежденностью, заставлявшей его совершать немало противоречивых и непоследовательных поступков. Отвозя певицу в крепость, Пельниц, уставший от всеобщего презрения и уже забывший о презрении самой Консуэло, повел себя с ней крайне наивно. Без всяких просьб с ее стороны он сознался, что ничего не знает и что все то, что он ей наговорил о планах принца в отношении иностранных держав, было лишь сплетнями, основанными на странном поведении принца и на тайных

сношениях его и его сестры с разными подозрительными лицами.

— Эти сплетни не делают вам чести, барон, — ответила Консуэло, — и, пожалуй, не стоит похваляться ими.

— Сплетни исходят не от меня, — спокойно возразил Пельниц, — они зародились в воображении короля, нашего властелина, а он становится болезненным и печальным, как только в его мозг закрадывается подозрение. Правда, я выдал предположения за достоверные факты, но этот способ настолько освящен обычаями двора и наукой дипломатов, что вы просто педантка, если он шокирует вас. К тому же я научился этому от королей. Меня воспитали они, и всеми моими пороками я обязан отцу и сыну, двум прусским монархам, которым я имел честь служить. Защищать ложь, чтобы узнать правду! Фридрих никогда не действовал иначе, а его считают великим человеком — вот что значит быть знаменитым. Я же повторяю его ошибки, и меня считают негодяем — ну не предрассудок ли это?

Пельниц долго мучил Консуэло, расспрашивая, каковы были ее отношения с принцем, с аббатисой, с Тренком, с авантюристами Сен-Жерменом и Трисмегистом, а также с множеством других,

по его словам, весьма важных лиц, замешанных в таинственном заговоре. Он простодушно признался ей, что если бы эта интрига оказалась более или менее надежной, он примкнул бы к ней без колебаний. Консуэло поняла, что сейчас он наконец заговорил чистосердечно, но так как она и в самом деле ничего не знала, ее упорное нежелание рассказать что-либо было с ее стороны не такой уж заслугой. Когда Консуэло вместе с ее мнимой тайной скрылась за воротами крепости, Пельниц стал размышлять, как вести себя с ней в дальнейшем, и в конце концов, надеясь, что, быть может, она все-таки откроется ему, если с его помощью вернется в Берлин, решил обелить ее в глазах короля. Но не успел он заговорить о ней на следующий день, как король перебил его:

— Ну, в чем она созналась?

— Ни в чем, государь.

— В таком случае оставьте меня в покое. Я уже запретил вам говорить о ней.

— Государь, она ничего не знает.

— Тем хуже для нее! Впредь я запрещаю вам произносить при мне ее имя. Этот приказ был произнесен тоном, не допускающим возражений. Разумеется, Фридрих страдал, думая о Порпорине. В глубине его сердца и совести была маленькая,

но очень болезненная точка, которая ныла, как ноет палец, в котором сидит заноза. Чтобы избавиться от этого тягостного ощущения, он принял решение окончательно забыть его причину, что и удалось ему без особого труда. Не прошло недели, как благодаря своему могучему, истинно королевскому складу характера и рабскому подчинению окружающих он уже забыл о существовании Консуэло. Между тем несчастная по-прежнему томилась в Шпандау. Театральный сезон кончился, и у нее забрали клавесин. Король позаботился об этом в тот самый вечер, когда зрители осыпали певицу аплодисментами, думая, что это доставит ему удовольствие. Принц Генрих то и дело попадал на гауптвахту. Аббатиса была серьезно больна: король имел жестокость уверить ее, будто Тренк пойман и снова брошен в темницу. Трисмегист и Сен-Жермен действительно исчезли, и Женщина с метлой перестала посещать дворец. То, что предвещало ее появление, по-видимому, подтвердилось. Самый юный из королевских братьев скончался от истощения, наступившего в результате преждевременных недугов. К этим семейным горестям добавился и окончательный разрыв короля с Вольтером. Почти все биографы утверждают, что в этой по-

стоянной борьбе роль Вольтера оказалась более почетной. Однако, вникнув глубже в отчеты о процессе, начинаешь понимать, что обе стороны были не на высоте и что, пожалуй, Фридрих вел себя чуть достойнее. Более хладнокровный, более жестокий, более эгоистичный, чем Вольтер, Фридрих не знал ни зависти, ни ненависти, а эти-то жгучие, но мелочные страсти и лишали Вольтера тех гордости и значительности, хотя бы даже показных, какими умел блеснуть Фридрих. Среди прочих неприятных размолвок, которые капля за каплей подготовляли взрыв, была одна, в которой имя Консуэло не упоминалось, но которая отягчила приговор, обрекший ее на забвение. Как-то вечером д'Аржанс читал Фридриху парижские газеты в присутствии Вольтера. В них сообщалось о происшествии с мадемуазель Клерон. В середине спектакля какой-то далеко сидевший зритель крикнул ей: «Погромче!», на что она по-королевски ответила: «А вы потише!», и, вопреки приказанию извиниться перед публикой, горделиво и с достоинством довела роль до конца, после чего была отправлена в Бастилию. Газеты добавляли, что это происшествие не лишает зрителей мадемуазель Клерон, ибо во время заключения ее будут под конвоем привозить из

Бастилии в театр, где она будет играть Федру или Химену, а потом снова отвозить в тюрьму — и так до истечения срока наказания, который, как все предполагали и надеялись, не мог длиться долго.

Вольтер был очень дружен с Ипполитой Клерон, во многом способствовавшей успеху его трагедий. Это событие возмутило его, и он совсем забыл, что здесь, у него на глазах, происходит нечто аналогичное и даже более серьезное.

— Это отнюдь не делает чести Франции! — вскричал он, перебивая д'Аржанса. — Невежда! Предъявить столь глупое, столь грубое требование такой актрисе, как мадемуазель Клерон! Тупоголовая публика! Заставлять извиняться! Женщину! И притом очаровательную женщину! Педанты! Варвары!.. В Бастилию? Уж не померещилось ли вам это, маркиз? Женщину в Бастилию — в наше время? За остроумную, меткую фразу, сказанную так кстати? За восхитительную реплику? И где — во Франции!

— Очевидно, Клерон играла Электру или Семирамиду, — сказал король, и господину Вольтеру следовало бы отнестись более снисходительно к публике, боявшейся упустить хоть одно слово.

В другое время замечание короля могло бы показаться Вольтеру лестным, но оно было про-

изнесено с иронией, которая поразила философа и внезапно напомнила ему, что он совершил бестактность. Разумеется, у него хватило бы ума загладить ее, но он не пожелал. Язвительность короля разожгла его собственную, и он возразил:

— Нет, государь, даже если бы мадемуазель Клерон провалила роль в пьесе, которую написал я, это не изменило бы моего мнения о полиции, способной увезти в государственную тюрьму красоту, гениальность и беззащитность.

Этот ответ, присоединившись к сотне других, а главное, к тем оскорбительным словам и циничным насмешкам, которые передавали королю разные услужливые Пельницы, вызвали всем известный разрыв, послуживший Вольтеру поводом для самых забавных сетований, самых смешных проклятий и самых желчных упреков. Консуэло поэтому была еще более забыта в Шпандау, тогда как мадемуазель Клерон, окруженная триумфом и обожанием, спустя три дня вышла из Бастилии. Лишившись клавесина, бедная девушка вооружилась всем своим мужеством, чтобы продолжать петь и сочинять по вечерам. Это ей удалось, и вскоре она заметила, что ее голос и поразительный слух даже выиграли от этой трудной и безрадостной работы. Боязнь оши-

биться еще больше обостряла ее внимание — она больше прислушивалась к себе, а это требовало упражнения памяти и огромного напряжения. Ее пение становилось еще более значительным, более глубоким, более совершенным. Что до композиций, то они приняли более безыскусственный характер, и мотивы, сочиненные ею в тюрьме, отличались необыкновенной красотой и какой-то торжественной печалью. Однако вскоре она почувствовала, что отсутствие клавесина отражается на ее здоровье и отнимает душевное спокойствие. Испытывая потребность в беспрерывном труде и не имея возможности отдохнуть от волнующих часов создания и исполнения своих произведений, заменив их чем-нибудь более легким — например, чтением, она почувствовала, как лихорадка медленно завладевает ее организмом, как мрак окутывает все ее мысли. Эта деятельная, жизнерадостная, полная любви к людям натура не была создана для одиночества, не могла жить без привязанностей. И, быть может, после нескольких недель она изнемогла бы под бременем этого сурового распорядка, если бы провидение не послало ей друга, и притом именно там, где она менее всего ожидала его найти.

Глава 18

Под каморкой, занимаемой нашей узницей, в большой закопченной комнате с толстыми и мрачными сводами, на которых играли отблески огромного камина, полного железных кастрюль, ворчавших и певших на все лады, целыми днями возилось семейство Шварц, занятое сложными кулинарными маневрами. Покамест жена математически вычисляла, каким образом совместить наибольшее количество обедов с наименьшим количеством съестных припасов, муж, сидя за столом, испачканным чернилами и маслом, вдохновенно сочинял при свете постоянно горевшей в этом мрачном святилище лампы чудовищные счета, пестревшие самыми удивительными названиями блюд. Эти скудные обеды предназначались весьма значительному числу узников, которых услужливый тюремщик сумел включить в список своих нахлебников. Счета же предъявлялись потом их банкирам или родственникам, не подвергаясь предварительно проверке тех, кто пользовался этой роскошной пищей. В то время как ловкая супружеская чета

трудилась так усердно, еще два персонажа, куда более мирные, ютились здесь же, возле камина, в тишине и безмолвии, совершенно чуждые радостям и выгодам махинаций дельцов. Первым был большой тощий кот, рыжий, плешивый, по целым дням вылизывавший свои лапы или же катавшийся в золе. Вторым был юноша, вернее — подросток, еще более неказистый. Последний вел созерцательную, бездеятельную жизнь и был целиком поглощен либо чтением толстой старой книги, еще более засаленной, чем кастрюли его матери, либо бесконечными мечтаниями, которые скорее походили на блаженный бред юродивого, нежели на раздумья мыслящего существа. Кота мальчик окрестил Вельзевулом — очевидно, по контрасту с тем именем, которое родители дали ему самому — с благочестивым и святым именем Готлиб .

Предназначенный для духовной карьеры, Готлиб до пятнадцати лет учился хорошо и делал большие успехи в изучении протестантской литургии. Но вот уже четыре года, как он жил, больной и апатичный, не отходя от головешек, не испытывая желания выйти погулять, увидеть солнце, не чувствуя себя в силах продолжать образование. До этого состояния вялости

и изнеможения его довел чересчур быстрый и неправильный рост. Тонкие длинные ноги с трудом поддерживали тяжесть долговязого, развинченного тела. Плечи были так хилы, а руки так неловки, что он ломал и бил все, к чему прикасался. Поэтому его скупая мать запретила ему что-либо делать, и он охотно ей повиновался. Его одутловатая, безбородая физиономия с высоким открытым лбом сильно смахивала на дряблую грушу. Черты лица были у него так же несоразмерны, как и пропорции фигуры. Взгляд косых, разбегающихся глаз казался совершенно бессмысленным. На толстых губах застыла глупая усмешка. Бесформенный нос, бесцветная кожа, плоские, низко посаженные уши, редкие жесткие волосы, уныло торчащие на его жалкой голове, — все это скорее походило на плохо очищенную репу, чем на человеческое лицо. Таково по крайней мере было поэтическое сравнение его почтенной матушки. Несмотря на то что природа так обидела это жалкое создание, несмотря на стыд и горечь, которые испытывала, глядя на него, госпожа Шварц, Готлиб, единственный сын, безобидный, покорный и больной, являлся все же единственным объектом любви и гордости своих родителей. Прежде, когда он был еще не

так уродлив, они питали надежду, что он вырастет красивым. Когда он был ребенком, они радовались прилежанию сына и мечтали о его блестящем будущем. Невзирая на его плачевное состояние, они все же надеялись, что, когда прекратится этот бесконечный рост, он снова наберется сил, ума, красоты. Впрочем, надо ли объяснять, что материнская любовь примиряется решительно со всем и довольствуется малым. Высмеивая и браня сына, госпожа Шварц в то же время обожала своего гадкого Готлиба, и не торчи он весь день, словно соляной столб (так она выражалась), возле камина, у нее бы не хватило мужества и терпения разбавлять водой свою подливку и раздувать счета своих нахлебников. Папаша Шварц, который, как многие мужчины, вкладывал в отцовское чувство больше самолюбия, чем нежности, продолжал упорно обманывать и грабить своих арестантов в надежде, что когда-нибудь Готлиб станет священником и знаменитым проповедником. Такова была его навязчивая идея, ибо до болезни мальчик был очень красноречив. Но вот уже четыре года, как он не высказал ни одной разумной мысли, а если ему и случалось связать два-три слова, то они были обращены к коту Вельзевулу — единствен-

ному, кого он удостаивал своим вниманием. Впрочем, врачи давно объявили Готлиба душевнобольным, и только отец с матерью верили в возможность его выздоровления.

Но в один прекрасный день Готлиб внезапно пробудился от своей апатии и объявил родителям, что хочет изучить какое-нибудь ремесло, чтобы избавиться от скуки и проводить свои унылые дни с большей пользой. Хотя будущему члену протестантской церкви и не подобало заниматься физическим трудом, пришлось разрешить ему эту невинную причуду. Ум Готлиба так явно и так упорно нуждался в отдыхе, что родители позволили ему ходить в мастерскую сапожника и учиться там искусству тачать башмаки. Отцу было бы приятнее, если бы сын выбрал более изящную профессию, но какие ремесла ему ни называли, его выбор оставался неизменным — он хотел заниматься делом святого Криспина и даже объявил, что само провидение указало ему этот путь. Так как это желание превратилось у него в навязчивую идею и уже одно только опасение, что ему могут помешать, повергало его в глубокое уныние, пришлось позволить ему провести месяц в сапожной мастерской, после чего в одно прекрасное утро он пришел домой, снабженный

всеми необходимыми инструментами и материалами, и снова водворился у своего любимого камина, заявив, что научился всему, что нужно, и уроков ему больше не требуется. Поверить этому было трудно, но, надеясь, что опыт разочаровал сына и, быть может, он снова возьмется за богословие, родители приняли его без упреков и насмешек. И вот для Готлиба началась новая жизнь, целиком заполненная мечтой об изготовлении башмаков. Вооружившись колодкой и шилом, он три-четыре часа в день тачал пару обуви, которой никогда не суждено было обувать чьи-либо ноги, ибо ей не суждено было быть законченной. Готлиб ежедневно перекраивал, растягивал, колотил, прошивал свое произведение, и оно принимало всевозможные формы, за исключением одной — формы башмака, но это не мешало безмятежному мастеру продолжать свое дело с таким удовольствием, вниманием, медлительностью, терпением и удовлетворением, что никакая критика не смогла бы его задеть. Вначале эта одержимость немного испугала Шварцев, потом они так же привыкли к ней, как ко всему остальному, и нескончаемый башмак, который в руках Готлиба уступал место лишь толстому тому проповедей и молитв, стал считаться лишь еще

одним проявлением его недуга. От него требовалось только, чтобы он хоть изредка сопровождал отца во время обхода галерей и дворов и дышал свежим воздухом. Но эти прогулки сильно огорчали господина Шварца, потому что дети других сторожей и служащих крепости без конца бегали за Готлибом, передразнивали его расслабленную, неуклюжую походку и кричали на разные лады:

— Башмаки! Башмаки! Эй, башмачник, сшей нам пару башмаков!

Эти презрительные возгласы отнюдь не обижали Готлиба, он с ангельской кротостью улыбался злой детворе и даже останавливался, чтобы ответить:

— Пару башмаков? Охотно, с большим удовольствием. Приходите ко мне, и я сниму мерку. Кому нужны башмаки?

Но господин Шварц тащил сына вперед, чтобы помешать ему связываться со всяким сбродом, а «башмачник», по-видимому, ничуть не сердился и не досадовал на то, что его уводят от заказчиков. В первые дни заключения Консуэло господин Шварц обратился к ней со смиренной просьбой позаниматься с Готлибом и попробовать вновь пробудить в нем любовь к ораторской речи, к которой он проявлял такие способности в детстве.

Не скрыв от нее болезненного состояния своего наследника, Шварц, верный законам природы, прекрасно изображенным Лафонтеном: Малюток любим мы своих, Они для нас милей, прекрасней всех других, не слишком точно обрисовал ей все качества бедного Готлиба. В противном случае Консуэло, быть может, и не отказалась бы — а она отказалась — принимать в своей каморке девятнадцатилетнего юношу, описанного ей следующим образом: «Долговязый молодчик пяти футов и восьми дюймов роста — сущий клад для вербовщиков, если бы, к несчастью для его здоровья и к счастью для независимости, легкая слабость в руках и ногах не сделала его негодным к военной службе». Решив, что ей в ее положении неудобно встречаться с «мальчиком» такого возраста и такого роста, узница решительно отказалась принимать его и поплатилась за свою нелюбезность тем, что мамаша Шварц стала ежедневно разбавлять ее бульон кружкой воды.

Чтобы попасть на эспланаду, то есть на крепостной вал, где ей разрешено было ежедневно гулять, Консуэло приходилось спускаться вниз и проходить через зловонное жилище семейства Шварц — все это с разрешения и под охраной своего стража, который, впрочем, не заставлял себя

просить, ибо «неутомимая услужливость» (во всем, что касалось услуг, дозволенных инструкцией) заносилась в счет и высоко оплачивалась. Таким образом, часто проходя через эту кухню, дверь которой выходила на эспланаду, Консуэло в конце концов обратила внимание на Готлиба. Рахитичная детская голова на плохо сколоченном теле великана в первую минуту вызвала в ней отвращение, а потом жалость. Она ласково заговорила с ним и задала несколько вопросов, пытаясь вызвать его на разговор. Но ум Готлиба был скован болезнью, а может быть, крайней застенчивостью, ибо, сопровождая ее во время прогулок по крепостному валу исключительно по приказанию родителей, он на все ее вопросы отвечал односложно. Тогда, опасаясь, что дальнейшее внимание с ее стороны только усилит в нем неприязнь (а его смущение она принимала за неприязнь), Консуэло перестала обращаться к нему, даже смотреть на него, а отцу объявила, что не находит в нем ни малейшей склонности к ораторскому искусству.

К тот вечер, когда Консуэло в последний раз увидела своего друга Порпорино и берлинскую публику, мамаша Шварц снова ее обыскала. Однако певице удалось обмануть бдительность

этого цербера в юбке. Час был поздний, в кухне было темно, и мамаша Шварц, которую приход Консуэло разбудил, едва она успела заснуть, находилась в дурном расположении духа. В то время как Готлиб спал в комнатке, вернее — в конурке возле святилища поварского искусства, а сам Шварц поднимался по лестнице, чтобы отомкнуть железную дверь ее камеры, Консуэло подошла к камину, где под пеплом еще тлели угли, и, делая вид, будто гладит Вельзевула, стала искать способ спасти свои деньги от жадных лап тюремщицы: ей надоело целиком от нее зависеть. Пока мамаша Шварц зажигала лампу и надевала очки, Консуэло, осмотревшись, заметила у камина, в том месте, где обычно сидел Готлиб, на уровне его плеча, небольшое углубление — потайной ящик, где бедный дурачок держал свой том проповедей и свой нескончаемый башмак. Здесь, в этом почерневшем от копоти отверстии, хранились все богатства, все сокровища Готлиба. Быстрым и ловким движением Консуэло положила туда свой кошелек, а потом терпеливо позволила обыскать себя старой ведьме, которая долго мучила ее, ползая своими замасленными крючковатыми пальцами по всем складкам ее одежды, удивляясь и сердясь, что ничего не на-

ходит. Хладнокровие узницы, не придававшей успеху своего предприятия особого значения, в конце концов убедило жену тюремщика, что у той ничего нет, и, когда обыск кончился, Консуэло удалось схватить свой кошелек и спрятать его под шубкой. Очутившись у себя, она стала искать для него укромный уголок, так как знала, что во время ее прогулок камеру осматривают, и решила, что лучше будет держать деньги при себе, зашив их в кушак от платья: госпожа Шварц имела право обыскивать певицу только в тех случаях, когда она покидала крепость.

Между тем благодаря искусно составленным счетам первая сумма денег, найденная мамашей Шварц при обыске в день прибытия узницы, давно уже была исчерпана. Сделав несколько новых, довольно скудных затрат, господин Шварц составил новый кругленький счет, продиктованный обычным стремлением к наживе. Чересчур осторожный, чтобы требовать денег с заключенной, которой запрещено было их иметь, но которая в первый же день сообщила ему, что ее сбережения хранятся у Порпорино, вышепоименованный Шварц, ни слова не сказав Консуэло, отправился в Берлин и предъявил свой счет этому верному казначею. Но Порпорино, уже предупрежденный

Консуэло, отказался оплатить счет до того, как он будет подтвержден потребительницей, и отослал кредитора к певице, которую, как мы знаем, успел снабдить новой суммой денег. Шварц вернулся домой бледный и расстроенный. Он кричал, что его разорили, обокрали, хотя первые сто дукатов, которые были найдены при обыске узницы, могли бы четырежды оплатить то, что он потратил на нее за два месяца. Госпожа Шварц перенесла этот мнимый убыток философски, проявив большую твердость духа и предусмотрительность.

— Конечно, нас ограбили, как на большой дороге, — сказала она, — но разве на такой узнице можно было рассчитывать что-нибудь заработать? Я тебя предупреждала. Актриса! Разве у них бывают сбережения? Или актер! Что это за доверенное лицо? Разве можно на него положиться? Полно! Мы потеряли двести дукатов, так наверстаем их на других, более выгодных клиентах. Это научит тебя, как предлагать свои услуги первым встречным, не подумав хорошенько. Право, Шварц, я даже довольна, что ты получил этот маленький урок. А теперь я доставлю себе удовольствие и посажу ее на сухой или даже на заплесневевший хлеб. Как! Быть такой дурочкой и не позаботиться припрятать в кармане хоть

один фридрихсдор, чтобы заплатить за труд тюремщице, да еще смотреть на нашего Готлиба как на идиота, потому что он не ухаживает за ней. Подумаешь, что за птица!

Ворча и пожимая плечами, госпожа Шварц снова занялась своими делами и, подойдя к камину, возле которого сидел Готлиб, спросила его, снимая пену со своих котелков:

— Ну, а ты что скажешь на это, плутишка? Она произнесла эту фразу просто так, для красного словца, ибо отлично знала, что Готлиб прислушивался к их разговору не более внимательно, чем его кот Вельзевул.

— Мой башмак подвигается, матушка, — ответил Готлиб с блуждающей улыбкой. — Скоро я начну новую пару.

— Да, — сострадательно качая головой, ответила старуха. — Послушать тебя, так ты делаешь по паре башмаков в день. Работай, сынок, работай. Этак ты заработаешь много денег... О господи! — вздохнула она, вновь закрывая свои кастрюли, и в голосе ее прозвучала смиренная жалоба, словно материнское чувство влило каплю благочестия даже в это окаменевшее сердце.

В этот день, видя, что обеда нет, Консуэло сразу догадалась, в чем тут дело, хотя ей трудно было

себе представить, чтобы ее сто дукатов могли быть поглощены так быстро, да еще при такой скудной пище. Она заранее наметила себе план поведения с четой Шварц. Не получив от прусского короля ни обола и опасаясь, что он ограничится только обещаниями (такой же монетой, уезжая, получил свое жалованье и Вольтер), она понимала, что если ее заточение продлится, а Шварц не умерит своих требований, то ей ненадолго хватит тех небольших денег, которые она заработала, услаждая слух некоторых менее скупых, но и менее богатых особ. Поэтому она решила заставить его пойти на уступки и дня два или три довольствовалась хлебом и водою, делая вид, будто не замечает перемены в своем столе. Печку тоже перестали топить, и Консуэло безропотно терпела холод. К счастью, он был не так страшен; на дворе стоял апрель, и хотя в Пруссии не такая теплая весна, как у нас, во Франции, морозы понемногу смягчались.

Прежде чем вступить в переговоры с корыстолюбивым тираном, она стала обдумывать, как бы получше спрятать свои капиталы, ибо не могла не понимать, что как только она обнаружит свои сбережения, ее не замедлят снова подвергнуть незаконному обыску и конфискации. Необходи-

мость делает человека если не изобретательным, то хотя бы предусмотрительным. У Консуэло не было никакого инструмента, с помощью которого она могла бы выдолбить дерево или приподнять камень. Но на следующий день, исследуя все закоулки своей камеры с той скрупулезной тщательностью, на какую способны только узники, она наконец заметила, что один кирпич как будто не так плотно вделан в стену, как остальные. Она ногтями отколупала штукатурку, которой он был обмазан, и обнаружила, что эта штукатурка была сделала не из цемента, как в других местах, а из какого-то рыхлого материала, похожего на засохший хлебный мякиш. Ей удалось вытащить кирпич, и за ним она увидела небольшое пустое пространство между этим подвижным кирпичом и теми, что к нему прилегали и составляли толщу стены. Очевидно, этот тайничок был делом рук одного из прежних заключенных. Консуэло убедилась в справедливости своего предположения, когда ее пальцы нащупали несколько предметов, драгоценных для каждого узника: пачку карандашей, перочинный нож, кремень, трут и несколько связок тонких витых свечей. Все эти предметы нисколько не попортились, так как стена была совершенно сухая. К тому же,

их, быть может, и положили всего за несколько дней до того, как в камеру пришла она. Консуэло добавила к ним свой кошелек и свое маленькое филигранное распятие, на которое не раз с вожделением поглядывал господин Шварц, говоря, что эта «игрушка» пришлась бы по вкусу Готлибу. Потом она вложила кирпич на место и обмазала его оставленным от завтрака хлебным мякишем, предварительно потерев его об пол, чтобы он принял тот же цвет, что и остальная штукатурка. И теперь, обеспечив себе на некоторое время средства к существованию и возможность как-то проводить свои вечера, стала спокойно ждать обыска четы Шварц, чувствуя себя такой гордой и счастливой, словно открыла какой-то новый мир.

Между тем Шварцу быстро надоело жить без своих махинаций. «Я согласен и на мелкие делишки, — говаривал он, — лучше мало, чем ничего». И он первый нарушил молчание, спросив у «заключенной номер три», не желает ли она все же что-нибудь ему заказать. Тогда Консуэло решилась рассказать ему — не о том, что у нее есть деньги, а о том, что она регулярно получает их каждую неделю тайным путем, причем он, Шварц, не должен доискиваться, каким именно.

— Если же вам все-таки удастся обнаружить это, — добавила она, — то я и вовсе не смогу ничего у вас покупать. Так что решайте сами, что для вас лучше — строго придерживаться инструкции или честно зарабатывать деньги.

Через несколько дней, после долгих споров и безуспешных осмотров одежды, матраца, досок пола, стульев, Шварц пришел к выводу, что Консуэло нашла способ общаться с внешним миром через какое-нибудь высшее должностное лицо в самой тюрьме. Лихоимство процветало во всей тюремной иерархии, и низшим было невыгодно подвергать проверке действия своих более могущественных собратьев. «Возьмем то, что нам посылает бог!» — со вздохом произнес Шварц.

И он покорился необходимости производить еженедельные расчеты с Порпориной. Она не стала упрекать его за то, как он израсходовал первую сумму, но на будущее установила порядок, при котором каждое блюдо оплачивалось лишь вдвое против его действительной стоимости, что показалось крайне мелочным госпоже Шварц, но не помешало ей получать свои денежки и наживаться елико возможно.

Глава 19

Для того, кто привык читать рассказы об узниках, существование этого незатейливого тайника, ускользающего тем не менее от бдительного ока тюремщиков, покажется не таким уж неправдоподобным. Маленький секрет Консуэло не был раскрыт, и, когда она вернулась с прогулки, ее сокровища оказались в целости и сохранности. Как только стемнело, она поспешила заслонить окно матрацем, зажгла свечку и принялась писать. Предоставим дальнейший рассказ ей самой, ибо рукопись, которая после ее смерти долгое время хранилась у каноника XXX, теперь принадлежит нам. Мы переводим ее с итальянского.

Дневник Консуэло, прозванной Порпориной, узницы Шпандау, апрель 175х 2-е. Я никогда не писала ничего, кроме нот, и несмотря на то, что умею бегло говорить на нескольких языках, не знаю, смогу ли правильно выразить свои мысли хотя бы на одном из них. Я всегда думала, что должна передавать то, что занимает мое сердце и мою жизнь, только на одном языке — языке моего божественного искусства. Слова, фразы — все

это казалось мне таким холодным по сравнению с тем, что я была в состоянии выразить своим пением! Я могла бы пересчитать письма или, вернее, записки, которые мне довелось набросать кое-как второпях, раза три или четыре, в наиболее решительные моменты моей жизни. Так что сейчас, впервые с тех пор, как я существую, у меня появилась потребность высказать словами то, что я чувствую и что со мной случилось. И даже испытываю при этом большое удовольствие. Прославленный и высокочтимый Порпора, милый, дорогой моему сердцу Гайдн, добрейший, уважаемый каноник XXX, вы, единственные мои друзья, а быть может, еще и вы, благородный, несчастный барон фон Тренк, — о вас думаю я, когда пишу эти строки, вам рассказываю свои невзгоды и испытания. Мне кажется, будто я говорю с вами, будто вы со мной, и, таким образом, в печальном моем одиночестве, открывая вам тайну моей жизни, я ускользаю от подстерегающей меня смерти. Ведь я могу умереть здесь от тоски и горя, хотя до сих пор ни мое здоровье, ни мужество мне почти не изменили. Но неизвестно, какие бедствия уготованы мне в будущем, и если я паду под их бременем, то по крайней мере мой след и повесть о моих страданиях останутся в ваших

руках. Дневник мой перейдет по наследству к следующему узнику, который сменит меня в этой камере и найдет замурованный в стене тайник, где я нашла бумагу и карандаш, дающие мне возможность писать вам. О, как я благодарна сейчас моей матушке! Ведь это она велела мне учиться писать, хоть сама никогда не умела! Да, в тюрьме это большое облегчение. Мое грустное пение не проникает сквозь толстые стены и не дойдет до вас. А мои записки придут к вам, и, как знать, быть может, вскоре я найду способ переслать их вам?.. Я всегда полагалась на провидение.

3-е. Писать буду кратко, не задерживаясь на долгих размышлениях. Мой маленький запас тонкой, как шелк, бумаги не вечен, а вот заточение, быть может, продлится вечно. Буду писать вам несколько слов каждый вечер перед сном. Хочу также поэкономнее расходовать свечу. Днем писать нельзя, так как меня могут застать врасплох. Не стану рассказывать, за что я сюда попала, я и сама этого не знаю, а пытаясь угадать это вместе с вами, боюсь скомпрометировать лиц, которые, впрочем, не доверили мне никаких тайн. Не стану также жаловаться на виновников моего несчастья. Мне кажется, что если я дам волю упрекам и чувству досады, то потеряю силу

духа, которая поддерживает меня. Здесь я хочу думать лишь о тех, кого люблю, и о том, кого любила.

Каждый вечер я пою по два часа и, кажется, делаю успехи. К чему? Своды моей темницы только вторят мне — они не слышат меня… Но бог меня слышит, и, когда я пою ему гимн, который сочинила, вложив в него весь жар сердца, на меня нисходит райское спокойствие, и я засыпаю почти счастливой. А во сне мне чудится, что небо отвечает мне и чей-то таинственный голос поет мне другой гимн, еще более прекрасный, который я пытаюсь вспомнить на следующий день и тоже пропеть его. Теперь у меня есть карандаш, и на остатке линованной бумаги я могу записывать свои сочинения. Быть может, когда-нибудь вы их исполните, дорогие друзья, и я не совсем исчезну из жизни.

4-е. Сегодня ко мне в комнату влетела малиновка и пробыла здесь больше четверти часа. Вот уже две недели, как я прошу ее оказать мне эту честь, и наконец сегодня она решилась. Она живет в старом плюще, который доходит до моего окна; мои тюремщики пощадили его, потому что благодаря ему они видят хоть немного зелени у своих дверей, расположенных несколькими

футами ниже. Хорошенькая птичка долго наблюдала за мной с любопытством и недоверием. Привлекаемая хлебным мякишем — я леплю из него маленьких червячков и кручу их в пальцах, чтобы подманить ее живой добычей, — она легко, словно гонимая ветром, долетала до прутьев моей решетки, но, обнаружив обман, сразу же улетала прочь, всем своим видом выражая укоризну и издавая слабые хриплые звуки, похожие на сердитые слова. К тому же эта противная железная решетка, сквозь прутья которой мы познакомились, частая, черная, так напоминает клетку, что она боялась ее. Но вот сегодня, когда я совсем о ней не думала, она вдруг решилась и, очевидно тоже не думая обо мне, влетела в комнату и уселась на спинку стула. Я старалась не шевелиться, чтобы не испугать ее, и она начала с удивленным видом озираться по сторонам. Она напоминала путешественника, который открыл неведомую страну и делает наблюдения, чтобы потом рассказать все эти чудеса своим друзьям. Больше всего ее удивляла моя особа, и пока я не шевелилась, она, видимо, очень забавлялась, глядя на меня. Большие круглые глазки, клюв, похожий на вздернутый носик, легкомысленная, дерзкая и очень умная мордашка… Чтобы завя-

зать разговор, я кашлянула, и она вспорхнула, страшно перепугавшись. Но, торопясь улететь, она никак не могла найти окно. Она взлетела к потолку и с минуту кружилась по комнате, видимо, совсем потеряв голову. Наконец, видя, что я не собираюсь ее ловить и устав от страха еще больше, чем от полета, она села на печку. По всей видимости, тепло приятно поразило ее — ведь это очень зябкая птичка, — и, сделав еще несколько кругов по комнате, она несколько раз присаживалась на печку, с тайным наслаждением грея свои крохотные лапки. Она до того расхрабрилась, что поклевала на столе моих хлебных червячков, с презрением расшвыряла их вокруг себя и в конце концов, очевидно побуждаемая голодом, проглотила одного из них, видимо сочтя его вполне съедобным. В эту минуту вошел господин Шварц (мой тюремщик), и милая маленькая гостья спаслась бегством, наконец отыскав окно. Но надеюсь, она вернется, потому что в течение всего дня она не улетала далеко и все время посматривала на меня, словно обещая повторить свое посещение и говоря, что у нее осталось не слишком плохое впечатление от меня и моего хлеба.

Вот сколько я наговорила о малиновке. Право, я не считала себя таким ребенком. Уж не при-

водит ли тюрьма к слабоумию? А быть может, существует тайная симпатия и любовь между всеми, кто живет и дышит? В течение нескольких дней у меня был здесь мой клавесин, я могла работать, заниматься, сочинять, петь… но ничто не растрогало меня так сильно, как посещение этой птички, этого крошечного живого существа! Да, да, это живое существо, и мое сердце радостно забилось, когда оно оказалось возле меня. Но ведь и мой тюремщик — тоже живое существо, существо, подобное мне. Его жена, его сын, которых я вижу по несколько раз в день, часовой, который шагает день и ночь по крепостному валу и не спускает с меня глаз, — все это существа высшей организации, это мои друзья и братья перед лицом бога. Однако, видя их, я испытываю не приятное, а тягостное чувство. Этот тюремщик напоминает мне темницу, его жена — замок, сын — замурованный в стене камень. В солдате, который сторожит меня, я вижу лишь нацеленное на меня ружье. Мне кажется, что в этих людях нет ничего человеческого, ничего живого, что это машины, орудия пытки и смерти. Если бы не страх оказаться нечестивой, я бы возненавидела их… О моя малиновка! Тебя я люблю, для этого не нужны слова, я чувствую это. Пусть объяснит,

кто может, такую любовь.

5-е. Еще одно событие. Вот записка, полученная мной сегодня утром.

Она написана неразборчивым почерком на грязном клочке бумаги:

«Сестра, тебя посещает дух, значит, ты святая, я и раньше был в этом уверен. Я твой друг и слуга. Располагай мною и прикажи все, что пожелаешь, своему брату».

Кто этот нечаянный друг и брат? Непонятно. Записку я нашла на окне сегодня утром, когда открывала его, чтобы поздороваться с малиновкой. Уж не принесла ли ее птичка? Мне хочется думать, что это она сама и написала ее. Так или иначе, но оно уже знает меня, дорогое крошечное создание, и начинает меня любить. Оно почти никогда не подлетает к кухне Шварцев, хотя из их окошечка исходит запах растопленного сала, который доходит до меня и представляет собою одну из самых неприятных особенностей моего жилья. Однако с тех пор, как к нему привыкла моя птичка, мне уже не хочется никуда переезжать. У малиновки чересчур хороший вкус, чтобы сближаться с этим тюремщиком-дельцом, с его злющей женой и с их уродливым чадом. Нет, это мне она подарила свое доверие

и дружбу. Сегодня она снова прилетела ко мне в комнату. Она с аппетитом позавтракала, и в полдень, когда я гуляла по эспланаде, спустилась со своего плюща и начала летать вокруг меня. При этом она издавала какие-то хриплые звуки, как бы желая поддразнить меня и привлечь мое внимание. Противный Готлиб стоял на пороге своей двери и ухмылялся, уставившись на меня бессмысленным взглядом. Его постоянно сопровождает отвратительный рыжий кот, который поглядывает на мою птичку, и глаза у него еще более неприятны, чем у его хозяина. Я трепещу. Я еще больше ненавижу этого кота, чем госпожу Шварц, ту, что обыскивает меня.

6-е. Сегодня утром опять записка. Это уже странно. Тот же кривой, заостренный, корявый, неряшливый почерк, та же толстая оберточная бумага. Мой Линдор не знатен, но он нежен и восторжен: «Дорогая сестра, душа избранная и отмеченная перстом божьим, ты не доверяешь мне. Ты не хочешь со мной говорить. Не прикажешь ли ты мне что-нибудь? Не могу ли я чем-нибудь тебе услужить? Моя жизнь принадлежит тебе. Располагай своим братом». Я смотрю на часового. Это придурковатый солдат, который разгуливает взад и вперед с ружьем на плече. Он тоже смотрит

на меня и, кажется, скорее расположен послать мне пулю, чем нежную записку. В какую бы сторону я ни взглянула, передо мной огромные серые стены, поросшие крапивой, окруженные рвом, который, в свою очередь, окружен еще одним внешним укреплением. Мне неизвестно ни название его, ни назначение, но оно мешает мне увидеть пруд. А на верхушке этого укрепления расхаживает другой часовой. Мне видны лишь его кивер и кончик ружья, и я слышу, как он громко кричит всякий раз, как какая-нибудь лодка проходит слишком близко от крепостной стены: «Держи дальше». Ах, если бы я могла видеть хоть эти лодки, хоть немного бегущей воды и зеленый ландшафт. Но я слышу только шум весел, плеск волны, иной раз песню рыбака, а издали, когда ветер дует с той стороны, журчанье двух рек, которые соединяются неподалеку от крепости. Так откуда же приходят ко мне эти таинственные записки и эта прекрасная преданность, которой я не могу воспользоваться? Быть может, моей малиновке известно это, но плутовка не желает мне сказать.

7-е. Сегодня, во время прогулки по крепостному валу я смотрела во все глаза и заметила в боковой стене той башни, где живу сама, футах в десяти

выше моего окна, маленькое узкое отверстие, почти совершенно закрытое последними, самыми высокими ветками плюща. «Не может быть, чтобы такое крошечное оконце освещало комнату живого человека», — содрогаясь, подумала я. Однако мне захотелось что-нибудь разузнать, и я решила подозвать Готлиба. Для этого я попыталась польстить его несчастной мании или», вернее, страсти шить обувь. Я спросила, не может ли он сшить мне пару туфель, и он впервые подошел ко мне без принуждения и ответил без замешательства. Но его манера говорить так же нелепа, как его физиономия, и я начинаю думать, что он не дурачок, а помешанный.

— Башмаки для тебя? — сказал он (ибо он всем говорит «ты»). — Нет, я не осмелюсь. Ведь написано: «Я недостоин развязать ремни на его башмаках».

Его мать стояла в трех шагах от дверей, готовая подойти и вмешаться в разговор. У меня поэтому не было времени заставить Готлиба объяснить мне причину такого смирения или почитания с его стороны, и я поспешила только спросить у него, живет ли кто-нибудь на верхнем этаже, над моей комнатой. Впрочем, я не надеялась получить разумный ответ.

— Нет, там не живут, — весьма рассудительно ответил Готлиб. — И не могут жить — ведь на площадку выходит только одна лестница.

— А эта площадка отделена от всего остального здания? Она ни с чем не сообщается?

— Зачем ты спрашиваешь? Ведь ты знаешь это сама.

— Нет, не знаю, да мне и не надо знать. Я просто хотела побеседовать с тобой, Готлиб, чтобы убедиться, так ли ты умен, как говорят.

— Я очень, очень умен, — ответил бедняга Готлиб серьезным и грустным тоном, сильно противоречившим комизму его слов. — Если так, ты можешь мне объяснить, — продолжала я (дорога была каждая минута), — куда выходит этот двор.

— Спроси малиновку, — ответил Готлиб с какой-то странной улыбкой. — Она летает повсюду и все знает. А я ничего не знаю, потому что никуда не хожу.

— Как! Ты даже не доходил до верху той башни, где живешь? И не знаешь, что находится за этой стеной?

— Может, я и был там, но ничего не заметил. Я ни на что и ни на кого не смотрю.

— Однако на малиновку ты смотришь, ты ее видишь, ты ее знаешь.

— О, малиновка — другое дело. Ангелов мы знаем. Но это не причина, чтобы смотреть на стены.

— Ты высказал глубокую мысль, Готлиб. Можешь ты пояснить мне ее?

— Спроси у малиновки, говорю тебе, она все знает. Она может летать повсюду, но залетает только к себе подобным. Вот почему она бывает у тебя в комнате.

— Я очень тебе благодарна, Готлиб, ты принимаешь меня за птицу.

— Малиновка не птица.

— Что же она такое?

— Она ангел, и ты это знаешь.

— Стало быть, я тоже ангел?

— Ты сама ответила на свой вопрос.

— Ты очень любезен, Готлиб.

— Любезен! — изумленно спросил Готлиб. — Что это значит — любезен?

— Разве ты не знаешь этого слова?

— Нет.

— А как тебе стало известно, что малиновка прилетает ко мне?

— Я видел. И, кроме того, она сама мне сказала.

— Значит, она разговаривает с тобой?

— Иногда, очень редко, — ответил Готлиб, вздыхая. — Но вчера она сказала мне: «Нет, я никогда

не войду в твою адскую кухню. Ангелы не общаются со злыми духами».

— Разве ты злой дух, Готлиб?

— О нет, не я, а…

И Готлиб с таинственным видом приложил палеи к своим толстым губам.

— Тогда кто же? Он ничего не ответил, но украдкой показал мне на кота, словно боясь, как бы тот не заметил его движения.

— Так вот почему ты назвал его таким гадким именем! Кажется, Вельзевулом?

— Тес! — прошептал Готлиб. — Он отлично знает свое имя. И носит его с тех пор, как существует мир. Но он не всегда будет его носить.

— Разумеется. Он потеряет его, когда умрет…

— Он не умрет. Он не может умереть и очень недоволен этим — ведь он не знает, что наступит день, когда он будет прощен.

Тут госпожа Шварц, восхищенная тем, что Готлиб наконец-то разговорился со мной, подошла к нам. Не помня себя от радости, она спросила, довольна ли я им.

— Очень довольна, уверяю вас. Готлиб очень меня заинтересовал, и я теперь буду охотно беседовать с ним.

— Ах, мадемуазель, вы окажете нам огромную

услугу. Ведь бедному мальчику не с кем поговорить, а с нами он, как нарочно, постоянно молчит, словно воды в рот набрал. Какой же ты чудак, бедный мой Готлиб! И до чего упрям! Ведь вот ты отлично разговариваешь с дамой, которую совсем не знаешь, а с нами, своими родителями…

Готлиб немедленно повернулся спиной и ушел в кухню, как будто даже не слышал голоса матери.

— Вот так всегда! — воскликнула госпожа Шварц. — Когда его отец или я заговариваем с ним, можно поклясться, что двадцать девять раз из тридцати он вдруг делается глух и нем. Но что же все-таки он вам сказал, мадемуазель? О чем, черт возьми, он мог так долго беседовать с вами?

— Признаться, я не совсем поняла его, — ответила я. — Надо будет познакомиться с ходом его мыслей. Не мешайте ему от времени до времени разговаривать со мной, и, когда я хорошенько разберусь сама, я объясню вам, что происходит у него в голове.

— Но скажите, мадемуазель, вы не считаете, что он свихнулся?

— Думаю, что нет, — ответила я, и да простит мне бог эту явную ложь.

Прежде всего, мне не хотелось рассеивать ил-

люзии несчастной женщины.

Правда, она злая ведьма, но ведь она мать, и ее счастье, что она не видит безумия своего сына. Как все это странно. Но, может быть, Готлиб, который так бесхитростно открыл мне свои фантазии, не рассказывает о них родителям, ибо в их обществе он всегда молчит. Поразмыслив над этим, я вообразила, что, быть может, мне удастся, благодаря простодушию этого жалкого юнца, разузнать кое-что об остальных обитателях тюрьмы и что его болтовня поможет мне найти автора анонимных записок. Да, я хочу сделать Готлиба своим другом, тем более что его симпатии, кажется, всецело зависят от симпатий малиновки, а последняя явно удостаивает меня своей дружбы. В больном рассудке бедного мальчика есть своеобразная поэзия. Птичка — ангел, кот — злой дух, который будет прощен! Что все это означает? В этих немецких умах, даже в самых поврежденных, есть богатство воображения, которое меня пленяет.

Пока что госпожа Шварц весьма довольна моей снисходительностью, и сейчас у нас с ней прекрасные отношения. Бредни Готлиба будут развлекать меня! Бедняга! С сегодняшнего дня, с тех — пор, как я ближе его узнала, он уже не

внушает мне неприязни. Помешанный не может быть злым в этой стране, где умные и весьма здравомыслящие люди так далеки от доброты!

— 8-е. Третья записка у меня на окошке:

«Дорогая сестра, площадка ни с чем не сообщается, но лестница, ведущая к ней, ведет и к другому крылу здания, где живет одна дама — такая же узница, как ты. Ее имя держат в тайне, но если ты спросишь малиновку, она сообщит тебе его. Вот и все, что ты хотела узнать у бедного Готлиба и чего он не мог тебе сказать».

Кто же такой этот друг, который знает, видит, слышит все, что я делаю, о чем говорю? Я теряюсь в догадках. Уж не невидимка ли он? Все это кажется мне столь необыкновенным, что я по-настоящему заинтересована.

Мне кажется, что, как в дни моего детства, я живу в каком-то сказочном мире и что моя малиновка вот-вот заговорит. Но как верно то, что этой очаровательной маленькой плутовке не хватает только дара слова, так верно и другое — она не обладает им, или Же я не способна понять ее язык. Она уже совсем привыкла ко мне. Влетает в комнату, вылетает, прилетает снова, она — у себя дома. Я двигаюсь, хожу, теперь она уже не улетает дальше, чем на расстояние вы-

тянутой руки, и тотчас подлетает опять. Если бы она больше любила хлеб, ее любовь ко мне была бы сильнее — я отнюдь не заблуждаюсь насчет причин ее привязанности. Это голод, а также потребность, желание погреться у моей печки. Если мне удастся поймать муху (их еще очень мало), она непременно возьмете прямо из моих рук; она уже подлетает совсем близко, рассматривает хлебные крошки, которые я ей предлагаю, а если соблазн будет еще сильнее, несомненно отбросит всякие церемонии. Теперь я вспомнила, как Альберт говорил мне, что для приручения самых боязливых животных, если у них есть хоть искорка соображения, нужны лишь несколько часов идеального терпения. Однажды он встретил цыганку, слывшую колдуньей: стоило ей пробыть несколько часов в каком-нибудь уголке леса, как птицы прилетали и садились к ней на плечи. Все считали, что она знает какие-то заклинания, а она говорила, будто птицы поверяют ей какие-то свои тайны, как Аполлонию Тианскому, чью историю мне также рассказал Альберт. Но Альберт был убежден, что все ее искусство заключалось в терпении, с каким она изучала природные свойства этих крошечных созданий, а также в некотором духовном

сродстве, какое можно часто наблюдать между существами нашей и иной породы. В Венеции разводят много птиц, там страстно любят их, и теперь мне понятна эта страсть. Причина в том, что этот прекрасный город оторван от земли и чем-то напоминает тюрьму. Там процветает искусство приручения соловьев, а голуби, находясь под охраной специального закона и чуть ли не обожествляемые населением, свободно живут на старинных зданиях и сделались такими ручными, что на улицах и площадях приходится остерегаться, чтобы не раздавить их на ходу. В гавани чайки садятся на плечи матросам. В Венеции есть превосходные птицеловы. В детстве я дружила с мальчиком из бедной семьи, который промышлял этим ремеслом. Стоило отдать ему самую дикую птицу, и через час он возвращал ее вам совершенно ручной. Я с удовольствием испытываю его приемы на моей малиновке, и она приручается все больше и больше. Когда я гуляю, она летит за мной следом, зовет меня. Когда подхожу к окну, она тотчас подлетает. Любит ли она меня? Может ли любить? Что до меня, то я чувствую, что люблю ее, но она знает меня, не боится — и только. Грудной ребенок, должно быть, любит так свою кормилицу. Ребе-

нок! Какую он должен внушать нежность! Увы! Я думаю, что мы страстно любим лишь тех, кто не может отплатить нам тем же. Неблагодарность и преданность или хотя бы равнодушие и страсть — таков вечный союз живых существ. Андзолето, ты не любил меня… А ты, Альберт, любивший меня так сильно, — тебе я позволила умереть… Мне же осталось одно — любить малиновку! И я еще смею жаловаться, что не заслужила своей участи! Быть может, вы думаете, друзья, что я осмеливаюсь шутить над подобными вещами? Нет. Просто мысли путаются у меня под влиянием одиночества, сердце, лишенное привязанностей, горит, и эта бумага орошена моими слезами.

Я дала себе слово не тратить попусту эту драгоценную бумагу, а сама пишу на ней всякий вздор. Что делать, это доставляет мне облегчение, и я не в силах удержаться. Весь день шел дождь. Я не видела Готлиба, потому что не гуляла. Все это время я, как ребенок, занималась малиновкой, но под конец моя грусть усилилась. Когда резвая и непостоянная птичка начала стучать клювом в стекло, стремясь покинуть меня, я уступила. Я открыла окно из уважения к священной свободе, которую люди не боятся отнимать у себе подобных, но меня больно задело ее равнодушие,

словно малиновка была чем-то обязана мне за мою любовь и заботу. Право, я, кажется, схожу с ума и очень скоро начну превосходно понимать галиматью Готлиба.

9-е. Что я узнала! Вернее, думаю, что узнала! Пока мне еще ничего толком не известно, но мое воображение работает вовсю.

Прежде всего, я открыла автора таинственных записок. Вот уж на кого я бы никогда не подумала. Но сейчас и это уже отошло на задний план. Все равно, расскажу по порядку весь этот день.

Рано утром я открыла окошко. Оно состоит из одного, довольно большого прозрачного стекла, которое я тщательно протираю, чтобы не потерять ни крупицы света, — ведь его и так отнимает у меня противная решетка. Плющ тоже грозит на пясть на меня и погрузить комнату во мрак, но пока я еще не решаюсь оборвать ни одного листочка. Ведь этот плющ живет, он свободен, он растет. Совершить насилие, изуродовать его! И все же придется пойти на это. Он ощущает воздействие апреля, он торопится, тянется в длину, в ширину, лезет из всех щелей. Корни — его замурованы в камне, но он растет, он жаждет воздуха и солнца. То же самое происходит и с бедной человеческой мыслью. Теперь я понимаю,

почему в древние времена были священные растения… священные птицы… Малиновка тотчас влетела в камеру и бесцеремонно села ко мне на плечо. Потом, по своему обыкновению, начала все осматривать, все трогать. Бедняжка! Здесь нет для нее почти ничего интересного. Но ведь она свободна, она может жить в полях, и все-таки предпочитает эту тюрьму, свой старый плющ и мою унылую каморку. Выть может, она любит меня? Нет. Здесь ей тепло, и она охотно клюет мои хлебные крошки. Теперь я уже боюсь, не слишком ли приручила ее. А вдруг она влетит в кухню Шварцев и станет добычей их злого кота! И причиной этой ужасной смерти будут мои заботы… Быть растерзанной, сожранной хищным животным! А что происходит с нами, слабыми человеческими существами — чистосердечными и беззащитными? Нас тоже терзают и уничтожают безжалостные люди. Они убивают нас медленной смертью, пуская в ход свои острые когти и зубы.

Солнце поднялось выше, и моя каморка сделалась почти такой же розовой, какой была моя мансарда на Корте-Минелли в те времена, когда солнце Венеции… Нет, не надо вспоминать о том солнце. Оно никогда больше не поднимется над моей головой. О, если бы вы, друзья мои, могли

поклониться от меня ликующей Италии с ее «сияющими небесами и лучезарным сводом»... Мне, должно быть, никогда больше не придется их увидеть.

Я попросила позволения выйти погулять, и мне разрешили, хотя это было раньше обычного. И я называю это прогулкой! Площадка длиной в тридцать футов окружена болотом и заперта меж высоких стен! И все-таки здесь красиво, по крайней мере так мне кажется теперь, когда я успела побывать тут при разном освещении. Вечером это место красиво, потому что печально. Я уверена, что в крепости немало таких же невинных людей, как я, но живется им значительно хуже. Они сидят в казематах, откуда никогда не выходят, куда никто не может войти, куда не попадает даже свет луны — подруги всех отчаявшихся сердец. Право, мне грех жаловаться. О боже! Будь у меня хоть малейшая власть на земле, я бы всех сделала счастливыми!..

Вдруг ко мне подбегает Готлиб, прихрамывая и, улыбаясь во всю ширь своих отвыкших от улыбки губ. Никто не остановил его, нас оставили наедине, и вот — о чудо! — Готлиб заговорил почти как разумное существо.

— Сегодня ночью я не писал тебе, — сказал

он, — и ты не нашла записки на своем окне. Это потому, что вчера я не видел тебя и ты ничего мне не приказала.

— Так вот что! Значит, это ты писал мне, Готлиб?

— А кто же еще? Неужели ты не догадалась? Но больше я не стану тебе писать — незачем, раз ты согласилась говорить со мной. Я хочу служить тебе, а не надоедать.

— Мой добрый Готлиб! Так ты жалеешь меня, сочувствуешь мне?

— Да, потому что я понял, что ты дух света.

— Я такой же человек, как ты, Готлиб. Ты ошибаешься.

— Нет, не ошибаюсь. Ведь я слышал твое пение.

— Значит, ты любишь музыку?

— Только твою. Она близка богу и моему сердцу.

— Я вижу, Готлиб, у тебя благочестивое сердце и чистая душа.

— Я стараюсь сделаться таким. Ангелы помогут мне, и я одержу верх над духом тьмы. Он одолел мое жалкое тело, но душой моей завладеть не смог. Мало-помалу Готлиб пришел в возбуждение, но его поэтические образы не перестали быть

возвышенными и правдивыми. И представьте себе, говоря о доброте божьей, о людских горестях, о справедливости провидения, которое в будущем должно вознаградить за страдания, о евангельских добродетелях, даже об искусстве — о музыке, о поэзии, — этот слабоумный, этот маньяк достиг подлинного красноречия. Мне еще не удалось понять, в какой именно религии он почерпнул все свои представления и эту пылкую восторженность, кажется, он не католик и не протестант, но, то и дело повторяя, что придерживается лишь одной, истинной религии, он сказал мне только, что без ведома родителей принадлежит к какой-то особой секте. Я слишком невежественна, чтобы угадать, к какой именно. Постепенно я буду проникать в тайну этой души, необыкновенно сильной и прекрасной, но также необыкновенно болезненной и печальной. Ведь, в сущности, бедный Готлиб такой же помешанный, каким был поэт Зденко, каким был добродетельный и благородный Альберт!.. Безумие вновь завладело Готлибом, когда после горячих речей его восторженный пыл внезапно иссяк. Словно маленький ребенок, он вдруг начал лепетать что-то об ангеле-малиновке и о дьяволе-коте, о своей матери, вступившей в союз с котом и с вселившимся в

него злым духом, об отце, которого взгляд этого кота Вельзевула якобы обратил в камень. С болью слушая эти мрачные бредни, я все же сумела отвлечь юношу, задав ему вопрос о других узниках тюрьмы. Теперь, когда оказалось, что записки попадали ко мне не с верхнего этажа башни, как я предполагала, а по ночам бросались Готлибом снизу — очевидно, при помощи какого-нибудь нехитрого сооружения, — все эти подробности были мне не так уж интересны, но Готлиб, беспрекословно выполнявший все мои желания, уже узнал то, что мне так хотелось узнать прежде. Он сообщил мне, что узница, живущая за моей башней, молода и хороша собой, что он ее видел. Я не особенно прислушивалась к его словам, как вдруг он произнес имя, которое заставило меня вздрогнуть. Эту узницу зовут Амалией.

Амалия! Какое множество волнений, какую бездну воспоминаний пробудило во мне это имя! Я знала двух Амалий, и обе толкнули меня в пропасть, открыв мне свои тайны. Которая же из двух эта — принцесса прусская или молодая баронесса Рудольштадт? Скорее всего ни та, ни другая. Готлиб совершенно не любопытен и, конечно, не догадался сделать ни шагу, не задал по собственному побуждению ни одного вопроса.

Он действует как автомат и сумел сказать мне только одно — что ее зовут Амалией. Он видел узницу, но видел ее на свой лад, словно через какую-то дымку. Должно быть, она молода и хороша собой — так сказала госпожа Шварц, — но он, Готлиб, признался, что ничего в этом не смыслит. Он только почувствовал, увидев ее у окна, что она — не добрый дух, не ангел. Ее фамилию держат в секрете. Она богата и получает обеды у четы Шварц. Но ее, как и меня, держат в одиночной камере. Она никогда не выходит на прогулку. Часто бывает больна. Вот все, что мне удалось выпытать у Готлиба. Ему стоит только прислушаться к болтовне родителей, и он узнает больше — ведь они ничуть не стесняются при нем. Он обещал, что будет слушать внимательно и потом сообщит мне, с каких пор эта Амалия находится в тюрьме. Что касается ее фамилии, то, кажется, Шварцы ее не знают. Могли ли бы они не знать ее, если бы это была аббатиса Кведлинбургская? Неужели король отправил в тюрьму свою сестру? Да, принцесс так же отправляют в тюрьму, как простых смертных, и даже чаще. Молодая баронесса Рудольштадт… За что бы она могла оказаться здесь? По какому праву мог бы Фридрих отнять у нее свободу? Меня мучит лю-

бопытство, свойственное всем узникам, и мои догадки, основанные на одном только имени, — плод праздного и нездорового воображения. Пусть так! У меня будет камень на сердце до тех пор, пока я не узнаю, кто та подруга по несчастью, которая носит имя Амалия, сыгравшее такую важную роль в моей жизни.

1 мая. В течение нескольких дней я не имела возможности писать. Этот промежуток времени был заполнен разными событиями. Спешу поделиться ими с вами, друзья мои.

Прежде всего — я была больна. С тех пор как я здесь, у меня иногда бывают приступы мозговой горячки, вроде той, что была у меня в замке Исполинов после длительного пребывания в пещере, когда я разыскивала Альберта, но не такой сильной. Я страдаю ужасной бессонницей, перемежающейся со сновидениями, во время которых сама не знаю, бодрствую я или сплю. И в эти минуты мне все чудятся звуки той страшной скрипки, ее старинные цыганские напевы, духовные гимны и боевые песни. Эти слабые звуки, словно приносимые отдаленным ветерком, причиняют мне боль, но, когда иллюзия завладевает мною, я не могу запретить себе с жадностью прислушиваться к ним. То мне кажется, что скрипка

играет, скользя по сонным водам, окружающим крепость, то — что звуки доносятся откуда-то сверху, а иной раз — что они идут снизу, вырываясь из отдушины одного из казематов. Они терзают меня, надрывают мне сердце. И все-таки, когда наступает ночь, я не сажусь за дневник, чтобы как-то отвлечься, а ложусь в постель и стараюсь снова впасть в то полузабытье, которое и приносит мне мое сновидение или, вернее, мою музыкальную полудремоту, ибо во всем этом есть что-то реальное. Должно быть, в камере одного из заключенных звучит настоящая скрипка, но что он играет и как? Он находится так далеко, что мне слышны лишь разрозненные звуки, а мое больное воображение дополняет остальное — я сама это понимаю. Отныне мне суждено не сомневаться в смерти Альберта, но в то же время и не считать ее совершившимся фактом. По-видимому, такова уж моя натура — надеяться вопреки всему и не сгибаться под тяжестью судьбы.

Три ночи назад, когда я наконец заснула по-настоящему, меня вдруг разбудил легкий шорох. Я открыла глаза. Было совсем темно, и я ничего не могла разглядеть, но явственно слышала, как кто-то ходит возле моей кровати, хотя шаги были очень осторожны. Я решила, что это госпо-

жа Шварц зашла узнать, как я себя чувствую, и окликнула ее, однако ответом был лишь глубокий вздох, и кто-то на цыпочках вышел из комнаты. Я услышала, как снаружи закрыли и заперли на засов мою дверь, но, чувствуя большую слабость, снова заснула, не придав этому эпизоду особого значения. На следующий день воспоминание о нем было тяжелым, смутным, и я решила, что все это мне приснилось. Вечером со мной случился последний приступ лихорадки, еще более сильный, чем предыдущий, но я перенесла его легче, чем мои тревожные бессонные ночи и смутные сновидения. Я крепко заснула, видела много снов, но не слышала зловещей скрипки и, просыпаясь, всякий раз ясно ощущала разницу между бодрствованием и сном. После одного из таких пробуждений, я услышала ровное и громкое дыхание человека, спящего где-то недалеко от меня. Мне даже показалось, что кто-то сидит в моем кресле. Я нисколько не испугалась. В полночь госпожа Шварц приносила мне лекарства, и я подумала, что она снова зашла меня проведать. Некоторое время я ждала, не желая ее будить, но когда мне показалось, что она проснулась, я поблагодарила ее за заботливость и спросила, который час. Тогда кто-то вышел из комнаты,

испустив при этом глухое рыдание, такое душераздирающее, такое страшное, что и сейчас при одном воспоминании о нем у меня выступает на лбу холодный пот. Не знаю, почему оно так потрясло меня. Мне показалось, что меня считают тяжело больной, быть может даже умирающей, и поэтому дарят мне немного сострадания. Однако я не так уж плохо себя чувствовала, не считала, что мне грозит опасность, а главное, совсем не боялась умереть столь безболезненной, незаметной смертью и потерять жизнь, о которой не стоило и жалеть. В семь часов утра ко мне вошла госпожа Шварц, и так как после ее странного ночного посещения я больше не засыпала, у меня сохранилось о нем совершенно отчетливое воспоминание. Я попросила тюремщицу объяснить, зачем она приходила, но она покачала головой и ответила, что не понимает меня. После полуночи, сказала она, больше она не заходила ко мне, а так как ключи от всех камер хранятся ночью у нее под подушкой, ей ясно, что либо все это мне приснилось, либо у меня было видение. Однако я была так далека от бредового состояния, что к полудню мне даже захотелось выйти на воздух. Я спустилась на эспланаду в сопровождении моей малиновки, которая как будто поздравляла меня

с выздоровлением. Погода была очень приятная. Жара здесь уже начинает чувствоваться, и ветерок доносит с полей теплые веяния чистого воздуха, легкие запахи трав, которые веселят сердце несмотря ни на что. Подбежал Готлиб. Мне он показался изменившимся и еще более уродливым, чем обычно. И все же, когда эта нескладная физиономия освещается радостной улыбкой, на ней проступает выражение ангельской доброты и даже живого ума. Его большие глаза были так красны и воспалены, что я спросила, не болят ли они.

— Да, они очень болели, — ответил он, — потому что я много плакал.

— Что же у тебя за горе, мой бедный Готлиб?

— Сегодня в полночь мать спустилась из твоей каморки и сказала отцу: «Третьему номеру очень плохо. У нее сильная лихорадка. Придется позвать доктора. Не хватает только, чтобы эта особа умерла у нас на руках». Мать думала, что я сплю, но я нарочно не засыпал, чтобы услышать, что она скажет. Я знал, что у тебя лихорадка, но когда услыхал, что это опасно, то не мог удержаться от слез и плакал, пока не заснул. Думаю, что я плакал во сне, потому что утром у меня болели глаза, а подушка была совсем мокрая.

Преданность бедного Готлиба растрогала меня, и в знак благодарности я пожала его большую грязную руку, от которой за целое лье пахнет кожей и сапожным варом. И вдруг я подумала, что, быть может, этот более чем неприличный визит нанес мне Готлиб — в своем простодушном рвении. Я спросила, не поднимался ли он ночью наверх, чтобы послушать у моих дверей. Он уверил меня, что не вставал с постели, и я убеждена, что он сказал правду. Очевидно, с того места, где он спит, до меня доносятся его вздохи и стоны через какую-нибудь щель в стене, быть может, через тот тайник, где я прячу дневник и деньги. И как знать, не сообщается ли каким-то невидимым путем это отверстие с той ямкой в кухонном камине, куда Готлиб прячет свои сокровища — книгу и сапожные инструменты? Нас с Готлибом объединяет хотя бы то, что мы оба, словно крысы или летучие мыши, свили свои жалкие гнезда в стене и там, во мраке, прячем свои сокровища. Я собиралась задать по этому поводу кое-какие вопросы, как вдруг из жилища Шварцев вышел и направился к эспланаде человек, которого я ни разу здесь не видела и чье появление привело меня в невероятный ужас, хотя я еще не была уверена в том, что не ошибаюсь.

— Кто это? — вполголоса спросила я у Готлиба.

— Это дурной человек, — прошептал Готлиб. — Новый плац-майор. Посмотрите, как Вельзевул выгнул спину и трется о его ноги! Они отлично ладят друг с другом!

— Но как его зовут? Готлиб хотел было мне ответить, но плац-майор с добродушной улыбкой указал ему на кухню и сказал ласковым голосом:

— Молодой человек, вас просят вернуться домой. Отец зовет вас.

Это был предлог, чтобы оказаться наедине со мной, и как только Готлиб ушел, я очутилась лицом к лицу с… друг Беппо, угадай с кем. Передо мной стоял тот учтивый и жестокий вербовщик, которого мы так некстати встретили на тропинках Богемского Леса два года назад, господин Мейер собственной персоной. Я не могла не узнать его, хоть он еще больше располнел. Это был тот самый человек с его приветливым видом, непринужденными манерами, лживым взглядом и коварным добродушием, с его вечным «брум-брум» — словно он играл на трубе. От военной музыки он перешел к поставке пушечного мяса, а потом, в награду за честную и почетную службу, его сделали плац-майором, или, вернее, военным смотрителем тюрьмы, что, собственно говоря, не

меньше подходит ему, чем обязанности бродячего тюремщика, которые он исполнял прежде с таким искусством.

— Мадемуазель, — сказал он мне по-французски, — я ваш покорный слуга.

Для прогулок вы располагаете этой миленькой площадкой! Свежий воздух, простор, прекрасный вид! Очень рад за вас. Видимо, в тюрьме вам живется недурно. И при этом великолепная погода! Право же, при таком чудесном солнце пребывание в Шпандау — одно удовольствие, брум, брум!

Эти наглые насмешки вызвали во мне такое отвращение, что я ничего не ответила. Нимало не смутившись, он продолжал — уже по-итальянски:

— Прошу прощения, я начал говорить с вами на языке, быть может, вам незнакомом. Я и забыл, что вы итальянка, итальянская певица… Не так ли? И, говорят, у вас прекрасный голос. А перед вами — завзятый меломан. Поэтому я хочу сделать ваше пребывание здесь настолько приятным, насколько это мне позволит инструкция. Но, скажите, где я мог иметь счастье видеть вас? Ваше лицо мне знакомо… Ну, честное слово, знакомо!

— Должно быть, в берлинском театре, где я

пела этой зимой.

— Нет, я был в Силезии — помощником плац-майора в крепости Глац. К счастью, этот дьявол Тренк совершил свой побег, когда я путешествовал… я хочу сказать — когда я выезжал с важным поручением на саксонскую границу. Иначе я бы не получил повышения и не был бы сейчас здесь. А здесь мне очень нравится близость Берлина. Ведь офицеры в крепости живут так скучно. Вы не можете себе представить, мадемуазель, как тоскливо бывает вдали от большого города, в каком-то захолустье — особенно мне, страстному любителю музыки… Но где же, черт возьми, я имел удовольствие вас видеть?

— Я, сударь, не припомню, чтобы когда-нибудь имела эту честь.

— Возможно, я видел вас на сцене какого-нибудь театра — в Италии, в Вене… Вы много путешествовали? В каких театрах вы играли?

Я не ответила, но это не смутило его, и со своей обычной наглостью он продолжал:

— Ну, ничего! Я еще вспомню. О чем же мы говорили? Да, о скуке. Вы тоже скучаете?

— Нет, сударь.

— Но ведь вас, кажется, держат в одиночной камере? Ваше имя — Порпорина?

— Да, сударь.

— Так, так, узница номер три. Скажите, у вас нет желания немного развлечься? Рассеяться?

— Ни малейшего, сударь, — поспешно ответила я, думая, что он хочет предложить мне свое общество.

— Как угодно. А жаль. Здесь есть еще одна узница, тоже весьма образованная особа… и к тому же очаровательная женщина, клянусь честью… Она, я уверен, была бы очень рада познакомиться с вами.

— А могу я узнать ее имя?

— Ее зовут Амалия.

— Амалия? А дальше?

— Амалия… брум! брум! Право, не знаю. А вы, я вижу, любопытны. Это болезнь, распространенная в тюрьмах.

Теперь я раскаивалась в том, что отвергла любезное предложение господина Мейера. У меня уже совсем пропала надежда познакомиться с таинственной Амалией, и я отказалась от этой мысли, но сейчас во мне снова проснулось чувство сострадания, а также и желание рассеять мои подозрения. Поэтому я постаралась быть полюбезнее с этим отвратительным Мейером, и вскоре он вызвался познакомить меня с узницей

номер два — так он назвал Амалию.

— Если такое нарушение моего режима не повредит вам, сударь, и я смогу быть полезной бедной даме, которая, как говорят, больна от тоски и от скуки, то я…

— Брум! Брум! Как видно, вы понимаете все в буквальном смысле. Настоящий ребенок! Должно быть, старый придира Шварц напугал вас своей инструкцией. Инструкция! Да ведь это одна видимость! Она годится для привратников, для сторожей, но мы, офицеры (Мейер выпятил грудь, как человек, еще не привыкший к столь почетному званию), мы закрываем глаза на невинные нарушения. Сам король закрыл бы глаза, будь он на нашем месте. Знайте, мадемуазель, когда вам захочется чего-нибудь добиться, обращайтесь только ко мне, и я обещаю, что вам ни в чем не откажут и никто не будет притеснять вас напрасно. Я снисходителен и кроток от природы, таким уж создал меня бог, а главное — люблю музыку… Если вы согласитесь иногда петь мне — скажем, по вечерам — я буду приходить и слушать вас отсюда, и тогда вы сможете делать со мной все, что вам заблагорассудится.

— Я постараюсь как можно меньше злоупотреблять вашей любезностью, господин Мейер.

— Мейер! — вскричал плац-майор, резко оборвав свое «брум! брум! «, успевшее сорваться с его черных, потрескавшихся губ. — Почему вы назвали меня Мейером? Где, черт побери, вы выудили это имя — Мейер?

— Извините, господин плац-майор, — ответила я, — тут виновата моя рассеянность. У меня был когда-то учитель пения, носивший такое имя, и я думала о нем все утро.

— Учитель пения? При чем тут я? В Германии много Мейеров. Мое имя Нантейль. По происхождению я француз.

— А скажите, господин офицер, могу ли я внезапно явиться к этой даме? Она не знает меня и, быть может, откажется меня принять, как только что я сама чуть не отказалась познакомиться с ней. Когда живешь в одиночестве, становишься такой дикаркой!

— О, каков бы ни был характер этой прелестной дамы, она будет счастлива с кем-нибудь поговорить — отвечаю вам за это. Хотите написать ей несколько слов?

— Но мне нечем писать.

— Не может быть! У вас, стало быть, нет ни гроша?

— Если бы даже у меня были деньги, господин

Шварц неподкупен. Да я и неспособна на подкуп.

— Ну хорошо. Сегодня вечером я сам отведу вас к номеру два… но только после того, как вы что-нибудь споете мне.

Я испугалась, решив, что Мейер, или Нантейль, как теперь ему угодно было себя называть, хочет войти ко мне в комнату, и уже собиралась отказаться, но тут он изложил мне свои намерения более подробно. Возможно, он и в самом деле не предполагал осчастливить меня визитом, а возможно, прочитал на моем лице ужас и отвращение. Вот что он мне сказал:

— Я буду слушать вас с площадки, которая находится над той башенкой, где вы живете. Звук идет кверху, и мне будет прекрасно слышно. Потом я велю одной женщине открыть вашу дверь и проводить вас. Меня при этом не будет. Мне, пожалуй, не совсем удобно самому толкать вас на неповиновение, хотя, брум… брум… в подобных случаях есть весьма простой способ выйти сухим из воды… В голову узницы номер три стреляют из пистолета, а потом говорят, что она была застигнута на месте преступления при попытке к бегству. Ну как? Забавная мысль, а? В тюрьме нельзя жить без разных веселых мыслей. Ваш покорный слуга, мадемуазель Порпорина.

До вечера.

Не понимая причины любезности этого негодяя, я терялась в догадках, и он внушал мне невольный, невероятный ужас. Трудно было поверить, чтобы столь низкий, столь ограниченный человек мог так сильно любить музыку и так стараться исключительно ради желания меня послушать. Я решила, что узница, о которой шла речь, — это не кто иной, как принцесса прусская, и что по распоряжению короля мне хотят устроить с ней свидание, чтобы подслушать нас и выведать государственные тайны, которые, по их мнению, она мне поверяет. Теперь я так же боялась этого свидания, как и желала его, — ведь мне совершенно неизвестно, где правда, где ложь в том мнимом заговоре, участницей которого меня считают.

Тем не менее, полагая своим долгом пойти на риск, чтобы поддержать дух товарки по несчастью, кто бы она ни была, в назначенный час я начала петь, дабы усладить слух господина плац-майора. Пела я плохо — аудитория отнюдь меня не вдохновляла, да и лихорадка моя не совсем прошла. К тому же я чувствовала, что Мейер слушает меня только для видимости, а может быть, и вовсе не слушает. Когда пробило одинна-

дцать, меня охватил какой-то ребяческий страх. Я вообразила, будто господин Мейер получил секретный приказ избавиться от меня и что стоит мне выйти из камеры, как он пустит мне пулю в лоб, — ведь он сам сообщил мне это в форме веселой шутки. Когда моя дверь открылась, я вся дрожала. Пожилая женщина, неряшливая и уродливая (еще более неряшливая и уродливая, чем госпожа Шварц), знаком предложила мне следовать за ней и пошла вперед по узкой и крутой лесенке, проделанной в стене. Когда мы дошли доверху, то оказались на площадке башни, футах в тридцати над той эспланадой, где я обычно гуляю днем, и в восьмидесяти или ста футах над рвом, который на большом протяжении окружает всю эту часть здания. Отвратительная старуха велела мне минутку обождать и куда-то исчезла. Мои тревоги рассеялись, и я испытывала такое блаженство, впивая чистый воздух, любуясь великолепной луной, глядя на открывавшийся с моего возвышения широкий вид, что одиночество, в котором меня оставили, более не пугало меня. Широкая поверхность дремлющих вод, куда крепость отбрасывала свои неподвижные черные тени, деревья — и земля, смутно видневшиеся в отдалении, необъятное небо, даже

летучие мыши, свободно летавшие во мраке, — о боже! — каким огромным, величавым казалось все это мне после двух месяцев созерцания голых стен или узкой полоски неба и редких звезд, видных из моей каморки! Однако я наслаждалась недолго. Шум чьих-то шагов заставил меня обернуться, и все мои страхи тотчас пробудились — я очутилась лицом к лицу с господином Мейером.

— Синьора, — сказал он, — я в отчаянии, но должен вам сообщить, что вы не сможете повидать узницу номер два — во всяком случае, не сегодня.

Видимо, это весьма капризная особа. Вчера она выразила горячее желание иметь собеседницу, а сейчас, когда я предложил ей ваше общество, она ответила мне: «Узница номер три? Та, что поет по вечерам в своей башне? О, мне хорошо знаком этот голос, можете не называть ее имя. Я бесконечно признательна вам за подругу, которую вы хотели мне дать. Да лучше я никогда не увижу ни одного человеческого существа, чем взгляну на это презренное создание. Она причина всех моих несчастий, и дай бог, чтобы ей довелось поплатиться за них так же жестоко, как я поплатилась за свою неосторожную дружбу». Таково, синьора, мнение о вас той дамы. Остается

узнать, заслуженно оно или нет, но это уж дело вашей совести, как принято говорить. Меня это не касается, и я готов отвести вас в вашу камеру, когда вам заблагорассудится.

— Немедленно, сударь, — ответила я, смертельно уязвленная тем, что меня обвинили в предательстве перед подобным негодяем, и чувствуя в сердце горькую обиду на ту из двух Амалий, которая проявила по отношению ко мне такую несправедливость или же неблагодарность.

— Я не тороплю вас, — возразил новоиспеченный плац-майор. — По-видимому, вам доставляет удовольствие смотреть на луну. Смотрите сколько угодно. Это не стоит денег и никому не причиняет вреда.

Я имела неосторожность еще на минутку воспользоваться снисходительностью мошенника. Мне было так трудно оторваться от созерцания прекрасного зрелища, которым, быть может, я любовалась в последний раз, а Мейер почему-то казался мне жалким лакеем, считавшим за честь выполнять мои приказания. Мое безразличие придало ему смелости, и он завязал разговор:

— А знаете, синьора, — сказал он, — вы поете дьявольски хорошо. Такого пения я не слышал даже в Италии, а я бывал там в лучших театрах

и слушал первоклассных артистов. Где вы выступали? Когда начали путешествовать? Много ли посетили стран?

Я сделала вид, что не слышу его вопросов, но он не смутился.

— А не случалось ли вам путешествовать пешком в мужском платье? — добавил он.

Я вздрогнула и поспешила ответить отрицательно.

— Полно! — сказал он. — Вам не угодно сознаться, но я ничего не забываю, и в моей памяти всплыло одно забавное приключение. Вы тоже не могли о нем забыть.

— Не понимаю, сударь, о чем вы говорите, — возразила я, отходя от амбразуры башни и собираясь спуститься вниз.

— Одну минутку, одну минутку! — сказал Мейер. — Ваш ключ у меня в кармане, и без меня вам все равно не попасть к себе. Позвольте же мне, моя красавица, сказать вам несколько слов. — Ни одного слова, сударь. Я хочу вернуться в свою камеру и сожалею, что вышла оттуда.

— Скажите пожалуйста! Хватит разыгрывать недотрогу! Будто мне неизвестны ваши похождения! Неужели вы думали, что я был так прост и не понял, кто вы, когда вы разгуливали по Бо-

гемскому Лесу с тем смазливым черноволосым юнцом? Меня не проведешь! Юнца я хотел увезти для армии прусского короля, но девица была для него слишком хороша. Правда, ходят слухи, что вы приглянулись кое-кому и попали сюда именно за то, что пытались хвастаться этим… Что делать? Фортуна изменчива, с ней бесполезно бороться. Вы упали с большой высоты! Но я советую вам не разыгрывать из себя гордячку и довольствоваться тем, что само идет в руки. Я всего лишь незаметный офицер крепости, но здесь я пользуюсь большей властью, чем сам король, которого никто не знает и не боится, потому что свои приказы он издает слишком высоко и слишком далеко, чтобы ему повиновались. Теперь вам ясно, что я могу обойти инструкцию и смягчить ваш режим. Не будьте неблагодарной, и вы убедитесь, что покровительство плац-майора стоит в Шпандау не меньше, чем покровительство короля в Берлине. Вы меня поняли? Не убегайте, не кричите, не делайте глупостей. Это было бы совершенно бесполезно. Я буду говорить все, что мне заблагорассудится, а вам все равно никто не поверит. Полно, я вовсе не хочу вас пугать. От природы я сострадателен и кроток. Итак, поразмыслите хорошенько, и когда я вас увижу в

следующий раз, не забудьте, что ваша судьба в моих руках: я могу бросить вас в каземат, а могу окружить развлечениями и увеселениями, могу уморить голодом (и никто не потребует от меня никакого отчета), а могу устроить вам побег (и никто не заподозрит меня в этом). Повторяю, поразмыслите хорошенько, я не тороплю вас…

И так как я молчала, ужасаясь тому, что вынуждена терпеть подобные унижения, этот отвратительный субъект добавил, думая, должно быть, что я колеблюсь:

— А впрочем, почему бы вам не сообщить мне свое решение тотчас же? Разве необходимы двадцать четыре часа, чтобы понять, что это единственный разумный выход, и ответить на любовь человека порядочного, еще не старого? Я достаточно богат, чтобы поселить вас в другой стране и в более приятном замке, чем эта гнусная крепость.

С этими словами подлый вербовщик подошел ко мне с неловким, но в то же время наглым видом и, загородив мне дорогу, хотел было взять меня за руку. Твердо решившись скорее броситься в ров, чем позволить запятнать себя малейшей его лаской, я отбежала к амбразуре. Но в это мгновение перед моими глазами возникла какая-то

странная фигура, и, желая отвлечь внимание плац-майора от своей особы, я поспешила указать ему на нее. Меня это спасло, но, увы, едва не погубило существо, быть может, более достойное!

По высокой каменной ограде, идущей вдоль противоположного края рва, напротив эспланады, с невероятной быстротой и ловкостью бежал или, вернее, мчался какой-то великан. Добежав до края ограды, которая с обеих сторон заканчивается башней, это привидение спрыгнуло на крышу башни, находившейся на одном уровне с балюстрадой, и, преодолев ее крутой склон с легкостью кошки, словно растаяло в воздухе.

— Это еще что такое? — вскричал плац-майор, забыв роль ухаживателя и возвращаясь к обязанностям тюремщика. — Сбежал какой-то узник! А часовой заснул, черт бы его побрал! Часовой! — крикнул он громовым голосом. — Берегись! Тревога! Тревога!

И, подбежав к той амбразуре, где висит набатный колокол, он стал бить в него с силой, вполне достойной этого замечательного учителя адской музыки. Никогда я не слышала ничего более зловещего, нежели этот набат, нарушивший своим резким и пронзительным звоном торжественное безмолвие ночи. Это был дикий вопль грубости и

насилия, потревоживший гармонический плеск волн и вздохи ветерка. В одну секунду вся тюрьма пришла в волнение. Послышалось грозное щелканье заряжаемых ружей — часовые целились наудачу, готовые стрелять в первую попавшуюся мишень. Эспланада озарилась красным светом, сразу затмившим красивые голубоватые отблески луны. Это господин Шварц зажег большой фонарь. Сигналы передавались с одного вала на другой, а эхо жалобно вторило им. Вскоре в эту дьявольскую симфонию влился другой звук, грозный и торжественный, — грохот пушки. Чьи-то тяжелые шаги отдавались на каменных плитах. Я ничего не видела, но слышала все, и сердце мое сжималось от страха и волнения. Мейер поспешно отошел от меня, но я даже не радовалась своему избавлению — я горько упрекала себя за то, что невольно, не понимая, что происходит, указала ему на побег одного из несчастных узников. Застыв от ужаса, я ждала развязки происшествия, вздрагивая при каждом ружейном выстреле и все время боясь, что услышу крик раненого беглеца, возвещающий о катастрофе.

Все это длилось больше часа, но, благодарение небу, пока что беглец не был ни обнаружен, ни настигнут. Чтобы убедиться в этом, я спустилась на

эспланаду и подошла к Шварцам. Супруги и сами были до такой степени взволнованы и возбуждены, что даже не удивились, увидев меня вне моей камеры среди ночи. Быть может, впрочем, они были в сговоре с Мейером и знали о моей вечерней прогулке. Обежав все камеры как безумный и убедившись, что все доверенные ему узники на месте, Шварц немного успокоился, но и он и его жена не могли прийти в себя от горестного изумления, словно спасение человека являлось в их глазах тяжким общественным и личным бедствием, возмутительным посягательством на небесное правосудие. Другие тюремщики и солдаты, с растерянным видом бегавшие взад и вперед, обменивались между собой фразами, свидетельствовавшими о таком же отчаянии, даже об ужасе: очевидно, попытка к бегству была в их глазах самым чудовищным из преступлений. О милосердный боже! Какими отвратительными показались мне все эти наемники, так усердно исполняющие свое варварское ремесло — лишать себе подобных священного права на свободу! Но, как видно, высшая справедливость решила наложить на моих двух тюремщиков примерное наказание. Госпожа Шварц, которая на минутку вошла зачем-то в свою берлогу, внезапно выбе-

жала оттуда с пронзительным криком.

— Готлиб! Готлиб! — задыхаясь, вопила она. — Подождите! Не стреляйте, не убивайте моего сына! Это он! Я уверена, что это он!

Из отрывочных слов супругов Шварц я поняла, что Готлиб исчез — его не оказалось в постели, не оказалось в комнате — и что, по-видимому, к нему вернулась его старая привычка — бегать во сне по крышам. Готлиб был лунатиком!

Как только это известие распространилось в крепости, волнение понемногу улеглось. Каждый тюремщик успел к этому времени обойти свои владения и убедиться, что все заключенные были на местах. Сторожа спокойно вернулись на посты. Офицеры были в восторге от такой развязки, солдаты смеялись над своей тревогой, госпожа Шварц, вне себя от страха, осматривала все углы, а ее муж с грустью вглядывался в ров, опасаясь, не упал ли туда бедный Готлиб: ведь грохот пушечной и ружейной пальбы мог внезапно разбудить его во время его опасного путешествия. Пожалуй, это был самый подходящий момент для моего собственного побега: по-видимому, все двери были открыты, а тюремщики разбрелись кто куда. Однако я не стала задерживаться на этой мысли, так как была всецело поглощена желанием

разыскать бедного больного, выказавшего мне столько участия.

Между тем господин Шварц, никогда не терявший голову до конца, заметил, что уже светает, и приказал мне вернуться в камеру, ибо то, что я свободно бродила по крепости в неурочное время, противоречило инструкции. Он проводил меня, чтобы запереть за мной дверь, но первое, что я увидела, войдя к себе, был Готлиб, преспокойно спавший в моем кресле. Должно быть, на его счастье, он прибежал сюда до разгара тревоги, или же сон его был так крепок, а ноги так быстры и ловки, что ему удалось избегнуть всех опасностей. Я посоветовала Шварцу не будить сына и обещала присмотреть за ним, пока его мать не узнает об этом радостном событии. Оставшись наедине с Готлибом, я ласково положила руку ему на плечо и начала шепотом расспрашивать его. Мне говорили, что лунатики могут общаться с теми, к кому они привязаны, и совершенно внятно отвечать на их вопросы. Моя попытка увенчалась успехом.

— Готлиб, — сказала я, — где ты был сегодня ночью?

— Ночью? — удивился он. — Разве уже ночь? А мне показалось, что над крышами сверкало

солнце.

— Значит, ты был на крышах?

— Ну, конечно. Малиновка, этот добрый ангелочек, позвала меня через окно, я улетел вместе с ней на небо, и мы были высоко, далеко, возле самых звезд, почти там, где живут ангелы. Правда, когда мы улетали, вам повстречался Вельзевул. Он бегал по кровлям и парапетам, чтобы поймать нас, но он-то не умеет летать! Бог приговорил его к длительному наказанию: он видит, как летают ангелы и птицы, но достать их не может.

— А после этого полета в облаках ты все-таки снова спустился сюда?

— Малиновка мне сказала: «Давай навестим мою сестру — она больна». И мы спустились к тебе, в твою каморку.

— Значит, ты можешь входить ко мне, Готлиб?

— Конечно. Я не раз приходил и сидел ночью возле тебя, когда ты болела. Малиновка похищает ключи из-под подушки моей матери, и как Вельзевул ни старается, ему не удается ее разбудить, раз ангел усыпил ее, незримо порхая над ее головой.

— Кто же научил тебя так хорошо различать ангелов и демонов?

— Мой учитель! — ответил лунатик с наивной,

детской и восторженной улыбкой.

— Кто же он — твой учитель? — спросила я.

— Прежде всего бог, а потом… великий башмачник.

— А как имя этого великого башмачника?

— О, это высокое имя! Но, видишь ли, его нельзя называть. Моя мать не знает его. Она не знает, что в каминной дыре у меня спрятаны две книги. Одну из них я не читаю, а другую прилежно изучаю уже четыре года. Это моя духовная пища, духовная жизнь, книга правды, спасение и свет моей души.

— Кто же написал эту книгу?

— Он, башмачник из Горлица, Якоб Беме.

Тут нас прервал приход госпожи Шварц, и мне с большим трудом удалось помешать ей броситься на шею своему сыну. Эта женщина боготворит свое чадо — да простятся ей ее грехи! Она начала говорить ему что-то, но Готлиб не слышал ее, и только мне удалось уговорить его пойти к себе и лечь в постель, где он спокойно проспал все утро, как мне сказали потом. Он ничего не подозревает и поныне, хотя его странная болезнь и ночное происшествие сделались сегодня достоянием всего Шпандау.

И вот я снова в своей камере после нескольких

часов относительной свободы, очень тягостной и очень тревожной. Нет, я не хочу уйти отсюда такою ценой! А ведь, возможно, мне удалось бы бежать… Теперь, когда я нахожусь здесь во власти негодяя, когда мне грозят опасности, которые хуже смерти, хуже вечной муки, я буду беспрестанно думать об этом и, может быть, добьюсь успеха! Говорят, что сильная воля преодолевает все. Боже, защити меня!

5 мая. После всех этих событий я живу довольно спокойно. Теперь я считаю каждый прожитый без тревог день днем счастья и благодарю за него бога, как в обычной мирной жизни люди благодарят его за годы, прошедшие без несчастий. Да, необходимо испытать горе, чтобы выйти из состояния неблагодарной апатии, в каком живешь обычно. Ныне я упрекаю себя за то, что провела столько прекрасных дней беззаботной юности, не ценя их и не благословляя провидение. Я недостаточно часто говорила себе в те времена, что ничем не заслужила их, и, очевидно, именно этим отчасти заслужила те беды, которые обрушились на меня сегодня.

Больше я не видела гнусного вербовщика. Теперь я еще больше боюсь его, чем тогда, на берегах Влтавы, когда он казался мне просто людоедом

— пожирателем детей. Сейчас я вижу в нем еще более страшного и опасного преследователя. Когда я думаю о возмутительных притязаниях этого мерзавца, о его власти надо мной, о том, как легко ему проникнуть ко мне ночью, я готова умереть от стыда и отчаяния… Ведь Шварцы, эти покорные и жадные животные, быть может, не захотят защитить меня от него… Я смотрю на безжалостные прутья решетки, которые не позволят мне выброситься из окна. Я не могу достать яду, у меня нет даже ножа, который я могла бы вонзить себе в грудь… И все же у меня есть несколько поводов надеяться и верить, и я люблю перебирать их в уме, чтобы не поддаваться расслабляющему действию страха. Прежде всего Шварц не любит плац-майора, ибо тот, очевидно, успевает первым выполнить желания и просьбы заключенных, наживаясь на них и продавая им немного свежего воздуха, луч солнца, кусочек хлеба сверх обычного рациона и другие тюремные блага, а это наносит большой ущерб Шварцу, считающему все это своей монополией. Затем Шварц и в особенности его жена начали относиться ко мне более дружелюбно из-за того, что ко мне привязался Готлиб, а также потому, что, по их мнению, я оказываю благотворное влияние

на его ум. Если мне будет грозить опасность, они, быть может, и не придут мне на помощь сами, но в крайнем случае я смогу передать через них жалобу коменданту крепости: в тот единственный раз, когда я видела этого человека, он показался мне добрым и отзывчивым… Впрочем, Готлиб тоже сможет оказать мне эту услугу, и, ничего ему не объясняя, я на всякий случай уже сговорилась с ним. Он охотно передаст мое письмо — я уже приготовила его. Но мне не хочется просить помощи до последней минуты: ведь если мой враг перестанет мучить меня, он может сказать, что его декларация просто шутка, которую я по глупости приняла всерьез. Так или иначе, но теперь я сплю очень чутко и стараюсь развить в себе физическую силу, чтобы суметь защитить себя, если понадобится. Я поднимаю стулья, напрягаю руки и плечи, хватаясь за железные перекладины оконной решетки, колотя по каменной стене. Тот, кто увидел бы меня за этими упражнениями, решил бы, что я сошла С ума или окончательно потеряла надежду. Однако я предаюсь им хотя и с грустью, но с величайшим хладнокровием и обнаружила, что гораздо сильнее, чем предполагала. Живя обычной беззаботной жизнью, мы не задаемся вопросом, способны ли мы к самозащи-

те, мы просто этого не знаем. Почувствовав себя сильной, я стала храбрее, и мое упование на бога растет оттого, что я стараюсь сама помочь его покровительству. Я часто вспоминаю прекрасные стихи, которые Порпора когда-то прочитал на стенах одного из казематов венецианской инквизиции:

Di che mi fido, mi guarda Iddio, Di che non mi fido, mi guardero io

Кому не верю, тех остерегусь я сам (итал.)> Я счастливее страдальца, начертавшего это мрачное признание; по крайней мере я могу безоговорочно довериться чистой преданности экзальтированного бедняги Готлиба. Приступы лунной болезни больше у него не повторялись, да и мать усердно следит за ним с тех пор. Днем он приходит беседовать со мной в мою каморку. После встречи с Мейером на крепостном валу я перестала выходить туда.

Готлиб открыл мне свои религиозные воззрения. Они показались мне прекрасными, но во многом странными, и мне захотелось прочитать богословский трактат Беме, чтобы понять, что именно Готлиб — а он, бесспорно, его последователь — добавил от себя к восторженным фантазиям прославленного башмачника. Готлиб принес

мне эту драгоценную книгу, и я углубилась в нее на свой страх и риск. Теперь мне ясно, почему этот труд смутил бесхитростный ум, воспринявший буквально символы веры мистика, который был немного безумен и сам. Я не претендую на полное их понимание и, может быть, не смогла бы исчерпывающе их объяснить, но, мне кажется, в них есть проблеск благородного религиозного наития и дыхание возвышенной поэзии. Особенно поразили меня рассуждения Беме о дьяволе: «В своей схватке с Люцифером бог не уничтожил его. Слепой человек, ты не понимаешь причины? Она в том, что бог сражался с богом. То была борьба одной грани божественного начала с другой его гранью». Помню, что Альберт почти также объяснял земное и преходящее царство источника зла, и капеллан Ризенбурга с ужасом слушал его, считая эту теорию манихейством. Альберт полагал, что наше христианское учение является еще более полным и более суеверным манихейством, чем его собственное, поскольку наше признает источник зла вечным, тогда как Альберт в своей теории допускает оправдание духа зла, то есть обращение и примирение. Зло, по мнению Альберта, лишь заблуждение, и в один прекрасный день божественный свет должен

рассеять это заблуждение и прекратить существование зла. Признаюсь вам, друзья мои, пусть даже я покажусь вам еретичкой, это наказание Сатаны, обрекающее, его вечно порождать зло, любить зло и не видеть истины, представлялось и все еще представляется мне чем-то нечестивым.

Словом, Якоб Беме, очевидно, является милленарием, то есть приверженцем идеи о воскресении праведников и их пребывании вместе с Христосом в течение тысячи лет безоблачного счастья и высочайшей мудрости на некой новой земле, которая возникнет на развалинах нашей. После чего наступит полное единение душ с богом и вечная награда, еще более совершенная, чем при милленариях. Я хорошо помню, как объяснял этот символ веры граф Альберт, рассказывая мне бурную историю своей старой Чехии и дорогих его сердцу таборитов, которые были насквозь пропитаны этими возродившимися верованиями первых лет христианства. Альберт разделял их взгляды, но вкладывал в них менее буквальный смысл и не говорил так определенно ни о сроке воскресения, ни о продолжительности существования будущего мира. Однако он предчувствовал и пророчески предсказывал близкую гибель человеческого общества, которому суж-

дено уступить место эре высокого обновления. Альберт не сомневался в том, что душа его, выйдя из мимолетных объятий смерти, начнет на сей земле новый ряд перевоплощений, после чего будет призвана созерцать посланную провидением награду и те дни, то грозные, то исполненные счастья, которые обещаны человеческому роду за его усилия. Эта возвышенная вера, казавшаяся столь чудовищной правоверным обитателям Ризеибурга, казавшаяся вначале такой новой и странной мне самой, проникла в меня, и я считаю ее верой всех времен и народов. Несмотря на усилия католической церкви подавить эту веру, на неспособность растолковать и очистить ее от всего материального и суеверного, все же она привлекла к себе и воспламенила много благочестивых и пылких душ. Говорят даже, что ее разделяли и великие святые. Поэтому я тоже предаюсь ей без угрызений совести и без страха, — ведь идея. которую принял Альберт, не может не быть благородной. К тому же она привлекает меня: она бросает отблеск райской поэзии на мое представление о смерти и на те страдания, которые, без сомнения, ускорят ее приход. Этот Якоб Беме пришелся мне по душе. А его последователь, тот, что сидит в грязной

кухне Шварцев и весь во власти дивных видений, предается возвышенным мечтам, в то время как родители его стряпают, торгуют и тупеют, кажется мне чистым и трогательным со своей книгой, которую он выучил наизусть, — правда, не совсем понимая ее, — и с нескончаемым башмаком, за который он взялся, чтобы сделать свою жизнь похожей на жизнь учителя. Бедный Готлиб, больной телом и душой, но наивный, искренний и невинный как ангел, тебе, наверное, суждено разбиться, падая с высокого крепостного вала во время воображаемого полета в небо, или погибнуть от преждевременных недугов! Ты пройдешь по земле, словно непризнанный святой, словно изгнанный ангел, так и не поняв, что такое зло, не изведав счастья, даже не почувствовав тепла освещающих мир солнечных лучей, ибо ты поглощен созерцанием мистического солнца, озаряющего твои мысли! Никто не узнает, не пожалеет, не оценит тебя по заслугам! Я, одна только я, открыла тайну твоих размышлений, одна я разделяю твою прекрасную мечту и могла бы найти в себе силы, чтобы отыскать и осуществить ее в своей жизни, но я умру в расцвете молодости, как и ты, ничего не свершив, не испытав радости бытия. В щелях стен, укрыва-

ющих и пожирающих нас обоих, растут чахлые маленькие растения. Их ломает ветер, они не видят солнечного света, они засыхают здесь, не принося ни цветов, ни плодов. И все-таки они возрождаются снова. Но это уже другие семена — их издалека занесло сюда морским ветерком, и они пытаются прорасти и жить на остатках прежних. Не так ли прозябают узники, не так ли заселяются вновь тюрьмы?

Но не странно ли, что рядом со мной оказался здесь восторженный человек — более низкого уровня, нежели Альберт, но, как и он, исповедующий тайную религию, презираемую, преследуемую, подвергающуюся глумлению? Готлиб уверяет, что в его стране есть много последователей Беме, что многие башмачники открыто исповедуют это учение, что основы его с незапамятных времен укоренились в душе народа и его многочисленных неизвестных философов и пророков, которые некогда воспламенили Чехию, и что этот священный огонь и ныне тлеет под пеплом во всей Германии. В самом деле, я помню, как Альберт рассказывал мне о пылких башмачниках — гуситах, об их смелых предсказаниях и грозных подвигах во времена Яна Жижки. Самое имя Якоба Беме свидетельствует об его

славном происхождении. Не знаю, что происходит в созерцательных умах многотерпеливой Германии Бурная и рассеянная жизнь отвлекла меня от подобных наблюдений. Но пусть Готлиб и Зденко будут самыми скромными адептами таинственной религии, которую Альберт хранил в душе как драгоценный талисман, — все же я чувствую, что их религия принадлежит и мне, поскольку она провозглашает будущее равенство всех людей и будущее торжество справедливости и милосердия бога на земле. Да! Я должна верить в царство божье, которое Христос возвестил людям. Я должна надеяться на крушение этих неправедных империй и нечестивых сообществ, чтобы иметь возможность не сомневаться в провидении, пославшем меня сюда!

Об узнице номер два никаких известий. Если только слова, которые мне передал Мейер, не бесстыдная ложь, то это — Амалия Прусская, и она обвиняет меня в измене. Да простит ее бог за то, что она усомнилась во мне, — ведь я не усомнилась в ней, хотя ее обвиняли в том же. Больше не буду предпринимать никаких попыток ее увидеть. Стараясь оправдаться, я могла бы опять повредить ей, как уже повредила, сама того не зная.

Моя верная малиновка не забывает меня. Увидев у меня в комнате Готлиба без его кота, она подружилась с ним, и бедный Готлиб просто с ума сошел от радости и гордости. Он называет ее госпожой малиновкой и не смеет говорить ей «ты». Когда он кормит ее, то весь дрожит от глубокого почтения, даже благоговения. Я тщетно силюсь убедить его, что это самая обыкновенная птичка, он все так же уверен, что это небесный дух, принявший вид птицы. Пытаясь развлечь его, я немного знакомлю его с музыкой, и, право же, у него есть музыкальные способности. Шварцы в восторге от моих забот, они хотели поставить в одной из своих комнат спинет, чтобы я могла заниматься с их сыном и упражняться сама. Но я не решаюсь принять это предложение, хотя так обрадовалась бы ему еще несколько дней назад. Теперь я не осмеливаюсь петь даже в своей каморке — так велик мой страх привлечь внимание грубого меломана, экс-профессора по классу трубы, да накажет его бог!

10 мая. Я давно уже спрашивала себя, что сталось с теми неведомыми друзьями, с теми чудесными покровителями, которые собирались вмешаться в мои дела и о которых мне когда-то сообщил граф де Сен-Жермен. Очевидно,

они сделали это лишь для того, чтобы ускорить приближение несчастий, которыми мне грозила благосклонность короля. Если это те самые участники заговора, думала я, чье наказание я разделяю, то все они либо разогнаны или сокрушены одновременно со мною, либо покинули меня после моего отказа освободиться из когтей Будденброка в тот день, когда меня перевезли из Берлина в Шпандау. Так вот! Они появились вновь и своим посредником избрали Готлиба. Смельчаки! Только бы они не навлекли на голову этого невинного юноши таких же бед, как на мою!

Сегодня утром Готлиб украдкой передал мне записку следующего содержания:

«Мы подготовляем твое освобождение — эта минута близится. Но тебе грозит новая опасность, которая немного замедлит успех нашего плана. До тех пор пока мы не уведомим тебя и не дадим подробных указаний, остерегайся любого, кто будет подстрекать тебя к бегству. Тебя хотят заманить в ловушку. Будь настороже и оставайся такой же сильной, как до сих пор. Твои братья Невидимые»

Эта записка упала сегодня утром к ногам Готлиба, когда он проходил по одному из тюремных

дворов. Он твердо уверен, что она упала с неба и что тут не обошлось без малиновки. Стараясь не особенно противоречить его фантазиям, я все же начала расспрашивать его и узнала странные вещи, быть может не совсем лишенные вероятности. На мой вопрос, знает ли он, кто такие эти Невидимые, он ответил:

— Этого не знает никто, хоть все и притворяются, что знают.

— Как, Готлиб, ты, значит, слышал о людях, которых так называют?

— Когда я был в учении у главного городского башмачника, о них много говорили.

— Вот как! Значит, народ их знает?

— Да, но из всех разговоров, какие я слышал до тех пор, только этот стоило услышать и запомнить. Один бедный работник, наш товарищ, так серьезно поранил себе руку, что ему собирались отнять ее. Он был единственной опорой большой семьи и до этого случая помогал ей с большим мужеством и любовью. Как-то раз он пришел навестить нас с забинтованной рукой и, глядя, как мы работаем, грустно сказал: «Какие вы счастливцы, у вас здоровые руки! А мне уж, видно, придется лечь в больницу. И старуха мать пойдет просить милостыню, чтобы мои малень-

кие братья и сестры не умерли с голоду». Тогда было решено сделать складчину, но все мы были так бедны, и я

сам, сын богатых родителей, располагал такими грошами, что собрали слишком мало, чтобы по-настоящему помочь бедняге. Вытряхнув все карманы, каждый стал думать о том, как бы вызволить Франца из беды. Но никто не мог ничего придумать — ведь Франц стучался уже во все двери, и отовсюду его прогоняли. Говорят, что король очень богат, что его отец оставил ему много золота. Но говорят также, что он тратит его на обмундирование для своих солдат, а так как в это время была война и король куда-то уезжал, все боялись нужды, простой народ бедствовал, и Франц не мог найти достаточной помощи у добрых людей. Ну, а у злых ведь никогда не бывает свободного гроша. И вдруг один молодой парень из нашей мастерской говорит Францу: «Уж на твоем месте я бы знал, что делать! Но у тебя, пожалуй, не хватит смелости». — Смелости у меня хватит, — отвечает Франц. — Что же надо сделать?» — «Надо обратиться к Невидимым». Франц, как видно, понял, о чем речь, потому что с неохотой покачал головой и ничего не ответил. Некоторые молодые люди, и я тоже, не знали,

что это означает и попросили объяснения. Нам ответили со всех сторон: «Как, вы не знаете Невидимых? Да вы просто дети! Невидимые — это люди, которых никто не видит, но которые действуют. Они творят много добра и много зла. Никто не знает, где они живут, но они — повсюду. Говорят, их немало во всех четырех частях света. Многих путешественников они убивают, а многих других спасают от разбойников — смотря по тому, кого они считают достойными наказания, а кого — защиты. Они — подстрекатели всевозможных восстаний, они имеют доступ ко двору любого государя, управляют всеми делами, решают вопросы войны и мира, выкупают пленных, облегчают участь несчастных, карают негодяев, заставляют королей дрожать на своих тронах, словом — от них зависит все счастье и все несчастья на этом свете. Возможно, они делают немало ошибок, но, говорят, намерения у них всегда добрые. А впрочем, кто знает — вдруг то, что сегодня считается несчастьем, завтра принесет большое счастье?»

— Мы слушали все это с удивлением и восхищением, — продолжал Готлиб. — Постепенно я узнал довольно много и теперь могу вам рассказать, что думает о Невидимых рабочий люд и

невежественный простой народ. Одни говорят, что это злые люди, что они предались дьяволу, за что тот и передал им свое могущество, дар узнавать сокрытое, власть соблазнять людей богатством и почестями, умение распознавать будущее, делать золото, исцелять больных, возвращать молодость старикам, воскрешать мертвых, вырывать живых из объятий смерти, — ведь это они открыли философский камень и жизненный эликсир. Другие, напротив, думают, что Невидимые — благочестивые и добрые люди, которые объединили свои богатства, чтобы помогать несчастным, и сговорились мстить за несправедливости и вознаграждать добродетель. В нашей мастерской завязался разговор, и каждый высказал свое мнение. «Это старинный орден Тамплиеров», — говорил один. «Сейчас их называют франкмасонами», — возражал другой. «Нет, говорил третий, это гернгутеры Цинцендорфа, иначе — Моравские братья, бывшие Союзные братья, бывшие Сироты горы Табор. Словом, это старая Чехия, которая все еще не сломилась и втайне угрожает всем европейским державам, потому что хочет превратить вселенную в республику».

А некоторые уверяли, что эти Невидимые

— просто горсточка чародеев, учеников и последователей Парацельса, Беме, Сведенборга, а теперь и Шрепфера — хозяина кофейни (странное сопоставление!), и что эти люди хотят с помощью разных адских приемов и способов захватить власть над миром и низвергнуть империи. Большинство сходилось на том, что это члены фемгерихта, который никогда не распускался в Германии и теперь, после многих веков работы во мраке, начинает горделиво поднимать голову и показывать свою железную руку, огненный меч и твердое, как алмаз, правосудие.

Франц все не решался обратиться к ним. Ведь если примешь их благодеяния, говорил он, ты уж на всю жизнь, и земную и небесную, будешь связан с ними, рискуя вечным спасением и подвергая опасности родных. Однако нужда оказалась сильнее его страхов. Один из наших товарищей, тот самый, который дал ему этот совет и, как все думали, был членом общества Невидимых, хоть он и отрицал это, по секрету научил Франца как надо подать «сигнал бедствия». Мы так и не узнали, что это за сигнал. Одни говорят, будто Франц кровью написал на своих дверях какой-то кабалистический знак. Другие — будто в полночь он явился на перекресток четырех дорог, и там,

на холмике, у подножия креста, увидел черного всадника. А некоторые говорят, будто он просто написал письмо и положил его в дупло старой плакучей ивы у входа на кладбище. Достоверно одно — что ему помогли, что семья его получила возможность дождаться его выздоровления, не прося милостыни, и он смог обратиться к искусному хирургу, который вылечил ему руку. О Невидимых он никогда не говорит ни слова, разве только — что он будет благословлять их до конца жизни. Вот так, сестра моя, я впервые узнал о существовании этих странных и милосердных людей.

— Но ты ведь более образованный человек, чем твои товарищи по мастерской, — сказала я Готлибу, — скажи мне, что думаешь об этих Невидимых ты сам? Кто они? Члены секты, шарлатаны или заговорщики?

Но Готлиб, который до этой минуты изъяснялся с большой рассудительностью, вдруг снова впал в свою обычную рассеянность, запутался, и мне удалось выведать у него только то, что эти существа и в самом деле невидимы, неосязаемы и что, подобно богу и ангелам, они могут общаться с людьми, лишь приняв чей-нибудь облик.

— Конец света близок, — сказал он, — это

очевидно. Появились явные приметы. Родился антихрист. Некоторые утверждают, что он в Пруссии и зовут его Вольтер. Но я не знаю этого Вольтера, и, возможно, это не он.

Тем более что имя Вольтер начинается на V, а не на W. А ведь имя, которое антихрист будет носить среди людей, должно начинаться на W и быть немецким . До прихода великих чудес, которые произойдут в течение нашего столетия, бог ни во что не вмешивается открыто. Бог, который является «вечным молчанием» , порождает среди нас существа высшей породы, тайные силы, служащие и добру и злу, — ангелов и демонов. Демоны предназначены для испытания праведников, ангелы — для того, чтобы помочь их торжеству. Великая борьба этих двух начал уже вспыхнула. Король зла, отец заблуждений и невежества, защищается, но тщетно. Архангелы натянули лук науки и истины. Их стрелы пробили панцирь Сатаны. Сатана еще сопротивляется, рычит, но скоро он отречется от лжи, потеряет весь свой яд и почувствует, как вместо нечистой крови пресмыкающихся в его жилах заструится роса прощения. Вот ясное и правильное объяснение того необъяснимого и страшного, что происходит в мире. Зло и добро борются в высшей сфере, недо-

ступной усилиям человека. Победа и поражение реют над нами, и никто не может повлиять на исход битвы. Фридрих Прусский приписывает силе своей армии те успехи, которые даровала ему только судьба, собираясь либо сокрушить его, либо поднять еще выше, в зависимости от ее скрытых целей. Да, люди перестали понимать, что происходит на земле. Они видят, что неверие борется оружием веры, и наоборот. Они страдают от угнетения, нужды и всех бедствий, происходящих от раздора, но их молитвам не внемлют, чудеса древней религии не приходят им на помощь. У них уже ни в чем нет согласия, и они ссорятся, сами не зная, в чем причина ссоры. С завязанными глазами шагают они к пропасти. И это Невидимые толкают их туда, но никто не знает, от кого исходят творимые ими дивные дела — от бога или от дьявола. Ведь в начале христианской эры многие считали Симона-волхва таким же всемогущим, таким же святым, как Христос. А я тебе говорю, что все чудеса происходят от бога, раз Сатана не может совершать их без его позволения, и что некоторые из этих Невидимых действуют непосредственно по велению святого духа, остальные же получают свое могущество сквозь облако и неизбежно творят добро, хоть и

думают, что творят зло.

— Ну, это очень туманное объяснение, милый Готлиб! Кому же оно принадлежит — Якобу Беме или тебе?

— Быть может, ему, а быть может, мне, если только оно не подсказано мне его вдохновением.

— Пусть будет так, Готлиб! Но я не слишком продвинулась вперед в своих познаниях. Ведь мне неизвестно, кем являются эти Невидимые для меня — добрыми ангелами или злыми.

12 мая. Чудеса и в самом деле начались, и судьба моя — в руках Невидимых. Скажу, как Готлиб: «Откуда они — от бога или от дьявола?» Сегодня Готлиба подозвал часовой, который караулит эспланаду и стоит на маленьком замыкающем ее бастионе. По мнению Готлиба, этот часовой не кто иной, как один из Невидимых, то есть дух. Доказательством является то, что Готлиб, который знает всех караульных и часто беседует с ними, когда они в шутку заказывают ему башмаки, никогда прежде его не видел. И, кроме того, ему показалось, что этот часовой был выше человеческого роста и смотрел на него с каким-то странным выражением. «Готлиб, — шепнул он ему, — Порпорина должна быть освобождена через три дня. Это зависит от тебя — из-под подушки

твоей матери ты можешь достать ключ от ее камеры, затем провести ее через кухню и доставить сюда, до края эспланады. Остальное я беру на себя. Предупреди ее, чтобы она была наготове, и помни — если у тебя недостанет осторожности или усердия, все мы — она, ты и я — погибнем».

Вот каковы мои дела. Я просто больна от волнения. Всю эту ночь я горела как в лихорадке. Всю ночь я слышала звуки фантастической скрипки. Бежать! Уйти из этой унылой тюрьмы, а главное — избавиться от страха, который мне внушает Мейер! Ах, если надо рискнуть только своей жизнью, я готова. Но каковы будут последствия моего побега для Готлиба, для того караульного, которого я не знаю и чья преданность так бескорыстна, да, наконец, для тех неведомых сообщников, которые хотят навлечь на себя еще одну беду? Я колеблюсь, я трепещу, я не могу решиться. Пишу вам, но еще не думаю готовиться к бегству. Нет, я не убегу, пока не буду спокойна за участь моих друзей и покровителей. Бедный Готлиб готов на все! Когда я спрашиваю, не боится ли он, он отвечает, что ради меня с радостью перенес бы любые мучения. А когда я добавляю, что, быть может, он будет скучать по мне, он говорит, что это уж его дело и что дальнейшие его намере-

ния мне неизвестны. К тому же все это кажется ему повелением свыше, и он без рассуждении повинуется направляющей его неведомой силе. Однако я внимательно перечитываю послание Невидимых, полученное несколько дней назад, и боюсь, как бы сообщение этого караульного не оказалось той самой западней, которой я должна остерегаться. Впереди еще двое суток. Если Мейер появится вновь, я решусь на все. Если, как до сих пор, он не будет напоминать о себе, а мне придется опираться только на слова незнакомца, я останусь.

13-е. О, я доверяюсь судьбе, доверяюсь провидению, посылающему мне нежданную помощь! Я ухожу, я готова опереться на мощную руку, которая предлагает мне свое покровительство!.. Сегодня утром, отважившись выйти на эспланаду в надежде получить от моих заступников духов какое-нибудь новое известие, я взглянула на бастион, где обычно находится караульный. Их там было двое — один стоял на часах с ружьем в руке, другой ходил взад и вперед, словно искал кого-то. Высокий рост второго часового привлек мое внимание, его фигура показалась мне знакомой. Но я могла смотреть на него лишь украдкой, и, делая круг, мне каждый раз прихо-

дилось поворачиваться к нему спиной. Наконец в какой-то момент, когда я шла к нему навстречу, он тоже, как бы случайно направился в нашу сторону, и, хотя он находился на значительно более высокой площадке, чем мы, я тут же узнала его. У меня чуть не вырвался крик. Это был чех Карл, дезертир, которого я спасла из когтей Мейера в Богемском Лесу, Карл, которого я вновь встретила потом в Росвальде в Моравии, у графа Годица и который ради меня отказался от своего плана жестокой мести… Этот человек предан мне душой и телом, и его свирепая физиономия, приплюснутый нос, рыжая борода и фаянсовые глаза показались мне сегодня прекрасными, словно лик архангела Гавриила.

— Это он! — прошептал Готлиб. — Посланец Невидимых, да и сам Невидимый, я уверен. Во всяком случае, он мог бы им стать, если б захотел. Это и есть ваш освободитель — он выведет вас отсюда завтра ночью.

Сердце билось у меня так сильно, что я едва держалась на ногах. Радостные слезы хлынули из моих глаз. Чтобы скрыть волнение от первого часового, я отошла подальше и приблизилась к парапету, делая вид, что любуюсь травой во рву. Тем не менее я успела заметить, что Карл и

Готлиб почти открыто обменялись несколькими словами, но не расслышала их. Вскоре Готлиб вернулся и торопливо сказал мне:

— Он спустится сюда. Он зайдет к нам на кухню и попросит бутылку вина. Делайте вид, что не замечаете его. Отца нет дома. Когда моя мать уйдет в погребок за вином, войдите в кухню, точно бы собираясь подняться к себе, и вы сможете немного поговорить с ним.

И правда, после того как Карл сказал что-то госпоже Шварц, которая не прочь угостить ветеранов крепости с выгодой для себя, Готлиб появился на дороге. Я поняла, что это был условный знак.

Тогда я вошла и оказалась наедине с Карлом. Готлиб вслед за матерью ушел в погребок. Бедный мальчик! Очевидно, дружба внезапно пробудила в нем хитрость и присутствие духа, столь необходимые в обыденной жизни. Он умышленно уронил свечу, совершил тысячу неловкостей, вывел из терпения свою мать и задержал ее на достаточно длительное время, чтобы я могла обо всем условиться с моим спасителем.

— Ну вот, синьора, — сказал Карл, — наконец-то я снова вижу вас! Вербовщики еще раз схватили меня, видно так уж было суждено. Но король

узнал меня и помиловал — должно быть, благодаря вам. Потом он позволил мне уйти и даже пообещал денег, но, правда, не дал их. Я вернулся на родину и вдруг услыхал, что вы здесь. Тогда я разыскал одного знаменитого чародея, чтобы узнать, как бы мне услужить вам. Чародей послал меня к принцу Генриху, а принц Генрих направил в Шпандау. Здесь нас окружают могущественные лица — я их не знаю, ж они делают все, чтобы вас освободить. Они не жалеют ни денег, ни стараний, могу вас уверить! Теперь все готово. Завтра вечером ворота сами распахнутся перед нами. Все те, кто мог бы загородить нам путь, подкуплены. Только Шварцы не участвуют в этом деле, но завтра они будут спать крепче обычного, а когда проснутся, вы будете уже далеко. Мы прихватим с собой и Готлиба — он не хочет оставаться тут без вас. Я тоже удираю вместе с вами, нам ничего не грозит, все предусмотрен? Будьте готовы, синьора, а теперь идите обратно на эспланаду, чтобы старуха не застала вас здесь.

Свою благодарность Карлу я выразила лишь слезами и поскорее убежала, чтобы скрыть их от пытливого взгляда госпожи Шварц.

О друзья мои! Значит, я снова увижу вас! Сожму в объятиях! Еще раз спасусь от ужасного Мейера!

Снова увижу ширь небес, радостную зелень полей, Венецию, Италию! Снова буду петь, увижу дружеские лица! О, эта тюрьма закалила меня и обновила мое сердце, угасавшее от холодного равнодушия. Как я буду жить, как буду любить, какой благочестивой, какой доброй я буду!

И все же — такова глубокая загадка человеческого сердца! — я испытываю страх и даже грусть при мысли, что скоро покину эту каморку, где прожила три месяца, беспрестанно вырабатывая в себе мужество и покорность судьбе, этот крепостной вал, где так много думала и мечтала, эти старые стены, казавшиеся мне такими высокими, холодными и безмятежными при свете луны! А глубокий ров с тусклой водой, отливавшей такой красивой зеленью, множество печальных цветов, усеявших весной его берега! А главное — мою малиновку! Готлиб уверяет, что она полетит за нами, но ведь в столь поздний час она будет спать в листве плюща и не заметит нашего ухода. Милое созданьице! Пусть твое присутствие подарит утешение той, кто сменит меня в этой камере! Пусть она будет так же беречь тебя и заботиться о тебе, как это делала я!

Попытаюсь уснуть, чтобы завтра быть сильной и спокойной. Запечатываю эти записки, чтобы

унести с собой. С помощью Готлиба я раздобыла новый запас бумаги, карандашей, свечек, который хочу оставить в своем тайнике. Пусть эти бесценные сокровища обрадуют какую-нибудь другую узницу после меня».

На этом кончается дневник Консуэло. Продолжим правдивый рассказ о ее приключениях.

Необходимо сообщить читателю, что Карл не напрасно хвалился, будто он получает помощь и указания от каких-то могущественных лиц. Эти невидимые рыцари, хлопотавшие об освобождении нашей героини, сыпали золото полными пригоршнями. Многие тюремщики, человек десять старых солдат и даже один офицер были вовлечены в это дело и обещали молчать, ничего не видеть, а в случае тревоги пуститься в погоню за беглецами лишь для вида. В вечер, назначенный для побега. Карл ужинал у Шварцев и, притворившись пьяным, предложил им выпить вместе с ним. Как большинство женщин, занимающихся поваренным искусством, мамаша Шварц любила промочить горло. Муж ее тоже не питал отвращения к водке из своего погребка, если платил не он. Какое-то сонное зелье, тайком подсыпанное Карлом в бутылку, помогло действию крепкого напитка. Супруги Шварц с трудом до-

брались до постели и захрапели так громко, что Готлиб, подойдя к ним, чтобы выкрасть ключи, как всегда приписал все это сверхъестественной силе и решил, что их заколдовали. Карл вернулся на бастион и занял свой пост. Консуэло беспрепятственно дошла с Готлибом до этого места и бесстрашно ступила на веревочную лесенку, которую ей сбросил дезертир. Но бедный Готлиб, упорно желавший бежать вместе с ней, как она ни отговаривала его, оказался при этом серьезной помехой. Тот самый Готлиб, который во время припадков лунной болезни, как кошка бегал по кровлям, наяву не способен был сделать, не спотыкаясь, и трех шагов по самой ровной дороге. Убежденный в том, что он идет за посланцем небес, Готлиб не испытывал ни малейшего страха, и прикажи ему Карл, он без колебаний спрыгнул бы в пропасть. Но эта доверчивая храбрость только усиливала опасность его неловких движений. Карабкаясь, он ставил ногу как попало, не глядя, не рассчитывая. После того как Консуэло двадцать раз вздрагивала от страха, думая, что он погиб, он наконец взобрался на площадку бастиона, а оттуда трое беглецов пошли по коридорам той части крепости, где находились лица, посвященные в заговор. Они

беспрепятственно двигались вперед, как вдруг перед ними вырос плац-майор Нантейль, иначе говоря — бывший вербовщик Мейер.

Консуэло решила, что все погибло, но Карл помешал ей обратиться в бегство, сказав: «Не бойтесь, синьора, господин плац-майор действует заодно с нами».

— Остановитесь, — торопливо сказал им Нантейль. — Случилась неприятность. Плац-майору Веберу вздумалось прийти поужинать в нашу часть здания с одним старым, безмозглым офицером. Они сидят в помещении, через которое вам необходимо пройти. Надо найти способ выдворить их оттуда. Карл, скорее возвращайтесь на свой пост — не то вас могут хватиться. Я приду за вами, когда будет возможно. Госпожа Порпорина укроется в моей комнате. Готлиба я возьму с собой и скажу, что у него припадок лунной болезни. Оба моих дурака побегут взглянуть на него, помещение освободится, и я заберу ключ, чтобы они больше не могли туда попасть.

Готлиб, не знавший, что он лунатик, вытаращил глаза, но Карл сделал ему знак, и он слепо подчинился. Консуэло смертельно не хотелось входить в комнату Мейера.

— Почему вы боитесь этого человека? — шепо-

том спросил у нее Карл. Ему обещана слишком крупная сумма, чтобы он вздумал предать вас. Он дал правильный совет: я вернусь на бастион. Чрезмерная поспешность может нас погубить.

«Чрезмерное хладнокровие и предусмотрительность тоже могут погубить нас», — подумала Консуэло. Тем не менее она уступила. У нее было при себе оружие. Проходя через кухню Шварцев, она успела схватить там небольшой нож, и это немного успокаивало ее. Деньги и бумаги она еще раньше отдала Карлу, а себе оставила только свое распятие, которое считала талисманом.

Для большей безопасности Мейер запер ее в своей комнате и ушел вместе с Готлибом. Минут через десять, показавшихся Консуэло вечностью, Нантейль вернулся, и она с ужасом заметила, что он запер дверь изнутри, а ключ положил в карман.

— Синьора, — сказал он ей по-итальянски, — вам придется вооружиться терпением еще на полчаса. Эти негодяи пьяны и уйдут из-за стола не раньше, чем пробьет час ночи. Тогда их выгонит сторож, который дежурит в этой части здания.

— А что вы сделали с Готлибом, сударь?

— Ваш друг Готлиб находится в безопасности. Он спрятался за вязанкой хвороста и отлично

там выспится. Пожалуй, это поможет ему бодрее шагать, когда он пойдет вслед за вами.

— А Карла вы предупредите, не так ли?

— Если мне не вздумается приказать повесить его, — ответил плац-майор с какой-то сатанинской усмешкой. — Мне незачем оставлять его здесь. Ну что, довольны вы мною, синьора?

— Сейчас у меня нет возможности доказать вам мою признательность, сударь, — холодно ответила Консуэло, тщетно стараясь скрыть свое презрение, — но я надеюсь, что вскоре смогу расквитаться с вами.

— Черт побери, да вы можете расквитаться со мной сейчас же (Консуэло с ужасом отшатнулась)… если проявите ко мне хоть немного симпатии, — добавил Мейер с неуклюжей и неловкой любезностью. — Не будь я таким страстным любителем музыки, а вы — такой красоткой, я ни за что не нарушил бы своего долга и не стал бы помогать вашему побегу. Неужели вы думаете, что я делаю это из-за денег? Тьфу! Да я достаточно богат, чтобы обойтись без ваших друзей, а принц Генрих недостаточно могуществен, чтобы спасти меня от петли или от пожизненного заточения, если будет обнаружено мое участие. Так или иначе, дурная служба повлечет за собой неми-

лость, перевод в другую крепость, менее удобную, расположенную дальше от столицы… Все это заслуживает маленького утешения. Полно! Перестаньте разыгрывать гордячку. Вы ведь знаете, что я влюблен в вас. У меня мягкое сердце! Но это не значит, что можно злоупотреблять моей слабостью. Вы не монахиня, не святоша, черт побери! Вы очаровательная актриса, и я готов держать пари, что на пути к первым ролям вам случалось дарить немного нежности директорам некоторых театров. Да, черт возьми! Если вы пели Марии-Терезии, а говорят, что это так, значит вы прошли через будуар князя фон Кауница. Сейчас вы находитесь в менее роскошном помещении, но ваша свобода — в моих руках, а свобода — это еще более драгоценный дар, чем милость императрицы.

— Это угроза? — спросила Консуэло, бледная от негодования и отвращения.

— Нет, это просьба, прекрасная синьора.

— Но, надеюсь, не условие?

— Ни в коем случае. Что вы! Это было бы неблагородно! — ответил Мейер с наглой иронией, подходя к Консуэло и раскрывая объятия.

Консуэло с ужасом отбежала в дальний угол. Мейер последовал за ней. Она увидела, что

погибнет, если ради чести не пожертвует человеколюбием, и внезапно, побуждаемая неистовой гордостью испанки, встретила объятия Мейера, вонзив ему в грудь свой нож. Мейер был очень жирен, и рана не представляла опасности, но когда он увидел, как течет его кровь, ему показалось, что он умирает. Будучи столь же труслив, сколь развратен, он едва не лишился чувств и упал животом на постель, бормоча: «Меня зарезали! Я погиб!» Консуэло подумала, что убила его, и едва не лишилась чувств сама. После нескольких секунд безмолвного ужаса она все же решилась подойти к Мейеру и, видя, что тот не шевелится, отважилась подобрать оброненный им ключ. Как только ключ от комнаты оказался в ее руках, мужество снова вернулось к ней, она без колебаний вышла и наудачу бросилась бежать по коридорам. Все двери оказались отпертыми, и Консуэло спустилась с какой-то лестницы, не зная, куда она ведет. Но когда внезапно раздался звон набата, затем барабанный бой, а вслед за ним пушечная пальба, — все, что так сильно напугало ее в ночь припадка лунатизма у Готлиба, — ноги у нее подкосились. На нижних ступеньках она упала на колени и, скрестив руки, стала молиться за бедного Готлиба и великодушного Карла. Оказавшись

разлученной с ними, оставив их под угрозой смерти, которую они должны были принять ради нее, она уже не чувствовала в себе ни сил, ни желания искать спасения. Вдруг раздались чьи-то поспешные тяжелые шаги, яркий свет факелов возник перед ее испуганными глазами, и она уже не могла понять, что это — действительность или бред ее больного воображения. Она забилась в уголок и окончательно потеряла сознание.

Глава 20

Придя в себя, Консуэло, еще не понимая, где она, ощутила какое-то неизъяснимое, ни с чем не сравнимое блаженство. Она лежала под открытым небом, но совершенно не чувствовала ночного холода, хотя и видела сияние звезд в беспредельном безоблачном небе. Вслед за этим она испытала и другое приятное ощущение — ощущение быстрого, но плавного движения. Плеск весел, размеренно погружавшихся в воду, подсказал ей, что она находится в лодке и плывет по пруду. Сладостное тепло разливалось по всему ее телу, а в спокойствии спящих вод, где покачивалось от легкого ветерка множество болотных растений, была какая-то пленительная нега, напоминавшая о лагунах Венеции в прекрасные весенние ночи. Приподняв голову, Консуэло огляделась по сторонам и увидела двух гребцов, сидевших на разных концах лодки. Она взглядом поискала крепость и увидела ее, но уже далеко, — мрачную каменную громаду в прозрачной рамке воздуха и волн. Консуэло поняла, что спасена, но тотчас вспомнила о своих друзьях и с тревогой

произнесла имя Карла.

— Я здесь, синьора. Ни слова, ни единого слова! — ответил Карл, который сидел на веслах впереди нее. Консуэло решила, что вторым гребцом был Готлиб, и, не в силах пошевелиться, снова откинулась назад.

Чья-то рука подтянула выше окутывавший ее теплый я мягкий плащ, но она осторожно отстранила его от лица, чтобы продолжать любоваться бесконечным, усеянным звездами небом, простиравшимся над ее головой.

По мере того как силы и свобода движений, парализованных сильным нервным припадком, постепенно возвращались к Консуэло, она понемногу собиралась с мыслями, и ужасный, окровавленный образ Мейера возник перед него. Почувствовав, что ее поддерживает чья-то рука и что голова ее покоится на груди у третьего пассажира, которого до сих пор она не замечала или, вернее, принимала за тюк — настолько он был закутан, невидим и неподвижен, — она сделала новую попытку приподняться.

Величайший ужас овладел ею при мысли о том, что, быть может, именно негодяй Мейер сидит сейчас рядом с нею, — ведь Карл проявил к нему такое легкомысленное доверие. Старания

незнакомца скрыть свое лицо еще усиливали подозрения беглянки. Смутившись, она вспомнила, что спокойно дремала на груди у этого человека, и почти рассердилась на судьбу, позволившую ей провести под его покровительством несколько минут целительного забвения и неизъяснимого блаженства.

К счастью, в это мгновение лодка пристала к берегу, и Консуэло поспешила встать, пытаясь опереться на руку Карла и выпрыгнуть на землю. Однако от сильного толчка она пошатнулась и вновь упала в объятия таинственного незнакомца. Теперь он стоял во весь рост, и при слабом свете звезд она различила на его лице черную маску. Но он был на голову выше Мейера и, даже закутанный в длинный плащ, казался стройным и изящным. Это совершенно успокоило Консуэло. Она оперлась на руку, которую он молча ей предложил, и прошла вместе с ним по берегу шагов пятьдесят. Карл и второй гребец шли сзади, все так же, знаками, призывая ее к полнейшему молчанию. Местность была безмолвна и пустынна, ничто не напоминало более о шумной крепости. За густым кустарником стояла карета, запряженная четверкой лошадей, и незнакомец сел туда вместе с Консуэло. Карл влез

на козлы. Третий спутник незаметно скрылся. Консуэло невольно подчинилась безмолвной и торжественной поспешности своих освободителей, и вскоре удобная и покойная карета покатилась во мраке с невероятной быстротой. Шум колес и цоканье копыт лошадей, несущихся во весь опор, не располагают к беседе. Консуэло была сильно смущена и даже немного испугана тем, что оказалась наедине с незнакомцем. Тем не менее, увидев, что теперь уже можно без всякого риска нарушить молчание, она сочла долгом выразить ему свою признательность и радость. Ответа не последовало. Из уважения он с самого начала сел не рядом, а напротив. Затем безмолвно пожал ей руку и снова отодвинулся в уголок кареты. Консуэло, надеявшаяся завязать разговор, не осмелилась настаивать. Ей страшно хотелось узнать, кто же он, этот великодушный и преданный друг, которому она обязана своим спасением, но она испытывала к нему какое-то инстинктивное, смешанное со страхом почтение и мысленно приписывала своему странному спутнику все романтические добродетели, подобающие данному случаю. Под конец ей пришло в голову, что, быть может, этот человек лишь исполнитель воли Невидимых, их верный слуга,

и боится, что, позволив себе разговаривать с ней наедине, ночью, он превысит свои права.

Через два часа быстрой езды коляска остановилась среди темного леса, но перекладных лошадей, которые должны были их там ждать, еще не было. Незнакомец отошел, чтобы посмотреть, не видно ли их, а может быть, желая скрыть свое нетерпение и беспокойство. Консуэло тоже вышла из экипажа и стала прогуливаться по другой песчаной тропинке вместе с Карлом, которому ей хотелось задать тысячу вопросов. — Благодарение богу, синьора, вы живы, — сказал ей верный оруженосец.

— А ты как себя чувствуешь, милый Карл?

— Лучше и быть не может, раз вы спасены.

— А Готлиб? Что с ним?

— Полагаю, что он спокойно спит в своей постели в Шпандау.

— Праведное небо! Значит, Готлиб остался? И поплатится за всех нас? — Ни за себя, ни за нас. Когда началась тревога, — кто ее поднял, мне неизвестно, — я побежал за вами, решив, что настал момент все поставить на карту. По дороге я встретил плац-майора Нантейля — иначе говоря, вербовщика Мейера. Он был очень бледен…

— Так ты видел его, Карл? Он был цел и невре-

дим? Он мог ходить?

— А почему бы и нет?

— Значит, он не был ранен?

— Ах, да, был. Он сказал, что немного поранился, наткнувшись в темноте на ружейную пирамиду. Но я не обратил на это особого внимания и поскорей спросил его, где вы. Он ничего не знал — он совсем потерял голову. Мне даже показалось, что он хотел нас выдать: ведь набат, который я услыхал, — я отлично знаю его звук, — приводится в движение из его комнаты и только для его части здания. Но, как видно, он передумал — негодяй знал, что ему хорошо заплатят за ваше освобождение. Поэтому он помог мне отвести беду и всем, кто попадался навстречу, говорил, что тревога опять поднялась из-за лунатика Готлиба. И правда, точно желая подтвердить его слова, Готлиб лежал и спал в уголке коридора, где мы его и нашли. Этот странный сон часто нападает на него среди дня, где бы он ни находился — хоть на парапете эспланады. Можно подумать, что его на ходу усыпило волнение, связанное с бегством. Это просто чудо, если он случайно не глотнул несколько капель того самого зелья, которое я так усердно подливал его дорогим родителям. Мне известно одно — что его заперли в первой

попавшейся комнате, чтобы он не вздумал разгуливать по стенам крепости, и я счел за благо оставить его там впредь до новых распоряжений. Его ни в чем не могут обвинить, а моего побега будет вполне довольно, чтобы объяснить ваш. Шварцы тоже так крепко спали у себя на кухне, что не слышали набата, и никому не пришло в голову идти проверять, заперта ли ваша каморка. Так что настоящая тревога поднимется только завтра. Нантейль помог мне успокоить всех, и я сделал вид, что иду к себе в спальню, а сам побежал разыскивать вас. Мне посчастливилось — вы лежали в трех шагах от той самой двери, которая должна была вывести нас на свободу. Все сторожа на этой стороне были подкуплены. Сначала я перепугался — вы были совсем как мертвая. Но мертвую или живую, я не хотел оставлять вас там. Без всяких помех я перенес вас в лодку, ожидавшую у рва, и тут… тут со мной приключилась одна неприятная история, но я расскажу вам ее как-нибудь в другой раз. На сегодня уже хватит с вас волнений, синьора, и мне не хочется вас пугать.

— Нет, нет, Карл, я должна все знать, у меня хватит сил выслушать все.

— О, я знаю вас, синьора! Вы будете меня бра-

нить. Вы по-своему смотрите на вещи. Я хорошо помню Росвальд, где вы помешали мне…

— Карл, твой отказ говорить откровенно будет жестоко мучить меня.

Расскажи мне все, умоляю тебя, приказываю тебе.

— Ну что ж, синьора, в конце концов, это не такое большое несчастье. А если тут и есть грех, то он только на мне одном. Когда наша лодка проходила под низким сводом, я старался грести как можно тише, потому что в этом месте отдается эхом каждый звук, и вдруг возле небольшой дамбы, которая наполовину загораживает проезд, в лодку прыгают трое молодцов и хватают меня за шиворот. Надо вам сказать, — продолжал Карл, понижая голос, — что после того, как мы миновали последний подземный выход, господин, который едет с вами в карете (это один из наших), имел неосторожность отдать Нантейлю две трети условленной суммы. Решив, что этого пока довольно, а остальное он получит, когда выдаст нас начальству, Нантейль вместе с двумя такими же негодяями, как и он сам, засел на дамбе, чтобы вновь захватить вас, рассчитывая вначале избавиться от вашего покровителя и от меня, чтобы никто не мог рассказать о полученных им день-

гах. Вот почему эти канальи и решили нас убить. Но ваш спутник, синьора, несмотря на свою миролюбивую внешность, сражался как лев. Клянусь, я век этого не забуду. Двумя мощными ударами он отделался от первого негодяя — швырнул его в воду, — а второй, оробев, снова прыгнул на плотину и встал поодаль, следя, чем кончится моя схватка с плац-майором. Признаюсь, синьора, я был не так ловок, как его милость, благородный рыцарь, чье имя мне неизвестно. Драка продолжалась с полминуты, и это не делает мне чести, ибо Нантейль, который всегда был силен как бык, на сей раз показался мне каким-то вялым и слабым. Возможно, он просто испугался, а может, ему мешала полученная рана. Наконец, почувствовав, что он совсем обессилел, я поднял его и слегка окунул в воду. Тут его милость сказали мне: «Не убивайте его. В этом нет необходимости». Но я-то хорошо знал Нантейля, знал, как он плавает, знал, что он упрям, жесток, способен на все, — я успел когда-то испытать на себе силу его кулаков, и у меня с ним были старые счеты, — и тут я не удержался и ударил его по голове… Синьора, этот удар навсегда предохранит его от других ударов и помешает ему наносить удары кому бы то ни было еще! Да упокоит господь его душу и простит

мою! Он пошел ко дну, как кирпич, и больше не появился. Приятель Нантейля — господин рыцарь выдворил его из нашей лодки таким же манером — сначала нырнул, потом доплыл до края дамбы, а его спутник, самый осторожный из этой тройки, стал помогать ему взобраться наверх. Это оказалось нелегко. Насыпь здесь такая узкая, что один спихивал вниз другого, и вскоре оба опять очутились в воде. Пока они барахтались и ругались, словно уча друг друга плавать, я греб изо всех сил, и вскоре мы доплыли до того места, где наш второй гребец, честный рыбак, обещал встретить меня и помочь переправиться через пруд. Какое счастье, синьора, что я научился ремеслу матроса в мирных водах Росвальдского парка! Я и не знал в тот день, когда на ваших глазах участвовал в столь прекрасной репетиции, что наступит время и мне придется выдержать ради вас морское сражение, не столь блестящее, но куда более важное. Вот что вспомнилось мне там, в лодке, и на меня вдруг напал какой-то странный смех… очень противный смех! Смеялся я про себя — по крайней мере мне казалось, что я не издаю ни звука, — но зубы у меня стучали, чья-то железная рука как будто давила мне горло, а со лба стекали капли холодного пота!.. Да, теперь

я вижу, что человек не муха, — его убиваешь не так спокойно. А ведь он не первый — я был на войне… Да, но война есть война! А здесь, в глухом углу, ночью, за стеной, не обменявшись с ним ни словом… Это было похоже на преднамеренное убийство, а между тем я имел на это право — я защищал свою жизнь. Впрочем, это могло бы оказаться не первым случаем преднамеренного убийства в моей жизни!.. Помните, синьора? Если бы не вы… я бы совершил его. Но не знаю, стал ли бы я потом раскаиваться в этом. Знаю одно — что я как-то нехорошо смеялся там, в лодке… И даже сейчас все еще не могу удержаться от смеха… Уж очень забавно пошел он ко дну, совсем прямо, словно тростник, который воткнули в ил. А когда на поверхности воды осталась только его голова, только голова, попорченная моим кулаком… О господи, как он был уродлив! Мне стало страшно!.. Он все еще стоит перед моими глазами!

Опасаясь, что это ужасное потрясение может повредить Карлу, Консуэло постаралась преодолеть собственное волнение, чтобы успокоить его и отвлечь. Карл был кроток и терпелив от природы, как истинный чешский крепостной. Полная трагических случайностей жизнь, уготованная ему судьбою, была ему не по силам. Совершая

поступки, продиктованные местью или иными злобными чувствами, он испытывал затем муки раскаяния и страх перед богом. Отвлекая его от мрачных мыслей, Консуэло, быть может, хотела и сама немного отдохнуть душой. Ведь она тоже вооружилась в эту ночь, чтобы убить. Она тоже ранила человека и пролила несколько капель его нечистой крови. Прямая и благочестивая душа не может допустить мысли об убийстве, не может принять решение убить человека, не проклиная, но оплакивая те обстоятельства, которые вынуждают защищать свою честь и жизнь с кинжалом в руках. Консуэло была подавлена, удручена. Она уже не осмеливалась считать, что имела право купить свою свободу ценой пролитой крови — хотя бы даже крови злодея.

— Бедный Карл, — сказала она. — Сегодня мы оба были палачами. Это ужасно. Но пусть тебя утешит мысль, что мы не хотели, не предвидели того, что случилось — нас толкнула на это необходимость. А теперь расскажи мне о господине, который так великодушно помог мне бежать. Ты совсем не знаешь его?

— Нет, синьора, сегодня вечером я увидел его впервые и даже не знаю, как его имя.

— Но куда же он везет нас, Карл?

— Не знаю, синьора. Он запретил задавать ему вопросы и даже велел передать вам, что если дорогой вы сделаете малейшую попытку расспрашивать его, где мы находимся и куда едем, он будет вынужден покинуть вас на полпути. Мне ясно, что он желает нам добра, и я решил позволить ему вести меня как ребенка.

— А видел ты лицо этого господина?

— Мельком, при свете фонаря. Это было в тот миг, когда я переносил вас в лодку. Он очень красив, синьора. Я никогда не видел никого красивее. Настоящий король.

— Неужели, Карл? Он еще молод?

— Лет тридцати.

— На каком языке он говорит?

— На самом настоящем чешском — истинном языке христиан! Он и сказал-то мне всего несколько слов, но какое удовольствие доставил бы мне звук родного языка, не случись это в такую дурную минуту: «Не убивайте его — в этом нет необходимости». Ох, он ошибся, это было более чем необходимо, — не так ли, синьора?

— А что он сказал тебе, когда ты совершил это страшное дело?

— Я думаю — да простит мне бог! — что он ничего не заметил. Он кинулся в лодку, где вы

лежали как мертвая, и, видно, опасаясь, как бы кто не причинил вам вреда, заслонил вас своим телом. А когда мы оказались в безопасности посреди пруда, он приподнял вас, закутал в отличный плащ, который, должно быть, и принес специально для вас, а потом все время прижимал к сердцу, словно мать, охраняющая свое дитя. Да, он очень сильно любит вас, синьора! Не может быть, чтобы вы не знали его.

— Возможно, что знаю, но мне ни разу не удалось увидеть его лицо, и я…

— Как странно, что он скрывает его от вас! Впрочем, ничто не должно казаться странным со стороны этих людей.

— Каких людей? Скажи мне. Карл.

— Да тех, кого называют рыцарями, черными масками. Невидимыми. О них я знаю не больше, чем вы, синьора, хотя вот уже два месяца, как они водят меня на помочах и шаг за шагом учат, что я должен делать, чтобы помочь вам и спасти.

В это время послышался конский топот, приглушенный мягкой травою. Лошадей перепрягли в две минуты, форейтор тоже оказался новый, не состоявший на королевской службе. Он торопливо обменялся несколькими словами с незнакомцем, после чего последний подал Кон-

суэло руку и вместе с ней вошел в карету. Здесь он занял место в глубине, как можно дальше от спутницы, и торжественная тишина ночи была нарушена лишь в два часа, когда прозвонили его часы. До рассвета было еще далеко, хотя перепелки уже кричали в вереске, а издалека, с какой-то фермы, доносился собачий лай. Стояла великолепная ночь, созвездие Большой Медведицы широко раскинулось на небосклоне. Стук колес заглушал мелодичные голоса природы; путники повернулись спиной к крупным северным звездам, и Консуэло поняла, что направляется к югу. Карл, сидя на козлах, пытался отогнать призрак Мейера, который чудился ему на всех лесных перепутьях, у подножия крестов и под всеми высокими елями, попадавшимися по дороге. Поэтому он не обращал ни малейшего внимания на то, в какую сторону увлекает его счастливая или несчастная звезда.

Глава 21

Убедившись, что ее спутник твердо решил не обращаться к ней ни с единым словом, Консуэло сочла за лучшее подчиниться странному обету молчания, которого, по-видимому, он придерживался, следуя примеру древних странствующих рыцарей. Чтобы избавиться от мрачных образов и грустных размышлений, навеянных рассказом Карла, она попыталась обратить свои думы на неведомое будущее, открывавшееся перед нею, и понемногу погрузилась в блаженные мечты. Лишь немногие избранные натуры обладают даром распоряжаться ходом своих мыслей в минуты созерцательного бездействия. У Консуэло не раз бывала возможность (особенно в продолжение трех месяцев одиночества, проведенных в Шпандау) упражнять этот дар, который, впрочем, реже бывает уделом счастливцев мира сего, нежели тех, чья жизнь полна труда, преследований и опасностей. Ибо следует признать, что существует некая таинственная благодать, ниспосылаемая провидением страдальцам, — иначе ясность духа некоторых из них показалась бы

невероятной тому, кто сам не испытал горя.

К тому же обстоятельства, в которых оказалась наша беглянка, были настолько необычны, что действительно могли дать пищу для самых фантастических воздушных замков. Эта тайна, словно облако окутывавшая все вокруг нее, этот рок, увлекавший ее в какой-то волшебный мир, эта странная, похожая на отеческую, любовь, окружавшая ее чудесами, — все это вполне могло поразить молодое воображение, склонное к поэзии. Консуэло вспоминала слова священного писания, которые она положила на музыку в дни заточения:

«Я пошлю к тебе одного из ангелов, и он в объятиях своих понесет тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею».

«Я блуждаю во мраке, но не испытываю страха, ибо со мной господь».

Отныне эти слова приобрели для нее более ясный, даже божественный смысл. Когда мы перестаем верить в непосредственное явление и прямое откровение божества, покровительство и помощь неба проявляются через посредство дружбы и преданности нам подобных. Как сладостно вручить свою судьбу тем, кто нас любит, и ощущать, если можно так выразиться, что тебя

несут на руках! Это счастье столь велико, что оно быстро развратило бы нас, когда б мы сами не прилагали усилий к тому, чтобы не слишком им злоупотреблять. Это счастье ребенка, чьи золотые грезы не нарушаются никакими тревогами жизни, пока он покоится на груди у матери.

Все эти мысли, нахлынувшие на Консуэло после того, как она так неожиданно избавилась от своих злоключений, убаюкивали ее, преисполняя какой-то невинной негой, и в конце концов она задремала, впав в то состояние покоя души и тела, в котором смешалось все и которое можно было бы назвать небытием, но небытием, полным отрады. Она совершенно забыла о своем безмолвном спутнике, как вдруг, проснувшись, увидела, что сидит совсем рядом с ним и что голова ее лежит на его плече. В первую минуту она и не подумала изменить положение — ей только что снилось, будто она едет на тележке с матерью, и поддерживающая ее рука казалась ей рукой Цыганки. Проснувшись совсем и обнаружив свою оплошность, она смутилась, но рука незнакомца превратилась в какую-то волшебную цепь, обвившуюся вокруг нее. Консуэло осторожно попробовала освободиться, но тщетно; должно быть, незнакомец тоже уснул и, засыпая, бессо-

знательно заключил в объятия свою спутницу, когда, сморенная усталостью и покачиванием кареты, она склонила голову ему на грудь. Обе его руки были сомкнуты вокруг стана Консуэло, словно, перед тем как уснуть, он заранее позаботился о том, чтобы она не могла упасть. Но сон ничуть не ослабил силы его сплетенных пальцев, и, чтобы разомкнуть их, пришлось бы окончательно его разбудить. Консуэло не решалась на это. Она надеялась, что он сам нечаянно отпустит ее и ей удастся сесть на прежнее место, не показав вида, что она заметила все эти щекотливые подробности их пребывания наедине в карете.

Однако, дожидаясь минуты, когда незнакомец заснет покрепче, Консуэло, успокоенная его ровным дыханием и неподвижностью, заснула опять — пережитые потрясения оказались сильнее ее. Когда она проснулась, лицо незнакомца было обращено к ней, его маска развязалась щека прикасалась к ее щеке, их дыхание смешалось. Сделав резкое движение, она попыталась отодвинуться, даже не догадавшись взглянуть ему в лицо, что, впрочем, было бы нелегко, ибо кругом, а особенно в глубине кареты, еще царила тьма. Незнакомец прижал Консуэло к себе, и жар его груди чудодейственным образом воспламенил

ее, отняв силу и желание отстраниться. И, однако, в нежном и жгучем объятии этого человека не было ничего чувственного, ничего грубого. Его ласка не испугала и не осквернила целомудренной чистоты Консуэло; словно под влиянием каких-то чар, она забыла свою сдержанность, забыла девственную холодность, которая не покидала ее даже в объятиях неистового Андзолето, и ответила на восторженный, жаркий поцелуй незнакомца, приникшего к ее губам.

Все было так странно и необычно в этом таинственном существе, что невольный порыв Консуэло, казалось, ничуть не удивил его, не придал дерзости, не опьянил его. Он снова медлительным движением прижал ее к сердцу и, несмотря на исключительную силу этого объятия, Консуэло не ощутила боли, какую оно могло бы причинить слабому созданию. Она не испытала ни страха, ни смущения — хотя после минутного размышления эти чувства были бы так естественны после подобного беспримерного забвения ее обычной стыдливости. Никакая посторонняя мысль не потревожила блаженного спокойствия этого чудесного мгновения — мгновения разделенной любви. Она любила, любила впервые в жизни. Ей подсказал это

инстинкт, вернее — голос свыше. И чувство ее было таким полным, таким глубоким, таким божественным, что, казалось, ничто и никогда не могло бы нарушить его очарования. Незнакомец был для Консуэло каким-то неземным существом, каким-то ангелом, чья любовь только освящала ее. Кончиками пальцев он легко, словно лепестками цветка, коснулся век Консуэло, и она тотчас же вновь заснула, как по волшебству. Он же теперь бодрствовал и казался совершенно спокойным, словно был неуязвим, словно стрелы соблазна не могли проникнуть сквозь его броню. Он бодрствовал, увлекая Консуэло в неведомые края, подобно архангелу, уносящему под своим крылом юного серафима, обессиленного и изнемогшего от соприкосновения с лучезарным божеством. Зарождающийся день и утренний холод наконец вывели Консуэло из ее странного, почти летаргического состояния. Она увидела, что находится в карете одна, и спросила себя, уж не пригрезилось ли ей, что она полюбила. Она попробовала опустить одно из жалюзи, но все они оказались заперты снаружи, а она не знала, каким образом их открыть. Сквозь щели жалюзи она видела неясные контуры убегающей дороги, то белые, то зеленые края ее, но совершенно не

могла разглядеть местность, а стало быть, не могла понять, куда ее везут. В покровительстве незнакомца было нечто своевластное, нечто деспотическое. Все это походило на похищение, и в сердце ее закрались страх и тревога.

С исчезновением незнакомца бедная грешница испытала наконец все муки стыда и чувство глубочайшего изумления. Пожалуй, немногие «девицы из Оперы» (так называли тогда певиц и танцовщиц) стали бы терзаться из-за поцелуя, подаренного в темноте какому-то незнакомцу, который держал себя весьма скромно, а главное, судя по заверениям Карла, был молод, красив и изящен. Однако подобное безумство было столь чуждо нравам и убеждениям добродетельной и благоразумной Консуэло, что она почувствовала себя глубоко униженной в собственных глазах. Она мысленно попросила прощения у праха Альберта и покраснела до корней волос, вспомнив, что сердце ее изменило его памяти столь внезапно, столь недостойно и безрассудно. «Должно быть, — думала она, — трагические обстоятельства этого вечера и радость освобождения заставили меня на минуту потерять рассудок. В противном случае разве могла бы я вообразить, будто люблю человека, который не сказал мне

ни единого слова, не открыл мне своего имени и даже не показал своего лица! Это напоминает самые постыдные приключения маскарадов, те нелепые проявления чувственности, в которых мне каялась Корилла и которые казались мне возможными лишь у таких женщин, как она! Как должен презирать меня этот человек! Если он не злоупотребил моим смятением, я обязана этим тому, что нахожусь под защитой его чести. А может быть, он связан клятвой, выполняя более серьезные обязанности. Скорее всего он просто пренебрег мною! Ах, если бы он понял или угадал, что с моей стороны то был лишь приступ горячки, припадок лихорадочного бреда!» Консуэло тщетно упрекала себя — она не могла отделаться от чувства горечи, которая была еще сильнее угрызений совести, и причиной этой горечи было сожаление о том, что она потеряла своего дорожного спутника. Она не имела права, да и не в силах была заставить себя его проклинать, не могла в чем-либо обвинить его. В глубине ее сознания он продолжал жить как некое высшее существо, наделенное колдовским, быть может дьявольским, могуществом, но могуществом неотразимым. Консуэло страшилась его, но в то же время жаждала, чтобы разлука была не столь

внезапной, чтобы она не оказалась вечной.

Лошади пошли шагом, и Карл открыл дверцу.

— Господин рыцарь предлагает вам пройтись, синьора, — сказал он. — Подъем здесь труден для лошадей, а мы в лесу. Опасности как будто нет. Опершись на плечо Карла, Консуэло спрыгнула на песок, даже не дождавшись, чтобы он опустил подножку. Она надеялась увидеть своего дорожного спутника, своего нежданного возлюбленного. И она действительно увидела его, но впереди, в тридцати шагах, а следовательно, только его спину, причем он по-прежнему был закутан в широкий серый плащ, с которым, очевидно, решил не расставаться ни днем, ни ночью. Походка и та часть его шевелюры и обуви, которую можно было увидеть, свидетельствовали об изысканности и изяществе мужчины, привыкшего заботиться о своем туалете «с целью оттенить свои природные преимущества», как говорили в то время. Эфес его шпаги сверкал, как звезда в лучах восходящего солнца, а запах пудры, которую светские люди употребляли тогда с большим разбором, чувствовался на расстоянии, оставляя в утреннем воздухе ароматный след «благовоспитанного» человека.

«О боже! — подумала Консуэло. — Что, если это

какой-нибудь щеголь, авантюрист или просто спесивый аристократ? Кто бы он ни был, но сейчас он повернулся ко мне спиной, и он прав!»

— Почему ты называешь его «рыцарь»? — спросила она у Карла, продолжая размышлять вслух.

— Потому что так называют его форейторы.

— Но какой рыцарь? Какого ордена?

— Просто господин рыцарь. Да к чему вам это, синьора? Раз ему не угодно, чтобы вы узнали, кто он, вам, по-моему, надо посчитаться с его желанием. Он ведь оказывает вам такие важные услуги — даже рискует жизнью. Вот я, например, готов путешествовать с ним хоть десять лет, даже не спрашивая, куда он меня везет. Это такой красивый, храбрый, такой добрый и веселый человек!

— Веселый? По-твоему, он веселый?

— Конечно. Он так счастлив, что спас вас, что только об этом и говорит. Все время расспрашивает о Шпандау, о вас, о Готлибе, обо мне, о прусском короле. Я рассказываю ему все, что знаю, все, что со мной случилось, — даже и мое приключение в Росвальде. Так приятно говорить по-чешски с умным человеком, который тебя понимает, а не с этими ослами пруссаками — они ведь знают свой поганый язык, и ничего больше!

— Так, значит, он чех?

— Я позволил себе спросить его, но он коротко и даже немного сухо ответил «нет». Не надо бы мне спрашивать его. Ему хотелось, чтобы я отвечал на его вопросы, и ничего больше.

— Он все еще носит маску?

— Только тогда, когда подходит к вам, синьора. Как видно, он большой шутник и хочет возбудить ваше любопытство.

Радостная доверчивость Карла не вполне успокоила Консуэло. Она убедилась в том, что решительность и храбрость сочетались в нем с простодушием, которое легко было употребить во зло. Разве не он поверил обещаниям Мейера? Разве не он уговорил ее войти в комнату этого негодяя? А теперь он слепо подчиняется какому-то незнакомцу, который похитил Консуэло и, быть может, собирается подвергнуть ее еще более утонченным и опасным соблазнам! Ей припомнилась записка Невидимых: «Тебя хотят заманить в ловушку, тебе грозит новая опасность. Остерегайся того, кто предложит тебе бежать, пока не получишь от нас подтверждения. Оставайся такой же сильной…» и т.д. Никакого подтверждения Консуэло не получила, но, обрадовавшись появлению Карла, она решила, что этот верный слуга действительно уполномочен служить ей.

А вдруг незнакомец — предатель? Куда это он везет ее с такой таинственностью? У нее не было ни одного друга, который походил бы на этого блестящего рыцаря, — разве только Фридрих фон Тренк. Но Карл превосходно знал Тренка, и, значит, то был не он. Граф де Сен-Жермен был старше, Калиостро — ниже ростом. Вглядываясь издали в незнакомца и стараясь узнать в нем кого-либо из старинных друзей, Консуэло пришла к выводу, что ни у кого из них не видела такой легкой, изящной походки. Только Альберт отличался этой величественной осанкой, но его медлительный шаг, его постоянное изнеможение не могли сравниться с мужественной и благородной манерой держаться, свойственной незнакомцу. Лес поредел, и лошади пошли рысью, догоняя опередивших их седоков. Не оборачиваясь, рыцарь поднял руку и взмахнул белоснежным платком. Карл понял этот сигнал и подсадил Консуэло в карету со словами:

— Между прочим, синьора, в сундуках под сиденьями вы найдете белье, платья и все, что может вам понадобиться для завтрака и обеда. Там есть и книги. Словом, это настоящая гостиница на колесах, и, кажется, вы выйдете из нее не скоро.

— Карл, — сказала Консуэло, — прошу тебя,

спроси у господина рыцаря, можно ли мне после того, как мы переедем границу, поблагодарить его и отправиться дальше куда мне вздумается.

— О, синьора, я никогда не посмею задать такой обидный вопрос столь любезному господину!

— Нет, я требую, чтобы ты это сделал. Его ответ ты передашь мне на следующем привале, раз он не желает говорить со мной.

Незнакомец ответил, что путница совершенно свободна и все ее желания являются для него приказом, но что, изменив выбранный для нее маршрут и место убежища, она поставит под угрозу не только свое собственное спасение и жизнь ее спутника, но и жизнь Карла. С наивным упреком Карл добавил, что, видимо, се недоверие очень огорчило рыцаря, так как он сделался печален и угрюм. Консуэло тотчас раскаялась и велела ему сказать, что она вручает Невидимым свою судьбу.

День прошел без всяких приключений. Консуэло, замурованная в своей карете, словно государственная преступница, совершенно не представляла себе, в каком направлении ее везут. Заметив при дневном свете, что ее платье забрызгано кровью гнусного Мейера, она пришла в ужас и с радостью переоделась. Она попыталась

читать, но ум ее был чересчур озабочен. Тогда она решила побольше спать, надеясь, что постепенно забудет свое унизительное приключение. Но когда стемнело, а незнакомец продолжал сидеть на козлах, она испытала еще большее смятение. Очевидно, он ничего не забыл, и его почтительная деликатность делала Консуэло еще более смешной и виновной в собственных глазах. Кроме того, она мучилась при мысли о том, как неудобно и утомительно этому человеку, казавшемуся ей таким усталым, сидеть на чересчур узком для двоих сиденье, бок о бок с солдатом, который, правда, был переодет в очень опрятное платье слуги, но мог сильно надоесть ему своей наивной и многословной болтовней. К тому же наступала ночь, быть может, он страдал от холода, не мог спать. Уж не граничит ли его мужество с самомнением? Не считает ли он себя неотразимым? Или думает, что, придя в себя от неожиданности, она будет обороняться от этой фамильярности, что-то чересчур уж отцовской? Бедняжка говорила себе все это, чтобы утешить свое уязвленное самолюбие, но скорее всего ей просто не терпелось снова его увидеть, а главное, она боялась его презрения или торжества чрезмерной добродетели, которая навсегда отдалила

бы их друг от друга.

Среди ночи они остановились в неглубоком овраге. Погода была хмурая.

Шум ветра в листве деревьев напоминал шум бегущей воды.

— Синьора, — сказал Карл, открывая дверцу кареты, — наступила самая трудная минута нашего путешествия: надо перейти границу. Говорят, что смелость и деньги делают все, но все-таки не стоит проезжать сейчас по большой дороге на глазах у полицейских. Я то ничем не рискую — ведь я для них неважная птица. Запрягу в коляску одну лошадь, словно только что купил ее для своих хозяев, что живут в соседней деревне, и поеду потихоньку. А вы с господином рыцарем пойдете окольным путем, и, возможно, там попадутся нелегкие тропинки. Скажите, хватит ли у вас сил пройти с милю пешком по плохой дороге?

Консуэло ответила утвердительно, и рыцарь тотчас подал ей руку. А Карл прибавил:

— Если вы придете в условленное место раньше меня, ждите там и не бойтесь, — хорошо, синьора?

— Я ничего не боюсь, — ведь я нахожусь под защитой господина рыцаря, — ответила Консуэло с каким-то смешанным чувством нежности и

гордости. — Но, бедный мой Карл, — добавила она, — не опасно ли это для тебя?

Карл только пожал плечами и, поцеловав Консуэло руку, побежал перепрягать лошадь, а Консуэло со своим безмолвным покровителем отправилась в путь через поля.

Глава 22

Погода хмурилась все больше, ветер усиливался, и наши беглецы с трудом шагали уже около получаса то по каменистым тропам, то по высокой траве, продираясь сквозь терновые кусты, как вдруг хлынул сильнейший дождь. До сих пор Консуэло не сказала своему спутнику ни слова, но, видя, что он тревожится за нее и ищет пристанища, она наконец проговорила: — Не бойтесь за меня, сударь. Я сильна и огорчаюсь только за вас ведь вы переносите столько мучений и забот ради человека, совершенно вам безразличного. Я просто не знаю, как выразить вам свою благодарность. Увидев какую-то заброшенную лачугу, незнакомец не удержался от радостного жеста, и ему удалось устроить свою спутницу в уголке, где она укрылась от ливня. Крыша этой развалины была сорвана ветром, и пространство, защищенное небольшим каменным выступом, оказалось так узко, что незнакомец, не решаясь встать совсем близко к Консуэло, вынужден был остаться под проливным дождем. Из уважения к ней он даже отошел подальше, чтобы она не испугалась.

Однако Консуэло не могла долго терпеть такое самопожертвование. Она позвала его, но, видя, что он упорствует, вышла из своего убежища и сказала деланно-веселым тоном:

— Каждому свой черед, господин рыцарь. Я тоже могу немного помокнуть.

Займите мое место, если уж не хотите встать рядом.

Рыцарь сделал попытку отвести Консуэло обратно на то место, которое являлось предметом борьбы их великодушия, но она была тверда.

— Нет, — сказала она, — я не уступлю. Очевидно, я обидела вас сегодня, когда выразила желание расстаться на границе, и теперь должна искупить свою вину. Пусть же хороший насморк послужит мне наказанием!

Рыцарь уступил и встал под навес. Чувствуя себя очень виноватой, Консуэло подошла и встала с ним рядом. Правда, у нее было унизительное ощущение, что ее поступок может быть принят за кокетство, но она предпочла скорее показаться ему легкомысленной, чем неблагодарной. Незнакомец понял это и постарался держаться от нее настолько далеко, насколько ему позволяло пространство в два или три квадратных фута. Опершись на каменный выступ, он даже умуд-

рился слегка отвернуть голову, чтобы не смущать Консуэло и чтобы она не подумала, будто он ободрен ее вниманием. Консуэло поражалась тому, что человек, приговоренный к молчанию и до известной степени приговоривший к молчанию и ее самое, так легко угадывает ее мысли и позволяет понимать свои. Уважение к нему возрастало у нее с каждой минутой, и какое-то странное чувство заставляло ее сердце биться так сильно, что она задыхалась в атмосфере, воспламененной дыханием незнакомца, к которому ее влекла непостижимая симпатия.

Через четверть часа ливень утих настолько, что наши путешественники смогли продолжать свой путь, но размытые тропинки сделались почти непроходимыми для женщины. Несколько мгновений рыцарь, как всегда молча, наблюдал, как бредет и спотыкается Консуэло, цепляясь за него на каждом шагу, чтобы не упасть. И вдруг, устав смотреть на ее мучения, он взял ее на руки, как ребенка, и понес, несмотря на ее протесты. Правда, эти протесты не перешли в сопротивление: Консуэло почувствовала себя околдованной, покоренной. Она двигалась навстречу ветру и буре, уносимая этим мрачным, похожим на духа тьмы рыцарем, который вместе со своей

ношей перепрыгивал через овраги и рытвины так быстро и уверенно, словно был бесплотным духом. Таким образом они добрались до брода небольшой речки. Незнакомец быстро шагнул в воду, поднимая Консуэло все выше по мере того, как река становилась глубже.

К несчастью, этот внезапный и обильный ливень до такой степени вздыбил ручей, что он превратился в мутный, пенистый поток, несшийся с глухим и зловещим шумом. Вода доходила незнакомцу уже до пояса. Стараясь держать Консуэло над уровнем воды, он легко мог поскользнуться, ибо ноги его увязали в иле. Консуэло испугалась за него.

— Пустите меня, — сказала она, — я умею плавать. Во имя неба, пустите меня! Вода все прибывает, вы утонете.

В эту минуту порыв яростного ветра повалил одно из деревьев, росших на том берегу, к которому направлялись наши путники. В воду посыпались огромные глыбы земли и камней, что на некоторое время создало естественную запруду, способную противостоять неистовой силе течения. К счастью, дерево упало поперек речки, и незнакомец наконец-то смог передохнуть. Но через минуту вода, пробившись через все препят-

ствия, вновь хлынула таким мощным потоком, что он уже не смог бороться и остановился. Консуэло попыталась высвободиться из его рук.

— Пустите меня, — повторила она, — я не хочу стать причиной вашей гибели. У меня тоже есть и сила и мужество! Позвольте мне бороться вместе с вами.

Но рыцарь с удвоенной силой прижал ее к сердцу. Можно было подумать, что он решил погибнуть здесь вместе с нею. Ей стало страшно — эта черная маска, этот безгласный человек, похожий на водяного из древних немецких баллад, казалось, хотел увлечь ее в бездну. Она не осмелилась сопротивляться долее. Больше четверти часа боролся незнакомец с яростью ветра и волн. Проявляя поистине пугающее хладнокровие и упорство, он продолжал держать Консуэло над водой, тратя четыре-пять минут на то, чтобы продвинуться на один фут. Он спокойно оценивал создавшееся положение. Отступить было теперь не менее трудно, нежели идти вперед. Самое глубокое место было уже позади, и он чувствовал, что если попытается повернуть назад, вода может поднять его и сбить с ног. Наконец он достиг берега, но все еще шел вперед, не позволяя Консуэло ступить на землю и не давая себе передышки до

тех пор, пока не раздался свисток Карла, в тревоге ожидавшего их. Только тогда он передал свою драгоценную ношу на руки дезертира и в полном изнеможении упал на песок. Вместе с дыханием у него вырывались глухие стоны. Казалось, грудь его сейчас разорвется.

— О боже. Карл, он умирает! — воскликнула Консуэло, бросаясь к рыцарю. — Это предсмертный хрип! Давай снимем с него эту маску, она его душит!..

Карл готов был повиноваться, но незнакомец с усилием поднял оледеневшую руку и отвел руку дезертира.

— Он прав! — сказал Карл. — А моя клятва! Ведь я дал ему слово, что не прикоснусь к его маске, даже если он будет умирать у вас на глазах. Бегите к карете, синьора, принесите мою флягу с водкой — она на козлах. Несколько глотков подбодрят его.

Консуэло уже хотела встать, но рыцарь удержал ее. Если смерть была близка, он желал умереть у ее ног. — И на этот раз он прав, — сказал Карл, который, несмотря на свою грубую внешность, понимал тайны любви (он тоже любил когда-то). — Вы сумеете поухаживать за ним лучше меня. Я сам схожу за флягой… Вот что, синьора, — добавил он шепотом. — Сдается мне, что, если вы

хоть немного любите его и, у вас хватит жалости сказать ему об этом, он не позволит себе умереть. В противном случае я ни за что не ручаюсь.

Карл ушел улыбаясь. Он не разделял страха Консуэло, так как видел, что удушье рыцаря уже проходит. Но перепуганная Консуэло, думая, что присутствует при последних минутах этого великодушного человека, обвила его руками и покрыла поцелуями его высокий лоб — единственную часть лица, не закрытую маской.

— Умоляю вас, — сказала она, — снимите это. Я не буду на вас смотреть, я отойду, а ты по крайней мере сможете вздохнуть свободно. Незнакомец взял обе руки Консуэло и прижал их к своей вздымающейся груди. Ему хотелось ощутить их нежную теплоту и вместе с тем заставить молодую девушку отказаться от мысли открыть его лицо. В эту минуту вся душа Консуэло вылилась в этом чистом объятии. Ей вспомнились слова Карла, не то насмешливые, не то ласковые.

— Не умирайте, — сказала она незнакомцу. — Ни за что не позволяйте себе умереть. Разве вы не чувствуете, что я люблю вас?

Не успела она произнести эти слова, как ей почудилось, что она сказала их в каком-то забытьи. Они вырвались у нее почти против воли. Но

рыцарь услышал их. Он немного приподнялся, стал на колени и обнял ноги Консуэло, а та, сама не зная почему, залилась слезами.

Пришел Карл со своей фляжкой. Рыцарь оттолкнул это излюбленное лекарство дезертира и, опираясь на его руку, дошел до кареты. Консуэло села с ним рядом. Ее очень тревожило, как бы рыцарь не продрог в холодной и мокрой одежде.

— Не беспокойтесь, синьора, — сказал Карл. — Господин рыцарь не успел простудиться. Сейчас он наденет мой плащ, — я позаботился спрятать его в карету, когда начался дождь, — ведь мне ясно было, что кто-нибудь из вас да промокнет. Когда на мокрую одежду накинешь что-нибудь плотное и сухое, тепло можно сохранить довольно долго. Сидишь, как в ванне, а это не вредно для здоровья.

— Тогда и ты, Карл, сделай то же, — сказала Консуэло. — Вот, возьми мою мантилью — ведь ты промок, чтобы уберечь нас.

— Со мной ничего не сделается, — возразил Карл. — У меня кожа потолще вашей. Накиньте на рыцаря еще и мантилью. Закутайте его хорошенько. А я живо довезу вас до подставы, даже если мне придется загнать эту бедную лошадь.

В течение целого часа руки Консуэло обвивали

незнакомца, и ее голова, которую он привлек к своей груди, влила в него жизнь и тепло лучше, чем все рецепты и предложения Карла. Изредка она касалась губами его влажного лба и согревала его своим дыханием. Когда карета остановилась, рыцарь прижал ее к сердцу с силой, свидетельствовавшей о том, что он чувствует себя здоровым и счастливым. Затем он поспешно опустил подножку и скрылся.

Консуэло очутилась под каким-то навесом, а перед ней стоял старый, похожий на крестьянина, слуга с потайным фонарем в руке. По окаймленной изгородью тропинке он провел ее мимо какого-то невзрачного домика, дошел до флигеля и, впустив ее, оставил там одну, заперев за ней дверь на ключ. Увидев вторую дверь, она вошла в маленькое, чистое и скромное помещение, состоявшее из двух комнат: хорошо натопленной спальни с удобной, уже постланной постелью и другой комнаты, где горела свеча и был приготовлен отличный ужин. Консуэло с грустью заметила, что на столе стоял только один прибор. И когда Карл принес ей вещи и сказал, что будет прислуживать ей, она не решилась ему ответить, что за ужином ей нужно только одно — чтобы рядом сидел ее покровитель.

— Добрый мой Карл, — сказала она, — поешь сам и ступай спать, мне ничего не нужно. Ты, конечно, больше устал, чем я.

— Я устал не больше, чем если б прочитал молитвы, сидя у очага с моей бедной женушкой, — упокой господи ее душу! С какой радостью я поцеловал землю, когда увидел, что мы еще раз выбрались из Пруссии. Хотя, по правде сказать, я не знаю, где мы — в Саксонии, в Чехии, в Польше или в «Китае», как говорили в Росвальде у графа Годица.

— Возможно ли. Карл? Неужели, сидя на козлах, ты среди бела дня не узнал ни одного их тех мест, которые мы проезжали?

— Да ведь я никогда прежде не ездил по этой дороге, синьора. А потом я неграмотный и не мог прочитать то, что написано на стенах и на придорожных столбах. Кроме того, мы не останавливались ни в одном городе, ни в одной деревне, а лошадей меняли всегда в лесу или во дворе какого-нибудь дома. Наконец, есть еще и четвертая причина — я дал господину рыцарю честное слово, что ничего не скажу вам, синьора.

— Вот с этого тебе бы и следовало начать, Карл, и я не стала бы возражать. Но скажи мне — рыцарь не кажется тебе больным?

— Ни капельки, синьора. Он разгуливает по всему дому, хотя, на мой взгляд, ему там совершенно нечего делать — ведь там нет ни души, если не считать старого, неразговорчивого садовника.

— Ступай же к нему, Карл. Предложи ему свои услуги. Беги, оставь меня.

— Что вы, синьора. Он отказался от моих услуг и велел заботиться только о вас.

— В таком случае позаботься о себе, мой друг, и постарайся увидеть во сне свободу.

Консуэло легла, когда начинало светать, а когда она встала и оделась, было уже два часа. День, видимо, был солнечный и ясный. Она попробовала распахнуть решетчатые ставни, но оказалось, что они заперты на секретный замок, как это было и в почтовой карете. Попыталась выйти, но двери были заперты на задвижку снаружи. Она снова подошла к окну и увидела первые ряды деревьев скромного фруктового сада. Ничто не указывало на соседство большого города или оживленной проезжей дороги. В доме царила полная тишина, и извне доносилось лишь жужжание насекомых, воркование голубей под крышей, да время от времени раздавался жалобный скрип тачки где-то в аллеях, недоступных ее взору. Она бессознательно воспринимала все эти звуки, приятные для

ее слуха, так давно уже лишенного отголосков деревенской жизни. Консуэло все еще была пленницей и, несмотря на все старания окружающих скрыть от нее ее положение, испытывала некоторую тревогу. Однако она решила пока терпеть неволю — она оказалась не такой уж страшной, а любовь рыцаря отнюдь не внушала Консуэло того отвращения, какое внушала любовь Мейера.

Хотя верный Карл и предлагал вызвать его звонком, как только она встанет, ей не захотелось его беспокоить — ведь он нуждался в более длительном отдыхе, нежели она. А главное — она боялась разбудить другого своего спутника, без сомнения крайне утомленного. Она прошла в комнату, примыкавшую к спальне, и на том столе, где накануне был сервирован ужин, — его убрали так тихо, что она и не заметила, — увидела книги и все принадлежности для письма.

Книги не вызвали у нее особого интереса: она была чересчур возбуждена, чтобы заняться ими. Посреди своих тревог и волнений она ощущала непреодолимую потребность вновь и вновь перебирать в памяти события прошлой ночи, и ей не хотелось думать ни о чем другом. Так как, несмотря ни на что, она все еще была пленницей, ей пришло в голову вновь взяться за свой

дневник, и она написала на отдельном листке такое вступление: «Милый Беппо, для тебя одного возобновляю я рассказ о моих необыкновенных приключениях. Привыкнув говорить с той откровенностью, на какую вдохновляет соответствие нашего возраста и общность взглядов, я смогу открыть тебе мои переживания, которые остальные мои друзья, пожалуй, не поняли бы и, вероятно, осудили бы строже, чем ты. По этому предисловию ты догадаешься, что и я не свободна от вины. Да, я чувствую, что, быть может, вела себя не так, как должно, но пока и сама не понимаю ни всего значения моих поступков, ни их возможных последствий.

Иосиф, прежде чем описать тебе мое бегство из Шпандау (которое, по правде говоря, представляется мне почти пустяком по сравнению с тем, что занимает меня теперь), надо тебе сказать, что я… что у меня… Не знаю… Быть может, мне приснилось все это? Но я чувствую, что голова моя горит, сердце трепещет, словно хочет выпрыгнуть из моей груди и переселиться в другую душу… Скажу тебе просто, ведь все это можно выразить одним словом: мой милый друг, мой верный товарищ, я люблю!

Люблю незнакомца, человека, лица которого

не видела, голоса которого не слышала. Ты скажешь, что я безумна, и будешь прав: ведь любовь — это и есть безумие. Выслушай меня, Иосиф, и не сомневайся в моем счастье — оно превосходит все мечты моей первой любви в Венеции. Это счастье столь упоительно, что даже мешает мне ощущать стыд, когда я думаю, что приняла его так быстро, так бездумно, мешает ощущать страх, когда я думаю, что могла ошибиться в своем выборе, больше того — что, быть может, моя любовь безответна… Но нет, я любима — я чувствую это. Уверяю тебя, тут нет ошибки, на этот раз я люблю по-настоящему, посмею ли сказать? — люблю страстно. А почему бы и нет? Любовь приходит к нам от бога. Не в нашей власти зажечь ее в своей груди, как зажигают светильник на алтаре. Все мои старания полюбить Альберта (рука моя дрожит, когда я пишу это имя) не помогли мне раздуть в душе священный и жгучий пламень. Потеряв его, я полюбила память о нем больше, чем любила его самого, живого. Как знать — быть может, я смогла бы полюбить его совсем по-иному, если б он был возвращен мне…»

Едва успев написать последнюю фразу, Консуэло поспешно зачеркнула ее — пожалуй, не такой уж жирной чертой, чтобы совсем нельзя было ее

разобрать, но все же зачеркнула, и это немного облегчило ее душу. Она была сильно взволнована, и лихорадка любви невольно поднимала со дна ее существа самые сокровенные мысли. Тщетно пыталась она продолжать письмо, стремясь лучше уяснить себе самой тайну собственного сердца. Желая выразить тончайшие оттенки своих чувств, она нашла только эти страшные слова: «Как знать — быть может, я смогла бы полюбить Альберта совсем по-иному, если б он был возвращен мне».

Консуэло не умела лгать. Прежде ей казалось, что чувство, которое она питала к памяти умершего, было любовью, но теперь живая жизнь переполнила ее грудь и страсть истинная затмила воображаемую.

Чтобы прояснить свои блуждающие мысли, она попыталась перечитать написанное. Но, читая письмо, она запуталась еще больше и, убедившись, что не в состоянии отчетливо выразить их, скомкала листок и бросила на стол, собираясь потом сжечь его. Вся дрожа, словно совершив что-то греховное, с пылающим лицом, она в волнении ходила по комнате, ничего не понимая или понимая лишь одно — что она любит и уже не может сомневаться в этом. В эту минуту

кто-то постучался в дверь спальни. Она пошла открывать, вошел Карл. Увидев его разгоряченное лицо, мутный взгляд, услышав несвязную речь, она решила, что от усталости он заболел, но по его ответам быстро поняла, что утром его угостили и он выпил лишнего — вина или пива. Это был единственный недостаток бедного Карла. Небольшая доза алкоголя делала его чересчур доверчивым, доза побольше могла сделать опасным. К счастью, на сей раз он ограничился такой порцией, которая сделала его болтливым и добродушным, и кое-что от этих качеств еще осталось, хоть он и проспал после этого целый день. Он был без ума от господина рыцаря и не мог говорить ни о чем другом. Господин рыцарь так добр, так отзывчив, так приветлив с простым людом! Он не позволил Карлу прислуживать за столом, а усадил его напротив себя, заставил поужинать вместе с ним, подливая ему лучшего вина, чокался с ним каждым стаканом и пил с ним наравне, как настоящий славянин.

— Какая жалость, что он всего лишь итальянец! — говорил Карл. — Он вполне заслуживает быть чехом — вино он пьет ничуть не хуже меня.

— Ну, это еще небольшая заслуга, — возразила

Консуэло, не испытывая особого восторга при мысли о том, что рыцарь так хорошо умеет пить с лакеями.

Но она тут же раскаялась — имела ли она право после всех услуг, оказанных ей Карлом, считать его ниже себя и своих друзей? Что касается рыцаря, то, по всей вероятности, он только для того и искал общества этого преданного слуги, чтобы порасспросить о ней. Болтовня Карла подтвердила ее предположение.

— Ах, синьора, — простодушно сказал он, — этот достойный молодой человек безумно вас любит. Для вас он готов на преступление, даже на низость!

— Боже избави! — ответила Консуэло, которой сильно не понравились эти выражения, хотя, разумеется, Карл не понимал хорошенько, что говорит. — Не можешь ли ты объяснить мне, Карл, — добавила она, чтобы переменить разговор, — почему меня держат здесь взаперти?

— Увольте, синьора, если бы даже я и знал это, то скорее откусил бы себе язык, чем сказал вам. Ведь я дал рыцарю честное слово не отвечать ни на один ваш вопрос.

— Очень тебе благодарна, Карл! Значит, ты больше любишь рыцаря, чем меня?

— Ну уж нет! Этого я не говорил. Но раз он доказал мне, что все это делается для вас же самих, я обязан вам служить, даже не слушаясь вас.

— А каким образом он доказал тебе это?

— Не знаю. Но уверен, что это правда. И еще он приказал мне, синьора, запирать вас, следить за вами — словом, держать вас под замком до тех пор, пока мы не приедем на место.

— Так мы не останемся здесь?

— Сегодня же ночью мы снова двинемся в путь. Теперь мы будем путешествовать только по ночам, чтобы не утомлять вас, и еще по каким-то причинам, но я их не знаю.

— И все это время ты будешь моим тюремщиком?

— Именно так, синьора. Я поклялся на Евангелии.

— Господин рыцарь, я вижу, большой шутник. Ну что ж. Согласна. Лучше уж мне иметь дело с тобой, Карл, чем со Шварцем.

— И я лучше устерегу вас, чем он, — с добродушным смехом ответил Карл. — А для начала, синьора, пойду приготовлю вам обед.

— Но я не голодна. Карл.

— Этого не может быть. Вы должны пообедать, и пообедать как можно лучше — такова ин-

струкция. Да, такова инструкция, как говаривал папаша Шварц.

— Если ты хочешь подражать ему во всем, не принуждай меня есть. Он бывал очень доволен, когда брал с меня деньги за вчерашний обед, до которого я не дотронулась и который он добросовестно оставлял мне на следующий день.

— Что ж, он зарабатывал деньги. Со мной будет по-другому. Деньги — дело господина рыцаря. Уж этот-то не скуп — золото так и течет у него между пальцев. Хорошо, если он богат. Не то его капиталы скоро иссякнут. Консуэло велела принести свечу и прошла в соседнюю комнату, чтобы сжечь свое письмо. Но она напрасно искала листок — он исчез.

Глава 23

Через несколько минут опять явился Карл. Он принес Консуэло письмо, написанное незнакомым почерком. Вот его содержание:

«Я расстаюсь с вами и, быть может, никогда больше вас не увижу. Я отказываюсь от трех дней, которые мог бы еще провести рядом с вами, от трех дней, которые, может быть, никогда не повторятся в моей жизни! И отказываюсь добровольно. Я должен это сделать. Наступит день, когда вы оцените святость моей жертвы.

Да, я вас люблю, я тоже люблю страстно? И, однако же, я знаю вас не больше, чем вы знаете меня. Поэтому не питайте ко мне никакой признательности за то, что я для вас сделал. Я повиновался тем, кто стоит выше меня, я выполнял возложенную на меня обязанность. Забудьте обо всем, кроме моей любви к вам, — любви, которую я могу доказать только тем, что расстаюсь с вами. Эта любовь столь же неистова, сколь почтительна. Она будет столь же длительна, сколь внезапно и безрассудно было ее возникновение. Я почти не видел вашего лица, ничего не знаю о вашей жиз-

ни, но чувствую, что душа моя принадлежит вам, и притом навсегда. Даже если бы оказалось, что ваше прошлое так же запятнано, как чисто ваше чело, я не стал бы меньше любить и уважать вас. Я уезжаю, преисполненный гордости, радости и горечи. Вы любите меня! Хватит ли у меня сил перенести мысль о возможности потерять вас, если грозная сила, управляющая вами и мною, осудит меня на это?.. Не знаю. В эту минуту, несмотря на весь мой ужас, я не могу чувствовать себя несчастным, я чересчур опьянен нашей взаимной любовью. Даже если мне придется тщетно разыскивать вас всю жизнь, я не буду жаловаться на то, что встретил вас и вкусил в одном-единственном поцелуе блаженство, о котором буду помнить вечно. Но я не смогу потерять надежду, что когда-нибудь найду вас. И пусть наша встреча длилась всего одно мгновение, пусть у меня не останется иного доказательства вашей любви, кроме того священного поцелуя, я все-таки буду во сто раз счастливее, чем был до того, как узнал вас.

А ты, святая девушка, бедное смятенное создание, ты тоже вспоминай без стыда и страха те краткие и дивные минуты, когда ты ощущала, как моя любовь проникает в твое сердце. Ты сказала сама — любовь приходит к нам от бога, и не

в нашей власти погасить ее или зажечь помимо него. Если даже я и недостоин тебя, внезапное наитие, толкнувшее тебя ответить на мое объятие, не стало от этого менее священным. Однако, тебе покровительствует провидение — оно не пожелало, чтобы сокровище твоей привязанности упало в тину эгоистического и холодного сердца. Окажись я неблагодарным, с твоей стороны это все равно было бы проявлением благородного, но сбившегося с пути инстинкта, святого, но впавшего в ошибку увлечения. Но нет, я обожаю тебя, и, каков бы я ни был, ты, во всяком случае, не ошиблась, считая себя любимой. Ты не была осквернена биением моего сердца, опорой моих рук, движением моих уст. Наше взаимное доверие, наш властный порыв подарили нам миг такого самозабвения, какое возвышает и освящает лишь длительная страсть. К чему сожалеть об этом? Я знаю, есть что-то пугающее в роковой силе, толкнувшей нас друг к другу. Но это перст божий! И мы не можем противиться ему. Я уношу с собой нашу огромную тайну. Храни ее и ты, не открывай ее никому. Быть может, Беппо тоже не понял бы ее. Кто бы ни был этот друг, один я могу уважать твое безумие и почитать твою слабость, потому что сам разделяю эти чувства. Прощай! И,

быть может, навсегда! А ведь, по мнению света, я свободен и, кажется, ты тоже. Я не могу любить другую и вижу, что ты любишь только меня… Но судьбы наши более не принадлежат нам. Я связан вечным обетом, и, по-видимому, очень скоро то же самое случится с тобой. Во всяком случае, ты во власти Невидимых, а эта власть не знает пощады. Прощай же… Сердце мое разрывается, но бог даст мне силу принести эту жертву и другие, еще более тягостные, если только они существуют. Прощай… Прощай! О, милосердный бог, сжалься надо мною!»

Это письмо без подписи было написано неразборчивым или измененным почерком.

— Карл! — вскричала бледная и дрожащая Консуэло. — Это письмо дал тебе рыцарь?

— Да, синьора.

— И он писал его сам?

— Да, синьора, но с большим трудом. У него ранена правая рука.

— Ранена? И опасно?

— Может, и так. Рана глубокая, хотя он, кажется, совсем не обращает на нее внимания.

— Но где же это случилось?

— Прошлой ночью, недалеко от границы. Когда мы меняли лошадей, одна из них чуть было не

понесла, а форейтор еще не успел сесть на свою лошадь. Вы сидели в карете одна, мы с ним стояли в нескольких шагах. Рыцарь удержал лошадь с дьявольской силой и львиным мужеством… Конь был поистине страшен…

— Да, да, меня ужасно трясло. Но ведь потом ты сказал, что все благополучно.

— Я не заметил, что господин рыцарь поранил себе кисть о пряжку сбруи.

— И все из-за меня! Скажи мне, Карл, рыцарь уже уехал?

— Нет еще, синьора, но я уже уложил его чемодан, и ему седлают лошадь. Он сказал, что теперь вам нечего бояться — человек, который должен его заменить, уже прибыл. Надеюсь, что скоро мы увидимся с рыцарем, а если нет — мне будет очень жаль. Но он ничего не обещает и на все вопросы отвечает: «Может быть!»

— Карл, где рыцарь сейчас?

— Не знаю, синьора. Его комната здесь, рядом.

Если желаете, я могу пойти и сказать ему, что вы…

— Нет, не говори ничего, я напишу ему. Впрочем… скажи, что я хочу поблагодарить его… увидеть его хоть на минуту, пожать ему руку… Иди скорее, я боюсь, как бы он не уехал.

Карл вышел, и Консуэло тотчас раскаялась, что доверила ему подобное поручение. Она вспомнила, что во время путешествия рыцарь находился в ее обществе лишь тогда, когда это было совершенно необходимо, и, должно быть, таково было распоряжение этих странных и страшных Невидимых. Она решила написать ему, но не успела еще набросать и зачеркнуть несколько слов, как легкий шорох заставил ее поднять глаза. Часть стены, служившая потайной дверью, соединявшей ее комнату с соседней — очевидно, комнатой рыцаря, — внезапно отодвинулась, но лишь настолько, чтобы пропустить руку в перчатке, как бы призывавшую к себе руку Консуэло. Она подбежала и схватила ее со словами: «Другую руку, раненую!»

Незнакомец был скрыт перегородкой, и она не видела его. Но он просунул в щель правую руку, и Консуэло завладела ею. Она поспешно сняла повязку, увидела действительно глубокую рану, прижала ее к губам и завязала своим платком. Потом, сняв с груди маленькое филигранное распятие, которым она суеверно дорожила, вложила его в эту прекрасную руку, белизна которой еще больше подчеркивалась алой кровью.

— Возьмите, — сказала она. — Вот самое доро-

гое, что у меня есть. Это подарок моей покойной матери, мой талисман. Я никогда с ним не расставалась. Никогда ни одного человека я не любила настолько, чтобы доверить ему это сокровище. Храните его до нашей встречи.

Незнакомец, по-прежнему скрытый перегородкой, привлек к себе руку Консуэло и покрыл ее поцелуями и слезами. Потом, услышав шум шагов Карла, который шел к нему передать поручение, оттолкнул ее и поспешил задвинуть деревянную панель. Консуэло услышала шум запираемой задвижки. Она тщетно прислушивалась, надеясь уловить звук голоса незнакомца. Очевидно, он говорил тихо, а может быть, уже ушел.

Несколько минут спустя Карл вернулся к Консуэло.

— Господин рыцарь уехал, синьора, — грустно сказал он. — Уехал, даже не пожелав проститься с вами, и при этом набил мне карманы дукатами — на тот случай, сказал он, если у вас будут какие-нибудь непредвиденные расходы в дороге. Ведь забота об обычных расходах возложена на этих самых… ну на бога или на черта, не все ли равно! Здесь появился маленький черный человечек, который все время молчит, а уж если и скажет слово, только чтобы отдать распоряжение — и так

сухо, так четко… Не нравится он мне, синьора, совсем не нравится. Он заменяет рыцаря, и теперь я буду иметь честь сидеть с ним на козлах, так что собеседник у меня будет не из веселых. Бедный рыцарь! Дай-то бог, чтобы он вернулся к нам!

— Но разве мы обязаны ехать с этим черным человечком?

— Еще как обязаны, синьора. Рыцарь заставил меня побожиться, что я буду слушаться пришельца, как его самого. А вот и ваш обед, синьора. Не побрезгуйте — он, кажется, совсем не плох. Выезжаем мы ночью и остановимся лишь там, где будет угодно… богу или черту, как я вам только что сказал.

Подавленная и угнетенная, Консуэло уже не слушала болтовню Карла. Путешествие и новый проводник мало беспокоили ее. Все стало ей безразлично с той минуты, как ее покинул милый незнакомец. Поверженная в глубокую печаль, она машинально отведала несколько блюд, желая доставить удовольствие Карлу. Но ей больше хотелось плакать, чем есть, и она попросила чашку кофе, чтобы хоть немного восстановить силы и бодрость. Карл принес ей кофе.

— Пейте, синьора, — сказал он. — Маленький господин пожелал сам приготовить его для вас,

чтобы он был как можно вкуснее. Он напоминает не то старого лакея, не то дворецкого и, в сущности говоря, не так уж он похож на черта, только слишком он черный. Пожалуй, он неплохой малый, только очень неразговорчив. Он угостил меня отличной водкой, которой не меньше ста лет, — такой мне еще никогда не приходилось пить. Не хотите ли попробовать? Она принесет вам больше пользы, чем этот кофе, как бы вкусен он ни был…

— Добрый мой Карл, иди и пей все, что захочешь, а меня оставь в покое, — сказала Консуэло, быстро выпив кофе и даже не заметив его вкуса. Не успела она встать из-за стола, как почувствовала необыкновенную тяжесть в голове. Когда Карл пришел доложить ей, что карета подана, она дремала, сидя на стуле.

— Дай мне руку, — сказала она, — я не держусь на ногах. Кажется, у меня жар.

Она была в таком изнеможении, что как сквозь дымку видела карету, своего нового провожатого и привратника, который ни за что не соглашался принять что-нибудь от Карла. Как только лошади тронулись, Консуэло крепко заснула. Сиденье было обложено подушками и напоминало удобную постель. С этой минуты Консуэло перестала

сознавать, что происходит вокруг. Она не знала, сколько времени длилось ее путешествие, не замечала даже смены дня и ночи, не помнила, останавливались они в дороге или ехали без передышки. Раза два она видела у дверцы Карла, но не понимала ни его вопросов, ни причины его тревоги. Ей казалось, что маленький человечек щупал ей пульс и предлагал выпить прохладительный напиток, приговаривая: — Это пустяки. Госпожа совершенно здорова.

Однако она чувствовала какое-то недомогание, какую-то непреодолимую слабость. Тяжелые веки не давали ей взглянуть на окружающее, а мысли путались, блуждали, она не понимала, что было перед ее глазами. Чем больше она спала, тем больше ей хотелось спать. Она не отдавала себе отчета в том, что нездорова, и на все расспросы Карла отвечала лишь теми словами, которые сказала ему напоследок в домике: «Оставь меня в покое, мой добрый Карл».

Наконец она почувствовала, что напряжение, сковывавшее ее голову и тело, несколько ослабло, и, оглядевшись, увидела, что лежит на роскошной постели, закрытой с четырех сторон широкими белыми атласными занавесями с золотой бахромой. Маленький человечек, ее дорожный

спутник, в такой же, как у рыцаря, черной маске, стоял рядом и давал ей нюхать флакон, запах которого как будто рассеивал окутывавший ее мозг туман и дарил свет, пришедший на смену прежнему мраку.

— Вы доктор? — спросила она наконец с легким усилием.

— Да, графиня, я имею честь быть им, — ответил он голосом, показавшимся ей знакомым.

— Значит, я была больна?

— Нет, просто слегка занемогли. Очевидно, сейчас вам значительно лучше?

— Я чувствую себя хорошо и благодарю вас за заботы.

— Свидетельствую вам свое почтение. Отныне я буду являться к вашей милости лишь по приглашению — в случае, если понадобится моя помощь.

— Мое путешествие окончено?

— Да, графиня.

— Свободна я или все еще узница?

— Вы свободны, графиня, в пределах ограды, окружающей ваше жилище.

— Понимаю, у меня просторная и красивая тюрьма, — сказала Консуэло, окидывая взглядом большую светлую спальню, обтянутую белым

штофом с золотыми разводами и отделанную наверху великолепной золоченой резьбой. — Могу я увидеть Карла?

— Не знаю, графиня, я здесь не хозяин. Я ухожу. Вы больше не нуждаетесь в моем искусстве, и мне запрещено поддаваться искушению беседовать с вами.

Черный человек вышел, и Консуэло, все еще слабая и апатичная, попыталась встать с постели. Единственным нарядом, который она нашла в комнате, оказалось длинное белое платье из необыкновенно мягкой шерстяной ткани, похожее на тунику римлянки. Она взяла его в руки и оттуда выпал листок, на котором золотыми буквами было начертано: «Это незапятнанное платье новообращенных. Если душа твоя загрязнена, это благородное убранство невинности станет для тебя отравленной туникой Деяниры». Консуэло, привыкшая к тому, что совесть у нее чиста (быть может, даже чересчур чиста), улыбнулась и с простодушным удовольствием надела красивое платье. Она перечитала еще раз найденный листок и нашла его по-детски высокопарным. Потом подошла к роскошному туалету белого мрамора с большим зеркалом, обрамленным прелестными позолоченными завитками. Здесь

ее внимание привлекла надпись, которую она заметила в верхней завитушке: «Если душа твоя так же чиста, как мое стекло, ты всегда будешь видеть себя в нем молодой и прекрасной. Но если твое сердце иссушено пороком, бойся найти во мне строгое отражение твоего нравственного уродства».

«Я никогда не была ни прекрасной, ни преступной, — подумала Консуэло, — так что в обоих случаях это зеркало лжет».

Она смело посмотрела в него и отнюдь не нашла себя уродливой. Красивое широкое платье и длинные распущенные черные волосы придавали ей вид какой-то древней жрицы, но она поразилась, заметив, что страшно бледна. Глаза у нее были не так ясны, не так блестящи, как обычно. «Что это? подумала она. — Либо я подурнела, либо зеркало обвиняет меня в чем-то». Она открыла ящик туалета и нашла в нем множество предметов изысканной роскоши, причем некоторые из них были снабжены изречениями и сентенциями, назидательными и наивными, — баночку румян с выгравированными на крышке словами: «Мода и обман! Румяна и белила не придают щекам свежести невинности и не сглаживают следов распутства»; превосходные

духи с таким изречением на флаконе: «Душа без веры и нескромные уста подобны открытому флакону, чей драгоценный аромат испарился или испортился», и наконец, белые шелковые ленты с вышитыми золотом словами: «Для чистого чела — священная повязка, для опозоренной головы — веревка, бич невольников». Консуэло подобрала волосы и, связав их этими лентами, сделала прическу наподобие античной. Потом стала с любопытством осматривать удивительный заколдованный замок, куда ее забросила причудливая судьба. Она переходила из комнаты в комнату своего богатого, просторного жилища. Библиотека, музыкальный салон с множеством превосходных инструментов, партитур и редчайших рукописей, прелестный будуар, небольшая галерея, украшенная прекрасными картинами и чудесными статуями… Этот дворец был достоин королевы своим богатством, артистки — своим изысканным вкусом, монахини — своей целомудренной чистотой. Ошеломленная этим пышным и утонченным гостеприимством, Консуэло отложила детальный осмотр всех символов, которые скрывались в выборе книг, предметов искусства и картин, украшавших это святилище, чтобы рассмотреть их потом на свежую голову. Лю-

бопытствуя узнать, в какой же части земного шара расположена эта пышная резиденция, она оторвалась от осмотра внутреннего убранства, чтобы взглянуть на внешний мир. Подойдя к окну, она хотела было поднять штору из тафты, но вдруг увидела на ней еще одно поучение: «Если дурные мысли таятся в твоем сердце, ты недостойна созерцать божественное зрелище природы. Если же добродетель обитает в твоей душе, смотри и благословляй бога, открывающего тебе вход в земной рай». Она поспешила открыть окно, чтобы убедиться, соответствует ли вид этой местности столь горделивым обещаниям. Да, то был земной рай, и Консуэло показалось, что она видит сон. Этот сад, разбитый на английский манер, — явление редкое в ту эпоху, — но украшенный с чисто немецкой изобретательностью, радовал глаз великолепными тенистыми деревьями, яркой зеленью лужаек, разнообразием естественных пейзажей и в то же время необыкновенной опрятностью; здесь были клумбы с чудесными цветами, тонкий песок просвечивал сквозь кристально чистую воду прудов, словом — было все, что присуще саду, который содержат умело и с любовью. А вдали, над прекрасными высокими деревьями,

окружавшими кольцом узкую долину, — настоящий ковер цветов, прорезанный прелестными прозрачными ручейками, — возвышались на горизонте величественные громады синих гор с гребнями разной формы и величественными вершинами. Местность была совсем незнакома Консуэло. Как ни старалась она разглядеть то, что было доступно ее взору, ничто не указывало, в каком именно уголке Германии она находится, — ведь там столько прекрасных пейзажей и высоких гор. Только более пышная для этого времени года растительность и более теплый, чем в Пруссии климат, сказали ей, что она немного продвинулась к югу. «О мой добрый каноник, где вы? — подумала Консуэло, созерцая заросли белой сирени, кусты роз и целое поле нарциссов, гиацинтов, фиалок. — О Фридрих Прусский, да благословит вас бог — ведь длительные лишения и горести, которые я испытала из-за вас, научили меня по-настоящему наслаждаться прелестями такого убежища, как это! А вы, всемогущие Невидимые, держите меня, вечно держите в этом сладком плену — я согласна на это от всей души… особенно если рыцарь…» Консуэло не решилась выразить точнее свое желание. Выйдя из состояния летаргии, она еще ни разу не вспомнила о

незнакомце. Но теперь это жгучее воспоминание проснулось в ней и заставило задуматься над смыслом угрожающих надписей, сделанных на всех стенах, на всех предметах волшебного дворца и даже на украшениях, которые она так простодушно надела на себя.

Глава 24

Самым сильным из всех чувств Консуэло была теперь жажда свободы, потребность в свободе, столь естественные после долгих дней неволи. Поэтому она испытала ни с чем не сравнимое наслаждение, выбежав на простор и увидев широкие аллеи, которые казались еще обширнее благодаря искусному расположению густых кустарников и тропинок. Но после двухчасовой прогулки одиночество и тишина, царившие в этих прекрасных уголках природы, навеяли на нее грусть. Она уже много раз обошла их, не заметив на тонком, расчищенном граблями песке ни единого следа человека. Высокие стены, замаскированные густой зеленью, не давали ей заблудиться на незнакомых дорожках. Она уже изучила все те, которые перекрещивались на ее пути. Кое-где стены расступались, чтобы дать место широким, наполненным водой рвам, и тогда взгляд мог порадоваться красивым лужайкам, переходящим в холмы и заканчивающимся лесом, или входом в таинственные и прелестные аллеи, которые, извиваясь, терялись вдали под сенью

густых кустов. Когда Консуэло смотрела из окна, вся природа, казалось, принадлежала ей. Вблизи сад представлял собой замкнутое, огороженное со всех сторон пространство, и все изощренные выдумки его владельца не могли заставить ее забыть, что она в тюрьме. Она взглянула на заколдованный особняк, где проснулась утром. Это было маленькое строение в итальянском вкусе, роскошно убранное внутри, изящно отделанное снаружи и живописно прильнувшее к отвесной скале, но оно представляло собой надежнейшую естественную крепость, более непроницаемую для глаза, нежели самые высокие стены и самые толстые ограды Шпандау. «Моя крепость красива, — думала Консуэло, — но от этого она еще более неприступна».

Она присела отдохнуть на террасе, где стояли цветы в вазах и бил небольшой фонтан. Это было очаровательное местечко, и, хотя отсюда можно было разглядеть лишь часть сада да кое-где, в просветах, большой парк и высокие горы, чьи синие вершины царили над верхушками деревьев, это зрелище было пленительно и чудесно. И все-таки Консуэло, невольно напуганная тем, что кто-то с таким старанием водворил ее, и, быть может, надолго, в эту новую тюрьму, отдала бы

все цветущие биньонии и пестрые клумбы за уголок настоящей, безыскусственной природы, с деревенским домиком, неровными дорогами и с широким видом на окружающий мир, который можно было бы рассматривать и изучать сколько душе угодно. С террасы, где она сидела, трудно было различить что-либо между высокими зелеными стенами ограды и неясными зубчатыми контурами деревьев, уже терявшимися в вечерней дымке. Восхитительно пели соловьи, но ни один звук человеческого голоса не возвещал близости жилья. Консуэло поняла, что ее домик, расположенный на границе большого парка и, быть может, огромного леса, является лишь частью более обширных владений. Этот доступный глазу кусочек парка возбуждал у нее желание разглядеть его получше. Никто не гулял там. Только стада ланей и косуль бродили по склонам холмов так доверчиво, словно приход человека был для них совершенно неведомым явлением. Наконец вечерний ветерок раздвинул завесу тополей, скрывавшую одну сторону сада, и при последних лучах заходящего солнца Консуэло увидела на расстоянии четверти лье белые башенки и остроконечные крыши большого замка, полускрытого лесистым холмом. Несмотря

на все свое желание не думать более о рыцаре, Консуэло решила, что, конечно, он там, и взор ее жадно приковался к этому, быть может, лишь почудившемуся ей замку, к которому ей, должно быть, все равно не разрешили бы подойти близко и который постепенно исчез из ее глаз, скрытый вечерней мглой.

Когда мрак сгустился, Консуэло заметила, что отблеск света, зажженного в нижнем этаже ее домика, упал на соседние кусты, и поспешила сойти вниз, надеясь встретить наконец в своем жилище хоть одно человеческое лицо. Но она не получила этого удовольствия — лицо слуги, зажигавшего свечи и подававшего ужин, было, как и лицо доктора, закрыто черной маской, которая, очевидно, являлась неотъемлемой принадлежностью Невидимых. Это был старый лакей в очень гладком парике и в опрятной ливрее оранжевого цвета.

— Я смиренно прошу прощения, — сказал он надтреснутым голосом, — что являюсь перед госпожой в маске. Таков приказ, и не мне судить о том, насколько это необходимо. Надеюсь, что вы, сударыня, привыкнете к моему виду и соблаговолите не бояться меня. Я в полном вашем распоряжении. Меня зовут Маттеус. В этом домике я и сторож, и главный садовник,

и дворецкий, и камердинер. Мне сказали, что вы, сударыня, много путешествовали, а потому привыкли многое делать сами и, может быть, обойдетесь без женской прислуги. Мне было бы очень трудно найти женщину, так как я не женат, а посещение этого дома строго запрещено всем служанкам замка. Правда, одна из них будет приходить сюда каждое утро помогать мне по хозяйству, а подручный садовника будет время от времени поливать цветы и расчищать дорожки. Но при этом, сударыня, я должен смиреннейшим образом вас предупредить, что, если кого-либо из слуг (ко мне это не относится) заподозрят в том, что вы сказали ему хотя бы одно слово или сделали какой-либо знак, он будет немедленно уволен, что нанесет ему большой ущерб, ибо это хороший дом и послушание оплачивается здесь очень высоко. Надеюсь, госпожа слишком великодушна и справедлива, чтобы подвергать этих бедных людей…

— Будьте спокойны, господин Маттеус, — ответила Консуэло, — я недостаточно богата, чтобы возместить убытки, которые они могли бы понести, да и не в моем характере отвращать кого бы то ни было от исполнения своего долга.

— К тому же я не спущу с них глаз, — вставил

Маттеус, как бы разговаривая сам с собой.

— Можете избавить себя от этих предосторожностей. Я слишком многим обязана лицам, которые меня сюда привезли, и, очевидно, также и хозяевам этого дома, чтобы отважиться вызвать их неудовольствие.

— Стало быть, сударыня, вы находитесь здесь по доброй воле? — спросил Маттеус, которому любопытство запрещалось, как видно, не столь строго, как откровенность.

— Прошу вас считать меня добровольной узницей, верной своему слову.

— Так я и думал. Мне еще ни разу не приходилось служить особам, которые жили бы здесь на других условиях. Однако мне часто приходилось видеть, как узники, верные своему слову, плакали и терзались, словно сожалея о том, что дали его. А ведь бог свидетель, им было здесь хорошо! Но в таких случаях им всегда возвращали слово по первому требованию — здесь никого не держат насильно. Сударыня, ужин подан.

Предпоследняя фраза дворецкого в ливрее оранжевого цвета чудодейственным образом вернула аппетит его новой госпоже, и ужин показался ей таким вкусным, что она расхвалила повара. Последний был весьма польщен тем, что

его оценили по заслугам, и Консуэло заметила, что завоевала его уважение, хотя это не сделало его ни более откровенным, ни менее подозрительным. Это был прекрасный человек, наивный и в то же время с хитрецой. Консуэло быстро разгадала его характер, видя, как добродушно и ловко он предупреждает ее вопросы, чтобы не попасть впросак и успеть обдумать свои ответы. Таким образом она узнала от него все, о чем спрашивала, и все-таки ничего не узнала. «Его господа — люди богатые, могущественные, щедрые, но весьма строгие, особенно, когда речь идет о соблюдении тайны. Этот домик составляет часть прекрасного имения, где живут то сами хозяева, то охраняющие его верные слуги, которые получают большие деньги и умеют держать язык за зубами. Местность здесь прекрасная, земля плодородная, хозяева распоряжаются отлично, и обитатели не имеют обыкновения жаловаться на своих господ, что, впрочем, было бы бесполезно, ибо дядюшка Маттеус чтит законы, чтит лиц, облеченных властью, и терпеть не может нескромных болтунов». Консуэло так надоели его тонкие намеки и услужливые предостережения, что после ужина она сказала ему с улыбкой:

— Знаете, господин Маттеус, я боюсь и сама по-

казаться нескромной, если буду злоупотреблять вашей приятной беседой. Сегодня мне ничего больше не нужно, и я желаю вам доброй ночи.

— Пусть госпожа соблаговолит позвонить мне, если ей что-либо понадобится, — продолжал он. — Я живу за домом, под скалой, в маленьком флигеле с садом, где выращиваю превосходные дыни. Я охотно показал бы их вам, сударыня, чтобы услышать вашу похвалу, но мне особенно строго запретили открывать эту калитку.

— Понимаю, Маттеус. Мне разрешается гулять только по саду, и вы тут ни при чем — такова воля хозяев дома. Хорошо, я подчиняюсь.

— Тем более что вам, сударыня, было бы очень трудно открыть эту дверь. Она такая тяжелая… А главное, там замок с секретом, и, не зная его, вы могли бы повредить себе руки.

— Мое слово крепче всех ваших замков, господин Маттеус. Идите и спите спокойно. Я тоже собираюсь лечь.

Прошло несколько дней, а хозяева замка все еще не подавали никаких признаков жизни, и она не видела ни одного человеческого лица, если не считать черной маски Маттеуса, которая, быть может, была приятнее его настоящей физиономии. Этот достойный лакей прислуживал

ей с усердием и пунктуальностью, не знающими себе равных, но страшно надоел своей болтовней, которую она вынуждена была терпеть, ибо он стоически отказывался от всех ее подарков и у нее не оставалось иного способа выразить ему свою благодарность. Разговаривать — было его страстью, и тем более удивительной казалась необычайная, никогда не изменявшая ему скрытность, ибо он ухитрялся, затрагивая множество тем, ни разу не коснуться запрещенных. Консуэло узнала от него, какое количество моркови и спаржи дает ежегодно огород замка, сколько оленей рождается в парке, он рассказал ей историю каждого лебедя в пруду, каждого птенца на фазаньем дворе, каждого ананаса в теплице. Но она так и не могла понять, где она находится, живут ли хозяева или хозяин в своем замке, предстоит ли ей когда-нибудь встретиться с ними, или она должна навсегда остаться в одиночестве в этом домике.

Словом, ни одна из тех вещей, которые по-настоящему интересовали ее, не сорвалась с языка словоохотливого, но весьма осторожного Маттеуса. Из деликатности она не подходила к садовнику и служанке даже на такое расстояние, откуда могла бы услышать их голоса, а впрочем,

они приходили ранним утром и исчезали, как только она вставала с постели. И она ограничивалась тем, что изредка поглядывала в сторону парка, никого там не видя да и не в состоянии будучи увидеть на таком расстоянии, и созерцая конек крыши замка, освещавшийся по вечерам редкими огнями, которые всегда гасли очень рано.

Вскоре она впала в глубокое уныние, и тоска, которую ей удалось так мужественно побороть в Шпандау, накинулась на нее и одолела в этом роскошном жилище, полном всевозможных удобств. Существуют ли на земле такие блага, которыми можно наслаждаться в одиночестве? Длительное уединение портит и омрачает все самое лучшее; оно вселяет страх в самую сильную душу. Вскоре гостеприимство Невидимых показалось Консуэло не только странным, но даже жестоким, и какое-то смертельное отвращение ко всему словно парализовало все ее чувства и желания. Звук ее превосходного клавесина казался чересчур громким в этих пустых, гулких комнатах, даже собственный голос пугал ее. Когда она отваживалась запеть, ей начинало казаться — если она пела до самых сумерек, — что какие-то отголоски сердито вторят ей и что по обтянутым

шелком стенам, по бесшумным коврам мечутся беспокойные, крадущиеся тени, которые убегают от ее взгляда и прячутся за шкафами и стульями, перешептываясь, высмеивая и передразнивая ее. Разумеется, то были лишь шалости вечернего ветерка, пробегавшего по листьям у окна, или же отзвуки ее собственного пения. Однако, устав вопрошать этих безмолвных свидетелей ее скуки — статуи, картины, японские кувшины, полные цветов, огромные прозрачные зеркала, — она начала поддаваться смутному страху, какой нередко порождает в нас ожидание неизвестного. Ей припомнилось странное могущество, какое приписывал Невидимым простой народ, припомнились чудеса, окружавшие ее в кабинете Калиостро, появление белой женщины в берлинском дворце, фантастические обещания графа де Сен-Жермена по поводу воскрешения графа Альберта. Она говорила себе, что причиной всех этих непонятных явлений была, должно быть, тайная деятельность Невидимых в свете и их вмешательство в ее собственную судьбу. Она не верила в их сверхъестественное могущество, но видела, что они пытаются покорять людей всеми возможными средствами, обращаясь то к сердцу, то к воображению, действуя угрозами или обеща-

ниями, запугиванием или обольщением. Судя по всему, над ней нависла опасность какого-то ужасного открытия или жестокой мистификации, и, подобно трусливому ребенку, она могла сказать, что испытывает страх перед чувством страха.

В Шпандау она закалила свою волю беспримерными опасностями, действительно существовавшими мучениями; она мужественно поборола все. К тому же покорность судьбе казалась ей естественной там, в Шпандау. Вполне понятно, что зловещий вид крепости наводит одинокого человека на грустные размышления, но ведь в ее новой тюрьме все располагало к поэтическим излияниям или к мирной откровенной беседе, и это вечное молчание, это полное отсутствие дружеского общения нарушало гармонию и представлялось чудовищной нелепостью. Можно было подумать, что этот очаровательный приют счастливых любовников или дружной семьи, что этот веселый очаг внезапно брошен, покинут вследствие тягостного разрыва или неожиданной катастрофы. Многочисленные надписи, которые его украшали и скрывались во всех деталях отделки, уже не смешили ее и не напоминали напыщенную ребяческую болтовню. Нет, это были поощрения, смешанные с угрозами, двусмыс-

ленные похвалы, отравленные унизительными обвинениями. Куда бы она ни взглянула, ей попадалось новое изречение, не замеченное раньше, изречение, которое словно запрещало ей свободно дышать в этом храме неусыпного и подозрительного правосудия. Душа ее сжалась, сделалась какой-то вялой после потрясения, вызванного побегом, а потом внезапной любовью к незнакомцу. Пережитое ею состояние летаргии, которое, конечно, не было случайным — кому-то понадобилось скрыть от нее местонахождение ее убежища, — оставило в ней тайное изнеможение и нервозность. И вскоре она почувствовала себя и беспокойной и безучастной, то боящейся всего, то равнодушной ко всему.

Однажды вечером ей почудились где-то в отдалении едва уловимые звуки оркестра. Поднявшись на террасу, она увидела сквозь листву, что замок сверкает огнями. Симфоническая музыка, громкая и звучная, теперь явственно достигала ее слуха. Этот контраст между праздничеством и ее уединением потряс ее сильнее, чем она хотела бы себе в том признаться. Уже так давно не разговаривала она ни с одним умным или просто разумным человеком! Впервые в жизни она с восторгом представила себе вечерний кон-

церт или бал и, словно Золушка, пожелала, чтобы какая-нибудь добрая фея подняла ее на своих крыльях и внесла через окно в этот заколдованный замок — хотя бы затем, чтобы она, Консуэло, могла постоять там невидимкой и насладиться зрелищем множества человеческих существ, предающихся веселью.

Луна еще не взошла. Несмотря на ясное небо, под деревьями было так темно, что Консуэло вполне могла бы пробраться сквозь них и остаться незамеченной, даже если бы ее окружали невидимые стражи. Сильное искушение овладело ею, и мночисленные, как будто весьма убедительные доводы, какие подсказывает нам любопытство, осаждая нашу совесть, представились ее уму. Оказали ли ей доверие, когда привезли уснувшей, полумертвой в эту позолоченную, но беспощадную тюрьму? Имели ли право требовать от нее слепого повиновения, даже не удостоив попросить об этом? А быть может, сейчас ее просто хотят испытать, искушая подобием празднества? Почем знать? Все было так странно в поведении Невидимых. Что, если, сделав попытку выйти за ограду, она найдет дверь открытой, а на ручье, протекавшем из парка в сад через отверстие в стене, ее ждет гондола?

Это последнее предположение, самое безосновательное из всех, показалось ей самым верным, и, решившись попытать счастья, она спустилась в сад. Но не успела она сделать и пятидесяти шагов, как все вокруг зашумело, словно воздух прорезали крылья гигантской птицы, с фантастической быстротой взмывшей к облакам. В то же мгновение все осветилось ярким голубоватым светом; через несколько секунд он погас, но почти тотчас же вспыхнул снова, причем раздался громкий треск. Тут Консуэло поняла, что это не молния, не метеор, а попросту фейерверк, начавшийся в замке. Пиршество его владельцев обещало красивое зрелище, и, как ребенок, которому хочется рассеять скуку длительного наказания, она побежала обратно к домику, чтобы полюбоваться им с высоты своей террасы.

Однако при свете длинных озаряющих сад искусственных молний, то красных, то синих, она дважды увидела возле себя высокого неподвижного человека в черном. Не успевала она хорошенько рассмотреть его, как светящийся шар проливался дождем ослепительных огненных брызг, и все вокруг погружалось в еще более густой мрак. Консуэло в испуге побежала прочь от того места, где видела привидение, но как

только зловещий свет появился вновь, оно снова оказалось в двух шагах от нее. При третьей вспышке она успела добежать до крыльца дома. Человек был перед ней, загораживая вход. Во власти невыносимого страха, она испустила пронзительный крик, пошатнулась и упала бы на ступеньки, если б таинственный посетитель не схватил ее в объятия. Но едва его губы коснулись ее лба, она почувствовала, она узнала рыцаря, незнакомца, того, кого она любила, и кто — она это знала — любил ее.

Глава 25

Радость, которую она испытала, обретя его как ангела-утешителя в своем невыносимом одиночестве, заставила умолкнуть все упреки совести и все страхи, которые жили в ее душе еще минуту назад, когда она думала о нем, но не питала надежды увидеть его так скоро. Она страстно ответила на его объятие, и, так как он уже пытался высвободиться из ее рук, чтобы подобрать упавшую на землю черную маску, она удержала его, воскликнув: «Не оставляйте меня, не покидайте меня одну!» Голос ее звучал мольбою, ее нежность была неотразима. Незнакомец упал на колени и, спрятав лицо в складках ее платья, осыпал его поцелуями. В течение нескольких секунд он, видимо, боролся с собой, охваченный двумя противоречивыми чувствами — восторгом и отчаянием. Потом, схватив маску и вложив в руку Консуэло письмо, бросился в дом и убежал так быстро, что ей и на этот раз не удалось разглядеть его лицо.

Она помчалась за ним, надеясь при свете маленькой белой лампы, которую Маттеус ежеве-

черне зажигал над лестницей, найти его. Но едва успела она подняться на несколько ступенек, как он исчез. Тщетно обходила она все закоулки — нигде не было его следов, и если бы не письмо в ее дрожащей руке, ей могло бы почудиться, что она видела сон.

Наконец она решилась вернуться в свой будуар, чтобы прочитать письмо: на этот раз почерк показался ей измененным скорее умышленно, нежели из-за больной руки. Вот его содержание:

«Мне нельзя ни видеть вас, ни говорить с вами, но никто не запрещал мне вам писать. Позволите ли мне это вы? Решитесь ли отвечать незнакомцу? Если бы мне было дано это счастье, я смог бы по ночам, когда вы будете спать, брать ваши письма в книге, которую вы оставляли бы на стоящей у пруда садовой скамейке, и класть туда свои. Я люблю вас страстно, безумно, я боготворю вас. Я побежден, силы мои иссякли, бодрость духа, рвение, горячая преданность делу, которому я себя посвятил, — все, вплоть до чувства долга, будет уничтожено во мне, если вы не любите меня. Связанный клятвой, отрекшись от собственной воли, приняв на себя необыкновенные и страшные обязательства, я колеблюсь, готовый к бесчестию или к самоубийству, ибо

не могу поверить, что вы действительно любите меня, и боюсь, что в ту минуту, когда я пишу эти строки, сомнение и страх успели вытеснить из вашего сердца эту безотчетную любовь ко мне. Да и могло ли быть иначе? Ведь я для вас лишь призрак, лишь однажды приснившийся сон, лишь иллюзия одного мгновения. А я… чтобы добиться вашей любви, я готов двадцать раз в день жертвовать своею честью, нарушать слово, осквернять совесть клятвопреступлением. Если бы вам удалось бежать из этой тюрьмы, я последовал бы за вами на край света и ценой позора и раскаяния всей жизни искупил бы счастье видеть вас хоть один день, хоть один раз услышать снова эти слова: „Я люблю вас“. А ведь если вы откажетесь примкнуть к делу Невидимых, если клятвы, которых они в скором времени, несомненно, от вас потребуют, испугают и оттолкнут вас, мне будет навсегда запрещено видеться с вами!.. Но я не подчинюсь, я не смогу подчиниться им. Нет! Довольно я страдал, довольно трудился, довольно служил делу человечества. Если вы не станете наградой за мой труд, я отказываюсь от него. Я погублю себя, но возвращусь в свет с его законами и обычаями. Рассудок мой мутится — вы видите это. О, сжальтесь, сжальтесь надо

мной! Не говорите, что вы разлюбили меня. Я не перенесу этого удара, не захочу поверить вам, а если поверю, мне придется умереть».

Консуэло прочитала это письмо, не обращая внимания на треск ракет и бомб фейерверка, с шумом лопавшихся в воздухе. Поглощенная чтением, она все же, сама того не сознавая, ощущала действие электрических разрядов, которое неминуемо оказывают (и в особенности на людей впечатлительных) взрывы и вообще любые резкие звуки. Люди слабые и болезненные плохо переносят такого рода трескотню, но на воображение людей здоровых и смелых эти звуки, напротив, действуют возбуждающе, воспламеняют их. У некоторых женщин они пробуждают даже инстинкт бесстрашия, мысль о борьбе и какое-то смутное сожаление о том, что они не родились мужчинами. Если шум низвергающегося потока, рев разбивающейся волны, раскаты грома вызывают в нас почти такое же наслаждение, как музыка, то в грохоте пушек, в свисте ядер и в тысяче звуков, раздирающих воздух во время фейерверка и напоминающих шум сражения, нам слышится оттенок гнева, угрозы, гордости, словом — голос силы. Быть может, Консуэло тоже испытывала все эти ощущения, читая первое

полученное ею любовное послание. Она почувствовала себя храброй, мужественной, почти бесстрашной. Она словно опьянела. Это объяснение в любви показалось ей более пылким и убедительным, чем все речи Альберта, а поцелуй незнакомца — более сладостным, более горячим, чем все поцелуи Андзолето. Не колеблясь, она села за письмо и, не замечая треска ракет, рассыпавшихся в воздухе, запаха селитры, заглушавшего аромат цветов, не видя бенгальских огней, освещавших фасад ее дома, ответила так:

«Да, я вас люблю, я уже сказала, я призналась вам в этом, и пусть меня ждет раскаяние, пусть мне придется краснеть тысячу раз, я никогда не смогу вычеркнуть из странной и непонятной книги моей судьбы эту страницу, которую написала сама и которая теперь в ваших руках! То был порыв чувства, быть может достойный порицания, быть может безрассудный, но глубокий, искренний, горячий. Окажись вы самым дурным человеком, для меня вы все равно будете идеалом! Случись вам унизить меня недостойным и жестоким поступком, все равно — близ вас, близ вашего сердца, я впервые испытала упоительное наслаждение, и оно показалось мне столь же святым, сколь чисты и святы ангелы. Видите, я

повторяю вам то же, что написали мне вы в ответ на признания, адресованные Беппо. Да, мы повторяем друг другу то, в чем мы оба уверены и чем до краев полны мы оба. К чему и зачем стали бы мы лгать? Мы не знаем друг друга и, быть может, никогда не узнаем. Удивительная судьба! Мы любим друг друга, хотя не можем ни понять причины возникновения этой любви, ни предвидеть ее таинственный конец. Я всецело полагаюсь на ваше слово, на вашу честь и не хочу бороться с чувством, которое вы мне внушили. Только не позволяйте мне заблуждаться. Умоляю вас об одном — никогда не притворяйтесь, никогда не старайтесь еще раз меня увидеть, если разлюбите, предоставьте меня моей участи, какова бы она ни была, и не бойтесь, что я обвиню или прокляну вас за ту мимолетную иллюзию счастья, которую вы мне подарили. Мне кажется, что исполнить мою просьбу так легко! Признаюсь, бывают минуты, когда слепое доверие, толкающее меня к вам, страшит меня. Но стоит вам появиться, стоит моей руке прикоснуться к вашей, стоит мне увидеть ваш почерк (хоть он изменен, искажен, словно вы не хотите оставить мне хоть один принадлежащий вам видимый признак), наконец, стоит мне услышать даже звук ваших шагов, как все мои

опасения исчезают, и я уже не могу не верить, что вы мой лучший и самый преданный друг в мире. Но почему вы прячетесь? Что за ужасная тайна скрывается за вашей маской, за вашим молчанием? Видела ли я вас когда-нибудь? Должна ли я бояться вас, должна ли буду оттолкнуть вас в тот день, когда узнаю ваше имя или увижу ваше лицо? Если вы совершенно мне незнакомы, как писали мне сами, зачем столь слепо повиноваться странным законам Невидимых? Вы же пишете теперь, что готовы преступить их и следовать за мной на край света. А если, решившись бежать с вами, я потребую, чтобы у вас больше не было от меня тайн, снимете вы свою маску? Заговорите со мной? Чтобы узнать вас, необходимо, — сказали вы, — дать обязательство… Какое же? Связать себя клятвой с Невидимыми?.. Но во имя чего? Как! С закрытыми глазами, с молчащей совестью, с умом, блуждающим во мраке, я должна отказаться от собственной воли, пожертвовать ею, как это сделали вы? (С той разницей, что вы-то знали, ради чего делаете все это.) И чтобы побудить меня решиться на этот неслыханный акт слепой преданности, вы не хотите допустить даже самого мелкого нарушения правил вашего ордена! Ибо я поняла, что вы принадлежите к одному из

тех таинственных обществ, которые называют здесь тайными и которых, говорят, так много в Германии. Только бы все это не оказалось просто политическим заговором против… как мне рассказывали об этом в Берлине. Так вот, если мне сообщат, чего от меня требуют, а потом позволят отказаться, я готова дать самую страшную клятву никогда и нигде не разглашать тайну, какова бы она ни была. Сделав больше, я стала бы недостойной любви человека, который из щепетильности и верности данной клятве не желает произнести вслух слова „Я люблю вас“, хоть я, презрев благоразумие и стыдливость, предписываемые моему полу, первая произнесла их».

Консуэло вложила письмо в книгу и отнесла ее в сад на условленное место. Потом медленно пошла назад и долго пряталась в густой зелени, надеясь увидеть, как появится рыцарь, и боясь, как бы это признание в самых сокровенных ее чувствах не попало в чужие руки. Однако часы шли, никто не приходил, и она вдруг вспомнила одну фразу из письма незнакомца: «Я приду за ответом ночью, когда вы будете спать». Решив во всем подчиняться его желаниям, она вернулась к себе. После тысячи волнующих мечтаний, то тягостных, то чудесных, ей наконец удалось за-

снуть под отдаленную музыку бального оркестра, звуки фанфар, трубивших во время ужина, и стук колес, возвестивший на рассвете о разъезде многочисленных гостей замка.

Ровно в девять часов утра затворница вошла в столовую, где стол был накрыт с пунктуальностью и изысканностью, свойственными этому дому. Маттеус с обычным почтительно-равнодушным видом уже стоял за ее стулом. Консуэло успела до завтрака спуститься в сад. Рыцарь взял письмо, ибо в книге его не было. Но Консуэло надеялась найти там новое письмо от него и уже обвиняла его в том, что он не слишком торопится с ответом. Она была встревожена, возбуждена, терпение ее подходило к концу, и ей уже трудно было выносить эту неподвижную, навязанную ей жизнь. Поэтому она решила вызвать Маттеуса на разговор, думая, что, быть может, это ускорит течение событий. Но именно в этот день Маттеус впервые был мрачен и молчалив. — Господин Маттеус, — сказала она с деланной веселостью, — я вижу сквозь маску, что у вас ввалившиеся глаза и усталый вид. Должно быть, вы совсем не спали эту ночь.

— Вы шутите, сударыня, и это очень великодушно с вашей стороны, — с некоторой язви-

тельностью ответил Маттеус, — но так как вы имеете счастье жить с открытым лицом, мне лучше видно, что вы изволите приписывать мне усталость и бессонницу, от которой нынче ночью страдали вы сами.

— Ваши говорящие зеркала сказали мне это еще до вас, господин Маттеус. Я знаю, что сильно подурнела, и думаю, что скоро подурнею еще больше, если меня будет снедать все та же скука.

— Вы скучаете, сударыня? — спросил Маттеус таким же тоном, каким спросил бы: «Вы изволили звонить, сударыня?»

— Да, Маттеус, ужасно скучаю и, кажется, больше не вынесу этого заточения. Меня не удостаивают ни посещением, ни письмом, — я вижу, что меня здесь забыли. Вы единственный человек, с кем я общаюсь, и, надеюсь, мне дозволено будет сказать, что мое положение начинает казаться мне тягостным и странным.

— Я, сударыня, не могу себе позволить судить о вашем положении, — возразил Маттеус, — но мне показалось, что совсем недавно у вас был посетитель и что вы получили письмо.

— Кто вам сказал подобную вещь? — вскричала, покраснев, Консуэло.

— Сударыня, я бы ответил на это, — с лукавой

иронией ответил он, если бы не боялся рассердить вас и наскучить своей болтовней.

— Будь вы моим слугой, Маттеус, быть может, я и стала бы относиться к вам свысока, но ведь до сих пор я прислуживала себе сама, а что до вас, то вы, по-видимому, скорее играете здесь роль сторожа, нежели дворецкого. Поэтому я прошу вас, если вам угодно, поболтать со мной, как всегда. Сегодня утром вы блистаете таким остроумием, что никак не можете мне наскучить.

— Скука сделала вас снисходительной. Хорошо, сударыня, я расскажу вам, что нынешней ночью в замке было большое празднество.

— Это мне известно, я слышала звуки музыки и шум фейерверка.

— Вот благодаря этому шуму и беспорядку некий господин, за которым со времени вашего прибытия сюда, сударыня, установлен строгий надзор, сумел, вопреки категорическому запрещению, проникнуть в наш парк. И это повлекло за собой весьма печальное событие… Впрочем, я боюсь, сударыня, огорчить вас…

— С некоторых пор я предпочитаю огорчение скуке и тревоге. Говорите же скорее, господин Маттеус.

— Так вот, сударыня, сегодня утром я видел, как

вели в тюрьму самого любезного, самого молодого, самого красивого, самого храброго, самого щедрого, самого умного и самого благородного из всех моих господ — рыцаря Ливерани.

— Ливерани? Кто это? — взволнованно вскричала Консуэло. — В тюрьму? Рыцаря? О боже! Скажите мне, кто он, этот рыцарь? Кто такой этот Ливерани?

— Разве моего описания недостаточно? Мне неизвестно, насколько близко знакома с ним госпожа, но достоверно одно — его отвели в большую башню за то, что он разговаривал с вами и писал вам, а потом отказался показать его светлости ваш ответ.

— Большая башня… Его светлость… Скажите, Маттеус, это не шутка?

Разве я нахожусь здесь во власти какого-то могущественного князя, который обращается со мной как с государственной преступницей и карает всех своих подданных, проявляющих ко мне хоть немного участия? Или просто меня мистифицирует какой-нибудь сумасбродный богач, желающий напугать меня и испытать, насколько велика моя благодарность за оказанную мне помощь? — Мне не запрещено сообщить вам, что вы находитесь у очень богатого князя

— философа и весьма умного человека…

— А также у главы совета Невидимых? — добавила Консуэло.

— Не знаю, сударыня, что вы имеете в виду, — с невозмутимым спокойствием ответил Маттеус. — В списке титулов и званий его светлости никогда не было упоминания об этом.

— Но нельзя ли мне повидаться с этим князем, упасть к его ногам, вымолить у него свободу для рыцаря Ливерани, который — я могу в этом поклясться — не совершил ни одного нескромного поступка.

— Не знаю, но думаю, что добиться этого будет нелегко. Впрочем, каждый вечер, на несколько минут, я имею доступ к его светлости и докладываю о здоровье и времяпрепровождении госпожи. Если вы напишете, мне, может быть, удастся передать записку ему лично, минуя секретарей.

— Мой милый Маттеус, вы воплощенная доброта, и я убеждена, что вы пользуетесь доверием князя. Ну, разумеется, я напишу письмо, раз вы так великодушны и сочувствуете рыцарю.

— Это верно, я сочувствую ему больше, чем кому бы то ни было. Рискуя собственной жизнью, он спас меня во время пожара. Он ухаживал за мной и вылечил мои ожоги. Купил мне новые вещи

взамен сгоревших. Проводил целые ночи у моей постели, словно он был моим слугой, а я — его господином. Вырвал из когтей порока мою племянницу и своими добрыми советами и щедрой помощью превратил ее в порядочную женщину. Сколько добра сделал он в наших краях и даже, как говорят, во всей Европе! Это превосходнейший молодой человек, и его светлость любит его как родного сына.

— Тем не менее он отослал его в тюрьму за ничтожную провинность!

— О нет, сударыня, в глазах его светлости нет ничтожной провинности, когда речь идет о нескромном поступке.

— Стало быть, князь непреклонен?

— Это сама справедливость, но он страшно строг. — Что же заставило его обратить внимание на меня, и как могу я повлиять на решение его совета?

— Вы сами понимаете, сударыня, что это мне неизвестно. Множество тайн постоянно бурлит в этом замке, особенно в то время, когда князь приезжает сюда на несколько недель, что бывает не часто. Если бы скромный служитель вроде меня позволил себе попытку проникнуть в эти тайны, он бы недолго удержался на месте. А так как я

старший среди лиц, состоящих на службе в этом доме, то вы, сударыня, должны понять, что я не любопытен и не болтлив. В противном случае…

— Я понимаю, Маттеус. Но, скажите, могу я спросить, очень ли суровы порядки той тюрьмы, где содержится рыцарь?

— Должно быть, очень суровы. Правда, мне неизвестно, что происходит в башне и в подземельях, но только больше людей входило туда, чем возвращалось оттуда. Возможно, там есть выходы прямо в лес, но я их не видел. — Маттеус, я вся дрожу. Неужели я навлекла на голову этого достойного молодого человека серьезную опасность? Скажите мне, каков характер этого князя? Вспыльчив он или хладнокровен? Чем диктуются его приговоры — мимолетной вспышкой гнева или продолжительным и обдуманным неудовольствием?

— Мне не пристало входить в такие подробности, — холодно ответил Маттеус.

— Хорошо. Тогда расскажите мне хотя бы о рыцаре. Способен ли этот человек просить помилования и добиваться его, или же он замыкается в высокомерном молчании?

— Он нежен и мягок, он полон уважения к его светлости и во всем подчиняется ему. Но если

вы, сударыня, доверили ему какую-нибудь тайну, можете не беспокоиться: он скорее пойдет на пытку, чем выдаст чужой секрет, — будь это даже на исповеди.

— Если так, я сама открою его светлости эту тайну, и пусть он решит, достаточно ли она важна, чтобы воспылать гневом против несчастного молодого человека. Ах, добрый Маттеус, не можете ли вы отнести мое письмо сию же минуту?

— Нет, сударыня, до наступления ночи это невозможно.

— Все равно, я напишу сейчас же — вдруг представится непредвиденный случай.

Консуэло ушла в свой кабинет и написала неизвестному князю, прося его о свидании и обещая чистосердечно ответить на все вопросы, какие ему угодно будет ей задать.

В полночь Маттеус вручил ей запечатанный ответ:

«Если ты желаешь говорить с князем, твоя просьба безумна. Ты никогда его не увидишь, никогда не узнаешь, кто он и как его имя. Если же ты хочешь предстать перед советом Невидимых, тебя выслушают, но подумай серьезно о последствиях своего решения: от него будет зависеть твоя жизнь и жизнь другого человека».

Глава 26

После получения этого письма надо было набраться терпения еще на целые сутки. Маттеус объявил, что скорее отрежет себе руку, чем попросит аудиенции у князя после полуночи. На следующее утро, во время завтрака, он был еще более разговорчив, чем накануне, и Консуэло решила, что, по-видимому, заточение рыцаря ожесточило его против князя и ему впервые захотелось отказаться от своей сдержанности Однако, проговорив с ним более часа, она заметила, что, в сущности, он не сказал ничего нового. Разыгрывал ли он простака, чтобы выведать мысли и чувства Консуэло, действительно ли ничего не знал о существовании Невидимых и о той роли, какую князь играл в их деятельности, но его путаная и противоречивая болтовня совсем сбила Консуэло с толку. Обо всем, что касалось положения, занимаемого князем в общественных кругах, Маттеус строго хранил предписанное ему молчание. Правда, он пожимал плечами, говоря о его странных приказаниях. Он признавался, что и сам не понимает, чего ради ему велят носить

маску при общении с людьми, которые довольно часто сменяли друг друга в этом доме, а иногда жили здесь и подолгу. Он не мог удержаться, чтобы не сказать, что у его господина бывают необъяснимые капризы и что он занят какими-то непонятными делами. Однако всякое проявление любопытства, равно как и желание пооткровенничать, парализовывались у него страхом перед какими-то ужасными наказаниями, причем он никогда не говорил, чего, собственно, он боится. В конце концов Консуэло узнала только, что в замке происходят странные вещи, что там никогда не спят по ночам, что все слуги видели там привидения, что сам Маттеус, с гордостью называвший себя человеком храбрым и без предрассудков, нередко встречал зимой, в парке, когда князь бывал в отъезде и замок пустовал, какие-то приводившие его в трепет фигуры, неведомо откуда появлявшиеся и столь же таинственно исчезавшие. Все это не слишком прояснило положение Консуэло, и ей пришлось дождаться вечера, чтобы отправить новое послание:

«Каковы бы ни были последствия этой записки для меня самой, я настоятельно и смиренно прошу позволения предстать перед судом Невидимых». День тянулся для нее смертельно долго.

Чтобы заглушить нетерпение и тревогу, она начала петь и спела все, что сочинила в тюрьме, изливая свои страдания и тоску одиночества. Когда стемнело, она закончила свою программу знаменитой арией Альмирены из оперы «Ринальдо» Генделя:

Lascia ch'io piango
La dura sorte
E ch'io sospiri
La liberta.

Не успела она произнести последние слова, как чудесный звук скрипки повторил где-то за окном только что пропетую ею прекрасную музыкальную фразу с тем же скорбным, с тем же глубоким чувством, что и она. Консуэло тут же подбежала к окну, но никого не увидела, а фраза замерла где-то вдалеке. Ей показалось, что этот инструмент, эта изумительная игра могли принадлежать одному графу Альберту, но она тут же отбросила эту мысль, решив, что к ней вернулись мучительные и опасные иллюзии, от которых она так страдала в тюрьме. Ведь ей никогда не приходилось слышать, чтобы Альберт играл хоть один отрывок современной музыки, и только больное воображение могло упорно вызывать его призрак всякий раз, как слышались звуки скрип-

ки. Тем не менее этот эпизод сильно взволновал Консуэло, она погрузилась в печальные, далекие воспоминания и лишь в девять часов вечера заметила, что Маттеус не принес ей ни обеда, ни ужина и что она ничего не ела с самого утра. Это испугало ее: она решила, что, как и рыцарь, Маттеус стал жертвой своего сочувствия к ней. Видимо, и стены здесь имели глаза и уши. Возможно, Маттеус был с ней чересчур откровенен; он неодобрительно отозвался об исчезновении Ливерани, — очевидно, этого было довольно, чтобы его заставили разделить участь последнего. Эти новые тревоги заставили Консуэло забыть о голоде. Но время шло, Маттеус не появлялся, и она решила позвонить. Никто не пришел. Ощущая большую слабость и, главное, большое смятение, она прислонилась к окну и, закрыв лицо руками, начала перебирать в уме, уже немного затуманенном от упадка сил, необыкновенные случаи из своей жизни, спрашивая себя, было ли все это в действительности или привиделось ей в длительном сновидении. Внезапно чья-то холодная, как мрамор, рука коснулась ее головы, и чей-то низкий, глухой голос произнес:

— Твоя просьба услышана, следуй за мной.

Консуэло, еще не зажигавшая у себя в комнате

лампы, но до этой минуты ясно различавшая в полумраке все предметы, подняла глаза на говорившего. Но внезапно вокруг нее сделалось так темно, словно воздух сгустился, а звездное небо превратилось в свинцовый свод. Она поднесла руку ко лбу, чувствуя, что ей трудно дышать, и нащупала легкий, но непроницаемый капюшон вроде того, какой однажды набросил ей на голову Калиостро. Увлекаемая невидимой рукой, Консуэло начала спускаться с лестницы, но успела заметить, что на этот раз ступенек было больше, чем обычно, и что лестница ведет в какие-то подземелья, по которым она и шла около получаса. Усталость, голод, волнение и удушливая духота все больше замедляли ее шаги, и, опасаясь лишиться чувств, она уже готова была попросить пощады. Однако гордость оказалась сильнее — ведь могли подумать, что она отступает перед своим решением, — и это помогло Консуэло напрячь последние силы. Наконец путешествие кончилось, и ее усадили. В этот миг какой-то устрашающий звук, похожий на звук тамтама, медленно отбил полночь, и при двенадцатом ударе капюшон был снят с ее покрытого потом лба.

В первое мгновение ее ослепил яркий свет, исходивший от большого креста, сверкавшего ог-

нями на стене, прямо напротив нее. Когда глаза ее привыкли к этому резкому переходу, она увидела, что находится в просторной зале готического стиля со сводом, опиравшимся на маленькие изогнутые арки и напоминавшим свод глубокого каземата или подземной часовни. В глубине этой залы, вид и освещение которой были поистине зловещи, Консуэло различила семь человеческих фигур в красных плащах; лица их были закрыты синевато-белыми масками, делавшими их похожими на мертвецов. Они сидели за длинным столом черного мрамора. Перед этим столом, на скамье, стоявшей чуть ниже, сидел восьмой призрак, одетый в черное и тоже в белой маске. Вдоль боковых стен, с каждой стороны, в полном молчании стояло человек по двадцать в черных плащах и черных масках. Обернувшись, Консуэло увидела другие черные привидения. Они стояли попарно у каждой двери, широкие мечи сверкали у них в руках.

При иных обстоятельствах Консуэло, быть может, подумала бы, что этот мрачный церемониал — просто игра, одно из тех испытаний, которые устраивали франкмасонские ложи и о которых ей рассказывали в Берлине. Но помимо того, что франкмасоны не выдавали себя за судей и не

присваивали права вызывать на свои тайные сборища лиц непосвященных, все предшествовавшее этой сцене заставило Консуэло отнестись к ней серьезно и даже со страхом. Она заметила, что вся дрожит, и, если бы не пять минут всеобщего глубокого молчания, у нее не хватило бы сил прийти в себя и приготовиться отвечать на вопросы.

Наконец восьмой судья встал, знаком приказал двум лицам, которые с мечом в руке стояли справа и слева от Консуэло, подвести ее к подножию судилища, и она остановилась, пытаясь сохранить внешнее мужество и спокойствие.

— Кто вы и о чем просите? — произнес черный человек, не вставая с места.

На секунду Консуэло смутилась, но потом собралась с духом и ответила:

— Я Консуэло, певица по профессии, прозванная Цыганочкой и Порпориной.

— Разве у тебя нет другого имени? — спросил судья.

Консуэло запнулась, потом сказала:

— У меня есть право и на другое имя, но я поклялась никогда не называть его.

— Ужели ты надеешься скрыть что-либо от этого судилища? Ужели думаешь, что предстала

перед обычными судьями, призванными судить обычные дела именем грубого и слепого закона? Зачем ты явилась сюда, если считаешь, что можно пустыми отговорками ввести нас в заблуждение? Назови себя, скажи, кто ты, или уходи.

— Если вам известно, кто я, то, безусловно, известно и то, что мой долг — молчать об этом, и вы поддержите меня в стремлении выполнять его и впредь.

Одна из фигур в красном нагнулась, сделала знак фигуре в черном, и мгновенно все черные мантии вышли, за исключением того человека, который вел допрос. Этот остался и сказал следующее:

— Графиня Рудольштадт, теперь, когда допрос ваш стал тайным и перед вами нет никого, кроме ваших судей, будете ли вы отрицать, что состоите в законном браке с графом Альбертом Подебрадом, которого назвали Рудольштадтом по настоянию его семьи?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, — твердо сказала Консуэло, — я желаю знать, какая власть распоряжается здесь мною и какой закон вынуждает меня признать эту власть.

— О каком законе ты говоришь? Божеском или

человеческом? По законам общественным ты все еще находишься в полной зависимости от Фридриха Второго, короля прусского, курфюрста Бранденбургского, из чьих владений мы похитили тебя, дабы спасти от бесконечной неволи и от других опасностей, еще более ужасных, — ты это знаешь!

— Я знаю, что вечная признательность связывает меня с вами, — ответила Консуэло, преклоняя колено. — Поэтому я обращаюсь лишь к божескому закону и прошу вас указать мне границы закона признательности. Если этот закон велит мне благословлять вас и беспрекословно вам повиноваться — я согласна. Но если он приказывает, чтобы в угоду вам я преступила веления совести, то не должна ли я отвергнуть его? Решайте сами.

— Если бы тебе дано было думать и поступать в мире так, как ты говоришь сейчас! Но обстоятельства, которые привели тебя сюда и поставили в зависимость от нас, слишком исключительны. Мы стоим выше всех человеческих законов — ты имела возможность убедиться в нашем могуществе. Мы находимся также вне всяких человеческих расчетов: предрассудки, связанные с богатством, общественным положением и рождением, раскаяние и сомнения в тех или иных

щекотливых случаях, страх перед общественным мнением, даже соблюдение обязательств, принятых нами в мире, — все это теряет смысл и значение, когда, собравшись здесь, вдали от людских взоров, и вооружившись мечом божественного правосудия, мы взвешиваем на ладони погремушки вашего легкомысленного и трусливого существования. Поэтому расскажи нам все без утайки, ибо мы — опора, семья и живой закон всякого свободного существа. Мы не станем слушать тебя, пока не узнаем, в каком качестве ты предстала перед нами. Кто ты — цыганка Консуэло или графиня Рудольштадт?

— Графиня Рудольштадт отказалась от всех своих прав в обществе, и ей не о чем просить у вас. Цыганка Консуэло…

— Остановись и взвесь слова, которые ты произнесла. Будь твой супруг жив, имела ли бы ты право лишить его своего доверия, отречься от его имени, отказаться от его состояния, словом — превратиться вновь в цыганку Консуэло ради того, чтобы пощадить суетное и бессмысленное тщеславие его семьи и его сословия?

— Разумеется, нет.

— Значит, ты думаешь, что смерть навсегда разорвала ваши узы? Значит, ты не обязана

оставаться верной памяти Альберта, уважать и любить ее? Кровь прилила к щекам Консуэло, она смутилась. Потом побледнела снова. Мысль, что сейчас эти люди, подобно Калиостро и графу де Сен-Жермену, скажут ей о возможном воскрешении Альберта и даже вызовут его призрак, наполнила ее душу таким страхом, что она не смогла вымолвить ни слова.

— Супруга Альберта Подебрада, — продолжал допрашивавший, — твое молчание обличает тебя. Для тебя Альберт умер весь, ты смотришь на брак с ним как на одну из случайностей твоей полной приключений жизни, как на случайность, которая не оставила никаких последствий, не наложила на тебя никаких обязательств. Цыганка, ты можешь удалиться. Мы приняли участие в твоей судьбе лишь ради тех уз, какие связывали тебя с превосходнейшим из людей. Ты недостойна нашей привязанности, ибо оказалась недостойной его любви. Мы не сожалеем о том, что вернули тебе свободу: любое исправление зла, вызванного деспотизмом, — наш долг и наша радость. Но на этом наше покровительство будет закончено. Завтра ты покинешь убежище, которое мы тебе предоставили в надежде, что ты выйдешь из него очищенной и освященной. Ты

вернешься в мир — к призраку славы, к опьянению безумных страстей. Да сжалится над тобою господь! Мы же покидаем тебя навсегда.

Услыхав этот приговор, Консуэло застыла. Несколькими днями раньше она не приняла бы его без протеста, но слова «безумные страсти», которые только что были произнесены, напомнили ей о ее безмерной любви к незнакомцу, любви, которую она взлелеяла в своем сердце почти без раздумья и без борьбы.

Она была унижена в собственных глазах, и решение Невидимых показалось ей до известной степени заслуженным. Суровость их речей внушила ей почтение, смешанное со страхом, и она уже не собиралась восставать против того, что они сочли себя вправе судить и осудить ее, как существо, находящееся в полной их власти. Какова бы ни была наша природная гордость или безупречность нашей жизни, нередко бывает, что суровые обвинения застают нас врасплох, и мысленно мы восстанавливаем свой пройденный путь, желая прежде всего убедиться сами, что укор не заслужен. Консуэло не чувствовала себя безупречной, и обстановка, в которой она сейчас находилась, делала ее положение особенно мучительным. Однако она вспомнила, что,

прося позволения предстать перед этим судом, она заранее подготовилась к тому, что он будет строг, и примирилась с этим. Она явилась сюда, готовая перенести все — укоры, любое наказание, лишь бы рыцарь был оправдан и прощен. Итак, отбросив в сторону самолюбие, она без горечи выслушала упреки и некоторое время обдумывала свой ответ.

— Возможно, что я и заслужила этот жестокий приговор, — наконец произнесла она. — Я отнюдь не довольна собой. Но когда я шла сюда, у меня было мое собственное представление о Невидимых, и я хочу рассказать вам о нем. То немногое, что я узнала о вас благодаря молве, распространившейся в народе, и той свободе, которою я сама обязана вам, заставило меня считать вас людьми столь же совершенными в своей добродетели, сколь и могущественными в обществе. Если вы таковы, какими кажетесь мне, то почему же вы так резко отталкиваете меня, даже не указав пути, который я должна избрать, чтобы избавиться от заблуждений и сделаться достойной вашего покровительства? Я знаю, что благодаря Альберту Рудольштадтскому, превосходнейшему из людей, как вы правильно его назвали, вдова его заслуживала какого-то участия с вашей сторо-

ны. Но если бы я не была женой Альберта, даже если бы я никогда не была достойна стать ею, разве цыганка Консуэло, девушка без имени, без семьи, без отчизны, не имеет сама по себе права на вашу отеческую заботливость? Допустим, я великая грешница, но разве вы не подобны царству божию, где обращение одного отверженного приносит больше радости, чем стойкость сотни избранных? И наконец, если закон, который объединяет и вдохновляет вас, это закон божеский, то вы отступаете от него, отталкивая меня. Вы намеревались — сказали вы — очистить и освятить мою душу. Так попытайтесь же поднять ее до высоты ваших душ. Я несведуща, но не строптива. Докажите мне вашу святость, проявив терпение и милосердие, и я признаю вас за учителей, с которых буду во всем брать пример.

Наступило молчание. Допрашивающий обернулся к судьям, и, по-видимому, они стали совещаться. Наконец один из них сказал:

— Консуэло, ты пришла сюда гордой, почему же ты не хочешь удалиться такой же? Мы имели право упрекнуть тебя — ведь ты сама обратилась к нам. Но мы не имеем права поработить твою волю и завладеть твоей жизнью, если ты не отдаешь их нам добровольно и с охотой. Как можем

мы требовать от тебя такой жертвы? Ты нас не знаешь. Судилище, к чьей святости ты взываешь, является, быть может, самым нечестивым или по меньшей мере самым дерзким, какое когда-либо действовало втайне против законов, управляющих миром. Что ты знаешь об этом? А если бы нам пришлось открыть тебе глубокое познание свойств, совершенно тебе неведомых, хватило ли бы у тебя мужества всецело отдаться длительному изучению столь трудно постижимого предмета, еще не зная его цели? А мы — разве можем мы положиться на твердость веры новообращенной, столь дурно подготовленной, как ты? Возможно, нам пришлось бы посвятить тебя в важные тайны, а порукой явилось бы только твое природное благородство — мы достаточно знакомы с ним, чтобы быть уверенными в твоей скромности, — но нам нужны не скромные наперсники, в них у нас нет недостатка. Для утверждения божеского закона нам нужны ревностные ученики, свободные от всех предрассудков, от всякого эгоизма, от всех легкомысленных страстей и светских привычек. Загляни в глубь своей души. Можешь ли ты принести нам все эти жертвы? Можешь ли сообразовать свои поступки и свою жизнь с теми врожденными инстинктами, какие ты чувству-

ешь в себе, и с теми жизненными правилами, которым мы тебя научим с тем, чтобы впоследствии ты развила их в себе? Женщина, артистка, дитя, осмелишься ли ты ответить, что готова примкнуть к суровым мужчинам и трудиться вместе с ними над делом целых столетий?

— Все, что вы мне сказали, действительно очень серьезно, — ответила Консуэло, — и я с трудом понимаю вас. Дайте мне время подумать, не изгоняйте меня, прежде чем не узнаете мое сердце.

Быть может, оно недостойно света, который вы можете в него пролить, но разве есть хоть одна искренняя душа, недостойная истины? Чем могу я быть полезной вам? Меня пугает собственное бессилие. Женщина и артистка, — иначе говоря, ребенок! Но если вы до сих пор покровительствовали мне, значит, предвидели во мне нечто... А я?.. Что-то подсказывает мне, что я не должна расстаться с вами, не попытавшись доказать свою признательность. Не изгоняйте же меня, попробуйте меня просветить.

— Мы даем тебе еще неделю на размышление, — сказал судья в красном плаще — тот, что уже говорил прежде, — но ты должна поклясться, что не сделаешь ни малейшей попытки узнать,

где ты сейчас и кто те лица, которых ты здесь видишь. Ты должна также дать слово, что не выйдешь за пределы сада, предназначенного для твоих прогулок, хотя бы ворота были открыты и призраки самых дорогих твоих друзей манили тебя к себе. Ты не должна задавать никаких вопросов тем, кто тебе прислуживает, а также любому, кто может проникнуть к тебе тайно.

— Этого никогда не случится, — поспешила ответить Консуэло, — и, если хотите, я дам слово никогда не принимать у себя ни одного человека без вашего разрешения, но взамен я смиренно прошу об одной милости…

— Ты не можешь ни о чем просить нас, не можешь ставить никаких условий. Все потребности твоей души и тела предусмотрены на время твоего пребывания здесь. Если ты сожалеешь о каком-нибудь родственнике, друге, слуге, ты вольна уехать. Одиночество или же общество, выбранное нами, таков будет твой удел, пока ты находишься у нас.

— Я ни о чем не прошу для себя самой, но мне сказали, что один из ваших друзей, последователей или слуг (ибо мне неизвестно его положение среди вас) подвергается из-за меня суровому наказанию. Я готова принять на себя все вины, какие

приписывают ему, — вот для чего я и попросила позволения предстать перед вами.

— Так ты желаешь исповедаться перед нами — подробно и откровенно?

— Да, если это необходимо, чтобы он был оправдан… Хотя такая исповедь в присутствии восьмерых мужчин явилась бы для женщины тяжелой нравственной пыткой.

— Избавь себя от такого унижения. У нас не было бы никакой уверенности в твоем чистосердечии, да к тому же до сих пор мы не имели на тебя никаких прав. То, что ты говорила и думала час назад, уже ушло для нас в область твоего прошлого. Но знай, что с этой минуты мы вправе исследовать самые тайные изгибы твоей души. Теперь от тебя зависит сохранить эту душу достаточно чистой, чтобы в любую минуту быть готовой раскрыть ее перед нами без муки и без стыда.

— Ваше великодушие исполнено деликатности и отеческой доброты. Но речь идет не обо мне одной. Другой человек искупает мою вину. Разве не должна я оправдать его?

— Не заботься об этом. Если среди нас есть виновный, он оправдается сам, но не пустыми отговорками и не безрассудными уверениями,

а поступками, говорящими о мужестве, преданности и добродетели. Если дух его пошатнулся, мы поддержим его и поможем победить свою слабость. Ты говорила о суровом наказании — мы налагаем лишь нравственную кару. Кто бы ни был этот человек, он наш брат, равный нам во всем. У нас нет ни господ, ни слуг, ни подданных, ни монархов: очевидно, ложные слухи ввели тебя в заблуждение. Иди с миром и не греши.

Сказав это, допрашивавший позвонил в колокольчик, два черных человека в масках и с оружием в руках вновь вошли в комнату и, снова надев капюшон на голову Консуэло, провели ее в маленький домик теми же подземными переходами» какими увели ее оттуда.

Глава 27

Отечески благожелательные слова Невидимых несколько успокоили Порпорину относительно судьбы рыцаря, и, решив, что Маттеус чего-то не понял во всем этом, она почувствовала, покидая таинственное собрание, что с души ее словно свалился камень. Все, что она только что услышала, реяло в ее воображении, словно луч солнца, просвечивавший сквозь тучу, и теперь, когда ни волнение, ни усилие воли уже не поддерживали ее, она вдруг ощутила непреодолимую усталость, а ноги перестали слушаться ее. Чувство голода обострилось, капюшон затруднял дыхание. Дорогой она несколько раз останавливалась, опиралась на руки проводников и, дойдя до своей комнаты, упала в полном изнеможении. Несколько минут спустя она очнулась: ей дали понюхать флакон с солями, а кроме того, помог свежий воздух спальни. Тут она заметила, что люди, приведшие ее сюда, поспешно уходят, что Маттеус суетится, подавая аппетитнейший ужин, а маленький доктор в маске — тот самый, который усыпил ее, когда вез сюда, заботливо

щупает ей пульс. Она сразу узнала его по парику и по голосу, который как будто уже слышала когда-то, хотя и не могла припомнить, при каких обстоятельствах.

— Милый доктор, — сказала она с улыбкой, — думаю, что лучшим лекарством будет для меня ужин, и притом как можно скорее. У меня сейчас только одна болезнь — голод. Но умоляю вас — на сей раз избавьте меня от кофе. Правда, вы готовите его весьма искусно, но боюсь, на него у меня уже не хватит сил.

— Кофе моего приготовления — это полезное успокоительное средство, ответил доктор. — Но не тревожьтесь, графиня, в сегодняшнем меню его нет. Доверьтесь же мне и позвольте поужинать вместе с вами. Его светлости угодно, чтобы я не покидал вас, пока вы не оправитесь совершенно, и я полагаю, что через полчаса, под влиянием обильной трапезы, ваша слабость полностью исчезнет.

— Если таково желание его светлости и ваше, доктор, я тоже охотно поужинаю в вашем обществе, — сказала Консуэло, и Маттеус подкатил ее кресло к столу.

— Мое общество будет для вас не бесполезно, — продолжал доктор, начиная уничтожать

великолепный пирог с фазанами и разрезая этих птичек с быстротой опытного хирурга. — Без меня вы могли бы предаться чрезмерному чревоугодию — естественному следствию длительного поста — и этим повредили бы себе. Мне такая опасность не угрожает, и потому я беру на себя заботу считать ваши куски, а на свою тарелку класть вдвое больше.

Голос этого эскулапа-гурмана не давал Консуэло покоя. Каково же было ее удивление, когда, внезапно сбросив маску, он положил ее на стол со словами:

— К черту эту дурацкую штуку! Она мешает мне дышать и ощущать вкус того, что я ем!

Консуэло вздрогнула, узнав в этом жуире того самого доктора, который был у смертного одра ее мужа, — доктора Сюпервиля, постоянного врача маркграфини Байрейтской. Впоследствии она мельком встречала его в Берлине, но не решалась ни внимательно на него посмотреть, ни заговорить с ним. Контраст между той жадностью, с какой он ел, и тем волнением, тем упадком сил, какие она испытывала в эту минуту, живо напомнил ей, как сух и черств он был, высказывая свои взгляды в ту пору, когда семейство Рудольштадт предавалось отчаянию и скорби. Ей стоило

большого труда скрыть неприятное чувство, которое он в ней вызывал, но Сюпервиль, всецело поглощенный приятным запахом, исходившим от фазана, по-видимому, не обратил на ее растерянность ни малейшего внимания.

Маттеус лишь усугубил нелепость этой сцены. Прислуживая Сюпервилю уже минут пять, сей осмотрительный слуга не замечал его открытого лица, но вдруг, приняв маску за крышку от блюда с пирогом и аккуратно накрывая его, с ужасом вскричал:

— Господи помилуй! Господин доктор, вы уронили на стол ваше «лицо»!

— К черту это тряпичное лицо! — возразил тот. — Мне никогда не привыкнуть есть в маске. Убери ее подальше и подай, когда я буду уходить.

— Как вам угодно, господин доктор, — сокрушенно произнес Маттеус. — Я умываю руки. Но вашей милости известно, что я обязан каждый вечер отдавать отчет о том, что здесь делается и что говорится, — точка в точку. Сколько бы я ни уверял, что ваше «лицо» упало случайно, я не смогу сказать, будто госпожа не видела того, что находится под ним.

— Прекрасно, любезный. Ты отдашь отчет, как

всегда, — невозмутимо ответил доктор.

— И вы подчеркнете, Маттеус, — добавила Консуэло, — что я ничем не вызвала подобного неповиновения господина доктора. Не моя вина, если я узнала его.

— Да не тревожьтесь же, графиня, — возразил Сюпервиль с полным ртом.

— Князь не так страшен, как о нем говорят, и я нисколько его не боюсь. Я скажу ему, что, разрешив мне поужинать с вами, он тем самым разрешил мне освободиться от любого препятствия, которое помешало бы мне прожевывать и глотать пищу. Тем более что вы слишком хорошо знаете мой голос, чтобы могли не узнать меня еще прежде. Следовательно, это пустая формальность, я избавил себя от нее, и князь первый меня одобрит.

— Все равно, господин доктор, — возразил негодующий Маттеус, — я рад, что эту шутку позволили себе вы, а не я.

Доктор пожал плечами, посмеялся над трусливым Маттеусом, съел огромное количество пирога и выпил соответственное количество вина, после чего, когда Маттеус вышел переменить блюдо, он слегка пододвинул свой стул к стулу Консуэло, понизил голос и сказал ей:

— Милая синьора, я не так прожорлив, как это может показаться (наевшись до отвала, Сюпервиль мог позволить себе такое замечание), и цель моя, когда я решил поужинать с вами, состояла в том, чтобы сообщить вам важные сведения, которые очень вас интересуют.

— От чьего имени собираетесь вы сообщать мне эти сведения, сударь? — спросила Консуэло, вспомнив об обещании, только что данном ею Невидимым. — Я делаю это с полным правом и по доброй воле, — ответил Сюпервиль.

— Не тревожьтесь. Я не шпион, говорю с открытым сердцем, и меня мало заботит, будут переданы кому-нибудь мои слова или нет.

Первой мыслью Консуэло было заставить доктора замолчать, чтобы не стать сообщницей его измены, но потом она решила, что, если человек из чувства преданности Невидимым способен чуть ли не отравлять людей, только бы заполучить их в этот замок, значит, он тайно уполномочен ими. «Это западня, — подумала она. — Начинается ряд испытаний. Что ж, посмотрим, каково будет нападение».

— Итак, сударыня, — продолжал доктор, — я должен вам открыть, кто хозяин этого дома.

«Вот оно!» — сказала себе Консуэло. И поспеши-

ла ответить:

— Благодарю вас, доктор, я не спрашивала вас об этом и ничего не хочу знать.

— Ну-ну! — возразил Сюпервиль. — Вот вы и заразились теми романтическими бреднями, которыми князь любит угощать всех своих друзей. Но не советую вам принимать всерьез этот вздор: в лучшем-случае вы сойдете с ума и пополните княжескую свиту умалишенных и одержимых. Я отнюдь не собираюсь нарушать данное ему слово и называть его имя или место, где вы находитесь. Впрочем, это и не должно особенно вас заботить, ибо разве только удовлетворило бы ваше любопытство, а я хочу лечить вас вовсе не от этого недуга, а, напротив, от чрезмерной доверчивости. Поэтому можно, не выходя из его воли и не рискуя вызвать его неудовольствие (я и сам заинтересован в том, чтобы вы не потеряли его расположения), сообщить вам, что вы пользуетесь гостеприимством самого чудесного и самого нелепого старика в мире. Это человек умный, философ, с душой мужественной и нежной, способный на героизм, на безумие. Мечтатель, который принимает идеал за действительность, а жизнь за роман. Ученый, который начитался сочинений мудрецов в поисках квинтэссенции

мысли, и, подобно Дон Кихоту, проглотившему множество книг о рыцарях и об их подвигах, стал харчевни принимать за роскошные замки, каторжников — за невинные жертвы, а ветряные мельницы — за чудовища. Наконец, святой, если принять во внимание его благие намерения, и безумец — если взвесить последствия его поступков. Вдобавок ко всему он решил создать постоянно действующую всемирную сеть конспирации, которая должна заманивать в ловушку всех дурных людей и парализовать их действия, то есть: первое — бороться с тиранией власть имущих; второе — искоренять безнравственность и варварство правящих обществом законов; третье — вселять в сердца всех мужественных и самоотверженных людей стремление распространять новое учение и ревностное желание его изучать. Нелегкая задача, а? И он надеется выполнить ее! Если бы ему помогали искренние и разумные люди, тогда хоть то немногое, чего ему удалось добиться, могло бы принести свои плоды! Но, к несчастью, он окружен кликой дерзких интриганов и самозванцев, которые притворяются, будто разделяют его веру и служат его делу, а сами, пользуясь его влиянием, добиваются выгодных мест при всех дворах Европы, да еще прикарма-

нивают львиную долю денег, предназначенных им на добрые дела. Таков этот человек, таковы окружающие его люди! Теперь судите сами, в каких руках вы находитесь. Кто знает, не может ли это великодушное покровительство, благодаря которому вы так удачно вырвались из когтей маленького Фрица, подвергнуть вас риску свалиться в пропасть, хоть вас и хотят поднять до облаков. Итак, вы предупреждены. Не верьте же прекрасным обещаниям, красивым речам, трагическим сценам, жульническим фокусам разных Калиостро, Сен-Жерменов и их сообщников. — А разве упомянутые вами лица сейчас находятся здесь? — спросила Консуэло, немного смутившись и колеблясь между опасением быть одураченной доктором и правдоподобием его речей.

— Не знаю, — ответил он. — Здесь все полно таинственности. Существуют два замка. Один из них можно видеть и даже потрогать; туда приезжают ничего не подозревающие светские особы, там задают балы и создается видимость роскошного, беззаботного, безобидного существования. А под этим замком скрывается другой, и там находится маленький, ловко замаскированный подземный мир. В этом-то невидимом замке и

созревают все бредовые идеи князя. Сторонники всего нового, преобразователи, изобретатели, колдуны, прорицатели, алхимики, созидатели нового общества, готового, если верить их словам, не сегодня-завтра поглотить старое, — таковы эти таинственные гости. Их радушно принимают, с ними советуются, и никто не знает об этом на поверхности земли, или, во всяком случае, ни один непосвященный не может объяснить происхождения доносящегося снизу шума иначе как присутствием в подвалах проказливых духов и привидений. А теперь подумайте сами: быть может, те два шарлатана, о которых я упомянул, находятся за сто лье отсюда, поскольку оба всегда отличались любовью к путешествиям, а быть может, они живут в ста шагах от нас, в прекрасных комнатах с потайными дверьми и двойным потолком. Говорят, что некогда этот старинный замок служил местом встреч для членов фемгерихта и что с тех пор, в силу определенных наследственных традиций, предки нашего князя всегда любили затевать здесь страшные заговоры, которые, насколько мне известно, никогда ни к чему не приводили. Это старинная местная мода, и самые блестящие умы не свободны от увлечения ею. Что до меня, я не посвящен в

тайны и чудеса невидимого замка. От времени до времени я провожу здесь несколько дней, когда моя повелительница — принцесса София Прусская, маркграфиня Байрейтская, — разрешает мне отлучаться из ее владений. И так как я смертельно скучаю при очаровательном дворе в Байрейте, так как, в сущности, я привязан к нашему князю и к тому же не прочь одурачить иной раз великого Фридриха — этого я ненавижу, — то я и оказываю вышеупомянутому князю кое-какие бескорыстные услуги, которые прежде всего развлекают меня самого. А поскольку все приказания исходят от него одного, услуги эти всегда бывают весьма невинного свойства. В том, чтобы помочь ему извлечь вас из Шпандау и привезти сюда, словно бедную сонную голубку, не было для меня ничего неприятного. Ведь я знал, что вам будет здесь хорошо, и надеялся, что у вас окажется возможность немного развлечься. Если же, напротив, вас здесь мучают, если советчики-шарлатаны его светлости хотят завладеть вами и сделать орудием своих интриг в свете, то я…

— Я не опасаюсь ничего подобного, — ответила Консуэло, все более поражаясь сообщениям доктора. — И сумею защитить себя от их предложений, если они затронут во мне чувство

справедливости или возмутят мою совесть.

— Так ли вы уверены в этом, графиня? — спросил Сюпервиль. — Не будьте столь самонадеянны. Люди самые благоразумные и самые честные теряли здесь голову и, уходя отсюда, бывали готовы на всевозможные дурные поступки. Интриганы, злоупотребляющие добротой его светлости, не брезгуют никакими средствами, а этого милейшего князя так легко ввести в заблуждение, что бывали случаи, когда он сам содействовал гибели нескольких простодушных людей, думая, что спасает их. Знайте, что эти интриганы очень искусны, что они владеют секретом напугать, убедить, взволновать, возбудить чувства и поразить воображение. Сначала они беспрерывно теребят вас с помощью множества мелких, непонятных нам способов, а потом к их услугам целый ряд приемов, систем, иллюзий. Они напустят на вас каких-то призраков, заставят голодать, чтобы отнять ясность рассудка, окружат кольцом видений — то радостных, то страшных. И, наконец, сделают вас суеверной, быть может безумной, как я только что имел честь вам рассказать, и тогда…

— И тогда? Чего могут они ожидать от меня? Что значу я в свете? Зачем им может понадобиться заманить меня в западню?

— Ах так? Графиня Рудольштадт ни о чем не догадывается?

— Нет, доктор, ни о чем.

— А ведь вы не могли забыть, что почтеннейший Калиостро показал вам вашего мужа, покойного графа Альберта, живым и невредимым.

— Откуда вы знаете об этом, если не посвящены в тайны подземного мира?

— Вы сами рассказали обо всем принцессе Амалии Прусской, а она немного болтлива, как все любопытные дамы. К тому же она — быть может, вам это небезызвестно — в большой дружбе с призраком графа Рудольштадта.

— Как я слышала, с неким Трисмегистом!

— Именно так. Я видел этого Трисмегиста, и, действительно, на первый взгляд он поразительно похож на графа. А можно устроить так, чтобы это сходство стало еще больше, — причесав и одев его так, как причесывался и одевался граф, придав бледность его лицу, заставив изучить походку и манеры покойного. Теперь понимаете?

— Меньше чем когда-либо! Зачем им понадобилось выдавать этого человека за графа Альберта?

— Как вы просты и как прямодушны! Граф Альберт умер, оставив огромное состояние, ко-

торое после канониссы Венцеславы перейдет по наследству к молодой баронессе Амалии, кузине графа Альберта, если только вы не предъявите свои права на вдовью часть или на пожизненный доход. И прежде всего они будут пытаться убедить вас решиться на…

— Да, это правда! — вскричала Консуэло. — Теперь я начинаю понимать смысл некоторых слов!

— И это еще не все: пожизненный доход весьма спорен. Он не удовлетворит аппетиты проходимцев, которые хотят прибрать вас к рукам. У вас нет детей — вам нужен муж. Так вот, граф Альберт якобы не умер: он был в летаргическом сне, его похоронили живым. Дьявол извлек его из могилы, господин Калиостро дал ему какое-то зелье, а господин Сен-Жермен увез его куда-то. Короче говоря, по прошествии года или двух он появляется вновь, рассказывает о своих приключениях, бросается к вашим ногам, предъявляет свои супружеские права, едет в замок Исполинов, где его узнают старая канонисса и несколько старых слуг, готовых узнать кого угодно. Затем, в случае надобности, подкупает свидетелей и прибегает к очной ставке. Он даже едет со своей верной супругой в Вену, чтобы добиваться при-

знания своих прав перед императрицей. Такого рода делам не вредит небольшой скандальчик. Все великосветские дамы сочувствуют красивому молодому человеку, жертве рокового случая и невежества глупого доктора. Князь фон Кауниц, который неравнодушен к певицам, оказывает вам покровительство, ваше дело выиграно, вы победоносно возвращаетесь в Ризенбург, прогоняете кузину Амалию, становитесь богатой, могущественной и соединяетесь со здешним князем и с его шарлатанами, чтобы преобразовать общество и изменить лицо мира. Все это очень мило — надо только взять на себя труд немножко ошибиться и принять за своего блестящего супруга некоего смазливого авантюриста, очень неглупого человека и к тому же искусного прорицателя. Теперь поняли? Поразмыслите хорошенько. Как врач, как друг семьи Рудольштадт и как честный человек, я счел своим долгом рассказать вам все. Они рассчитывали, что в случае надобности я удостоверю тождество Трисмегиста с графом Альбертом. Но я видел смерть графа не глазами воображения, а глазами науки, я отлично заметил между этими двумя людьми некоторое различие. Мне известно, что в Берлине уже давно знают этого авантюриста, и я не пойду на

подобный обман. Благодарю покорно! Я уверен, что вы тоже неспособны на это, но они пустят в ход все усилия и будут убеждать вас в том, что граф Альберт вырос на два дюйма и что, полежав в гробу, он окреп и посвежел. Однако я слышу шаги Маттеуеа. Этот преданный дурак ни о чем не подозревает. Итак, я ухожу, я сказал все. Здесь мне больше нечего делать, и через час я покидаю этот замок. Проговорив все это с необычайной живостью, доктор вновь надел маску, отвесил Консуэло глубокий поклон и удалился, оставив ее заканчивать ужин в одиночестве. Однако ей было уже не до еды. Потрясенная, ошеломленная услышанным, она ушла в спальню и долго не могла успокоиться, болезненно переживая свои сомнения, растерянность и тревогу.

Глава 28

На следующий день Консуэло чувствовала себя разбитой и физически и нравственно. Циничные разоблачения Сюпервиля, внезапно последовавшие за отеческими и ободряющими речами Невидимых, подействовали на нее как ледяной душ после благотворного тепла. Не успела она на миг подняться ввысь, в небо, как ее немедленно сбросили обратно на землю. Она готова была рассердиться на доктора за то, что он принес ей разочарование, ибо в мечтах это высокое судилище, которое протягивало к ней руки, словно удочерившая ее семья, словно убежище от всех опасностей мира и всех заблуждений юности, уже казалось ей сверкающим и грандиозным.

Однако доктор как будто бы заслуживал признательности с ее стороны, и, хотя Консуэло понимала это, она не могла принудить себя испытывать ее. Разве поведение этого человека не свидетельствовало о его искренности, смелости и бескорыстии? Но Консуэло считала, что он слишком большой скептик, слишком большой материалист, слишком охотно обливает

презрением добрые намерения и осмеивает благородные характеры. Хоть он и рассказал ей о неразумном и опасном легковерии анонимного князя, она по-прежнему восхищалась этим великодушным старцем, который, словно юноша, пылал любовью к добру и наивно, как ребенок, верил в способность человека стать совершенным. Речи, обращенные к ней в подземной зале, вновь приходили ей на память и казались исполненными спокойного достоинства и суровой мудрости. Милосердие и доброта просвечивали в них сквозь угрозы и недомолвки напускного гнева, готового улетучиться при малейшем сердечном порыве Консуэло. Разве мошенники, стяжатели, шарлатаны могли бы так говорить и так поступать с нею? Их дерзкий замысел преобразовать мир, замысел, казавшийся таким смешным брюзге Сюпервилю, отвечал романтическим мечтам, надеждам и восторженной вере, которые внушил своей супруге Альберт и которые она с доброжелательным сочувствием вновь обрела в больном, но возвышенном уме Готлиба. Быть может, скорее заслуживал ее неприязни Сюпервиль, попытавшийся разубедить ее в этом и отнять веру в бога и доверие к Невидимым?

Консуэло, по натуре своей более склонная

к поэзии, нежели к трезвой оценке грустной действительности, мысленно боролась с обвинениями Сюпервиля и силилась их опровергнуть. Быть может, доктор — а он ведь сам признался, что не приобщен к тайнам «подземного мира» и, кажется, даже не знал о существовании так называемого совета Невидимых — просто высказал ни на чем не основанные предположения? Быть может, Трисмегист действительно был искателем приключений, но ведь принцесса Амалия утверждала противное, а его дружба с графом Головкиным, лучшим и умнейшим из знатных людей, которых Консуэло встречала в Берлине, говорила в его пользу. Быть может, Калиостро и Сен-Жермен лгали, но ведь их тоже могло обмануть это поразительное сходство. Однако, даже если бы эти три авантюриста одинаково заслуживали презрения, нет оснований думать, что они принадлежат к совету Невидимых, и, быть может, этот союз добродетельных людей сразу отвергнет их утверждения, как только сама Консуэло твердо объявит, что Трисмегист не Альберт. Вот если они будут упорствовать в своем желании столь грубо обмануть ее, только тогда, после этого решительного испытания, она перестанет доверять им. А до тех пор Консуэло

сочла за лучшее отдаться на волю судьбы и поближе узнать этих Невидимых: ведь им она была обязана своей свободой и их отеческие упреки дошли до ее сердца. На этом выводе она остановилась и стала ждать конца приключения, решив считать все, что рассказал ей Сюпервиль, либо испытанием, которому он подверг ее по приказанию Невидимых, либо потребностью излить свое раздражение против соперников, пользующихся большим расположением князя, нежели он сам.

Особенно мучил Консуэло такой вопрос: действительно ли невозможно допустить мысль, что Альберт жив? Ведь Сюпервиль не заметил тех явлений, которые в течение двух лет предшествовали его последней болезни. Он даже отказался поверить в ее существование, упорно считая, что причиной частых посещений подземелья были любовные свидания молодого графа с Консуэло. Только ей и Зденко была известна тайна этих припадков летаргии. Самолюбие врача не позволяет Сюпервилю признаться, что, констатируя смерть, он мог ошибиться. Теперь, когда Консуэло знала о существовании и могуществе совета Невидимых, она имела возможность делать тысячи предположений о том, каким способом они вырвали Альберта из ужасного склепа, где его

преждевременно похоронили, а потом, руководствуясь какими-то неизвестными целями, тайно привезли к себе. Все, что открыл ей Сюпервиль о секретах замка и о странностях князя, только подтверждало эту догадку. Сходство с графом авантюриста по имени Трисмегист могло сделать всю эту историю еще более загадочной, но не делало самый факт невозможным. Эта мысль так поразила бедную Консуэло, что она впала в глубокую тоску. Если Альберт жив, она, не колеблясь, соединится с ним, как только ей позволят, и посвятит ему себя навсегда… Однако сейчас острее, чем когда бы то ни было прежде, она чувствовала, как мучителен для нее будет этот союз без любви. Рыцарь предстал перед ее мысленным взором как источник горьких сожалений, как источник будущих угрызений совести. Если пришлось бы отказаться от него, только что зародившаяся любовь пошла бы своим обычным путем: встретив препятствия, она быстро превратилась бы в страсть. Консуэло не спрашивала себя с лицемерной покорностью, зачем ее дорогому Альберту понадобилось выйти из могилы, где ему было так хорошо.

Нет, она думала, что, видно, ей суждено принести себя в жертву этому человеку, быть может,

даже и за пределами могилы, и готова была выполнить свой долг до конца, но она невыразимо страдала, оплакивая незнакомца — свою невольную, свою горячую любовь.

Слабый шорох и легкое прикосновение крыла к плечу вывели ее из этих размышлений. Она невольно вскрикнула от радости и изумления: хорошенькая малиновка порхала по комнате и бесстрашно приближалась к ней. Еще несколько секунд нерешительности, и она согласилась взять с ее ладони муху. — Ты ли это, моя милая подружка, моя верная наперсница? — говорила ей Консуэло со слезами детской радости. — Значит, ты искала меня и нашла? Нет, этого не может быть. Прелестное доверчивое создание, ты похожа на мою подругу, но ты не она. Должно быть, ты вырвалась из теплицы какого-нибудь садовника, где проводила холодные дни среди все еще прекрасных цветов. Приди же ко мне, утешительница заключенных. Видимо, инстинкт толкает тебя к одиноким узникам, и я готова перенести на тебя всю нежность, какую питала к твоей сестре.

Консуэло около четверти часа забавлялась с ласковой птичкой, как вдруг легкий свист, раздавшийся где-то за окном, заставил вздрогнуть это умное маленькое существо. Малиновка

выронила из клюва лакомства, которыми ее щедро угощала новая приятельница, немного помедлила, блеснула своими круглыми черными глазками и вдруг, подстрекаемая новым повелительным свистком, решительно вылетела в окно: Консуэло проследила за ней взглядом и увидела, как она затерялась в листве деревьев. Но, стараясь разыскать ее след, она заметила в глубине сада, на противоположном берегу окаймлявшего его ручья, в более или менее открытом месте, некую фигуру, узнать которую было легко, несмотря на расстояние. То был Готлиб. Подпрыгивая и напевая, он бродил вдоль ручья. На минуту забыв о запрещении Невидимых, Консуэло, стоя у окна, стала махать платком, пытаясь привлечь его внимание. Но он был поглощен заботой разыскать свою малиновку, смотрел вверх на деревья, свистел и наконец ушел, так и не увидев Консуэло. «Благодарение богу, да и Невидимым тоже, что бы там ни говорил Сюпервиль! — подумала она. — Бедный юноша выглядит счастливым и здоровым, с ним малиновка — его ангел-хранитель. Мне кажется, что это счастливое предзнаменование и для меня. Не буду больше сомневаться в моих покровителях: подозрительность сушит сердце».

Придумывая, как бы с наибольшей пользой провести время, чтобы подготовиться к новому нравственному воспитанию, о котором ей говорили, Консуэло в первый раз со времени прибытия в XXX положила заняться чтением. Она вошла в библиотеку, которую до сих пор окидывала лишь беглым взглядом, и решила серьезно изучить книги, предоставленные в ее распоряжение. Они были немногочисленны, но чрезвычайно любопытны и, очевидно, весьма редкостны, а в большинстве своем даже уникальны. Здесь были собраны сочинения самых выдающихся философов всех эпох и всех стран, но они были сильно сокращены и заключали лишь самую сущность трактуемых доктрин. Все они были переведены на разные языки, знакомые Консуэло. Некоторые из них, никогда прежде не печатавшиеся в переводе, были написаны от руки, в частности — труды знаменитых еретиков и отцов новой мысли средневековья, драгоценные остатки прошлого, важнейшие отрывки которых и даже отдельные полностью сохранившиеся экземпляры избегнули поисков инквизиции и более поздних хищений иезуитов, опустошавших старинные замки еретиков в Германии после Тридцатилетней войны. Консуэло не могла оце-

нить по достоинству эти сокровища философии, собранные каким-то страстным книголюбом или одним из смелых адептов. Подлинники заинтересовали бы ее оригинальностью букв и виньеток, но перед ней были лишь переводы, тщательно сделанные и изящно переписанные кем-то из современников. Больше всего ей понравились точные переводы Уиклифа, Яна Гуса и тех христианских философов-реформаторов, которые во все времена — прошлые, настоящие и последующие — были связаны с этими родоначальниками новой религиозной эры. Она не читала их прежде, но довольно хорошо знала благодаря долгим беседам с Альбертом. И теперь, тоже не читая, а только перелистывая их, она все-таки узнавала их все лучше и лучше. Консуэло не обладала философским умом, но душа ее была склонна к религии. Не живи она среди рассудительных и проницательных людей своего века, она легко могла бы впасть в суеверие и фанатизм. Да и сейчас она лучше понимала восторженные речи Готлиба, чем писания Вольтера, хотя последнего с упоением читали в то время все представительницы прекрасного пола. Эта умная и бесхитростная, мужественная и нежная девушка не склонна была к тонкостям рассуждении. Сердце всегда

просвещало ее прежде чем разум. Схватывая на лету любые откровения чувства, она была способна разбираться в философских течениях и разбиралась в них исключительно глубоко для ее возраста, пола и положения благодаря тому, что в свое время ее развили дружеские наставления Альберта, его пылкие и красноречивые уроки. Артистическую натуру скорее обогащает устная лекция или взволнованная проповедь, нежели терпеливое и часто холодное изучение книги. Такова была Консуэло — она не могла внимательно прочитать и страницы, но если ее поражала какая-нибудь высокая идея, удачно переданная и завершенная образным выражением, душа ее устремлялась к ней, она повторяла ее словно музыкальную фразу, и мысль, даже самая сложная, освещала ее, словно божественный луч. Она жила этой идеей, сообразовывалась с нею во всех своих переживаниях, черпала в ней подлинную силу, запоминала на всю жизнь. И эта идея не являлась для нее пустым изречением, она становилась правилом поведения, оружием в борьбе. К чему было анализировать и изучать книгу в тот самый миг, как она ее просмотрела? Ведь эта книга целиком запечатлелась в ее сердце, как только им завладело произведенное впечатление. Судьба

не повелевала Консуэло идти дальше. Она не собиралась постичь своим умом все глубины философии. Она ощущала жар тайных откровений, доступных лишь поэтическим душам, если они исполнены любви. Вот так читала она несколько дней подряд, почти ничего не читая. Ей не удалось бы передать кому-нибудь содержание этих книг, но многие страницы, где, быть может, она прочитала лишь по одной строчке, были окроплены ее слезами, и нередко, подбегая к клавесину, она импровизировала мелодии, нежность и величие которых являлись жгучим и непроизвольным выражением ее благородных чувств. Вся неделя прошла для нее в полном одиночестве, не нарушаемом более донесениями Маттеуса. Она дала себе слово не задавать ему впредь никаких вопросов. Быть может, он и сам получил выговор за свою нескромность, но только теперь он сделался столь же молчалив, сколь многословен был в первые дни. Малиновка продолжала каждое утро прилетать к Консуэло, однако Готлиб уже не появлялся вдалеке. Казалось, это маленькое созданьице (Консуэло готова была поверить, что оно заколдовано) назначило себе определенные часы, чтобы являться и веселить ее своим присутствием, а потом ровно в полдень возвращаться

ко второму своему другу. В сущности, тут не было ничего чудесного. У живых тварей, живущих на воле, существуют свои привычки, и они проводят свой день еще более умно и предусмотрительно, чем домашние животные. Как-то утром Консуэло заметила, что птичка летит не так грациозно, как обычно. Она казалась рассерженной и недовольной. Вместо того чтобы подлететь и взять корм из ее пальцев, малиновка начала коготками и клювом сбрасывать с себя какие-то путы. Консуэло подошла ближе и увидела черную нитку, свисавшую с ее крыла. Быть может, бедняжка попала в силок и, вырвавшись из него благодаря ловкости и смелости, унесла с собой часть своих оков? Консуэло без труда взяла птичку в руки, но ей оказалось нелегко освободить ее от шелковой нитки, искусно завязанной у нее на спинке и поддерживавшей под левым крылом крошечный, очень тоненький мешочек. В мешочке оказалась записка, написанная едва различимыми буквами, а бумага была до того тонка, что, казалось, вот-вот рассыплется от ее дыхания. С первых же слов Консуэло поняла, что это было послание от дорогого ее сердцу незнакомца. В записке было всего несколько слов:

«В надежде, что радость приносить пользу за-

глушит волнение моей страсти, мне поручили выполнить одно доброе дело. Но ничто, даже возможность творить милосердие, не может рассеять мою душу, где царишь ты. Я выполнил поручение быстрее, чем это считали возможным. Я вернулся и люблю тебя больше прежнего. Но, по-видимому, небо проясняется. Не знаю, что произошло между тобой и ними, но они стали ко мне более снисходительны и теперь считают мою любовь уже не преступлением, а лишь несчастьем — для меня самого. Несчастьем! О, они не любят! Они не знают, что я не могу быть несчастен, если ты любишь меня, а ведь ты любишь, не правда ли? Скажи это малиновке из Шпандау. Это она. Я привез ее, спрятав на своей груди. Пусть же она отплатит мне за заботы и принесет от тебя хоть одно слово. Верный Готлиб передаст мне записку, не читая».

Таинственность и романтические приключения разжигают огонь любви. Консуэло страстно захотелось ответить, и надо сознаться, что боязнь рассердить Невидимых, нежелание нарушить свое слово не так уж сильно удерживали ее. Но мысль о том, что записка может быть обнаружена и явится причиной нового изгнания рыцаря, придала ей мужества. Она отпустила малиновку,

не отправив с ней никакого ответа, но пролила немало слез, воображая, с какой горечью и разочарованием встретит возлюбленный эту жестокость.

Она сделала попытку продолжать свои занятия, но ни чтение книг, ни пение не могли утишить беспокойство, бушевавшее в ее груди с той минуты, как она узнала, что рыцарь находится где-то рядом. Она не могла запретить себе надеяться, что он нарушит запрет за них обоих и что вечером она увидит его в цветущих кустах. Но ей не хотелось побуждать его к этому, показываясь в саду, и весь вечер она провела взаперти, всматриваясь в щели жалюзи, трепеща от страха и от желания его увидеть и все-таки решившись не отвечать на его зов. Он не пришел, и она так удивилась и огорчилась, словно твердо рассчитывала на его безрассудство, хоть и стала бы бранить его за это, хоть оно снова разбудило бы все ее тревоги. Все незаметные и тайные драмы жгучих юных увлечений разыгрались за несколько часов в ее душе. То была новая фаза ее жизни, новые, дотоле не изведанные ощущения. Ей часто приходилось поджидать Андзолето вечером на набережных Венеции или на каменных ступеньках Корте-Минелли, но она ждала его, повторяя утренний

урок или читая молитвы, без нетерпения, без страха, без трепета и без тревоги. Эта детская любовь еще так походила на дружбу, в ней не было ничего общего с той, какую она испытывала сейчас к Ливерани. На следующее утро она с волнением ждала малиновку, но та не прилетела. Не схватили ли ее по дороге строгие аргусы? Или неприятное ощущение от шелкового пояска и слишком тяжелой ноши помешало ей вылететь из дому? Но ведь птичка так умна, что, наверное, вспомнила бы, как Консуэло освободила ее накануне от этого груза, и явилась бы к ней снова, чтобы попросить о такой же услуге.

Консуэло проплакала весь день. Не пролившая ни единой слезы при самых больших несчастьях, не плакавшая даже и во время пребывания в Шпандау, она чувствовала себя сломленной и изнуренной страданиями своей любви и тщетно искала в себе ту силу, которая поддерживала ее прежде во время всех испытаний.

Вечером она села за клавесин, пытаясь разобрать одну из партитур, как вдруг две черные фигуры появились на пороге музыкального салона, хотя она и не слышала на лестнице их шагов. При виде этих призраков у нее вырвался испуганный возглас, но один из них произнес более

мягким голосом, чем в первый раз:

— Следуй за нами.

И она молча, покорно встала. Ей дали шелковую повязку и сказали:

— Завяжи глаза сама и поклянись, что сделаешь это добросовестно. Поклянись также, что, если повязка упадет или сдвинется, ты закроешь глаза и откроешь их лишь тогда, когда мы тебе позволим.

— Клянусь, — ответила Консуэло.

— Твоя клятва считается действительной, — сказал проводник.

И Консуэло, как в первый раз, повели по подземелью. Когда же ей велели остановиться, незнакомый голос произнес:

— Сними повязку сама. Отныне ничья рука не прикоснется к тебе. У тебя не будет иного стража, кроме твоего слова.

Она оказалась в сводчатой комнате, освещенной лишь маленькой бледной лампой, висевшей на крюке посередине. Единственный судья в красной мантии и синевато-белой маске сидел на старинном кресле у стола. Он был согбен годами, несколько седых прядей виднелись из-под капюшона. Голос у него был надтреснутый и дрожащий. Вид старости сразу изменил чувства

Консуэло, и страх, невольно охвативший ее при встрече с Невидимым, тотчас же перешел в почтительное уважение.

— Выслушай меня внимательно, — сказал он, знаком приказывая ей сесть на скамеечку в некотором отдалении. — Перед тобой тот, кто явится твоим исповедником. Я старейший из членов совета, и спокойствие всей моей жизни сделало мой ум не менее целомудренно чистым, чем ум чистейшего католического пастыря. Я не лгу. Но если ты все-таки хочешь отвергнуть меня, ты свободна.

— Я принимаю вас, — ответила Консуэло, — если только моя исповедь не повлечет за собой исповедь другого лица.

— Напрасное сомнение! — возразил старик. — Школьник не раскрывает учителю проступок товарища, но сын спешит осведомить отца о проступке своего брата, ибо ему известно, что отец пресекает и исправляет, не карая. Во всяком случае, таковы должны быть правила семьи. Ты здесь в лоне семьи, ищущей пути к идеалу. Доверяешь ли ты ей?

Этот вопрос, несколько преждевременный в устах совершенно незнакомого человека, был задан с такой кротостью, а звук его голоса был

так мягок, что Консуэло, внезапно увлеченная и расстроганная, без колебаний ответила:

— Да, всецело доверяю.

— Теперь слушай, — продолжал старец. — Когда ты предстала перед нами впервые, ты произнесла слова, которые мы обдумали и взвесили. Ты сказала: «Для женщины — это страшная нравственная пытка — исповедоваться в присутствии восьмерых мужчин». Твоя стыдливость принята во внимание. Ты будешь исповедоваться только передо мной, и я не выдам твоих тайн. Мне дано нераздельное право — хоть я и не занимаю в совете какого-либо исключительного положения — быть твоим наставником в одном деле весьма щекотливого свойства, имеющем лишь косвенную связь с твоим посвящением. Готова ли ты отвечать мне без замешательства? Откроешь ли передо мной свое сердце?

— Да.

— Я не стану расспрашивать тебя о прошлом. Тебе уже было сказано — твое прошлое не принадлежит нам. Но тебя предупредили — ты должна очистить душу с той минуты, которая отметила начало твоего приобщения к нам. Тебе следовало подумать о трудностях и последствиях этого приобщения, но об этом ты отдашь отчет

не мне одному. У нас с тобой будет разговор о другом. Отвечай же.

— Я готова.

— Один из наших сыновей полюбил тебя. Разделяешь ты эту любовь, о которой узнала неделю назад, или отвергаешь ее?

— Всеми своими поступками я отвергла ее.

— Знаю. Мельчайшие твои поступки известны нам.

Я спрашиваю о тайне твоего сердца, а не твоего поведения.

Консуэло почувствовала, что щеки ее запылали, и ничего не ответила. — Ты находишь, что мой вопрос жесток. И все-таки надо ответить. Я не хочу догадываться о чем-либо. Мне надо знать и занести в протокол твои слова.

— Да, я люблю! — ответила Консуэло, ощущая потребность быть правдивой.

Но не успела она произнести эти смелые слова, как разразилась слезами. Девственность ее души была поругана.

— Почему ты плачешь? — мягко спросил исповедник. — От стыда или от раскаяния?

— Не знаю. Думаю, что не от раскаяния, — для этого моя любовь слишком сильна.

— Кого ты любишь?

— Вы знаете это, я — нет.

— Но если бы это не было мне известно! Его имя?

— Ливерани.

— Это не имя. Так зовут всех наших адептов, желающих носить это прозвище и пользоваться им. Большинство из нас принимает его во время путешествий.

— Другого имени я не знаю, да и это узнала не от него.

— Его возраст?

— Я не спрашивала.

— Его наружность?

— Я не видела его лица.

— Как же ты узнала бы его, если б встретила?

— Мне кажется, я узнаю его, коснувшись его руки.

— А если бы от этого испытания зависела твоя судьба и ты бы ошиблась?

— Это было бы ужасно.

— Бойся же своей неосторожности, несчастное дитя! Твоя любовь безумна.

— Я это знаю.

— И твое сердце не борется с ней?

— У меня нет сил.

— Но хочешь ли ты побороть ее?

— Нет, даже и не хочу.

— Значит, твое сердце свободно от любой привязанности?

— Совершенно свободно.

— Но ведь ты вдова?

— Думаю, что вдова.

— А если бы ты не была вдовой?

— Я поборола бы свою любовь и исполнила бы свой долг. — С сожалением? С болью?

— Быть может, даже с отчаянием. Но исполнила бы.

— Ты, стало быть, не любила того, кто был твоим супругом?

— Я любила его как сестра. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы полюбить его любовью.

— И не смогла?

— Теперь, когда я знаю, что значит любить, могу ответить — нет.

— Не упрекай себя — нельзя любить против воли. Так ты думаешь, что любишь этого Ливерани? Серьезно, благоговейно, пылко?

— Да, все эти чувства живут в моем сердце, но, может быть, он недостоин их!..

— Он их достоин.

— О, мой отец, — воскликнула преисполненная благодарности Консуэло, готовая упасть перед

старцем на колени.

— Он достоин безграничной любви не менее, чем сам Альберт! Но ты должна отказаться от нее.

— Значит, это я недостойна его? — с болью спросила Консуэло.

— Ты была бы достойна, но ты не свободна. Альберт Рудольштадтский жив. — О боже, прости меня! — прошептала Консуэло, падая на колени и закрывая лицо руками.

В течение нескольких секунд исповедник и кающаяся хранили тяжелое молчание. Но Консуэло вдруг вспомнила обвинения Сюпервиля и ужаснулась. Что, если этот старец, внушающий столь глубокое почтение, всего лишь участник какой-то гнусной махинации? Что, если он хочет воспользоваться непорочностью и чувствительностью несчастной Консуэло, чтобы бросить ее в объятия подлого самозванца? Она подняла голову и, бледная от волнения, с сухими глазами и дрожащими губами попыталась проникнуть взглядом сквозь эту бездушную маску, быть может, скрывавшую бледность преступника или дьявольскую улыбку злодея.

— Альберт жив? — сказала она. — Вы уверены в этом? А известно ли вам, что есть человек, очень

на него похожий? Я и сама чуть было не приняла его за Альберта.

— Мне известна эта нелепая выдумка, — спокойно ответил старик, — известны все глупости, придуманные Сюпервилем, чтобы снять с себя обвинение в том, что он опозорил науку и совершил преступление, велев отнести в склеп спящего человека. Весь этот бред можно разрушить несколькими словами. Во-первых, Сюпервиль был признан неспособным подняться выше нескольких незначительных степеней тайных обществ, которыми руководили мы, и его уязвленное самолюбие в сочетании с болезненным, нескромным любопытством не могло перенести такое унижение. Во-вторых, граф Альберт никогда не помышлял о том, чтобы потребовать свое наследство; он отказался от него добровольно и никогда не согласится вернуть свое имя и занять в обществе свое положение, ибо это возбудило бы скандальные толки относительно тождества его личности и задело бы его гордость. Возможно, что он дурно понял свой истинный долг, отрекаясь, так сказать, от самого себя. Он мог бы употребить свое состояние лучше, чем его наследники. Он отнял у себя один из способов делать добро, дарованных ему провидением. Но у него остались

другие способы, а главное, голос любви оказался здесь сильнее голоса совести. Он помнил, что вы не любили его именно потому, что он был богат и знатен. Он пожелал безвозвратно отказаться от своего имени и состояния. И сделал это с нашего разрешения. Теперь вы не любите его, вы любите другого. Он никогда не потребует, чтобы вы стали его супругой, ибо вы согласились на это лишь из сострадания к умирающему. У него хватит мужества отказаться от вас. У нас нет никаких прав ни на того, кого вы зовете Ливерани, ни на вас самих, кроме права убеждать и советовать. Если вы пожелаете бежать вместе, мы не станем вам препятствовать. Мы не признаем ни тюрем, ни арестов, ни пыток, что бы там ни наговорил вам легковерный и трусливый слуга. Мы ненавидим методы тирании. Ваша судьба в ваших руках. Идите и поразмыслите еще раз, бедная Консуэло, и да вразумит вас бог!

Консуэло выслушала эти слова с глубоким изумлением. Когда старик кончил говорить, она поднялась с колен и твердо сказала:

— Мне незачем размышлять, мой выбор сделан. Альберт здесь? Проводите меня, и я упаду к его ногам.

— Альберта здесь нет. Ему не подобало быть

свидетелем нашего разговора. Он даже не знает о той мучительной борьбе, которую вы переживаете в эту минуту.

— О мой дорогой Альберт! — вскричала Консуэло, поднимая глаза к небу.

— Я выйду из нее победительницей.

Потом она опустилась на колени перед стариком.

— Отец мой, — сказала она, — отпустите мне мои грехи и помогите никогда больше не видеть Ливерани. Я не хочу более любить его, я не буду его любить.

Старец положил свои дрожащие руки на голову Консуэло, но когда он снял их, она не смогла подняться. Подавляя душившие ее рыдания, сломленная непосильной борьбой, она вынуждена была опереться на руку исповедника и с его помощью вышла из часовни.

Глава 29

На следующий день, в двенадцать часов, малиновка постучала клювом и коготками в окошко Консуэло. Подойдя, чтобы открыть, Консуэло увидела на ее оранжевой грудке перекрещивающуюся черную нитку и уже невольно взялась за оконную задвижку, но тотчас отдернула руку. «Лети прочь, вестница несчастья! — сказала она. — Прочь, бедная невинная посредница! Ты переносишь греховные письма и преступные слова. Быть может, у меня не хватит мужества не ответить на последнее прости. Ведь я не имею права даже и на то, чтобы он понял, как я сожалею и как страдаю».

Чтобы избавиться от крылатой искусительницы, привыкшей к лучшему приему и сердито бившейся о стекло, Консуэло убежала в музыкальный салон. Здесь, чтобы не слышать криков и упреков своей любимицы, которая, последовав за ней, подлетела и к этому окну, она села за клавесин, испытывая тягостное чувство матери, затыкающей уши, чтобы не слышать жалобных криков своего наказанного ребенка. Однако не

досада и огорчение малиновки заботили сейчас бедную Консуэло. Записка, которую она принесла под крылом, обладала голосом, еще более надрывающим душу. Вот этот-то голос — так казалось нашей пылкой затворнице — плакал и стонал, умоляя, чтобы его услышали.

И все же она устояла. Но истинная любовь не отступает перед препятствиями и снова идет на приступ, становясь еще более властной и торжествующей после каждой из наших побед над нею. Можно сказать без преувеличения, что, борясь с любовью, мы лишь даем ей в руки новое оружие. Часов около трех в комнату вошел Маттеус с целой охапкой цветов, которые он ежедневно приносил своей узнице (ибо в глубине души любил ее за кротость и доброту), и она, как обычно, стала разбирать их, чтобы самой расставить в стоявшие на столике красивые вазы. В своем заточении она всегда любила это занятие, но на сей раз почти не обрадовалась и начала расставлять цветы машинально, чтобы только как-нибудь заполнить несколько минут из убийственно тянувшихся медлительных часов. Внезапно из пучка нарциссов, находившихся в центре душистого снопа, выпало запечатанное письмо без адреса. Тщетно пыталась она убедить себя, что

письмо могло быть послано судом Невидимых. В противном случае разве мог бы Маттеус принести его? К сожалению, Маттеус уже вышел и не мог дать ей объяснений. Пришлось позвонить ему, но случайно он явился не через пять минут после звонка, как это бывало обычно. а только через десять. Консуэло потратила слишком много мужества на борьбу с малиновкой. У нее уже не хватило сил на борьбу с букетом. В ту минуту, как вошел Маттеус, она дочитывала постскриптум: «Не расспрашивайте Маттеуса — он ничего не знает о проступке, который я заставил его совершить». Итак, пришлось попросить Маттеуса только об одном — завести остановившиеся часы.

Письмо рыцаря было более пылким, более неистовым, чем все предыдущие, оно было даже повелительным в своем исступлении. Мы не станем приводить его здесь. Любовные письма волнуют лишь то сердце, которое и само охвачено пламенем, их продиктовавшим. Все они похожи одно на другое, но каждый влюбленный находит в адресованном ему письме непреодолимую силу, несравненную новизну. Каждый думает, что никто и никогда не был любим так, как любим он. Он считает себя самым любимым, единствен-

ным. Где нет этого наивного ослепления, этого горделивого заблуждения, там нет и страсти. И страсть наконец завладела спокойным, благородным сердцем Консуэло.

Письмо незнакомца взбудоражило все ее мысли. Он умолял о свидании. Более того — он говорил о нем, как о неизбежном, ссылаясь на необходимость использовать последние минуты и прося за это прощения. Он как будто бы верил, что Консуэло любила Альберта и, быть может, все еще его любит. Он писал, что готов подчиниться ее решению, а пока требовал хоть слова жалости, слезы сострадания, последнего прости — того самого последнего прости, что похоже на последнее выступление великого артиста, о котором заранее объявляют публике и которое, к счастью, повторяют потом еще много раз.

Опечаленная Консуэло (опечаленная и в то же время снедаемая тайной радостью, невольной и жгучей радостью, вызванной мыслью об этом свидании) почувствовала, что лоб ее горит, грудь трепещет, словом — что недозволенная любовь живет в ее душе, несмотря ни на что. Она почувствовала, что вся ее твердость, вся воля не в силах уберечь от непостижимого влечения и что, если рыцарь отважится преступить свой обет,

заговорив с ней и показав свое лицо (а, видимо, он решился на это), у нее не хватит сил воспрепятствовать этому нарушению законов ордена Невидимых. У нее оставался один выход — вымолить помощь у совета этого самого ордена. Но могла ли она обвинить и предать Ливерани? Быть может, достойный старец, который накануне сообщил ей о существовании Альберта и отечески выслушал ее признания, примет под покровом тайны исповеди и то, что она собирается ему открыть. Быть может, он пожалеет рыцаря за его безумие и осудит его лишь в глубине своего сердца. Консуэло написала ему, что хочет его увидеть в девять часов вечера, что речь идет о ее чести, покое, быть может — о ее жизни. То был час, назначенный незнакомцем. Но кому и через кого переслать записку? Маттеус отказывался сделать хоть шаг за ограду раньше полуночи. Таков был приказ, и ничто не могло поколебать старого слугу. Он уже получил выговор за то, что недостаточно строго выполнял свои обязанности по отношению к узнице, и отныне был непреклонен.

Час свидания близился, и Консуэло, не переставая изобретать способы избежать рокового испытания, даже на секунду не подумала о том,

чтобы постараться выдержать его. О добродетель, предписанная женщинам, ты лишь звук пустой и навсегда останешься им до тех пор, пока мужчина не примет на себя половину твоей задачи! Все твои планы обороны сводятся лишь к уловкам, все твои попытки пожертвовать собственным счастьем рассыпаются перед страхом огорчить любимого человека. Консуэло остановилась на крайнем средстве, подсказанном ей героизмом и слабостью, боровшимися в ее душе. Она принялась искать потайной вход в подземелье, находившийся тут же, в ее домике, решив бежать к Невидимым и явиться к ним без предупреждения. Ей почему-то казалось, что место их сборищ не так уж трудно найти, если отыскать вход в подземелье, и что они каждый вечер собираются в одном и том же помещении. Она не знала, что как раз в этот день их там нет и что только Ливерани, притворившись, будто сопровождает их в каком-то таинственном походе, вскоре вернулся обратно.

Однако все ее усилия найти потайную дверь или подъемный люк, ведущие в подземелье, были тщетны. Теперь она не обладала, как то было в Шпандау, хладнокровием, упорством, уверенностью, помогавшими обнаружить ма-

лейшую щель в стене, малейший выступ камня. Руки ее дрожали, ощупывая деревянные панели и лепные украшения, глаза застилал туман, каждую минуту то на песчаных дорожках сада, то на мраморе портика ей чудились шаги Ливерани.

Внезапно ей померещилось, будто она слышит их где-то внизу, под полом. Казалось — вот он поднимается по лестнице, спрятанной у нее под ногами, вот подходит к невидимой двери, а может быть, подобно привидению, сейчас он пройдет прямо через стену и предстанет перед ней. Она уронила подсвечник и побежала в глубь сада. Пересекавший его веселый ручей остановил ее бег. Она прислушалась, и ей показалось, что кто-то идет за ней следом. Тогда, потеряв голову, она прыгнула в лодочку, в которой садовник обычно привозил песок и дерн, и, отвязав ее, решила, что сразу же пристанет к противоположному берегу. Но ручеек оказался быстрым и, вытекая из-за ограды, суживался под низким сводом, который был закрыт решеткой. Несомая течением, лодка уже готова была удариться о решетку, но Консуэло быстро перешла на нос и, вытянув руки, предупредила удар. Дочь Венеции (и дочь народа), она без труда проделала этот маневр. Но — странная случайность! — решетка

поддалась под ее рукой и открылась, уступив легкому давлению подгоняемой волной лодки. «Увы! — подумала Консуэло. — Быть может, они никогда не запирают этот проход, — ведь я пленница, связанная только словом. А между тем я бегу, я нарушаю данную клятву! Впрочем, я ищу лишь покровительства и убежища у моих хозяев, а вовсе не хочу покинуть их и предать».

В том месте, куда изгиб ручья привел ее челнок, Консуэло выпрыгнула на берег и углубилась в густой кустарник. Она не могла быстро двигаться в этой темной чаще. Извилистая тропинка делалась все уже.

Беглянка то и дело ударялась о стволы деревьев и несколько раз падала на траву. Зато она чувствовала, что снова начинает надеяться, этот мрак успокаивал ее: ей казалось, что Ливерани никак не сможет найти ее здесь. Она долго шла наудачу и наконец оказалась у подножия скалистого холма, чьи неясные очертания вырисовывались на фоне серого, покрытого тучами неба. Поднялся холодный, предвещающий грозу ветер, начинался дождь. Не решаясь повернуть назад из страха, что Ливерани нападет на ее след и будет искать ее на берегах ручья, Консуэло пошла по крутой тропинке, ведущей на холм. Она

решила, что с вершины увидит огни замка, в какой бы стороне он ни оказался. Но когда во мраке она поднялась наверх, молнии, вспыхнувшие в небе, внезапно осветили развалины какого-то обширного здания — внушительные и печальные останки прежних веков. Дождь вынудил Консуэло направиться к нему в поисках убежища, но это оказалось нелегким делом. Башни были разрушены изнутри сверху до основания, и целые тучи кречетов и ястребов взмыли при ее приближении, испуская такие пронзительные и дикие крики, словно то были духи тьмы, ютящиеся среди обломков. В гуще камней и терновых кустов Консуэло, миновав часовню без крыши, чьи расшатанные стрельчатые арки неясно вырисовывались при голубоватом свете молний, дошла до ровной, поросшей низкой травой площадки. Она обошла глубокий колодезь, который можно было различить на поверхности земли лишь благодаря пышно разросшимся по краям растениям и роскошному кусту диких роз. Остовы развалившихся построек, окружавшие этот заброшенный двор, имели самый фантастический вид, и при вспышках молнии глаз с трудом улавливал эти непрочные, искривленные призраки, эти бесформенные остатки разрушения. Огром-

ные дымовые трубы, еще совсем черные внизу от копоти навеки погасшего очага, выступающие на ужасающей высоте, среди голых стен; сломанные лестницы, вьющиеся спиралью в пустоте и словно приспособленные для воздушной пляски ведьм; целые деревья, которые поселились и выросли в комнатах, где еще сохранились остатки фресок; каменные скамьи в глубоких амбразурах окон. И повсюду пустота, внутри и снаружи, в этих таинственных убежищах — приютах любви в мирные времена и логовах караульщиков в часы опасности. И, наконец, бойницы, украшенные кокетливыми гирляндами, островерхие крыши, словно повисшие в воздухе, похожие на обелиски, и двери, загроможденные обломками и грудами земли до самого фронтона. Это было жуткое, но исполненное поэзии место. Суеверный страх охватил Консуэло — ей казалось, что своим присутствием она оскверняет убежище, предназначенное для каких-то печальных сборищ и безмолвных мечтаний усопших. В ясную ночь и при более спокойных обстоятельствах она могла бы залюбоваться суровой красотой этого памятника старины. Быть может, она бы не стала по традиции печалиться о жестокости времен и судеб, которые беспощадно опрокидывают и

дворцы и крепости, погребая их развалины в траве, рядом с обломками бедной хижины. Грусть, которую внушают руины этих огромных зданий сердцу артиста, не похожа на ту, что возникает в душе знатного вельможи. Однако в эту минуту смятения и страха, в эту грозовую ночь Консуэло, которую не поддерживал теперь восторженный пыл, побуждавший ее прежде и к более опасным действиям, вновь почувствовала себя девочкой из народа и трепетала при мысли, что вот-вот перед ней предстанут все эти ночные призраки, и особенно боялась увидеть тени старинных владельцев замка, тех, что были жестокими угнетателями при жизни и превратились в озлобленные, мстительные привидения после смерти. Гром гремел, ветер срывал куски кирпичей и цемента с разрушенных стен, длинные ветки ежевики и плюща вились как змеи вдоль башенных зубцов. Ища приют от дождя и падающих сверху обломков, Консуэло вошла под арку одной из лестниц, которая как будто сохранилась лучше других и вела в большую феодальную башню — самую старинную и устойчивую во всем здании. Поднявшись на двадцать ступеней, она оказалась в большой восьмиугольной зале, занимавшей все внутреннее пространство башни. Витая лестница

была вделана, как во всех постройках подобного рода, прямо в стену толщиной от восемнадцати до двадцати футов. Свод этой залы имел форму пчелиного улья. Двери и окна не сохранились, но амбразуры их были так узки и глубоки, что ветер не попадал внутрь. Консуэло решила переждать здесь грозу и, подойдя к одному из окон, простояла около часа, созерцая величественное зрелище пылающего неба и слушая грозные голоса бури.

Наконец ветер улегся, тучи рассеялись, и Консуэло уже собралась уходить, как вдруг, обернувшись, она с удивлением увидела в глубине залы какой-то свет, непохожий на быстро появлявшиеся и исчезавшие вспышки молний. Этот свет, словно бы поколебавшись, стал разрастаться и постепенно заполнил весь свод, а одновременно с этим легкий треск послышался в трубе. Консуэло посмотрела внимательнее и заметила сквозь полукруглое отверстие старинного очага — этой огромной, зиявшей перед ней пасти — внезапно разгоревшийся огонь, который возник словно сам по себе. Она подошла ближе и обнаружила полупотухшие поленья и сучья — следы топки, брошенной совсем недавно и без особых предосторожностей.

Напуганная эти открытием, говорившим о

существовании хозяина, Консуэло, не заметившая, впрочем, в помещении никаких признаков домашней утвари, поспешно направилась к лестнице и уже хотела спуститься, но снизу до нее вдруг донеслись чьи-то голоса и шаги, под которыми заскрипел щебень, усыпавший ступеньки. Тут ее неопределенные страхи превратились в реальные опасения. В этой сырой, заброшенной башне мог поселиться только какой-нибудь смотритель охоты, быть может столь же далекий от цивилизации, как и его жилище, быть может пьяный, грубый и, уж конечно, не такой вышколенный и учтивый, как почтенный Маттеус. Шаги быстро приближались. Консуэло взбежала вверх по лестнице, чтобы не встретиться с этими неизвестными посетителями, и, поднявшись еще на двадцать ступенек, оказалась на уровне третьего этажа. Было маловероятно, чтобы пришельцы явились к ней сюда, ибо здесь совсем не было крыши и, следовательно, площадка была необитаема. К счастью для нее, дождь перестал, и сквозь буйную зелень, покрывавшую стропила башни пуазах в шестидесяти над ее головой, она даже заметила несколько мерцавших звезд. Вскоре луч света, проникший снизу, озарил темные стены здания, и, осторожно подойдя к широкой

щели в полу, Консуэло увидела то, что происходило в нижнем этаже, откуда она пришла. В зале было двое мужчин — один расхаживал взад и вперед, топая ногами, чтобы согреться, другой нагнулся над очагом и пытался раздуть тлевший там огонь. Сначала Консуэло различила лишь их богатую одежду и шляпы, скрывавшие их лица. Но вот пламя вспыхнуло, тот, кто кончиком шпаги ворошил дрова, сняв шляпу, повесил ее на выступ стены, и, когда свет упал на его черные волосы и верхнюю часть лица, Консуэло вздрогнула, едва удержав возглас ужаса и радости. Он заговорил, и сомнений больше не оставалось — это был Альберт Рудольштадт.

— Подойдите ближе, друг мой, — сказал он своему спутнику, — и погрейтесь возле единственного очага, который еще уцелел в этом обширном замке. Грустное убежище, милый Тренк, но вам во время ваших трудных путешествий встречались и похуже.

— Нередко случалось, что я и вовсе не находил их, — ответил возлюбленный принцессы Амалии. — Право же, этот дом гостеприимнее, чем кажется извне, и он мог бы очень мне пригодиться. А вы, мой дорогой граф, должно быть, нередко приходите помечтать среди этих развалин и

посторожить этот приют бесов?

— Я действительно часто прихожу сюда, но по менее эксцентричным причинам. Сейчас не могу рассказать вам о них, но впоследствии вы все узнаете.

— Кажется, я уже догадался. С высоты этой башни вы любуетесь неким садом и смотрите на некий домик.

— Нет, Тренк. Домик, о котором вы говорите, скрыт за деревьями холма и не виден отсюда.

— Но отсюда легко добраться до него, а после свидания укрыться здесь от докучливых надзирателей. Признайтесь, ведь только что, когда я встретился с вами в лесу, вы…

— Я ни в чем не могу признаться, дружище Тренк, а вы дали слово ни о чем не спрашивать.

— Это правда. Мне бы следовало просто радоваться, что я встретил вас в этом огромном парке, или, вернее, лесу. Ведь я заблудился и, если бы не вы, непременно свалился бы в какой-нибудь живописный овраг или утонул где-нибудь в прозрачном потоке. Скажите, далеко мы находимся от замка?

— Более чем в четверти мили. Посушите же вашу одежду, пока ветер сушит дорожки парка, а потом двинемся в путь.

— По правде сказать, этот старинный замок нравится мне меньше, чем новый, и я отлично понимаю, почему его предоставили в распоряжение орланов. И все-таки мне повезло, что в столь поздний час и в такую ужасную погоду я нахожусь здесь вдвоем с вами. Это напомнило мне нашу первую встречу в разрушенном аббатстве в Силезии, мое посвящение, клятвы, которые я произнес перед вами. Ведь вы были тогда моим руководителем, судьей, исповедником, а теперь сделались для меня братом и другом! Ах, милый Альберт, какие необыкновенные и трагические перемены произошли с тех пор в наших судьбах! Ведь мы оба умерли для семьи, родины, быть может — для возлюбленной!.. Что станется с нами и какова будет отныне наша жизнь среди людей?

— Твоя жизнь может еще сделаться блестящей и полной счастья, дорогой Тренк! Благодарение богу, власть ненавидящего тебя тирана имеет границы на земле Европы.

— Но моя любимая, Альберт? Ужели возможно, чтобы она оставалась мне верна — вечно и напрасно?

— Ты не должен этого желать, друг мой. Но совершенно очевидно, что ее страсть продлится столько же, сколько ее горе.

— О, расскажите же мне о ней, Альберт! Вы счастливее меня, вы можете видеть ее, слышать!

— Нет, это уже невозможно, милый Тренк, не обольщайтесь. Странная личность Трисмегиста и его фантастическое имя, которое мне присвоили, в течение нескольких лет помогали мне в моих дружеских и тайных сношениях с берлинским дворцом, но они уже потеряли свое действие. Друзья будут молчать, как они молчали прежде, а те, кого я дурачил (ибо для пользы нашего общего дела и вашей любви я был вынужден, не принося при этом вреда, кое-кого одурачить), не станут более прозорливы; но Фридрих почуял дух какого-то заговора, и мне уже нельзя вернуться в Пруссию. Мои действия будут парализованы его недоверием, а тюрьма Шпандау не откроется вторично для моего побега.

— Бедный, Альберт! Ты, наверное, страдал в этой тюрьме не меньше, чем я в своей. Быть может, даже больше.

— Нет, я был там вблизи от нее. Я слышал ее голос, помогал ее освобождению. Я ни о чем не жалею — ни о том, что томился в заточении, ни о том, что трепетал за ее жизнь. Своих собственных страданий я даже не замечал, о том, как страдал за нее, я уже забыл. Она спасена и будет счастлива.

— С вами, Альберт? Скажите мне, что она будет счастлива с вами и благодаря вам, или я перестану ее уважать и лишу ее своего восхищения и дружбы.

— Не говорите так, Тренк. Вы оскорбляете этим природу, любовь и небо. Наши жены так же свободны, как наши возлюбленные, и желание поработить их во имя долга, удобного одним нам, было бы преступлением и святотатством.

— Знаю. И хоть мне не возвыситься до твоей добродетели, я чувствую, что, если бы Амалия не подтвердила мне свое обещание, а взяла его назад, я все же продолжал бы любить ее и благословлять те счастливые дни, которые она подарила мне. Но ведь могу же я любить тебя больше, чем себя самого, и ненавидеть любого, кто тебя не любит? Ты улыбаешься, Альберт, ты не понимаешь моей дружбы, а вот я не понимаю твоего мужества. Нет, если правда, что она, твоя супруга, влюбилась (и притом до окончания срока траура — безумная!) в одного из наших братьев — будь он самым достойным среди нас и самым обаятельным мужчиной в целом мире, я никогда не смогу простить ей. Прости ты, если любишь!

— Тренк! Тренк! Ты не знаешь, о чем говоришь, ты многого не понимаешь, а я не могу ничего тебе

объяснить. Погоди осуждать эту замечательную женщину. Придет время, и ты узнаешь ее.

— Но кто же мешает тебе оправдать ее в моих глазах? Объяснись! К чему эта таинственность? Мы здесь одни. Твое признание никак не может скомпрометировать ее, и, насколько мне известно, никакая клятва не запрещает тебе скрывать от меня то, что подозреваем все мы, судя по твоему поведению. Она разлюбила тебя? Чем же можно оправдать это?

— А разве она когда-нибудь любила меня?

— В этом и состоит ее преступление. Она никогда не понимала тебя.

— Она не могла меня понять, а я не мог открыть себя перед нею. К тому же я был болен, я был безумен. Безумных никто не любит. Их жалеют или боятся.

— Ты никогда не был безумен, Альберт. Я никогда не видел тебя таким.

Напротив, меня всегда поражала твоя мудрость и мощь твоего ума.

— Ты видел меня в действии — твердым, решительным, и никогда не видел в состоянии мучительного покоя, во власти болезненного уныния.

— Ты — во власти уныния? Никогда бы не поду-

мал, что это возможно.

— Потому что тебе неизвестны все опасности, препятствия, все темные стороны нашего дела. Тебе никогда не приходилось падать на дно той пропасти, в которую была погружена моя душа, в которую я бросил свою жизнь. Ты сталкивался лишь с возвышенной, благородной ее гранью, тебе давали лишь легкие поручения и открывали лишь светлые перспективы.

— Потому что я не так великодушен, не так восторжен и, говоря откровенно, не так

фанатичен, как ты, благородный граф! Ты сам пожелал испить чашу рвения до дна, а когда тебя начала душить горечь, ты усомнился в небе и в людях.

— Да, я усомнился и был жестоко наказан.

— И все еще сомневаешься? Все еще страдаешь?

— Нет, теперь я надеюсь, верю, действую. Я чувствую себя сильным, счастливым. Разве ты не видишь, какая радость сияет на моем лице, не чувствуешь, каким восторгом переполнена моя грудь?

— Но ведь тебя обманула твоя любовница! Что я говорю? Твоя жена!

— Она никогда не была ни любовницей моей,

ни женой. Она никогда и ничем не была обязана мне, как ничем не обязана и теперь. Она не обманывает меня. В награду за миг сострадания, подаренного мне у моего смертного одра, бог послал ей любовь, величайшую из всех милостей неба. Так неужели я, в благодарность за то, что она закрыла мне глаза, плакала надо мной, благословила меня на пороге вечности, который я собирался переступить, потребую, чтобы она выполнила обещание, вырванное у ее великодушной жалости, у ее благородного милосердия? Неужели скажу ей: «Жена, я твой господин, ты принадлежишь мне — таков закон, таковы последствия твоей неосторожности, твоей ошибки. Ты будешь переносить мои ласки, потому что в день разлуки запечатлела прощальный поцелуй на моем холодеющем лбу! Ты навсегда вложишь свою руку в мою, всюду пойдешь за мной, будешь вечно нести это ярмо, будешь вытравлять из своей груди зародившуюся любовь, отгонять непреодолимые желания, заглушать сожаления в моих оскорбительных объятиях, припав к моему эгоистическому и подлому сердцу!» О Тренк! Неужели вы думаете, что я мог бы быть счастлив, поступив так? Ведь моя жизнь стала бы тогда еще более жестокой пыткой, нежели ее! Разве муки

раба не являются проклятием для его господина? Боже великий! Да какое же существо окажется настолько презренным, настолько низким, чтобы гордиться и упиваться неразделенной любовью, верностью, против которой восстает сердце самой жертвы? Благодарение богу, я не таков и никогда не буду таким. Сегодня вечером я шел к Консуэло, собираясь сказать ей все это, собираясь вернуть ей свободу. Но я не встретил ее в саду, где она гуляет обычно. Как раз в это время разразилась гроза, и я потерял надежду, что она выйдет. Мне не хотелось входить в дом. Я мог бы войти туда по праву супруга, но ее трепет, ее ужас, одна только бледность ее отчаяния причинили бы мне такую боль, что я не решился на этот шаг. — А не встретился ли ты в темноте с черной маской Ливерани?

— Какого Ливерани?

— Как! Ты не знаешь имени своего соперника?

— Ливерани — это не настоящее имя. А ты знаешь этого человека, этого счастливого соперника?

— Нет! Но ты спрашиваешь об этом каким-то странным тоном… Альберт, кажется, я понял тебя: ты прощаешь свою несчастную жену и бросаешь ее — так и должно быть. Однако, надеюсь,

ты накажешь подлеца, который ее обольстил?

— А ты убежден, что он подлец?

— Как! Человек, которому доверили заботу о ее освобождении, поручили оберегать во время долгого, опасного путешествия! Тот, кто обязан был охранять ее, быть почтительным, не имел права вымолвить с ней ни одного слова, снимать маску в ее присутствии!.. Человек, облеченный Невидимыми полной властью и слепым доверием! Очевидно, твой брат по оружию, по клятве, такой же брат, как я? О, если бы мне поручили охранять твою жену, Альберт, я даже не помыслил бы о столь чудовищной измене, не стал бы добиваться ее любви!

— Тренк! Повторяю, ты не знаешь, о чем говоришь. Только трем лицам известно, кто такой Ливерани и в чем его преступление. Через несколько дней ты перестанешь порицать и проклинать этого счастливца, которому бог в своем милосердии и, быть может, в своей справедливости подарил любовь Консуэло.

— Необыкновенный и возвышенный человек! Так ты не ненавидишь его?

— Я не могу его ненавидеть.

— И не расстроишь его счастья?

— Напротив, я страстно стремлюсь упрочить

его, но это не делает меня ни необыкновенным, ни возвышенным. Скоро ты сам будешь смеяться, вспоминая свои похвалы по моему адресу.

— Как! Ты даже не страдаешь?

— Я счастливейший из смертных.

— Если так, ты любишь мало или разлюбил совсем. Подобный героизм не свойствен человеческой природе — он почти чудовищен. И я не могу восхищаться тем, чего не понимаю. Постой, граф, ты смеешься надо мной, а я просто наивен. Я угадал: ты любишь другую и благословляешь провидение, которое освободило тебя от обязательств по отношению к жене, сделав ее неверной.

— Видно, мне придется открыть перед тобой сердце, барон, ты вынуждаешь меня. Слушай же — это длинная история, целый роман… Но здесь холодно. Этот жалкий огонь не может прогреть старые стены. К тому же я боюсь, что в конце концов они напомнят тебе о мрачных стенах Глаца. Погода улучшилась, и мы можем вернуться в замок, — тем более что тебе надо выезжать на рассвете. Я не хочу отнимать у тебя часы сна, и дорогой ты услышишь от меня самый поразительный рассказ.

Друзья надели шляпы, предварительно отрях-

нув с них влагу, и, затоптав головешки, под руку вышли из башни. Голоса их замерли в отдалении, а вскоре и шум их шагов, негромким эхом отдававшийся в старинной башне, затих на мокрой траве.

Глава 30

Консуэло стояла на месте, погруженная в какое-то странное оцепенение. Не благородное поведение Альберта, не его героические чувства поразили ее больше всего — нет, ее поразила невероятная легкость, с какой он разрешил трагическую задачу судьбы, созданную его же собственными руками. Значит, она, Консуэло, может без особых раздумий быть счастливой? Значит, любовь Ливерани вполне законна? Ей казалось, что она слышала все это во сне. Итак, ей позволено отдаться страсти к этому незнакомцу. Строгие Невидимые находят, что по своему душевному величию, мужеству и добродетели он равен Альберту. Сам Альберт оправдывает ее и защищает от упреков Тренка. Словом, Альберт и Невидимые не только не осуждают их взаимную страсть, но предоставляют им свободу выбора и не препятствуют их непреодолимому влечению. И все это без борьбы, без усилий, без повода для сожалений и раскаяния, без единой пролитой слезы! Дрожа не столько от холода, сколько от волнения, Консуэло снова спустилась в сводча-

тую залу и вновь раздула огонь, который Альберт и Тренк только что погасили в очаге. Она взглянула на влажные следы их ног на пыльных плитах пола. Стало быть, они действительно были здесь, это не почудилось ей. Присев на корточки перед огнем, словно мечтательная Золушка, любимица шаловливых духов очага, она впала в глубокую задумчивость. Столь легкая победа над судьбой казалась ей невероятной. И, однако же, любые ее опасения разбивались о непостижимое спокойствие Альберта. В этом спокойствии Консуэло уж никак не могла сомневаться. Альберт не страдал, его любовь не восставала против голоса справедливости. С какой-то восторженной радостью он приносил величайшую жертву, какую может человек принести богу. Поразительная добродетель этого необыкновенного существа преисполняла Консуэло изумлением и ужасом. Она задавала себе вопрос, совместимо ли подобное отсутствие человеческих слабостей с привязанностями человека. Не являлась ли эта видимая бесчувственность Альберта признаком новой стадии его безумия? После тех чрезмерных страданий, какие влечет за собой исключительная память и исключительная сила чувства, не были ли сейчас его воспоминания и его сердце охвачены своеоб-

разным параличом? Неужели он мог так быстро излечиться от своей любви, и неужели любовь эта была такой незначительной, что только веление воли, только решение, продиктованное логикой, могли уничтожить ее бесследно? Консуэло невольно чувствовала себя слегка задетой при мысли, что эта длительная страсть, которою она по праву гордилась, разрушена одним дуновением ветерка. Она припоминала все только что произнесенные им слова, и выражение его лица еще стояло перед ее глазами. Консуэло никогда не видела у него прежде такого выражения. Наружность Альберта изменилась так же, как изменились его чувства. Сказать правду, это был совсем другой человек, и, если бы звук его голоса, черты лица, реальность его речей — если бы все это не подтверждало подлинность его существования, Консуэло подумала бы, что это не он, а его двойник, тот самый вымышленный Трисмегист, которым, по уверению доктора, хотели подменить Альберта. Перемена, которая произошла во внешности и манерах Альберта благодаря пришедшему к нему спокойствию и здоровью, вполне могла объяснить ошибку Сюпервиля. Ужасающая худоба графа исчезла, и, казалось, он даже стал выше ростом, настолько

его поникшая и сгорбленная фигура распрямилась и помолодела. У него была теперь другая походка, движения стали более гибкими, шаги — более уверенными, костюм сделался настолько же элегантным и аккуратным, насколько прежде он был небрежным и, так сказать, запущенным. Даже мелкие детали его поведения удивляли Консуэло. В былые времена ему бы и в голову не пришло развести огонь. Правда, он пожалел бы своего друга Тренка, промокшего до нитки, но не догадался бы — настолько чуждо было ему все материальное — поворошить головешки. Он не стал бы стряхивать капли со своей шляпы перед тем, как ее надеть; дождь мог струиться по его длинным волосам, а он бы и не заметил. И, главное, теперь он носил шпагу, а прежде не согласился бы даже шутки ради взять в руки это парадное оружие, этот символ ненависти и убийства. Ныне она не стесняла его движений, он смотрел, как сверкают отблески пламени на ее клинке, и, видимо, это не напоминало ему о пролитой предками крови. Искупление, предписанное Яну Жижке в его лице, было мучительным видением, которое наконец совершенно исчезло после благодетельного сна. Возможно, что он утратил даже самое воспоминание о нем, как

утратил и другие воспоминания о своей жизни и о своей любви, которая как будто бы и была прежде его жизнь, но уже перестала быть ею.

Что-то неясное, необъяснимое происходило в душе Консуэло, что-то похожее на горечь, на сожаление, на оскорбленное самолюбие. Она мысленно повторяла предположения Тренка относительно новой любви Альберта, и они казались ей вполне правдоподобными. Только новая любовь могла внушить ему столько терпимости, столько милосердия. Должно быть, последние слова, которые он произнес, уводя друга и обещая рассказать ему целый роман, и были подтверждением ее догадки, убедительным объяснением той глубокой и тайной радости, которая, по-видимому, его переполняла. «Да, его глаза блестели так ярко, как никогда не блестели в моем присутствии, — подумала Консуэло. — Его улыбка выражала торжество, упоение. Да, он улыбался, он почти смеялся, а ведь прежде он не знал, что такое смех. И мне кажется, в его голосе была даже ирония, когда он сказал барону: „Скоро ты сам будешь смеяться, вспоминая свои похвалы по моему адресу“. Да, сомнения нет, он любит, но не меня. Он ничего не отрицает, не оправдывается, он благословляет мою неверность, сам

толкает меня на нее, радуется ей и нисколько не краснеет за меня. Он бросает меня на произвол моей слабости, и краснеть за нее буду я одна, весь позор падет на мою голову. О небо! Значит, преступницей была не я одна, Альберт был еще преступнее! Увы, зачем открыла я тайну его великодушия, которым так восхищалась и которым никогда бы не воспользовалась? Да, теперь я чувствую — в обете супружеской верности есть нечто священное. Только бог, изменяющий наши сердца, может освободить нас от него. Только в этом случае два существа, соединенные клятвой, могут предложить друг другу и принять друг от друга отказ от своих прав. Но если побудительной причиной развода является одно лишь взаимное непостоянство, происходит нечто ужаснее, похожее на соучастие в отцеубийстве, ибо супруги хладнокровно убивают в своем сердце соединившую их любовь».

Когда Консуэло дошла до леса, уже светало. Всю ночь провела она в башне, поглощенная множеством мрачных и горестных размышлений. Дорогу домой она нашла без труда, хотя шла сюда в темноте, и в спешке путь показался ей гораздо короче, чем сейчас. Спустившись с холма, она пошла вдоль ручья и, дойдя до решетки, ловко

перебралась на другую сторону по перекладине, скреплявшей брусья на уровне воды. Она больше не испытывала ни страха, ни волнения. Не все ли ей равно, заметят ее или нет, раз она решила откровенно рассказать обо всем своему духовнику? К тому же воспоминания о прошлом так заполонили ее, что настоящее казалось ей уже второстепенным. Ливерани сейчас почти не существовал для нее. Таково человеческое сердце: зарождающейся любви необходимы опасности и препятствия, а угасшая любовь разгорается с новой силой, когда разбудить ее в сердце другого уже не в нашей воле.

На этот раз бдительные стражи Невидимых как будто уснули, и ее ночная прогулка, по-видимому, осталась незамеченной. Консуэло нашла на клавесине новое письмо незнакомца, настолько же нежное и почтительное, насколько вчерашнее было смелым и страстным. Он сетовал на то, что она боится его, упрекал в том, что она укрылась в четырех стенах, словно сомневаясь в его благоговейном обожании. Он смиренно просил ее выйти вечером в сад, чтобы дать ему возможность хотя бы издали увидеть ее. Он обещал не заговаривать с ней, даже не показываться, если она того потребует. «Равнодушие ли сердца или веление

совести — не знаю, что заставило Альберта отказаться от тебя, — добавлял он, — отказаться спокойно, и, по-видимому, даже хладнокровно. Голос долга заглушает голос любви в его сердце. Через несколько дней Невидимые сообщат тебе его решение, и ты услышишь от них, что ты свободна. Тогда ты вольна будешь остаться здесь, и они посвятят тебя в свои тайны — если ты все еще тверда в своем великодушном решении, — и до этой минуты я буду верен данной им клятве не снимать при тебе маски. Но если ты дала это обещание лишь из сострадания ко мне, если хочешь освободиться от него, скажи слово, и я разорву свои обязательства, я убегу вместе с тобой. Я не Альберт — моя любовь сильнее добродетели. Выбирай!»

«Да, — сказала себе Консуэло, роняя письмо незнакомца на клавиши, — сомнения нет, этот любит меня, а Альберт не любит. Быть может, он никогда меня не любил, и мой образ был лишь созданием его безумного бреда. А ведь его любовь казалась мне такой возвышенной. Дай бог, чтобы остатка ее хватило на то, чтобы помочь мне побороть свою ценой мучительной, но благородной жертвы! Право, для нас обоих это было бы лучше, нежели хладнокровное отчуждение двух гре-

ховных душ. И для Ливерани тоже будет лучше, если я покину его с тоской и отчаянием в сердце, нежели если под влиянием одиночества приму его любовь в минуту гнева, стыда и болезненного опьянения!»

Она ответила Ливерани очень коротко:

«Я чересчур горда и чересчур правдива, чтобы вводить вас в заблуждение. Мне известно, что думает Альберт и что он решил. Случайно я открыла его секрет, рассказанный одному общему нашему другу. Он расстается со мной без сожалений, и не только добродетель восторжествовала над его любовью. Я не последую его примеру. Я вас любила и отказываюсь от вас, не любя другого. Я обязана принести эту жертву — так велит мое достоинство, моя совесть. Надеюсь, что вы не приблизитесь более к моему жилищу. Если же вы поддадитесь слепой страсти и вырвете у меня еще одно признание, то пожалеете об этом. Быть может, доверие, которое я бы вам оказала, явилось бы следствием справедливого гнева разбитого сердца и страха покинутой души. Но это было бы пыткой для нас обоих. Если вы будете упорствовать, Ливерани, значит, у вас нет ко мне той любви, о какой я мечтала». Но Ливерани продолжал упорствовать. Он написал еще и был

красноречив, убедителен, искренен в своем смирении. «Вы взываете к моей гордости, — писал он, — но с вами у меня ее нет. Если в моих объятиях вы будете сожалеть о другом, я буду страдать, но не буду оскорблен. На коленях, орошая слезами ваши ноги, я буду умолять вас забыть его и вверится одному мне. Какой бы любовью, как бы мало ни любили вы меня, я буду благодарен и за это, как за огромное счастье». Такова была сущность целого ряда писем — пламенных и робких, покорных и настойчивых. Консуэло почувствовала, как ее гордость отступает перед трогательным очарованием истинной любви. Она незаметно привыкла к мысли, что никогда прежде не была любима, — даже и графом Рудольштадтом. Но, испытывая невольную горечь при мысли об этой обиде, нанесенной святости ее воспоминаний, она боялась ее обнаружить, чтобы не стать помехой на пути к счастью, какое могла принести Альберту новая любовь. Итак, она решила молча принять решение о разрыве, которого он, по-видимому, ждал от Невидимых, и перестала подписывать свои ответы незнакомцу, призывая и его к той же предосторожности. Впрочем, эти ответы были исполнены благоразумия и душевной тонкости.

Отдаляясь от Альберта и приемля в душе мысль об иной привязанности, Консуэло не желала уступить слепому увлечению. Она запретила незнакомцу приходить к ней и нарушать обет молчания до тех пор, пока он не получит разрешения Невидимых. Она сообщила ему, что хочет по доброй воле вступить в это таинственное общество, внушающее ей уважение и доверие; что решила изучить работы, необходимые для понимания их учения, и отложить все, что могло бы способствовать ее личному счастью, до тех пор пока она не приобретет на это право, достигнув хоть крупицы добродетели. У нее не хватило сил сказать ему, что она не любит его, она сказала только, что не хочет любить его безрассудно.

Ливерани как будто подчинился, и Консуэло начала внимательно изучать те несколько фолиантов, которые однажды утром передал ей Маттеус, сказав, что они от князя, что его светлость и вся его свита покинули свою резиденцию, но скоро ей сообщат нечто. Она удовольствовалась этим известием, не задала Маттеусу ни одного вопроса и принялась читать историю мистерий древнего мира, историю христианства и различных возникших из него тайных сект и обществ. То было весьма ученое рукописное

сочинение, составленное в библиотеке ордена Невидимых неким терпеливым и добросовестным его адептом. Это серьезное чтение, вначале дававшееся Консуэло с трудом, постепенно овладело ее вниманием и даже воображением. Описание искусов, производившихся в древних египетских храмах, навеяло на нее страшные, но исполненные поэзии размышления. Рассказ о гонениях, которым подвергались секты в средние века и в эпоху Возрождения, особенно растрогал ее сердце, а судьба всех этих восторженных и пылких людей склонила ее душу к религиозному фанатизму, связанному с близким посвящением.

Две недели она жила в полном одиночестве, не получая никаких вестей из внешнего мира, окруженная незаметными заботами рыцаря, но оставаясь верна своему решению не видеть его и не подавать ему чересчур больших надежд.

Начиналась летняя жара, и Консуэло, поглощенная к тому же своим занятием, могла теперь отдыхать и дышать свежим воздухом только в часы вечерней прохлады. Постепенно она возобновила свои прогулки и неторопливо, задумчиво бродила по дорожкам сада. Она полагала, что находится здесь одна, но по временам какое-то смутное волнение охватывало ее, и ей казалось,

что незнакомец где-то близко, рядом. Прекрасные ночи, прекрасные тенистые деревья, одиночество, томное журчание ручья, бегущего меж цветов, запах растений, страстное пение соловья, прерываемое еще более сладостной тишиной, свет луны, косыми лучами проникающий сквозь призрачную сень наполненных благоуханием беседок, закат Венеры, прячущейся за розовыми облаками, — словом, все, все древние, но вечно живые и могучие волнения молодости и любви погружали душу Консуэло в опасные мечтания. Ее собственная стройная тень на серебристом песке аллей, полет птицы, разбуженной ее приближением, шелест листьев, колеблемых ветерком, — все заставляло ее вздрагивать и ускорять шаги. Но стоило улетучиться этому легкому испугу, как на его место приходило бесконечное сожаление, и трепет ожидания был сильнее всех повелений воли.

Однажды шум листьев и неясные ночные звуки взволновали ее более, чем обычно. Ей показалось, что кто-то ходит неподалеку от нее, убегает при ее приближении и подходит ближе, когда она садится. Ее смятение сказало ей еще больше: она почувствовала, что у нее нет сил противиться встрече в этом прекрасном саду, под

этим великолепным небом. Дуновения ветерка словно обжигали ее лоб. Она убежала в дом и заперлась у себя. Свечи не были зажжены. Она спряталась за жалюзи, страстно желая увидеть, но не быть увиденной. И действительно, вскоре она увидела человека, который медленно шагал под ее окнами, не окликая ее, не делая ни одного жеста, покорного и как бы довольного уже тем, что смотрит на стены ее жилища. Это был незнакомец — Консуэло сразу почувствовала это по своему волнению, и, кроме того, ей показалось, что она узнает его фигуру, его походку. Но через несколько секунд мучительные сомнения и страх завладели ею. Молчаливый гость, пожалуй, не менее напоминал ей Альберта, чем Ливерани. Они были одного роста, и теперь, когда Альберт, который, выздоровев, совершенно преобразился, ходил непринужденно, не опуская голову на грудь с видом болезненным и несчастным, — теперь Консуэло столь же мало знала его наружность, как и наружность рыцаря. Последнего она видела днем лишь одно мгновение, да и то он шел впереди нее, на значительном расстоянии, и был закутан в плащ. Альберта, после того как он так изменился, она тоже видела очень недолго в пустынной башне. А сейчас она видела его,

или, может быть, того, другого, очень неясно, при свете звезд, и всякий раз, как ее сомнения начинали рассеиваться, он уходил под тень деревьев и пропадал там, словно сам был тенью. Наконец он исчез вовсе, и Консуэло, не зная, радоваться ей или нет, начала упрекать себя за то, что у нее не хватило мужества окликнуть Альберта, — а вдруг это был он! — и добиться откровенного и чистосердечного объяснения.

По мере того как человек удалялся, Консуэло все более убеждалась в том, что это действительно Альберт, и ее раскаяние становилось все сильнее. Под влиянием самоотверженной привязанности, всегда заменявшей у нее любовь к Альберту, она пришла к мысли, что, должно быть, он бродит вокруг ее дома в надежде поговорить с ней. И делает эту попытку уже не в первый раз — так он сказал Тренку в тот вечер, когда, очевидно, встретился в темноте с Ливерани. Консуэло решила, что это объяснение необходимо. Совесть повелевала ей выяснить истинные намерения ее мужа, каков бы он ни был — великодушен или легкомыслен. Она снова спустилась в сад и побежала догонять его, дрожа от страха и в то же время исполненная мужества. Но она потеряла его след и обошла весь сад, не встретив его.

И вдруг она увидела возле небольшой рощи человека, стоявшего на берегу ручья. Был ли это тот, кого она искала?

— Альберт! — позвала она.

Он вздрогнул, поднял руки, и, когда он обернулся, черная маска уже закрывала его лицо.

— Альберт, это вы? — воскликнула Консуэло. — Я ищу вас, вас одного! Приглушенный возглас, выдававший не то радость, не то скорбь, вырвался у неизвестного человека. Он хотел бежать прочь. Консуэло показалось, что она узнала голос Альберта. Она бросилась к нему и схватила за плащ. Но плащ распахнулся, и на груди незнакомца блеснул серебряный крест, слишком хорошо знакомый Консуэло, — то был крест ее матери, тот самый, что она подарила рыцарю во время путешествия с ним, как залог признательности и расположения.

— Ливерани! — сказала она. — Это опять вы! Если так, прощайте! Зачем вы ослушались меня?

Он упал на колени и обнял ее стан. У Консуэло не хватило сил оттолкнуть это пылкое и благоговейное объятие.

— Если вы меня любите и хотите, чтобы я любила вас, оставьте меня, — сказала она. — Я хочу видеть и слышать вас только при Невидимых.

Ваша маска пугает меня, а молчание леденит сердце.

Ливерани поднес руку к маске — он хотел сорвать ее и заговорить. Консуэло, подобно любопытной Психее, уже не в силах была закрыть глаза… Но черное покрывало посланцев тайного судилища внезапно упало на ее лицо. Рука незнакомца оторвалась от ее руки. Консуэло почувствовала, что ее куда-то уводят — молча, без явного раздражения и гнева, но с большой поспешностью. На миг ее подняли с земли, и под ногами у нее закачалось дощатое дно лодки. Лодка долго плыла по ручью, но никто не заговаривал с Консуэло, и, когда повязка была снята с ее глаз, она увидела, что находится в подземной зале, той самой, где она впервые предстала перед судом Невидимых.

Глава 31

Их было семеро, как и в первый раз, семь человек в масках, безмолвных, непроницаемых, похожих на привидения. Восьмой, тот, который тогда говорил с Консуэло и, по-видимому, являлся доверенным лицом совета и наставником адептов, обратился к ней с такими словами:

— Консуэло, ты с честью выдержала испытание, и мы довольны тобой. Ты заслужила наше доверие, и сейчас мы докажем тебе это.

— Подождите, — сказала Консуэло, — вы считаете меня безупречной, а это не так. Я ослушалась вас, я выходила из предназначенного мне убежища.

— Чтобы удовлетворить свое любопытство?

— Нет.

— Можешь ты сказать, что именно ты узнала?

— То, что я узнала, касается меня одной. Среди вас есть мой исповедник, и только ему я могу и хочу открыть это.

Старик, на которого указала Консуэло, поднялся с места и сказал:

— Я знаю все. Вина этой девушки невелика. Ей

не известно то, что вы хотели от нее скрыть. Свои чувства она откроет только мне. А пока что употребим с пользой это время — незамедлительно расскажем все, что ей надлежит знать. Я ручаюсь за нее во всем.

Наставник обернулся к судьям и, после их утвердительного кивка, начал говорить:

— Слушай меня внимательно, — сказал он. — Я говорю с тобой от имени всех тех, кого ты здесь видишь. Это их ум и, если можно так выразиться, их дыхание вдохновляют меня. Сейчас я изложу тебе их доктрину. Отличительная черта религий древности та, что у них есть две стороны — одна внешняя и всем доступная, другая внутренняя и тайная. Одна есть дух, другая — форма или буква. Под материальным и грубым символом скрывается глубокий смысл, возвышенная идея. Египет и Индия — два основных типа древних религий, родоначальники доктрин в чистом виде. В них проявляется в высшей степени эта двойственность — необходимый и роковой признак младенческого состояния обществ и тех бедствий, которые связаны с развитием человеческого гения. Ты только что узнала, в чем состояли великие таинства Мемфиса и Элевсина, и теперь тебе понятно, почему науки — духовная, политиче-

ская и общественная, — сосредоточенные наряду с тройным могуществом — религиозным, военным и промышленным — в руках иерофантов, не дошли до низших классов этих древних обществ. Идея христианства, окруженная более ясными, более понятными символами, явилась в мир, чтобы обогатить душу народа познанием истины и светом веры. Но вскоре власть духовенства — неизбежное зло всех религий, складывающихся среди раздоров и опасностей, — снова попыталась затемнить догму, а затемняя, исказила ее. Вместе с мистериями вернулось идолопоклонство, и на тягостном пути развития христианства иерофанты апостольского Рима — такова была божия кара — утратили божественный свет и сами впали во мрак, куда хотели ввергнуть людей. Отныне развитие человеческого разума пошло в направлении, противоположном тому, каким оно шло в прошлом. Храм перестал быть святилищем истины, как это было в древние времена. Суеверие и невежество, грубый символ, мертвая буква воцарились на алтарях и тронах. Разум спустился наконец в те классы, которые принижались так долго. Бедные монахи, неизвестные ученые, смиренные кающиеся, добросердечные проповедники первоначального христинства

сделали тайную и гонимую религию приютом неведомой истины. Они старались приобщить людей из народа к религии равенства и от имени святого Иоанна проповедовали новое Евангелие, то есть более свободное, смелое и чистое толкование христианского откровения. Тебе известна история их трудов, их борьбы и их мучеников, известны страдания народов, пламенные вспышки их вдохновения, грозные приступы гнева, печальные минуты уныния и неистовые пробуждения. Тебе известно также, что после всех этих усилий, то страшных, то возвышенных, они с героическим упорством продолжают избегать мрака и искать путей божьих. Уже близко время, когда завеса храма будет разорвана навсегда, и толпа ринется туда, чтобы унести святилища ковчега Завета. Символы исчезнут, и доступ к истине не будет больше охраняться драконами религиозного и монархического деспотизма. Каждый человек будет иметь возможность идти по дороге к свету и приближаться к богу, насколько позволят силы его души. Никто не скажет больше своему брату: «Будь невежествен и унижайся. Закрой глаза и подчинись игу». Напротив того, каждый человек сможет попросить себе подобного, чтобы тот помог ему своими глазами,

сердцем, руками проникнуть в тайники священной науки. Но время это еще не настало, и ныне мы приветствуем лишь робкую его зарю, трепещущую на горизонте. Время тайной религии все еще длится, наша задача еще не выполнена. Мы все еще скрываемся в храме, где куем оружие, чтобы суметь отстранить врагов, стоящих между народами и нами, и все еще вынуждены держать на запоре наши двери и наши уста, чтобы никто не мог прийти и вырвать у нас ковчег Завета, спасенный с таким трудом и хранимый для всех людей.

Итак, ты принята в новый храм, но храм этот — пока еще крепость, которая отстаивает свободу уже много веков и все еще не может ее завоевать. Вокруг нас — война. Мы хотим быть освободителями, но пока что все мы еще только ратники. Ты пришла сюда принять братское причастие, знамя спасения, символ свободы и, быть может, погибнуть вместе с нами. Вот какова избранная тобой судьба — ты можешь пасть, так и не успев увидеть, как развевается над твоей головой стяг победы. Мы призываем людей в этот крестовый поход именем святого Иоанна. Мы все еще ссылаемся на этот символ. Мы — наследники прежних иоаннитов, неведомые, таинственные и упорные

продолжатели дела Уиклифа, Яна Гуса и Лютера. Мы хотим, как хотели и они, освободить человечество, но, как и они, мы сами не свободны, и, как они, мы, может быть, идем навстречу казни.

Однако борьба изменила поле сражения и вид оружия. Мы по-прежнему выступаем против суровых и подозрительных законов, мы по-прежнему идем на риск изгнания, нищеты, тюрьмы, смерти, ибо средства тирании все те же, зато наши средства изменились: мы больше не призываем к открытому восстанию и к кровавой проповеди креста и меча. Наша война является чисто духовной, точно так же, как и наша миссия. Мы обращаемся к духу и разуму. Мы действуем с помощью духа и разума. Невооруженной рукой можем мы опрокинуть правительства, опирающиеся ныне на все средства грубой силы. Нет, наша борьба с ними более медлительна, более незаметна и более серьезна — мы метим прямо им в сердце. Мы колеблем их основы, разрушая слепую веру в идолопоклонническое почтение, которое они стараются внушить по отношению к себе. Мы вливаем повсюду, даже в души придворных, даже в смущенные, помраченные умы принцев и королей то, что уже никто не осмеливается ныне назвать ядом философии. Мы

уничтожаем все авторитеты. С высоты нашей крепости мы забрасываем алтари и троны раскаленными ядрами жгучей истины и беспощадной логики. Не сомневайся — мы победим. Но через сколько лет, через сколько дней? Этого мы не знаем. Однако наше дело началось так давно, оно двигалось вперед с такой верой, подавлялось столь безуспешно, возобновлялось с таким пылом, продолжалось с такой страстью, что оно не может потерпеть крах. Оно стало бессмертным, как бессмертны блага, которые оно решило завоевать. Его начали наши предки, и каждое поколение мечтало его завершить. Если бы и мы тоже хоть немного не надеялись на это, быть может, наше рвение было бы менее пылким и менее плодотворным. Но даже если дух сомнения и иронии, господствующий сейчас в мире, сумел бы с помощью своих холодных расчетов и удручающих доводов доказать, что мы гонимся за химерой, которая может осуществиться разве лишь через несколько столетий, это не поколебало бы нашей уверенности в святости нашего дела, и мы стали бы трудиться для счастья людей будущего с еще большим прилежанием, хотя и с большей скорбью. Причина в том, что между нами и людьми прошлого, между нами и людьми

будущих поколений существуют священные узы, такие крепкие, такие тесные, что мы почти совсем заглушили в себе эгоистическое и личное начало человеческого «я». Человеку заурядному этого не понять, но в гордости аристократов есть нечто похожее на наш священный потомственный энтузиазм. Знатные люди приносили немало жертв во имя чести, желая быть достойными своих предков и завещать свою честь будущим поколениям. Мы же, созидатели храмов истины, приносили немало жертв во имя добродетели, желая продолжить дело наших учителей и подготовить прилежных учеников. Умом и сердцем мы живем одновременно в прошлом, в будущем и в настоящем. Наши предшественники и наши наследники — это такие же мы, как мы сами. Мы верим в преемственность жизни, чувств, возвышенных инстинктов, заложенных в душу, подобно тому как аристократы верят в кровное превосходство своего рода. Мы идем еще дальше — мы верим в преемственность жизни, индивидуальности, души и человеческой особи. Мы чувствуем, что призваны судьбой и провидением продолжать дело, которого жаждали всегда и которое совершается из века в век. Некоторые из нас, погруженные в созерцание прошлого и

будущего, почти совсем утратили представление о настоящем. Такова благородная горячка, таков экстаз наших верующих и наших праведников — ибо у нас есть свои праведники, свои пророки, быть может, даже свои одержимые и свои духовидцы. Но к каким бы заблуждениям ни приводил их восторженный бред, мы с уважением относимся к их вдохновению, и экзальтированный ясновидец Альберт нашел в нас братьев, исполненных сочувствия к его страданиям и восхищения перед красотой его душевных порывов. Мы верим также в искренность графа де Сен-Жермена, прослывшего в свете обманщиком или умалишенным. Хотя его воспоминания о прошлом, недоступные памяти обыкновенного человека, носят более спокойный, более точный и еще более непостижимый характер, нежели экстатические состояния Альберта, они в то же время проникнуты чистосердечием и убежденностью, над которыми мы не считаем возможным глумиться. Среди нас есть много и других экзальтированных — мистиков, поэтов, простолюдинов, философов, артистов, пылких приверженцев различных сект, объединившихся под знаменем различных вождей: бемисты, теософы, Моравские братья, гернгутеры, квакеры,

даже пантеисты, пифагорейцы, ксерофаги, иллюминаты, иоанниты, тамплиеры, милленарии, иоахимиты и т.д. Все эти старинные секты, хоть и не развиваются ныне так, как это было в период их возникновения, тем не менее существуют и даже не слишком изменились. Особенность нашей эпохи в том, что она воспроизводит одновременно все формы, какие обновляющий или преобразующий дух минувших веков поочередно придавал религиозной и философской мысли. Итак, мы берем своих приверженцев из всех этих различных групп, не требуя полного тождества взглядов, что в наше время невозможно. Достаточно подметить в людях жажду разрушения, и мы призываем их в наши ряды: ведь все наше организаторское искусство состоит в том, чтобы выбирать созидателей лишь среди тех умов, что стоят выше ученических раздоров, среди тех, у кого страсть к истине, жажда справедливости и инстинкт нравственной красоты преобладают над приверженностью к семье и над мелким соперничеством отдельных сект. Да и не так уж трудно заставить дружно работать самые разнородные элементы — их различия скорее кажущиеся, чем действительные. В сущности, все еретики (я с уважением произношу это слово)

согласны в одном, главном пункте — в желании уничтожить моральную и материальную тиранию или хотя бы протестовать против нее. Дух соперничества, который до сих пор тормозил слияние всех этих великодушных и полезных видов сопротивления, является следствием самолюбия и зависти. Эти пороки, присущие человеческому роду, — роковая и неизбежная помеха, стоящая на пути великого прогресса. Щадя эти чувства, позволяя каждой общине сохранять своих наставников, свои установления и обычаи, можно создать если не содружество, то хотя бы армию, и, как я уже тебе сказал, пока что мы представляем всего лишь армию, которая идет на завоевание обетованной земли, идеального общества. На современной стадии развития человеческой природы у каждого индивидуума есть столько оттенков характера, столько различных ступеней восприятия истины, в каждом так разнообразно и так изобретательно проявляется щедрость природы, создавшей человеческий дух, что совершенно необходимо предоставить каждому возможность свободно использовать свои нравственные качества и способность к действию.

Наше дело огромно, наши задачи неизмеримы. Мы хотим не только создать всемирное царство

на новых началах и на справедливой основе — мы хотим переустроить религию. Мы прекрасно сознаем, что одно невозможно без другого. Поэтому у нас есть два способа действий. Один — чисто материальный, создан для того, чтобы подкопаться под старый мир и разрушить его с помощью проверки, исследования и даже осмеяния, с помощью вольтерианства и всего с ним связанного. Грозное соединение всех дерзких замыслов и всех сильных страстей ускоряет наше продвижение на этом пути. Другой способ действий у нас чисто духовный: мы хотим создать религию будущего. Самые умные и самые добродетельные люди помогают нам в этой неустанной работе мысли. Невидимые создали собор, но преследования официальных кругов мешают ему работать открыто. Однако совещания происходят беспрерывно, и он с одинаковым энтузиазмом трудится во всех концах цивилизованного мира. Тайные сношения приносят зернышки на гумно, когда они созревают, и разбрасывают их по полям человечества, когда мы извлекаем их из колосьев. Вот к этой последней, потаенной работе ты и можешь приобщиться. Мы скажем тебе, как именно, если ты выразишь свое согласие.

— Я согласна, — твердым голосом ответила

Консуэло, простирая руку в знак клятвы.

— Не торопись отвечать, великодушная, отважная женщина. Быть может, ты обладаешь не всеми добродетелями, необходимыми для этой миссии. Ты познала светскую жизнь, успела почерпнуть там благоразумие, так называемую житейскую мудрость, сдержанность, умение себя держать.

— Я не считаю это заслугой, — ответила Консуэло с улыбкой, в которой сквозило какое-то горделивое смирение.

— Так или иначе, ты научилась там сомневаться, спорить, насмехаться, подозревать.

— Сомневаться — пожалуй. Избавьте же меня от сомнения. Оно всегда было мне чуждо, оно доставило мне много страданий, и я буду благословлять вас. А главное, избавьте меня от сомнения в самой себе — оно делает меня беспомощной и бессильной.

— Мы избавим тебя от него лишь тогда, когда раскроем перед тобой наши воззрения. Что до каких-нибудь материальных гарантий нашей искренности и нашего могущества, ты получишь от нас не больше, чем до сих пор. Пока что удовлетворись теми услугами, какие мы уже оказали тебе, а если понадобится, мы поможем тебе и

впредь. Но ты приобщишься к тайнам нашей мысли и наших дел лишь в той части, которая будет касаться поручения, данного тебе самой. Ты так и не узнаешь, кто мы. Ты никогда не увидишь наших лиц. Никогда не узнаешь наших имен — разве только интересы нашей миссии заставят нас преступить закон, повелевающий оставаться неизвестными и невидимыми для наших учеников. Можешь ты подчиниться и слепо довериться людям, которые навсегда останутся для тебя абстрактными существами, воплощенной идеей, таинственными защитниками и советчиками?

— Только праздное любопытство могло бы внушить мне желание узнать вас по-иному. Надеюсь, что это суетное чувство никогда не посетит мою душу. — Речь идет не о любопытстве, а о недоверии. Твое недоверие было бы обоснованно с точки зрения логики и благоразумия, царящих в мире. Человек отвечает за свои поступки; его имя является гарантией или предостережением, его репутация либо подтверждает его действия и планы, либо противоречит им. Подумала ли ты о том, что никогда не будешь иметь возможности сличить поведение хотя бы одного из нас с правилами нашего ордена? Тебе придется верить в нас, как в святых, не зная, лицемерны мы

или правдивы. Быть может даже, тебе случится усмотреть в наших решениях несправедливость, вероломство, мнимую жестокость. Ты не сможешь контролировать ни наши поступки, ни наши намерения. Хватит ли у тебя веры, чтобы шагать по краю пропасти с закрытыми глазами?

— Я католичка и поступала именно так во времена детства, — ответила Консуэло после минутного размышления. — Я открывала сердце и предоставляла руководить моей совестью священнику, не различая его лица во мраке исповедальни. Его имя, его жизнь были мне неизвестны. Я видела в нем лишь жреца, но не человека. Я повиновалась Христу и не думала о том, кто был его орудием. Разве это так уж трудно?

— Если ты тверда в своем решении, подними руку.

— Подождите, — сказала Консуэло. — От вашего ответа будет зависеть вся моя жизнь. Позвольте же мне задать один вопрос в первый, единственный и последний раз.

— Вот видишь! Ты уже колеблешься, уже ищешь гарантий не в своем внезапном порыве, не в устремлении своего сердца к нашей идее, а в чем-то ином. Все же говори. Вопрос, который ты хочешь задать, прояснит для нас состояние

твоего духа.

— Вот мой вопрос. Приобщен ли Альберт ко всем вашим тайнам?

— Да.

— Без всяких ограничений?

— Без всяких ограничений.

— И он идет вместе с вами? — Вернее будет сказать, что мы идем с ним. Он один из светочей нашего совета, самый чистый, быть может, самый близкий к богу.

— Почему же вы сразу не сказали мне об этом? Я не стала бы колебаться ни секунды. Ведите меня куда хотите, располагайте моей жизнью. Я ваша и клянусь в этом.

— Ты простерла руку! Но чем ты клянешься?

— Клянусь Христом, чей образ я здесь вижу.

— А что такое Христос?

— Это божественная мысль, открытая человеку.

— Полностью ли запечатлена эта мысль в букве Евангелия?

— Пожалуй, нет, но думаю, что она полностью запечатлена в его духе.

— Твои ответы нас удовлетворили, и мы принимаем твою клятву. Теперь мы укажем тебе, в чем состоят твои обязанности по отношению к

богу и к нам. Узнай же заранее три слова, которые являются ключом ко всем нашим тайнам, причем большинству вступающих в наше братство мы открываем их лишь по истечении длительного срока и с большими предосторожностями. Тебя не нужно учить долго, но и ты должна серьезно задуматься, чтобы понять все их значение. Свобода, братство, равенство — такова тайная и глубокая формула учения Невидимых.

— Ив этом заключается вся тайна?

— Тебе кажется, что тут ее нет, но поразмысли о состоянии общества, и ты убедишься, что людей, привыкших жить под игом деспотизма, неравенства, вражды, эта тройная заповедь — свобода, равенство, братство — воспитывает, обращает в новую веру, что для них понимание возможности, необходимости и моральной обязанности достигнуть этого счастья является настоящим откровением. Немногие прямые умы и чистые сердца, естественным образом восстающие против несправедливости и беспорядка, свойственных тирании, сразу улавливают сущность тайной доктрины. Они быстро идут вперед, ибо их приходится учить только одному — способам применения, уже найденным нами. Но вообрази, какие предосторожности, какие ухищрения на-

добно пустить в ход, чтобы открыть священную заповедь нашего бессмертного дела большинству — людям большого света, придворным и сильным мира сего. Приходится прибегать к символам и к уверткам, приходится уверять их, будто речь идет лишь о свободе условной, ограниченной рамками индивидуальной мысли, о равенстве относительном, которое распространяется лишь на членов нашего сообщества и возможно лишь на ее тайных и добровольных сборищах; словом, о романтическом братстве, существующем по договоренности между некоторым числом лиц, которые оказывают друг другу кое-какие случайные услуги, делают иногда добрые дела и взаимно помогают друг другу. Этим рабам обычаев и предрассудков наши таинства представляются лишь уставами героических орденов, которые возникли из обрядов древней аристократии и отнюдь не посягают на существующие власти, ничем не облегчают страдания народов. Таким мы поручаем лишь незначительные дела, предоставляем низшие ступени легковесной науки либо шаблонной старины и устраиваем для них ряд посвящений, которые будоражат их любопытство необычностью обрядов, но не просвещают ум. Они думают, что знают все, но не знают ничего.

— Тогда для чего они вам нужны? — спросила Консуэло, слушавшая с большим вниманием.

— Для того, чтобы оберегать деятельность и свободу тех, кто понимает и знает, — ответил наставник. — Ты получишь объяснение позднее. А сейчас выслушай, чего мы ждем от тебя.

Европа (преимущественно Германия и Франция) кишит тайными обществами — подземными лабораториями, где подготовляется великий переворот, кратером которого станет Германия или Франция. Ключ от всех этих сообществ находится у нас, и мы стремимся возглавить их без ведома большинства их членов и таким образом, чтобы одно сообщество не знало о существовании другого. Цель наша еще не достигнута, но нам уже удалось пустить корни повсюду, и наиболее выдающиеся из посвященных поддерживают нас и помогают нам. Ты получишь доступ во все святилища, во все мирские храмы, ибо разложение и суетность тоже построили свои города, и в некоторых из них порок и добродетель вместе помогают делу разрушения, причем зло не понимает, что оно соседствует с добром. Таков закон всех заговоров. Ты узнаешь тайны франк» масонов — многочисленного братства, которое, принимая самые разнообразные формы и исповедуя самые

различные идеи, трудится над внедрением и распространением идеи равенства. Ты получишь право участвовать во всех обрядах, хотя женщин допускают к этому лишь в виде исключения и не посвящают во все тайны доктрины. Мы дадим тебе такие же права, как мужчинам, мы вооружим тебя всеми эмблемами, всеми званиями, всеми формулами, необходимыми для того, чтобы ты могла установить отношения с ложами и для переговоров с ними, которые мы хотим тебе поручить. Твоя профессия, бродячая жизнь, твой талант, обаяние твоего пола, молодости и красоты, твоя смелость, прямота и скромность делают тебя подходящей для этой роли и являются залогом успеха. Твое прошлое, известное нам до мельчайших подробностей, служит достаточной гарантией. Ты добровольно выдержала больше испытаний, чем могли бы изобрести все таинства масонов, и вышла из них более торжествующей и сильной, нежели их адепты выходят из ненужных театральных представлений, с помощью которых испытывается их стойкость. И, кроме того, супруга и ученица Альберта Рудольштадта — это наша дочь и наша сестра, во всем равная нам. Подобно Альберту, мы проповедуем принцип божественного равенства между мужчиной

и женщиной, но, вынужденные признать опасное легкомыслие и непостоянство твоего пола — печальное следствие воспитания, привычек и положения женщины в обществе, — мы не можем осуществлять этот принцип на практике во всей его полноте. Мы можем довериться лишь небольшому числу женщин, а некоторые тайны доверим одной тебе.

Благодаря талисману нашей инвеституры тайные сообщества других европейских стран тоже будут открыты пред тобой, чтобы дать тебе возможность в любой стране помогать нам и служить нашему делу. Если понадобится, ты проникнешь даже в нечистое общество «Мопсов» и в другие тайные убежища разврата и неверия нашего века. Ты преобразуешь их и принесешь туда более чистое и более глубокое понятие о братстве. Зрелище распутства великих мира сего не запятнает тебя, как не запятнало зрелище свободы закулисных нравов. Ты станешь сестрой милосердия для страждущих душ, а, если тебе не удастся исправить некоторые сообщества, мы дадим тебе возможность рассеять их. Свое влияние ты употребишь преимущественно на женщин: талант и слава открывают перед тобой двери дворцов, а привязанность Тренка и наше

покровительство уже раскрыли перед тобой сердечные тайны некой именитой принцессы. Ты познакомишься ближе с лицами еще более могущественными и превратишь их в наших союзников. Средства для достижения этой цели явятся предметом особых сношений, специальной науки, которою мы поможем тебе овладеть здесь. При всех дворах, во всех городах Европы, куда ты пожелаешь отправиться, мы укажем тебе друзей, сообщников, братьев, которые тебя поддержат, могущественных покровителей, готовых прийти на помощь в твоем опасном начинании. Тебе будут доверены крупные суммы денег для облегчения участи наших неимущих братьев и всех несчастных, которые посредством сигнала бедствия обратятся за помощью к нашему ордену в твоем лице. Ты учредишь среди женщин новые тайные общества, основанные на тех же принципах, что и наше, но приспособленные к обычаям и нравам различных стран и различных классов Ты постараешься, насколько возможно, способствовать сердечному и искреннему сближению высокопоставленной дамы с женщиной среднего сословия, богачки — со скромной работницей, добродетельной матроны — с легкомысленной актрисой. Терпимость и благотворительность

— таков будет смягченный девиз для людей света вместо нашего истинного и сурового девиза: равенство, братство. Ты видишь — на первых порах твоя миссия будет приятна твоему сердцу и принесет тебе славу. Однако она небезопасна. Мы могущественны, но измена может уничтожить наше дело и вовлечь тебя в беду вместе с нами. Шпандау может оказаться не последней твоей тюрьмой, а гневные порывы Фридриха Второго не единственными вспышками королевского гнева, с какими тебе придется столкнуться. Ты должна быть готова ко всему и заранее примириться с тем, что можешь стать жертвой преследования.

— Я готова, — ответила Консуэло.

— Мы уверены в этом и опасаемся не слабости твоего характера, а упадка духа. Мы обязаны заранее предупредить тебя о том тяжелом и неприятном, что связано с твоей миссией. Первые ступени тайных обществ, в особенности у масонов, являются весьма незначительными в наших глазах и служат лишь для испытания инстинктов и склонностей новичков. Большинство из них никогда не поднимается выше этих первых ступеней, где, как я уже тебе говорил, их праздное любопытство тешится зрелищем невиданных обрядов. На следующие ступени допускаются лишь

те лица, которые подают надежды, и тем не менее их все еще держат на расстоянии от конечной цели, их изучают, испытывают, исследуют их души, подготовляют к более полному посвящению или же покидают в лабиринте толкований, из которого они не могут выбраться, не причинив вреда общему делу и себе самим. И все это только питомник, где мы отбираем наиболее сильные растения, чтобы пересадить их в священный лес. Важные сведения даются лишь на последних ступенях, и ты начнешь свой путь именно с них. Но роль наставника влечет за собой много обязанностей, и здесь приходит конец прелести удовлетворенного любопытства, упоению тайной, иллюзии надежды. Отныне тебе уже не придется в атмосфере восторга и волнения изучать закон, преображающий неофита в апостола, послушницу в жрицу. Придется приводить этот закон в действие, поучая других и стараясь среди нищих сердцем и слабых духом завербовать левитов для святилища. Вот тут-то, бедная Консуэло, ты узнаешь горечь обманутых иллюзий и тяжкий, упорный труд, ибо ты увидишь, что среди множества жадных, любопытных и хвастливых искателей истины есть так мало серьезных, твердых, искренних умов, так мало душ, достойных

принять ее и способных ее понять. На сотни людей, которые из одного тщеславия произносят фразы о равенстве и делают вид, что мечтают о нем, ты с трудом найдешь одного человека, сознающего значение этого слова и готового смело претворить его в жизнь. Ты будешь вынуждена говорить с ними загадками и играть в невеселую игру, вводя их в заблуждение по поводу сущности доктрины. Большинство монархов, собранных под нашими знаменами, находится именно в таком положении. Разукрашенные пустыми масонскими званиями, льстящими их беспредельной гордыне, они служат нам лишь для того, чтобы обеспечить свободу действий и терпимое отношение полиции. Правда, некоторые из них искренни или были таковыми прежде. Фридрих, прозванный Великим и, бесспорно, способный им быть, являлся еще до того, как стать королем, членом франкмасонского братства, и в ту пору свобода много говорила его сердцу, а равенство — уму. Однако мы привлекли к его посвящению искушенных и осторожных людей, которым удалось не выдать ему тайны учения. Как ужасно пришлось бы нам раскаяться, если бы случилось иначе! В настоящее время Фридрих подозревает, выслеживает и преследует новое масонское об-

щество, которое создано в Берлине и соперничает с ложей, где председателем является он, а также другие тайные общества, которые с пламенным рвением возглавляет Генрих, его брат. И все-таки принц Генрих, так же как и аббатиса Кведлинбургская, является всего лишь посвященным второй степени и никогда не ступит дальше. Мы знаем коронованных особ, Консуэло, и нам известно, что никогда нельзя целиком полагаться ни на них самих, ни на их придворных. Брат и сестра Фридриха страдают от его тирании и проклинают ее. Они бы охотно устроили заговор, но только в свою пользу. Невзирая на выдающиеся достоинства принца и принцессы, мы никогда не отдадим бразды правления в их руки. Они действительно участвуют в заговоре, но сами не знают, какое грозное начинание поддерживают своим именем, влиянием, богатством. Им кажется, будто они действуют лишь для того, чтобы ослабить могущество своего властелина и остановить порывы его честолюбия. В рвении принцессы Амалии есть даже нечто вроде республиканского пыла, и в наше время она не единственная принцесса, которую волнует мечта о древнем величии и о философской революции. Все мелкие князьки Германии с детства знают

наизусть Фенелонова «Телемака», а ныне питаются Монтескье, Вольтером, Гельвецием, и все же высший их идеал — это разумно уравновешенное правительство аристократов, в котором они по праву займут первые места. Об их логике и добросовестности ты можешь судить по странному контрасту между принципами и поступками, между словами и делами, который ты видела у Фридриха. Все они — лишь слепки с этого философа-тирана, более или менее бледные или более или менее утрированные. Но так как они не обладают неограниченной властью, то их поведение коробит не так сильно и дает повод для некоторых иллюзий относительно того, каким образом они употребили бы эту власть. Мыто не обманываемся на сей счет, мы позволяем этим скучающим властелинам и опасным друзьям восседать на тронах наших символических храмов. Они считают себя первосвященниками, они воображают, что в их руках ключ от святых тайн, как некогда глава Священной Римской империи, фиктивно избранный гроссмейстером фемгерихта, считал, что командует грозной армией фрейграфов, тогда как в действительности хозяевами были они и распоряжались и поступками его и жизнью. Так что, считая себя нашими генералами, они служат

нам лишь лейтенантами и никогда до рокового дня, назначенного в книге судеб для их падения, не узнают, что помогали нам против самих себя.

Такова темная и горестная сторона нашего дела.

Отдавая душу нашему святому рвению, приходится идти на сделку с некоторыми законами безмятежной совести. Хватит ли у тебя мужества на это, юная жрица с чистым сердцем и правдивой речью?

— После всего, что вы сообщили, мне уже не дозволено отступать, — ответила Консуэло после минутного молчания. — Первое же колебание способно увлечь меня на путь ограничений и страхов, а это может привести к низости. Я выслушала ваши суровые признания и чувствую, что более не принадлежу себе. Увы, признаюсь, я буду жестоко страдать от той роли, какую вы предназначили мне, как уже жестоко страдала от необходимости лгать королю Фридриху, когда это было необходимо для спасения находившихся в опасности друзей. Так позвольте же мне покраснеть в последний раз, как душе, еще не запятнанной притворством, и оплакать чистоту моей молодости, прошедшей в мирном неведении. Я не могу удержаться от этих сожалений, но

сумею запретить себе запоздалое и малодушное раскаяние. Мне нельзя больше быть безобидным и бесполезным ребенком, каким я была прежде, и я уже не ребенок, если стою перед необходимостью либо присоединиться к заговору против угнетателей человечества, либо предать его освободителей. Я прикоснулась к древу познания — плоды его горьки, но я не отброшу их. Знать — это несчастье, но отказаться действовать — преступление, когда знаешь, что надо делать.

— Твой ответ мудр и смел, — сказал наставник. — Мы довольны тобой.

Завтра вечером мы приступим к твоему посвящению. Готовься весь день к новому таинству крещения, к грозному и торжественному обещанию, готовься размышлением и молитвой, даже исповедью, если в душе твоей осталась хоть одна эгоистическая забота.

Глава 32

На рассвете Консуэло проснулась от звуков рога и собачьего лая. Подавая завтрак, Маттеус сообщил, что в лесу происходит большая облава на оленей и кабанов и что более ста гостей собралось в замке, чтобы принять участие в этом господском развлечении. Консуэло поняла, что многие члены ордена приехали под предлогом охоты в этот замок, где происходили наиболее важные совещания ордена. Она испугалась при мысли, что, быть может, все эти люди станут свидетелями ее посвящения, и задумалась над тем, действительно ли орден считает это событие настолько значительным, чтобы пригласить такое множество своих членов. Желая исполнить волю наставника, она попыталась читать и размышлять, но внутреннее волнение и смутная тревога отвлекали ее еще больше, нежели трубные звуки, конский топот и лай охотничьих собак, весь день раздававшийся в окрестных лесах. Что это была за охота — настоящая или фиктивная? Неужели Альберт до такой степени переменился и усвоил все привычки обыденной жизни, что мог теперь

без ужаса проливать кровь невинных животных? А Ливерани? Быть может, воспользовавшись всем этим шумом и суетой, он убежит с празднества и явится к новообращенной чтобы смутить ее уединение?

Консуэло не видела, что происходит вне стен ее дома, а Ливерани так и не пришел. Маттеус, по-видимому поглощенный своими обязанностями в замке, забыл о ней и не принес обеда. Что, если этот пост, — так ведь уверял Сюпервиль, — был устроен с целью ослабить работу ее мысли? Она покорилась.

К вечеру, вернувшись в библиотеку, откуда она вышла около часа назад, чтобы немного прогуляться, Консуэло в ужасе отступила, увидя человека в красном плаще и в маске, который сидел в ее кресле. Но тут же успокоилась, узнав хилого старца, служившего ей, так сказать, духовным отцом.

— Дитя мое, — сказал он, встав и идя к ней навстречу, — не желаете ли вы что-нибудь сказать мне? Я по-прежнему пользуюсь вашим доверием?

— По-прежнему, — ответила Консуэло, снова усаживая его в кресло и садясь рядом с ним на складной стул в амбразуре окна. — Мне очень

хотелось поговорить с вами, и уже давно.

И она откровенно рассказала все, что произошло между нею, Альбертом и незнакомцем после ее последней исповеди, не скрыв ни одного из невольных движений своего сердца.

Когда она кончила, старец долго хранил молчание, смутившее и взволновавшее Консуэло. Наконец, после того, как она попросила его поскорее высказать свое отношение к ее поступкам и ее чувствам, он ответил:

— Поведение ваше извинительно, почти безупречно, но что я могу сказать о ваших чувствах? Внезапная, непреодолимая, бурная склонность, называемая любовью, есть следствие хороших или дурных инстинктов, которые бог вложил или которым позволил проникнуть в душу человека для его совершенствования или для его наказания в этой жизни. Злые человеческие законы, почти всегда и во всем противоречащие требованиям природы и замыслам провидения, часто превращают в преступление то, что внушил бог, и проклинают чувство, которое он благословил. И напротив, они поощряют постыдные связи, гнусные инстинкты. Это нам, законодателям особого рода, тайным созидателям нового общества, надлежит, насколько возможно, отличить любовь

справедливую и истинную от любви греховной и суетной, чтобы от имени закона, более чистого, более благородного и более нравственного, нежели закон света, вынести суждение относительно участи, которой ты заслуживаешь. Хочешь ли ты подчиниться нашему решению? Даешь ли ты нам право соединить или разлучить тебя?

— Вы внушаете мне полное доверие, я уже говорила вам об этом и повторяю еще раз.

— Хорошо, Консуэло, мы обсудим этот вопрос — вопрос жизни и смерти для твоей души и для души Альберта.

— А мне — разве мне не будет дано право высказать то, что таится в глубине моей совести?

— Да, чтобы мы лучше поняли тебя. Я, слушавший тебя, буду твоим адвокатом, но ты должна освободить меня от сохранения тайны исповеди.

— Как! Вы уже не будете единственным поверенным самых сокровенных моих чувств, моей борьбы, моих страданий?

— Если бы ты обратилась в суд с прошением о разводе, разве не пришлось бы тебе высказать свои жалобы публично? Здесь ты будешь избавлена от этой муки. Тебе ни на кого не придется жаловаться. Разве не приятнее признаваться в том, что любишь, чем громко объявлять, что

ненавидишь?

— Так, по-вашему, достаточно испытать новую любовь, чтобы иметь право отречься от прежней?

— Но ты не любила Альберта.

— Кажется, нет, но я не могла бы поклясться в этом.

— Если бы ты любила его, у тебя бы не было сомнений. К тому же твой вопрос заключает в себе и ответ. Всякая новая любовь вытесняет старую — это в природе вещей.

— Не торопитесь, отец мой, — с грустной улыбкой сказала Консуэло. — Я люблю Альберта по-другому, не так, как того человека, но люблю его не меньше, а, быть может, даже больше прежнего. Я чувствую, что способна пожертвовать ради него тем самым незнакомцем, мысль о котором лишает меня сна и заставляет учащенно биться мое сердце даже сейчас, когда я говорю с вами.

— Должно быть, горделивое сознание долга и жажда жертвы, а вовсе не привязанность подсказывают тебе отдать предпочтение Альберту?

— Думаю, что нет.

— Уверена ли ты в этом? Подумай хорошенько. Здесь ты находишься вдали от света, вне его

суда и законов. Скажи, если мы дадим тебе новые понятия о долге, будешь ты столь же упорно предпочитать счастье человека, которого не любишь, счастью любимого?

— Но разве я когда-нибудь говорила, что не люблю Альберта? — с живостью воскликнула Консуэло.

— На этот вопрос, дочь моя, я могу ответить лишь другим вопросом: можно ли иметь в сердце две любви одновременно?

— Две разнородных любви — конечно. Ведь можно же одновременно любить брата и мужа.

— Да, но не мужа и любовника. Права мужа и права брата различны. Права мужа и любовника, в сущности, одни и те же, разве только муж согласился бы вновь сделаться братом. Но тогда было бы нарушено самое таинственное, самое интимное, самое священное, что есть в браке. Это был бы тот же развод, только без огласки. Вот что, Консуэло, — я старик, я стою уже на краю могилы, а ты еще дитя. Я пришел сюда как твой отец, как твой духовник, и, значит, не могу задеть твою стыдливость, если задам щекотливый вопрос. Надеюсь, ты мужественно ответишь мне на него. Не примешивалось ли к восторженной дружбе, внушенной тебе Альбертом, чувство тайного и

непреодолимого страха при мысли о его ласках?

— Это правда, — краснея, ответила Консуэло. — Обычно такая мысль не связывалась у меня с мыслью о его любви, она казалась чуждой его чувству, но когда она появлялась, смертельный холод леденил мою кровь.

— А дыхание человека, известного тебе под именем Ливерани, воспламеняет тебя, вливает в тебя жизнь?

— И это тоже правда. Но разве мы не должны подавлять в себе подобные ощущения силой воли?

— По какому праву? Разве бог внушил их напрасно? Разве он позволил тебе отречься от твоего пола и принести, состоя в браке, обет девственности или еще более отвратительный и унизительный обет — обет рабской зависимости? В пассивности рабства есть нечто напоминающее холодность и тупую покорность проституции. Разве могло быть угодно богу, чтобы такое создание, как ты, пало так низко? Горе детям, рождающимся от таких союзов! Бог карает их каким-нибудь изъяном, делает несовершенными, ненормальными или слабоумными. На них лежит печать неповиновения законам природы. Они отличны от других людей, ибо были зачаты вопреки человеческим законам, которые требуют

взаимного пыла, обоюдного влечения мужчины и женщины. Там, где нет этой взаимности, там нет равенства, а где нарушено равенство, нет и настоящего союза. Итак, знай, что бог не только не повелевает твоему полу приносить подобные жертвы, но даже запрещает их. Такое самоубийство столь же греховно и еще более постыдно, чем отказ от жизни. В обете девственности таится нечто враждебное и человеку и обществу, но, отдаваясь без любви, женщина совершает акт еще более чудовищный. Вдумайся хорошенько. Консуэло, и, если ты все еще будешь готова на это, вообрази, какую роль ты предоставила бы своему супругу, если бы он принял твою покорность, не поняв ее. Мне незачем тебе говорить, что, догадавшись о ней, он никогда не согласился бы ее принять, но, введенный в заблуждение твоей привязанностью, опьяненный твоим великодушием, он вскоре показался бы тебе эгоистичным или грубым. И разве ты сама не стала бы его презирать, не унизила бы его перед богом, если б он, поверив твоему чистосердечию, попал в расставленную тобой западню? Куда девалось бы его благородство, его деликатность, если бы он не заметил потом бледности твоих губ, слез на твоих глазах? И можешь ли ты

льстить себя надеждой, что ненависть невольно не закралась бы в твое сердце вместе со стыдом и болью, возникшими оттого, что тебя не поняли, не разгадали? Нет, женщина! Вы не имеете права обманывать любовь, живущую в вашей груди. Уж скорее мы имели бы право ее подавить. Пусть философы-циники утверждают, что пассивность — естественное свойство женского пола, что таков закон природы. Нет, то, что всегда будет отличать подругу мужчины от самки животного, — это именно способность полюбить с открытыми глазами и сделать выбор. Тщеславие и корысть превращают большую часть браков в узаконенную проституцию, по выражению древних лоллардов. Преданность и великодушие могут привести наивную душу к такому результату. Девственница, я считаю своим долгом просветить тебя в тех щекотливых вопросах, которые благодаря целомудрию твоей жизни и твоих мыслей ты не могла предвидеть или обдумать. Когда мать выдает замуж свою дочь, она наполовину открывает ей, с большей или меньшей мудростью и скромностью, те тайны, что скрывала от нее до этого часа. У тебя не было матери, когда с каким-то сверхчеловеческим, фанатичным восторгом ты произнесла клятву

принадлежать мужчине, которого недостаточно любила. Ныне тебе дана мать, чтобы помочь и наставить тебя, когда ты будешь принимать решение в час развода или же окончательного утверждения этого необыкновенного брачного союза. Эта мать — я, Консуэло, ибо я не мужчина, а женщина.

— Вы — женщина? — повторила Консуэло, с изумлением глядя на худую, но тонкую и белую, действительно женскую руку, которая во время этой речи сжимала ее собственную.

— Этот маленький, хилый и немощный старик, — продолжал загадочный исповедник, — это изможденное, больное существо, чей угасший голос уже не имеет пола, — женщина, сломленная скорее горем, болезнями и тревогами, нежели годами. Мне всего шестьдесят лет, Консуэло, хотя в этой одежде — я ношу ее лишь тогда, когда исполняю обязанности «Невидимого», — у меня вид дряхлого восьмидесятилетнего старца.

Впрочем, даже и в женском платье я тоже кажусь древней старухой. А ведь когда-то я была высокой, сильной, красивой женщиной с величественной осанкой. Но уже в тридцать лет я сделалась сгорбленной и трясущейся, такой, какой вы меня видите сейчас.

И знаете ли вы, дитя мое, в чем причина этого преждевременного увядания? Она в том несчастье, от которого я и хочу уберечь вас. В неполном чувстве, в несчастном браке, в невероятном напряжении мужества и смирения, на десять лет приковавших меня к человеку, которого я уважала и почитала, но любить которого была не в состоянии. Мужчина не мог бы вам сказать, в чем состоят священные права и истинные обязанности женщины, когда речь идет о любви. Они создали свои законы и суждения, не советуясь с нами. Однако я нередко излагала свои мысли по этому поводу моим собратьям, и у них хватало мужества и добросовестности выслушивать меня. И все-таки мне было ясно, что, если я не добьюсь непосредственного общения с вами, они не подберут ключ к вашему сердцу и, быть может, желая упрочить ваше счастье, восстановив добродетель, осудят вас на вечную муку, на унижение вашего достоинства. Ну, а теперь откройте мне полностью ваше сердце. Скажите, этот Ливерани…

— Увы, я его люблю, этого Ливерани, тут нет сомнения, — ответила Консуэло, поднося к губам руку таинственной сивиллы. — Его присутствие внушает мне еще больший страх, чем присут-

ствие Альберта, но как непохож этот страх на тот и сколько в нем странного наслаждения! Его объятия влекут меня, как магнит, а когда его уста прикасаются к моему лбу, я попадаю в иной мир, где мне дышится, где живется совсем по-иному.

— Если так, Консуэло, ты должна любить этого человека и забыть того. С этой минуты я провозглашаю твой развод — таков мой долг, таково мое право.

— Несмотря на все, что вы мне сказали, я не могу принять вашего приговора, не повидавшись с Альбертом, не услышав от него самого, что он отказывается от меня без печали и возвращает мне слово без презрения.

— Либо ты все еще не знаешь Альберта, либо боишься его. Зато я знаю его, у меня есть на него еще большие права, чем на тебя, и я могу говорить от его имени. Мы здесь одни, Консуэло, и мне не запрещено полностью открыться тебе, хоть я и принадлежу к верховному судилищу, к числу тех, кого не знают ближайшие их ученики. Но мы обе сейчас в исключительном положении. Взгляни же на мое поблекшее лицо и скажи, не кажется ли оно знакомым тебе.

С этими словами сивилла сняла маску и фальшивую бороду, круглую шапочку и накладные

волосы, и Консуэло увидела женское лицо, правда изможденное и старое, но несравненной красоты линий, лицо с неземным выражением доброты, печали и силы. Эти три столь различные и столь редко сочетающиеся в одном и том же существе душевные свойства читались в высоком лбе, в материнской улыбке и в глубоком взгляде незнакомки. Форма головы и нижняя часть лица говорили о некогда могучей энергии, но следы перенесенных страданий были более чем заметны, и нервная дрожь заставляла слегка трястись эту прекрасную голову, напоминавшую голову умирающей Ниобеи или, скорее, голову девы Марии, лежащей в изнеможении у подножия креста. Седые волосы, тонкие и гладкие, как шелк, разделенные прямым пробором и слегка начесанные на виски, завершали благородное своеобразие этой удивительной головы. В то время женщины пудрили, завивали и зачесывали волосы назад, смело открывая лоб. Сивилла же подобрала свои самым незатейливым образом, и такая прическа, менее всего мешавшая ей при ее мужском одеянии, как нельзя более гармонировала с овалом и выражением ее лица, хотя сама она совсем не заботилась об этом. Консуэло долго смотрела на нее с уважением и восторгом и вдруг, схватив обе

ее руки, изумленно вскричала:

— Боже мой! Как вы похожи на него!

— Да, я похожа на Альберта, или, вернее сказать, Альберт поразительно похож на меня. Но разве ты никогда не видела моего портрета?

И, заметив, что Консуэло силится что-то припомнить, она добавила, желая ей помочь:

— Ныне я лишь тень этого портрета, но прежде он походил на меня настолько, насколько может произведение искусства приблизиться к оригиналу. На нем была изображена молодая, здоровая, блистающая красотой женщина в корсаже из золотой парчи, унизанном цветами из драгоценных камней, в пурпурном плаще, с черными волосами, ниспадавшими локонами на плечи и украшенными рубинами и жемчугами. В таком наряде была я более сорока лет назад, на другой день после моей свадьбы. Я была красива, но это продолжалось недолго, ибо в душе у меня уже тогда царила смерть.

— Портрет, о котором вы говорите, находится в замке Исполинов, в комнате Альберта, — побледнев, сказала Консуэло. — Это портрет его матери. Он почти не знал ее и все же боготворил… В минуты экстаза ему казалось, что он видит и слышит ее. Очевидно, вы близкая родственница

благородной Ванды фон Прахалиц и поэтому…

— Ванда фон Прахалиц — это я, — ответила сивилла уже более твердым голосом. — Я мать Альберта и вдова Христиана Рудольштадта. Я происхожу из рода Яна Жижки, поборника Чаши. Я свекровь Консуэло, но отныне хочу быть только ее другом или приемной матерью, ибо Консуэло не любит Альберта, а Альберт не должен быть счастлив ценой несчастья своей подруги.

— Мать! Вы мать Альберта! — воскликнула Консуэло, задрожав и падая на колени перед Вандой. — Так, значит, вы привидение? Ведь вас оплакивали в замке Исполинов как умершую.

— Двадцать семь лет тому назад, — ответила сивилла, — Ванда фон Прахалиц, графиня Рудольштадт, была погребена в той же часовне и под той же плитой, где в прошлом году был погребен Альберт Рудольштадт. Он страдал той же болезнью, был подвержен таким же припадкам каталепсии и стал жертвой такой же ошибки. Сын никогда не был бы извлечен из этой ужасной могилы, если бы мать, которая знала об угрожавшей ему опасности, не следила, оставаясь невидимой, за его агонией и не видела своими глазами его погребение. Мать спасла это существо, еще полное сил и жизни, от могильных червей, на съедение

которым его оставили. Мать вырвала его из рабства того мира, где он прожил слишком долго и где больше не мог жить, и перенесла в другой, таинственный мир, в недоступное убежище, где она сама вновь обрела если не физическое здоровье, то по крайней мере душевный покой. Это необыкновенная история, Консуэло, и тебе надо узнать ее, чтобы понять историю Альберта, его безрадостную жизнь, его мнимую смерть и чудесное воскресение. Сборище Невидимых, где будет происходить твое посвящение, начнется лишь в полночь. Слушай же меня, и пусть волнение, которое ты испытаешь, узнав эту историю, подготовит тебя к тем волнениям, которые тебе предстоят.

Глава 33

— Я была богата, красива, принадлежала к знатному роду, когда в двадцать лет меня выдали замуж за сорокалетнего графа Христиана. Он годился мне в отцы и внушал чувство привязанности и уважения, но отнюдь не любви. Я была воспитана в неведении того, что значит это чувство в жизни женщины. Мои родители, ревностные лютеране, вынужденные, однако, исповедовать свою религию втайне, отличались чрезвычайной суровостью взглядов и огромной силой духа. Их ненависть ко всему чужеземному, их внутреннее возмущение против религиозного и политического ига Австрии, их фанатическую любовь к прежней свободе родины я впитала с молоком матери, и эти благородные страсти полностью удовлетворяли меня в годы моей юности. Я не подозревала о том, что существует иная страсть, а моя мать, которая никогда не знала ничего, кроме чувства долга, сочла бы преступным предупредить меня об этом. Император Карл, отец Марии-Терезии, долго преследовал мою семью за еретические воззрения и поставил

под угрозу наше состояние, нашу свободу и почти что самую нашу жизнь. Я могла спасти родителей замужеством с католическим вельможей, приверженцем империи, и принесла себя в жертву с гордостью, даже с восторгом. Из тех лиц, на которых мне указали, я выбрала графа Христиана, ибо его кроткий, спокойный и, по-видимому, слабый характер давал надежду на то, что мне удастся тайно склонить его к политическим взглядам моей семьи. Отец и мать приняли это доказательство моей преданности и благословили меня. Я думала, что моя добродетель принесет мне радость. Но несчастье, если ты чувствуешь всю его силу и всю несправедливость, не есть та сфера, где свободно развиваются душевные силы. Вскоре я поняла, что под благожелательной кротостью рассудительного и тихого Христиана скрываются непреодолимое упорство, упрямая преданность обычаям своего сословия и предрассудкам своей среды, а также нечто вроде сострадательной ненависти и горестного презрения к любой идее сопротивления и борьбы против установленного порядка вещей. Общение с сестрой его Венцеславой, любящей, деятельной, великодушной, но еще более, чем он, порабощенной пустыми обрядами благочестия и высокомерием своего

круга, было мне и приятно и мучительно. Эта тирания ласкала, но и давила; эта дружба, хоть и непритворная, была в то же время совершенно невыносима. Я смертельно страдала от полного отсутствия духовной близости с этими существами. И хоть я любила их, соприкосновение с ними меня убивало, и вся атмосфера их дома медленно иссушала мою душу. Вам известна история юности Альберта, его восторженные порывы, которые всегда подавлялись, его религиозные идеи, которых не понимали, его протестантские убеждения, за которые его обвинили в ереси и безумии. Моя жизнь была прелюдией к его жизни, и вам, наверное, случалось слышать от кого-нибудь из Рудольштадтов восклицания, выражавшие ужас и скорбь по поводу этого пагубного сходства между сыном и матерью как в нравственном, так и в физическом отношении.

Отсутствие любви было величайшим несчастьем моей жизни, и именно от него произошли все остальные беды. К Христиану я питала глубокую привязанность, но ничто в нем не могло вызвать в моей душе более пылкое чувство, а именно такое чувство было мне необходимо, чтобы смягчить резкое различие наших взглядов. Строгое религиозное воспитание, которое

я получила, не позволяло мне разделять эти два понятия — рассудок и любовь. Я без конца терзала себя. Здоровье мое пошатнулось, нервы расстроились, у меня появились галлюцинации, приступы исступленного восторга. Мои родные называли их припадками безумия и тщательно скрывали от всех вместо того, чтобы лечить. Все же они сделали попытку развлечь меня и начали вывозить в свет, как будто балы, спектакли и празднества могли заменить мне симпатию, любовь и доверие. В Вене я занемогла так серьезно, что меня отвезли обратно в замок Исполинов. И это Грустное убежище, заклинания капеллана и жестокая дружба канониссы все-таки были для меня приятнее, нежели увеселения при дворе наших тиранов. Смерть пятерых детей, которых я потеряла одного за другим, нанесла мне последние удары. Я решила, что само небо прокляло мой брак, и стала упорно мечтать о смерти. От жизни я уже не ждала ничего. Я силилась не любить Альберта, последнего моего ребенка, ибо была убеждена, что он обречен, как и остальные и что мои заботы все равно не смогут его спасти. В довершение всего пришло последнее несчастье, окончательно подкосившее мои силы. Я полюбила, была любима, но строгость моих взглядов

заставила меня задушить в себе даже мысль об этом роковом чувстве. Доктор, пользовавший меня во время частых и мучительных припадков, был на вид старше Христиана и не так красив, как он, так что меня привлекли не внешние его качества, а глубокая симпатия наших душ, соответствие взглядов, религиозных и философских воззрений, а также поразительная гармония характеров. Маркус — я могу назвать вам только его имя — обладал такой же энергией, таким же деятельным умом, такой же горячей любовью к родине, как и я. К нему, как и ко мне, вполне подошли бы слова Шекспира, вложенные им в уста Брута: «Я не из тех, кто безмятежно взирает на несправедливость». Нищета и унижение бедняка, рабство, деспотические законы и чудовищные злоупотребления, которые они допускали, все эти нечестивые права завоевателей вызывали в нем бурю негодования. О, какие потоки слез пролили мы вместе над невзгодами нашей родины и всего человечества, порабощенного, обманутого, отупевшего вследствие невежества в одном конце земли, разграбленного корыстолюбцами в другом, замученного и задавленного опустошительными последствиями войны в третьем, приниженного и несчастного во всем мире! Од-

нако Маркус, человек более просвещенный, чем я, старался придумать средство против всех этих зол и часто говорил мне о странных и таинственных проектах организации всемирного заговора против деспотизма и нетерпимости. Его замыслы казались мне фантастическими мечтами. Я уже ни на что не надеялась — я была слишком больна и слишком надломлена, чтобы верить в будущее. Он пылко любил меня, я это видела, чувствовала, я разделяла его страсть. И все-таки в течение пяти лет нашей мнимой дружбы и целомудренной близости мы ни разу не открыли друг другу связывавшей нас роковой тайны. Он мало бывал в замке. Под предлогом визитов к окрестным больным он часто отлучался куда-то, а в действительности занимался подготовкой заговора, о котором без конца рассказывал мне, не убедив меня, однако, в плодотворности его результатов. Всякий раз, как я снова видела Маркуса, меня все больше воспламеняли его ум, мужество, упорство. Возвращаясь, он всякий раз находил меня все более ослабевшей, все сильнее сжигаемой внутренним огнем, все более изнуренной физическими страданиями.

Во время одной из его отлучек у меня появились ужасные конвульсии, которые невежественный

и тщеславный доктор Вецелиус, — вы знаете его, — пользовавший меня в отсутствие Маркуса, назвал злокачественной лихорадкой. После припадка я впала в полную прострацию, которую приняли за смерть. Пульс не бился, дыхания не было слышно. И тем не менее я находилась в полном сознании. Я слышала молитвы капеллана и стенания моей семьи, слышала душераздирающие крики моего единственного ребенка, моего бедного Альберта, но не могла сделать ни одного движения, не могла даже взглянуть на него. Мне закрыли глаза, и у меня не было сил открыть их. Я думала, что, быть может, это смерть и что душа, лишенная воздействия на труп, сохранила во время кончины страдания жизни и ужас перед могилой. Лежа на смертном одре, я услышала страшные вещи. Капеллан, пытаясь смягчить искреннюю и острую скорбь канониссы, говорил ей, что надо благодарить бога за все и что это великое благо для моего мужа — избавиться от вечных тревог из-за моей болезни и из-за вспышек моей заблудшей души. Он употреблял не столь резкие выражения, но смысл их был именно таков, и канонисса, слушая его, понемногу успокаивалась. Она даже попыталась потом теми же самыми доводами утешить и Христиана, еще

более смягчив его слова, но сохранив их жестокий для меня смысл. Я слышала и понимала все с ужасающей отчетливостью. Это воля божия, говорили они, что я не буду воспитывать своего сына и что он с малых лет будет избавлен от яда ереси, которым я была заражена. Вот что было сказано моему супругу, когда, прижимая к груди Альберта, он воскликнул: «Бедное дитя! Что станется с тобой без матери!» — «Вы воспитаете его в духе божием!» — таков был ответ капеллана.

Наконец, после трех дней неподвижного и немого отчаяния, я была перенесена в склеп, так и не найдя в себе силы сделать хоть одно движение и ни на секунду не сомневаясь в ожидавшей меня страшной смерти. Меня осыпали драгоценными камнями, надели на меня роскошное подвенечное платье, то самое, в котором вы видели меня на портрете. Голову мне украсили венком из живых цветов, на грудь повесили золотое распятие и положили меня в длинную нишу белого мрамора, высеченную в подземной части часовни. Я не почувствовала ни холода, ни отсутствия воздуха — во мне жила только мысль.

Маркус приехал часом позже. Сперва отчаяние лишило его всякой способности рассуждать. Он бессознательно распростерся ниц на моей

могиле. Его увели насильно. Ночью он вернулся вооруженный молотком и ломом: ему пришла в голову страшная догадка. Он знал о моих летаргических припадках. Правда, они никогда не бывали такими длительными, до такой степени напоминающими смерть, но несмотря на то, — что ему случалось наблюдать это странное состояние лишь в течение нескольких минут, он мог сделать вывод о возможности ужасной ошибки. Познания Вецелиуса не внушали ему ни малейшего доверия. Я слышала его шаги над моей головой, я узнала их. Звук железа, приподымавшего каменную плиту, заставил меня вздрогнуть, но я не могла издать ни единого возгласа, ни единого стона. Когда он поднял покрывало, закрывавшее мне лицо, я до такой степени изнемогла от усилий окликнуть его, что казалась более мертвой, чем когда бы то ни было. Он долго колебался, он тысячу раз вопрошал мое угасшее дыхание, мое сердце, мои оледеневшие руки. Я была застывшей и неподвижной, как труп. Я слышала, как он в отчаянии прошептал: «Это конец! Надежды нет! Умерла, умерла!.. О Ванда!» Он снова опустил покрывало, но не закрыл меня камнем. Снова воцарилась жуткая тишина. Быть может, он лишился чувств? Или

тоже покинул меня, но, исполненный ужаса, внушенного зрелищем той, кого любил, забыл закрыть мой гроб?

Однако, погруженный в мрачное раздумье, Маркус размышлял в это время над одним планом, трагическим, как его скорбь, необычным, как его характер. Он решил избавить мое тело от мерзости разложения. Он решил тайно вынести его, набальзамировать, замуровать в металлическом гробу и навсегда сохранить подле себя. Он спрашивал себя, хватит ли у него мужества на это, и вдруг, в порыве экзальтации, сказал себе, что хватит. Он вынул меня из гроба и, не зная еще, позволят ли ему силы донести труп до его жилища, находившегося более чем в миле от замка, положил меня на каменный пол, а нишу закрыл плитой с тем нечеловеческим хладнокровием, какое часто сопровождает порывы безумия. Потом он плотно закутал меня своим плащом и вынес из замка: в то время замок не запирался так тщательно, как сейчас, ибо шайки преступников, появившихся после войны, еще не показывались в окрестностях. Я была так худа, что ноша оказалась не слишком тяжелой. Выбирая самые безлюдные тропинки, Маркус миновал лес. Он много раз опускал меня на землю, изнемогая не

столько от усталости, сколько от отчаяния и горя. Впоследствии он рассказывал мне, что мысль о похищении трупа ужасала его и что были минуты, когда он готов был отнести меня обратно в могилу. Наконец он дошел до своего жилища, бесшумно проник в сад и тайком пронес меня в отдельный флигель, служивший ему кабинетом для занятий. Только здесь радость, которую я испытала, увидев себя спасенной, первая радость за десять лет жизни, развязала мне язык, и я произнесла какое-то слово.

На смену изнеможению пришел новый бурный припадок. У меня откуда-то взялись непомерные силы — я кричала, вопила. Прибежали служанка и садовник, думая, что Маркуса убивают. Но у него хватило присутствия духа выбежать им навстречу и сказать, что некая дама явилась к нему, чтобы тайно разрешиться от бремени, и что он убьет каждого, кто попытается ее увидеть, а тот, кто проговорится об этом, будет немедленно уволен. Обман увенчался успехом. Тяжело больная, я пролежала в этом флигеле три дня. Не отходя ни на шаг, Маркус ухаживал за мной с умением та старанием, равными силе его воли. Когда я начала выздоравливать и обрела способность рассуждать, то со страхом приникла к нему, ду-

мая, что теперь нам надо расстаться.

«О, Маркус! — вскричала я. — Зачем вы не дали мне умереть здесь, в ваших объятиях? Если вы любите меня, то лучше убейте! Для меня возвращение в семью хуже смерти».

«Сударыня, — ответил он твердо, — вы никогда не вернетесь домой, я дал эту клятву богу и самому себе. Отныне вы принадлежите одному мне и покинете меня, только переступив через мой труп».

Это страшное решение ужаснуло и в то же время восхитило меня. Я была слишком потрясена и слишком слаба, чтобы осознать всю его важность. Я слушала Маркуса с боязливой и доверчивой покорностью ребенка. Он заботился обо мне, лечил меня, и постепенно я привыкла к мысли никогда не возвращаться в Ризенбург, не опровергать своей мнимой смерти. Стараясь меня убедить, Маркус был необыкновенно красноречив. Он говорил, что моя супружеская жизнь немыслима и что я не имею права идти на верную смерть. Он клялся, что найдет способ надолго укрыть меня от людей и сумеет на всю жизнь оградить от опасности видеть тех, кто знал меня прежде. Обещал, что будет следить за здоровьем моего сына и найдет для меня возможность тайно видеть

его. Он так твердо уверил меня в реальности этой необыкновенной перспективы, что я позволила себя убедить. Я согласилась уехать с ним и навсегда отказаться от имени графини Рудольштадт.

Однако в ту ночь, когда мы собирались ехать, за Маркусом пришли из замка с известием, что Альберт опасно заболел. Материнская нежность, казалось, заглушенная несчастьем, вновь вспыхнула в моей груди. Я решила во что бы то ни стало сопровождать Маркуса в Ризенбург, и ни один человек в мире, даже сам Маркус, не смог бы меня разубедить. Я села с ним в карету и, покрытая длинной вуалью, стала с мучительной тревогой ждать невдалеке от замка возвращения Маркуса, чтобы получить известие о здоровье сына. Вскоре Маркус вернулся, уверил меня, что мальчик вне опасности, и предложил отвезти меня обратно, с тем чтобы самому опять поехать в замок и провести ночь возле Альберта. Но я не могла согласиться на это. Прячась за темными стенами замка, дрожа и волнуясь, я решила ждать еще, а он ушел в дом ухаживать за моим сыном. Но не успела я остаться одна, как ужасная тревога стала грызть мое сердце. Я вообразила, что Маркус скрыл от меня истинное положение Альберта, что, быть может, он умирает, что он умрет без

последнего материнского поцелуя. Под влиянием этой ужасной мысли я бросилась в галерею замка. Слуга, попавшийся мне навстречу, уронил факел и убежал крестясь. Вуаль закрывала мое лицо, но появления женщины среди ночи было вполне довольно, чтобы разбудить суеверные догадки простодушных слуг. Они не сомневались, что я — призрак несчастной и нечестивой графини Ванды. Благодаря счастливой случайности мне удалось проникнуть в спальню сына, не встретив никого более, а канонисса как раз в эту минуту вышла оттуда за каким-то лекарством, которое велел дать ребенку Маркус. Муж мой, вместо того чтобы деятельно бороться с опасностью, по своему обыкновению молился в часовне. Я бросилась к Альберту и прижала его к груди. Он совершенно не испугался и отвечал на мои поцелуи — он не понимал тех, кто говорил ему, что я умерла. В этот миг на пороге появился капеллан. Маркус решил, что все погибло. Однако с редким присутствием духа он продолжал стоять неподвижно и делать вид, что не замечает меня. Капеллан прерывающимся голосом произнес несколько слов заклинания и, не посмев сделать ни шагу, упал без чувств. Тогда я решилась бежать через другую дверь и в темноте добралась до места, где

прежде меня оставил Маркус. Я успокоилась — ведь я увидела, что Альберту стало лучше; у него были теплые ручки, и на лице уже не играл лихорадочный румянец. Обморок и испуг капеллана были приписаны тому, что ему померещился призрак. Он уверял, что видел меня с ребенком на руках рядом с Маркусом. Маркус же уверял, что ничего не видел. Альберт быстро заснул. Но наутро он стал расспрашивать обо мне и потом, не веря, что я умерла, хоть ему и старались это внушить, стал часто видеть меня во сне и без конца призывал меня к себе. С этого дня детство Альберта было омрачено неусыпным надзором, и суеверные души Ризенбурга без конца возносили молитвы, отгоняя роковой призрак матери от его колыбели.

Маркус отвел меня домой до рассвета, и мы отложили наш отъезд еще на неделю, а когда мой сын поправился совершенно, покинули Чехию. С той поры для меня началась кочевая, исполненная таинственности жизнь. Вечно скрываясь в случайных убежищах, вечно прячась под вуалью во время путешествий, нося вымышленное имя и не имея во всем мире ни одного наперсника, кроме Маркуса, я долгие годы провела с ним в чужих краях. Он постоянно переписывался с

одним своим другом, и тот подробно сообщал ему обо всем, что происходило в Ризенбурге, то есть о здоровье, характере и воспитании моего сына. Плачевное состояние моего собственного здоровья давало мне право вести самую замкнутую жизнь и никого не видеть. Я считалась сестрой Маркуса и много лет прожила в Италии на уединенной вилле, тогда как он проводил часть года в путешествиях и продолжал добиваться осуществления своих обширных замыслов. Я не стала любовницей Маркуса. Надо мной все еще тяготели религиозные предрассудки, и мне понадобилось десять лет размышлений, чтобы постичь право человеческого существа сбросить с себя иго безжалостных и неразумных законов, управляющих человеческим обществом. Слывя умершей и не желая рисковать так дорого доставшейся мне свободой, я не могла обратиться ни к духовной, ни к гражданской власти, чтобы разорвать брак с Христианом; к тому же мне не хотелось растравлять его утихшую боль. Он не знал, как несчастна была я с ним, и верил, что в смерти я обрела счастье и покой, подарив мир семье и спасение его сыну. При таком положении вещей я считала себя как бы осужденной быть ему верной до конца жизни. А впоследствии,

когда стараниями Маркуса ученики новой веры объединились и осуществили тайную организацию духовной власти, когда я изменила свои взгляды настолько, что могла бы принять этот новый собор и вступить в новую церковь, имевшую право расторгнуть мой брак и освятить наш союз, было уже поздно. Утомленный моим упорством, Маркус узнал новую, разделенную любовь, и я самоотверженно поощряла его чувство. Он женился, я стала другом его жены, но он не был счастлив. Эта женщина не обладала ни достаточно большим умом, ни достаточно большим сердцем, чтобы понять ум и сердце такого человека, как он. Он не мог посвящать ее в свои замыслы и остерегался рассказывать ей о своих успехах. Спустя несколько лет она умерла, так и не разгадав, что Маркус не переставал любить меня. Я ухаживала за ней на ее смертном одре, я закрыла ей глаза с чистой совестью, не радуясь исчезновению препятствия, вставшего на пути моей длительной и жестокой страсти. Молодость ушла, я была сломлена. Прожитая жизнь была слишком тяжела, слишком сурова, чтобы я могла изменить ее теперь, когда годы начали серебрить мои волосы. Наконец-то пришло спокойствие старости, и я глубоко прочувствовала торже-

ственность и святость этой фазы нашей женской жизни. Да, наша старость, как и вся наша жизнь, когда мы начинаем понимать ее смысл, содержит в себе нечто более значительное, нежели старость мужчины. Мужчины могут обмануть бег лет, могут любить и становиться отцами в более преклонном возрасте, нежели мы, тогда как нам природа назначила предел, переходить который нельзя, ибо есть нечто чудовищное, нечестивое и смешное в нелепом желании пробуждать любовь и посягать на блестящие преимущества нового поколения, которое пришло нам на смену и уже гонит нас прочь. В этот торжественный час она ждет от нас урока и примера, а чтобы быть вправе поучать, нужна жизнь, полная созерцания и размышления, — жизнь, которую бесплодные любовные треволнения могли бы только смутить и потревожить. Молодость способна вдохновляться собственным пылом и черпает в нем высокие откровения. Зрелый возраст может общаться с богом, лишь сохраняя величавую ясность духа, дарованную ему как последнее благодеяние. Сам бог помогает нам мягко и незаметно вступить на этот путь. Он заботливо усмиряет наши страсти и преображает их в мирные дружеские чувства; он отнимает у нас преимущество красоты и та-

ким образом отгоняет опасные соблазны. Итак, ничего нет легче приближения старости, что бы там ни говорили и ни думали те слабодушные женщины, которые суетятся в свете и с каким-то яростным упорством стремятся скрыть от других и от самих себя увядание своих прелестей и конец своей женской судьбы. Старость лишает нас пола, освобождает от страшных мук материнства, а мы все еще не можем постичь, что настал час, когда мы делаемся похожими на ангелов. Впрочем, вам, милое дитя, еще так далеко до того предела, который страшит, но и привлекает, как привлекает тихая гавань после бури, что все мои рассуждения неуместны. Пусть же они помогут вам хотя бы понять мою историю. Я по-прежнему оставалась сестрой Маркуса, но все эти подавленные чувства, эти побежденные желания, истерзавшие нашу молодость, придали нашей зрелой дружбе такую крепость и такое пылкое взаимное доверие, каких не встретишь в обычных дружеских отношениях. Однако я еще ничего не сказала вам о работе ума и о серьезных занятиях, которые в течение первых пятнадцати лет не позволяли нам всецело отдаваться нашим страданиям, а потом мешали сожалеть о них. Вам уже известны сущность, цель и результат этих за-

нятий — вас приобщили к ним прошлой ночью, а сегодня вы узнаете еще больше через посредство Невидимых. Могу сказать только, что Маркус находится среди них и что это он создал их тайный совет и организовал их общество при содействии одного добродетельного князя, который все свое состояние отдает на нужды известного вам таинственного и великого дела. Я тоже отдаю ему всю мою жизнь вот уже пятнадцать лет. После двенадцатилетнего отсутствия я была, с одной стороны, настолько забыта, а с другой — так переменилась, что могла уже вновь появиться в Германии. К тому же странное существование, обусловленное некоторыми особенностями работы нашего ордена, помогало мне сохранить инкогнито. Мои обязанности состояли не в энергичном распространении взглядов ордена — эта работа предназначается вам, ведущей столь блестящую жизнь, — а в некоторых секретных поручениях. Благодаря моей осторожности они выполнялись мною с успехом и требовали путешествий в разные страны — сейчас я расскажу вам о них. Вернувшись, я стала жить уже совсем затворницей. Для вида я исполняю обязанности скромной домоправительницы части владений князя. В действительности же занимаюсь делами ордена,

веду обширную переписку от имени совета со всеми видными членами братства, принимаю их здесь и нередко вместе с Маркусом возглавляю их совещания, когда князь и другие крупные руководители бывают в отъезде. Словом, я всегда имею заметное влияние на решения, требующие именно женской тонкости и женского чутья. Наряду с обсуждающимися и разбирающимися здесь философскими вопросами — с некоторых пор меня сочли достаточно созревшей для участия в этих обсуждениях, — часто приходится рассматривать и решать также вопросы, связанные с человеческими переживаниями. Ведь в попытках приобрести сторонников во внешнем мире нам нередко случается встречать помощь или противодействие таких страстей, как любовь, ненависть, ревность. Через посредство сына, а иногда и лично, выдавая себя за гадалку или ясновидящую, которые так интересуют придворных дам, я часто встречалась с принцессой Амалией Прусской, с привлекательной, но несчастной принцессой Кульмбахской и, наконец, с юной маркграфиней Байрейтской, сестрой Фридриха. Нам приходилось завоевывать этих женщин больше сердцем, нежели умом. Смею сказать, что я добросовестно старалась привлечь их к нам и

достигла цели. Но сейчас я хочу говорить с вами не об этой стороне моей жизни. В своей будущей деятельности вы найдете мой след и продолжите то, что начала я. Я хочу рассказать вам об Альберте, рассказать о той стороне его существования, которая вам неизвестна. У нас еще есть время. Уделите мне немного внимания, и вы поймете, каким образом в той ужасной и странной жизни, которую я себе создала, мне наконец удалось познать радость материнской любви.

Глава 34

Благодаря стараниям Маркуса, осведомлявшего меня о мельчайших подробностях событий, происходивших в замке Исполинов, я узнала о решении семьи отправить Альберта путешествовать, о выбранном для него маршруте, и немедленно помчалась в те же края, чтобы встретиться с ним. Я имею в виду тот период странствий, о котором только что вам рассказала, и нередко Маркус сопровождал меня. Гувернер и слуга, которых послали с Альбертом, никогда не видели меня, и поэтому я не боялась попасться им на глаза. Мне так не терпелось увидеть моего сына, что, следуя за ним на расстоянии нескольких часов пути, я с трудом заставила себя не встречаться с ним до Венеции, где предполагалась его первая остановка. Однако я твердо решила показаться ему лишь в обстановке таинственности и торжественности — ведь не только горячее материнское чувство толкало меня в его объятия, нет, у меня был и другой, еще более важный, еще более материнский долг — вырвать Альберта из круга узких суеверных представлений, которыми

его пытались опутать. Мне надо было завладеть его воображением, доверием, умом, всей его душой. Я думала, что он ревностный католик, и в этот период он как будто и был им. Он неукоснительно соблюдал все обряды католического богослужения. Лица, сообщавшие Маркусу эти подробности, не знали, что таилось в сердце Альберта. Не больше знали и его отец с теткой. Они могли упрекнуть его лишь в чрезмерно строгом выполнении долга, в чрезмерно наивном и пылком толковании Евангелия. Они не понимали, что благодаря своей строгой логике и полному чистосердечию мой благородный сын, упорно стремившийся исповедовать истинное христианство, уже был страстным, неисправимым еретиком. Меня немного пугал приставленный к нему гувернер-иезуит. Я опасалась, что, подойдя к сыну, буду сразу замечена этим неутомимым аргусом, что он будет чинить мне всевозможные препятствия. Но вскоре я убедилась, что недостойный аббат XXX не заботился даже о здоровье Альберта и что мой сын, не видевший ухода также со стороны слуг и не любивший отдавать им распоряжения, был предоставлен самому себе во всех городах, где проводил по несколько дней. С тревогой следила я за каждым шагом Альберта. В

Венеции, остановившись в той же гостинице, что и он, я наконец увидела его одного. Задумавшись, он спустился с лестницы, миновал коридор, вышел на набережную. О, можете себе представить, как забилось при взгляде на него мое сердце, как забурлили во мне все чувства, какие потоки слез хлынули из моих изумленных и восхищенных глаз. Он показался мне таким красивым, таким благородным и, увы, таким печальным! А ведь это было единственное существо, которое мне дозволено было любить на этой земле. Я осторожно пошла за ним. Вечерело. Он вошел в церковь святого Ийанна и святого Павла — в суровый храм со множеством гробниц, который вам, конечно, хорошо известен. Он опустился на колени в углу храма. Я прокралась туда и спряталась за одним из надгробных памятников. Церковь была пуста, мрак сгущался с каждой минутой. Альберт был неподвижен, как статуя, но, казалось, он не молился, а скорее размышлял о чем-то. Светильник на алтаре слабо озарял его лицо. Оно было так бледно, что я испугалась. Остановившийся взгляд, полуоткрытые губы, отчаяние, сквозившее в его позе и выражении лица, надрывали мне сердце. Я дрожала, как колеблющееся пламя светильника. Мне казалось, что, если бы я открылась ему сей-

час, он упал бы без чувств. Я вспомнила все, что говорил мне Маркус о его болезненной впечатлительности, о том, как опасны для этой нервной организации всякие внезапные волнения. И, чтобы не поддаться порыву моей любви, я вышла из церкви и стала ждать его у входа. На свое платье, правда, очень скромное и темное, я еще раньше набросила коричневый плащ с капюшоном, закрывавшим лицо и придававшим мне вид итальянки из простонародья. Когда он вышел, я невольно шагнула ему навстречу. Он остановился и, приняв меня за нищенку, наугад вынул из кармана золотую монету и протянул ее мне. Ах, с какой гордостью, с какой признательностью приняла я это подаяние! Взгляните, Консуэло, это венецианский цехин. Я велела просверлить в нем дырочку, вдела в него цепочку и всегда ношу на груди как драгоценность, как реликвию. С тех пор этот подарок, освященный рукой моего сына, никогда меня не покидает. Не совладав со своим волнением, я схватила эту дорогую руку и прижала ее к губам. Он с испугом отдернул руку — она была влажной от моих слез.

«Что вы делаете, женщина? — сказал он, и его чистый, звучный голос отдался в самой глубине моего сердца. — Почему благословляете меня за

столь ничтожный дар? Должно быть, вы очень несчастны — ведь я дал вам так мало. Что нужно сделать, чтобы вы перестали страдать? Скажите. Я хочу утешить вас и надеюсь, что это будет в моих силах».

И, не глядя, он вынул все золото, какое при нем было.

«Ты дал мне достаточно, добрый юноша, — ответила я, — больше мне не нужно».

«Тогда почему вы плачете? — спросил он, пораженный рыданиями, от которых я задыхалась. — Значит, у вас есть горе, которому бессильны помочь мои деньги?»

«Нет, я плачу от умиления и от радости», — ответила я.

«От радости! Значит, бывают слезы радости? И столько слез из-за золотой монеты! О, человеческая нищета! Женщина, прошу тебя, возьми все, только не плачь от радости. Подумай о твоих братьях-бедняках. Их так много, они так унижены, так жалки, а облегчить участь всех я бессилен». Он ушел вздыхая. Боясь выдать себя, я не решилась следовать за ним.

Свое золото он оставил на камне, словно стремясь поскорее избавиться от него. Я подняла монеты и опустила в кружку для милостыни,

чтобы исполнить благородное желание моего сына. На следующий день я опять подстерегла его и увидела, как он вошел в собор святого Марка. Я решила быть более сильной и спокойной, и это удалось мне. Мы опять оказались одни в полумраке церкви. Он опять долго размышлял, а потом, поднимаясь с колен, вдруг прошептал: «О Христос! Каждый день своей жизни они распинают тебя!»

«Да, фарисеи и книжники!» — ответила я, прочитав его мысль.

Он вздрогнул, с минуту помолчал, а потом, не оборачиваясь и не пытаясь взглянуть, кто же произнес эти слова, тихо сказал:

«Опять голос моей матери!»

Консуэло, я чуть не лишилась чувств, когда услышала, что Альберт помнит меня, что в его сердце сохранилась сыновняя любовь. Но страх повредить его рассудку, и без того сильно возбужденному, снова остановил меня. Я опять вышла и стала ждать его у входа, а когда он прошел мимо, не двинулась с места, радуясь уже тому, что видела его. Однако он сам заметил меня и отступил в страхе.

«Синьора, — сказал он после минутного колебания, — почему вы опять просите милостыню?

Неужели это и в самом деле ремесло, как уверяют безжалостные богачи? Разве у вас нет семьи? Разве вместо того, чтобы, как привидение, бродить по ночам около церквей, вы не можете позаботиться о ком-нибудь? Неужели того, что я вам дал вчера, не хватило на ночлег сегодня? Или вы хотите захватить ту долю, которая могла бы достаться вашим братьям?»

«Я не прошу милостыни, — ответила я. — Твое золото я опустила в ящик для бедных, все, кроме одного цехина — этот я хочу сохранить из любви к тебе».

«Кто же вы? — воскликнул он, схватив меня за руку. — Ваш голос волнует меня до глубины души. Мне кажется, что я знаю вас. Откройте ваше лицо!.. Впрочем, нет, я не хочу его видеть, вы внушаете мне страх».

«Ах, Альберт! — вскричала я, потеряв всякую власть над собой, забыв о благоразумии. — Значит, и ты… ты тоже боишься меня?»

Он задрожал всем телом и опять прошептал с выражением страха и благоговения:

«Да, это ее голос — голос моей матери!»

«Я не знаю, кто твоя мать, — возразила я, испугавшись собственной неосторожности, — но мне известно твое имя, потому что оно уже знакомо

беднякам. Чем я так испугала тебя? Как видно, твоя мать умерла?»

«Они говорят, что умерла, — отвечал он, — но для меня она жива».

«Где же она?»

«В моем сердце, в мыслях, постоянно, непрерывно. Мне снился ее голос, снилось ее лицо, сто — нет, тысячу раз».

Пылкое чувство, которое влекло его ко мне, восхитило, но в такой же мере и устрашило меня. Я увидела в нем признак душевного расстройства. И поборола свою нежность, чтобы успокоить его.

«Альберт, я знала вашу мать, — сказала я. — Я была ее другом. Она давно поручила мне поговорить с вами о ней, поговорить в тот день, когда вы будете достаточно взрослым, чтобы понять меня. Я не та женщина, какой кажусь. Вчера и сегодня я ходила за вами следом лишь для того, чтобы найти случай поговорить с вами. Выслушайте же меня спокойно и не поддавайтесь суеверным страхам. Согласны вы пойти под аркады Прокураций — сейчас они пустынны — и побеседовать со мной? Достаточно ли вы спокойны, достаточно ли сосредоточены для этого ваши чувства?»

«Вы друг моей матери! — воскликнул он. — Вам она поручила рассказать о себе! О да, говорите,

говорите! Вот видите — я не ошибся, внутренний голос предупредил меня! Я почувствовал, что в вас есть что-то от нее. Нет, я не суеверен, не безумен, просто сердце у меня более чувствительно, более восприимчиво к иным вещам, которых многие другие не чувствуют и не понимают. Вы поймете это — ведь вы знали мою мать. Расскажите же мне о ней, расскажите ее голосом, ее словами».

Когда мне удалось немного успокоить Альберта, я увела его в галерею и начала расспрашивать о его детстве, воспоминаниях, о принципах, в которых его воспитали, о том, как он относится к взглядам и убеждениям своей матери. Мои вопросы показали ему, что я посвящена во все семейные тайны и способна понять его сердце. О дочь моя! Какой восторг, какая гордость овладели мною, когда я увидела горячую любовь ко мне моего сына, его уверенность в моем благочестии и добродетели, его отвращение к суеверному ужасу, который внушала моя память католикам Ризенбурга, когда я увидела чистоту его души, величие его религиозных и патриотических чувств, наконец — все те благородные инстинкты, которые не смогло в нем заглушить католическое воспитание! И в то же время какую

глубокую скорбь вызвала во мне преждевременная и неизлечимая печаль этой юной души и борьба, которая уже готова была ее надломить, как некогда пытались надломить мою душу! Альберт все еще считал себя католиком. Он не осмеливался открыто восстать против законов церкви. У него была потребность верить в догматы общепринятой религии. Образованный и не по годам склонный к размышлению (ему едва исполнилось двадцать), он глубоко задумывался над длинной и печальной историей различных ересей и не мог решиться осудить некоторые из наших доктрин. Однако под влиянием историков церкви, которые так преувеличили и так извратили заблуждения сторонников нового, он не мог поверить им и был полон сомнений, то осуждая бунт, то проклиная тиранию и делая лишь один вывод — что люди, жаждущие добра, сбились с пути в своих попытках к преобразованиям, а люди, жаждущие крови, осквернили алтарь, стремясь его защитить.

Итак, надо было внести ясность в его суждения, осведомить об ошибках и крайностях обоих лагерей, научить смело защищать сторонников нового, несмотря на их прискорбную, но неизбежную горячность, и убедить покинуть стан

хитрости, насилия и порабощения, напомнив при этом о несомненно важном значении некоторых действий наших противников в более отдаленные времена. Просветить Альберта оказалось нетрудно. Он провидел, предугадывал, делал выводы еще до того, как я успевала закончить свои доказательства; его прекрасная натура была близка тому, что я хотела ему внушить. Однако, когда он окончательно понял все, скорбь, еще более тягостная, нежели сомнение, завладела его сокрушенной душою. Стало быть, истина нигде не признается на этой земле! Нет больше святилища, где бы соблюдался божеский закон! Ни один народ, ни одна каста, ни одно учение не проповедует христианскую добродетель и не пытается разъяснить ее и распространить! И католики и протестанты свернули с дороги, ведущей к богу. Повсюду царит право сильного, повсюду слабый унижен и находится в цепях. Христа ежедневно распинают на всех алтарях, воздвигнутых людьми!.. Вся ночь прошла в этой горькой и волнующей беседе. Башенные часы медленно отбивали время, но Альберт не обращал на них ни малейшего внимания. Меня пугала эта сила умственного напряжения, сулившая такую склонность к борьбе и к скорби.

С восхищением и тревогой я любовалась выражением мужественной гордости и отчаяния на лице моего благородного и несчастного сына. Я узнавала в нем себя, и мне казалось, что я перечитываю книгу своего прошлого и вновь начинаю вместе с ним путь длительных терзаний моего сердца и рассудка. На его высоком, освещенном луной челе отражалась духовная красота моей бесплодной, непонятой и одинокой юности, и я одновременно оплакивала его и себя. Его жалобы длились долго и надрывали мне сердце. Я еще не решалась рассказать ему тайну нашего заговора — я боялась, что сгоряча он может в своей скорби отвергнуть его как бесполезную и опасную попытку. Обеспокоенная тем, что он не спит и находится на улице в столь поздний час, я постаралась с осторожностью воздействовать на его воображение, пообещав, что укажу ему спасительную гавань, если он согласится ждать и готовить себя к важным секретным сведениям, и отвела его в гостиницу, где жили мы оба, пообещав новую встречу, но лишь через несколько дней: мне не хотелось чересчур сильно возбуждать его фантазию.

Только в минуту расставания ему пришло в голову спросить меня, кто я.

«Я не могу ответить вам на это, — возразила я, — так как ношу вымышленное имя. У меня есть причины скрываться, никому обо мне не говорите». Больше он никогда не задавал мне никаких вопросов и, казалось, был удовлетворен моим ответом, но его деликатная сдержанность сопровождалась и другим чувством — странным, как его характер, и мрачным, как вся его манера мыслить. Значительно позже он сказал мне, что с той поры он долго принимал меня за душу своей матери, которая предстала перед ним в форме реальной женщины и при обстоятельствах, вполне объяснимых для обыкновенного человека, но в действительности сверхъестественных. Итак, мой дорогой Альберт, несмотря ни на что, упорно видел во мне свою мать. Он предпочитал придумывать какой-то нереальный мир, только бы не сомневаться в моем существовании, и мне не удавалось победить властный инстинкт его сердца. Все мои старания умерить его экзальтацию помогали лишь удерживать его в состоянии какого-то спокойного и сдержанного восторга, которому никто не противоречил и которым он ни с кем не делился — даже и со мной, источником этого восторга. Он благоговейно подчинялся воле призрака, запрещавшего ему узнавать и называть

себя, и упорно почитал себя в полной его власти.

Пугающее спокойствие, которое отныне сопутствовало Альберту во всех заблуждениях его ума, мрачное, стоическое мужество, помогавшее ему, не бледнея, встречать образы, порожденные его воображением, — все это вместе привело меня к роковой ошибке, длившейся очень долго. Я ничего не знала о его странной фантазии: оказывается, он решил, что я вторично появилась на земле. Я думала, что он принимает меня за таинственную подругу своей покойной матери и друга его юности. Правда, меня удивило, что неусыпные мои заботы почти не вызывают в нем удивления или любопытства, но слепая почтительность, мягкая покорность, полное отсутствие заботы о повседневных делах, — все это, казалось мне, вполне соответствовало его сосредоточенной, мечтательной, созерцательной натуре, и я недостаточно вдумывалась в тайные причины его поведения. Итак, стараясь укрепить его рассудок, борясь с чрезмерной восторженностью, я бессознательно помогала развитию того возвышенного и в то же время прискорбного безумия, жертвой и игрушкой которого он был столько времени.

Постепенно в ряде бесед, которые всегда проходили без наперсников и свидетелей, я раскрыла

ему учение, принятое и секретно распространяемое нашим орденом. Я посвятила его в проект всемирного преобразования. В Риме, в подземельях, где происходили наши таинства, Маркус свел Альберта с масонами, и те допустили его к начальным степеням своего братства. Правда, Маркус не открыл ему заранее тех символов, которые скрываются под столь неясными и необычными формами и имеют столь разнообразные толкования в зависимости от уровня понимания и мужества адептов. В течение семи лет я следовала за своим сыном, куда бы он ни поехал, причем всегда выезжала из оставленного им места на день позже, чем он, и приезжала в город, который он собирался посетить, на следующий день после его прибытия. Я всегда выбирала себе жилье подальше от него и никогда не показывалась на глаза ни его гувернеру, ни слугам, которых, впрочем, по моему совету он часто менял и не слишком приближал к себе. Нередко я спрашивала, не удивляет ли его то обстоятельство, что я бываю всюду, где бывает он.

«О нет, — отвечал он, — я знаю, что вы последуете за мной всюду, где бы я ни был».

Когда же я попросила его объяснить мне причину такой уверенности, он сказал:

«Матушка поручила вам вернуть меня к жизни, а вы знаете, что, если теперь покинете меня, я умру».

Он всегда разговаривал каким-то восторженным и даже вдохновенным тоном. Я привыкла к этому и, сама того не замечая, стала говорить так же. Маркус часто упрекал меня, да я и сама себя упрекала в том, что таким образом раздувала внутренний огонь, снедавший Альберта. Маркус хотел, чтобы мои уроки отличались большей положительностью, чтобы в них было больше хладнокровной логики, но в иные минуты я успокаивала себя мыслью, что, не будь той пищи, которую я ему доставляла, этот огонь испепелил бы его быстрее и еще более жестоко. Остальные мои дети проявляли когда-то такую же склонность к восторженному возбуждению, но окружающие угнетали их души, старались погасить их, как гасят факелы, пугаясь яркого пламени, и они погибли, еще не успев набрать силы для сопротивления. Без моего живительного дыхания, беспрестанно поддерживавшего в чистом воздухе свободы священную искру, тлевшую в душе Альберта, вероятно, он ушел бы к своим братьям, и точно так же без живительного дыхания Маркуса угасла бы я и сама, не успев

узнать, что такое жизнь.

Впрочем, я часто пыталась отвлечь ум Альберта от этого постоянного стремления к идеалу. Я советовала ему, даже требовала, чтобы он занимался предметами более земными. Он повиновался добросовестно и кротко. Стал изучать естественные науки, языки тех стран, где ему приходилось бывать; необыкновенно много читал, даже занимался искусством и пристрастился к музыке, но не взял учителя. Все это было лишь игрой, отдыхом для его всеобъемлющего, живого ума. Чуждаясь увлечений своего возраста, заклятый враг света с его суетой и тщеславием, он повсюду жил в глубоком уединении и, упорно отказываясь следовать советам гувернера, не желал бывать ни в одном салоне, ни при одном дворе. В двух-трех столицах он с трудом согласился повидать кое-кого из самых старинных и самых преданных друзей своего отца. В их домах он вел себя сдержанно и серьезно, ничем не вызвав их порицания, а в более интимные и дружеские отношения вступил лишь с несколькими адептами нашего ордена, с которыми познакомил его Маркус. Альберт попросил избавить его от необходимости заниматься распространением нашего учения до тех пор, пока он не обнаружит

в себе дара убеждения, — а он считал и нередко с полной откровенностью говорил мне, что у него еще не может быть такого дара, ибо еще нет и полной веры в превосходство наших методов. Пассивно, как покорный ученик, он переходил с одной ступени на другую, но, приглядываясь ко всему, руководствовался строгой логикой и величайшей добросовестностью, говоря, что оставляет за собой право предлагать реформы и улучшения в будущем, когда почувствует себя достаточно просвещенным, чтобы положиться на собственное вдохновение. Пока же он предпочитал смиренно и терпеливо подчиняться тем правилам, какие были уже установлены в нашем тайном обществе. Постоянно углубленный в науку и размышления, серьезный и уравновешенный в обращении, он умел держать своего гувернера на расстоянии. В конце концов аббат пришел к выводу, что это скучный педант, и решил по возможности отдалиться от него, чтобы на свободе заняться интригами своего ордена. Иногда Альберт подолгу жил без него во Франции и в Англии; аббат находился далеко, в ста лье, и Альберт ограничивался тем, что уславливался с ним о встрече, когда намеревался посетить новую страну. А бывало и так, что Аль-

берт путешествовал один. В этих случаях я могла свободнее видеться с сыном, и его необычайная нежность сторицей вознаграждала меня за мои заботы. Здоровье мое окрепло. Как это случается с организмами, перенесшими тяжелые болезни, я привыкла к ним и почти перестала их ощущать. Усталость, бессонные ночи, продолжительные беседы, трудные переходы не только не обессиливали меня, но, напротив, поддерживали какую-то постоянную и медлительную лихорадку, которая сделалась и до сих пор является моим нормальным состоянием. Вы видите меня тщедушной, дрожащей, но нет такой тяжелой и утомительной работы, какую я не смогла бы проделать с большей легкостью, чем вы, прелестный весенний цветок. Возбуждение сделалось моей стихией, и я отдыхаю от него на ходу, как те профессиональные гонцы, которые научились спать в седле.

Убедившись на собственном опыте, как много может вынести и совершить сильная душа в слабом теле, я несколько успокоилась и стала больше верить в силы Альберта. Иногда он бывал таким же усталым и надломленным, как я, а в иные минуты я видела его лихорадочно возбужденным — тоже как я сама. Мы часто страдали вместе от одинакового физического недомогания

— следствия одинаковых нравственных волнений, и, быть может, никогда наша близость не была более сладостной и нежной, чем в эти часы испытаний, когда один и тот же пламень горячил нашу кровь, когда одно и то же изнеможение вызывало слабые вздохи у нас обоих. Как часто казалось нам, что мы — одно слитное существо! Как часто, нарушая молчание, вызванное одной и той же мыслью, мы обращались друг к другу с одним и тем же словом! Как часто, наконец, взволнованные или, напротив, ослабевшие, мы пожатием рук передавали друг другу свой пылкий восторг или же свою тоску! Как много хорошего и дурного узнали мы вместе! О, мой сын! Единственная моя страсть! Плоть от плоти моей и кость от кости! Сколько бурь перенесли мы вместе под покровительством неба! Сколько выдержали ураганов, прижимаясь друг к другу и произнося один и тот же девиз спасения: любовь, истина, справедливость!

Мы жили в Польше, на границе Турции, и Альберт, уже посвященный во все тайны масонства и достигший высших ступеней, служивших последним звеном между этим подготовительным обществом и нашим, как раз собирался поехать в ту часть Германии, где мы находимся сейчас, что-

бы присутствовать на торжественном пиршестве Невидимых, когда граф Христиан Рудольштадт внезапно призвал его к себе. Для меня это было подобно удару грома. Что до сына, то, несмотря на все мои старания сохранить в нем память о семье, он уже не любил ее, она стала для него лишь милым воспоминанием о прошлом; он даже не представлял себе теперь возможности жить вместе с нею. Однако нам… и в голову не пришло воспротивиться этому приказанию, выраженному с холодным достоинством и полной уверенностью в отцовской власти: именно таково понятие о ней в католических и аристократических семьях нашей страны. Альберт покидал меня, не зная, на сколько времени нас разлучают, но даже не допуская мысли о том, что, быть может, теперь он долго не увидит меня и что нити, связывающие его с Маркусом и с обществом, требующим его участия, могут быть порваны. Альберт весьма смутно представлял себе, что такое время, и совсем не отдавал себе отчета в трудностях реальной жизни.

«Разве мы расстаемся? — спросил он, видя мои невольные слезы. — Нет, мы не можем расстаться. Ведь каждый раз, как я призывал вас из глубины сердца, вы приходили. Я позову вас опять».

«Альберт, Альберт, — ответила я, — на этот раз я не смогу последовать за тобой».

Он побледнел и прижался ко мне, как испуганный ребенок. Настал момент открыть ему мою тайну.

«Я не душа твоей матери, — сказала я после нескольких подготовительных фраз. — Я твоя мать».

«Зачем вы говорите мне это? — спросил он с какой-то странной улыбкой. — Разве я не знал этого сам? Разве мы не похожи друг на друга? Разве я не видел вашего портрета в Ризенбурге? Да и вообще — разве мог я забыть вас? Ведь я видел и знал вас всю жизнь!»

«И ты не удивился, увидев, что я жива? Ведь все считают меня погребенной в часовне замка Исполинов».

«Нет, — ответил он, — не удивился. Для этого я был слишком счастлив. Бог властен творить чудеса, и людей не должно удивлять это».

Этому необыкновенному юноше труднее было понять страшную действительность моей жизни, нежели поверить в реальность совершившегося со мной чуда. В мое воскресение он уверовал, как в воскресение Христа; мои теории относительно перевоплощения он воспринял буквально — он

поверил в них чрезмерно, то есть нисколько не удивился, считая, что я сохранила воспоминание о моей прежней личности после того, как мое тело распалось и приняло иную оболочку. Не знаю даже, удалось ли мне убедить его, что моя жизнь не была прервана обмороком и что мое тело не осталось в гробнице. Он слушал меня с рассеянным и вместе с тем возбужденным видом. Казалось, до его слуха доходили совсем не те слова, которые я произносила. В то время с ним происходило нечто необъяснимое. Страшные оковы еще держали душу Альберта на краю пропасти. Действительная жизнь еще не завладела им — ему предстояло перенести тот последний тяжелый припадок, из которого я сама каким-то чудом вышла победительницей, ту мнимую смерть, которая для него должна была стать последним усилием познания вечности, борющегося с познанием времени.

Когда он покидал меня, сердце мое разрывалось: мучительное предчувствие неясно говорило мне, что он близок к той же критической фазе, которая так бурно потрясла мое собственное существование, и что недалек час, когда Альберт погибнет или обновится. Я уже замечала у него склонность к каталепсии. На моих глазах он

засыпал иногда таким долгим, таким глубоким, таким пугающим сном, дыхание у него бывало при этом таким слабым, а пульс до того неуловимым, что я без конца твердила или писала Маркусу: «Никогда не позволим похоронить Альберта, а если это случится, не побоимся открыть его могилу». К несчастью, Маркус не мог более показываться в замке Исполинов, ему нельзя было вступить на землю Германской империи: он был серьезно скомпрометирован во время одного пражского восстания, которое действительно не обошлось без его участия. От суровости австрийских законов его спасло только бегство. Снедаемая тревогой, я вернулась сюда. Альберт обещал мне писать ежедневно. А я, со своей стороны, дала себе слово, что, если хоть однажды не получу письма, тотчас поеду в Чехию и явлюсь в Ризенбург, поставив на карту все.

Сначала боль разлуки была для него менее мучительна, чем для меня. Он не понимал, что произошло, он как будто этому не верил. Однако возвращение под тот мрачный кров, где самый воздух кажется отравой для пылких потомков Жижки, явилось для него жестоким ударом. Он немедленно заперся в той комнате, где когда-то жила я, стал звать меня и, видя, что я не прихожу,

решил, что я опять умерла и он уже не увидит меня в этой жизни. Во всяком случае, так он рассказывал мне впоследствии о чувствах, которые пережил в тот роковой час, когда рассудок и вера поколебались в нем на целые годы. Он долго смотрел на мой портрет. Портрет всегда лишь отчасти напоминает оригинал, и восприятие художника всегда настолько ниже того чувства, которое к нам питают и которое хранят в душе любящие существа, что никакое сходство не может их удовлетворить, а иной раз даже огорчает, даже возмущает их. В этом воплощении моей ушедшей молодости и красоты Альберт не узнал свою дорогую постаревшую мать, не узнал ее седин, казавшихся ему более величественными, ее увядшего бледного лица, так много говорившего его сердцу. Он с ужасом отошел от портрета и вернулся к родным мрачный, молчаливый, сокрушенный. Он пошел на мою могилу и ощутил там отчаяние и смятение. Мысль о смерти показалась ему чудовищной, и отец, чтобы его утешить, сказал, что я лежу здесь, что он должен встать на колени и помолиться об упокоении моей души.

«Об упокоении! — вскричал Альберт вне себя. — Об упокоении души! Нет, душа моей матери, так же, как и моя душа, не создана для небытия.

Ни я, ни моя мать — мы не хотим покоиться в могиле. Никогда, никогда! Эта католическая яма, эти замурованные гробницы, отречение от жизни, разлука неба с землей, души с телом — все это внушает мне ужас!»

Подобные слова сразу вселили страх в наивную и робкую душу отца Альберта. Он передал их капеллану, чтобы тот попытался растолковать их. Но этот ограниченный человек увидел в возгласе Альберта лишь подтверждение вечного проклятия, на которое я была осуждена. Суеверные страхи, воцарившиеся в умах тех, кто окружал моего сына, усилия всего семейства вернуть его на путь покорности католицизму быстро истерзали его сердце, и его экзальтация приняла совсем уже болезненный характер — в чем вы могли убедиться сами. Ум его начал мешаться. Видя доказательства моей смерти, прикасаясь к ним, он забыл, что знал меня живой, и я стала представляться ему лишь смутным призраком, готовым каждую минуту его покинуть. Силой своей фантазии он все время вызывал этот призрак и теперь обращался к нему с бессвязными речами, с возгласами, полными скорби, со зловещими угрозами. А когда спокойствие возвращалось, рассудок Альберта оставался словно окутанным

какой-то дымкой. Он утратил память о событиях, происшедших совсем недавно, и уверил себя, что восемь лет, прожитых возле меня, только приснились ему. Вернее сказать, эти восемь лет счастья, энергичной деятельности, физического здоровья казались ему теперь лишь сном, длившимся один час.

Не получив от него ни одного письма, я уже хотела мчаться к нему, но Маркус удержал меня. «Либо почта перехватывает наши письма, — говорил он, — либо их уничтожает семейство Рудольштадт». От своего верного корреспондента он по-прежнему получал известия о Ризенбурге. Мой сын слыл спокойным, здоровым и счастливым членом своей семьи. Вам известно, как старались там скрыть истинное положение вещей, и первое время это вполне удавалось.

Путешествуя, Альберт как-то познакомился и подружился с молодым Тренком. Тренк, которого любила принцесса прусская и преследовал король Фридрих, написал моему сыну о своих радостях и печалях. Он настойчиво просил Альберта приехать в Дрезден, ожидая от него помощи и совета. Альберт поехал к нему, и не успел он покинуть мрачный замок, как память, энергия, рассудок — все вернулось к нему. Тренк встре-

тился с моим сыном в обществе других неофитов ордена Невидимых. Здесь они до конца поняли друг друга и поклялись в вечной рыцарской дружбе. Заранее узнав от Маркуса об их предполагавшейся встрече, я помчалась в Дрезден, увиделась с Альбертом, последовала за ним в Пруссию, где он под чужим именем получил доступ в королевский дворец, чтобы помочь Тренку в его любовной истории и выполнить поручение Невидимых. Маркус полагал, что такого рода деятельность и сознание приносимой пользы спасут Альберта от опасной меланхолии. И он оказался прав — среди нас Альберт постепенно вернулся к жизни. Маркус собирался на обратном пути привезти его сюда и на некоторое время оставить в обществе достойнейших руководителей ордена. Он был убежден, что, дыша здешней, поистине живительной атмосферой, необходимой для возвышенного сердца Альберта, мой сын снова обретет ясность духа. Но одна досадная случайность внезапно поколебала доверие Альберта. Дорогой он встретился с обманщиком Калиостро, которого розенкрейцеры необдуманно посвятили в некоторые из своих тайн. Альберт, давно уже ставший розенкрейцером, имел теперь более высокую степень и председательствовал на одном

их собрании в качестве гроссмейстера. И здесь он увидел воочию то, что до той поры только предчувствовал. Он соприкоснулся со всеми разнородными элементами, составлявшими масонские братства; он увидел заблуждения, пристрастие, лицемерие и даже мошенничество, начинавшее проникать в эти святилища, уже охваченные безумием и пороками века. Калиостро с его умением разнюхивать мелочные секреты светского общества и преподносить потом свою осведомленность как откровение свыше, Калиостро, с увлекательным красноречием подражающий возвышенным проповедям революционеров, Калиостро с его завораживающим искусством вызывать мнимые призраки, — этот Калиостро, интриган и корыстолюбец, внушил отвращение благородному адепту. Легковерие людей светских, ограниченность и суеверие большинства франкмасонов, постыдная алчность, возбуждаемая обещаниями найти философский камень, все остальные убожества нашего века озарили его душу роковым светом. За время своей отшельнической, отданной умственным занятиям жизни он недостаточно разгадал сущность человеческого рода; он отнюдь не был подготовлен к борьбе с таким множеством дурных инстинктов и не

мог вынести всю эту низость. Он хотел, чтобы все шарлатаны и колдуны были разоблачены, чтобы их с позором прогнали из наших храмов. Ему претила мысль о необходимости принимать унизительное сотрудничество Калиостро, хотя теперь уже поздно было отделаться от него — ведь этот человек мог в раздражении погубить слишком много людей достойных, и, напротив, под влиянием лести и притворного доверия мог, даже не зная сущности нашего дела, оказать нам множество услуг. Альберт вознегодовал и проклял наше детище горячо и твердо, предсказывая, что мы потерпим крах, ибо допустили, чтобы слишком много примеси проникло в золотую цепь. Он уехал, сказав, что должен обдумать то, что мы силились ему объяснить относительно крайних средств, необходимых для осуществления любого заговора, и вернется просить о посвящении лишь тогда, когда рассеются его мучительные сомнения. Увы! Мы не знали тогда, какие зловещие думы владели им в уединении Ризенбурга; он ничего не рассказывал нам, а быть может, и сам забывал о них, когда рассеивалась их горечь.

Еще год он прожил там, переходя от спокойствия к возбуждению, от избытка сил к болезненному изнеможению. Изредка от него приходили

письма, но он никогда не говорил ни слова о своих страданиях и об утрате здоровья. С горечью восставал он против способов, применяемых в нашем деле. Он требовал, чтобы мы немедленно прекратили работать тайно и обманом заставлять людей пить из чаши духовного перерождения.

«Снимите ваши черные маски, — говорил он, — выйдите из подвалов. Сотрите с фронтона вашего храма слово тайна — вы украли его у католической церкви, и оно не годится для людей будущего. Неужели вы не видите, что пользуетесь средствами ордена иезуитов? Нет, я не могу работать с вами — это все равно, что искать жизнь среди трупов. Выйдите наконец на дневной свет. Не теряйте драгоценного времени, организуйте собственную армию. Имейте больше веры в ее пыл, в симпатию народов, в добровольность благородных инстинктов. К тому же солдаты развращаются в бездействии, а хитрость, к которой они прибегают, чтобы постоянно скрываться, отнимает у них мощь и энергию, необходимые для борьбы».

В теории Альберт был прав, но еще не пришло время осуществить его идеи на практике. И, быть может, это время еще далеко!

Но вот в Ризенбурге появились вы. Это произошло в одну из самых страшных минут его духовной жизни.

Вы знаете, или, вернее, не знаете, как подействовало на него ваше появление: он забыл все, что было не вы, он обрел новую жизнь, которая привела его к смерти.

Когда он решил, что между вами все кончено, силы окончательно оставили его, и он стал медленно угасать. До той поры я не имела представления ни об истинной причине, ни о серьезности его недуга. Друг Маркуса написал ему, что замок Исполинов все более замыкается для посторонних, что Альберт уже не выходит оттуда, что в обществе его считают одержимым, но бедный люд по-прежнему любит и благословляет его; в письме говорилось также, что некоторые весьма здравомыслящие особы, которым удалось его видеть, были сначала поражены странностью его манер, а расставаясь, восхищались его красноречием, высокой мудростью и величием его взглядов. Наконец я узнала, что туда вызвали Сюпервиля, и поспешила в Ризенбург, несмотря на возражения Маркуса, который, увидев, что я решилась на все, тоже рискнул всем, чтобы сопровождать меня. Мы подошли к стенам замка,

переодетые нищими. Никто не узнал нас. Меня не видели здесь двадцать семь лет, Маркуса — десять. Нам подали милостыню и прогнали. Но мы встретили нежданного друга и спасителя в лице бедного Зденко. Он отнесся к нам по-братски и привязался к нам, потому что понял, как горячо мы любим Альберта. Мы сумели придумать для него такие слова, которые нашли отклик в его восторженном сердце, и он поведал нам тайны мучительной тоски своего друга. Зденко уже не был тем разъяренным безумцем, который угрожал когда-то вашей жизни. Подавленный, сломленный, он, как и мы, приходил к воротам замка, смиренно справляясь о здоровье Альберта, и так же, как нас, его прогоняли, пугая неясными, внушающими тревогу ответами. По какому-то странному совпадению Зденко, как и Альберт, уверял, что знает меня, что я являлась ему в его видениях, что он не раз видел меня во сне, и теперь он бессознательно отдавался моей воле с каким-то наивным увлечением.

«Женщина, — часто говорил он мне, — я не знаю твоего имени, но ты добрый ангел моего Подебрада. Прежде я много раз видел, как он рисует на бумаге твое лицо, он часто описывал мне твой голос, твой взгляд, твою походку, но это случа-

лось только в его хорошие часы, когда перед ним открывалось небо и у его изголовья появлялись те, кого уже нет в живых, если верить людям».

Я не только не обрывала излияния Зденко, но, напротив, поощряла их. Я поддерживала его заблуждение и добилась того, что он повел меня и Маркуса в пещеру Шрекенштейна. Увидев это подземное жилище и узнав, что мой сын неделями, иногда месяцами жил здесь, скрытый от людей, я поняла причину мрачной окраски его мыслей. Я заметила могильный холм, к которому Зденко относился с каким-то особым поклонением, и не без труда выпытала у него, что он означает. То была величайшая тайна Альберта и Зденко, величайшее их сокровище.

«Ах! — сказал мне юродивый. — Здесь мы похоронили Ванду фон Прахалиц, мать моего Альберта. Она не хотела оставаться в той часовне, где ее замуровали. Ее кости все время ворочались и готовы были выскочить оттуда, а эти — добавил он, показывая на груду костей таборитов, лежавшую у источника, — все время упрекали нас за то, что мы не приносим ее сюда и не кладем рядом с ними. Тогда мы пошли за этим священным прахом и погребли его здесь, а потом каждый день приносили сюда цветы и поцелуи». Испугавшись,

как бы это обстоятельство не раскрыло моей тайны, Маркус начал расспрашивать Зденко и узнал, что мой гроб был принесен сюда нераскрытым. Итак, Альберт был до того болен, рассудок его до того помутился, что он уже забыл о моем существовании и упорно считал меня мертвой. Но не было ли все это лишь бредом безумного Зденко? Я не верила своим ушам. «О друг мой, — с отчаянием говорила я Маркусу, — если свет его разума погас навсегда, пусть бог сжалится и пошлет ему смерть!» Завладев наконец всеми секретами Зденко, мы узнали, что подземными коридорами и никому не известными переходами можно попасть в замок Исполинов. Однажды ночью мы последовали за юродивым и стали ждать у выхода из колодца. Зденко проскользнул в дом и вскоре вернулся, напевая и смеясь от радости. Он объявил нам, что Альберт выздоровел и теперь спит в новой одежде, с венком на голове. Я поняла, что Альберт умер, и упала, словно пораженная громом. Дальше я ничего не помню. Несколько раз я просыпалась, охваченная горячкой, лежа на медвежьих шкурах и сухих листьях в подземной комнате под Шрекенштейном, где прежде жил Альберт. Зденко и Маркус поочередно сидели возле меня. Первый с радостным и торжествующим

видом говорил мне, что его Подебрад выздоровел, что скоро он придет ко мне; второй, бледный и сосредоточенный, повторял: «Быть может, не все еще потеряно, будем надеяться на чудо, которое позволило и вам выйти из могилы». Я не понимала его, я была в бреду, мне хотелось встать, бежать, кричать, но я не могла пошевелиться, а у бедного Маркуса не было ни сил, ни времени серьезно заняться моим здоровьем. Все его думы, все помыслы были поглощены другой, еще более важной заботой. Наконец однажды ночью — вероятно, это была третья ночь после моего припадка — я стала спокойнее и почувствовала, что ко мне возвращаются силы. Я попыталась собраться с мыслями, и мне удалось встать на ноги. Я была одна в этом страшном подземелье, едва освещенном могильной лампадой. Я хотела выйти, но дверь оказалась запертой. Где же были Маркус, Зденко, а главное — Альберт? Память вернулась ко мне, я вскрикнула, и ледяные своды отозвались таким зловещим эхом, что капли пота, холодного, как сырость на стенах этого подземелья, выступили на моем лбу; я решила, что меня еще раз погребли заживо. Что же произошло? Что происходит сейчас? Я упала на колени и, заломив руки, в полном отчаянии стала ярост-

но выкрикивать им Альберта. Но вот я слышу тяжелые неровные шаги, какие-то люди приближаются и как будто несут тяжелую ношу. Лает и визжит собака. Она первой подбегает к двери, скребется. Дверь открывается, я вижу Маркуса и Зденко — они принесли мне Альберта, застывшего, бледного, по всем признакам — мертвого. Его пес Цинабр прыгает вокруг хозяина и лижет его опущенные руки. Зденко поет, придумывая нежные и волнующие слова:

«Усни на груди твоей матери, бедный друг, так долго не знавший покоя. Усни до утра, а потом мы разбудим тебя, чтобы ты увидел восход солнца». Я бросилась к сыну.

«Он не умер! — вскричала я. — О Маркус, вы спасли его? Он не умер? Он проснется?»

«Не льстите себя надеждой, сударыня, — ответил Маркус с леденящей душу твердостью. — Я ничего не знаю, ни в чем не уверен. Запаситесь мужеством, что бы ни случилось. Помогите мне, забудьте о себе».

Незачем говорить, какие усилия мы употребляли, чтобы оживить Альберта. Благодарение небу, в пещере оказалась печурка. Нам удалось согреть ему руки и ноги.

«Посмотрите, — сказала я Маркусу, — у него

теплые руки!»

«Можно согреть и мрамор, — мрачно ответил Маркус, — но это еще не значит вдохнуть в него жизнь. Его сердце молчит, как камень!» В этом ожидании, в страхе, в унынии потекли ужасные часы. Стоя на коленях и припав ухом к груди моего сына, Маркус тщетно пытался уловить хоть какой-нибудь признак жизни. Почти без чувств, в полном отчаянии я не смела больше выговорить хоть одно слово, задать хоть один вопрос. Молча всматривалась я в страшное лицо Маркуса. Наступила минута, когда я уже не осмеливалась даже взглянуть на него: мне казалось, что я читаю на нем грозный приговор.

Зденко сидел в уголке и, как ребенок, играл с Цинабром, продолжая петь. Время от времени он прерывал свое пение и говорил, что мы мучаем Альберта, что нельзя мешать ему спать, что он видел его таким в течение целых недель и что Альберт отлично проснется сам. Уверенность юродивого терзала Маркуса — он не разделял ее. Я же страстно хотела верить Зденко, и оказалось, что предчувствие меня не обмануло. У него был божественный дар предвидения, ангельская вера в истину. Наконец мне показалось, что непроницаемое лицо Маркуса слегка смяг-

чилось, нахмуренные брови раздвинулись. Рука его задрожала, потом сжалась в кулак; он глубоко вздохнул, отнял ухо от груди моего сына, от того места, где, быть может, забилось его сердце, хотел что-то сказать, но не сказал, видимо, боясь напрасно обнадежить меня, снова наклонился, стал слушать, весь затрепетал, откинулся назад и вдруг зашатался, словно готовый испустить дух.

«Надежды нет?» — вскричала я, схватившись за голову.

«Ванда! — глухо проговорил Маркус. — Ваш сын жив!»

И, не выдержав страшного напряжения, исчерпав до предела свое внимание, мужество, тревожное участие, мой героический и нежный друг упал как подкошенный на землю около Зденко.

Глава 35

Взволнованная этим воспоминанием, графиня Ванда умолкла и лишь через несколько минут продолжила свой рассказ:

— Мы провели в пещере несколько дней, и за это время силы и здоровье вернулись к моему сыну с поразительной быстротой. Но Маркус, удивляясь, что не находит у него ни органического повреждения, ни резкого изменения жизненно важных функций, тем не менее был испуган суровым молчанием, а также искренним или притворным безразличием, с каким он относился к изъявлениям нашей радости и к необычности своего положения. Альберт полностью потерял память. Погруженный в мрачную задумчивость, он тщетно и молчаливо пытался понять, что происходит вокруг него. Я же, зная, что единственной причиной его болезни и последовавшей за ней катастрофы было горе, не столь нетерпеливо, как Маркус, ждала возврата мучительных воспоминаний Альберта о его любви. Впрочем, Маркус и сам признавал, что только этим забвением прошлого и можно объяснить

столь быстрое восстановление физических сил. Тело Альберта оживало за счет разума столь же быстро, сколь быстро оно надломилось под болезненным воздействием мрачных мыслей. «Он жив и, несомненно, будет жить, — говорил мне Маркус, — но вот рассудок его, быть может, помутился навсегда». — «Выведем его как можно скорее из этого подземелья, — отвечала я. — Воздух, солнце и движение не могут не пробудить его от этого душевного сна». — «А главное, избавим его от этой уродливой, невозможной жизни, — говорил Маркус. — Она-то и убила его. Разлучим его с этой семьей, с этим обществом — они противоречат всем его инстинктам. Отвезем его к друзьям, и общение с ними поможет его душе вновь обрести ясность и силу».

Могла ли я колебаться? Как-то в сумерках, бродя с опаской по окрестностям Шрекенштейна и делая вид, что прошу милостыню, я узнала от редких прохожих, что граф Христиан как будто бы впал в детство. Он не понял бы, что означает возвращение сына, а сам Альберт, увидев и поняв трагедию этой преждевременной духовной смерти, мог бы окончательно погибнуть. Так должно ли было вернуть его домой и доверить неразумным заботам старой тетки, невежествен-

ного капеллана и опустившегося дяди, по вине которых он так плохо жил и так печально умер?

«Да, бежим с ним вместе, — сказала я наконец Маркусу. — Он не должен видеть агонию отца и ужасающее зрелище католического идолопоклонства, каким здесь окружают смертное ложе. Мне больно при мысли, что, когда супруг мой будет расставаться с землей, я не смогу проститься с ним и получить от него прощение. Правда, он никогда меня не понимал, однако его бесхитростная, чистая душа всегда вызывала во мне уважение, и, уйдя от него, я так же свято берегла его честное имя, как и во время нашей совместной жизни. Но раз уж это необходимо, раз наше появление — мое и сына — может оказаться для него либо безразличным, либо гибельным, не отдадим ризенбургскому склепу того, кого мы отвоевали у смерти. Для Альберта — я все еще надеюсь на это — открывается широкая дорога. Последуем же душевному порыву, который привел нас сюда! Вырвем Альберта из темницы ложного долга, созданного положением и богатством! Этот долг был и будет преступлением в его глазах, а если в угоду родным, которых старость и смерть уже собираются у него отнять, он все-таки заставит себя выполнять его, то умрет

и сам, умрет раньше их. Я хорошо знаю, сколько мне пришлось выстрадать в этом рабстве мысли, в этом смертельном и бесконечном поединке между духовной и обыденной жизнью, между принципами, инстинктами и вынужденными поступками. Мне ясно, — он прошел теми же путями и впитывал тот же яд. Так спасем его, а если когда-нибудь он захочет отказаться от нашего решения, разве не будет он волен сделать это? Если же дни его отца продлятся и его собственное нравственное здоровье позволит, он всегда успеет вернуться и облегчить последние дни Христиана своим присутствием и любовью». — «Это будет трудно, — возразил Маркус. — Если Альберт передумает и захочет снова вернуться в общество, в свет и в семью, перед ним возникнут огромные препятствия. Но вряд ли это случится. Быть может, его семья угаснет прежде, чем он обретет память. Что же касается восстановления имени, почестей, высокого положения и богатства… я знаю, как он посмотрит на все это в тот день, когда вновь станет самим собой. Дай бог; чтобы этот день настал! Самая важная, самая неотложная наша задача — поместить его в такие условия, где его выздоровление станет возможным».

И вот однажды ночью, как только Альберт

смог держаться на ногах, мы вышли из пещеры. Неподалеку от Шрекенштейна мы посадили его на лошадь и таким образом добрались до границы. Как вы знаете, граница находится очень близко оттуда, и мы нашли там более удобный и быстрый способ передвижения. Отношения, которые наш орден поддерживает с многочисленными членами масонского братства, дают нам во всей Германии возможность путешествовать инкогнито, не подвергаясь допросам полиции. Единственным опасным для нас местом была Чехия из-за недавних волнений в Праге и бдительного надзора австрийских властей.

— А что сталось со Зденко? — спросила молодая графиня Рудольштадт.

— Зденко едва не погубил нас, так как хотел воспрепятствовать нашему отъезду, или, во всяком случае, отъезду Альберта, не желая ни расстаться с ним, ни его сопровождать. Он был убежден, что Альберт не может жить вне зловещей и мрачной пещеры Шрекенштейна. «Только здесь мой Подебрад спокоен, — говорил он. — В других местах его мучают, мешают спать, заставляют отрекаться от наших отцов с горы Табор и вести постыдную, преступную жизнь, которая приводит его в отчаяние. Оставьте его здесь, у меня. Я выхожу его,

как уже выхаживал много раз. Я не буду мешать его размышлениям. Когда ему захочется молчать, я буду ходить совершенно бесшумно, а морду Цинабра буду держать в руках целыми часами, чтобы пес не испугал его, вздумав лизать ему руку. Когда он захочет повеселиться, я стану петь его любимые песни и придумаю для него новые, которые тоже понравятся ему, — ведь он любил все мои песни, только он один и понимает их. Говорю вам — оставьте мне моего Подебрада. Я лучше вас знаю, что ему нужно. Когда же вы приедете снова, то услышите, как он играет на скрипке, увидите, как он сажает на могилу своей любимой матери красивые кипарисовые ветки — я нарежу их в лесу, если он захочет. Я буду хорошо кормить его. Мне известны все хижины, где бедному старому Зденко никогда не отказывали в хлебе, молоке, фруктах. Сами того не зная, бедные крестьяне Богемского Леса давно уже кормят своего благородного господина, богача Подебрада. Альберт не любит пиров, где едят мясо животных, он предпочитает жизнь невинную и простую. Он не нуждается в солнечном свете, ему приятнее луч луны, скользящий сквозь деревья, а когда ему хочется видеть людей, я вожу его на уединенные лужайки, где на ночь разбивают свои шатры его

друзья цыгане, божьи дети, которые не знают ни законов, ни богатств».

Я жадно слушала Зденко, потому что его наивные речи открывали мне ту жизнь, какую вел Альберт во время своих частых посещений Шрекенштейна. «Не бойтесь, — добавлял он, — я никогда не выдам врагам его тайное жилье. Они так лживы, так безумны, что говорят теперь: „Наш ребенок умер, наш друг умер, наш господин умер“. Они не поверили бы, что он жив, даже если бы сами увидели его. А когда они спрашивают меня, не видел ли я где-нибудь графа Альберта, я привык отвечать так: „Как, разве он не умер?“ Разговаривая с ними, я смеюсь, и они решили, что я сумасшедший. Но я-то говорю им о смерти только для того, чтобы поиздеваться над ними, — ведь они верят или притворяются, что верят в смерть. Когда же люди из замка пытаются идти за мной, я нахожу тысячи уловок, чтобы сбить их с толку. О, мне известны все ухищрения зайца и куропатки. Я не хуже их умею притаиться в чаще, исчезнуть в вереске, навести на ложный след, перепрыгнуть через поток, укрыться в тайнике, позволить им обогнать себя, а потом, словно блуждающий огонек, запутать и завести их в болота и трясины. Они называют Зденко юродивым. А юродивый

хитрее их всех. Нашлась только одна девушка — святая девушка! — которой удалось обмануть осторожного Зденко. Она знала волшебные слова и сумела обуздать его гнев. У нее были разные талисманы, которые помогли ей выбраться из всех капканов, преодолеть все опасности, — ее звали Консуэло».

Когда Зденко произносил ваше имя, Альберт слегка вздрагивал и отворачивался, но потом снова опускал голову на грудь, и память его не пробуждалась.

Тщетно пыталась я уговорить этого преданного и слепого стража, обещая, что снова привезу Альберта в Шрекенштейн, если он, Зденко, поедет сейчас с нами. Мне так и не удалось его убедить, и, когда наполовину добром, наполовину силой мы заставили его выпустить моего сына из пещеры, он плача пошел за нами, что-то бормоча и жалобно напевая, до самой вершины рудников Куттемберга. Добравшись до знаменитого места, где некогда Жижка одержал одну из величайших своих побед над Сигизмундом, Зденко сразу узнал скалы, обозначавшие границу, ибо он, как никто другой, изучил во время своих скитаний все тропинки этой местности. Здесь он остановился и сказал, топнув ногой: «Никогда больше Зденко

не покинет землю, где лежат кости его отцов! Еще недавно мой Подебрад изгнал меня отсюда за то, что я не узнал святую девушку, которую он любит, за то, что я угрожал ей, и целые недели, целые месяцы провел я на чужой земле. Я думал, что лишусь там рассудка. Через некоторое время я вернулся в мои любимые леса, чтобы посмотреть, как спит Альберт, потому что чей-то голос пропел мне во сне, что его гнев прошел. И вот теперь, когда он уже не проклинает меня, вы забираете его. Если вы собираетесь отвезти его к Консуэло, я согласен. Но еще раз покинуть мой край, говорить на языке врагов, подавать им руку, оставить Шрекенштейн заброшенным и пустым — нет, этого я больше не сделаю. Не могу я так поступить. К тому же голоса, говорящие со мной во сне, запретили мне это. Зденко должен жить и умереть на земле славян. Он должен жить и умереть с песнями, которые восхваляют радости и горести славян на языке его отцов. Я прощаюсь с вами, уезжайте! Не запрети мне Альберт проливать человеческую кровь, вам не удалось бы отнять его у меня, но если я подниму на вас руку, он опять проклянет меня, и уж лучше мне не видеть его совсем, чем видеть его гнев. Слушай же, мой Подебрад! — воскликнул он, прижимая к

губам руки Альберта, который смотрел и слушал, ничего не понимая. — Я повинуюсь тебе и ухожу. Когда ты вернешься, тебя будет ждать теплый очаг, книги свои ты найдешь в полном порядке, постель будет устлана свежими листьями, а могила твоей матери будет украшена зелеными пальмовыми ветвями. Если ты приедешь летом, на могиле и на костях наших мучеников у ручья ты найдешь свежие цветы… Прощай, Цинабр!» Сказав все это прерывающимся от рыданий голосом, бедный Зденко пустился бежать по склону скал, обратно в сторону Чехии, и с быстротой лани исчез в первых лучах зарождавшегося дня.

Не стану рассказывать вам, милая Консуэло, о всех наших тревогах в первые несколько недель, которые Альберт провел здесь возле нас. Укрывшись в том самом домике, где сейчас живете вы, он постепенно возвращался к жизни разума, который мы старались медленно и осторожно в нем пробудить. Первые его слова после двух месяцев абсолютного молчания были вызваны переживанием, связанным с музыкой. Маркус давно понял, что жизнь Альберта была полна его любовью к вам, и решил напомнить ему об этой любви, но лишь тогда, когда узнает, что вы ее достойны и свободны когда-нибудь ответить ему

взаимностью. Поэтому он стал собирать сведения о вас и вскоре узнал мельчайшие особенности вашего характера, мельчайшие подробности вашей прошлой и настоящей жизни. Благодаря мудрой организации нашего ордена, связям, установленным со всеми другими тайными обществами, и множеству адептов и неофитов, в чьи обязанности входит внимательнейшим образом следить за явлениями и лицами, нас интересующими, нет ничего, что могло бы ускользнуть от нашей проверки. В свете для нас нет тайн. Мы умеем проникать как в секреты политиков, так и в придворные интриги. Ваша безупречная жизнь, ваш прямой характер были, следовательно, совсем нетрудным объектом для изучения и оценки. Барон фон Тренк, узнав, что человек, который вас любит и которого вы никогда ему не называли, оказался его другом Альбертом, отозвался о вас с восторгом. Граф де Сен-Жермен, самый рассеянный человек, если судить по внешнему виду, и самый проницательный в действительности, этот странный ясновидец и высокий ум, который как будто живет только в прошлом и от которого не ускользает ни одна мелочь в настоящем, очень быстро собрал о вас самые исчерпывающие сведения. После этого я преисполнилась к вам

нежностью и стала смотреть на вас как на дочь.

Узнав достаточно, чтобы начать действовать с уверенностью, мы пригласили искусных музыкантов и разместили их под тем самым окном, у которого сейчас сидим мы с вами. Альберт сидел там, где сидите вы, прислонившись к этой гардине и созерцая закат солнца. Маркус держал его руку, я держала другую. Во время исполнения симфонии, которую по нашей просьбе сочинили для четырех инструментов и в которую вставили разные чешские напевы — Альберт играет их так одухотворенно, так проникновенно, — вдруг раздался гимн пресвятой деве, которым некогда вы покорили его сердце:

O Consuelo de mi alma…

В ту же секунду Альберт, который уже был несколько взволнован, слушая песни нашей старой Чехии, разразился слезами, бросился в мои объятия и воскликнул: «О матушка, матушка!»

Маркус велел музыкантам прекратить игру — он был доволен произведенным впечатлением, но на первый раз не хотел им злоупотреблять. Итак, Альберт заговорил, он узнал меня, он вновь нашел силы любить. Прошло еще много дней, прежде чем его рассудок обрел прежнюю ясность, но с тех пор у него ни разу не было го-

рячечного бреда. Иногда он казался утомленным напряженной работой мысли и вновь впадал в мрачное молчание, но мало-помалу лицо его принимало менее угрюмое выражение, и нам удавалось кротостью и осторожностью побороть это стремление замкнуться в себе. Наконец мы с радостью заметили, что потребность в умственном отдыхе начинает исчезать, и работа мысли прекращается у него лишь в обычные часы спокойного сна, такого же, как у всех остальных людей. Альберт вновь обрел ощущение жизни, ощущение своей любви к вам и ко мне, к нему вернулось его милосердие, его привязанность к людям и к добродетели, его вера и потребность помочь ее торжеству. Он продолжал любить вас без горечи, без недоверия и без сожаления о всем том, что ему пришлось из-за вас перестрадать. Но несмотря на все его старания успокоить нас и проявить мужество и самоотречение, мы ясно видели, что страсть его оставалась столь же пылкой, как прежде. Только у него было теперь больше нравственных и физических сил, чтобы ее выносить. Мы вовсе и не пытались бороться с ней. Напротив того, мы оба — я и Маркус — сообща старались вселить в него надежду и решили осведомить вас о том, что ваш супруг, по

которому вы свято носили траур — не снаружи, а внутри, в душе, — что ваш супруг жив. Однако Альберт, движимый великодушным самоотречением и верным чутьем во всем, что касалось вас, запретил нам торопиться. «Она никогда не любила меня, — говорил он, — она просто сжалилась надо мной, когда я был в агонии. Не без страха и, быть может, не без отчаяния дала бы она обещание провести со мной всю жизнь, и если теперь она вернется ко мне, то единственно из чувства долга. Каким же несчастьем было бы для меня похитить ее свободу, радость ее искусства и, быть может, радость новой любви! Довольно и того, что прежде я позволял ей жалеть себя. Не принуждайте меня позволить ей отдать мне преданность, которая будет ее тяготить. Не мешайте ей жить, не мешайте познать радость независимости, опьянение славой и даже большее счастье, если так будет нужно! Я люблю ее не ради себя, и хоть она действительно необходима для моего счастья, я сумею отказаться от него, лишь бы моя жертва пошла ей на пользу! Впрочем, разве я рожден для счастья? И разве имею на него право, когда все кругом страждут и стонут в этом мире? Разве нет у меня других обязанностей, кроме обязанности создавать собственное благополучие?

Разве исполнение долга не придаст мне силы забыться и ничего больше не желать для себя самого? Я хочу сделать эту попытку, и, если не выдержу, вы пожалеете меня и постараетесь придать мне мужества. Право же, это будет лучше, чем убаюкивать меня напрасными надеждами и беспрестанно мне напоминать, что сердце мое болит, что оно горит эгоистической жаждой счастья. Любите меня, друзья мои! О матушка, благословите меня и перестаньте говорить о том, что мучительно терзает меня, лишает силы и добродетели! Я хорошо знаю одно, что самая сильная боль, какую я испытал в Ризенбурге, — это та, какую я причинил другим. И я сойду с ума, быть может умру, ропща на бога, если увижу, что Консуэло испытывает те же муки, от каких я не сумел уберечь других людей, которые тоже дороги мне».

Здоровье его, по-видимому, совершенно восстановилось, и теперь уже не только моя материнская нежность помогала ему бороться с его несчастной страстью. Маркус и другие руководители нашего ордена с увлечением посвящали его в тайны нашего дела. Он находил тихую и грустную радость в этих широких планах, в дерзких мечтах, а главное — в долгих философских

беседах. Правда, взгляды его не всегда совпадали со взглядами его благородных друзей, зато он чувствовал их духовную близость во всем, что касалось глубоких и пылких чувств — таких, как любовь к добру, к справедливости, к истине. Стремление к идеалу, которое так долго заглушали и подавляли в нем узкие и мелкие страхи его семьи, нашло наконец благодатную почву для развития, и здесь, встречая то поддержку, то откровенные и доброжелательные возражения со стороны окружавших его людей, он обрел ту живительную атмосферу, в которой мог дышать и действовать, несмотря на снедавшую его тайную печаль. Альберт — человек глубокого метафизического ума. Его никогда не прельщало суетное существование, где черпает пищу эгоизм. Он создан для созерцания самых высоких истин и для претворения в жизнь самых суровых добродетелей. Но в то же время благодаря совершенной нравственной красоте, весьма редкой у мужчин, он наделен необычайно нежной и любящей душою. Одно милосердие не удовлетворяет его, ему нужны привязанности. Любовь его распространяется на всех, и тем не менее он ощущает потребность сосредоточить ее на отдельных лицах. Преданность доходит у него

до фанатизма, но в его добродетели нет ничего жестокого. Любовь окрыляет его, дружбе он отдается целиком, и его жизнь — это плодотворный неисчерпаемый источник благоговения перед абстрактным понятием, которое он называет человечеством, и перед отдельными существами, к которым он питает нежность. Словом, его благородное сердце является очагом любви — все высокие страсти находят там приют и живут, не зная соперничества. Если бы возможно было представить себе божество в виде смертного и бренного существа, я осмелилась бы сказать, что душа моего сына — это прообраз мировой души, именуемой богом.

Вот почему Альберт — это слабое человеческое создание с его широкими стремлениями и ограниченными возможностями — не мог жить в доме своих родных. Не люби он их так пылко, он мог бы, обитая вместе с ними, устроить себе другую, обособленную жизнь, создать собственную веру — могучую и спокойную, отличную от их веры и снисходительную к их безобидному ослеплению, но это потребовало бы от него известной холодности, которая была так же для него невозможна, как невозможна была она когда-то для меня самой. Он не мог жить, разобщив

ум и сердце, и с тоской, с отчаянием искал точек соприкосновения и общности взглядов с этими дорогими для него людьми. Вот почему, стоя один перед глухой стеной их католического упорства, их социальных предрассудков, их ненависти к религии равенства, он разбился, стеная, об их железную грудь и увял, как растение, лишенное влаги, призывая дождь с неба, который даровал бы ему что-то общее с теми, кого он любил. Устав одиноко страдать, любить, верить и молиться, он решил, что нашел жизнь в вас, и, когда вы приняли и разделили его взгляды, он обрел спокойствие и рассудок. Но вы не разделили его чувства, и разлука с вами неминуемо должна была погрузить его в еще более глубокое и более невыносимое одиночество.

Его вера, которую постоянно отрицали и опровергали, превратилась для него в невыносимую пытку. Ум его стал мешаться. Не имея родственной души, которая могла бы помочь ему укрепиться в самом важном и существенном, что оставалось в его жизни, он вынужден был уступить смерти.

Когда же он встретил сердца, способные его понять и сочувствующие ему, всех нас поразила его мягкость в спорах, его терпимость, доверчивость,

скромность. Зная его прошлое, мы опасались найти в нем чрезмерную суровость, излишнюю настойчивость в отстаивании собственных взглядов, резкость, простительную для человека с пылким и убежденным сердцем, но способную помешать его собственному совершенствованию и повредить такому союзу, как наш. Он удивил нас ясностью души и прелестью обхождения. Возвышая и окрыляя нас своими беседами и поучениями, сам он был убежден, что все, что дает нам, заимствовал у нас. Здесь он быстро сделался предметом всеобщего и безграничного уважения, и вы не должны удивляться, что столько людей стараются вернуть вас ему, — ведь его счастье стало предметом соединенных усилий, настоятельной потребностью каждого, кто соприкоснулся с ним хотя бы на короткое время.

Глава 36

— Однако жестокий жребий нашего рода еще не завершился. Альберту суждено было продолжать страдать, его сердцу суждено было вечно истекать кровью из-за семьи, которая не была виновна в его несчастьях, но которую злой рок почему-то приговорил постоянно разбивать его жизнь и самой страдать из-за него. Как только силы Альберта окрепли, мы сообщили ему прискорбную весть о смерти его почтенного отца, происшедшей вскоре после его собственной: ничего не поделаешь, мы вынуждены воспользоваться этим странным выражением, чтобы охарактеризовать столь странное событие. Альберт оплакивал отца с нежной, горячей грустью и с твердой уверенностью в том, что, уйдя из жизни, тот не попадет в небытие католического рая или ада. К его скорби примешивалась даже какая-то торжественная радость, ибо он надеялся, что этот чистый, достойный награды человек найдет после смерти иную, лучшую жизнь. Поэтому гораздо сильнее, нежели кончина отца, его удручало одиночество, в каком остались другие

его родственники — барон Фридрих и канонисса Венцеслава. Он упрекал себя за то, что вдали от них находит утешения, которыми не может поделиться с ними, и решил вернуться к ним на некоторое время, открыть тайну своего выздоровления, своего чудесного воскресения из мертвых и сделать их жизнь по возможности счастливой. Альберт не знал об исчезновении своей кузины Амалии, которое произошло в то время, когда он болел в Ризенбурге, и которое от него постарались скрыть, чтобы избавить от лишнего огорчения. Мы тоже сочли излишним сообщать ему об этом. Нам не удалось уберечь мою несчастную племянницу от прискорбного увлечения, а, когда мы собирались наказать ее обольстителя, менее терпимое самолюбие саксонских Рудольштадтов опередило нас. Они тайно захватили Амалию на прусской земле, где она надеялась найти приют, отдали ее на волю жестокого короля Фридриха, и этот монарх доказал им свою благосклонность, заключив молодую девушку в крепость Шпандау. Она промучилась там около года, ни с кем не видясь, и еще должна была почитать себя счастливой, что секрет ее позора строго охранялся великодушным тюремщиком-монархом.

— О сударыня, — с волнением перебила ее Кон-

суэло, — неужели она все еще в Шпандау?

— Недавно мы помогли ей бежать оттуда. Альберт и Ливерани не могли похитить ее одновременно с вами, потому что надзор за ней был гораздо строже — постоянные вспышки раздражения, неосторожные попытки к бегству и другие выходки только усилили суровость ее заточения. Но мы располагаем и другими средствами, кроме тех, которым вы обязаны своим спасением. Наши адепты есть повсюду, и некоторые из них нарочно приобрели расположение при дворе царских особ, чтобы способствовать успеху наших дел. Мы добились для Амалии покровительства сестры прусского короля — молодой маркграфини Байрейтской, и та попросила выпустить ее на свободу, пообещав лично заняться ее судьбой и поручившись за ее дальнейшее поведение. Через несколько дней юная баронесса окажется у принцессы Софии-Вильгельмины, у которой злой язык, но доброе сердце. Принцесса отнесется к ней с такой же снисходительностью и с таким же великодушием, какие проявила по отношению к принцессе Кульмбахской, еще одной несчастной, которая, как и Амалия, тоже была обесчещена в глазах света и тоже узнала суровость королевских тюрем.

Принимая решение ехать к дяде и тетке в замок Исполинов, Альберт ничего не знал о бедствиях своей кузины. Он не понял бы, откуда черпал животную жизненную энергию граф Фридрих, который мог охотиться, есть и пить после стольких несчастий, откуда черпала свое благочестивое бесстрастие старая канонисса, которая не делала никаких попыток разыскать Амалию, опасаясь придать еще большей огласке ее скандальное приключение. Мы со страхом отговаривали Альберта от этой поездки, но он настоял на своем и однажды ночью уехал, не предупредив нас, а оставив письмо, в котором обещал скоро вернуться. Его отсутствие действительно длилось недолго, но принесло ему много горя.

Переодевшись в чужое платье, он пробрался в Чехию и неожиданно явился к одинокому Зденко в пещеру Шрекенштейна. Оттуда он собирался написать родственникам, открыть им всю правду о себе и подготовить их к своему возвращению. Зная Амалию как самую храбрую и в то же время самую легкомысленную из всех домочадцев, он решил через Зденко отправить свое первое послание именно ей. В ту самую минуту, как он писал письмо, а Зденко зачем-то вышел на гору, — это было на рассвете, — Альберт вдруг услышал

ружейный выстрел и душераздирающий крик. Он выбегает из пещеры и видит Зденко, который несет на руках окровавленного Цинабра. Не позаботившись закрыть лицо, Альберт тут же подбежал к своему бедному старому псу. Но когда он принес верную, смертельно раненную собаку к месту, называемому «Подвалом монаха», он увидел охотника, который, насколько ему позволяли старость и тучность, бежал забрать свою добычу. То был барон Фридрих. Это он, выйдя на охоту при первых лучах солнца, принял в утренней мгле рыжую шерсть Цинабра за шкуру какого-то лесного зверя и прицелился сквозь ветки. Увы, у него еще были верный глаз и твердая рука! Он ранил собаку, выпустив ей в бок две пули. Внезапно он увидел Альберта. Приняв его за привидение, старик оцепенел от страха. Потом, забыв об истинных опасностях, отступил на самый край крутой тропинки, вдоль которой шел, свалился в пропасть и разбился о скалы. Он умер сразу, на том роковом месте, где в течение веков высилось проклятое дерево, где стоял знаменитый дуб Шрекенштейна, прозванный Гуситом, свидетель и некогда сообщник самых грозных преступлений.

Альберт видел, как падает его дядя, и, покинув

Зденко, подбежал к краю обрыва. Но там уже толпились слуги барона, которые хотели поднять его, громко крича и плача, ибо барон не подавал признаков жизни. Альберт услыхал их слова: «Бедный наш господин! Он умер! Что скажет госпожа канонисса!» Забыв о себе, Альберт тоже стал кричать, звать. Как только его увидели суеверные слуги, панический страх овладел ими. Они уже готовы были бежать прочь от тела своего господина, когда старый Ганс, самый суеверный, но и самый храбрый из всех, остановил их и сказал, крестясь: «Послушайте, друзья, это не наш господин, не господин Альберт стоит сейчас перед вами — это злой дух Шрекенштейна! Он принял его обличье и погубит всех нас, если мы струсим. Я сам видел, как он столкнул господина барона. И хочет унести его тело, чтобы сожрать его, — он вампир! Смелее, друзья! Говорят, что дьявол — трус. Сейчас я прицелюсь в него, а вы читайте то заклинание, которому нас научил капеллан».

Сказав это, Ганс еще несколько раз перекрестился, поднял ружье и выстрелил в Альберта, меж тем как остальные слуги столпились вокруг трупа барона. К счастью, Ганс был чересчур взволнован и напуган, чтобы прицелиться верно, — он

действовал словно в лихорадке. И все-таки пуля просвистела над самой головой Альберта — ведь Ганс был лучшим стрелком в округе. В хладнокровном состоянии он неминуемо убил бы моего сына. В нерешительности Альберт остановился.

«Смелее, друзья, смелее! — крикнул Ганс, перезаряжая ружье. — Стреляйте в него, он трусит. Убить вы его не убьете, пули его не берут, но он уйдет, и мы успеем унести тело нашего бедного господина».

Видя направленные на него ружья, Альберт бросился в чащу и, скрывшись с глаз слуг, спустился по склону горы. Здесь он воочию убедился в ужасной истине — искалеченное тело его несчастного дяди лежало на окровавленных камнях. Череп был раздроблен, и старый Ганс с отчаянием кричал ужасные слова:

«Соберите мозг, не оставляйте его на камнях, не то собака вампира придет лизать его».

«Да, да, здесь была собака, — добавил другой слуга, — и сначала я даже принял ее за Цинабра».

«Но ведь Цинабр исчез сразу после смерти графа Альберта, — сказал третий, — и с тех пор никто его не видел. Он наверняка издох где-нибудь в уголке, а тот Цинабр, которого мы видели сейчас

на горе, это такой же призрак, как другой вампир — двойник графа Альберта. Ужасное видение! Теперь оно будет вечно стоять перед моими глазами. О господи! Смилуйся над нами и над душой несчастного господина барона — ведь из-за этого злого духа он умер без покаяния».

«Говорил же я, что ему не миновать беды, — снова начал Ганс жалобным тоном, собирая обрывки одежды барона руками, запачканными его кровью. Ему постоянно хотелось охотиться именно в этом трижды проклятом месте! Он был уверен, что раз никто сюда не ходит, значит, здесь полным-полно лесной дичи. А ведь богу известно, что на этой окаянной горе никогда не было никакой дичи, кроме той, что еще во времена моей молодости висела на ветвях того самого дуба. Проклятый Гусит! Дерево погибели! Небесный огонь пожрал его, но пока в земле останется хоть один корень, злобные гуситы будут приходить сюда, чтобы мстить католикам. Ну, живей, живей, давайте сюда носилки, и уйдем отсюда! Здесь опасно. Ах, бедная госпожа канонисса… Что-то с ней будет! Кто первый решится подойти к ней и доложить, как бывало: „Господин барон вернулся с охоты“. Она скажет: „Велите живей подавать завтрак“. Как бы не так, завтрак! Пройдет немало

времени, прежде чем у кого-нибудь появится аппетит в замке. Да, в этой семье слишком много несчастий, и уж я-то знаю, откуда они берутся!»

Пока слуги укладывали труп на носилки, Ганс, которого они забросали вопросами, ответил, качая головой:

«В этой семье все были благочестивы, и все умирали по-христиански до того дня, когда графиня Ванда — да простит ей бог! — умерла без исповеди. С тех пор, хочешь не хочешь, все они одинаково кончают жизнь. Граф Альберт тоже умер не по-христиански, что бы там ни говорили, и его достойный отец поплатился за это: он отдал богу душу, даже не понимая, что умирает. А теперь еще один уходит без исповеди, без покаяния, и могу побиться об заклад, что канонисса тоже кончится, не успев приготовиться к смерти. К счастью, эта святая женщина всегда находится в состоянии благодати».

Альберт не проронил ни слова из грустного изъявления истинной скорби этих простых людей — отголоска фанатического ужаса, с которым относились в Ризенбурге к нам обоим. Стоя в оцепенении, он долго следил взором за трагической процессией, следовавшей вдоль извилистых тропинок оврага, и не решался бежать за ней,

хотя и чувствовал, что было бы естественно, если бы он сам принес старой тетке печальное известие и утешил ее в тяжелую минуту. Но ведь его появление могло либо испугать ее до смерти, либо лишить рассудка. Он понял это и в отчаянии вернулся и свою пещеру, где Зденко, не видевший самого ужасного происшествия этого рокового утра, возился с Цинабром, промывая его рану. Однако было уже поздно. Увидев Альберта, Цинабр издал жалобный визг, подполз к нему, превозмогая боль, и издох у ног хозяина, успевшего его приласкать. Спустя четыре дня мы увидели Альберта — он приехал бледный, измученный этими новыми ударами судьбы. В течение нескольких дней он не говорил ни слова и не плакал. Наконец, прижавшись к моей груди, он разразился слезами.

«Я отверженный среди людей! — сказал он. — Видно, сам бог хочет закрыть мне доступ в этот мир, запрещая любить кого бы то ни было. Всюду, где я появляюсь, со мной приходят ужас, смерть или безумие. Кончено, мне нельзя больше увидеть тех, кто заботился обо мне, когда я был ребенком. Их понятия о вечном разъединении души и тела так определенны, так страшны, что им легче считать меня навсегда прикованным к

могиле, нежели подвергнуться опасности вновь увидеть мое зловещее лицо. Какое странное и ужасное представление о жизни! Покойники становятся предметом ненависти тех самых людей, которые их больше всего любили, и, если этим людям является призрак, они думают, что это исчадие ада, а вовсе не дар неба. Бедный дядя! Благородный отец мой! Вы были такими же еретиками в моих глазах, каким я сам был в ваших, но, если бы вы явились мне, если бы мне посчастливилось еще раз увидеть ваши черты, уничтоженные смертью, я встал бы на колени, я протянул бы к вам руки, считая, что вы появились из обители божьей, где души обретают новую силу, а тела — новую форму. Я не стал бы прогонять вас и произносить ваши чудовищные проклятия, нечестивые заклинания, вызванные косностью и страхом. Напротив, я стал бы призывать вас к себе, был бы счастлив, глядя на вас, захотел бы удержать вас возле себя, как благодатных духов. О матушка, все кончено! Придется мне умереть для них, а им из-за меня или без меня!»

Альберт покинул родину не ранее, чем убедился, что канонисса выдержала и последний удар. Эту старую женщину, такую же болезненную и такую же закаленную, как я, тоже поддержи-

вает чувство долга. Внушая уважение своей убежденностью и умением достойно переносить несчастья, она покорно отсчитывает горькие дни, которые ей еще уготовано прожить. Но даже и в своей скорби она сохраняет некую горделивую суровость, преодолевающую все недуги. Недавно она сказала одной особе, которая потом передала нам в письме ее слова: «Если бы мы не в силах были нести бремя жизни из чувства долга, пришлось бы продолжать жить хотя бы из уважения к приличиям». В этой фразе — вся канонисса.

С той поры Альберт больше не помышлял о разлуке с нами, и после пережитых испытаний его мужество даже возросло. Казалось, он поборол даже свою любовь и, вновь погрузившись в море философии, был занят теперь только религией, наукой о нравственности и революционной борьбой. Он всецело отдался серьезным ученым трудам, и его обширный ум сделался столь же ясным и могучим, сколь лихорадочным и болезненно-восприимчивым было его печальное сердце вдали от нас. Этот необыкновенный человек, чей горячечный бред приводил в смущение католические души, превратился в светоч мудрости для умов высшего порядка. Он был посвящен в самые сокровенные тайны

Невидимых и занял место среди наставников и отцов этой новой церкви. Он поделился с ними своими познаниями, и они приняли их с любовью и признательностью. Предложенные им преобразования были одобрены, и, распространяя воинствующую веру, он обрел надежду и такую душевную ясность, какая порождает героев и мучеников. Мы думали, что он уже победил свою любовь к вам — так тщательно скрывал он от нас свою внутреннюю борьбу, свои страдания. Но однажды письмо одного из наших адептов, которое уже невозможно было от него скрыть, принесло в наше святилище жестокую весть — жестокую, хотя еще не вполне достоверную. Некоторые особы в Берлине считали вас любовницей прусского короля, и на первый взгляд это предположение трудно было опровергнуть. Альберт ничего не сказал, но стал бледен.

«Дорогой друг, — сказал он мне после минутного молчания, — на этот раз ты можешь отпустить меня без опасения. Долг любви призывает меня в Берлин, мое место возле той, которую я люблю и которая приняла мое покровительство. Я знаю, что не имею на нее никаких прав. Если она опьянена той жалкой ролью, какую ей приписывают, я не сделаю ни шагу, чтобы заставить Консуэло

отказаться от нее. Но если ее хотят заманить в ловушку, если ей угрожают опасности, — а я уверен, что это именно так, — то я сумею оградить ее от них».

«Остановись, Альберт, — ответила я, — бойся могущества роковой страсти, которая уже причинила тебе столько горя. Ведь это горе — единственное, которое окажется свыше твоих сил. Ты живешь теперь только добродетелью и любовью. Но если твоя любовь погибнет, удовлетворит ли тебя одна добродетель?»

«Почему же моя любовь может погибнуть? — пылко возразил Альберт. Значит, вы думаете, что она уже перестала быть ее достойной?»

«А если бы это было так, Альберт? Что бы ты сделал?»

Он улыбнулся. Бледные губы и горящий взгляд выдавали его мучительные, но восторженные мысли.

«Если бы это было так, — ответил он, — я продолжал бы любить ее, ибо прошлое для меня — не сон, который стирается явью. Вам известно, что я часто смешивал прошлое с настоящим — настолько, что не мог отличить одно от другого. Так вот, я сделал бы так: продолжал бы любить прошлое — это ангельское лицо, эту поэтическую

душу, внезапно озарившую и воспламенившую мою мрачную жизнь. И, даже не заметив, что прошлое позади, я сохранил бы в груди его жгучий след. Заблудшее создание, падший ангел вызвал бы во мне столько нежности и заботливости, что я посвятил бы всю жизнь тому, чтобы утешить его в его падении и защитить от презрения жестоких людей».

Вместе с несколькими друзьями Альберт уехал в Берлин и явился к благожелательно относившейся к нему принцессе Амалии под тем предлогом, что должен поговорить с ней о Тренке, в то время узнике Глаца, и о кое-каких масонских делах, к которым она была причастна. Вы однажды видели Альберта председательствующим на одном из собраний ложи розенкрейцеров. Тогда он еще не знал, что Калиостро, проникший помимо нас в его тайну, воспользовался этим обстоятельством, чтобы поразить ваше воображение, и украдкой показал вам его как призрак. За то, что интриган Калиостро позволил непосвященному взглянуть на таинства масонов, его могли навсегда исключить из ордена. Но это оставалось неизвестным довольно длительное время, и вы, вероятно, помните, с каким страхом он провожал вас к месту собраний масонской ло-

жи. Такого рода предательства жестоко караются адептами, и Калиостро, пользуясь секретами своего ордена, чтобы творить мнимые «чудеса», быть может, рисковал жизнью или по крайней мере репутацией великого некроманта, так как, если бы это открылось, его бы немедленно разоблачили и изгнали.

За время своего короткого и тайного пребывания в Берлине Альберту удалось достаточно глубоко проникнуть в ваши мысли и узнать ваши поступки, чтобы успокоиться. Он был близ вас, без вашего ведома следил за вами и приехал внешне спокойный, но еще более пылко влюбленный в вас, чем когда бы то ни было прежде. В течение нескольких месяцев он путешествовал за границей и оказывал много услуг нашему делу. Но, получив известие о том, что какие-то интриганы, очевидно шпионы прусского короля, задумали подготовить в Берлине заговор, грозящий опасностью существованию масонства и, быть может, пагубный для принца Генриха и его сестры, аббатисы Кведлинбургской, Альберт помчался в Берлин, чтобы предупредить последних о нелепости такой попытки и о том, что она может оказаться западней. Вот тогда-то вы и видели его, и, хотя это сильно испугало вас,

вы проявили затем столько мужества и, беседуя с его друзьями, выразили такую преданность ему, такое уважение к его памяти, что он вновь обрел надежду на вашу любовь. Поэтому было решено открыть вам его существование с помощью ряда таинственных явлений. Он часто бывал тогда возле вас и даже скрывался в ваших апартаментах, когда ты так бурно объяснялись с королем. Между тем препятствия, которые Альберт и его друзья чинили преступным или безумным замыслам заговорщиков, начали раздражать последних. У Фридриха II возникли подозрения. Появление «Женщины с метлой» — этого призрака, который все заговорщики постоянно прогуливают по коридорам дворца, когда им надо посеять смятение и страх, — заставило его насторожиться. Создание новой масонской ложи во главе с принцем Генрихом, у которого сразу же появились теоретические разногласия с другой ложей — ее возглавлял сам король, — показалось Фридриху явным проявлением мятежа. Возможно, что создание этой ложи действительно было лишь неудачно придуманной маской, которую надевали на себя иные из участников заговора, или же попыткой скомпрометировать именитых особ. К счастью, этого не произошло, и король, делая

вид, что недоволен, открыв лишь сомнительных виновников, втайне был рад, что не должен принимать крутые меры против членов собственной семьи, и решил для острастки наказать хотя бы отдельных лиц. Мой сын, наименее виновный из всех, был арестован и препровожден в Шпандау почти одновременно с вами, а ведь ваша невиновность была столь же явной; оба вы были виноваты лишь в одном — в нежелании спасти себя ценой чьих-то страданий, и вам пришлось поплатиться за всех остальных. Несколько месяцев вы прожили в тюрьме недалеко от камеры Альберта и слышали страстные звуки его скрипки, а он слышал ваше пение. В его руках были быстрые и верные способы бегства, но он не хотел ими воспользоваться до тех пор, пока не обеспечит побег вам. Золото — вот ключ, открывающий самые крепкие запоры королевских тюрем, а прусские тюремщики — по большей части, недовольные солдаты или впавшие в немилость офицеры — необыкновенно продажны. Альберт бежал одновременно с вами, но вы не видели его, и по причинам, которые вы узнаете позже, привезти вас сюда было поручено Ливерани. Остальное вам известно. Альберт любит вас более чем когда-либо, но он любит вас больше, чем

самого себя, и будет в тысячу раз менее несчастен от вашего счастья с другим, нежели от своего собственного, если вы не разделите его целиком. Нравственные, философские и религиозные законы, во власти которых отныне находитесь вы оба, допускают его жертву и делают ваш выбор свободным и достойным уважения. Итак, дочь моя, выбирайте. Но помните, что мать Альберта на коленях умоляет вас не приносить ему жертвы, горечь которой нарушит благородную ясность его духа и спокойствие всей его жизни. Расставшись с вами, он будет страдать, но ваша жалость без любви убьет его. Настал час, когда вы должны высказаться, но мне не следует знать вашего решения. Идите к себе в спальню, там вы найдете два различных наряда. Тот, который вы выберете, решит судьбу моего сына.

— Но какой же из них должен обозначать мой развод с ним? — с трепетом спросила Консуэло.

— Мне было поручено сказать вам это, но я предпочитаю, чтобы вы догадались сами.

С этими словами графиня Ванда снова надела маску, прижала Консуэло к своей груди и поспешно удалилась.

Глава 37

У себя в комнате Консуэло нашла два наряда: роскошное подвенечное платье и траурное вдовье облачение. В течение нескольких минут она колебалась. Выбор супруга был ею уже решен, но который из двух нарядов должен был дать понять окружающим ее намерение? Немного подумав, она надела белое платье, вуаль, цветы и жемчужное ожерелье невесты. Этот туалет отличался тонким вкусом и необыкновенным изяществом. Вскоре Консуэло была готова, но, взглянув на себя в зеркало, обрамленное нравоучительными и угрожающими изречениями, она не испытала желания улыбнуться, как это было в первый раз. Лицо ее было смертельно бледно, а сердце полно тревоги. Она чувствовала, что какое бы решение ни приняла, у нее неминуемо останется сожаление и раскаяние, что одно сердце будет разбито ее отказом, и эта мысль заранее причиняла ей невыносимую муку. Ее щеки и губы были так же белы, как вуаль и букет флердоранжа, и она одинаково испугалась как за Альберта, так и за Ливерани, которые не могли не заметить

ее волнения. Ей даже захотелось прибегнуть к румянам, но она тут же раздумала. «Если лицо мое и солжет, — подумала она, — то разве мое сердце способно лгать?»

Она опустилась на колени у своей постели, спрятала лицо в складках драпировок и, погрузившись в горестные думы, стояла так до тех пор, пока на часах не пробило полночь. Тогда она поднялась и тотчас увидела возле себя человека в черной маске. Какое-то подсознательное чувство подсказало ей, что это Маркус, и она не ошиблась, хотя он не сообщил ей, кто он, а только проговорил мягким, грустным голосом:

— Сударыня, все готово. Благоволите накинуть этот плащ и следовать за мной.

В сопровождении Невидимого Консуэло дошла до того места в глубине сада, где ручей терялся под зеленым сводом парка. Здесь она увидела открытую черную гондолу, совсем такую же, как в Венеции, а в стоявшем на носу великане-гребце узнала Карла. Увидев ее, он перекрестился. Таков был его способ выражать величайшую радость.

— Дозволено ли мне говорить с ним? — спросила Консуэло у своего проводника.

— Можете сказать ему громко несколько слов, — ответил тот.

— Если так, милый Карл, мой спаситель и друг, — проговорила Консуэло, взволнованная тем, что видит наконец после долгого заключения среди таинственных существ знакомое лицо, — скажи, могу ли я надеяться, что ничто не омрачает твою радость при свидании со мной?

— Ничто, синьора, — уверенно ответил Карл, — если не считать воспоминания о той… кого больше нет в этом мире и кого я всегда представляю себе, когда вижу вас. Будь мужественна и весела, добрая госпожа, добрая сестра моя! Мы опять вместе, как в ту ночь, когда бежали из Шпандау!

— Сегодня тоже день освобождения, брат! — сказал Маркус. — Греби же с тем искусством и с той мощью, какими тебя наделила природа. Теперь благоразумие твоих речей и сила духа уже могут сравниться с другими твоими качествами… Это и в самом деле похоже на бегство, сударыня, — добавил он, обращаясь к Консуэло, — только ваш освободитель уже не тот, что тогда…

Произнося последние слова, Маркус подал ей руку, чтобы помочь сесть на устланную подушками скамью. Он почувствовал, как Консуэло вздрогнула при воспоминании о Ливерани, и попросил ее на минутку закрыть лицо. Она пови-

новалась, и гондола, гонимая сильными руками дезертира, быстро поплыла по темной безмолвной воде. После переезда, продолжительность которого ускользнула от внимания задумавшейся Консуэло, она услышала невдалеке звуки голосов и инструментов; лодка пошла тише и, судя по легким толчкам, приближалась к берегу. Капюшон Консуэло упал, и, увидев фантастическое зрелище, представившееся ее глазам, неофитка подумала, что одно сновидение сменилось другим. Лодка скользила вдоль ровного, гладкого берега, усеянного цветами и поросшего ярко-зеленой травой. Неподвижная вода ручья, превратившегося здесь в широкий водоем, пылала, отражая огненные столбы света, которые то изгибались длинными завитками, то рассыпались дождем искр в медлительной и спокойной струе, оставляемой гондолой. Восхитительная музыка звонким эхом отдавалась в воздухе и, казалось, реяла над ароматными кустами роз и жасмина. Когда глаза Консуэло привыкли к внезапному свету, она разглядела ярко освещенный фасад дворца, который высился совсем близко от них и со сказочным великолепием отражался в зеркале вод. Это изящное здание, вырисовывавшееся на фоне звездного неба, гармоничные

голоса, музыка превосходных инструментов, эти открытые окна, за которыми между залитыми ярким светом пурпурными драпировками медленно двигались фигуры мужчин и женщин в роскошных нарядах, блистающих шитьем, золотом, драгоценными камнями, их пудреные головы, придававшие празднествам тех времен отблеск белизны, оттенок чего-то изысканного, феерического, — словом, все это поистине княжеское пиршество в сочетании с красотой теплой, ясной ночи, с ее ароматами и свежестью, вливавшимися даже в залитые светом залы, наполнило душу Консуэло волнением и опьянило ее. Дочь народа, но также и королева аристократических празднеств, она не могла после стольких дней затворничества, уединения и мрачных размышлений увидеть подобное зрелище, не испытав — при этом восторга, потребности петь, какого-то странного трепета, вызванного близостью публики. И, встав во весь рост в своей гондоле, которая между тем все ближе подходила к замку, воспламененная хором Генделя:

Воспоемте славу Победителю Маккавею! она забыла все и влила свой голос в эту величественную и восторженную песнь.

Но от нового толчка лодки, которая, идя близ

берега, порой задевала ветку или пучок густой травы, она пошатнулась и, вынужденная опереться на протянутую к ней руку, внезапно заметила, что возле нее находится четвертый человек» один из Невидимых в маске, которого, бесспорно, не было в гондоле, когда она туда входила.

Широкий, ниспадающий длинными складками темно-серый плащ, особая манера носить широкополую шляпу, что-то неуловимое в облике этой маски, а главное, пожатие дрожащей руки, уже не хотевшей отрываться от ее руки, — все это подсказало Консуэло, что перед ней человек, которого она любила, рыцарь Ливерани — точно такой же, каким она впервые увидела его на пруду крепости Шпандау. И тогда музыка, иллюминация, заколдованный дворец, чарующий праздник, даже приближение торжественного часа, который должен был решить ее участь, — все, что лежало за пределами переживаний этой минуты, изгладилось из памяти Консуэло. Взволнованная, покоренная какой-то сверхчеловеческой силой, она вновь упала, трепеща, на подушки гондолы и оказалась рядом с Ливерани. Второй Невидимый, Маркус, стоял на носу спиной к ней. Длительный пост, рассказ графини Ванды, ожидание страшной развязки, внезапное зрелище празднества,

увиденного мимоходом, совершенно надломили силы Консуэло. Она ничего не ощущала, кроме прикосновения руки Ливерани, которая сжимала ее руку, словно боясь, как бы она не отстранилась, и ее охватило то божественное смятение, каким присутствие любимого существа наполняет даже самый воздух вокруг нас. Несколько минут Консуэло сидела так, уже не видя сверкающего дворца, как будто он исчез в глубоком мраке, не слыша ничего, кроме жгучего дыхания возлюбленного и биения собственного сердца.

— Сударыня, — сказал Маркус, внезапно обернувшись, — знакома ли вам ария, которую сейчас поют, и не угодно ли вам остановиться, чтобы послушать этого великолепного тенора?

— Как хотите, — рассеянно ответила Консуэло. — Мне безразличны и эта ария и этот голос. Если вам угодно, остановимся, если нет — едемте дальше.

Лодка была уже почти напротив замка. Можно было ясно различить людей, стоявших в оконных нишах, и даже тех, кто двигался в глубине апартаментов. Теперь это были уже не зыбкие тени, какие мы иногда видим во сне, а реальные люди — великосветские господа и дамы, ученые и артисты, причем многих из них Консуэло

знала прежде. Но она не пожелала сделать над собой хоть малейшее усилие, чтобы вспомнить их имена, вспомнить театры или дворцы, где она встречалась с ними. Весь мир внезапно превратился для нее в какой-то паноптикум, не имеющий для нее никакого значения, не представляющий никакого интереса. Единственный человек, казавшийся ей живым во всей вселенной, был тот, чья рука украдкой жгла ее руку, прячась в складках плаща.

— Разве вам незнаком прекрасный голос, который поет венецианскую арию? — снова спросил Маркус, удивленный неподвижностью и кажущимся безразличием Консуэло.

Казалось, она не слышала ни голоса того, кто с ней говорил, ни голоса, певшего арию, и Маркус, пересев на скамью поближе к Консуэло, повторил свой вопрос.

— Ради бога, извините, — ответила наконец Консуэло, заставив себя прислушаться, — я задумалась и не обратила на него внимания. Да, да, мне знакомы и голос и ария — я сама сочинила ее, но это было очень давно. Ария дурна, исполнение — тоже.

— А как имя этого певца? — снова спросил Маркус, — Мне кажется, вы чересчур строги к нему.

По-моему, он изумителен.

— Ах, вы не потеряли его? — шепотом сказала Консуэло Ливерани, ощутив на его ладони филигранный крестик, с которым она впервые в жизни рассталась, доверив его незнакомцу, когда ехала из Шпандау.

— Так вы не помните имени певца? — настойчиво повторил свой вопрос Маркус, вглядываясь в лицо Консуэло.

— Прошу прощения, сударь, — ответила она с легким нетерпением, — его зовут Андзолето. Ах, какое ужасное ре! Он совершенно испортил эту ноту. — Не хотите ли взглянуть на него? Быть может, вы ошиблись. С моего места вам было бы легче различить его лицо — я отлично его вижу. Весьма красивый молодой человек.

— Зачем мне смотреть на него? — слегка раздраженно ответила Консуэло.

— Я уверена, что он ничуть не изменился.

Маркус мягко взял Консуэло за руку, и Ливерани помог ей встать, чтобы она могла взглянуть в широко распахнутое окно. Консуэло, быть может, не уступила бы первому, но повиновалась второму и взглянула на певца — красивого венецианца, который в эту минуту был мишенью сотни женских взглядов, покровительственных,

жгучих и сладострастных.

— Как он располнел! — проговорила Консуэло, снова садясь на скамью и украдкой противясь пальцам Ливерани, пытавшегося вновь отнять у нее крестик и в конце концов отнявшего его.

— И это все, что вы можете сказать о старом друге? — опять спросил Маркус, продолжая внимательно смотреть на нее сквозь прорезь маски.

— Это только товарищ по профессии, — ответила Консуэло, — а у нас, актеров, товарищи не всегда бывают друзьями.

— Но разве у вас нет желания поговорить с ним? Не заглянуть ли нам во дворец? Быть может, вам предложат спеть вместе с ним, и тогда…

— Если это испытание, — не без лукавства ответила Консуэло, которая наконец поняла причину настойчивости Маркуса, — то я охотно подвергнусь ему, так как обязана вам повиноваться. Но если вы предлагаете это, чтобы доставить мне удовольствие, то я предпочла бы обойтись без него.

— Должен ли я причалить здесь, брат мой? — спросил Карл, подняв весло, как ружье.

— Нет, брат, греби дальше, — ответил Маркус.

Карл повиновался, и через несколько минут лодка, выйдя из пруда, поплыла под густыми

сводами зелени. Стало совсем темно. Только маленький фонарь, подвешенный на гондоле, отбрасывал голубоватые отблески на листву деревьев. Изредка сквозь узкие просветы в гуще зелени еще виднелось слабое мерцание огней дворца. Звуки оркестра медленно замирали вдали. Идя вдоль берега, лодка цеплялась за цветущие ветви, и черный плащ Консуэло был усеян их душистыми лепестками. Она начинала приходить в себя и бороться с властным наваждением любви и ночи. Она уже отняла свою руку у Ливерани, и по мере того как дымка опьянения таяла под ясными доводами рассудка и воли, сердце ее болело все сильнее и сильнее.

— Сударыня, — опять обратился к ней Маркус, — кажется, даже отсюда слышны аплодисменты публики. Да, да, это аплодисменты, крики восторга. Слушатели восхищены. Этот Андзолето имеет во дворце большой успех.

— Они ничего не понимают в музыке! — резко ответила Консуэло, схватив цветок магнолии, который на ходу сорвал Ливерани и украдкой бросил ей на колени.

Она судорожно сжала цветок и спрятала его на груди как последнюю реликвию непобежденной любви, той любви, которую роковое испытание

должно было либо благословить, либо разбить навек.

Глава 38

Миновав сады и лесистые склоны, лодка окончательно пристала к берегу в живописном месте, где ручеек терялся меж вековых скал и был уже непроходим для судов. Консуэло не удалось вдоволь полюбоваться суровым, освещенным луной ландшафтом. Это все еще была территория дворца, но здесь искусство позаботилось лишь о том, чтобы сохранить изначальную красоту природы: столетние деревья, разбросанные по темным лужайкам, причудливые неровности почвы, крутые остроконечные холмы, высокие и низкие водопады, стада пугливых скачущих ланей.

Внезапно новое лицо привлекло внимание Консуэло — это был Готлиб, расположившийся на оглоблях носилок в позе спокойного и мечтательного ожидания. Узнав свою подругу по тюрьме, он вздрогнул, но Маркус знаком приказал ему воздержаться от разговоров. — Неужели вы запрещаете этому бедняге пожать мне руку? — шепотом спросила Консуэло у своего проводника.

— После посвящения вы будете вольны здесь во

всех ваших действиях, — тоже шепотом ответил он. — А пока что взгляните, каким здоровым выглядит Готлиб, как он окреп за это время.

— Но нельзя ли мне хотя бы узнать, — продолжала неофитка, — не пострадал ли он из-за меня после моего бегства из Шпандау? Простите мое нетерпение — эта мысль не давала мне покоя до того дня, когда я увидела его за оградой моего сада.

— Да, он действительно подвергался преследованиям, — ответил Маркус, — но это длилось недолго. Узнав, что вы на свободе, он сразу начал с простодушным восторгом хвалиться тем, что способствовал вашему побегу. Его невольные разоблачения во время сна едва не стали роковыми для некоторых наших братьев. Готлиба чуть было не упрятали в дом умалишенных, — отчасти — чтобы наказать, а отчасти — чтобы помешать ему помогать другим узникам; но тут он совершил побег, и так как мы не упускали его из виду, нам удалось привезти его сюда, а здесь уж позаботились и о теле его и о душе. Мы вернем его семье и родине лишь тогда, когда поможем ему стать достаточно сильным и осторожным, чтобы он смог быть полезен нашему делу. Теперь оно стало и его делом, ибо он один из самых без-

упречных и самых пылких наших приверженцев. Однако портшез готов, сударыня, благоволите сесть в него. Я буду рядом, а вас доверяю верным и надежным рукам Карла и Готлиба.

Консуэло послушно села в закрытый со всех сторон портшез, куда воздух проникал лишь через отверстия, проделанные в верхней части. Поэтому она уже не видела ничего, происходившего вокруг. Иногда наверху блистали звезды, и это говорило ей о том, что они все еще были на свежем воздухе, а иногда она видела только какую-то прозрачную мелькающую дымку, но не знала, что это — крыши домов или густые ветви деревьев. Мужчины, несшие портшез, шагали быстро и в полном молчании. В течение некоторого времени она пыталась сосчитать по шагам, поскрипывавшим на песке, сколько человек сопровождает ее — четверо или только трое. Порой ей казалось, что она различает справа портшеза шаги Ливерани, но, быть может, это была иллюзия, и к тому же она обязана была заставить себя не думать об этом. Когда портшез остановился и дверцу открыли, Консуэло не смогла подавить в себе чувство страха, увидев, что стоит под нависшей над ней мрачной решеткой феодального замка. Луна ярко освещала широкий двор, по кра-

ям которого возвышались обломки строений и где, словно причудливые призраки, сновали взад и вперед, то поодиночке, то группами, одетые в белое люди. За черной массивной аркой входа фон всей этой картины казался еще более синим, прозрачным и фантастичным. Блуждающие тени, безмолвные или шепотом разговаривающие друг с другом, их бесшумные шаги на высокой траве, полуразрушенное здание, внутри которого Консуэло уже побывала однажды и где видела Альберта, — все это преисполнило ее душу каким-то суеверным страхом. Она инстинктивно обернулась, ища, здесь ли Ливерани. Он действительно стоял рядом с Маркусом, но из-за темноты, царившей под сводом, она не смогла различить, который из двух подал ей руку, и сердце, застывшее от внезапной тоски и бесконечной тревоги, на этот раз ничего ей не подсказало.

Кто-то застегнул на ней плащ и капюшон таким образом, чтобы она могла видеть все, не будучи узнана никем, затем ей шепотом приказали молчать и не произносить ни звука, что бы ни случилось, после чего повели ее в глубь двора, где поистине странное зрелище представилось ее взору.

По слабому, зловещему звуку колокола белые

привидения собрались в разрушенной часовне, где Консуэло при вспышках молнии искала однажды убежище от грозы. Сейчас часовня была освещена свечами, стоявшими в определенном порядке. Алтарь здесь воздвигли, должно быть, совсем недавно; он был накрыт погребальным покровом и украшен странными символами, среди которых эмблемы христианства были перемешаны с эмблемами иудейства, с египетскими иероглифами и с разными кабалистическими знаками. Посреди хоров, которые обнесли оградой из символических перил и колонн, стоял гроб, окруженный свечами и покрытый крестообразно положенными костями и черепом, внутри которого блистало пламя цвета крови. К этому пустому гробу подвели какого-то юношу. Консуэло не могла рассмотреть его лицо, закрытое широкой повязкой. Этот вновь вступающий в общество человек казался совершенно разбитым от усталости или волнения. Одно плечо и одна нога были у него обнажены, руки связаны за спиной, белая одежда запятнана кровью. Повязка на руке говорила о том, что ему, должно быть, действительно пускали кровь. Два призрака размахивали над ним пылающими смоляными факелами, окутывая его лицо и грудь облаками

дыма, осыпая дождем искр. Затем между ним и теми, кто возглавлял обряд, — на последних были отличительные знаки, указывающие их степени, — начался странный диалог, напомнивший Консуэло тот, который благодаря Калиостро ей довелось слышать в Берлине между Альбертом и неизвестными ей лицами. Потом вооруженные мечами привидения — присутствовавшие называли их «грозными братьями» — положили испытуемого на каменную плиту и остриями своих мечей коснулись его сердца. Между тем большинство других начали, громко бряцая оружием, ожесточенное сражение, причем одни как бы препятствовали принятию нового брата, называя его порочным, низким, вероломным, другие же кричали, что сражаются за него во имя истины и по праву. Эта странная сцена показалась Консуэло каким-то тяжелым сном. Борьба, угрозы, этот колдовской обряд, рыдания юношей, стоявших вокруг гроба, — все было разыграно так правдоподобно, что зритель, не посвященный заранее, пришел бы в истинный ужас. Когда «восприемники» нового брата оказались победителями и в споре и в сражении, его подняли и, вложив ему в руку кинжал, приказали идти вперед и поражать любого, кто попытается пре-

градить ему доступ в храм.

Больше Консуэло ничего не видела. В тот момент, когда новообращенный с поднятой рукой словно в бреду направлялся к низенькой двери, два проводника, ни на минуту не отпускавшие рук Консуэло, поспешно опустили ей на лицо капюшон, как бы желая избавить ее от страшного зрелища, и по бесчисленным коридорам, среди обломков, о которые она неоднократно спотыкалась, привели в какое-то место, где царила полнейшая тишина. Здесь с нее сняли капюшон, и она увидела, что находится в той самой восьмиугольной зале, где не так давно случайно подслушала разговор Альберта с Тренком. На этот раз все окна и двери были тщательно закрыты и завешены, а стены и потолок затянуты черным; здесь тоже горели свечи, но они были расставлены не в том порядке, как в часовне. Алтарь в виде Голгофы с возвышавшимися над ним тремя крестами загораживал большой камин. Посреди залы возвышалась гробница, на которой лежали молоток, гвозди, копье и терновый венок. Люди в черных плащах и масках стояли на коленях или сидели вокруг гробницы на вышитых серебряными слезками коврах. Они не плакали, не стенали; их поза выражала суровое размышление или

безмолвную, глубокую скорбь.

Провожатые Консуэло подвели ее к гробу, а люди, его охранявшие, встали и разместились по другую сторону; один из них сказал:

— Консуэло, ты только что видела церемонию посвящения в масонское братство. Там, как и здесь, ты видела неизвестные тебе обряды, таинственные символы, мрачные действа, видела наставников и гроб. Что поняла ты из разыгранной там сцены, из испытаний, внушивших такой страх новичку, из обращенных к нему речей, из проявлений любви, уважения и скорби вокруг славной могилы?

— Не знаю, верно ли я поняла, — ответила Консуэло, — но эта сцена встревожила меня, а церемония показалась варварской. Мне было жаль этого новичка, чье мужество и добродетель подвергались испытаниям чисто материального свойства, как будто довольно физического мужества, чтобы быть посвященным в тайны дела, требующего мужества нравственного. Я осуждаю то, что видела, и порицаю жестокие выдумки мрачного фанатизма и детские испытания чисто внешней, идолопоклоннической веры. Испытуемому задавали туманные вопросы, и мне показалось, что его ответы были про-

диктованы сомнительным или примитивным катехизисом. И все же окровавленная могила, убиенная жертва, древний миф о Хираме, замечательном архитекторе, убитом завистливыми и жадными работниками, священное изречение, исчезнувшее на века и обещанное новичку как волшебный ключ, который должен отворить ему двери храма, — в целом этот символ не лишен величия и представляет, мне кажется, известный интерес, но почему эта притча сплетена так неискусно и истолкована так хитроумно?

— Что ты хочешь этим сказать? Хорошо ли ты расслышала повесть, которую называешь притчей?

— Вот что я услышала и что еще раньше узнала из книг, которые вы велели мне прочитать и обдумать за время моего затворничества: Хирам, начальник работ по возведению Соломонова храма, разделил рабочих на группы. Они получали разную плату за труд и пользовались разными правами. Три честолюбца из самой низшей группы решили присвоить себе деньги, предназначенные их соперникам, и вырвать у Хирама его девиз — таинственную формулу, помогавшую ему отличать подмастерьев от мастеров в торжественный час раздачи. Они подстерегли

его в храме, когда он остался там один после этой церемонии, и, заняв все три выхода священного здания, не дали ему выйти оттуда, осыпали угрозами, жестоко избили его, а потом и умертвили, так и не сумев исторгнуть у него тайну — сакраментальную формулу, которая могла сделать их равными ему и тем, кого он предпочитал. Потом они унесли его труп и погребли под развалинами. С того дня верные адепты, друзья Хирама, оплакивают его ужасную участь и все еще ищут священную формулу, отдавая его памяти почти божеские почести.

— А как ты объясняешь этот миф сейчас?

— Перед тем как прийти сюда, я размышляла о нем и понимала его так: Хирам — это холодный разум, искусное управление древними обществами, основанное на неравенстве положений, на системе каст. Эта египетская притча соответствовала духу загадочного деспотизма иерофантов. Три честолюбца суть: негодование, возмущение и мстительность. Возможно, что это те три касты, которые подчинены касте жрецов и пытаются захватить свои права путем насилия. Убитый Хирам означает деспотизм, который утратил влияние и могущество, унеся в могилу свой секрет — секрет господства над людьми с помощью

ослепления и суеверия.

— Так вот каково твое толкование этого мифа?

— Я прочитала в ваших книгах, что его привезли с востока тамплиеры и стали пользоваться им при своих посвящениях. Вот почему они и толковали его приблизительно так. Но, назвав Хирамом — духовенство и убийцами — безбожие, анархию и жестокость, тамплиеры, хотевшие сделать общество рабом своеобразного монастырского деспотизма, оплакивали свое бессилие, выразившееся в уничтожении Хирама. Исчезнувшая и вновь найденная формула их власти была формулой сообщества или хитрости, нечто вроде древнего города или храма Озириса. Вот почему меня удивляет, что эта легенда все еще служит вам для приобщения новых учеников к делу всеобщего освобождения. Мне хотелось бы думать, что вы предлагаете ее вашим адептам лишь как испытание ума и мужества.

— Это не мы избрали такие формы масонского учения, и, действительно, мы применяем их только как испытания нравственных качеств — ведь, пройдя все степени масонства и став выше подмастерьев и мастеров этого символического учения, мы уже перестали быть масонами в том смысле, как это понимают рядовые члены орде-

на. Так вот, мы призываем тебя объяснить нам миф о Хираме так, как понимаешь его ты, сама, чтобы помочь нам вынести суждение о твоем рвении, понимании и вере и в зависимости от этого суждения либо остановить тебя здесь, на пороге истинного храма, либо открыть тебе дорогу в святилище.

— Вы спрашиваете у меня разгадку тайны Хирама, утраченное заклинание.

Но вовсе не оно откроет мне двери храма, ибо оно гласит: тирания или обман. Мне же известны истинные слова, верные названия трех дверей божественного здания, в которые вошли враги Хирама с целью убить и похоронить этого вождя под обломками его творения; эти слова «свобода, братство, равенство».

— Консуэло, твое толкование, верно оно или нет, раскрывает перед нами глубину твоего сердца. Будь же навсегда избавлена от необходимости преклонять колена на могиле Хирама. Тебе не придется также преодолевать ту ступень, на которой неофит повергается ниц перед мнимыми останками Жака Моле, гроссмейстера и великого мученика храма, перед останками монахов — воинов и прелатов-рыцарей средневековья. Ты бы вышла победительницей из этого второго испы-

тания так же, как из первого. Ты бы распознала обманчивые следы варварского фанатизма, все еще необходимого как своеобразный щит для умов, проникнутых принципом неравенства. Запомни, что франкмасоны первых степеней по большей части стремятся к тому, чтобы соорудить лишь мирской храм, тайное убежище для сообщества, достигшего уровня касты. Ты же думаешь иначе и прямо пойдешь к всемирному храму, долженствующему принять всех людей, объединенных одной и той же верой, одной и той же любовью. И все-таки ты должна остановиться здесь в последний раз и пасть ниц перед этой могилой. Ты должна поклониться Христу и признать в нем единого истинного бога.

— Вы говорите это, чтобы еще раз меня испытать, — твердо ответила Консуэло, — но вы сами открыли мне глаза на высокие истины, научив читать ваши тайные книги. Христос — это богочеловек, которого мы почитаем как величайшего философа и величайшего святого древних времен. Мы поклоняемся ему, насколько дозволено поклоняться лучшему и величайшему из учителей и мучеников. Мы можем назвать его спасителем людей в том смысле, что он преподал своим современникам истины, которые до того

лишь смутно маячили перед ними и благодаря которому человечество вступило в новую фазу света и святости. Мы можем преклонить колена перед его прахом, чтобы возблагодарить бога за то, что он сотворил для нас такого пророка, такой пример, такого друга, но, поклонясь в его лице богу, мы не впадаем в грех идолопоклонства. Мы различаем божественность откровения и божественность того, кто преподал нам его. Поэтому я готова выразить перед этими эмблемами мученичества, навеки прославленного и благородного, свою благочестивую признательность и дочернее восхищение, но не думаю, что разгадка откровения была понята и провозглашена людьми во времена Христа, ибо тогда он еще не был признан на земле. Я жду от мудрости, от веры его учеников и последователей, продолжающих его дело на протяжении семнадцати столетий, такой истины, которая была бы более целесообразна и более полно применяла бы его святые слова и учение о братстве. Я жду распространения Евангелия, жду чего-то большего, нежели равенство перед богом, жду и призываю ждать других людей.

— Твои речи чересчур смелы, а суждения чреваты опасностями. Хорошенько ли ты обдумала их в своем уединении? Предусмотрела ли ты

несчастья, которые твоя новая вера может сразу навлечь на твою голову? Познала ли людей и собственные силы? Известно ли тебе, что нас очень мало — один на сто тысяч в самых просвещенных странах земного шара? Знаешь ли ты, что в наше время среди тех людей, которые воздают великому провидцу Иисусу оскорбительные и грубые почести, и тех, ныне почти столь же многочисленных людей, которые отрицают его миссию, чуть ли не самое его существование, словом, знаешь ли ты, что и среди идолопоклонников и среди атеистов нас не ждет ничего, кроме преследований, издевательств, ненависти и презрения? Знаешь ли ты, что во Франции в равной мере проклинают сейчас и Руссо и Вольтера — философа верующего и философа неверующего? Знаешь ли ты — и это еще более неслыханно, более страшно, — что из глуши изгнания они оба проклинают друг друга? Знаешь ли ты, что тебе придется вернуться в тот мир, где все будут в заговоре, чтобы поколебать твою веру и замутить твои мысли? Знаешь ли ты, наконец, что тебе придется распространять проповедь твоего учения, продираясь сквозь толщу опасностей, сомнений, разочарований и муки?

— Я решилась на все, — ответила Консуэло, опустив глаза и прижав руку к сердцу. — Да по-

может мне бог!

— Хорошо, дочь моя, — сказал Маркус, все еще державший Консуэло за руку, — мы подвергнем тебя кое-каким нравственным страданиям — не для того, чтобы испытать твою веру, ибо мы уже не сомневаемся в ней, а чтобы укрепить ее. Вера растет и усиливается не в покое отдохновения и не в наслаждениях этого мира, а в скорби и в слезах. Хватит ли у тебя мужества побороть тягостные волнения и, быть может, мучительный страх?

— Если это необходимо и может послужить на пользу моей душе, я подчиняюсь вашей воле, — ответила Консуэло со стесненным сердцем.

Невидимые тотчас начали убирать ковры и факелы, окружавшие гроб. Гроб они откатили в одну из глубоких оконных ниш, и несколько адептов, вооружившись железными брусьями, торопливо подняли круглую каменную плиту в середине залы. Консуэло увидела круглое отверстие, достаточно широкое, чтобы мог пройти один человек; почерневшая от времени гранитная закраина была, несомненно, столь же древней, как и другие архитектурные части здания. Принесли длинную лестницу и опустили ее в зияющую пустоту. Затем Маркус подвел Консуэло к входу и трижды

спросил ее торжественным тоном, хватит ли у нее мужества спуститься одной в подземелье огромной феодальной башни.

— Выслушайте меня, отцы и братья, ибо я не знаю, как мне должно называть вас… — начала Консуэло.

— Зови их братьями, — прервал ее Маркус. — Ты находишься здесь среди Невидимых, которые окажутся равны тебе по степени, если ты проявишь твердость в течение еще одного часа. Сейчас ты простишься с ними, чтобы встретиться через час в присутствии членов совета, высших наставников, чей голос и чьи лица никому не известны. Вот этих ты будешь называть отцами. Они верховные жрецы, духовные и мирские наставники нашего храма. Мы предстанем перед ними и перед тобой с открытым лицом, если ты твердо решилась встретиться с нами у врат святилища, после того как пройдешь тяжелый и полный ужасов путь, который начинается здесь, у твоих ног, — пройдешь одна, не имея иных проводников, кроме твоего мужества и упорства.

— Если так надо, я пойду, — ответила Консуэло трепеща, — но разве это испытание, которое вы сами считаете таким суровым, необходимо? О братья, ведь вы не хотите посмеяться над рассуд-

ком женщины, чуждой притворства и ложного тщеславия, над рассудком, перенесшим уже столько испытаний? Сегодня вы осудили меня на длительный пост, и, хотя волнение на многие часы заставило умолкнуть мой голод, я чувствую, что физически ослабела. У меня нет уверенности, что я выдержу бремя, которое меня ждет. Клянусь, меня не страшат телесные страдания, — только бы вы не приняли за слабость духа то, что будет лишь бессилием телесной оболочки. Обещайте, что вы простите меня, если я окажусь лишь слабой женщиной — только бы, придя в себя, я все еще ощущала в себе сердце мужчины.

— Бедное дитя, — ответил Маркус, — мне приятнее слышать, что ты откровенно признаешься в слабости, чем если бы ты стала пытаться блеснуть перед нами безрассудной отвагой. Хорошо, мы согласны дать тебе одного проводника, который в случае надобности окажет тебе помощь и поддержку… Брат, — добавил он, обращаясь к рыцарю Ливерани, стоявшему во время всей беседы у дверей и не спускавшему глаз с Консуэло, — возьми за руку твою сестру и проводи ее подземельями к месту, назначенному для всеобщей встречи.

— А вы, брат? — испуганно спросила Консуэ-

ло. — Разве вы не хотите пойти вместе с нами?

— Это невозможно. Ты можешь иметь лишь одного проводника, и тот, кого я указал, единственный, кого мне дозволено тебе дать.

— Я найду в себе мужество и пойду одна, — сказала Консуэло, закутываясь в плащ.

— Ты отвергаешь руку брата и друга?

— Я не отвергаю ни его сочувствия, ни его дружбы, но пойду одна.

— Ступай же, благородная девушка, и ничего не бойся. Та, которая спустилась одна в колодец слез в Ризенбурге, та, которая пошла навстречу стольким опасностям, чтобы отыскать пещеру Шрекенштейна, сумеет с легкостью пройти сквозь недра нашей пирамиды. Ступай же, подобно юным героям древности, искать свое посвящение сквозь испытания священных таинств. Братья, протяните ей чашу, драгоценную реликвию, которую принес нам один из потомков Жижки и в которой мы освящаем святые дары причастия братской общины.

Ливерани взял с алтаря деревянную, грубо вырезанную чашу, наполнил ее и подал Консуэло вместе с хлебом:

— Сестра, — сказал Маркус, — мы предлагаем тебе не только благородное сладкое вино и

беспримесный пшеничный хлеб для восстановления твоих физических сил, — мы предлагаем тебе тело и кровь богочеловека, небесный и в то же время материальный символ братского равенства. Наши отцы, мученики таборитской церкви, считали, что для освящения святых даров вмешательство нечестивых и кощунственных священников не могло сравниться с чистыми руками женщины или ребенка. Причастись же здесь вместе с нами перед тем, как сесть за праздничный стол в храме, где великое таинство причастия будет разъяснено тебе более наглядно. Прими чашу и отпей первая. Если ты веришь в этот обряд, несколько капель напитка вольют в твое тело величайшую силу, а пылкая душа унесет все твое существо на огненных крыльях.

Отпив первая из чаши, Консуэло протянула ее Ливерани, и тот, в свою очередь отпив, передал чашу по кругу всем братьям. Осушив последние капли, Маркус благословил Консуэло и повелел всем присутствующим сосредоточиться и помолиться за нее. Затем он вручил неофитке серебряную лампаду и помог ей спуститься с первых ступеней лестницы.

— Излишне говорить, — добавил он — что жизни вашей не угрожает ни малейшая опас-

ность. Бойтесь только за вашу душу. Вы никогда не дойдете до дверей храма, если будете иметь несчастье хоть раз обернуться назад во время пути. Вам доведется несколько раз останавливаться и внимательно осматривать все, что представится вашему взору, но как только перед вами откроется какая-нибудь дверь, входите и не оборачивайтесь. Как вы знаете, таково строгое правило древних посвящений. Кроме того, согласно старинным обычаям, вы должны тщательно оберегать пламя лампады — эмблему вашей веры и вашего усердия. Идите, дочь моя, и пусть вам придаст сверхъестественное мужество мысль о том, что страдания, которые вам предстоит претерпеть сейчас, необходимы для укрепления вашего ума и сердца в добродетели и истинной вере.

Консуэло осторожно спустилась по ступенькам, и едва успела она переступить последнюю, как лестница была убрана, а тяжелая каменная плита с грохотом упала, закрыв вход в подземелье над ее головой.

Глава 39

В первые минуты, перейдя из ярко освещенной сотней факелов залы в другую, где мерцал лишь слабый свет ее лампады, Консуэло не могла различить ничего, кроме какого-то бледного тумана. Однако понемногу глаза ее освоились с полумраком, и так как между ней и стенами комнаты, точно такой же и по размеру и по восьмиугольной форме, как та, которую она только что покинула, не было как будто ничего страшного, она успокоилась и даже подошла поближе к стене, чтобы рассмотреть странные начертанные на ней буквы. Это была длинная надпись, занимавшая несколько строк, которые шли вокруг всей залы и не прерывались ни дверью, ни окном. Заметив это, Консуэло задумалась не о том, каким образом она выйдет из этой темницы, а о назначении подобного сооружения. Мрачные мысли, отброшенные ею вначале, снова пришли ей на ум и вскоре нашли подтверждение в содержании надписи, которую она прочитала, медленно передвигая свою лампаду на высоте букв. «Любуйся красотой этих стен, воздвигнутых

на скале. Их толщина равна двадцати четырем футам, и стоят они уже тысячу лет, причем ни военные штурмы, ни действие времени, ни усилия рабочих не могли нанести им ущерба. Это чудо строительного искусства было некогда воздвигнуто руками рабов, очевидно для того, чтобы спрятать в нем сокровища несметно богатого господина. Да, чтобы спрятать в недрах скалы, в сердце земли, сокровища, добытые ненавистью и местью! Здесь гибли, страдали, рыдали, вопили и, богохульствовали двадцать поколений людей, в большинстве своем невинных, порой даже герои. Но все они были мучениками или жертвами: пленники войны, взбунтовавшиеся, чрезмерно угнетенные налогами вассалы, религиозные реформаторы, благородные еретики, люди обездоленные, побежденные, фанатики, святые, а иногда и злодеи, привыкшие к жестокостям войн, к убийствам, грабежам и, в свою очередь, приговоренные к страшным наказаниям. Таковы были катакомбы феодализма, военного или религиозного деспотизма, жилища, которые построили могущественные люди руками невольников, чтобы заглушить крики своих побежденных закованных братьев и скрыть их трупы. Сюда не проникает свежий воздух или дневной свет,

здесь нет камня, чтобы склонить на него голову, нет ничего, кроме вделанных в стену железных колец, куда можно пропустить кончик цепи узника и помешать ему выбрать себе место для отдыха на сырой, холодной земле. Воздух, свет и пища появляются здесь лишь тогда, когда стражникам, находящимся в верхней зале, вздумается приоткрыть на мгновение подвал и швырнуть кусок хлеба сотням несчастных, брошенных друг на друга после сражения, раненных или убитых. И страшнее всего, что иной раз тот, кто выжил последним и кто угасает тут в отчаянии и муке среди гниющих трупов своих сотоварищей, бывает сожран теми же червями еще до того, как окончательно умрет, до того, как сознание жизни и чувство отвращения окончательно погаснут в его мозгу.

Таков, о неофит, источник человеческого величия, на которое, быть может, ты некогда взирал с восхищением и завистью в мире власть имущих. Голые черепа, сломанные, иссохшие человеческие кости, слезы, пятна крови — вот что означают эмблемы на твоих гербах, если отцы твои оставили тебе в наследство бесчестие знатности, вот что следовало бы изображать на щитах принцев, которым ты служил или мечтаешь слу-

жить, если вышел из простонародья. Да, такова основа дворянских титулов, таков источник наследственных богатств и почестей в этом мире; так возникло и до сих пор сохранилось сословие, которого другие сословия боятся, которому льстят и перед которым заискивают до сего дня. Вот, вот что придумали люди, чтобы возвыситься — от отца к сыну — над другими людьми!»

Обойдя темницу три раза, чтобы прочитать всю надпись, Консуэло, охваченная скорбью и ужасом, поставила лампаду на землю и присела отдохнуть. Глубокая тишина царила в этом зловещем месте, и множество чудовищных мыслей невольно пробуждалось здесь. Пылкое воображение Консуэло тотчас населило его мрачными видениями. Ей чудилось, что бледные призраки, покрытые отвратительными язвами, бродят вдоль стен или ползают по земле у ее ног. Ей слышались их жалобные стоны, предсмертный хрип, слабые вздохи, скрежет цепей. Перед ее мысленным взором вставала жизнь средних веков, та жизнь, какой она, очевидно, была тогда, во времена религиозных войн. Ей казалось, что наверху, над головой, она слышит в сторожевой зале тяжелые и зловещие шаги подкованных железом сапог, бряцание пик на каменном полу,

грубые раскаты смеха, пьяные песни, угрозы и ругань стражников, когда стоны жертв доходили до их слуха и нарушали чудовищный сон — ибо они спали, эти тюремщики, они могли, они должны были спать над этой тюрьмой, над зловонной ямой, откуда исходил смрад могилы и доносилось рычание ада. Бледная, с остановившимся взглядом, со вставшими дыбом волосами, Консуэло уже ничего больше не видела и не слышала от безумного страха. Когда она очнулась и вспомнила о себе, то поднялась с пола, чтобы хоть немного согреться, и заметила, что во время ее мучительного забытья одна из каменных плит пола была вынута и сброшена вниз; перед ней был открыт новый путь. Приблизившись к отверстию, она увидела узкую крутую лестницу, по которой с трудом спустилась и которая привела ее в новое подземелье, более узкое и низкое, нежели первое. Ступив на пол, оказавшийся под ногой мягким и словно бы бархатистым, Консуэло опустила свою лампаду, чтобы посмотреть, не увязнет ли она в иле, но увидела лишь серую пыль, более мелкую, чем мельчайший песок, и в этой пыли вместо камешков валялись то сломанные ребра, то головки бедренной кости, то осколки черепа, то челюсти, еще украшенные белыми, крепкими зубами —

признак молодости и силы тех, кто был внезапно уничтожен насильственной смертью. Некоторые скелеты, сохранившиеся почти целиком, были извлечены из этой пыли и прислонены к стенам. Один из них, уцелевший полностью, стоял во весь рост, с веревкой, обхватывавшей туловище поперек, словно он был осужден погибнуть здесь, не имея возможности лечь. Тело его не согнулось, не наклонилось вперед, не распалось на части, но, напротив, застыло, одеревенело и откинулось назад в позе, исполненной великолепной гордости и неумолимого презрения. Сухожилия его остова и членов окостенели. Запрокинутая голова, казалось, смотрела на своды потолка, и зубы, стиснутые последним сокращением челюстей, как бы обнажились в приступе страшного смеха или же в порыве высокого фанатизма. Сверху крупными красными буквами была написана на стене его история. То была неизвестная жертва религиозного преследования, последний из мучеников, умерщвленных в этом месте. У ног его стоял коленопреклоненный скелет; голова скелета, отделенная от туловища, валялась поодаль, но застывшие руки все еще обнимали колена мученика: то была его жена. В надписи имели место и такие подробности:

«N погиб здесь вместе с женой, тремя братьями и двумя детьми из-за того, что не согласился отречься от веры Лютера и даже под пытками продолжал упорно отрицать непогрешимость папы. Он умер стоя и высох, так сказать, окаменел, не имея возможности взглянуть на свою семью, агонизировавшую на прахе его друзей и наставников».

Напротив этой надписи была следующая:

«Неофит, слой рыхлой земли, которую попирают твои стопы, равен двадцати футам толщины. Это не песок, не глина, это человеческий прах. Здесь было костехранилище замка. Сюда бросали тех, кто умер в темнице, расположенной наверху, когда там уже не хватало места для вновь прибывших. Это прах двадцати поколений мучеников. Сколь счастливы и сколь немногочисленны знатные люди, насчитывающие среди своих предков двадцать поколений палачей и убийц!»

Эти зловещие останки не так сильно ужаснули Консуэло, как видения, возникшие в первые минуты в ее собственном мозгу. Смерть таит в себе нечто слишком торжественное и значительное, чтобы малодушие страха или религиозные сомнения могли омрачить восторженный пыл и ясность душ сильных и полных веры. При виде

этих реликвий благородная последовательница благочестивых верований Альберта ощутила больше уважения и сострадания, нежели ужаса и смятения. Она опустилась на колени перед останками мученика и, почувствовав, что к ней вернулись нравственные силы, воскликнула, целуя его лишенную телесной оболочки руку:

— Нет, священное зрелище этой славной смерти не может вызвать ни жалости, ни отвращения. Представление о жизни, протекавшей в борьбе с предсмертной мукой, мысль о том, что происходило в этих отчаявшихся душах, — вот что наполняет горечью и ужасом сердца живых! Но ты, несчастный мученик, который умер стоя, подняв взор к небу, ты не вызываешь жалости, ибо ты не дрогнул, и душа твоя улетела ввысь в порыве экстаза, вызывающего во мне только благоговение.

Консуэло медленно поднялась и почти спокойно поправила свою подвенечную фату, которая зацепилась за скелет коленопреклоненной женщины, стоявший рядом. Узкая и низкая дверь распахнулась перед нею. Она снова взяла лампаду и, стараясь не оборачиваться, вошла в узкий мрачный коридор, круто спускавшийся вниз. Справа и слева зияли отверстия темниц, поис-

тине напоминавших гробы. Эти казематы были чересчур низки, чтобы человек мог в них стоять, и недостаточно длинны, чтобы он мог вытянуться там во весь рост. Казалось, их вырубили циклопы — так прочно они были выдолблены в каменной толще стен. Они напоминали клетки каких-то свирепых и опасных зверей, но Консуэло не могла обмануться на этот счет: она видела арены в Вероне и знала, что тигры и медведи, предназначавшиеся некогда для цирковых зрелищ и поединков гладиаторов, содержались в тысячу раз лучше. К тому же на железных дверях она прочла, что эти неприступные темницы приберегались для побежденных князей, для мужественных полководцев, для узников, которых считали наиболее важными и опасными в силу их положения, ума и энергии. Эти чудовищные меры предосторожности, говорящие о страхе перед их возможным побегом, показывали, как велики были любовь и уважение их сторонников. Так вот где затихло рыканье этих львов, некогда потрясавших весь мир своим призывом. Их мощь, их воля разбились об угол стены, их исполинская грудь иссохла в поисках глотка воздуха возле неприметной косой щели, выдолбленной в двадцатифутовой толще стены, их орлиное

зрение притупилось, ища слабый луч света в вечном мраке. Здесь заживо погребли людей, которых не смели убивать открыто. Прославленные умы, благороднейшие сердца искупали здесь злодеяния тех, в чьих руках были сосредоточены сила и право.

Бродя по темным, сырым коридорам, проделанным в скале, Консуэло услышала шум бегущей воды, напомнивший ей грозный подземный поток Ризенбурга. Однако ее мысли были слишком поглощены несчастьями и преступлениями человечества, чтобы долго думать о самой себе. Внезапно ей преградило путь отверстие колодца, вырытое на уровне земли и освещенное факелом. Над факелом она прочитала на столбе следующую надпись, не требовавшую дальнейших пояснений:

«Здесь их топили!»

Нагнувшись, Консуэло заглянула в глубь колодца.

Тот самый ручей, по которому она столь мирно плыла на лодке всего час назад, низвергался здесь в страшную глубину и крутился, ревя, словно жаждал схватить и увлечь новую жертву. Красный отблеск смоляного факела придавал этой зловещей струе цвет крови.

Наконец Консуэло очутилась перед массивной дверью и попыталась открыть ее, но тщетно. Она спросила себя, уж не разверзнется ли пропасть у ее ног, не погасит ли внезапный порыв ветра ее лампаду и не поднимут ли ее в воздух невидимые цепи, как это бывало при посвящениях в глубине египетских пирамид. Однако значительно больше ее пугало другое: с той минуты, как она пошла по коридорам, кто-то был здесь, рядом с нею. Она слышала сзади чьи-то легкие, беззвучные шаги, чей-то плащ шелестел близ нее, а, когда она обогнула колодезь, свет факела, оказавшегося за ее спиной, отбросил на поверхность стены, вдоль которой она шла, не одну, а две колеблющиеся тени. Кто же был этот опасный спутник, взглянуть на которого она могла, лишь рискуя потерять плоды всех своих усилий и никогда не переступить порога храма? Был ли это страшный призрак, чье безобразие могло парализовать ее мужество и поколебать рассудок? Она больше не видела его тени, но ей казалось, что чье-то дыхание слышится совсем близко. А эта роковая дверь все еще не открывалась! Две или три минуты, проведенные в томительном ожидании, показались ей целой вечностью. Безмолвный сообщник внушал неодолимый страх. Она боялась,

что, желая ее испытать, он может заговорить, может хитростью заставить ее взглянуть на него. Сердце ее учащенно билось. И вдруг она увидела над дверью надпись: «Здесь ждет тебя последнее испытание, самое жестокое из всех. Если мужество твое истощилось, стукни два раза в левую створку двери; если нет, стукни три раза в правую створку. Помни, что слава твоего посвящения будет соразмерна твоим стараниям».

Консуэло без колебания постучала три раза в правую створку. Она тут же распахнулась, и Консуэло вошла в просторную залу, освещенную множеством факелов. Там никого не было, и сначала она не могла понять назначения странных предметов, в строгом порядке расставленных вокруг нее. Это были никогда не виданные ею деревянные, железные и бронзовые машины; удивительные приспособления лежали на столах или висели на стенах. Сначала ей показалось, что она попала в артиллерийский музей, ибо там были мушкеты, пушки, кулеврины и другие предметы военного снаряжения — они стояли на первом плане, заслоняя инструменты другого рода. Кому-то вздумалось собрать здесь все средства, изобретенные людьми для взаимного уничтожения. Но когда неофитка сделала несколько

шагов вперед и прошла через этот арсенал, она увидела другие предметы, отличавшиеся более утонченной жестокостью, — деревянные козлы, колеса, пилы, плавильные чаны, блоки, крюки, — словом, весь набор орудий пытки, а на большой доске, висящей посередине, под целой коллекцией дубинок, клещей, ножниц, напильников, зубчатых топоров и других отвратительных предметов для истязания, была надпись: «Все они весьма ценны, подлинны, все они были в употреблении».

И тут Консуэло почувствовала, что изнемогает. Холодный пот увлажнил волосы на ее голове. Сердце перестало биться. Не в силах оторваться от этого страшного зрелища и от множества нахлынувших на нее кровавых видений, она рассматривала все, что было перед ней, с тем тупым и мрачным любопытством, какое овладевает нами в минуты безмерного ужаса. Вместо того чтобы закрыть глаза, она пристально смотрела на подобие бронзового колокола — чудовищную голову в круглом шлеме, посаженную на бесформенное туловище без ног, обрубленное на уровне колен. Все вместе походило на огромную статую грубой работы, предназначенную для украшения гробницы. Но постепенно, выходя

из своего оцепенения, Консуэло по какому-то наитию поняла, что под этот колокол помещали осужденного, заставив его присесть на корточки. Тяжесть колокола была так ужасна, что никакие человеческие силы не могли бы его приподнять. Внутренние размеры были пригнаны так точно, что человек не мог сделать там ни одного движения. Но помещали его сюда не с намерением задушить, ибо в забрале шлема и во всей окружности головы были кое-где проделаны маленькие дырочки, причем в некоторых из них все еще торчали длинные тонкие стилеты. При помощи мучительных уколов здесь терзали жертву, желая вырвать у нее признание в преступлении, действительном или мнимом, донос на родных и друзей, исповедь политических и религиозных взглядов .

На верхушке металлического шлема были вырезаны на испанском языке следующие слова:

Да здравствует святая инквизиция!

А внизу — молитва, продиктованная, должно быть, чувством свирепого сострадания, а быть может, вышедшая из сердца и написанная рукою бедного рабочего, осужденного на создание этой гнусной машины:

Пресвятая матерь божья, молись за бедного

грешника!

Клок волос, вырванный во время пыток и, очевидно, приклеенный кровью, остался висеть под этой молитвой как страшное и неизгладимое клеймо. Волосы торчали из отверстия, расширенного с помощью стилета. Они были седые!

И вдруг Консуэло перестала видеть, перестала страдать. Совершенно неожиданно, не успев ощутить ни малейшей физической боли, ибо и душа ее и тело существовали теперь лишь в теле и душе истерзанного, искалеченного человечества, прямая и неподвижная, она упала на пол, словно статуя, рухнувшая с пьедестала. Но в ту секунду, когда голова ее готова была удариться о бронзу адского прибора, какой-то человек, не замеченный ею, успел схватить ее в свои объятия. Это был Ливерани.

Глава 40

Очнувшись, Консуэло увидела себя на пурпурном ковре, покрывавшем белые мраморные ступени изящной коринфской галереи. Двое мужчин в масках — по цвету плащей она узнала в них Ливерани и того, кого справедливо считала Маркусом, — хлопотали над ней, стараясь привести в чувство. Человек сорок в плащах и в масках, те самые, которых она уже видела раньше вокруг некоего подобия гробницы Иисуса, стояли в два ряда вдоль ступеней и хором пели торжественный гимн на незнакомом языке, размахивая венками из роз, пальмовыми ветвями и цветами. Колонны были украшены цветочными гирляндами, которые скрещивались, образуя перед закрытой дверью храма и над головой Консуэло нечто вроде триумфальной арки. Луна в зените заливала ярким светом белый фасад, а снаружи, вокруг этого святилища, старые тисовые деревья, кипарисы и сосны стояли непроходимой рощей, напоминавшей священный лес, у подножия которого серебрились и журчали таинственные воды.

— Сестра, — сказал Маркус, помогая Консуэло подняться, — вы победоносно вышли из всех испытаний. Не стыдитесь того, что вы физически ослабели под гнетом мучительной скорби. Ваше благородное сердце едва не разбилось от гнева и сострадания при виде столь очевидных доказательств преступлений и бедствий человечества. Если бы вы пришли сюда сами, без нашей помощи, мы бы не прониклись к вам таким уважением, как теперь, когда вас принесли сюда обессиленную и удрученную печалью. Вы видели подземелье роскошного замка, причем это не какой-нибудь особый замок, более других известный своими преступлениями, нет, это самый обыкновенный замок, похожий на все те, чьи развалины покрывают большую часть Европы. Да, это страшные остатки обширной сети, с чьей помощью феодальное владычество в течение стольких веков распоряжалось всем цивилизованным миром, угнетая людей своим преступным, жестоким могуществом и ужасами междоусобных войн. Эти отвратительные жилища, эти суровые крепости служили логовом для всех злодеяний, свершавшихся на глазах у людей до тех пор, пока религиозные войны, старания освободительных обществ и мучени-

чества избранников не помогли человечеству познать истину. Вы можете объехать Германию, Францию, Италию, Испанию, славянские страны — в каждой долине, на каждой горе вы увидите там внушительные развалины какого-нибудь грозного замка или заметите на траве остатки укреплений. Все это кровавые следы завоевателей, следы побед касты патрициев над кастами порабощенных. И если вы исследуете эти руины, если пороетесь в земле, которая их поглотила и неустанно старается засыпать их еще глубже, вы повсюду найдете то же, что видели здесь: темницу, яму для груды трупов, тесные зловонные конуры для особо важных узников, укромный угол, где можно убивать бесшумно, а на вершине старинной башни или в недрах подземелья — застенок для строптивых рабов, виселицу для дезертиров, кипящие котлы для еретиков. Сколько несчастных погибло в кипящей смоле, сколько исчезло в потоке вод, сколько было заживо погребено в рудниках! Ах, если бы стены замков, воды озер и рек, пещеры скал могли заговорить и рассказать о всех беззакониях, которые они видели и поглотили! Число их слишком велико, чтобы история могла запечатлеть эти подробности!

Но не только владетельные сеньоры, не только

аристократы окрасили землю невинной кровью. Короли и священники, троны и церковь — вот главный источник беззаконий, вот главная разрушительная сила. Чья-то суровая забота, чей-то мрачный, но сильный ум собрал в одной из зал нашего старинного замка часть Орудий пытки, изобретенных ненавистью сильного К слабому. Описание их невероятно, глаза с трудом верят, мысль отказывается допустить их существование. И все-таки они действовали, эти чудовищные механизмы, они действовали в течение целых столетий как в королевских дворцах, так и в цитаделях мелких князьков, главным же образом — в застенках святой инквизиции. Что я говорю? Они действуют и ныне, хотя и реже. Инквизиция все еще существует, все еще терзает людей, и во Франции, самой просвещенной из всех стран, есть еще провинциальные суды, сжигающие мнимых колдунов. Впрочем, разве тирания уже низвергнута? Разве короли и принцы перестали разорять землю? Разве война перестала приносить горе и опустошение как в зажиточные дома, так и в бедные хижины, стоит только захотеть самому мелкому правителю? Разве рабство перестало царить в половине Европы? Разве войско перестало подчиняться почти

повсеместному закону хлыста и дубинки? Разве самых красивых, самых храбрых солдат в мире — прусских солдат — не дрессируют как животных, с помощью палки и розги? Разве русскими рабами не управляет кнут? Разве в Америке не обращаются с неграми хуже, чем с собаками и лошадьми? Если крепости древних баронов уже разрушены и превращены в мирные жилища, то разве крепости королей не продолжают стоять на месте и служить тюрьмами для невинных чаще, чем для виновных? И разве ты, сестра моя, нежнейшая и благороднейшая из женщин, не была узницей в Шпандау?

Мы знали, что ты великодушна, мы не сомневались в твоей способности к состраданию, в чувстве справедливости, но так как тебе и некоторым другим, находящимся здесь, предназначено вернуться в свет, бывать при дворе, иметь доступ к королям, подвергаться — тебе в особенности — действию их чар, нам пришлось предостеречь тебя от опьянения этой полной блеска и опасностей жизнью, и мы не имели права избавить тебя даже от самых чудовищных доказательств ее порочности. Пользуясь одиночеством, на которое мы тебя обрекли, и книгами, предоставленными в твое распоряжение, мы воздействовали

на твой ум; с помощью отеческих наставлений, то строгих, то ласковых, мы воздействовали на твое сердце; подвергая тебя испытаниям, более мучительным и насыщенным более глубоким смыслом, нежели испытания древних мистерий, мы воздействовали на органы твоего зрения. А теперь, если ты все еще желаешь принять посвящение, можешь бесстрашно предстать перед этими неподкупными, но добрыми судьями — ты уже знаешь их, и они ждут тебя, либо чтобы увенчать, либо чтобы даровать тебе свободу покинуть нас навсегда.

Сказав это, Маркус поднял руку и указал Консуэло на дверь храма, над которой огненными буквами зажглись три сакраментальных слова: свобода, равенство, братство.

В ослабевшей, разбитой физически Консуэло бодрствовал в эту минуту только ее дух. Она уже не могла слушать речь Маркуса стоя. Вынужденная снова присесть у подножия колонны, она опиралась на Ливерани, не видя его, забыв о нем. Однако она не пропустила ни одного слова, произнесенного Маркусом. Бледная, как привидение, с остановившимся взглядом и замирающим голосом, она все-таки не производила впечатления человека, который только что пе-

ренес сильное нервное потрясение. Сдержанный восторг переполнял ее грудь, дыхание было так слабо, что Ливерани не мог уловить его. Черные глаза, немного ввалившиеся от усталости и перенесенных страданий, сверкали мрачным огнем. Легкая морщинка на лбу говорила о непоколебимом решении, первом в ее жизни. Характер ее красоты испугал тех из присутствующих, кто прежде видел ее неизменно приветливой и кроткой. Ливерани дрожал, как лист жасмина, колеблемый ночным ветерком над головой его возлюбленной. Она поднялась сильным движением, какого он не мог ожидать от нее в этот миг, но внезапно у нее подкосились ноги, и, чтобы подняться по ступенькам, она позволила ему поддерживать, почти нести себя, не испытывая при этом никакого волнения от его объятий, так сильно трогавших ее прежде, не выходя из состояния глубокой задумчивости, несмотря на близость сердца, так бурно воспламенявшего прежде ее сердце. Он вложил в ее ладонь серебряный крестик — талисман, дававший известные права на нее и служивший как бы знаком отличия, по которому она могла его узнавать. Но Консуэло, казалось, не узнала ни этого дорогого ей предмета, ни руки, которая передала ей его. Ее

собственная рука была стиснута в какой-то судороге страдания. Она бессознательно держалась за руку Ливерани, как держалась бы за ветку, чтобы не свалиться в пропасть, но кровь сердца не доходила до ее оледеневшей руки.

— Маркус, — прошептал Ливерани, когда тот поравнялся с ним, чтобы постучать в дверь храма, — не покидайте нас. Испытание было чересчур жестоким. Я боюсь!

— Она любит тебя! — ответил Маркус.

— Да, но она может умереть, — вздрогнув, возразил Ливерани.

Маркус трижды постучал в дверь, которая открылась и сразу же захлопнулась, как только он вошел вместе с Консуэло и Ливерани. Прочие братья остались в галерее, ожидая, чтобы их пригласили на церемонию посвящения, ибо между этим посвящением и последними испытаниями всегда бывает секретная беседа между наставниками Невидимых и тем, кого собирались принять.

Внутри помещение, предназначавшееся в замке XXX для подобных обрядов, было отделано и украшено с большой пышностью. Между всеми колоннами стояли статуи величайших друзей человечества. Фигура Иисуса Христа помещалась

в середине амфитеатра между фигурами Пифагора и Платона. Аполлоний Тианский стоял рядом со святым Иоанном, Абеляр — возле святого Бернара. Ян Гус и Иероним Пражский находились рядом со святой Екатериной и Жанной д'Арк. Но Консуэло не стала рассматривать то, что ее окружало. Погруженная в свои мысли, она без удивления и волнения снова увидела тех самых судей, которые так глубоко изучили ее сердце. Ее больше не тревожило присутствие этих лиц, кто бы они ни были, и, ожидая их приговора, она казалась совершенно спокойной.

— Брат сопровождающий, — обратился к Маркусу восьмой человек, сидевший ниже семи судей и всегда говоривший вместо них, — кого вы привели к нам? Как имя этой женщины?

— Консуэло Порпорина, — сказал Маркус.

— Нет, брат мой, вы дали неправильный ответ, — возразила Консуэло. — Разве вы не видите, что я явилась сюда в одежде новобрачной, а не в платье вдовы? Возвестите о приходе графини Рудольштадт.

— Дочь моя, — сказал брат, — я говорю с вами от имени совета. Вы уже не носите этого имени. Ваш брак с графом Рудольштадтом расторгнут.

— А по какому праву? По чьему повелению? —

спросила Консуэло резким и громким голосом, словно в лихорадке. — Я не признаю никакой теократической власти. Вы сами научили меня признавать лишь те права, какие я добровольно дала вам над собой, и подчиняться лишь отеческому авторитету. Но он не будет таковым, если вы расторгнете наш брак без согласия моего и моего супруга. Ни он, ни я не давали вам такого права.

— Ты ошибаешься, дочь моя: Альберт дал нам право распоряжаться его судьбой и твоей. И ты тоже дала нам это право, когда открыла свое сердце и поведала, что полюбила другого.

— Я ни в чем вам не признавалась, — возразила Консуэло, — и отрицаю признание, которое вы хотите у меня вырвать.

— Введите прорицательницу, — сказал Маркусу говоривший.

Высокая, закутанная в белое женщина, чье лицо было закрыто покрывалом, вошла и села в центре полукруга, образованного судьями. По нервной дрожи, сотрясавшей ее тело, Консуэло сразу узнала Ванду.

— Говори, жрица истины, — сказал оратор, — говори, изобличительница и толковательница самых сокровенных тайн, самых тонких дви-

жений человеческого сердца. Является ли эта женщина супругой Альберта Рудольштадта?

— Да, она его верная и достойная супруга, — ответила Ванда, — но сейчас вы должны провозгласить ее развод. Вы видите, кто привел ее сюда, видите, что тот из наших сыновей, чью руку она держит, любим ее, и она должна принадлежать ему в силу незыблемого права любви в браке.

Консуэло с удивлением обернулась к Ливерани и взглянула на свою руку, застывшую и словно умершую в его руке. Ей почудилось, что она спит и силится проснуться. Наконец она решительно вырвала руку и, посмотрев на свою ладонь, увидела на ней отпечаток креста, некогда принадлежавшего ее матери.

— Так вот он, человек, которого я любила! — проговорила она с грустной улыбкой святого простодушия. — Что ж, правда, я любила его нежно, безумно, но это был сон! Я думала, что Альберта нет в живых, а вы говорили мне, что Ливерани достоин моего уважения, доверия. Потом я увидела Альберта. Из его слов, обращенных к другу, я поняла, что он как будто не хочет больше быть моим мужем, и я перестала бороться с любовью к этому незнакомцу, чьи письма и заботы опьяняли меня, сводили с ума. А потом мне ска-

зали, что Альберт по-прежнему любит меня, что он отказывается от меня только из великодушия и благородства. Так почему же Альберт убедил себя, что моя преданность уступит его чувству? Какое преступление совершила я до сих пор, чтобы меня сочли способной разбить его сердце ради эгоистического счастья? Нет, я никогда не запятнаю себя подобным преступлением. Если, по мнению Альберта, я недостойна его, потому что позволила себе полюбить другого, если он не решается уничтожить эту любовь и не хочет внушить мне еще большую, я подчинюсь его решению, я соглашусь на развод, против которого восстают и сердце мое и совесть, но я не стану ни женой, ни возлюбленной другого. Прощайте, Ливерани, если действительно таково ваше имя. Я доверила вам крест моей матери в минуту самозабвения, но не стыжусь ее и ни о чем не жалею. Верните же мне этот крест, чтобы, вспоминая друг о друге, мы могли испытывать лишь взаимное уважение и сознание, что мы оба выполнили свой долг без горечи и без принуждения.

— Ты знаешь, что мы не признаем подобной морали, — возразила прорицательница, — и не принимаем подобных жертв. Мы хотим возвеличить и восславить любовь, утраченную и

опошленную в этом мире, восславить свободный выбор сердца, священный и добровольный союз двух существ, равно любящих друг друга. Нам дано право облегчать совесть наших детей, отпускать грехи, соединять подходящие пары, разбивать оковы старого общества. Следовательно, ты не имеешь права приносить себя в жертву, не смеешь заглушать свою любовь и отрицать истинность твоего признания без нашего согласия.

— К чему говорите вы мне о свободе, о любви и о счастье? — воскликнула Консуэло в каком-то восторженном порыве, шагнув ближе к судьям и обратив к ним лицо, сияющее вдохновением и величием. — Разве не вы сами заставили меня пройти через испытания, которые оставляют вечную бледность на челе и непобедимую суровость в сердце? За какое же бесчувственное, низкое существо принимаете вы меня, если думаете, что я еще способна мечтать о личном счастье, после того, что видела, постигла, что знаю отныне о жизни людей и о моих обязанностях в этом мире?

Нет, нет! Прочь любовь, прочь супружество, прочь свободу, прочь счастье, славу, искусство! Больше ничего не существует для меня, если я должна причинить страдание самому малому

из мне подобных! Разве не доказано, что всякая радость в этом мире покупается ценой радости другого? Разве нет более высоких забот, нежели забота о своем собственном благе? Разве не то же самое думает Альберт, и разве я не имею права думать так, как думает он? Разве он не питает надежду, что именно его самоотречение даст ему силы трудиться на пользу человечества с еще большим рвением и умом, чем когда бы то ни было прежде? Позвольте мне быть такой же великодушной, как Альберт. Позвольте мне бежать от обманчивой и преступной иллюзии счастья. Дайте мне работу, тяжелую, утомительную, дайте мне боль и вдохновение! С той минуты, как вы неосторожно показали мне мучеников и орудия пытки, я сама жажду мученичества. Да будет стыдно тому, кто понял свой долг и все-таки думает о своей доле счастья и покоя на этой земле! О Ливерани, если вы любите меня после того, как прошли те же испытания, какие привели сюда меня, вы безумец, вы дитя, недостойное называться мужчиной и, уж конечно, недостойное того, чтобы я пожертвовала ради вас героической привязанностью Альберта. А ты, Альберт, если ты здесь, если ты слышишь меня, тебе бы следовало назвать меня хотя бы сестрой, протянуть

мне руку и поддержать на том тернистом пути, который ведет тебя к богу.

Экстаз Консуэло дошел до апогея, она уже не могла выразить его словами. Ею овладело необыкновенное возбуждение, и, подобно пифиям, которые в минуту божественного наития выражают свои чувства дикими криками и яростными телодвижениями, она вдруг ощутила потребность проявить обуревавшее ее волнение способом, наиболее для нее естественным: она запела. Ее звонкий голос прозвучал так же трепетно, как тогда, когда она впервые пела публично эту арию в Венеции перед Марчелло и Порпорой.

I cieti immensi narrano
Del grande Iddio la gloria!

Ей потому вспомнился этот гимн, что, пожалуй, он является наиболее простодушным и наиболее сильным выражением религиозного восторга, какое нам когда-либо дарила музыка. Но ей не хватило спокойствия, необходимого для того, чтобы владеть и управлять голосом, и после первых двух строф из груди ее вырвалось рыдание, из глаз хлынули слезы, и она упала на колени.

Наэлектризованные ее пылом. Невидимые все вместе поднялись со своих мест и, стоя в почтительной позе, слушали это вдохновенное пение.

Однако, увидев, что она изнемогла от обуревавшего ее чувства, они приблизились к ней, а Ванда, пылко обняв ее, толкнула в объятия Ливерани с возгласом:

— Взгляни же на него и знай, что бог даровал тебе возможность примирить любовь и добродетель, счастье и долг. Консуэло на миг потерявшая слух и как бы перенесенная в иной мир, наконец посмотрела на Ливерани, с которого Маркус успел сорвать маску. Она испустила пронзительный крик и едва не потеряла сознания на груди возлюбленного, узнав Альберта. Альберт и Ливерани были одно и то же лицо.

Глава 41

В эту минуту двери храма с металлическим звоном распахнулись, и туда попарно вошли Невидимые. Раздались волшебные звуки гармоники , этого недавно изобретенного инструмента, еще незнакомого Консуэло. Казалось, они проникали сверху, сквозь полуоткрытый купол, вместе с лучами луны и живительными струями ночного ветерка. Дождь цветов медленно падал на счастливую чету, являвшуюся центром этой торжественной процессии. У золотого треножника стояла Ванда. Правой рукой она поддерживала в нем яркое пламя благовонного курения, а в левой держала оба конца символической цепи из цветов и листьев, которую набросила на влюбленную пару. Наставники Невидимых, чьи лица были закрыты длинными красными покрывалами, а головы увенчаны такими же освященными обычаем эмблемами — листьями дуба и акации, стояли с протянутыми руками, как бы готовые принять своих братьев, проходивших мимо и склонявшихся перед ними. Эти наставники были величественны, как древние друиды, но

их руки, не запятнанные кровью, умели только благословлять, и глубокое благоговение заменяло ныне в сердцах адептов фанатический страх религии минувшего. Приближаясь к высокому судилищу, посвященные снимали маски, чтобы с открытым лицом приветствовать этих величавых незнакомцев, со стороны которых они никогда не видели ничего, кроме милосердия, справедливости, отеческой любви и высокой мудрости. Верные данной клятве, далекие от сожалений и недоверия, они не пытались прочитать любопытным взором, кто скрывается под этими непроницаемыми покровами. Вероятно, сами того не зная, адепты были знакомы со своими учителями, этими волхвами новой религии, которые, встречаясь с ними в обществе и на разных сборищах, были лучшими друзьями, ближайшими наперсниками большинства из них, а быть может, даже каждого. Но при (Совершении обряда лицо жреца было закрыто, как у оракула древних времен.

Счастливое детство наивных верований, сказочное утро священных заговоров, которые во все эпохи окутывала дымка тайны, туман поэтической недостоверности! Лишь одно столетие отделяет нас от существования Невидимых, а

оно уже сомнительно для историка, но тридцатью годами позже орден иллюминатов вновь облекается в те же неведомые толпе формы и, черпая силы как в изобретательном гении своих наставников, так и в преданиях тайных обществ мистической Германии, он ужасает мир самым грозным и самым искусным из всех заговоров политических и религиозных. На мгновение этот орден пошатнул троны всех королевских династий, а потом, в свою очередь, рухнул, оставив в наследство французской революции передавшийся, как электрический ток, высокий энтузиазм, пылкую веру и грозный фанатизм. За полвека до этих отмеченных судьбой дней, в те времена, когда галантное царствование Людовика XV, философский деспотизм Фридриха II, скептическое и насмешливое владычество Вольтера, честолюбивая дипломатия Марии-Терезии и еретическая терпимость Ганганелли, — в те времена, когда все это, казалось, надолго возвещало миру одряхление, соперничество, хаос и разложение, французская революция уже бродила, как вино, во мраке и созревала под землей. Она вынашивалась в умах верящих до фанатизма людей как мечта о всемирной революции, и, пока разврат, лицемерие или неверие царили на зем-

ле, высокая вера, великолепное проникновение в будущее, проекты переустройства мира, столь же глубокие и, быть может, более обоснованные научно, чем наш фурьеризм и наш нынешний сенсимонизм, помогали отдельным группам людей необыкновенных создавать в своем воображении представление о будущем обществе, диаметрально противоположном тому обществу, чьи действия до сих пор скрывает и замалчивает история. Подобный контраст является одной из поразительнейших черт восемнадцатого века, который до того насыщен идеями и напряженной работой ума во всех областях, что философы и историки наших дней еще не могут сделать ясные и полезные обобщения. Дело в том, что в нем есть уйма противоречивых документов и непонятых фактов, с первого взгляда неуловимых, есть множество источников, замутненных сутолокой века, источников, которые бы следовало терпеливо расчистить, чтобы добраться до надежной сути. Многие усердные труженики остались неизвестными и унесли в могилу тайну своей миссии — ведь столько славных подвигов поглощало тогда внимание современников, столько блестящих работ и поныне привлекают внимание исследователей прошлого! Однако понемногу

свет возникнет из этого хаоса, и если наш век сможет когда-нибудь понять собственную сущность, он поймет также и смысл жизни своего отца — восемнадцатого века, смысл этой огромной шарады, этого блестящего логогрифа, где уживалось столько противоположностей: подлость и величие, знание и невежество, варварство и цивилизация, ясность мысли и заблуждения, положительность и склонность к поэтическим восторгам, неверие и вера, мудрый педантизм и легкомысленная насмешливость, суеверие и горделивый разум. Он поймет это столетие, видевшее владычество госпожи де Ментенон и госпожи де Помпадур, Петра Великого и Екатерины II, Марии-Терезии и Дюбарри, Вольтера и Сведенборга, Канта и Месмера, Жан-Жака Руссо и кардинала Дюбуа, Шрепфера и Дидро, Фенелона и Лоу, Цинцендорфа и Лейбница, Фридриха II и Робеспьера, Людовика XIV и Филиппа Эгалите, Марии-Антуанетты и Шарлотты Корде, Вейсгаупта, Бабефа и Наполеона… Страшную лабораторию, где в тигель было брошено такое множество разнородных элементов, что в своем чудовищном кипении они извергли из себя клубы дыма, и мы до сих пор бродим впотьмах, окутанные туманными образами.

Ни Консуэло, ни Альберт, ни даже вожди Невидимых и их адепты не могли ясно видеть свой век — тот век, в лоне которого все они горели желанием и надеждой взять его приступом и переродить. Все они верили, что вступают в преддверие евангельской республики, подобно тому как ученики Иисуса верили, что вступают в преддверие царства божья на земле, как таборитыЧехии верили, что вступают в преддверие рая, как позже французский Конвент верил, что находится на пороге победоносного распространения своих идей на всем земном шаре. Однако без этой безрассудной веры не было бы и настоящей преданности, а без этих великих безумств не было бы и великих результатов. Что сталось бы с представлением о человеческом братстве без утопии божественного мечтателя Иисуса? Разве смогли бы мы оставаться французами, если б не заразились восторженными видениями Жанны д'Арк? Удалось ли бы нам завоевать первоначальные элементы равенства без благородных химер восемнадцатого столетия? А та таинственная революция, о которой мечтали разные секты прошлого, каждая для своего времени (неведомые конспираторы минувшего века смутно предвидели ее за пятьдесят лет до ее прихода, представляя

эрой политического и религиозного обновления), — эта революция принесла с собой такие внезапные бури и потерпела крах так внезапно, что ни Вольтер, ни другие трезвые философские умы, его современники, ни сам Фридрих II, великий выразитель логической и холодной мысли, не могли этого предусмотреть. Все — и самые пылкие и самые благоразумные — не могли провидеть будущее. Жан-Жак Руссо отказался бы от своего произведения, если бы Гора привиделась ему с гильотиной на ее вершине. Альберт Рудольштадт немедленно превратился бы снова в страдающего летаргией безумца пещеры Шрекенштейна, если бы мог вообразить эти кровавые победы, деспотизм Наполеона и реставрацию старого порядка, сопровождаемого господством самых низменных материальных интересов: ведь он, Альберт, верил в то, что помогает делу немедленного и навечного разрушения эшафотов и тюрем, казарм и монастырей, меняльных лавок и крепостей!

Они мечтали, эти благородные юноши, и всеми силами души старались претворить в жизнь свои мечты. Они были такими же детьми своего века, как ловкие политиканы и мудрые философы — их современники. Они так же дурно или так

же хорошо, как те, другие, видели абсолютную истину будущего — эту великую незнакомку, которую каждый из нас представляет себе по-своему и которая обманывает всех нас, но все-таки подтверждает нашу правоту в тот момент, когда является нашим сыновьям, облаченная в расцвеченную тысячью красок императорскую тогу, сшитую из лоскутков, некогда приготовленных каждым из нас. К счастью, каждое столетие видит будущее все более величественным, ибо каждое столетие создает все больше тружеников, способствующих его торжеству. Что до людей, которые хотели бы разорвать его пурпурные одежды и окутать вечным трауром, они бессильны, ибо не понимают его. Рабы существующей действительности, они не знают, что у бессмертия нет возраста и что тот, кто не представляет себе его «завтра», не видит и его «сегодня».

Минута, когда глаза Консуэло наконец с восхищением взглянули в глаза Альберта, была для него минутой наивысшего счастья. Помолодевший, поздоровевший, он был прекрасен в своем опьянении и ощущал в себе такую могучую веру, которая могла бы сдвинуть горы, но сейчас он нес лишь груз собственного рассудка, отуманенного страстью. Словно Галатея, вылепленная скуль-

птором — любимцем богов, Консуэло наконец-то стояла перед ним, пробуждаясь к любви, к жизни. Безмолвная, сосредоточенная, с лицом, озаренным каким-то небесным ореолом, она впервые была так удивительно, так неоспоримо прекрасна, ибо впервые жила настоящей, полнокровной жизнью. Благородное чело светилось ясностью, а большие глаза были влажны от духовного наслаждения, по сравнению с которым чувственное опьянение кажется лишь бледным его отблеском. И красота Консуэло была так совершенна именно потому, что она не сознавала ее, не думала о ней, не понимала сама, что происходит в ее сердце. Для нее существовал один Альберт, или, вернее, она существовала теперь лишь в нем одном, и он один казался ей достойным безграничного восхищения и безмерного уважения. А сам Альберт, любуясь ею, тоже преобразился и был озарен каким-то неземным сиянием. Правда, его взгляд еще таил в себе торжественное величие пережитых благородных страданий, но минувшие невзгоды не оставили на его лице ни малейшего следа физической боли. На лице его отражалось безмятежное спокойствие возрожденного к жизни мученика, который видит, как земля, обагренная его кровью, уходит у него из-под ног,

а разверстое небо сулит бесконечные награды. Никогда еще, даже в дни расцвета античного или христианского искусства, ни один вдохновенный художник не создавал более благородного образа героя или мученика.

Все Невидимые также замерли от восхищения и, образовав круг, преисполненные великодушной радости, молча созерцали прекрасную чету, столь чистую перед лицом бога и столь целомудренно счастливую среди людей. Затем двадцать сильных мужских голосов запели хором могучий и безыскусственный гимн, напоминавший античный: «О Гименей! О Гименей!» Музыка принадлежала Порпоре, которому послали слова и поручили сочинить эпиталаму для некоего славного союза, причем щедро вознаградили, не указав, от кого исходит этот дар. Подобно Моцарту, написавшему накануне смерти самое вдохновенное свое произведение, «Реквием», заказанный ему таинственным незнакомцем, старый Порпора обрел весь гений молодости, когда сочинял свадебный гимн, поэтическая загадка которого возбудила его воображение. Консуэло с первых же тактов узнала манеру своего дорогого учителя и, с трудом оторвав взгляд от любимого, повернулась к певцам, ища при-

емного отца, но здесь присутствовала только его душа. Среди достойных исполнителей его музыки Консуэло узнала многих друзей. Здесь были: Фридрих Тренк, Порпорино, молодой Бенда, граф Головкин, Шубарт, шевалье д'Эон — она познакомилась с ним еще в Берлине и, так же как вся Европа, никак не могла понять, к какому он принадлежал полу, — граф де Сен-Жермен, муж певицы Барберини канцлер Коччеи, содержатель кабинета для чтения Николаи, Готлиб, чей красивый голос выделялся среди всех остальных, и, наконец, Маркус, которого она узнала по выразительному знаку Ванды и еще ранее — благодаря инстинктивной симпатии, какую вызывал в ней ее покровитель и названый отец. Все Невидимые сняли и перекинули через плечо свои зловещие черные плащи, и теперь их ярко-красные с белым наряды, изящные и простые, украшенные золотой цепью с отличительными знаками ордена, придавали группе праздничный вид. Маски висели у каждого на запястье, готовые тут же закрыть лицо хозяина по малейшему сигналу караульного, стоявшего в дозоре на крыше здания.

Оратор — тот, кто служил посредником между наставниками Невидимых и адептами, также снял маску и подошел поздравить счастливых

супругов. Это был герцог XXX, тот самый богатый вельможа, который отдал свое состояние, ум и пылкое рвение делу Невидимых. Он являлся председателем сегодняшнего сборища, и это в его замке давно уже нашли пристанище Ванда и Альберт, спрятанные, разумеется, от глаз всех непосвященных. Его замок являлся также главным центром всей работы судилища ордена, хотя существовали и другие резиденции. Правда, многочисленные сборища происходили здесь за редкими исключениями лишь один раз в год, в течение нескольких летних дней. Посвященный во все тайны наставников, герцог защищал их интересы и действовал вместе с ними. Никогда не выдавая их инкогнито и принимая на себя одного весь связанный с этим риск, он был их посредником в сношениях с другими членами общества.

Когда новобрачные обменялись со своими братьями ласковыми и радостными приветствиями, каждый занял свое место, и герцог, вновь превратившийся в брата-оратора, обратился к увенчанной цветами супружеской чете, стоявшей на коленях перед алтарем, со следующей речью:

— Дорогие и возлюбленные дети, именем

истинного бога, всемогущего, вселюбящего и всеведущего, именем трех добродетелей, которые в душе человека являются отражением божественного начала — трудолюбия, милосердия и справедливости, — а нами именуются свободой, равенством и братством, наконец именем судилища Невидимых, посвятившего себя тройному долгу — долгу рвения, веры и познания, — другими словами, тройному исследованию истин — политических, нравственных и божественных, — я провозглашаю и утверждаю, о Альберт Подебрад и Консуэло Порпорина, ваш брак, ранее заключенный вами перед лицом бога и ваших родителей, а также в присутствии священника христианской веры в замке Исполинов числа 175х года. Брак этот, имевший законную силу в глазах людей, не имел таковой в глазах бога. В нем недоставало: 1) самоотверженной готовности супруги жить вместе с супругом, который, по всей видимости, доживал свой последний час; 2) одобрения представителя нравственной и религиозной власти, признаваемой и почитаемой супругом; 3) согласия некой особы, здесь присутствующей, которую мне не дозволено назвать, но которая связана с одним из супругов узами крови. Если ныне эти три условия выполнены и

ни один из вас, супругов, не собирается предъявить какие-либо требования или возражения, соедините ваши руки и встаньте, дабы призвать небо в свидетели добровольности вашего деяния и святости вашей любви.

Ванда, продолжавшая оставаться неизвестной братьям ордена, взяла за руки своих детей. В едином порыве нежности и восторга все трое поднялись, как бы составляя одно нераздельное существо.

После нескольких торжественных фраз, знаменующих заключение брака, простые, трогательные обряды новой религии свершились тихо и благоговейно. Этот обет взаимной любви явился не обособленным актом, происходившим среди равнодушных зрителей, которым был чужд скреплявшийся здесь союз. Нет, все присутствовавшие были призваны утвердить религиозное таинство, освящающее узы двух существ, связанных с ними общностью веры. Благословив супругов, они образовали вокруг них живое кольцо, цепь братской любви и духовного содружества, а потом поклялись во всем поддерживать их, защищать их честь и жизнь, употреблять всяческие усилия, чтобы вернуть их на стезю добродетели в случае, если они проявят

слабость, охранять елико возможно от преследований и соблазнов внешнего мира при любых обстоятельствах и встречах, — словом, любить их так же свято, сердечно и глубоко, как если бы они были связаны с ними узами кровного родства. Красавец Тренк в простых, но красноречивых выражениях произнес это обещание от имени всех остальных. Затем, обращаясь к супругу, он добавил:

— Альберт, согласно нечестивым и преступным обычаям старого общества, от которого мы втайне отходим, чтобы в будущем приблизить его к нам, муж должен требовать от своей жены верности именем унизительной и деспотической власти. Если она изменит ему, он обязан убить соперника; он даже имеет право убить и свою супругу. Это называется «смыть кровью пятно, замаравшее честь». Итак, в этом старом, слепом и порочном мире каждый мужчина является естественным врагом счастья и чести, охраняемых столь варварским образом. Друг и даже брат присваивают себе право похитить у друга и брата любовь его подруги или по меньшей мере насладиться жестокой и подлой радостью, возбуждая его ревность, высмеивая его бдительный надзор, сея недоверие и разлад между ним и предметом

его любви. Как ты знаешь, здесь мы лучше понимаем значение дружбы, чести и фамильной гордости. Мы братья перед богом, и тот из нас, кто посмотрит с вожделением на жену своего брата, тем самым уже виновен в кровосмешении в своем сердце.

Взволнованные и растроганные, все братья обнажили шпаги и поклялись скорее обратить это оружие против самих себя, нежели нарушить клятву, только что произнесенную устами Тренка.

Но тут прорицательница, охваченная тем восторженным порывом, какие оказывали такое сильное действие на воображение Невидимых и нередко изменяли мнение и решение самих наставников, внезапно вышла из круга и встала в середине. Ее выразительные, пламенные речи всегда покоряли слушателей; исхудавшая высокая фигура в широком плаще, величественная осанка, даже нервная дрожь, сотрясавшая тело и по-прежнему закутанную покрывалом голову, — все в ней было исполнено какого-то изящества, свидетельствовавшего о былой красоте, а ведь женская красота — это такая сила, которая оставляет след даже после своего исчезновения и все еще волнует душу, когда уже не может волновать

чувственность. Словом, все, вплоть до угасшего голоса, в эту минуту ставшего звучным и резким под влиянием экзальтации, делало ее таинственным существом, которое сначала внушало страх, а потом излучало могучее и непреодолимое обаяние.

Все умолкли, слушая вдохновенную вещунью. Консуэло была взволнована не меньше, а быть может, больше, чем остальные, ибо знала тайну этой необыкновенной жизни. Трепеща от невольного страха, она спрашивала себя, действительно ли это восставшее из гроба привидение является существом из реального мира и не может ли оно, выкрикнув свое прорицание, раствориться в воздухе вместе с пламенем треножника, придававшим всему прозрачный, голубоватый оттенок.

— Скройте от меня блеск этих шпаг! — вся дрожа, воскликнула Ванда. Если ваши клятвы призывают к тому, чтобы пустить в ход орудия ненависти и убийства, значит, они нечестивы. Я знаю, что по обычаям старого мира этот кусок железа всегда прикреплялся К поясу любого мужчины как символ независимости и, гордыни; я знаю, что согласно взглядам, которые вы невольно вынесли из старого мира, шпага явля-

ется олицетворением чести и что обязательство, принятое и скрепленное клятвой на оружии, считается у вас священным, как у граждан древнего Рима. Но здесь, у нас, это было бы осквернением великого обета. Поклянитесь лучше пламенем этого треножника: ведь пламя — символ жизни, света и божественной любви. Впрочем, неужели вам все еще нужны эмблемы и символы, видимые глазу? Разве вы все еще идолопоклонники? И разве фигуры, украшающие этот храм, не являются для вас лишь воплощением отвлеченных понятий? О нет, поклянитесь собственными чувствами, лучшими своими инстинктами, собственным сердцем и, если вы не смеете поклясться именем бога живого, именем истинной религии, вечной и священной, поклянитесь святым человеколюбием, благородными порывами вашего мужества, целомудренной чистотой этой молодой женщины и любовью ее супруга. Поклянитесь талантом и красотой Консуэло в том, что ни желанием, ни даже мыслью никогда не осквернite эту священную арку Гименея, этот незримый и таинственный алтарь, на котором рукою ангелов запечатлен и начертан обет любви...

— Хорошо ли вы знаете, что такое любовь? —

добавила Ванда после короткой паузы, причем голос ее с каждой секундой становился более звонким, более проникновенным. — Нет, о почтенные наставники нашего ордена и первосвященники нашей религии, если бы вы знали это, то никогда не позволили бы произнести в вашем присутствии то обещание, которое может утвердить только бог и которое, будучи скреплено людьми, является оскорблением самой божественной из всех тайн. Какую силу можете вы придать взаимному обязательству, которое само по себе есть чудо? Да, отказ каждого из двух существ от собственной воли, две воли, слитые воедино, это чудо, ибо каждая душа навеки свободна в силу божественного закона. И тем не менее, когда две души отдаются друг другу и сами замыкают на себе цепь любви, их взаимное обладание становится столь же священным, столь же отвечающим божественному закону, как и свобода отдельной личности. Вы видите, что тут действительно чудо и что тайну этого чуда бог навсегда сохраняет для себя как тайну жизни и смерти. Сейчас вы спросите у этого мужчины и у этой женщины, хотят ли они принадлежать друг другу и только друг другу в этой жизни, и чувство их настолько пылко, что они ответят: не только

в этой жизни, но и в вечной. Итак, вместе с чудом любви бог даровал им больше веры, больше силы, больше добродетели, нежели вы сумели бы и посмели бы от них потребовать. Так прочь же святотатственные клятвы и грубые законы! Оставьте любящим идеал и не приковывайте их к действительности цепями закона. Пусть сам бог продолжит свое чудо. Подготовляйте души к тому, чтобы это чудо свершилось в их глубине, направляйте их к идеалу любви, призывайте, доказывайте, восхваляйте и объясняйте славу верности, без которой невозможна ни нравственная сила, ни великая любовь. Но не занимайтесь, подобно католическим священникам, подобно чиновникам старого мира, проверкой того, как исполняется клятва. Ибо, повторяю, люди не в силах ни блюсти неизменность чуда, ни охранять его. Что знаете вы о тайнах предвечного? Разве мы уже вступили в храм будущего, в тот небесный мир, где, как говорят, человек может под сенью райских садов беседовать с богом, как друг беседует с другом? Разве закон о нерасторжимости брака исходит из уст всевышнего? Разве нам известна его воля? А вы сами, о сыны человеческие, разве, принимая этот закон, вы были единодушны? Разве папы римские никогда не

расторгали брачные союзы, — а ведь они считают себя непогрешимыми! Иногда, под предлогом недействительности некоторых обязательств, папы официально санкционировали разводы, и эти скандальные истории навсегда остались в летописях истории. А христианские общины, преобразованные секты, греческая церковь, по примеру закона Моисея и всех древних религий, открыто ввели в нашем современном мире закон о разводе. Во что же превращается святость и действительность клятвы, данной богу, если известно, что люди смогут в один прекрасный день освободить нас от нее? Так не оскверняйте же любовь браком: вы только погасите ее пламень в чистых сердцах! Освящайте брачный союз увещаниями, молитвами, трогательными обрядами, широкой гласностью, внушающей почтение, — вы должны поступать так, если вы наши пастыри, иначе говоря — друзья, руководители, советчики, утешители, светочи знаний. Подготовьте души к святости этого таинства, и, подобно тому как отец семейства старается укрепить благосостояние, достоинство и безопасность своих детей, вы, духовные наши отцы, должны позаботиться о том, чтобы обеспечить вашим сыновьям и дочерям условия, благоприятные для развития истинной

любви, добродетели и высокой верности в их сердцах. И когда, подвергнув их религиозным испытаниям, вы убедитесь в том, что в их взаимном тяготении нет ни жадности, ни тщеславия, ни легкомысленного опьянения, ни чувственного ослепления, столь далекого от идеала, когда вы убедитесь в том, что они понимают величие своей любви, святость своих обязанностей и свободу своего выбора, тогда разрешите им отдаться друг другу, и пусть каждый из них принесет в дар другому свою свободу. Пусть их семьи, их друзья и вся широкая семья верующих — пусть все они выступят и вместе с вами одобрят этот союз: торжественность брачного обряда должна сделать его достойным уважения. Но не забывайте моих слов — пусть этот обряд станет лишь религиозным соизволением, отеческим и общественным согласием, толчком и призывом к нерушимости взятого на себя обязательства. Пусть он никогда не явится приказом, принуждением, навязанным извне рабством, карающим и жестоким законом, который угрожает позором, тюрьмами и цепями в случае его нарушения. Иначе вы никогда не увидите на земле свершения чуда во всей его полноте и длительности. Извечно животворное Провидение, бог — неутомимый источник

благодати, всегда будет приводить к вам юные пары, пылкие и простодушные, готовые добровольно принести обет в вечной взаимной любви. Но ваш противобожеский и противочеловеческий обряд всегда будет уничтожать в их душах действие благодати. Неравенство супружеских прав в зависимости от пола, святотатство, утвержденное общественными законами, различие обязанностей супругов, принятое общественным мнением, ложные понятия о супружеской чести и все нелепые взгляды, проистекающие из предрассудков и неправильных установлении, всегда будут уничтожать доверие между супругами и охлаждать их пыл, причем наиболее искренние, наиболее предрасположенные к верности пары будут прежде других опечалены, напуганы продолжительностью срока обязательства и быстрее других разочаруются друг в друге. В самом деле, отречение от личной свободы противно требованию природы и голосу совести, если оно происходит под чужим давлением, влекущим за собой иго невежества и грубости, но оно отвечает стремлению благородных сердец и требованиям религиозного инстинкта людей твердой воли, если бог помогает нам бороться с ловушками, которые люди расставляют вокруг брака с целью

сделать его могилой любви, счастья и добродетели, сделать его узаконенной проституцией, как говорили ваши отцы лолларды, хорошо вам известные и часто вами упоминаемые. Итак, отдайте богу богово и отнимите у кесаря то, что не принадлежит кесарю.

— А вы, сыны мои, — обратилась она к тем, кто стоял в центре группы, — вы только что поклялись не посягать на святость брачного союза, но, быть может, не поняли всего значения этой клятвы. Повинуясь порыву великодушия, вы с восторгом отозвались на призыв чести, и это достойно вас, учеников победоносной религии. Но теперь уясните себе, что в ваших словах прозвучало нечто большее, нежели восхваление добродетели отдельного человека. Вы подтвердили закон, без которого целомудрие и верность вообще не могут быть возможны. Вникните в смысл принесенной вами клятвы, и вы убедитесь, что не может быть истинной добродетели отдельного человека, пока все члены общества не будут придерживаться по этому поводу одних и тех же взглядов. О любовь, о священный огонь, такой могучий и такой изменчивый, такой внезапный и такой мимолетный! Небесная искра, которая проникает в нашу жизнь и гаснет рань-

ше самой этой жизни, словно боясь испепелить нас и уничтожить! Все мы ясно чувствуем, что ты — животворящее пламя, исходящее от самого бога, и что тот из нас, кто смог бы сохранить тебя в своей груди и поддерживать до последнего часа все таким же жгучим и сильным, был бы самым счастливым и самым великим из смертных. Поэтому-то последователи идеала всегда будут стараться приготовить для тебя в своих сердцах святилище, которое ты не стремилась бы покинуть, чтобы вновь вознестись на небо.

Но, увы, ты, любовь, которую мы превратили в добродетель, в одну из основ человеческого общества, желая уклоняться тебе, ты все же не позволила заковать себя в цепи, как того требовали наши установления, и осталась свободной, как птица в полете, и изменчивой, как огонек на алтаре. Ты словно смеешься над нашими клятвами, договорам»; даже над нашей волей. Ты бежишь от нас несмотря на все, что мы изобрели, чтобы приковать тебя к нашим обычаям. Ты так же не можешь ужиться в гареме, охраняемом бдительными стражами, как в христианской семье, окруженной угрозами священника, приговором судьи и ярмом общественного мнения. В чем же причина твоего непостоянства и твоей

неблагодарности, о таинственная иллюзия, о любовь, принявшая образ жестокого и слепого божества — ребенка? Какую же нежность и какое презрение внушают тебе поочередно все эти человеческие души, которые ты сначала обжигаешь своим огнем, а потом покидаешь — почти все до единой, — предоставляя им гибнуть в муках сожалений, раскаяния или отвращения, что еще ужаснее? Почему люди на коленях призывают тебя на всем земном шаре, превозносят и обожествляют тебя, почему дивные поэты воспевают тебя как душу мира, а варварские народы приносят тебе человеческие жертвы, сжигая на погребальном костре вдову покойного вместе с супругом? Почему юные сердца призывают тебя в самых сладких своих грезах, а старцы проклинают жизнь, когда ты обрекаешь их на ужас одиночества? В чем причина поклонения — то возвышенного, то фанатического, — которое тебе расточают, начиная с золотого детства человечества и вплоть до нашего железного века, если ты всего лишь химера, мечта, порожденная минутой опьянения, ошибка воображения, распаленного исступленной чувственностью? Причина в том, что ты не плод низменного инстинкта, примитивной животной потребности!

О нет, ты не слепое порождение язычества — ты дщерь истинного бога, составная часть божества! Но пока что ты раскрыла нам свою сущность лишь сквозь туман наших заблуждений и не пожелала поселиться среди нас, ибо не пожелала быть осквернённой. Ты вернешься и останешься навсегда в нашем земном раю, как в сказочные времена Астреи, как в мечтах поэтов, вернешься тогда, когда своими высокими добродетелями мы заслужим присутствие такой гостьи! О, сколь сладостно будет тогда жить на этой земле и как радостно будет родиться на ней. Когда все мы станем сестрами и братьями, когда союзы будут заключаться добровольно и основой их будешь только ты одна, когда вместо той ужасной, той немыслимой борьбы, с помощью которой супружеская верность вынуждена защищаться от нечестивых посягательств разврата, лицемерного обольщения, разнузданного насилия, вероломной дружбы и утонченного порока, — вот тогда каждый супруг увидит себя окруженным лишь целомудренными сестрами, ревниво и бережно охраняющими блаженство своей сестры, которую они отдали ему в подруги жизни, а каждая супруга увидит, что все остальные мужчины — это братья ее мужа, счастливые и гордые его

счастьем, естественные покровители его достоинства и покоя! Тогда верная жена перестанет быть одиноким цветком, который прячется, чтобы уберечь хрупкое сокровище своей чести, перестанет быть жертвой, нередко покинутой, которая чахнет в уединении и слезах, бессильная оживить в сердце возлюбленного то пламя, что сама она сохранила нетронутым в своем сердце. Тогда брату не придется больше мстить за сестру и убивать того, кого она любит и оплакивает, убивать для того, чтобы вернуть ей ложно понимаемую честь. Тогда мать не будет больше дрожать за свою дочь, а дочь не будет краснеть за свою мать. Главное же — супруг перестанет быть подозрительным и деспотичным, а супруга навсегда откажется от горечи жертвы или от злопамятства рабыни. Жестокие страдания, чудовищные несправедливости не будут больше омрачать радости семейного очага. Любовь сможет длиться долго, и — как знать! — быть может, настанет день, когда священник и магистрат, рассчитывая с полным основанием на непреходящее чудо любви, смогут освящать нерасторжимые союзы именем самого бога, проявляя при этом столько же мудрости и справедливости, сколько, сами того не зная, проявляют ныне кощунства

и безумия.

Однако эти счастливые дни еще не наступили. Здесь, в таинственном храме, где мы «собрались сейчас втроем или вчетвером во имя господа», как сказано в Евангелии, мы можем лишь мечтать о добродетели и пытаться общими усилиями ее достигнуть. Если бы мы привлекли для утверждения наших обетов или для охраны наших установлении людей из внешнего мира, они осудили бы нас на изгнание, неволю или даже на смерть. Так не будем же подражать его невежеству и его тирании. Освятим супружескую любовь этих двух детей, которые пришли к нам за отеческим и братским благословением, именем бога живого, покровителя всяческой любви. Позвольте им поклясться друг другу в вечной верности, но не записывайте их обещания в книгу смерти, дабы не напоминать им об этом впоследствии с помощью страха и принуждения. Предоставьте богу быть их стражем, и пусть они сами каждодневно призывают его, чтобы он поддерживал зажженный им священный огонь. — Вот чего я ждал от тебя, вдохновенная сивилла! — вскричал Альберт, принимая в объятия свою мать, изнуренную длинной речью и силой своего убеждения. — Я ждал, что ты дару-

ешь мне право обещать все той, кого люблю. Ты поняла, что это самое дорогое и самое священное мое право. Итак, я обещаю и клянусь верно и неизменно любить ее одну всю мою жизнь и призываю бога в свидетели моей клятвы. Скажи же мне, о прорицательница любви, что в этом нет богохульства.

— Ты находишься под властью чуда, — ответила Ванда. — Бог благословляет твою клятву — ведь это он влил в тебя веру, чтобы ты мог произнести ее. Вечно — вот самое пылкое слово, какое слетает с уст влюбленных в минуты экстаза, в минуты самых пленительных радостей. Вот пророчество, которое вырывается тогда из глубины их душ. Вечно — вот идеал любви, идеал веры. Никогда человеческая душа не подходила ближе к вершине своего могущества и своего ясновидения, нежели в минуты восторга истинной любви. Вечно любовников — это внутреннее откровение, проявление божества, которое должно озарить дивным светом и согреть благотворным теплом все мгновения их союза. Горе тому, кто нарушит этот священный обет! Он перейдет из состояния благодати в состояние греха: он погасит веру, свет и жизненную силу в своем сердце.

— А я, — сказала Консуэло, — я принимаю твою

клятву, о Альберт! И заклинаю тебя принять мою. Я тоже чувствую себя под властью чуда, и в моих глазах это вечно нашей короткой жизни — ничто по сравнению с той вечностью, в которой я буду принадлежать тебе.

— Благородная и отважная девушка! — сказала Ванда с восторженной улыбкой, сияние которой, казалось, проникло сквозь ее покрывало. — Проси у бога вечной жизни с тем, кого ты любишь, в награду за верность ему в нашей краткой земной жизни.

— Да, да! — вскричал Альберт, поднимая к небу руку, сжимавшую руку жены. — Такова наша цель, надежда и награда! Пылко и возвышенно любить друг друга в этой фазе нашего существования, а потом встретиться вновь и соединиться в других фазах. Да, я чувствую, что сегодня не первый день нашего союза, что мы уже любили, что мы принадлежали друг другу в прежней жизни. Такое великое счастье — не результат случайности. Это десница божья приблизила нас друг к другу и соединила, словно две половинки одного существа, которое в вечности будет нераздельно.

После торжественной церемонии брака все перешли, несмотря на весьма поздний час, к обрядам окончательного посвящения Консуэло

в члены ордена Невидимых. Потом судьи удалились, а остальные разбрелись по священному лесу, но вскоре вернулись и сели за братскую трапезу. Главой ее был князь (брат-оратор), который взялся объяснить Консуэло все глубокие и трогательные символы этого празднества. Ужин подавали верные слуги, достигшие низших степеней ордена. Карл познакомил Консуэло с Маттеусом, и наконец-то она увидела без маски его честное, доброе лицо. Однако она с восхищением заметила, что эти почтенные слуги вовсе не рассматривались как низшие своими братьями, стоявшими на более высоких ступенях. Между ними и старшими членами ордена не замечалось никакого различия, независимо от их положения в свете. Братья-прислужники, как их здесь называли, по доброй воле и охотно выполняли обязанности виночерпиев и дворецких; они занимались этим как помощники, владеющие искусством подготовить пиршество, которое, впрочем, считалось у них как бы религиозным обрядом, пасхой с причащением. Вот почему эти обязанности нисколько их не унижали, как не унижало левитов храма участие в жертвоприношениях. Подав яства, они садились за стол и сами, причем не Отдельно от других, а среди

гостей, на специально Предназначенные для них места, и каждый гость с, превеликой охотой наполнял их бокал или тарелку. Как и на масонских парадных обедах, гости не поднимали ни одного бокала без того, чтобы не высказать какую-нибудь благородную мысль, не рассказать о каком-нибудь великодушном поступке, не вспомнить о каком-нибудь высоком покровителе. Однако ритмические напевы, ребяческие жесты франкмасонов, молоток, условный язык здравиц и надписи на столовой утвари были изъяты из этих пиршеств, веселых и в то же время серьезных. Братья-прислужники держали себя во время трапезы почтительно и скромно, но непринужденно и без приниженности. Карл некоторое время сидел между Альбертом и Консуэло, и она была растрогана, заметив не только скромность его манер и умеренность в пище и питье, но и поразительные успехи в умственном развитии этого честного крестьянина, которого просветило сердце и который так быстро приобщился к священным понятиям религии и нравственности.

— О мой друг, — сказала она своему супругу, когда дезертир пересел на другое место и Альберт оказался с ней рядом, — вот перед нами раб, перенесший побои прусских солдат, неотесанный

дровосек из Богемского Леса, едва не убивший Фридриха Великого! Как быстро сумели разумные и терпеливые наставники превратить в рассудительного, благочестивого и справедливого человека этого бродягу! Ведь зверское правосудие некоторых стран сперва толкнуло бы его на убийство, а потом наказало бы кнутом и виселицей.

— Благородное сердце! — произнес князь, сидевший в эту минуту справа от Консуэло. — Ведь это вы — вы сами — преподали в Росвальде прекрасный урок религии и милосердия этой душе, ослепленной отчаянием, но одаренной благороднейшими инстинктами. Дальнейшее его воспитание пошло быстро и легко. Когда нам случалось дать ему какой-нибудь добрый совет, он немедленно соглашался, восклицая: «То же самое мне говорила синьора!» Уверяю вас, не так уж трудно просветить и вразумить наиболее грубых людей, стоит только захотеть по-настоящему. Чтобы улучшить их положение и научить уважать самих себя, мы должны прежде всего научиться уважать и любить их, а для этого требуется только одно — искреннее сострадание к ним и уважение к человеческому достоинству в целом. И все-таки эти честные люди пока что имеют у нас лишь низшие степени: ведь, посвящая их

в наши таинства, мы должны сообразовываться с уровнем их умственного развития, с уровнем их продвижения на стезе добродетели. Старик Маттеус стоит двумя ступенями выше Карла, но если его сердце и ум не смогут продвинуться дальше, то и положение его в ордене останется прежним. Низкое происхождение или жалкое общественное положение никогда не смогут остановить нас, и, как видите, башмачник Готлиб, сын тюремщика из Шпандау, допущен к степени, которая равна вашей, хотя в моем замке он выполняет — по склонности и по привычке — обязанности подчиненного. Живое воображение, пылкое стремление к науке, горячее преклонение перед добродетелью, словом — несравненная красота души, обитающей в этом уродливом теле, быстро сделали Готлиба достойным и во всем равным нам братом внутри нашего храма. Нам почти нечего было дать этому благородному юноше в области идей и достоинств. Напротив, у него было их слишком много. Пришлось утишить его чрезмерную экзальтацию, исцелить от нравственных и физических недугов, которые могли бы довести его до безумия. Недостатки окружавших его людей и порочность власть имущих возбудили бы его негодование, хотя и не могли

бы его испортить, но только мы, вооруженные духом Якоба Беме и правильным толкованием его глубоких символов, сумели убедить Готлиба, не разочаровав, и устранить заблуждения его поэтических и мистических взглядов, не охладив при этом его пыла и веры. Вы не могли не заметить, что исцеление этой души отразилось и на теле, что здоровье вернулось к нему, словно по волшебству, и его странная физиономия преобразилась. После трапезы все накинули плащи и стали прогуливаться по отлогому склону холма, осененного священной рощей. Руины старинного замка, предназначенного для испытаний новичков, возвышались над этим прекрасным уголком, и Консуэло постепенно узнавала тропинки, по которым еще так недавно мчалась в памятную грозовую ночь. Обильный источник, который вытекал из грота, незатейливо прорезанного в скале и некогда предназначавшегося для отправления исполненных суеверия обрядов, убегал, журча, меж кустов вереска в глубь долины, где превращался в красивый ручей, так хорошо знакомый нашей пленнице. Усыпанные песком аллеи, посеребренные луной, перекрещивались под прекрасными деревьями, и группы гуляющих встречались, соединялись и тихо беседовали

друг с другом. Высокая ограда с зарешеченными отверстиями укрывала эту часть сада, где стояла просторная, комфортабельная беседка, служившая рабочим кабинетом, любимым убежищем князя, недоступным для нескромных и любопытных взоров. Братьяприслужники тоже прогуливались группами, но только вдоль ограды, чтобы иметь возможность предупредить братьев в случае приближения непосвященных. Впрочем, это было почти невероятно. Герцог делал вид, что интересуется лишь масонскими таинствами, хотя в действительности они были у него на втором плане. Дело в том, что франкмасонское учение находилось теперь под охраной закона и под покровительством знатных особ, которые были или только считали себя членами общества. Никто не подозревал о значительности высших степеней. Постепенно поднимаясь, они завершались присуждением степени члена судилища Невидимых.

К тому же шумное пиршество в сверкавшем огнями герцогском замке до такой степени поглощало внимание многочисленных гостей герцога, что им и в голову не приходило покинуть роскошные залы и недавно разбитые цветники ради голых скал и руин старинного парка. Молодая

маркграфиня Байрейтская, близкий друг герцога, выполняла вместо него обязанности хозяйки. Сам он исчез, сославшись на нездоровье, но сразу после трапезы Невидимых вернулся в замок и возглавил другой стол, где сидели его именитые гости. Увидев издали эти огни, Консуэло, опиравшаяся на руку Альберта, вспомнила об Андзолето и простодушно призналась своему супругу, что была минута, когда она допустила по отношению к любимому другу детства жестокую иронию. Альберт был недоволен ею.

— Да, это было греховное чувство, — сказала она, — но тогда я была так несчастна. Я уже решилась принести себя в жертву графу Альберту, а лукавые и жестокие Невидимые опять бросили меня в объятия опасного Ливерани. В душе у меня была смерть. С восторгом я обрела того, с кем долг вынуждал меня расстаться, а Маркус, желая отвлечь меня от страданий, принуждал восхищаться красавцем Андзолето! Право, я бы никогда не поверила, что способна смотреть на него с таким равнодушием! Но ведь я думала, что меня хотят испытать, заставить петь с ним, и в тот момент готова была его возненавидеть; он отнял бы у меня последний миг, последнюю мечту о счастье. Теперь же, друг мой, я могу встретиться

с ним без горечи и быть более снисходительной. Счастье делает человека таким добрым, таким милосердным! Я была бы рада принести ему пользу и внушить если не склонность к добродетели, то хотя бы серьезную любовь к искусству.

— К чему заранее отчаиваться? — сказал Альберт. — Посмотрим, каков он будет в день несчастья и одиночества. Сейчас, в разгаре славы, он не услышит советов мудрости. Но если он потеряет голос и красоту, вот тогда, быть может, мы завладеем его душою.

— Займитесь его обращением вы, Альберт.

— Только вместе с вами, моя Консуэло.

— Так вы не боитесь воспоминаний о прошлом?

— Нет, я стал до того самонадеян, что ничего не боюсь, я во власти чуда.

— И я тоже, Альберт, я не сомневаюсь в себе! О, у вас есть все основания быть спокойным.

Начинало светать, и чистый утренний воздух принес множество чудесных ароматов. То была прекрасная летняя ночь. Соловьи пели в зелени холмов, перекликаясь друг с другом. Вокруг супружеской четы собирались все новые группы, но они не только не мешали влюбленным, а, напротив, добавляли к их невинному опьянению

сладость братской дружбы или по меньшей мере нежной симпатии. Все Невидимые, присутствовавшие на празднестве, были представлены Консуэло как члены ее новой семьи. То были лучшие из лучших — самые талантливые, самые просвещенные и самые добродетельные члены ордена: одни прославились в свете, другие, никому не известные во внешнем мире, были знамениты внутри ордена своими трудами и познаниями. Простолюдины и аристократы были связаны тесными узами. Консуэло узнала их настоящие имена и те, более звучные прозвища, какие они носили тайно в своем братском кругу: Веспер, Эллопе, Пеон, Гилас, Эвриал, Беллерофон и т.д. Никогда еще Консуэло не была окружена таким множеством благородных сердец и самобытных характеров. Рассказы этих людей о рискованных предприятиях, связанных с вербовкой сторонников, и о том, что было уже достигнуто ими, восхищали ее, словно поэтический вымысел, в реальность которого ей трудно было поверить, — ведь она хорошо знала развращенный и наглый свет. Трогательные и пылкие проявления дружбы и уважения, в которых отсутствовал даже малейший оттенок пошлого ухаживания, малейший намек на опасную фамильярность, возвышенная

беседа, прелесть отношений, воплощавших в себе самые благородные атрибуты равенства и братства, прекрасная золотая заря, вставшая над их жизнью и над землей, — все это казалось Консуэло и Альберту каким-то дивным сном. Взявшись за руки, они вовсе не стремились уединиться и оставить своих дорогих братьев. Сладостная истома, пленительная, как чистый утренний воздух, заливала их души. До краев полные своей любовью, они испытывали блаженное спокойствие. Тренк рассказал о муках, перенесенных им во время заточения в Глаце, об опасностях, связанных с побегом. Так же, как Консуэло и Гайдн в Богемском Лесу, он бродил по всей Польше, но это происходило в сильные морозы, а он, одетый в лохмотья, еще заботился о раненом спутнике — любезном Шелле, которого впоследствии описал в своих мемуарах как прекраснейшего друга. Чтобы заработать на кусок хлеба, он играл на скрипке и был таким же странствующим музыкантом, каким была Консуэло на берегах Дуная. Потом он шепотом поведал Консуэло о своей любви к принцессе Амалии, о своих надеждах… Бедный юный Тренк! Он так же мало предвидел грозу, готовую разразиться над его головой, как и счастливая чета, которой суждено было из этой

чудесной, сказочной летней ночи перенестись в жизнь, полную борьбы, разочарований и мук!

Порпорино, стоя под кипарисом, пропел чудесный гимн, сочиненный Альбертом в память мучеников, погибших за их дело; молодой Бенда аккомпанировал ему на скрипке. Сам Альберт взял скрипку и сыграл несколько пассажей, восхитивших слушателей. Консуэло не стала петь — она плакала от счастья и умиления. Граф де Сен-Жермен рассказал о беседах Яна Гуса с Иеронимом Пражским, и рассказал так правдоподобно, горячо и красноречиво, что просто невозможно было усомниться в том, что он сам присутствовал при этом. В подобные часы сладостных волнений и восторга унылый рассудок беззащитен перед иллюзиями поэзии. Рыцарь д'Эон с язвительной иронией и восхитительным изяществом описал жалкие и смешные стороны знаменитейших тиранов Европы, пороки придворных и непрочность всего этого общественного здания, которое, казалось, так легко пошатнуть с помощью благородного воодушевления. Граф Головкин превосходно обрисовал великую душу и наивные странности своего друга Жан-Жака Руссо. У этого знатного философа (теперь мы сказали бы — чудака) была красавица

дочь, которую он воспитывал в соответствии со своими взглядами; она была для него и Эмилем и Софи, превращаясь то в красивого мальчика, то в прелестную девушку. Он собирался ввести ее в общество Невидимых и попросил Консуэло подготовить ее к посвящению. Прославленный Цинцендорф изложил суть организации и евангельских нравов своей колонии моравских гернгутеров. Он почтительно советовался с Альбертом по поводу некоторых сложных вопросов, и сама мудрость, казалось, говорила устами Альберта, вдохновленного присутствием и нежным взглядом подруги. Он представлялся Консуэло божеством. Для нее в нем чудесным образом сочеталось все: философ и артист, мученик, перенесший все испытания, торжествующий герой, величавый, как мудрец-стоик, красивый, как божество, временами радостный и простодушный, как ребенок или счастливый любовник, словом — совершенство, каким делает мужчину любовь женщины! Стучась в двери храма, Консуэло изнемогала от усталости и волнения. Сейчас она чувствовала себя сильной и бодрой, как в те времена, когда в расцвете юности резвилась на побережье Адриатики под жгучим солнцем, смягчаемым морским ветерком. У нее было такое

ощущение, что сейчас она живет полной, яркой, настоящей жизнью, что наконец-то пришло счастье, и она впитывала и жизнь и счастье всем своим существом. Она не наблюдала часов — ей хотелось, чтобы этой волшебной ночи не было конца. Как жаль, что нельзя задержать восход солнца на небе в иные ночи, когда чувствуешь всю полноту жизни И думаешь, что все самые дерзкие твои мечты осуществимы или уже осуществлены!

Наконец небо окрасилось пурпуром и золотом. Серебристый звон колокола напомнил Невидимым, что ночь отнимает у них свой спасительный покров. Они пропели последний гимн в честь восходящего солнца — эмблемы нового дня, о котором мечтали и который готовили миру. Потом сердечно распрощались, назначив друг другу свидание — одни в Париже, другие в Лондоне, третьи в Мадриде, Вене, Петербурге, Варшаве, в Дрездене, в Берлине. Все сговорились встретиться ровно через год, в этот же день, у дверей сего благословенного храма, с новообращенными или со своими прежними братьями, которые отсутствовали сегодня. А потом, запахнув плащи, чтобы прикрыть изысканные наряды, они бесшумно разбрелись по тенистым дорожкам парка.

Альберт и Консуэло в сопровождении Маркуса спустились в овраг, к ручью, где Карл посадил молодых в свою закрытую гондолу и проводил в их домик. Здесь они остановились на пороге, любуясь величественным светилом, поднимавшимся в небе. До этой минуты, отвечая на страстные речи Альберта, Консуэло все время называла его по имени, но когда он оторвал ее от созерцания, она смогла лишь приникнуть пылающим лицом к его плечу и прошептать: «О Ливерани!»

ЭПИЛОГ Если бы нам удалось раздобыть такие же правдивые и подробные документы о жизни Альберта и Консуэло после их свадьбы, какими мы располагали до сих пор, то, конечно, мы смогли бы продолжить наше повествование и рассказать об их странствованиях и приключениях. Но, увы, упорный читатель, мы бессильны удовлетворить ваше любопытство, у вас же, читатель утомленный, мы просим еще одну минуту терпения. Вам обоим не следует ни упрекать нас, ни хвалить. Дело в том, что большая часть материалов, с помощью которых мы могли бы, как поступали до сих пор, привести в систему события этой истории, исчезли из поля нашего зрения начиная именно с той волшебной ночи, когда союз наших двух героев был благословлен

и освящен Невидимыми. Потому ли, что обязательства, принятые ими в храме, мешали им быть откровенными в письмах к друзьям, или же потому, что эти друзья, тоже посвященные в таинства, из предосторожности сожгли свою корреспонденцию во время гонений, но отныне мы видим их как бы в тумане, либо под покровом храма, либо под маской адептов. Если бы мы стали без проверки ссылаться на редкие следы их существования, попадающиеся нам в груде рукописных материалов, то нередко могли бы впасть в ошибку, ибо противоречивые данные одновременно показывают нам обоих супругов в совершенно различных точках земного шара. Однако нетрудно догадаться, что они сами охотно давали повод для подобных ошибок, либо участвуя в каком-нибудь тайном предприятии под руководством Невидимых, либо подвергаясь тысяче опасностей и скрываясь от зоркой полиции правительств. Единственное, что мы можем с уверенностью сказать об этой двуединой душе, называвшейся Консуэло и Альбертом, это — что любовь не обманула их, но судьба жестоко насмеялась над теми обещаниями, которые дала им в упоительные часы, ставшие их «Сном в летнюю ночь». И все же они не выказали неблагодарно-

сти провидению, подарившему им короткое, но полное счастье и продлившему, несмотря на все невзгоды, чудо любви, предсказанное Вандой. В нищете, в страданиях, в изгнании они постоянно переносились мыслью к этому сладостному воспоминанию, которое казалось им райским сном, своего рода договором, заключенным с божеством и обещавшим радости, ожидающие их в лучшем мире после всех трудов, испытаний и лишений.

Впрочем, все в этой истории становится для нас до того загадочным, что мы даже не смогли установить, в какой части Германии находилось заколдованное поместье, где, под прикрытием шумных празднеств и охоты, некий вельможа, так и оставшийся безымянным в наших документах, являлся соединительным звеном и главным двигателем социального и философского заговора Невидимых. Этот вельможа получил у них символическое имя, и после величайших усилий, потраченных на то, чтобы разгадать шифр адептов, мы можем предположительно считать, что его звали Христофор — «Христоносец», или же Хризостом — «Златоуст». Храму, где Консуэло стала супругой Альберта и получила посвящение, они дали поэтическое название святого Граа-

ля, а старейшинам судилища — храмовников. Свои поэтические эмблемы они заимствовали из старинных легенд золотого века рыцарства. Как известно, эти веселые предания рассказывают о том, что святой Грааль был спрятан в некоем таинственном святилище, в глубине пещеры, неизвестной смертным. Именно здесь храмовники, прославленные святые раннего христианства, уже в этом мире обреченные на бессмертие, хранили драгоценную чашу, которая служила Христу для освящения таинства евхаристии, когда он праздновал пасху со своими учениками. Эта чаша, должно быть, заключала в себе небесную благодать, символом которой были либо кровь, либо слезы Христа, божественный напиток, словом — евхаристическая субстанция, мистическая сущность которой не поддавалась объяснению, но которую довольно было увидеть, чтобы преобразиться нравственно и физически, чтобы навсегда избавиться от опасности смерти и греха. Благочестивые паладины, которые после страшных обетов, ужасных самоистязаний и подвигов, прогремевших на весь мир, обрекли себя на аскетическое существование странствующих рыцарей, мечтали о том, чтобы в конце своего паломничества найти святой Грааль.

Они искали его во льдах Севера, на побережье Арморики, в глуши лесов Германии. Ради этой возвышенной цели приходилось подвергать себя опасностям, равным тем, что ждали Геракла в саду Гесперид, одерживать победу над чудовищами, стихиями, над дикими племенами, над голодом, жаждой, над самой смертью. Говорят, что некоторые из этих христианских аргонавтов разыскали святилище, видели божественную чашу и переродились духовно, но никогда и никому не выдали этой великой тайны. Об успехе их поисков стало известно только по силе их рук, по святости жизни, по непобедимости оружия, по обновлению всего их существа. Но они недолго прожили среди людей после столь славного посвящения: они исчезли, как исчез Иисус после своего воскресения, и перенеслись с земли на небо, не испытав горечи смерти.

Таков был магический символ, как нельзя лучше соответствовавший делам Невидимых. В течение долгих лет новые храмовники питали надежду сделать святой Грааль доступным всему человечеству. Альберт, в этом нет сомнения, много потрудился, чтобы распространить основные идеи этого учения. Он достиг самых высоких степеней ордена. Нам удалось найти перечисле-

ние его званий, и из него видно, что он провел там немало лет. Ибо все знают, что требовался восемьдесят один месяц, чтобы пройти тридцать три степени масонства, а нам достоверно известно, что этого срока было далеко недостаточно, чтобы достигнуть бесконечного количества таинственных степеней святого Грааля. Названия масонских степеней уже ни для кого не являются тайной, но, быть может, кому-нибудь из читателей будет интересно вспомнить здесь некоторые из них, ибо они дают ясное представление о восторженном пыле и живом воображении тех, кто последовательно их создавал.

Ученик, подмастерье и мастер-каменщик, мастер тайный и мастер совершенный, поверенный тайн, генерал ордена и судья, мастер английский и мастер ирландский, мастер во Израиле, мастер, избранный девятью и пятнадцатью, избранный Неизвестным, великий избранный рыцарь, великий мастер-архитектор, королевская арка, великий шотландец священной ложи, или верховный каменщик, рыцарь шпаги, рыцарь Востока, князь Иерусалимский, рыцарь Востока и Запада, розенкрейцер французский, эредомский и кильвиннингский, старший первосвященник или верховный шотландец, архитектор

священного свода, первосвященник святого Иерусалима, верховный князь каменщиков или мастер ad vitam , потомок Ноя, князь Ливанский, глава дарохранилища, рыцарь воздушного змея, шотландец-тринитарий, или князь милосердия, великий командор храма, рыцарь солнца, патриарх крестовых походов, повелитель света, рыцарь Кадош, рыцарь белого орла и черного орла, рыцарь птицы феникс, рыцарь Ириды, рыцарь Аргонавтов, рыцарь золотого руна, великий надзиратель-инквизитор-командор, верховный властитель королевской тайны, верховный повелитель сияющего кольца и т.д. и т.д. .

Наряду с этими степенями» или, во всяком случае, с большинством из них, мы встречаем менее известные, связанные с именем Альберта Подебрада, причем смысл их менее понятен, чем смысл степеней франкмасонов, как, например: рыцарь святого Иоанна, великий иоаннит, мастер нового Апокалипсиса, отец бессмертного Евангелия, избранник святого духа, храмовник, ареопагист, маг, человек-народ, человек-жрец, человек-король, новый человек и т.д. Нас удивили здесь несколько степеней, словно бы предвосхитивших степени иллюминатов Вейсгаупта, но впоследствии нам объяснили причину этой

особенности, и нет надобности сообщать о ней нашим читателям в конце данного повествования.

В лабиринте неясных, но значительных событий, связанных с делами, успехами, с распадением и кажущимся исчезновением ордена Невидимых, нам было очень трудно следить издалека за богатой приключениями судьбой нашей молодой четы. Однако, если дополнить осторожными пояснениями то, чего нам недостает, вот приблизительное и краткое изложение главных событий их жизни. Воображение читателя дополнит остальное, и мы не сомневаемся, что лучшей развязкой всегда будет та, которую вместо рассказчика придумает сам читатель .

Возможно, что именно после того, как Консуэло покинула святой Грааль, она появилась при скромном байрейтском дворе, где у маркграфини, сестры Фридриха, были дворцы, сады, беседки и водопады в духе тех, какие красовались у графа Годица в Росвальде, но менее пышные и не столь дорогие. Ибо эту остроумную принцессу без приданого выдали замуж за весьма небогатого принца, и еще совсем недавно шлейфы ее платьев были недостаточно длинны, а ее пажи носили потертые камзолы. Ее сады, или, вернее, сад, чтобы обойтись без поэтических преувеличений,

находился в очаровательной местности, и она развлекалась итальянской оперой, причем спектакли происходили в старинном храме, немного во вкусе Помпадур. Маркграфиня была большим философом, иначе говоря — вольтерьянкой, а молодой наследный маркграф, ее супруг, являлся ревностным главой одной из масонских лож. Не знаю, был ли связан с ним Альберт и охранялась ли братьями тайна его инкогнито. Быть может, он держался вдали от этого двора с тем, чтобы вновь соединиться со своей женой несколько позднее. Что до Консуэло, то она, должно быть, находилась там с какой-то секретной миссией. Возможно также, что, не желая привлекать к своему супругу то внимание, какое сразу сосредоточивалось на ней, где бы она ни была, певица в первое время не могла открыто жить вместе с ним. Любовь их приобретала от этого всю прелесть тайны, и если гласность их союза, освященного братским одобрением храмовников, доставила им животворную радость, то таинственность, какою они окружали свою близость в лицемерном и развратном мире, вначале явилась для них необходимым щитом и своего рода безмолвным протестом, в котором они черпали вдохновение и силу.

Несколько итальянских певиц и певцов украшали в то время маленький байрейтский двор. Корилла и Андзолето тоже появились здесь, и непостоянная примадонна снова воспылала страстью к изменнику, которому некогда желала всех мучений ада. Но Андзолето, ластясь к этой тигрице, проявил странное благоразумие и стал осторожно заискивать перед Консуэло, чей талант, возросший благодаря стольким тайным и глубоким переживаниям, затмевал теперь всякое соперничество. Честолюбие сделалось господствующей страстью молодого тенора. Озлобление вытеснило любовь, пресыщение — чувственность, и теперь он не любил ни чистую Консуэло, ни неистовую Кориллу, но подлаживался к обеим, готовый прилепиться к той из них, которая приблизит его к себе и поможет выставить его особу в наивыгоднейшем свете. Консуэло отнеслась к нему с безмятежным дружелюбием и не отказывала в добрых советах и уроках, полезных для развития его таланта. Но его присутствие уже не вызывало в ней ни малейшего волнения, и та легкость, с какою она его простила, показала ей самой всю полноту ее отчуждения. Юноша понял это. Прислушиваясь к наставлениям артистки и с притворным волнением внимая ее дружеским со-

ветам, он извлек из них немалую для себя пользу, но, потеряв надежду, потерял терпение, и вскоре жгучая злоба, горькая досада стали невольно проскальзывать в его манерах и речах.

Между тем есть основания думать, что в это самое время ко двору Байрейта вместе с дочерью графини Годиц — принцессой Кульмбахской — прибыла молодая баронесса Амалия. Если верить некоторым нескромным и склонным к преувеличению свидетелям, между этими четырьмя персонажами — Консуэло, Амалией, Кориллой и Андзолето — разыгралось несколько странных, полных драматизма сцен. Неожиданно увидев на подмостках придворной байрейтской оперы красавца тенора, юная баронесса лишилась чувств. Никто не позволил себе обратить внимание на это странное совпадение, но проницательный взгляд Кориллы подметил, что на лице артиста появилось сияющее выражение удовлетворенного тщеславия. Придворные, отвлеченные обмороком молодой баронессы, не поощрили певца аплодисментами, и у него пропал один из самых эффектных его пассажей, но он не только не выругался сквозь зубы, как обычно поступал в подобных случаях, но на губах его заиграла недвусмысленная торжествующая улыбка.

— Послушай, — задыхаясь, проговорила Корилла за кулисами, обращаясь к Консуэло, — знаешь, кого он любит? Не тебя и не меня, а ту маленькую дурочку, которая только что разыграла перед ним эту комедию. Ты ее знаешь? Кто она?

— Не знаю, — ответила Консуэло, которая ничего не заметила, — но могу тебя уверить, что если кто-нибудь интересует его, то не она, не ты и не я.

— Кто же?

— Он сам, al solito! — с улыбкой ответила Консуэло.

Светская хроника добавляет, что на следующее утро Консуэло была приглашена в уединенную рощицу близ дворца для встречи с баронессой Амалией, и у них произошла приблизительно такая беседа:

— Я знаю все! — будто бы сказала Амалия в гневе, не дав Консуэло раскрыть рта. — Он любит вас! Это вы, злодейка, несчастье моей жизни, сначала отняли у меня сердце Альберта, а потом и его сердце.

— Его сердце? Я не знаю, о ком…

— Не притворяйтесь. Андзолето любит вас, вы были его любовницей еще в Венеции и остаетесь ею до сих пор.

— Это возмутительная клевета или же предположение, недостойное вас, баронесса.

— Нет, это правда. Он сам признался мне в этом сегодня ночью.

— Ночью! О, баронесса, зачем вы говорите мне это? — вскричала Консуэло, краснея от стыда и огорчения.

Амалия разрыдалась, и, когда доброй Консуэло удалось утишить ее ревность, ей пришлось волей-неволей выслушать историю этой несчастной страсти. Амалия впервые увидела и услышала Андзолето в пражском театре. Красота и успех юноши ослепили ее. Ничего не смысля в музыке, она без колебаний сочла его лучшим певцом мира — тем более что в Праге он завоевал большую популярность. Она пригласила его к себе в качестве учителя пения, и пока ее бедный отец, старый барон Фридрих, ослабевший от постоянного безделья, спал в своем кресле, как всегда видя во сне разъяренную свору охотничьих собак и загнанных кабанов, она не устояла перед обольстителем. Скука и тщеславие толкнули ее к гибели. Польщенный славной победой и стремясь войти в моду с помощью скандала, Андзолето убедил девушку, что она обладает всеми данными, чтобы стать величайшей певицей ве-

ка, что жизнь артистки — земной рай и что самое лучшее для нее — бежать с ним и выступить на сцене театра Хай-Маркет в операх Генделя. Сперва Амалия с ужасом отвергла мысль бросить своего старого отца, но в последнюю минуту, когда Андзолето уезжал из Праги, изображая отчаяние, которого не испытывал, она потеряла голову и бежала с ним.

Ее опьянение длилось недолго: наглость и грубость Андзолето, переставшего играть роль обольстителя, вернули ей рассудок. И поэтому, когда, спустя три месяца после побега, ее задержали в Гамбурге и вернули в Пруссию, где по настоянию саксонских Рудольштадтов она была тайно заключена в Шпандау, это даже обрадовало ее. Но наказание оказалось чересчур длительным и суровым. Амалия так же быстро пресытилась раскаянием, как и страстью. Она соскучилась по свободе, по жизненным удобствам, по всему тому, что давало ей знатное происхождение и от чего она была оторвана так неожиданно и так резко. Занятая собственными страданиями, она почти не ощутила скорби, потеряв отца. Выйдя из крепости, она наконец поняла, какие несчастья обрушились на ее семью, но, не решаясь вернуться в замок канониссы, где ее ждали вечные

упреки и наставления, обратилась с мольбой о покровительстве к маркграфине Байрейтской, и принцесса Кульмбахская, находившаяся в то время в Дрездене, взялась отвезти ее к родственнице. При этом дворе, где царил дух философии и легкомыслия, Амалия нашла милую ее сердцу терпимость к модным порокам, эту добродетель будущего. Встретившись вновь с Андзолето, она сразу подпала под демоническое воздействие, какое он оказывал на всех женщин и с которым некогда так долго пришлось бороться даже целомудренной Консуэло. В первую минуту страх и горе охватили ее сердце, но ночью, после обморока, выйдя одна в сад подышать свежим воздухом, она столкнулась с юношей, осмелевшим при виде ее волнения, возбужденным препятствиями, возникшими между ними. Она уже снова любила его и, стыдясь, страшась этой любви, призналась в своей слабости бывшей учительнице пения с каким-то смешанным чувством женской стыдливости и философического цинизма.

По-видимому, Консуэло нашла путь к ее сердцу и с помощью горячих увещеваний сумела убедить Амалию вернуться в замок Исполинов, чтобы она погасила в глуши уединения свою опасную страсть и позаботилась о престарелой тетке.

После этого происшествия пребывание в Байрейте сделалось для Консуэло невыносимым. Бурная ревность взбалмошной, но все еще доброй Кориллы, которая то грубо ее оскорбляла, то бросалась к ее ногам, вконец измучила ее. Со своей стороны, Андзолето, вообразивший, что может отомстить Консуэло за равнодушие, разыгрывая любовь к Амалии, не простил ей того, что она сумела отвести опасность от молодой баронессы. Он причинял ей тысячу неприятностей, стараясь испортить все ее выходы, неожиданно начиная петь во время дуэта ее партию, держась при этом с большим апломбом и давая невежественной публике понять, что ошиблась она, а не он; в общих мизансценах он вдруг шел направо, когда следовало пойти налево, незаметно толкал ее, пытаясь уронить на пол или вынуждая смешаться с толпой статистов. Эти злобные выходки разбивались о спокойствие и самообладание Консуэло, но она оказалась менее стойкой, узнав, что он распространяет о ней самые гнусные клеветнические слухи, которым охотно верили знатные бездельники. Ведь в их глазах добродетельная актриса — это чудо, немыслимое в природе, или в лучшем случае — скучный синий чулок. Развратники всех возрастов и всех рангов

стали вести себя с ней более дерзко и, потерпев неудачу, примкнули к лагерю Андзолето, не веря в искренность ее сопротивления и пытаясь очернить и обесчестить ее, чтобы утолить таким образом подлую и свирепую жажду мести.

Эти жестокие и низкие преследования были лишь началом долгих мучений, которые героически переносила несчастная примадонна на протяжении всей своей театральной карьеры. Всякий раз как судьба сталкивала ее с Андзолето, он причинял ей много горя, и, как это ни грустно, надо сказать, что она встретила на своем пути не одного Андзолето. Не одна Корилла терзала ее проявлениями зависти и недоброжелательства, в большей или меньшей степени вероломными и грубыми, и все же из всех этих соперниц Корилла была, пожалуй, наименее злобной и скорее других способной к добрым душевным порывам. Но что бы там ни говорили о злобе и завистливом тщеславии актрис, Консуэло убедилась, что те же пороки, проникнув в сердце мужчины, унижают его еще более и делают еще более недостойным того места, какое он занимает в обществе. Высокомерные и развратные вельможи, директоры театров и газетные писаки, испорченные соприкосновением со всей этой грязью, прекрасные

дамы, капризные и любопытные покровительницы искусства, всегда готовые навязать свою помощь, но быстро приходящие в негодование, встретив в подобной особе более высокую добродетель, нежели в самих себе, и, наконец, публика, зачастую невежественная, почти всегда неблагодарная или пристрастная, — все это были враги, с которыми боролась строгая и чистая супруга Ливерани, испытывая бесконечную горечь. Такая же настойчивая и постоянная в искусстве, как в любви, она никогда не отступала и продолжала свою театральную деятельность, возносясь все выше на стезе музыки и добродетели. Иногда она терпела поражение на тернистом пути успеха, иногда пожинала заслуженные лавры, но всегда и несмотря ни на что оставалась истинной жрицей искусства в еще более высоком смысле, чем его понимал Порпора, черпая все новые силы в своей пламенной вере и находя огромное утешение в пылкой и преданной любви мужа.

Жизнь Альберта, хотя и протекавшая рядом с ее жизнью — он сопровождал ее во всех путешествиях, — покрыта более густым облаком тайны. Надо полагать, что он не был рабом карьеры своей жены и не исполнял роли счетовода, подсчитывавшего приходы и расходы, связанные с ее

профессией. Профессия Консуэло была к тому же не слишком прибыльной. В те времена публика не так щедро вознаграждала актеров, как в наши дни. Они обогащались главным образом дарами принцев и знати, и женщины, умевшие извлечь выгоду из своего положения, приобретали большие ценности. Однако целомудрие и бескорыстие являются злейшими врагами богатства актрисы. Консуэло не раз пользовалась успехом, и была обязана им уважению, иногда восторгу, которые она вызывала, если интриги окружающих не слишком яростно вставали между ней и истинными ценителями, но у нее не было ни одного случая, когда успех явился бы следствием любовной интрижки, и она никогда не получала драгоценностей и миллионов, купленных ценой позора. Ее лавры оставались незапятнанными — их не бросали на сцену корыстные руки. После десяти лет трудов и странствований она не стала богаче, чем в первый день, ибо не умела да и не хотела совершать сделки, без чего богатство никогда не приходит к труженику, к какому бы слою общества он ни принадлежал. К тому же она не умела откладывать про запас и те небольшие, нередко оспариваемые администрацией деньги, которые зарабатывала. Она постоянно

тратила их на добрые дела, и, так как жизнь ее была посвящена тайному распространению учения общества, ее собственных средств часто не хватало; в таких случаях главные руководители Невидимых приходили ей на помощь.

Каковы же были результаты бесконечных и неутомимых странствований Альберта и Консуэло по Франции, Испании, Англии и Италии? Это осталось неизвестным, и, мне кажется, надо перенестись на двадцать лет вперед, чтобы по отдельным признакам обнаружить в истории восемнадцатого века следы деятельности тайных обществ. Не оказали ли эти общества большее влияние во Франции, нежели в самой Германии, где они зародились? Французская революция решительно дает на это утвердительный ответ. Однако же европейский заговор иллюминатов и грандиозная концепция Вейсгаупта доказывают, что мистическая легенда о святом Граале не переставала волновать умы немцев в течение тридцати лет, несмотря на распыление и отступничество первых адептов. Из старых газет мы узнаем, что Порпорина в эти годы с большим успехом выступала в Париже в операх Перголезе, в Лондоне — в ораториях и операх Генделя, в Мадриде — с Фаринелли, в Дрездене — с Фаустиной и

с Минготти, в Венеции, Риме, Неаполе — в операх и в церковных музыкальных произведениях Порпоры и других великих мастеров. Деятельность Альберта осталась для нас почти неизвестной. Из нескольких писем Консуэло к Тренку или к Ванде видно, что эта таинственная личность была полна веры, убежденности, энергии и отличалась необыкновенно ясным умом. Однако далее мы уже не располагаем никакими документами. Вот что рассказала группа лиц, из коих ныне почти все уже умерли, о последнем появлении Консуэло на театральной сцене.

Это произошло в Вене около 1760 года. Певице было тогда лет тридцать. Говорят, что она стала красивее, чем в ранней юности. Непорочная жизнь, нравственное спокойствие и непритязательность помогли ей сохранить всю силу своего обаяния и своего таланта. При ней находились прелестные дети, но никто не знал ее мужа, хотя молва гласила, что у нее есть муж и что она неизменно ему верна. Порпора, совершивший много поездок по Италии, вернулся в Вену и поставил на сцене императорского театра свою новую оперу. Последние двадцать лет жизни этого композитора так мало известны, что ни в одной из его биографий нам не удалось обнаружить название

этого последнего произведения. Мы знаем только, что Порпорина выступила там в заглавной роли с несомненным успехом, исторгнув слезы у всех придворных. Императрица удостоила ее своего одобрения. Но в ночь, последовавшую за этим триумфом, Порпорина через какого-то таинственного посланца получила известие, преисполнившее ее ужасом и отчаянием. Ровно в семь часов утра, то есть в тот момент, когда к императрице обычно являлся ее верный слуга, который именовался полотером ее величества (его обязанности состояли в том, что он открывал ставни, растапливал камин и натирал полы, пока императрица понемногу просыпалась), итак, ровно в семь часов утра Порпорина, завоевав с помощью золота и красноречия всех стражей, стоявших на пути к покоям августейшей особы, оказалась у дверей ее опочивальни.

— Друг мой, — сказала она полотеру, — мне необходимо броситься к ногам императрицы. Жизнь одного благородного человека находится под угрозой, честь целой семьи задета. Если я не увижу ее величество сию же минуту, через несколько дней может совершиться страшное преступление. Я знаю, что вы неподкупны, но знаю также, что вы добры и великодушны. Так

говорят все. Вы добились для некоторых лиц таких милостей, о каких не посмели бы просить самые знатные из придворных.

— Боже великий! Вас ли я вижу, моя дорогая синьора! — воскликнул полотер, выронив метелку и всплеснув руками.

— Карл! — воскликнула, в свою очередь, Консуэло. — Благодарю тебя, боже, я спасена. У Альберта есть ангел-хранитель даже в этом дворце!

— У Альберта? — повторил Карл. — Так это Альберт в опасности? В таком случае входите, синьора, пусть даже меня уволят за это!.. Хотя богу известно, что я стал бы жалеть о своем месте, — ведь здесь я делаю хоть немного добра и служу нашему святому делу лучше, чем смог бы служить ему в любом другом месте. Но раз речь идет об Альберте!.. Императрица — добрая женщина, когда она не управляет государством, — шепотом добавил он. — Входите же, все подумают, что вы пришли раньше меня. И пусть вина падет на мошенников лакеев — они недостойны служить королеве, потому что все время лгут ей!

Консуэло вошла, и императрица, подняв отяжелевшие веки, вдруг увидела ее коленопреклоненной, почти распростертой ниц у подножия своей постели. — Что это? — вскричала Мария-Терезия,

набрасывая на плечи одеяло своим обычным царственным жестом, в котором на этот раз не было ничего наигранного, и приподымаясь с подушек такая же великолепная и грозная в ночном чепце, какой бывала на троне с диадемой на голове и со шпагой у пояса.

— Ваше величество, — промолвила Консуэло, — я смиренная ваша подданная, несчастная мать, убитая горем жена и в отчаянии, на коленях, молю вас о спасении жизни и свободы моего мужа.

В эту минуту в комнату вошел Карл, притворяясь крайне удивленным.

— Презренная! — вскричал он, разыгрывая ужас и возмущение. — Кто позволил вам войти сюда?

— Благодарю тебя. Карл, — сказала императрица, — за твою бдительность и верность. Никогда еще со мной не случалось ничего подобного. Быть разбуженной так неожиданно и с такой дерзостью!..

— Одно слово вашего величества, и я убью эту женщину на ваших глазах, — смело ответил Карл.

Карл хорошо изучил императрицу. Он знал, что она любит совершать акты милосердия при свидетелях и умеет быть великой королевой и

великодушной женщиной даже перед слугами.

— Твое усердие чрезмерно, — ответила она с величественной и в то же время материнской улыбкой. — Уходи и не мешай этой бедной женщине говорить — видишь, она плачет. Ни один из моих подданных не может сделать мне ничего дурного. Что вам угодно, сударыня? Ба, да это ты, моя прекрасная Порпорина! Ты испортишь голос, если будешь так рыдать.

— Ваше величество, — ответила Консуэло, — я замужем уже десять лет, и брак мой освящен католической церковью. На моей чести нет ни одного пятна. У меня законные дети, и я воспитываю их в правилах добродетели. Поэтому я осмеливаюсь…

— В правилах добродетели, да, знаю, — прервала ее императрица, — но не в правилах религии. Вы ведете себя безупречно, мне это говорили, но никогда не ходите в церковь. Тем не менее продолжайте. Какое несчастье вас постигло?

— Мой супруг, с которым я никогда не расставалась, — снова заговорила просительница, — сейчас находится в Праге. Вследствие чьей-то гнусной интриги его схватили, бросили в каземат, обвинили в том, будто он хочет присвоить себе чужое имя и титул, отобрать чужое наслед-

ство, словом — в том, что он бесчестный человек, самозванец, шпион, и вот теперь его приговорили к пожизненному заключению, а быть может, и к смерти.

— В Праге? Самозванец? — хладнокровно повторила императрица. — Да, в отчетах моей тайной полиции есть какая-то история вроде этой. Как зовут вашего супруга? Ведь вы, актрисы, кажется не носите имя своих мужей?

— Его имя Ливерани.

— Да, да, это он. В таком случае, дитя мое, я очень огорчена, что вы замужем за подобным негодяем. Этот Ливерани в самом деле авантюрист или сумасшедший. Благодаря необычайному сходству с графом Рудольштадтом он выдает себя за графа, хотя тот умер более десяти лет назад, что достоверно известно. Он явился в замок Рудольштадтов к старой канониссе, осмелившись назваться ее племянником, и, безусловно, завладел бы наследством, если бы в тот момент, когда составлялось завещание в его пользу, добрым людям, преданным семье Рудольштадтов, не удалось избавить бедную, впавшую в детство старуху от его домогательств. Его задержали, и это очень хорошо. Я понимаю ваше горе, но ничем не могу помочь вам. Если будет доказано, что этот

человек — сумасшедший, чему мне хотелось бы верить, то его поместят в больницу, и вы сможете видеть его и ухаживать за ним. Но если он просто мошенник, — а боюсь, что это так, — придется содержать его в тюрьме построже, чтобы он не мог нарушить права истинной наследницы Рудольштадтов — некой баронессы Амалии. После некоторых ошибок молодости она исправилась и скоро выйдет замуж за одного из моих офицеров. Хочу думать, мадемуазель, что вам неизвестны поступки вашего мужа и что вы заблуждались относительно него, — в противном случае я сочла бы ваше ходатайство весьма неуместным… Можете удалиться. Консуэло поняла, что ей не на что надеяться и что, пытаясь установить тождество Ливерани с Альбертом, она может только повредить ему. Она встала и пошла к двери, бледная, готовая лишиться чувств. Мария-Терезия, следившая за ней испытующим взором, сжалилась над ней.

— Вы достойны сострадания, — сказала она более мягким тоном. — Я уверена в вашей невиновности. Придите в себя и займитесь своим здоровьем. Дело будет тщательно расследовано, и, если ваш муж не пожелает погубить себя сам, я устрою так, чтобы его признали сумасшедшим.

Сообщите ему это, если вам удастся. Вот вам мой совет.

— Я последую ему и благословляю ваше величество. Но без покровительства императрицы я бессильна что-либо предпринять. Мой муж сейчас заточен в Праге, а я служу в императорском театре Вены. Если ваше величество не соблаговолит распорядиться, чтобы мне дали отпуск и разрешение на свидание с мужем, который находится под строжайшим надзором…

— Вы просите слишком многого! Не знаю, согласится ли господин Кауниц отпустить вас и возможно ли будет заменить вас на сцене. Мы решим это через несколько дней.

— Через несколько дней!.. — воскликнула Консуэло, обретая свое мужество. — Но через несколько дней будет поздно! Я должна выехать немедленно!

— Довольно, — сказала императрица. — Если вы проявите такую же настойчивость, когда будете говорить с менее хладнокровными и менее снисходительными судьями, она может повредить вам. Идите, мадемуазель. Консуэло поспешила к канонику XXX и поручила ему своих детей, сообщив, что уезжает, и притом неизвестно, на какой срок.

— Если вы покидаете нас надолго, очень жаль! — ответил добрый старик. — А дети мне ничуть не мешают. Они прекрасно воспитаны и составят компанию Анджеле — со мной она немного скучает.

— Послушайте, — сказала Консуэло, в последний раз прижав к сердцу детей и не в силах удержаться от слез, — не говорите им, что мое отсутствие будет длительным, но знайте: быть может, оно окажется вечным. Боюсь, что меня ожидают такие муки, от которых я уже не оправлюсь, — разве только бог сотворит чудо. Молитесь за меня и научите молиться моих детей.

Добрый каноник не стал пытаться выведать секрет Консуэло, но так как его мирный и беспечный нрав нелегко мирился с мыслью о непоправимом несчастье, он постарался ее утешить. Однако, видя, что ему не удается внушить ей надежду, он решил по крайней мере успокоить ее относительно участи детей.

— Мой милый Бертони, — сказал он ей с участием, стараясь улыбаться сквозь слезы, — если ты не вернешься, твои дети будут принадлежать мне, помни об этом. Я позабочусь об их образовании. Выдам замуж твою дочь. Это немного уменьшит приданое Анджелы, зато сделает ее более

трудолюбивой. Что касается мальчиков, предупреждаю — из них я сделаю музыкантов. — Иосиф Гайдн разделит с вами эту обузу, — ответила Консуэло, целуя руки каноника, — а старый Порпора еще сможет дать им несколько уроков. Мои бедные дети послушны и понятливы. Их денежные дела не тревожат меня — со временем они смогут честно заработать себе на хлеб. Но мою любовь, мои советы… Только вы один сможете заменить им меня.

— И я обещаю тебе это, — воскликнул каноник. — Надеюсь, что проживу достаточно долго и увижу, как все они устроят свою жизнь. Я еще не так толст и по-прежнему твердо стою на ногах. Мне каких-нибудь шестьдесят лет, хотя в свое время эта негодяйка Бригитта и прибавляла мне годы, чтобы заставить поскорее написать завещание. Итак, дочь моя, желаю тебе мужества и здоровья! Уезжай и поскорее возвращайся обратно. Господь не покидает честных людей.

Не тратя времени на хлопоты об отпуске, Консуэло велела запрягать почтовых лошадей. Но в ту минуту, когда она собиралась сесть в экипаж, ее остановил Порпора. Она надеялась избежать встречи с ним, предвидя, что он перепугается и рассердится, узнав об ее намерении уехать. Не-

смотря на ее обещания вернуться к завтрашнему спектаклю — она произнесла их с принужденным и озабоченным видом, — он встревожился, что она может не сдержать слово.

— Зачем, черт возьми, тебе понадобилось ехать за город в разгаре зимы? — говорил он, весь трясясь отчасти от старости, отчасти от гнева и страха. — Стоит тебе простудиться, моему успеху не бывать, а ведь все шло так хорошо! Я не понимаю тебя. Вчера у нас был такой триумф, а сегодня тебе вдруг вздумалось куда-то ехать!

Этот спор задержал Консуэло на четверть часа и дал время дирекции театра, бывшей настороже, предупредить власти. Явился отряд улан с приказом распрягать лошадей… Консуэло предложили вернуться домой, а чтобы она не могла бежать, вокруг поставили стражу. У нее начался жар. Не замечая этого, она продолжала лихорадочно ходить взад и вперед по комнатам, отвечая на назойливые увещевания Порпоры и директора лишь мрачным и неподвижным взглядом. Спать она не ложилась и всю ночь провела в молитве. Утром она со спокойным видом явилась на репетицию, подчинившись повелению начальства. Голос ее казался прекраснее, чем когда-либо, но внезапно она умолкала и задумывалась, что

приводило Порпору в ужас. «Проклятый брак! Адское безумие любви!» — ворчал он в оркестре, ударяя по клавишам с такой силой, что клавесин выдерживал только чудом. Старик Порпора был все тот же. Он готов был сказать: «Пусть погибнут все любовники и мужья, только бы моя опера не провалилась!»

Вечером Консуэло облачилась, как всегда, в театральный костюм и вышла на сцену. Она встала в позу, и губы ее зашевелились, но ни один звук не вылетел из ее уст: она потеряла голос.

Пораженные зрители вскочили со своих мест. Придворные, до которых уже дошел неясный слух о ее попытке к бегству, кричали, что с ее стороны это просто недопустимый каприз. При каждой новой попытке певицы запеть раздавались вопли, свистки, аплодисменты. Она пробовала заговорить, но не могла вымолвить ни слова. Однако она не уходила и продолжала неподвижно стоять, не думая о потере голоса, не чувствуя себя униженной возмущением своих тиранов, печальная, покорная и гордая, как невинная жертва, осужденная на пытку, мысленно благодаря бога за то, что он ниспослал ей этот внезапный недуг, который даст возможность покинуть театр и уехать к Альберту.

Ее величеству посоветовали заключить строптивую актрису в тюрьму, чтобы она обрела там голос и бросила свои причуды. В первую минуту императрица была разгневана, и окружающие решили, что угодят ей, сурово обвиняя провинившуюся. Но Мария-Терезия, допускавшая иногда преступления, когда они могли принести ей выгоду, не любила причинять ненужных страданий.

— Кауниц, — сказала она своему премьер-министру, — велите выдать этой бедной женщине письменное разрешение на выезд, и довольно об этом. Если потеря голоса — военная хитрость с ее стороны, то это и акт мужества. Не много найдется актрис, которые пожертвовали бы одним часом успеха ради целой жизни супружеской любви.

Снабженная необходимыми бумагами, Консуэло наконец уехала, все еще больная, но не ощущая своей болезни. Здесь мы опять теряем нить событий. Процесс Альберта мог бы стать громким, но его сделали негласным. Возможно, что процесс этот по своей сути был аналогичным тому, который приблизительно в то же время возбудил Фридрих фон Тренк, а впоследствии проиграл его после долгих лет борьбы. Кому во Франции стали бы известны подробности этого

неправого дела, если бы сам Тренк не позаботился опубликовать их и не повторял затем своих пылких жалоб на протяжении тридцати лет? Но Альберт не оставил никаких записок. Поэтому нам придется обратиться к истории барона фон Тренка — ведь он тоже один из наших героев, и, быть может, его мучения прольют некоторый свет на несчастья Альберта и Консуэло.

Спустя месяц после сборища святого Грааля — в своих мемуарах Тренк обходит это событие молчанием — он был снова арестован и заключен в тюрьму в Магдебурге, в ужасный каземат, где он угасал в течение десяти лучших лет своей молодости, сидя на камне с заранее начертанной на нем эпитафией: «Здесь погребен Тренк»; кандалы, в которые он был закован, весили восемьдесят ливров. Всему миру известны подробности этих ужасных заключений, как, например, муки голода, которым он подвергался полтора года, и тот факт, что тюрьма его была построена на средства его собственной сестры, наказанной разорением за приют, оказанный брату. Всем известны его фантастические попытки к бегству, невероятная энергия, никогда его не покидавшая, и рыцарское безрассудство, сводившее на нет все его замыслы; известны также искусные, выполненные им в

тюрьме работы — острием гвоздя он научился вырезать на оловянных кружках аллегорические фигуры и трогательные надписи в стихах , глубоко задевающие душу. Известны, наконец, его тайные, продолжавшиеся несмотря ни на что, сношения с принцессой Амалией Прусской, снедавшее ее отчаяние, попытка обезобразить себя разъедающей жидкостью, сделавшая ее полуслепой, плачевное состояние, в которое она намеренно привела свое здоровье, чтобы избавиться от необходимости замужества, ужасная перемена, совершившаяся в ее характере; словом — все эти десять мучительных лет, превративших Тренка в мученика, а его знатную возлюбленную — в постаревшую, уродливую и злую женщину, полную противоположность тому ангелу кротости и красоты, каким она была прежде и каким могла бы быть и дальше, если бы от нее не отвернулось счастье . Все эти факты принадлежат истории, но историки, рисуя портреты Фридриха Великого, вспоминают о них слишком редко. Это преступление, сопровождавшееся ненужными и утонченными жестокостями, остается неизгладимым пятном на памяти этого деспота-философа.

Наконец Тренк был выпущен на свободу. Как известно, это произошло благодаря вмешатель-

ству Марии-Терезии, которая потребовала его выдачи как Своего подданного. И этой запоздалой милостью он был обязан все тому же полотеру опочивальни ее величества — нашему Карлу. В мемуарах того времени есть немало любопытных и трогательных страниц, посвященных изобретательным уловкам, которые пускал в ход этот великодушный простолюдин, когда хотел добиться чего-нибудь от своей повелительницы.

В первые годы заключения Тренка его двоюродный брат, знаменитый Тренк-пандур, жертва более обоснованных, но не менее жестоких и злобных обвинений, был отравлен и умер в Шпильберге. Сразу после освобождения Тренк Прусский явился в Вену и потребовал огромное наследство Тренка Австрийского. Однако Мария-Терезия была отнюдь не склонна исполнить его желание. Она уже давно пользовалась плодами похождений этого разбойника, она покарала его за совершенные преступления, теперь она хотела извлечь пользу из его грабежей и преуспела в этом. В то время как ее могущество ослепляло толпу, она, подобно Фридриху II, подобно всем коронованным особам, обладавшим к тому же недюжинным умом, не гнушалась тайными несправедливостями, в которых ей предстояло

отдать отчет перед судом божьим и человеческим и которые будут так же взвешены на одной чаше весов, как явные добродетели на другой. Завоеватели и властители, напрасно тратите вы свои сокровища на возведение храмов: все равно вы останетесь нечестивцами, если хоть одна золотая монета досталась вам ценой крови и страданий. Напрасно порабощаете вы целые народы своим сверкающим оружием: даже люди, наиболее ослепленные блеском вашей славы, все равно упрекнут вас в истреблении одного-единственного человека, одной-единственной травинки, хладнокровно загубленных вами. Муза истории, еще слепая, еще неуверенная, готова допустить, что в прошлом бывали преступления необходимые и заслужившие оправдание, но неподкупная совесть человечества протестует против своих собственных ошибок и порицает хотя бы те преступления, которые ничем не послужили успеху великих начинаний.

Корыстолюбивые устремления императрицы быстро подхватили ее поверенные, подлые агенты, которых она назначила опекунами имущества пандура, а также недобросовестные судьи, вынесшие решение о правах наследника. Каждый получил свою долю добычи. Мария-Те-

резия полагала, что ее доля будет львиной, но напрасно несколькими годами позже отправила она в тюрьму и на галеры неверных сообщников этого огромного ограбления — ей не удалось полностью завладеть состоянием Тренка. Он же был разорен, но так и не добился правосудия. Ничто не может дать лучшего представления о характере Марии-Терезии, чем та часть «Мемуаров» Тренка, где он излагает свои беседы с императрицей по поводу этого дела. Избегая проявлять неуважение к королевской власти, священной для всех знатных людей того времени, он дает нам почувствовать черствость, лицемерие и жадность этой великой женщины, в чьем характере сочеталось столько противоположных черт: возвышенность и мелочность, простодушие и хитрость. Таково развращающее действие противоестественной неограниченной власти, причины всяческого зла, — подводного камня, о который неизбежно разбиваются самые прекрасные, самые благородные инстинкты. Заранее решив отказать просителю, императрица тем не менее удостоила его выражениями сочувствия, подала надежду, обещала свою помощь в борьбе с бессовестными судьями, которые его разоряли. А в конце концов, сделав вид, что потерпела неуда-

чу в поисках истины и заблудилась в лабиринте этого бесконечного процесса, предложила ему в возмещение убытков жалкий чин майора и руку некой пожилой дамы, некрасивой, весьма набожной и развратной. Тренк отказался, и тогда императрица, раздосадованная провалом своих матримониальных планов, заявила, что он сумасшедший, что он чересчур самонадеян, что она не знает способа удовлетворить его чрезмерное честолюбие, и отвернулась от него уже навсегда. Поводы для конфискации наследства пандура видоизменялись в зависимости от обстоятельств и от лиц, занимавшихся этим делом. Один суд постановил, что завещание пандура, поскольку тот умер, не сняв с себя позорного обвинения, недействительно; другой — что даже если бы оно и считалось действительным, то права наследника, как прусского подданного, не имеют законной силы; третий — что долги покойного с лихвой поглотили наследство и т.д. и т.д. Словом, препятствие нагромождалось на препятствие, правосудие тысячу раз нарушалось, и истец так и не добился его

За шестьдесят с лишком лет он только один раз увиделся в принцессой Амалией. В первую минуту любовники испугались, увидев друг дру-

га, но потом разрыдались и поклялись в новой любви и преданности. Аббатиса приказала ему привезти к ней свою жену, позаботилась об их благосостоянии и решила взять к себе в качестве чтицы или домоправительницы одну из его дочерей. Но ей не удалось сдержать свои обещания — через неделю она скончалась. «Мемуары» Тренка, написанные со страстным пылом молодого человека и многоречивостью старика, являются тем не менее одним из наиболее благородных и трогательных памятников истории прошлого века. (Прим. автора.)>.

Чтобы разорить и изгнать Альберта, не понадобилось столько хитростей, и, должно быть, грабеж совершился без особых церемоний. Достаточно было объявить его умершим и запретить воскресать столь некстати. Альберт, разумеется, ничего не требовал. Нам известно только, что незадолго до его ареста канонисса Венцеслава скончалась в Праге, куда приехала лечить острое воспаление глаза. Узнав о том, что ее последний час близок, Альберт не смог противиться голосу сердца, звавшего его поехать и закрыть глаза любимой тетке. Расставшись с Консуэло на границе Австрии, он поспешил в Прагу. Впервые со дня своей свадьбы он вступил на землю Германии.

Ему казалось, что десятилетнее отсутствие и попытка несколько изменить свою внешность помогут ему остаться неузнанным, и он явился к тетке без особых предосторожностей. Ему хотелось получить ее благословение и прощальным излиянием любви и скорби загладить то зло, какое он невольно причинил, покинув ее. Звук его голоса поразил полуслепую канониссу. Она не отдавала себе отчета в своих чувствах, но поддалась инстинктивной нежности, которая оказалась сильнее памяти и рассудка. Обняв племянника слабеющими руками, она назвала его своим дорогим Альбертом, своим навеки благословенным сыном. Старого Ганса уже не было в живых, но баронесса Амалия и еще одна женщина из Богемского Леса, которая прислуживала канониссе, а некогда ухаживала и за больным Альбертом, были поражены и напуганы сходством мнимого доктора с молодым графом. Впрочем, нельзя утверждать, что Амалия определенно его узнала, — не хочется верить, что она участвовала в гонениях, которые немедленно обрушились на него. Нам неизвестно, какие обстоятельства подняли на ноги всю эту свору получиновников-полушпионов, с чьей помощью венский двор управлял порабощенными народами. До-

стоверно одно — не успела канонисса испустить последний вздох в объятиях своего племянника, как того схватили и стали допрашивать, каким образом и с какими намерениями он оказался у ложа умирающей. От него потребовали, чтобы он предъявил диплом врача. Диплом оказался в полном порядке, но тогда сомнению подвергли его имя — Ливерани, и нашлись люди, вспомнившие, что встречали его прежде под именем Трисмегиста. Его обвинили в шарлатанстве и чернокнижии. Он не мог доказать, что никогда и ни с кого не получал денег за лечение. Ему дали очную ставку с баронессой Амалией, и вот это-то и погубило его. Потеряв терпение, раздраженный допросами, устав скрываться под чужим именем, он внезапно объявил своей кузине в разговоре с глазу на глаз — разговор этот был подслушан, — что он Альберт Рудольштадт. Должно быть, Амалия узнала его, но, испуганная этим необыкновенным происшествием, лишилась чувств. Отныне дело приняло другой оборот.

Решено было считать Альберта самозванцем, но, желая возбудить один из тех нескончаемых процессов, которые разоряют сразу обе стороны, чиновники такого же толка, как негодяи, сделавшие нищим Тренка, постарались скомпро-

метировать обвиняемого, заставив его повторять и утверждать, что он Альберт Рудольштадт. Началось длинное следствие. Было приведено показание свидетеля Сюпервиля, который, вероятно искренне, отказался подвергнуть сомнению факт смерти графа, умершего в Ризенбурге на его глазах. Приказано было произвести эксгумацию трупа. В могиле нашли скелет, который вполне мог быть положен туда накануне. Кузину обвиняемого убедили в том, что она должна бороться с авантюристом, желающим ее обобрать. Разумеется, им запретили дальнейшие свидания. Жалобы Альберта и пылкие мольбы его жены не выходили за пределы каменных стен тюрьмы, куда заключили обоих. Быть может, оба они лежали больные и умирали каждый в своем каземате. Поскольку делу уже дали ход, Альберт мог теперь бороться за свое Счастье и свободу лишь одним способом — говоря правду. Тщетно заявлял он об отказе от наследства и о своем желании немедленно составить завещание в пользу своей кузины. Кое-кому выгодно было затянуть и запутать дело, и оказалось, что это не так уж трудно. Возможно, что императрица была обманута, а может быть, ей намекнули, что конфискацией этого состояния так же не стоит пренебрегать

как конфискацией состояния пандура. Чтобы добиться цели, постарались придраться и к самой Амалии, припомнили ей скандал, связанный с ее бегством, упрекнули за недостаток благочестия и тайно пригрозили, что, если она не откажется от своих прав на спорное наследство, ее запрут в монастырь. Юной баронессе пришлось покориться и удовольствоваться наследством отца, которое после огромных затрат на навязанный ей процесс оказалось весьма незначительным. В конце концов замок и земли Ризенбурга были конфискованы в пользу казны, но не ранее, чем адвокаты, поверенные, судьи и доносчики расхитили две трети добычи.

Таковы наши сведения об этом таинственном процессе, который тянулся пять или шесть лет и в результате которого Альберт был изгнан из австрийских владений как опасный безумец, — благодаря особой милости императрицы. Начиная с этого времени уделом супружеской четы стало, по-видимому, безвестное и полное нужды существование. Младших детей они взяли с собой. Гайдн и каноник решительно отказались отдать им старших, воспитывавшихся под нежным присмотром этих верных друзей и на их средства. Консуэло навсегда потеряла голос.

Совершенно очевидно, что тюрьма, бездействие и боль из-за страданий, выпавших на долю подруги, снова поколебали рассудок Альберта. Однако их взаимная любовь, по-видимому, не стала от этого менее горячей, души — менее гордыми, а поступки — менее чистыми. Невидимые исчезли, спасаясь от преследований. Их дело погибло — главным образом по вине шарлатанов, которые наживались на энтузиазме, вызываемом новыми идеями, и на пристрастии людей ко всему чудесному. Подвергаясь, как франкмасон, новым гонениям в странах нетерпимости и деспотизма, Альберт вынужден был бежать во Францию или в Англию. Возможно, что он продолжал распространять там свои идеи, но, по всей вероятности, только среди людей из народа, и если труды его и принесли свои плоды, то это никому не известно.

Здесь начинается большой пробел, и наше воображение бессильно его восполнить. Но благодаря последнему достоверному и весьма подробному документу мы вновь встречаем около 1774 года нашу чету, странствующую в Богемском Лесу. Приводим этот документ в том виде, в каком мы его получили. Это наше последнее слово об Альберте и Консуэло, так как об их дальнейшей

жизни и об их смерти нам решительно ничего не известно. Письмо Филона Игнацу-Иозефу Мартыновичу, профессору физики Лембергского университета Подхваченные вихрем, словно спутники царственной планеты, мы следовали за Спартаком по крутым тропинкам под самыми бесшумными и тенистыми деревьями Богемского Леса. О друг! Зачем вас не было с нами! Вы не стали бы собирать камешки в серебристом ложе потоков, не стали бы вопрошать поочередно жилы и кости нашей таинственной прародительницы — terra parens . Пламенные речи учителя окрыляли нас; мы перепрыгивали через овраги и взбирались на вершины утесов, не разбирая дороги, не глядя вниз, на бездны, которые преодолевали, не ища вдалеке крова, где могли бы найти отдых на ночь. Никогда еще Спартак не казался нам таким величественным, до такой степени исполненным всемогущей истиной. Красота природы действует на его воображение, подобно возвышенной поэме. Однако даже в минуты восторженных порывов способность к научному анализу и изобретательной выдумке никогда не покидает его полностью. Он рассказывает о небе и о планетах, о земле и о морях с такой же ясностью и последовательностью,

какие отличают его ученые рассуждения о праве и о других сухих материях нашего мира. Но как ширится его душа, когда на вольном воздухе, наедине с избранными учениками, под синевой звездного неба или перед лицом заалевших облаков, предвестников солнца, он побеждает время и пространство, желая одним взглядом окинуть человеческий род в целом и в частностях, желая проникнуть в недолговечную участь империй и в великое будущее народов! Вам приходилось слышать ясные речи, которые произносил этот юноша с кафедры! Какая жалость, что вы не видели и не слышали его, когда он стоял на вершине горы! Этот человек мудр не по годам, и у меня такое чувство, словно он жил среди людей с самого сотворения мира! Дойдя до границы, мы поклонились земле — свидетельнице подвигов великого Жижки, и еще ниже склонились перед глубокими рвами, послужившими могилой мученикам, некогда погибшим во имя свободы народов. Здесь мы решили разделиться, с тем чтобы начать наши поиски и расспросы сразу в нескольких направлениях. Катон отправился на северо-восток, Цельс — на юго-восток. Дальше пошел с запада на восток, а сборным пунктом был назначен Пльзень.

Меня Спартак оставил при себе и решил идти наудачу, рассчитывая, как он говорил, на счастливую случайность, на некий тайный внутренний голос, который должен был направить нас. Меня несколько удивило это отсутствие расчетливости и предусмотрительности — оно как будто противоречило его обычной методе.

— Филон, — сказал он мне, когда мы остались одни, — я убежден, что такие люди, как мы, являются орудиями провидения на земле, но ведь оно, это заботливое провидение, отнюдь не бездеятельно и не равнодушно, ведь именно оно и подсказывает нам наши чувства, помыслы и поступки. Я заметил, что к тебе оно более благосклонно, нежели ко мне, — все твои начинания почти всегда увенчиваются успехом. Итак, вперед! Я следую за тобой и верю в твою проницательность, в тот таинственный свет, к которому простодушно взывали наши предки-иллюминаты, благочестивые фанатики минувшего.

Учитель поистине оказался пророком. К вечеру второго дня мы нашли того, кого искали, и вот каким образом я оказался орудием судьбы.

Мы дошли до опушки леса, и здесь дорога разделилась на две. Одна тропинка круто спускалась вниз, в долину, а другая огибала более пологие

склоны горы.

— Куда мы пойдем? — спросил Спартак, садясь на обломок скалы. — Вон там я вижу возделанные поля, луга, бедные хижины. Нам говорили, что он беден. Значит, он живет с бедняками. Надо спросить о нем у скромных пастухов долины.

— Нет, учитель, — возразил я, показывая ему на другую дорогу. — Я вижу справа крутые башенки и ветхие стены какого-то старинного здания. Мы слышали, что он поэт — он должен любить развалины и уединение.

— Тем более, — с улыбкой добавил Спартак, — что над развалинами старинного замка, в еще розовом небе, восходит белый, как жемчужина. Веспер. Мы похожи на пастухов, разыскивающих пророка, и эта чудесная звезда указывает нам путь.

Вскоре мы добрались до руин замка. Это было внушительное строение, воздвигавшееся постепенно в разные эпохи, и остатки владычества императора Карла мирно лежали рядом с обломками времен феодализма. Но не время, а рука человека учинила недавно все эти разрушения. Было еще светло, когда мы поднялись на противоположный склон высохшего рва и вошли под заржавленную неподвижную решетку. Первый,

кого мы увидели во дворе, был сидевший на камне старик в причудливых лохмотьях, больше похожий на какое-то древнее ископаемое, нежели на современного человека. Борода цвета пожелтевшей слоновой кости ниспадала ему на грудь, а лысый череп отсвечивал, словно поверхность озера в последних лучах солнца. Спартак вздрогнул и, быстро подойдя к нему, спросил, как называется этот замок. Старик, по-видимому, не расслышал и устремил на нас безжизненные стеклянные глаза. Мы спросили, как его имя, но он не ответил — лицо его выражало какое-то задумчивое безразличие. Однако его сократовская физиономия не говорила об отупении человека, впавшего в идиотизм. В его безобразии было даже нечто прекрасное — отпечаток чистой и ясной души. Спартак вложил ему в руку серебряную монету. Он поднес ее очень близко к глазам, потом бросил, как бы не понимая, что это такое.

— Возможно ли, — сказал я учителю, — чтобы старик, совершенно лишенный зрения, слуха и разума, был брошен на произвол судьбы вдали от жилья, среди гор, без собаки, без поводыря, который мог бы сопровождать его и собирать милостыню вместо него!

— Возьмем его с собой и отведем в какую-ни-

будь хижину, — ответил Спартак.

Но когда мы сделали попытку поднять его, чтобы убедиться, в состоянии ли он держаться на ногах, старик отстранил нас и, приложив палец к губам, другой рукой указал в глубь двора. Взглянув в ту сторону, мы ничего не увидели, но слух наш тотчас же был поражен звуками скрипки необычайной чистоты и силы. Никогда в жизни я не слышал ни одного скрипача, который сумел бы передать смычком такие волнующие, такие глубокие вибрации и создать такую неразрывную связь между струнами своей души и своего инструмента. Напев был безыскусствен и возвышен. Он не походил ни на что, слышанное мною в концертах и в театрах. Он пробуждал в сердце благочестивые и вместе с тем воинственные чувства. Мы оба — учитель и я — впали в какое-то восторженное состояние и взглядами говорили друг другу, что происходит нечто великое и загадочное. Глаза старика заблестели, словно он был во власти экстаза. Блаженная улыбка появилась на его бледных губах, доказывая, что он отнюдь не был ни глух, ни бесчувствен. После короткой и чудесной мелодии наступила тишина, и вскоре из стоявшей против нас часовни вышел человек зрелых лет, чья наружность наполнила наши

сердца почтением. Красота его строгого лица и благородные линии фигуры составляли контраст с уродливым телом и грубыми чертами старика, которого Спартак сравнил с «обращенным и прирученным фавном». Скрипач шел прямо к нам, держа скрипку под мышкой, а смычок засунув за кожаный пояс. Широкие штаны из грубой ткани, сандалии, напоминавшие древние котурны, и плащ из овечьей шкуры вроде тех, какие носят наши крестьяне на берегах Дуная, придавали ему вид пастуха или пахаря. Но тонкие белые руки изобличали человека, который никогда не занимался крестьянским трудом. Это были руки артиста, и все в нем — опрятность одежды, гордый взгляд — опровергало мысль о нищете и о ее печальных и унизительных последствиях. Увидев его, учитель был потрясен. Он сжал мне руку дрожащей рукой.

— Это он! — сказал мне Спартак. — Я не знал, что он музыкант, но мне знакомо его лицо, потому что я не раз видел его во сне.

Скрипач подошел к нам, не выказывая ни замешательства, ни удивления.

С доброжелательным достоинством он ответил на наше приветствие, а потом приблизился к старику.

— Пойдем, Зденко, — сказал он, — я ухожу. Обопрись на своего друга.

Старик попытался встать, скрипач поднял его и, согнувшись, чтобы послужить ему опорой, повел его, приноравливая свой шаг к его неверной походке. В этой сыновней заботе, в этой терпеливой заботе благородного и красивого мужчины, еще сильного и подвижного, который медленно шагал, поддерживая одетого в лохмотья старца, было нечто еще более трогательное, если это возможно, чем в заботливости молодой матери, оберегающей первые шаги своего ребенка. Я увидел слезы в глазах учителя и был взволнован сам, всматриваясь то в лицо нашего Спартака, гениального человека будущего, то в лицо незнакомца, в котором чувствовалось такое же величие, но уже окутанное мраком прошлого.

Решившись последовать за ним и расспросить, но не желая отвлекать его от выполнения долга, мы пошли сзади, соблюдая некоторую дистанцию. Он направился к часовне, откуда недавно вышел, и, войдя внутрь, остановился, созерцая разбитые могильные плиты, заросшие терновником и мхом. Старик преклонил колени, и, когда он встал, его друг, поцеловав одну из плит, собрался его сопровождать.

Только в эту минуту он заметил, что мы стоим рядом, и как будто удивился, но ни тени недоверия не отразилось в его взгляде, спокойном и безмятежном, как у ребенка. Однако же этому человеку было, должно быть, более пятидесяти лет, и густые седые волосы, вьющиеся вокруг мужественного лица, особенно подчеркивали блеск его больших черных глаз. Выражение рта говорило о каком-то неуловимом слиянии простодушия и силы. Казалось, у него были две души: одна — преисполненная восторженного преклонения перед всем небесным, другая — излучавшая доброжелательность по отношению ко всем людям на земле.

Мы пытались найти предлог, чтобы заговорить с ним, как вдруг он сам, поняв ход наших мыслей, обратился к нам с необыкновенной простотой и откровенностью:

— Вы видели, как я поцеловал мраморную плиту, — сказал он, — а старик распростерся ниц на могилах. Не примите это за проявления идолопоклонства. Целовать одежды святого — значит носить в сердце залог любви и дружбы. Останки покойника — это всего лишь изношенное платье, но мы не можем равнодушно попирать их ногами; мы почтительно храним их и расстаемся

с ними с горьким сожалением. О отец мой, о мои возлюбленные родственники, я знаю, что вас здесь нет и что эти надписи лгут, говоря: «Здесь покоятся Рудольштадты!» Все Рудольштадты на земле, все они живы, и все делают свое дело в мире, согласно воле божьей. А здесь, под этими плитами, лежат только кости, только внешние оболочки, в которых когда-то зародилась жизнь и которые она покинула, чтобы принять другие оболочки. Да будет благословен прах предков! Да будут благословенны плющ и трава, которые его украшают! Да будут благословенны земля и камни, которые оберегают его. Но прежде всего, да будет благословен бессмертный бог, говорящий умершим: «Встаньте и вселитесь в мою оплодотворяющую душу, где ничто не умирает, где все обновляется и очищается!»

— Ливерани, Жижка или Трисмегист, неужели это вы? Неужели вас нашел я здесь, на могиле ваших предков? — воскликнул Спартак, озаренный счастливой догадкой.

— Не Ливерани, не Трисмегист и даже не Ян Жижка, — ответил незнакомец. — Призраки терзали мою невежественную юность, но божественный свет поглотил их, и имя предков исчезло из моей памяти. Мое имя человек, и я

ничем не отличаюсь от остальных людей.

— Ваши слова имеют глубокий смысл, но они говорят о недоверии, — возразил учитель. — Доверьтесь этому знаку — разве вы не узнаете его?

И Спартак показал ему масонские знаки высоких степеней.

— Я забыл этот язык, — ответил незнакомец. — Я не презираю его, но для меня он стал бесполезен.

Брат, не оскорбляй меня предположением, что я не доверяю тебе. Разве и ты не зовешься человеком? Люди никогда не причиняли мне зла, а если и причиняли, то я забыл об этом. И, значит, зло это было невелико по сравнению с тем безграничным добром, которое они могут оказать друг другу и за которое я должен быть заранее им благодарен.

— Возможно ли, о добродетельный человек, — вскричал Спартак, — что время не имеет никакого значения в твоем восприятии и ощущении жизни?

— Времени не существует, и, если бы люди глубже размышляли о сущности божества, они тоже не придавали бы значения столетиям и годам. Не все ли равно тому, кто так слился с богом, что стал бессмертным, кто жил вечно и никогда не

перестанет жить, сколько песка осталось на дне песочных часов — немного больше или немного меньше? Рука, вращающая часы, может поспешить, может ослабнуть, но рука, насыпающая песок, никогда не оскудеет.

— Ты хочешь сказать, что человек может забыть счет и меру времени, но что жизнь течет вечно, постоянно оплодотворяемая богом? Такова твоя мысль?

— Молодой человек, ты понял меня. Но у меня есть лучшее доказательство великих таинств. — Таинств? Да, да, я пришел издалека, чтобы расспросить тебя и чтобы ты меня просветил.

— Так слушай же! — сказал незнакомец, усаживая на одну из могил старика, который повиновался ему доверчиво, как ребенок. — Это место особенно вдохновляет меня, и именно здесь при последних лучах солнца и при первых лунных бликах хочу я возвысить твою душу до понимания самых высоких истин.

Неописуемая радость охватила нас при мысли, что после двух лет поисков и расспросов мы наконец-то нашли этого волхва нашей религии, этого философа — метафизика и первооткрывателя, который собирался вручить нам нить Ариадны и помочь отыскать вход в лабиринт идей и собы-

тий прошлого. Но незнакомец, схватив скрипку, вдруг начал вдохновенно играть. От звуков его могучего смычка, словно от вечернего ветра, трепетала листва деревьев, а руины отзывались гулом, похожим на человеческий голос. Мелодия звучала каким-то религиозным ликованием, античной безыскусственностью и увлекательным пылом. Напевы были величественны и кратки. В этих незнакомых нам песнях не чувствовалось ни мечтательности, ни томной неги. Они напоминали победоносные гимны, и перед нашим взором проходили торжествующие войска со знаменами, пальмовыми ветвями и таинственными эмблемами какой-то новой религии. Я видел огромные массы народов, объединившихся под одним стягом, — ни малейшей суматохи в рядах, пыл, но без лихорадки, бурный порыв, но без гнева, человеческая энергия во всем ее великолепии, победа со всем ее милосердием и вера в самых благородных ее проявлениях. — Как это прекрасно! — воскликнул я, когда он с увлечением сыграл пять или шесть этих превосходных гимнов. — Вот Te Deum помолодевшего и умудренного Человечества, благодарящего бога всех религий, светоч всех людей.

— Ты понял меня, дитя! — сказал музыкант,

отирая пот и слезы, увлажнившие его лицо. — Как видишь, время обладает лишь одним голосом для провозглашения истины. Взгляни на этого старца. Он понял все не хуже тебя и помолодел на тридцать лет.

Мы взглянули на старика, о котором успели забыть. Теперь он держался прямо, стоял без всякого усилия, отбивал ногой такт и, казалось, готов был, словно юноша, побежать вперед. Музыка совершила с ним чудо — он спустился с горы, не пожелав опереться ни на кого из нас. Когда его шаги замедлялись, музыкант спрашивал.

— Зденко, не сыграть ли тебе «Марш Прокопа Большого» или «Освящение знамени оребитов»?

Но старик отрицательно качал головой, как бы говоря, что у него еще есть силы. Казалось, он боялся злоупотребить божественным лекарством и истощить вдохновение своего друга.

Мы направились к поселку, который оставили справа, в глубине долины, когда свернули к развалинам замка. Дорогой Спартак обратился к незнакомцу.

— Ты сыграл нам несравненные мелодии, — сказал он, — и я понял, что этим блестящим вступлением ты хотел подготовить наши чувства для восприятия переполняющего, тебя востор-

га. По-видимому, ты хотел, подобно пифиям и пророкам, воспламениться и сам, чтобы начать произносить свои прорицания, владея всей мощью вдохновения и проникнувшись духом всевышнего. Так говори же сейчас. Вокруг тишина, тропинка удобна для ходьбы, луна освещает нам путь. Кажется, вся природа притихла, чтобы внимать тебе, а наши сердца с трепетом ждут твоих откровений. Наша суетная наука и наш горделивый разум смирятся перед твоими огненными речами. Говори же, минута настала.

Но незнакомец не пожелал открыться.

— Что могу я сказать тебе такого, чего уже не выразил только что на языке более прекрасном? Разве я виновен, если ты не понял меня? Ты думаешь, что я обращался к твоим чувствам, а я говорил с тобой на языке своей души! Впрочем, что я! На языке всего Человечества, которое говорило с тобой через посредство моей души. Да, в те минуты я действительно был одержим вдохновением. Сейчас — нет. Мне надо отдохнуть. Ты тоже испытывал бы сейчас потребность в отдыхе, если б воспринял все то, что я хотел перелить из моего существа в твое.

Спартак ничего больше не добился от него в тот вечер. Так мы дошли до первых хижин.

— Друзья, — сказал незнакомец, — не следуйте за мной дальше, приходите завтра. Можете постучаться в любую дверь. И повсюду вы будете приняты радушно, если знаете местное наречие.

Нам не понадобилось извлекать те немногие серебряные монеты, которыми мы располагали. Гостеприимство чешского крестьянина достойно античных времен. Нас приняли со спокойной учтивостью, не замедлившей смениться дружеской приветливостью, как только мы бегло заговорили на славянском языке: здешние жители все еще относятся с недоверием к тем, кто обращается к ним по-немецки.

Вскоре мы узнали, что находимся у подножия горы и замка Исполинов, и нам показалось, что мы, словно по волшебству, перенеслись к отрогам большой северной цепи Карпат. Однако нам сообщили, что один из предков рода Подебрадов назвал так свои владения в память об обете, данном им некогда в Ризенбурге. Нам рассказали также, каким образом после бедствий тридцатилетней войны потомки Подебрада отказались от собственного имени и приняли имя Рудольштадт. Преследования доходили в то время до того, что людей заставляли онемечивать названия городов, поместий, фамилии семейств и отдельных

лиц. Все эти предания до сих пор живы в сердцах чешских крестьян. Итак, таинственный Трисмегист, которого мы разыскивали, и есть тот самый Альберт Подебрад, который был заживо погребен двадцать пять лет тому назад и который, будучи каким-то чудом исторгнут из могилы, надолго скрылся из виду, а потом, десятью или пятнадцатью годами позже, подвергся преследованиям и был заточен в тюрьму как подделыватель документов, самозванец, а главное — как франкмасон и розенкрейцер. Да, это тот знаменитый граф Рудольштадт, чей странный процесс постарались замять и чье тождество так и не было установлено. Друг, доверьтесь же вдохновению учителя; вы опасались за нас, когда мы, следуя неполным и неясным сведениям, отправились на поиски человека, который мог, подобно многим другим иллюминатам предыдущего периода, оказаться легкомысленным проходимцем или смешным авантюристом. Но учитель угадал истину. По некоторым отдельным чертам, по некоторым тайным рукописям этой необыкновенной личности он почувствовал человека удивительного ума и правдивости, несравненного хранителя священного огня и священных традиций прежнего учения иллюминатов, адепта древней тайны,

руководителя новой школы. Мы нашли его, и теперь мы больше знаем об истории масонства, о знаменитых Невидимых, в чьей деятельности и даже самом существовании мы сомневались, больше знаем о древних и современных таинствах, чем знали прежде, пытаясь расшифровать забытые иероглифы или совещаясь с дряхлыми сторонниками этого учения, измученными гонениями и утратившими достоинство из-за пережитых страхов. Наконец-то мы нашли человека и вернемся к вам с этим священным огнем, который некогда превратил глиняную статую в мыслящее существо, в нового бога, соперника свирепых и тупых богов древности. Наш учитель — Прометей. У Трисмегиста пылало в сердце это пламя, и мы похитили у него достаточно, чтобы приобщить всех вас к новой жизни. Слушая рассказы наших добрых хозяев, мы еще долго бодрствовали у деревенского очага. Их нимало не заботили официальные сообщения и свидетельства, утверждавшие, что Альберт Рудольштадт был после припадка каталепсии объявлен лишенным своего имени и прав. Любовь к его памяти и ненависть к чужеземцам, этим австрийским грабителям, которые, добившись осуждения законного наследника, пришли де-

лить его земли и замок, бесстыдное расхищение огромного состояния, которому Альберт нашел бы такое благородное применение, а главное, этот молот, упавший на старинный графский дом, чтобы разрушители могли спустить по дешевке материалы, из которых он был сооружен (так иные хищные звери, осквернители по своей натуре, чувствуют потребность исковеркать и испакостить добычу, если не могут унести ее целиком), — словом, все это побудило крестьян Богемского Леса предпочесть исполненную поэзии легенду отвратительным, хотя и разумным уверениям ненавистных завоевателей. Двадцать пять лет прошло со дня исчезновения Альберта Подебрада, но никто здесь не желал верить в его смерть, хотя все немецкие газеты напечатали о ней, одобряя несправедливый приговор суда, хотя все аристократы венского двора с презрительным сожалением усмехались, слушая историю безумца, искренне верившего в то, что он оживший покойник. И вот уже неделя, как Альберт Рудольштадт находится в здешних горах и каждый вечер молится и поет на развалинах замка своих предков. Уже неделя, как все пожилые люди, видевшие его молодым, узнают его, несмотря на седые волосы, и простираются перед

ним ниц, как перед истинным своим господином и старинным другом. Есть что-то трогательное в неизменной любви, которой его окружают эти люди, и ничто в нашем развращенном свете не может дать представление о чистых нравах и благородных чувствах, встреченных нами здесь. Спартак преисполнен почтения к ним, а те неприятные минуты, которые нам пришлось пережить из-за этих крестьян, только подтвердили их верность и в несчастье и в любви.

Вот как было дело: когда на рассвете мы хотели выйти из хижины, чтобы навестить скрипача, нас встретил импровизированный сторожевой отряд, занявший все выходы из жилища.

— Простите нас, — спокойно сказал глава семьи, — но мы пригласили сюда родственников и друзей с цепами и косами, чтобы задержать вас здесь насильно. К вечеру вы будете свободны.

И, видя наше изумление, хозяин добавил серьезным тоном:

— Если вы честные люди, если вы понимаете, что означает дружба и преданность, то не рассердитесь на нас. Если же, напротив, вы мошенники и шпионы, присланные с тем, чтобы выследить и похитить нашего Подебрада, мы этого не потерпим и отпустим вас лишь тогда, когда он будет

далеко и вы уже не сможете его настигнуть.

Мы поняли, что ночью недоверие закралось в сердца этих добрых людей, вначале столь откровенных с нами, и смогли лишь восхититься их заботливостью. Но учитель пришел в отчаяние, потеряв след столь дорогого нам иерофанта, которого мы так долго и так безуспешно искали. Он решил написать Трисмегисту, пользуясь масонским шифром, открыл ему свое имя и положение, намекнул на свои намерения и, обращаясь к его великодушию, попросил избавить нас от подозрений крестьян. Через несколько минут после того, как письмо было отнесено в соседнюю хижину, оттуда вышла женщина, перед которой крестьяне почтительно опустили свое примитивное оружие. «Цыганка! Цыганка-утешительница!» — шептали они. Женщина вошла в хижину и, закрыв за собой дверь, принялась строго расспрашивать нас, употребляя знаки и формулы шотландского масонства. Мы были поражены, увидев, что женщина посвящена в тайны, которые, насколько мне известно, были неведомы никакой другой представительнице ее пола. Ее уверенный тон и испытующий взгляд внушили нам невольное почтение, несмотря на цыганский наряд, который она носила с

непринужденностью, говорившей о привычке. Полосатая юбка, красно-бурый плащ из грубой материи, наброшенный на плечи, словно античная тога, черные как смоль волосы, разделенные прямым пробором и завязанные голубой шерстяной лентой, огненные глаза, белые, как слоновая кость, зубы, загорелая, но гладкая кожа, маленькие ноги и тонкие руки, и в довершение всего — красивая гитара, висевшая на перекрещивающем грудь ремне, — все в ее облике и костюме изобличало тип и обычные занятия цыганки. Так как она была одета весьма опрятно, а манеры ее были исполнены спокойствия и достоинства, мы подумали, что она повелительница своего табора. Когда же она сообщила, что является женой Трисмегиста, мы взглянули на нее с еще большим интересом и вниманием. Она уже немолода, но трудно сказать, кто это — сорокалетняя женщина, поблекшая от усталости, или поразительно хорошо сохранившаяся женщина пятидесяти лет. Она еще красива, у нее стройный стан, а движения так благородны, так легки, в них столько целомудренной прелести, что ее можно принять за молоденькую девушку. Когда строгое выражение ее лица смягчилось, мы постепенно прониклись исходившим от нее очарованием. У

нее ангельский взгляд, а звук ее голоса волнует сердце, словно райская мелодия. Кем бы ни была эта женщина — законной супругой философа или великодушной авантюристкой, которая следует за ним, влекомая жгучей страстью, — глядя на нее, слушая ее голос, невозможно предположить, чтобы порок или низменный инстинкт мог запятнать это спокойное, искреннее, доброе создание. В первую минуту мы испугались, как бы наш мудрец не оказался униженным пошлой связью, но эта мысль быстро рассеялась, и мы поняли, что, если говорить об истинном благородстве — благородстве сердца и ума, — он встретил на своем пути поэтическую возлюбленную, родственную душу, идущую вместе с ним сквозь все жизненные бури.

— Простите меня за страх и недоверие, — сказала она, когда мы ответили на ее вопросы. — Нас долго преследовали, мы много страдали. Благодарение небу, друг мой забыл о том, что такое горе, ничто больше не может встревожить его или заставить страдать. Но мне бог велел его охранять, и я обязана тревожиться вместо него и заботиться о нем. Ваши лица, звук ваших голосов еще больше успокоили меня, нежели символы и слова, которыми мы только что обменялись. Ведь

наши таинства были не раз употреблены во зло, и теперь есть столько же ложных братьев, сколько ложных наставников. Житейское благоразумие могло бы заставить нас не верить никому и ничему, но боже нас сохрани от такой степени эгоизма и нечестия! Правда, семья верующих разбросана, и у нас больше нет храма, где мы могли бы приобщиться к духу и к истине. Адепты утратили смысл таинств, буква убила дух. Божественное искусство опошлено и забыто людьми, но что все это значит, если вера еще живет в сердцах некоторых из нас? Что все это значит, если Живое слово еще хранится в каком-нибудь святилище? Когда-нибудь оно выйдет оттуда и снова распространится среди людей, и, быть может, храм будет воздвигнут вновь благодаря вере хананеянки и лепте вдовицы.

— Именно за этим Живым словом мы и пришли сюда, — ответил учитель. — Его признают во всех святилищах, но уже не понимают его смысла. Мы с жаром изучали его, мы бережно несли его в себе и после многих лет трудов и размышлений как будто постигли истинное его значение. Вот почему мы пришли просить вашего супруга, чтобы он либо подтвердил нашу веру, либо устранил наше заблуждение. Убедите его выслушать нас

и дать ответ.

— Это зависит не от меня, — ответила Цыганка, — и еще менее от него самого. Трисмегист не всегда испытывает вдохновение, хотя с некоторых пор постоянно находится во власти поэтических иллюзий. Обычное выражение его чувств — это музыка. Его метафизические идеи редко бывают достаточно ясны, они являются плодом возбуждения и экзальтации. Так, например, сегодня он не смог бы сказать вам ничего такого, что бы вас удовлетворило. Его речи всегда понятны мне, но вам, не знающим его, они показались бы туманными. Должна предупредить вас — в глазах людей, ослепленных холодным рассудком, Трисмегист безумен, и в то время как народ-поэт смиренно предлагает дары гостеприимства необыкновенному артисту, который волнует и восхищает его чувства, заурядные люди из жалости бросают подачку бродячему музыканту, продающему в больших городах свое вдохновение. Но я учила наших детей не брать этих подачек или брать их, но лишь в тех случаях, когда рядом с нами идет калека-нищий, которому небо отказало в таланте волновать и убеждать. Что до нас, мы не нуждаемся в деньгах богачей и не просим подаяния — милостыня унижает того,

кто ее принимает, и ожесточает подающего. Все, что не является обменом, должно исчезнуть в обществе будущего. А пока что бог позволил нам — мужу и мне — жить этим обменом и таким образом прикоснуться к идеалу. Мы приносим искусство и восторг душам, способным к восприятию искусства и к ощущению восторга. Мы принимаем священное гостеприимство бедняка, делим с ним его скромный кров и умеренную пищу. А когда у нас возникает необходимость в простой одежде, мы зарабатываем ее, задерживаясь на несколько недель в какой-нибудь семье и давая уроки музыки. Проходя мимо пышного замка, мы поем под окнами его владельца, ибо он приходится нам таким же братом, как пастух, пахарь и ремесленник, но спешим удалиться, не ожидая награды, ибо считаем, что этот несчастный ничего не может дать нам взамен, и, таким образом, это мы подаем ему милостыню. Словом, мы живем жизнью артистов, как сами ее понимаем, ибо бог создал нас артистами и мы обязаны использовать его дары. У нас повсюду есть друзья и братья в низших слоях того общества, которое сочло бы унижением для себя спросить, каким образом нам удается жить честными и свободными. Каждый день мы создаем новых приверженцев

искусства, а когда наши силы иссякнут и мы уже не сможем кормить и носить на руках наших детей, они, в свою очередь, помогут нам, будут кормить и утешать нас. Если детей не будет с нами, если они уедут далеко, увлекаемые иными призваниями, мы будем жить, как старый Зденко, которого вы видели вчера: в течение сорока лет он пленял своими легендами и песнями всех крестьян в округе, а в последние годы они принимают его и заботятся о нем как об уважаемом учителе и друге. Неприхотливые вкусы, привычка к умеренности, любовь к путешествиям, здоровье, которое дарит жизнь, сообразная с требованиями природы, поэтическое вдохновение, отсутствие дурных страстей, а главное — вера в будущее мира, — разве все это признаки безумия? И все же вам может показаться, что рассудок Трисмегиста помутился под влиянием чересчур пылкого восторга, как некогда он показался мне замутненным скорбью. Но, узнав его ближе, вы, может быть, поймете, что только людские заблуждения и ошибки общепринятых законов выдают за помешанных всех тех, у кого есть талант и фантазия. Знаете что, присоединитесь к нам и давайте попутешествуем вместе весь сегодняшний день. Быть может, выпадет час,

когда Трисмегист заговорит не только о музыке. Просить его не надо, в какую-то минуту это придет само собой. Что-нибудь может пробудить в нем прежние мысли. Мы отправляемся через час — наше присутствие здесь угрожает навлечь на голову моего мужа новые опасности. Ни в каком другом месте мы ничем не рискуем — нас не могут узнать после стольких лет изгнания. Мы идем в Вену через Богемский Лес и по течению Дуная. Когда-то я уже совершила такое путешествие и охотно повторю его еще раз. Мы повидаем двух старших детей. Наши состоятельные друзья пожелали оставить их у себя и дать им образование — ведь не все люди рождаются для того, чтобы стать артистами, и каждый должен идти в жизни по пути, предначертанному провидением.

Таков был рассказ этой необыкновенной женщины — мы не раз прерывали ее вопросами — о жизни ее мужа, ставшей также и ее жизнью, ибо она целиком разделила с ним и вкусы его и взгляды. С радостью приняв предложение следовать за ней, мы вместе вышли из хижины, и импровизированная стража, которая охраняла дом, собираясь нас задержать, немедленно разомкнула круг, пропуская нас.

— Пойдемте, дети, — крикнула им Цыганка сво-

им звучным, мелодичным голосом, — ваш друг ждет вас под липами. Сейчас лучшее время дня, и утренняя наша молитва выразится в музыке. Доверьтесь этим двум друзьям, — добавила она, указывая на нас прекрасным, естественно-театральным жестом, — они свои и желают нам добра.

С радостными возгласами и песнями крестьяне устремились вслед за нами. Дорогой Цыганка сообщила нам, что она с семьей сегодня же утром покидает этот поселок.

— Только не надо говорить об этом, — добавила она. — Расставание заставило бы наших друзей пролить немало слез. Но здесь нам небезопасно. Кто-нибудь из старых врагов может случайно оказаться в этих краях и под одеждой цыгана узнать Альберта Рудольштадта.

Мы дошли до поселка. Он был расположен на зеленой лужайке, окруженной великолепными липами; меж огромных стволов виднелись скромные домики и извилистые тропинки, протоптанные стадами овец. В первых косых лучах солнца, блестевших на изумрудном ковре лугов, в серебристой утренней дымке, окутывавшей склоны окружающих гор, этот уголок показался нам поистине волшебным. Затененные места,

казалось, хранили еще синеватый отблеск ночи, а вершины деревьев уже окрашивались в золото и пурпур. Все было чистым и четким, все казалось нам свежим и юным, даже вековые липы, крыши, поросшие мхом, и седобородые старцы, выходившие, улыбаясь, из своих хижин. Посреди небольшой площадки, где протекал прозрачный ручеек, разделяясь и снова скрещиваясь у наших ног, мы увидели Трисмегиста и его детей — двух прелестных девочек и мальчика лет пятнадцати, прекрасного, как Эндимион скульпторов и поэтов. — Вот это Ванда, — сказала Цыганка, указывая нам на старшую дочь, — а младшую зовут Венцеславой. Сына же мы назвали дорогим нам именем любимого друга его отца — его зовут Зденко. Старый Зденко явно предпочитает его остальным. Посмотрите — он прижал к себе Венцеславу, а Ванду держит на коленях, но думает он не о них: он смотрит на моего сына, словно никак не может на него наглядеться.

Мы взглянули на старого Зденко. Два ручейка слез катились по его худому, изборожденному морщинами лицу, а взгляд, исполненный блаженного восторга, был прикован к юноше, этому последнему отпрыску Рудольштадтов, который с радостью носил его имя — имя раба — и, дер-

жа его за руку, стоял сейчас с ним рядом. Мне хотелось бы нарисовать эту группу и стоявшего рядом Трисмегиста: переводя растроганный взор с одного на другого, он настраивал свою скрипку и пробовал смычок.

— Это вы, друзья? — сказал он, приветливо ответив на наше почтительное приветствие. — Значит, жена пришла за вами? И прекрасно сделала. Сегодня у меня есть что сказать, и я буду счастлив, если вы послушаете меня.

И он заиграл на скрипке с еще большей полнотой звука и торжественностью, чем накануне. По крайней мере таково было наше впечатление, еще усилившееся благодаря присутствию толпы селян, которые трепетали от радости и восхищения, слушая старинные баллады своей родины и священные гимны, воспевавшие античную свободу. Чувства по-разному отражались на этих мужественных лицах. Одни, как Зденко, восхищенные видениями прошлого, стояли затаив дыхание и, казалось, впитывали в себя эту поэзию, словно алчущие растения, пьющие капли благодетельного дождя. Другие, воодушевленные священной яростью, думали о бедствиях настоящего и, сжимая кулаки, угрожали невидимым врагам, как бы призывая небо в свидетели своего

попранного достоинства и оскорбленной добродетели. Слышались рыдания и вопли, неистовые аплодисменты и возгласы исступления.

— Друзья, — сказал нам Альберт, кончив играть, — взгляните на этих простых людей! Они прекрасно поняли, что я хотел сказать им, и не спрашивают, как спрашивали вчера вы, в чем смысл моих пророчеств. — Но ведь ты говорил им только о прошлом, — возразил Спартак, жаждавший его речей.

— Прошлое, будущее, настоящее! Что за суетные хитросплетения! — сказал, улыбаясь, Трисмегист. — Разве человек не хранит и то, и другое, и третье в своем сердце, и разве его существование не состоит из этой тройной сущности? Но раз уж вам для отображения ваших мыслей так необходимы слова, послушайте моего сына — он споет вам один гимн: музыку сочинила его мать, а стихи принадлежат мне.

Прекрасный юноша спокойно и скромно вышел на середину круга. Очевидно, его мать, не сознавая, что поддается слабости, убедила себя, что имеет право, а быть может, даже обязана заботиться о красоте артиста. Он одет с некоторой изысканностью, роскошные волосы тщательно причесаны, а крестьянский костюм сшит из

более тонкой и более яркой материи, нежели у остальных членов семьи. Сняв шапочку, он послал слушателям воздушный поцелуй, на который ему ответила сотня столь же пылких воздушных поцелуев, и после вступления, сыгранного его матерью на гитаре с особым, южным жаром, запел под ее аккомпанемент следующие слова, которые я перевожу для вас со славянского языка, записав с их любезного позволения также и превосходный напев. Добрая богиня бедности Баллада Вы, дороги, позолоченные песком, зеленеющие долины, овраги, где любят резвиться серны, высокие, увенчанные звездами горы, бурные потоки, непроходимые леса, пропустите, пропустите ее, добрую богиню, богиню бедности!

С той поры, как существует мир, с той поры, как были созданы люди, она странствует по свету, она живет среди людей, путешествует, распевая, или распевает, трудясь, эта богиня, добрая богиня бедности!

Какие-то люди собрались, чтобы предать ее проклятию. Она показалась им слишком красивой, слишком веселой, слишком проворной и слишком сильной. «Оборвем ей крылья, — сказав они, — закуем в цепи, измучим побоями, и пусть ей будет больно, пусть она погибнет, богиня

бедности!» Они заковали в цепи добрую богиню, они били и преследовали ее, но не смогли ее унизить — она нашла убежище в душе поэтов, в душе крестьян, в душе артистов, в душе мучеников и в душе святых, эта добрая богиня, богиня бедности!

Она скиталась больше Вечного жида, она странствовала больше ласточки, она старше пражского собора и моложе птенца королька, она расплодилась на земле быстрее, чем земляника в Богемском Лесу, эта богиня, добрая богиня бедности!

У нее было много детей, и она научила их тайне божией; она говорила сердцу Иисуса на горе; очам королевы Либуше, когда та влюбилась в пахаря; уму Яна и Иеронима на костре в Констанце; она знает больше всех ученых и всех епископов, эта добрая богиня бедности!

Она всегда творит самые великие и самые прекрасные дела, какие бывают на земле. Это она возделывает поля и подстригает деревья; это она водит стада, напевая самые красивые песни; это она встречает утреннюю зарю и принимает первую улыбку солнца, она, добрая богиня бедности!

Это она строит из зеленых ветвей шалаш дрово-

сека я дарует орлиный взгляд охотнику; это она растит самых красивых мальчуганов и делает плуг и заступ легкими в руках старика, — она, добрая богиня бедности.

Это она вдохновляет поэта и заставляет петь скрипку, гитару и флейту под пальцами бродячего музыканта: она переносит его на своих легких крыльях от истоков Влтавы до истоков Дуная; это она венчает его голову жемчужной росой и велит звездам блистать для него ярче и сильнее, — она, богиня, добрая богиня бедности!

Это она наставляет искусного ремесленника и учит его обтесывать камень, гранить мрамор, отделывать золото, серебро, медь и железо; это она помогает старой матери и юной дочери ткать полотно, мягкое и тонкое, словно волос, — она, добрая богиня бедности!

Это она укрепляет расшатанную бурей лачугу и оберегает пламя смоляного факела или масляной лампады, она месит хлеб для семьи и ткет зимнюю и летнюю одежду; это она кормит и поит весь мир, она, добрая богиня бедности!

Это она воздвигает большие замки и старинные соборы, она ходит с саблей и ружьем, она воюет и одерживает победы, она подбирает убитых, ухаживает за ранеными и прячет по-

бежденного, — она, добрая богиня бедности! Ты олицетворяешь кротость, терпение, силу и милосердие, о добрая богиня! Это твоя святая любовь соединяет всех твоих детей, это ты даруешь сострадание, веру, надежду, о богиня бедности!

Наступит день, когда твои дети перестанут нести всю тяжесть мира на своих плечах и будут вознаграждены за свои муки и труды. Близится время, когда не станет ни богатых, ни бедных, когда все люди будут вкушать плоды земные и будут одинаково пользоваться благами, дарованными богом, но ты никогда не будешь забыта в их гимнах, о добрая богиня бедности!

Они не забудут, что ты была их плодовитой матерью, неутомимой кормилицей и воинствующей церковью. Они прольют бальзам на твои раны и приготовят тебе из помолодевшей, благовонной земли ложе, где ты наконец-то найдешь отдых, о добрая богиня бедности!

А в ожидании этого счастливого дня вы, потоки и леса, горы и долины, степи, где растут цветы, где порхают птицы, и вы, дороги, усыпанные золотым песком и принадлежащие всем, пропустите ее, пропустите добрую богиню, богиню бедности!

Вообразите себе эту балладу, эти прекрасные стихи, произнесенные на мягком и наивном язы-

ке, словно нарочно созданном для юношеских уст, да еще положенную на музыку, трогающую сердце и исторгающую чистейшие слезы, вообразите ангельский голос, поющий с безупречной правильностью, с несравненным музыкальным выражением, голос сына Трисмегиста и ученика Цыганки, самого красивого, самого чистого и самого одаренного из всех отроков в мире! Если вы представите себе в виде рамки для этой картины в духе пейзажа Рейсдаля живописную группу мужчин с простодушными, открытыми лицами, мелодичное журчанье невидимого горного потока, доносящееся из глубины ущелья и сливающееся с отдаленным звоном колокольчиков пасущихся на горе коз, — если вы представите себе все это, то поймете наше волнение и невыразимое поэтическое наслаждение, которые мы испытали.

— А теперь, дети мои, — сказал Альберт Подебрад крестьянам, — мы помолились, и за работу. Вы идите в поле, а я со своей семьей пойду в лес искать вдохновение и жизнь.

— Но вечером ты вернешься? — вскричали крестьяне.

Цыганка приветливо кивнула им, и они приняли этот знак за обещание. Две девочки, еще не

понимающие, что значит бег времени и случайности странствий, с детской радостью крикнули: «Да! Да! «, и крестьяне разошлись. Старый Зденко, глядя отеческим оком на своего крестника и убедившись, что его дорожную сумку наполнили провизией для всей семьи, уселся на пороге хижины. Затем Цыганка знаком пригласила нас идти за ними, и вместе с нашими бродячими музыкантами мы покинули селение. Пришлось взбираться по склону оврага. Каждый из нас — учитель и я — взяли на руки одну из девочек, и, таким образом, нам удалось подойти к Трисмегисту, который до этого как бы не замечал нашего присутствия.

— Мне немного грустно, — сказал он. — Тяжело обманывать друзей и этого старика. Я знаю, что завтра он будет разыскивать нас по всем лесным тропинкам. Но таково было желание Консуэло, — добавил он, указывая на жену. — Ей кажется, что оставаться здесь опасно. Я же не могу себе представить, что мы еще можем внушать кому-либо страх или зависть. Разве кто-нибудь способен понять наше счастье? Однако она уверяет, что мы можем навлечь опасность и на головы наших друзей, и, хоть мне неясно, каким образом это могло бы случиться, все же я уступаю ей.

Впрочем, ее желание всегда было моим желанием, а мое всегда находило отклик в ее душе. Сегодня мы уже не вернемся в то селение. Если вы действительно наши добрые друзья — а вы кажетесь нам такими, — то к вечеру, нагулявшись вдоволь, вернитесь туда и объясните им все это. Мы намеренно ушли, не простившись, так как боялись огорчить их, но передайте, что когда-нибудь мы еще придем к ним. Ну, а старому Зденко скажите только одно слово: завтра. Его предвидение не идет дальше. Все дни, вся жизнь для него — завтра, и ничего больше. Он освободил себя от заблуждений, присущих человеческим понятиям. Его глаза открыты для вечности, и он готов раствориться в этой тайне, чтобы обрести молодость жизни. Зденко мудр. Это самый мудрый человек, какого я когда-либо знал.

Душевное расстройство Трисмегиста производило на его детей и жену странное действие. Они не только не краснели перед нами за его речи, не только не страдали, слушая их, но почтительно внимали каждому слову, и, казалось, изречения этого человека придавали членам его семьи силу возвыситься над той жизнью, какой они жили сейчас, и над самими собой. Думаю, что благородный юноша, с жадностью впитывавший каждую

мысль своего отца, был бы весьма удивлен и даже возмущен, если бы ему сказали, что это мысли безумца. Трисмегист говорил мало, и мы заметили также, что ни жена, ни дети никогда не побуждали его к этому без необходимости. Они благоговейно охраняли тайну его задумчивости, и, хотя Цыганка неустанно следила за ним взглядом, по-видимому, она больше опасалась какого-нибудь докучливого вмешательства в его фантазии, нежели скуки одиночества, на которое он себя обрекал. Она изучила его странности, и я пользуюсь сейчас этим словом, чтобы впредь никогда больше не произносить слово «безумие», которое тем более отталкивает меня, что речь идет о подобном человеке и о подобном душевном состоянии, трогающем до слез и вызывающем почтение. Глядя на Трисмегиста, я понял благоговение, с каким крестьяне — эти бессознательные богословы и метафизики, — а также восточные народы относятся к людям, лишенным так называемого светоча разума. Им известно, что, когда никто не тревожит это абстрактное мышление ненужными заботами и жестокими насмешками, оно не только не приводит человека к ярости или к отупению, а, напротив, может превратиться в исключитель-

ное дарование дивного поэтического свойства. Не знаю, что сталось бы с Трисмегистом, если бы его семья не возвышалась как оплот любви и верности между ним и внешним миром. Но если бы он и пал жертвой своего бреда, это явилось бы лишним доказательством того, каким вниманием и уважением обязаны мы окружать недуги такого рода и любые недуги вообще.

Все семейство шагало с легкостью и проворством, далеко превосходившими наши силы. Девочки — и те могли бы идти без конца, даже если бы их временами не брали на руки, оберегая от утомления. Они словно родились, чтобы шагать, как рыбы родились, чтобы плавать. Цыганка, вопреки желанию сына, не позволяет ему носить сестер на руках, пока он не перестал расти и пока, как говорят музыканты, у него еще ломается голос. Она поднимает на свои могучие плечи эти хрупкие, доверчивые создания и несет их так же легко, как свою гитару. Физическая сила — вот одно из преимуществ кочевой жизни, которая становится у бедного артиста такой же страстью, как у нищего и у натуралиста.

Мы уже очень устали, когда после перехода по самым трудным тропинкам добрались до дикого, романтического места под названием Шрекен-

штейн. Мы заметили, что, приближаясь к этой горе, Консуэло еще более внимательно следила за мужем и старалась держаться ближе к нему, словно боясь, что его ждет там какая-то опасность или тягостное переживание. Однако ничто не нарушило безмятежности артиста. Он сел на большой камень, возвышавшийся над бесплодной долиной. В этом месте есть что-то пугающее, жуткое. Скалы громоздятся здесь в беспорядке и при своем падении часто ломают деревья. Корни стволов, которым удалось устоять, обнажились, и кажется, что они цепляются узловатыми пальцами за утес, грозя увлечь его вместе с собою. Мертвая тишина царит над этим хаосом. Пастухи и дровосеки боятся подходить близко, а земля изрыта дикими кабанами. На песке видны следы волков и серн, словно дикие звери уверены, что найдут здесь убежище от человека. Альберт долго сидел в задумчивости на этом камне, потом перевел взгляд на детей, игравших у его ног, и на жену, которая, стоя возле него, смотрела ему в глаза, пытаясь прочитать его мысли. Внезапно он встал, опустился перед ней на колени и жестом подозвал детей поближе.

— Падите ниц перед вашей матерью, — сказал он им с глубоким чувством, — ибо она — утеше-

ние, ниспосланное небом всем несчастным, и мир, который обещал всевышний людям доброго сердца!

Дети опустились на колени, окружив Цыганку, и заплакали, осыпая ее ласками. Она тоже прослезилась, прижимая их к груди, потом заставила их обернуться и воздать такую же почесть отцу. Мы со Спартаком поверглись ниц вместе с ними.

Когда Цыганка умолкла, учитель выразил Трисмегисту свое глубокое почтение и, пользуясь этой минутой, начал с жаром расспрашивать его об истине, рассказав, сколько сам он учился, размышлял и страдал, чтобы ее найти. Я же, словно околдованный, продолжал стоять на коленях у ног Цыганки. Не знаю, осмелюсь ли поделиться с вами тем, что происходило в моей душе. Эта женщина, несомненно, годилась мне в матери, но от нее все еще исходило какое-то очарование. Несмотря на уважение, которое я питаю к ее супругу, несмотря на ужас, который я бы испытал при одной мысли, что могу забыть об этом уважении, я чувствовал, что вся душа моя рвется к ней с таким пылом, какого никогда не внушали мне ни расцвет молодости, ни обаяние роскоши. О, если бы я мог встретить такую женщину, как эта Цыганка, и посвятить ей всю жизнь! Но надежды

нет, и теперь, когда я знаю, что никогда больше ее не увижу, в глубине моего сердца таится отчаяние, словно кто-то открыл мне, что для меня нет на земле другой женщины, которую я мог бы полюбить.

Цыганка даже не замечала меня. Она слушала Спартака и была поражена его пламенной, искренней речью. Трисмегист тоже был растроган. Он пожал ему руку и усадил на камень рядом с собой.

— Молодой человек, — сказал он, — ты пробудил во мне воспоминания о моей прежней жизни. Мне показалось, что я слышу самого себя, — именно так говорил я, когда был в твоем возрасте, с жаром умоляя людей зрелых и опытных открыть мне науку добродетели. Вначале я решил не говорить тебе ничего. Я не сомневался ни в уме твоем, ни в честности, но не был уверен в твоем простодушии и в пламени твоего сердца. К тому же я не считал себя способным вновь передать на том языке, каким говорил прежде, те мысли, какие впоследствии привык выражать посредством поэзии искусства, посредством чувства. Твоя вера победила, она сотворила чудо, и я убедился, что должен говорить с тобой. Да, — добавил он через несколько минут, показавшихся

нам целой вечностью, ибо мы боялись, как бы вдохновение не оставило его, — да, теперь я узнаю тебя! Я помню тебя! Когда-то я видел тебя и любил. Я трудился вместе с тобой в какой-то другой фазе моего прежнего существования. Твое имя гремело среди людей, но я забыл его и помню только твой взгляд, твои речи и душу, от которой с трудом оторвалась моя душа. Теперь я лучше читаю в будущем, нежели в прошлом, и грядущие столетия часто представляются мне столь же светлыми, как те дни, что мне осталось прожить в нынешней моей оболочке. Так вот, я говорю тебе — ты будешь велик еще в этом веке и свершишь великие дела. Тебя будут порицать, обвинять, чернить, ненавидеть, бесчестить, преследовать, гнать... Но твоя идея переживет тебя, приняв другие формы, и ты взбудоражишь существующие ныне явления с огромным размахом, ты осуществишь гигантские замыслы, О которых мир не забудет и которые, быть может, нанесут последний удар общественному и религиозному деспотизму. Да, ты прав, стремясь действовать в обществе. Ты повинуешься своей судьбе — другими словами, своему вдохновению. И это проясняет для меня все. То, что я чувствовал, когда слушал тебя, та доля твоих надежд, кото-

рую ты сумел мне внушить, является великим доказательством осуществимости твоей миссии. Иди же, действуй, трудись. Небо избрало тебя зачинщиком разрушения. Разрушай и уничтожай — вот твоя задача. Чтобы разрушать, так же необходима вера, как и для того, чтобы созидать. Я добровольно ушел с той дороги, по которой идешь ты; я счел ее дурной. Разумеется, она была такой лишь в силу случайных обстоятельств. Если истинные служители нашего дела чувствуют себя призванными сделать еще одну попытку, значит, она снова сделалась возможной. Мне казалось, что уже нечего было ожидать от общества власть имущих и что нельзя его преобразовать, оставаясь в Нем. Тогда, утратив, вследствие чрезмерной коррупции, надежду на то, что спасение снизойдет на народ, я поставил себя вне этого общества и посвятил свои последние годы и силы непосредственному воздействию на народ. Я обратился к бедным, слабым, угнетенным и облек свою проповедь в образы искусства и поэзии, которые они понимают, ибо любят их. Возможно, что я недооценил добрые инстинкты, еще не совсем угасшие у людей науки и у тех, кто стоит у власти. Я не видел их с тех пор, как, пресытясь их скептицизмом и нечестивыми предрассудками, с

отвращением ушел от них, чтобы найти простые сердца. Возможно, что они могли измениться, исправиться и чему-то научиться. Впрочем, что я говорю? Нет сомнения, что за пятнадцать лет мир ушел вперед, что он очистился и вырос. Ибо все человеческое тяготеет к свету, а добро и зло смыкаются, устремляясь к божественному идеалу. Ты хочешь обратиться к миру ученых, знатных и богатых, хочешь уравнять их с помощью убеждения, хочешь пленить даже королей, принцев и прелатов обаянием истины. В тебе кипят вера и сила, преодолевающие все препятствия и обновляющие все старое, все изношенное. Повинуйся, повинуйся же порыву божественного вдохновения. Продолжай и возвеличивай наше дело! Подбери оружие, разбросанное на том поле битвы, где мы потерпели поражение!

И тогда между Спартаком и удивительным старцем завязалась беседа, которую я буду помнить всю свою жизнь. Ибо произошло чудо. Тот самый Рудольштадт, который, словно Орфей, вначале не хотел разговаривать с нами иначе, как с помощью звуков музыки, этот артист, давно уже променявший логику и чистый разум на цельное чувство, этот человек, которого бесстыдные судьи объявили помешанным и который

соглашался слыть таковым, внезапно, движимый милосердием и любовью к богу, сделал над собой чрезвычайное усилие и, превратясь в разумнейшего из философов, повел нас по пути к истинному знанию и к полной достоверности. Спартак, со своей стороны, обнаружил весь жар своей души. Один был совершенным человеком, и все его способности находились в гармонии; другой являлся как бы неофитом, преисполненным энтузиазма. Мне вспомнилось то место из Евангелия, где сказано, что Иисус беседовал на горе с Моисеем и пророками.

— Да, — говорил Спартак, — я чувствую, что на меня возложена некая миссия. Я близко узнал земных правителей и был поражен их тупоумием, невежеством, жестокосердием. О, как прекрасна Жизнь, как прекрасна Природа, как прекрасно Человечество! Но что делают они с Жизнью, с Природой и с Человечеством!.. Я долго плакал, увидев, что и я сам, и люди — мои братья, и все творения божий — рабы подобных ничтожеств?.. Я долго плакал, словно слабая женщина, а потом сказал себе: «Кто же мешает мне вырваться из их цепей и жить свободным?» Но после периода одинокого стоицизма я увидел, что быть свободным в одиночестве еще не значит

быть свободным. Человек не может жить один. Целью человека является человек. Без этой цели он не может жить. И я сказал себе: «Я все еще раб, надо освободить моих братьев…» И я нашел благородные сердца, которые примкнули ко мне… И друзья зовут меня Спартаком.

— Я уже сказал тебе, что ты будешь только разрушать, — ответил старец. — Спартак был взбунтовавшимся рабом. Но повторяю — пусть будет так. Берись за дело разрушения. Созови тайное общество, которое будет разрушать нынешнюю форму великих беззаконий. Но если ты хочешь, чтобы это общество было сильным, деятельным, могущественным, вложи в него как можно больше живых, вечных принципов. Оно предназначено сначала разрушать, — ибо, чтобы разрушать, надо существовать, всякая жизнь позитивна, — а потом сделать так, чтобы из дела разрушения возникло то, что должно возродиться.

— Понимаю, ты хочешь намного ограничить мою миссию. Пусть так — малую или великую, но я принимаю ее.

— Все, что послушно советам божеским, всегда велико. Познай то, что должно стать правилом твоей души: ничто не пропадает бесследно. Даже

если твое имя и твои поступки исчезнут, если ты будешь работать безымянно, подобно мне, все равно твои действия не пропадут даром. Божественное равновесие — это сама математика, и в горниле божественного химика самые мельчайшие частицы обретают свое истинное значение.

— Раз ты одобряешь мои намерения, научи меня, укажи мне путь. Что я должен делать? Как воздействовать на людей? Надо ли прежде всего воздействовать на их воображение? Или воспользоваться их слабостью и склонностью к чудесному? Ты ведь сам убедился, что можно делать добро с помощью чудес!..

— Да, но я убедился и в том, что это может причинять зло. Если бы ты глубоко изучил нашу доктрину, ты бы знал, в какой период существования человечества мы живем, и сообразовал бы свои способы действия с духом своего времени.

— Так помоги же мне познать доктрину, научи тактике действия, научи, как приобрести уверенность.

— Ты спрашиваешь о тактике и об уверенности у артиста, у человека, которого другие люди обвинили в безумии и подвергли за это преследованиям! Очевидно, ты обратился не к тому, к кому следовало. Спроси об этом у философов и

ученых.

— Я обращаюсь к тебе. Мне известна цена их науки.

— Что ж, если ты настаиваешь, скажу тебе, что тактика тождественна самой доктрине, ибо она тождественна высшей истине, которую та раскрывает. Обдумав это, ты поймешь, что иначе не может быть. И, следовательно, все сводится к тому, чтобы познать доктрину.

Спартак задумался и, помолчав, сказал:

— Я хотел бы услышать из твоих уст главную формулу доктрины.

— Ты услышишь ее, но не из моих уст, а из уст Пифагора — отголоска всех мудрецов. О божественная Тетрада. Вот она, формула. Именно ее под видом всевозможных образов, символов и эмблем провозглашало Человечество голосом великих религий, когда не могло постичь ее умозрительно, без воплощения, без идолопоклонства, такой, какою она открылась ее истолкователям…

— Говори, говори. И чтобы я тебя понял, напомни мне некоторые из этих эмблем. А потом перейдем к суровому языку абсолютного.

— Я не могу исполнить твое желание и разделить эти две вещи — религию, то есть самую ее сущность, и религию в ее внешних проявлени-

ях. В нашу эпоху человеку свойственно видеть то и другое одновременно. Мы вглядываемся в прошлое, и, хотя мы не жили тогда, находим в нем подтверждение наших взглядов. Сейчас я поясню свою мысль. Но сначала поговорим о боге. Применима ли эта формула к богу, к этой бесконечной сущности? Было бы преступлением, если бы она не была применима к тому, от кого исходит. Размышлял ли ты о природе бога? Без сомнения, размышлял, ибо я чувствую, что ты носишь бога, истинного бога, в своем сердце. Итак, скажи, что есть бог?

— Это Существо, совершенное Существо. Sum qui sum — гласит великая книга, Библия.

— Да, но разве мы ничего больше не знаем о его природе? Разве бог не открыл человечеству ничего иного?

— Христиане говорят, что бог един, но в трех лицах — бог-отец, бог-сын и бог — дух святой.

— А что говорят об этом предания старинных тайных обществ, к которым ты обращался?

— Они говорят то же самое.

— Не удивило ли тебя это сходство? Религия официальная, торжествующая, и религия тайная, гонимая, сходятся в представлении о природе бога. Я мог бы рассказать тебе о религиозных ве-

рованиях, существовавших до христианства, — в глубине их богословия ты найдешь ту же истину. Индия, Египет, Греция знали единого бога в трех лицах… Но к этому мы еще вернемся. А сейчас я хочу объяснить тебе формулу во всей ее широте, со всех сторон, и тогда мы придем к тому, что тебя интересует — к методе, к организации, к политике. Итак, я продолжаю. Перейдем от бога к человеку. Что такое человек?

— После одного трудного вопроса ты задаешь мне другой, не менее трудный. Дельфийский оракул объявил, что в ответе на этот вопрос заключается вся премудрость: «Человек, познай самого себя».

— И оракул был прав. Именно из правильно понятой природы человека проистекает всяческая мудрость, всяческая нравственность, любая организация, любая правильная политика. Позволь же мне повторить мой вопрос. Что такое человек?

— Человек — это проявление бога.

— Разумеется, как и все живые существа, ибо только бог является Существом, совершенным Существом. Но, надеюсь, ты не похож на тех философов, которых я видел в Англии, во Франции и в Германии, при дворе Фридриха. Не похож на

пресловутого Локка, о котором теперь так много говорят благодаря опошлившему его Вольтеру; на Гельвеция, с которым мне часто приходилось беседовать, на Ламетри, этого дерзкого материалиста, пользовавшегося таким успехом при берлинском дворе. Ты не станешь говорить, подобно им, что в человеке нет ничего, отличающего его от животных, деревьев, камней. Конечно, бог вселяет жизнь во всю природу так же, как он вселяет жизнь в человека, но в его правосудии есть определенный порядок. В его мысли существуют различия, и, следовательно, они существуют и в его творениях, являющихся воплощением этой мысли. Прочитай великую книгу под названием «Бытие», книгу, которую простые люди справедливо считают священной, хоть и не понимают ее. Ты увидишь там, что вечное созидание достигается с помощью божественного света, устанавливающего различия между существами: fiat lux и facta est lux . Ты увидишь также, что каждое существо, которому божественная мысль дала название, является особым видом: creavit cuncta juxta genus suum и secundum speciem suam . Какова же особая формула человека?

— Понимаю. Ты хочешь, чтобы я дал тебе

формулу человека, подобную формуле бога. Божественное триединство должно встречаться во всех творениях бога; каждое творение божье должно отражать божественную природу, но каждое по-своему, то есть каждое — сообразно своему виду.

— Конечно. Сейчас я приведу тебе формулу человека. Пройдет еще немало времени, прежде чем философы, разъединенные ныне своими воззрениями, объединятся, чтобы ее постигнуть. Но есть один философ, который понял ее уже много лет назад. Этот более велик, чем остальные, хотя у толпы он пользуется значительно меньшей известностью. В то время как школа Декарта блуждает в дебрях чистого разума, превращая человека в машину для рассуждения, для силлогизмов, в инструмент логики, в то время как Локк и его школа блуждают в дебрях ощущений, превращая человека в их раба, в то время как другие, в Германии — я мог бы назвать их, — углубляются в чувство, превращая человека в олицетворение двойного эгоизма, если речь идет о любви, или тройного и более, если речь идет о семье, он, величайший из всех, начал понимать, что человек сочетает в себе все это, и притом нераздельно. Имя этого философа — Лейбниц. Он

понимал великие истины, он не разделял нелепого презрения, с каким наш невежественный век относится к древности и к христианству. Он осмелился сказать, что в навозной куче средневековья были жемчужины. Да, жемчужины! Еще бы! Истина бессмертна, и все пророки познали ее. И вот я говорю тебе вместе с ним, но с еще большей уверенностью, что человек триедин, как бог. И это триединство на языке людей называется: ощущение, чувство, познание. А единство этих трех понятий образует человеческую Тетраду, соответствующую божественной. Отсюда проистекает вся история, вся политика, и именно отсюда должен ты черпать истину, как из вечно живого источника.

— Ты преодолеваешь пропасти, которые мой ум, менее быстрый, чем твой, не может преодолеть так стремительно, — возразил Спартак. — Каким образом из психологического определения, которое ты только что мне дал, вытекает метода и принцип достоверности? Вот что я прошу тебя объяснить прежде всего.

— Эта метода вытекает оттуда весьма естественно, — ответил Рудольштадт. — Поскольку человеческая природа уже познана, надо только развивать ее сообразно ее сущности. Если бы

ты понимал непревзойденную книгу, откуда произошло само Евангелие, если бы ты понимал «Книгу Бытия», которую приписывают Моисею и которую этот пророк, если мы действительно обязаны этой книгой ему, по-видимому, унес из мемфисских храмов, ты бы знал, что разобщение людей — в «Книге Бытия» это называется Потопом — происходит только от одной причины — от разъединения этих трех свойств человеческой природы, оказавшихся вне единства и, таким образом, вне связи с божественным единством, где разум, любовь и жизнедеятельность навечно соединены друг с другом. И тогда бы ты понял, что всякий зачинатель должен подражать праотцу Ною. В святом писании это называется поколениями Ноя, и порядок, в каком оно их размещает, гармония, которую оно устанавливает между ними, послужили бы тебе руководством. В этой метафизической истине ты нашел бы также методу достоверности, которая научила бы тебя достойным образом развивать в каждом человеке человеческую природу, нашел бы свет, который помог бы тебе понять правильное устройство различных обществ. Но, повторяю, на мой взгляд, сейчас рано созидать, слишком многое еще надо разрушить. Поэтому я советую тебе изучить

доктрину только как методу. Близится время разрушения, или, вернее, оно уже наступило. Да, пришло время, когда три свойства человеческой природы снова готовы разъединиться, и это разъединение подорвет основы общества, религии и политики. Что же произойдет тогда? Ощущение породит своих лжепророков, и они будут превозносить ощущение. Чувство породит своих лжепророков, и они будут превозносить чувство. Познание породит своих лжепророков, и они будут превозносить разум. Последние станут гордецами и будут походить на Сатану. Вторые станут фанатиками и будут одинаково готовы впасть в зло и шагнуть навстречу добру, но без критерия уверенности и без правил. Остальные станут тем, чем, по словам Гомера, сделались спутники Одиссея от прикосновения волшебного жезла Цирцеи. Не иди ни по одной из этих трех дорог, ибо, взятые в отдельности, они ведут к пропастям: первая ведет к материализму, вторая — к мистицизму, третья — к атеизму. Есть лишь одна верная дорога к истине — та, что отвечает всем сторонам человеческой природы, всей совокупности ее проявлений. Не сходи с нее. А для этого неустанно изучай доктрину и ее великую формулу. — Ты учишь меня тому, о чем у меня

уже было некоторое представление, но завтра я лишусь тебя. Кто наставит меня в теоретическом познании истины и тем самым в применении ее на практике?

— У тебя останутся другие надежные руководители. Прежде всего читай «Книгу Бытия» и старайся понять ее смысл. Не принимай ее за учебник истории, за памятник хронологии. Нет ничего нелепее такого представления, а между тем оно существует и среди ученых и среди школьников и во всех христианских общинах. Читай Евангелие одновременно с «Книгой Бытия» и, пропустив ее через свое сердце, пойми Евангелие через «Книгу Бытия». Странная участь! Евангелие так же любимо и так же непонятно, как «Книга Бытия». Это великие книги! Но есть и другие. Благоговейно собери все, что осталось нам от Пифагора. Прочитай также писания, приписываемые божественному теософу Трисмегисту, чье имя я носил в Храме. Не думайте, друзья мои, что я сам осмелился присвоить себе это достопочтенное имя. Таков был приказ Невидимых. Произведения Гермеса — педанты по глупости считают их придуманными каким-то христианином второго или третьего века — заключают в себе древнеегипетскую науку. Настанет день, ко-

гда они будут разъяснены, истолкованы и когда люди по достоинству оценят эти памятники, еще более драгоценные, нежели памятники Платона, ибо Платон почерпнул свои знания именно оттуда, и следует добавить, что он сильно погрешил против истины в своей «Республике». Читай же Трисмегиста, Платона, а также тех, кто после них размышлял о великом таинстве. Среди последних советую тебе прочитать труды благородного монаха Кампанеллы, который перенес жесточайшие пытки за то, что, подобно тебе, мечтал об устройстве человеческого общества, основанного на истине и науке.

Мы слушали молча.

— Не думайте, — продолжал Трисмегист, — что, говоря о книгах, я, подобно католикам, идолопоклоннически воплощаю жизнь в надгробиях. Нет, я скажу вам о книгах то же самое, что вчера говорил о других памятниках прошлого. Книги и памятники — это остатки жизни, которыми жизнь может и должна питаться. Но жизнь существует всегда, и вечное триединство лучше запечатлено в нас самих и в звездах неба, чем в книгах Платона или Гермеса.

Сам того не желая, я направил разговор по другому руслу.

— Учитель, — сказал я, — вы только что употребили такое выражение: «Триединство лучше запечатлено в звездах неба…» Что вы хотели этим сказать? Я понимаю слова Библии о том, что слава божья сверкает в блеске небесных светил, но не вижу в этих светилах доказательства общего закона жизни, который вы зовете Триединством.

— Это потому, — ответил он, — что физические науки пока еще мало развиты у нас, или, вернее, ты еще не изучил их на том уровне, на каком они находятся в настоящее время. Слышал ли ты об открытиях в сфере электричества? Разумеется, слышал, ибо они привлекли внимание всех просвещенных людей. Так вот, заметил ли ты, что ученые, столь недоверчивые, столь насмешливые, когда речь идет о божественном триединстве, наконец сами признали его в связи с этими явлениями. Ибо они говорят, что нет электричества без теплоты и света, и наоборот, — словом, они видят здесь три явления в одном, чего не хотят допускать в боге!

И тут он начал рассказывать нам о природе и о необходимости подчинять все ее явления одному общему закону.

— Жизнь одна, — сказал он. — Существует лишь акт бытия. Надо только понять, каким об-

разом все отдельные существа живут милостью и вмешательством всеобъемлющего Существа, не растворяясь в Нем. Я был бы счастлив и дальше слушать, как развивает Трисмегист эту неисчерпаемую тему. Но в течение некоторого времени Спартак, казалось, уделял словам Трисмегиста меньше внимания. Не то чтобы они не интересовали его, но ведь напряжение ума старца не могло длиться бесконечно, а Спартаку хотелось, пока это было возможно, снова навести его на излюбленный предмет.

Рудольштадт заметил этот оттенок нетерпения.

— Ты уже не следишь за моей мыслью, — сказал он. — Разве наука о природе кажется тебе недоступной в том виде, в каком понимаю ее я? Если так, ты ошибаешься. Я не менее, чем ты, уважаю нынешние труды ученых, посвященные исключительно проведению опытов. Но, продолжая работать в этом направлении, нельзя создать науку, можно создать только перечень названий. И не я один думаю так. Я знавал во Франции философа, которого очень любил. Это был Дидро. Он часто восклицал по поводу нагромождения научных материалов, не объединенных общей идеей: «Это работа каменотеса, не больше того,

но я не вижу здесь ни здания, ни архитектора». Знай же, что рано или поздно наша доктрина займется естественными науками — из этих камней придется созидать. Но неужели ты думаешь, что физики могут сегодня по-настоящему понимать природу? Отделив природу от наполняющего ее бога живого, способны ли они прочувствовать, познать ее? Так, например, они принимают свет и звук за материю, тогда как…

— Ах! — вскричал Спартак, прерывая его. — Не думайте, что я отвергаю ваше восприятие природы.

Нет, я чувствую, что истинная наука будет возможна только через познание божественного единства и полного подобия всех явлений. Но вы открываете нам все пути, и я трепещу при мысли, что скоро вы умолкнете. Мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне сделать несколько шагов хотя бы по одному из них.

— По которому? — спросил Рудольштадт.

— Меня занимает будущее человечества.

— Понимаю. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе мою утопию, — улыбаясь, ответил старец.

— Именно за этим я и пришел к тебе, — сказал Спартак. — За твоей утопией. Новое общество — вот что скрывается в твоем мозгу, в твоей душе.

Нам известно, что братство Невидимых искало его основы и мечтало о них.

Весь этот труд созрел в тебе. Сделай же так, чтобы мы могли воспользоваться им. Дай нам твою республику. Если только это покажется нам возможным, мы попытаемся ее осуществить, и тогда искры твоего очага начнут волновать мир.

— Дети, вы просите, чтобы я рассказал о моих мечтах? — сказал философ. — Хорошо, я попробую приподнять края завесы, которая так часто скрывает будущее и от меня самого. Быть может, это будет в последний раз, но сегодня я должен сделать еще одну попытку, ибо верю, что благодаря вам не все золотые грезы моей поэзии будут утрачены!

И тут Трисмегиста охватил порыв какого-то божественного восторга.

Глаза его засияли, как звезды, а голос зазвучал, как ураган, подчиняя нас себе. Он говорил более четырех часов, и речь его была прекрасна и чиста, как священный гимн. Из религиозных и политических творений, из произведений искусства всех веков он составил самую великолепную поэму, какую только можно вообразить. Он разъяснил все религии прошлого, пролил свет на все тайны храмов, поэм и законодательных установлении;

рассказал о всех усилиях, стремлениях и трудах наших предшественников. В предметах, всегда казавшихся нам мертвыми и обреченными на забвение, он вновь нашел элементы жизни и даже из мрака мифологии сумел извлечь проблески истины. Он растолковал нам древние мифы; с помощью ясных и искусных доводов он сумел раскрыть перед нами все связи, все точки соприкосновения различных религий. Он показал нам, в чем состоят подлинные нужды человека, более или менее понятые законодателями, более или менее осуществленные народами. Он заново восстановил перед нашим мысленным взором единство жизни в человечестве и единство догмата в религии; и из всех этих частиц, рассеянных в древнем и новом мире, он создал фундамент своего будущего мира. Словом, он заполнил все разрывы общей связи частей, которые так долго задерживали нас в наших изысканиях, и заполнил лакуны истории, столь нас устрашавшие. Он развернул в одну бесконечную спираль тысячи священных покровов, окутывавших мумию науки. И когда мы с быстротой молнии ухватили суть того, чему он поучал нас столь же молниеносно, когда мы увидели общую картину его мечты, когда прошлое — отец настоящего — возникло

перед нами как светозарный муж из Апокалипсиса, он умолк, а потом сказал нам с улыбкой:

— Теперь вы поняли прошлое и настоящее. Должен ли я помочь вам постичь также и будущее? Разве дух святой не сияет перед вашими очами? Разве вы — не видите, что все то, о чем человек мечтал и чего жаждал, возможно и достижимо в будущем уже потому, что истина вечна и безусловна, вопреки слабости наших органов, предназначенных для восприятия и обладания ею. И все-таки она принадлежит нам благодаря надежде и желанию; она живет в нас, она извечно существовала у людей в зачаточном состоянии, ожидая Высшего оплодотворения. Истинно говорю вам — мы тяготеем к идеалу, и это тяготение бесконечно, как сам идеал.

Он говорил еще долго, и поэма его будущего была столь же великолепна, как и поэма прошлого. Я не стану пытаться воспроизвести ее здесь: я бы только испортил ее, ибо надо быть самому охваченным огнем вдохновения, чтобы передать то, что оно породило. Возможно, мне понадобятся два или три года, чтобы правильно записать то, что нам рассказал Трисмегист за два или три часа. Дело жизни Сократа породило дело жизни Платона, а дело жизни Иисуса было делом семнадцати

веков. Вы видите, что я, жалкий и недостойный, не могу не трепетать при мысли о моей задаче. И все-таки я не отказываюсь от нее. Учителя же нисколько не смущает мое изложение — в том виде, в каком я предполагаю его сделать. Он человек действия и уже составил резюме, которое, по его мнению, кратко излагает всю доктрину Трисмегиста, и притом с такой ясностью и четкостью, как если бы он занимался ее толкованием всю свою жизнь. Словно при посредстве электрического тока, ум и душа этого философа как бы перешли в его существо. Спартак обладает его душой, распоряжается ею, как хозяин; она послужит ему, как политическому деятелю; он явится как бы живым и непосредственным ее носителем, а не запоздалым и мертвым переписчиком, каким собираюсь сделаться я сам. И до того, как труд мой будет завершен, учитель уже передаст доктрину своим ученикам. Да, быть может, не пройдет и двух лет, как необычная и загадочная речь, прозвучавшая в этих пустынных краях, пустит корни среди многочисленных последователей, и мы увидим, как обширный подземный мир тайных обществ, ныне действующий во мраке, объединится вокруг одной-единственной доктрины, получит новую совокупность законов и вновь начнет

действовать, приобщившись к смыслу речей самой жизни. Итак, мы преподносим вам этот столь желанный памятник, подтверждающий предвидения Спартака, освящающий истины, уже ранее завоеванные им, и расширяющие его горизонт всей мощью ниспосланной ему веры. В то время как Трисмегист говорил, а я жадно слушал, боясь проронить хоть одно слово его речи, звучавшей для меня как торжественная музыка, Спартак, который, несмотря на возбуждение, лучше владел собой, с горящими глазами, весь превратившись в слух, но еще более чутко прислушиваясь умом, твердой рукой чертил на своих табличках какие-то значки и фигуры, словно метафизические идеи доктрины представлялись ему в виде геометрических формул. Когда в тот же вечер он занялся этими странными записями, совершенно мне непонятными, я был поражен, увидев, что, пользуясь ими, он записывает и с невероятной точностью приводит в порядок выводы поэтической логики философа. Словно по волшебству все упростилось и оказалось кратко изложено в таинственном перегонном кубе практического ума нашего учителя . Однако он все еще не был удовлетворен. Вдохновение явно покидало Трисмегиста. Глаза его потеряли блеск,

плечи опустились, и Цыганка знаком попросила больше не задавать ему вопросов. Но неотступный в поисках истины, Спартак не послушался ее и опять начал настойчиво расспрашивать поэта.

— Ты описал мне царство божие на земле, — сказал он, сжимая его похолодевшую руку, — но Иисус сказал: «Царство мое еще не пришло». Вот уже семнадцать столетий человечество тщетно ждет исполнения его обещаний. Я не поднялся на ту высоту созерцания вечности, на какую поднялся ты. Время предоставляет тебе, словно самому богу, зрелище — или, может быть, идею — непрерывной деятельности, каждая фаза которой соответствует каждому часу твоего восторженного чувства. Но я живу ближе к земле и веду счет столетиям и годам. Я хочу научиться читать в книге собственной жизни. Скажи мне, пророк, что я должен делать в той фазе, в какой меня видишь ты, какое действие окажут твои речи на меня, а через меня — на тот век, который грядет. Я не хочу прожить в нем бесплодно.

— Так ли уж важно для тебя то, что я могу знать об этом? — ответил поэт. — Никто не живет бесплодно, ничто не пропадает даром. Никто из нас не бесполезен. Не мешай мне отвращать взгляд от этих мелочей — они омрачают сердце и сужива-

ют границы разума. Я изнемогаю, думая об этом.

— Ты, открывший мне тайны, не имеешь права поддаваться изнеможению, — решительно возразил Спартак, силясь влить огонь своего взгляда в уже затуманенный и меланхолический взор поэта. — Если ты отвернешься от зрелища человеческих бедствий, значит, ты не настоящий человек, не тот совершенный человек, о котором один из древних сказал: Homo sum et nihil humani a me alienum puto . Нет, ты не любишь людей, ты не брат им, если не сочувствуешь их ежечасным страданиям и не спешишь найти средство, чтобы помочь им, претворив в жизнь твой идеал. Несчастен тот артист, который не чувствует лихорадки, готовой сжечь его в этих поисках, страшных, но доставляющих наслаждение!

— Чего же ты хочешь? — спросил поэт, тоже взволнованный и почти рассерженный. — Уж не считаешь ли ты себя единственным работником и не думаешь ли, что я приписываю себе честь быть единственным вдохновителем? Я отнюдь не кудесник. Я презираю лжепророков и достаточно долго боролся с ними. Мои предсказания — это умозаключения; мои видения — восприятия, обостренные до предела. Поэт не колдун. Его грезы основаны на уверенности, в то время

как колдун выдумывает наудачу. Я верю в твое начинание, ибо ощущаю твою мощь. Я верю в возвышенность моих мечтаний, ибо чувствую, что я способен породить их и что человечество достаточно значительно, достаточно благородно, чтобы общими силами осуществить во сто раз больше, чем мог придумать в одиночестве один человек.

— Так вот, — ответил Спартак, — именно о судьбах человечества я и спрашиваю тебя во имя того человечества, которое бурлит и во мне и которое я ношу в себе с еще большей тревогой и, быть может, даже с большей любовью, чем ты сам. Дымка пленительных грез скрывает от тебя его страдания, а я прикасаюсь к ним, дрожа, каждый час моей жизни. Я жажду облегчить их и, словно врач у изголовья умирающего друга, готов скорее убить его собственной неосторожностью, нежели допустить, чтобы он умер, так и не попытавшись ему помочь. Ты видишь — я опасный человек, быть может, даже чудовище, если ты не сделаешь из меня святого. Исполнись же тревогой за человечество — оно погибнет, если ты не вложишь лекарство в руку мечтателя! Оно, это человечество, грезит, поет и молится в твоем лице. В моем же оно страдает, кричит и стенает.

Ты открыл мне свое будущее, но, что бы ты ни говорил, оно еще далеко, и мне придется вынести немало мучений, чтобы извлечь для кровоточащих ран несколько капель твоего бальзама. Целые поколения томятся и уходят, так и не узнав света и бездействуя. Я воплощение страждущего человечества, я крик бедствия и воля к спасению, я хочу знать, какой будет моя деятельность — пагубной или благотворной. Ты не до такой степени отвратил свой взгляд от зла, чтобы не знать о его существовании. Куда бежать сначала? Что делать завтра? Как победить врагов добра — кротостью или насилием? Вспомни милых твоему сердцу таборитов. Прежде чем вступить в земной рай, им пришлось перейти через море крови и слез. Я не считаю тебя кудесником, но вижу в тебе могучую логику и великолепную ясность ума, которая просвечивает сквозь твои символы. Если ты можешь столь уверенно предсказывать самое отдаленное будущее, то с еще большей уверенностью можешь проникнуть сквозь туманную завесу, загораживающую доступ моему зрению.

Поэт, очевидно, испытывал невыразимые страдания. Его лоб был влажен от пота. Он смотрел на Спартака то с ужасом, то с восхищением; жестокая борьба происходила в его душе. Жена в

отчаянии обвила его руками, и в ее взгляде на моего учителя можно было прочитать немой укор, но также и почтительный страх. Никогда еще я не ощущал так сильно, как в эту минуту, могущество Спартака, который силою своей фанатической воли, прямоты и правды преодолевал муки этого пророка, борющегося с вдохновением, боль этой умоляющей женщины, ужас их детей и упреки собственного сердца. Я и сам трепетал, находя моего учителя жестоким. Я опасался, как бы прекрасное сердце поэта не разбилось в последнем усилии, а слезы, блиставшие на черных ресницах Консуэло, падали горячими и жгучими каплями прямо в мое сердце. Внезапно Трисмегист встал. Знаком отстранив Спартака и Цыганку, приказав детям отойти в сторону, он вдруг преобразился. Взор его, казалось, читал в невидимой, необъятной, как мир, книге, начертанной огненными письменами на своде неба.

Он воскликнул:

— Разве я не человек?.. Почему бы мне не рассказать о том, чего требует человеческая природа и, следовательно, что она может осуществить?.. Да, я человек. И, стало быть, я могу сказать, чего хочет человек и что он сотворит. Кто видит, как надвигается туча, может предсказать молнию и

бурю. Я знаю, что таится в моей душе и что из нее возникнет. Я человек и связан с человечеством моего времени. Я видел Европу, и мне известны грозы, бушующие в ее лоне… Друзья, наши мечты — не только мечты: клянусь в этом сущностью человеческой природы! Эти мечты являются мечтами лишь по сравнению с современным обличьем мира. Но кто владеет инициативой, духом или материей? В Евангелии сказано: «Дух божий дышит, где хочет». Дух пронесется и изменит лицо мира. В «Книге Бытия» сказано, что дух божий носился над поверхностью воды, когда все было хаос и тьма. Итак, творение бесконечно. Будем же творить, то есть будем послушны веянию духа божьего. Я вижу тьму и хаос! Зачем же нам оставаться тьмой? «Veni, Creator Spiritus» .

Он умолк, потом заговорил снова:

— Уж не Людовик ли Пятнадцатый может бороться с тобой, Спартак?.. Фридрих, ученик Вольтера, не столь могуществен, как его учитель… И разве мог бы я сравнить Марию-Терезию с моей Консуэло?.. Это было бы богохульством!

Он снова умолк.

— А ты, Зденко, мой сын, ты, потомок Подебрадов, носящий имя раба, готовься поддерживать нас. Ты новый человек, какую же участь выбе-

решь ты для себя? С кем будешь заодно — с отцом и матерью или с тиранами мира? В тебе сила, новое поколение. Что ты будешь поддерживать — рабство или свободу? Сын Консуэло, сын Цыганки, крестник раба, — надеюсь, что ты будешь заодно с Цыганкой и с рабом. Если нет, то я, потомок королей, отрекусь от тебя.

И добавил:

— Кто осмелится сказать, что божественная сущность, то есть красота, доброта, сила, не будет осуществлена на земле, тот человек — Сатана.

И добавил еще:

— Кто осмелится сказать, что человеческая сущность, которая, как говорит Библия, создана по образу и подобию божию и состоит из ощущения, чувства и познания, не будет осуществлена на земле, тот человек — Каин. Некоторое время он молчал, потом сказал так:

— Твоя сильная воля, Спартак, подействовала как заклинание… До чего слабы короли на своих тронах!.. Они считают себя могущественными, ибо все склоняется перед ними… И не видят того, что им угрожает… Да, вы ниспровергли аристократов с их армиями, епископов с их духовенством и воображаете, что необычайно сильны!.. Но то, что вы ниспровергли, и было ва-

шей силой. Ведь не любовницы, не придворные и не аббаты защитят вас, бедные монархи, жалкие призраки… Беги во Францию, Спартак! Франция скоро начнет разрушать. Она нуждается в тебе… Повторяю, беги, спеши, если ты хочешь принять участие в этом деле… Франция — избранная нация. Присоединись, сын мой, к старшим сынам человеческого рода… Я слышу над Францией громкий глас Исайи: «Восстань и осветись, ибо пришел свет твой, и слава господня воссияла над тобой… И пойдут народы к твоему свету». Табориты пели это на Таборе. Ныне же Табор — это Франция!

Он умолк. Лицо его засветилось радостью.

— Я счастлив! — вскричал он. — Да славится бог!..

«Слава в вышних богу», как сказано в Евангелии, и да будет мир на земле и в человецех благоволение!.. Так поют ангелы, и я чувствую себя подобным им и готов петь вместе с ними. Что же случилось?.. Я по-прежнему с вами, друзья мои, по-прежнему с тобой, о моя Ева, моя Консуэло! Вот мои дети, души моей души. Но мы уже не в горах Чехии, на развалинах замка моих предков. Мне кажется, что я вдыхаю свет и наслаждаюсь вечностью… Кто-то из вас сказал

сейчас: «Как прекрасна жизнь, как прекрасна природа, как прекрасно человечество!» Но он добавил: «Тираны испортили все это…» Тираны! Их больше нет. Все люди равны. Человеческая природа понята, признана, благословенна. Люди свободны, равны, они братья. Иного определения человека больше не существует. Больше нет господина, нет раба… Слышите вы этот возглас: «Да здравствует республика!» Слышите вы крики бесчисленной толпы, провозглашающей: Свобода, равенство, братство… Ах, во время наших таинств эту формулу произносили шепотом, и лишь адепты высоких степеней передавали ее друг другу. Секреты больше не нужны. Тайны открыты всем… Чаша — для всех! — так говорили наши предки гуситы.

И вдруг — о, ужас! — он залился слезами.

— Я знал, что доктрина была недостаточно развернута. Слишком немногие носили ее в сердце и понимали умом!.. Как это чудовищно! Всюду война! И какая война!

Он плакал долго. Мы не знали, какие образы теснились перед его умственным взором. Нам казалось, что он вновь видит войну гуситов. Ум его мешался; душа была подобна душе Христа на Голгофе.

Мне было больно видеть его страдания. Спартак был тверд, как человек, который вопрошает оракула.

— О всевышний! — вскричал пророк после долгих слез и стенаний. Сжалься над нами. Мы в твоей власти, делай с нами что хочешь.

Произнеся последние слова, Трисмегист простер руки, ища рук жены и сына, словно он внезапно лишился зрения.

Девочки в испуге подбежали к нему, прижались к его груди, и все они замерли в этом безмолвном объятии. Лицо Цыганки выражало ужас, а юный Зденко со страхом вопрошал взглядом свою мать. Спартак не видел их. Быть может, поэтические видения все еще витали перед его глазами? Наконец он подошел к группе, но Цыганка знаком приказала ему не тревожить ее мужа. Глаза Трисмегиста были открыты и устремлены в одну точку — не то он спал, как спят лунатики, не то следил, как медленно угасают взволновавшие его призраки. Минут через пятнадцать он глубоко вздохнул, глаза его ожили, и, прижав к груди жену и сына, он долго сидел, обнимая их.

Потом он встал и подал знак, что желает продолжать путь.

— Солнце слишком горячо для тебя в этот час, —

сказала Консуэло, — не лучше ли тебе отдохнуть здесь, под сенью деревьев?

— Солнце прекрасно, — ответил он с какой-то детской улыбкой, — и если тебя оно пугает не более, чем обычно, то мне оно принесет только пользу. Каждый поднял свою ношу: отец — дорожный мешок, сын — музыкальные инструменты, а мать взяла за руки дочерей.

— Вы причинили мне страдания, — сказала она Спартаку, — но я знаю, что надо страдать за истину.

— Не опасаетесь ли вы, что этот припадок может иметь дурные последствия? — с волнением спросил я у нее. — Позвольте мне сопровождать вас и дальше — я могу оказаться полезен.

— Благослови вас бог за вашу доброту, — ответила она, — но не идите за нами. За него я не беспокоюсь — он будет немного грустен несколько часов, и все. А вот здесь, в этом самом месте, таилась другая опасность, таилось одно страшное воспоминание, от которого вы его уберегли, заняв другими мыслями. Он давно стремился сюда, но благодаря вам даже не понял, где он. Поэтому я всячески благодарю вас и желаю найти случай и возможность послужить богу в меру вашей воли и ваших способностей.

Я задержал детей, чтобы приласкать их и продлить улетающие мгновенья, но мать отняла их у меня, и, когда она сказала мне последнее прости, я почувствовал себя покинутым всеми.

Трисмегист даже не простился с нами — казалось, он забыл о нашем существовании. Жена убедила нас не выводить его из задумчивости. Твердым шагом он спустился с холма. Лицо его было безмятежно, и он с какой-то радостной живостью помогал старшей девочке перепрыгивать через кусты и камни.

Красавец Зденко шел сзади с матерью и младшей сестрой. Мы долго провожали их взглядом, следя, как они удаляются по усыпанной золотистым песком тропинке, по лесной тропинке, принадлежащей всем. Наконец они скрылись за соснами, и в ту минуту, когда Цыганка должна была исчезнуть последней, мы увидели, как, подняв маленькую Венцеславу, она посадила ее на свое сильное плечо. Затем принялась догонять милую ее сердцу процессию, быстрая, как истинная дочь Чехии, поэтичная, как добрая богиня бедности…

И мы тоже идем, мы в пути! Жизнь — это странствие, цель которого жизнь, а не смерть, как говорят те, у кого грубый, земной ум. Мы утешили, как могли, обитателей деревушки и оставили

старого Зденко, который ждет своего завтра. Мы сошлись с нашими братьями в Пльзене, где я и написал для вас эту повесть, а теперь мы собираемся на поиски новых находок. И вы тоже, друг мой, будьте готовы к путешествию без отдыха, к неустанному труду: впереди торжество или мученичество.

КОММЕНТАРИИ

Роман «Графиня Рудольштадт» является непосредственным продолжением «Консуэло». Писательница рассматривала эти два произведения как единое целое. Роман вначале печатался в журнале «рчевю эндепандант» с 25 июня 1843 по 10 февраля 1844 года. Рукопись ромава не сохранилась. Известно, что Жорж Сайд работала над «Графиней Рудольштадт», так же как и над «Консуэло», в очень напряженном темпе.

В 1844 году роман вышел отдельной книгой в серии «Собрание лучших современных романов», затем был переиздан в 1854 году. В собрании сочинений Жорж Санд (1875) «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт» выли напечатаны с посвящением певице Полине Ввардо.

Роман Гете вышел во Франции в 1843 году. Жорж Санд знала этот роман еще раньше, немецкое издание «Вильгельма Мейстера» есть в библиотеке Ноана.

Справка:

Итальянская опера в Берлине — ансамбль итальянских певцов, выступавших с 1742 го-

да в новом королевском оперном театре под руководством придворного капельмейстера Карла-Генриха Грана.

Фридрих Великий — Фридрих II (1712 — 1786), прусский король с 1740 г. Справка:

Вильгельм Толстый — Фридрих-Вильгельм I (1688 — 1740), вступивший на прусский престол в 1713 г. …вскоре после того, как он водворился в Берлине… — Вольтер прибыл в Берлин в 1750 г. по приглашению Фридриха II. В 1753 г., порвав с королем, уехал в Швейцарию.

«Северный Соломон» — так называл Вольтер Фридриха II в письме к своей племяннице Луизе Дени 18 декабря 1752 г. Помпадур (Жанна-Антуана Пуассон, 1721 — 1784) — маркиза, фаворитка Людовика XV, имевшая неограниченное влияние на короля и фактически правившая страной.

«Фаэтон» — опера К. — Г. Грауна, впервые поставленная в Берлине в 1750 г. Д'Аржанс Жан-Батист де Бойе, маркиз (1704 — 1771) — французский литератор и философ, друг — Фридриха II. Состоял директором отделения философий берлинской Академии наук.

Ламетри Жюльен-Офре (1709 — 1751) — французский философматериалист, врач. Преследования церковников и иезуитов вынудили его

переселиться в Голландию, а оттуда в Германию. Был чтецом Фридриха II.

Справка:

Давали «Тита»... — Имеется в виду опера «Милосердие Тита» (1737).

Метастазио Пьетро (наст. фамилия — Трапасои, 1698 — 1782) — выдающийся итальянский поэт и драматург. Произведения Метастазио пользовались у современников необычайным успехом, на его тексты писали оперы многие композиторы, в том числе Гендель, Глюк, Гайдн и Моцарт.

Гассе Иоганн-Адольф (1699 — 1783) — один из крупнейших оперных композиторов XVIII в. Родился в Гамбурге, молодость провел в Италии, в течение многих лет состоял капельмейстером оперного театра в Дрездене. Порпорино — прозвище певца-кастрата Антонио Уберти (1696 1783), ученика Порпоры. Выступал в Берлине в итальянской опере, был придворным певцом Фридриха II.

Порпора Никколо (1686 — 1766) — итальянский композитор и вокальный педагог. Его жизнь в Венеции и Вене отображена в «Консуэло».

Справка:

Кончолини (правильно — Кончалини) — Джованни Карло (1745 1812) — певец-кастрат. Пел в

оперных театрах Мюнхена и Берлина.

Пельниц Карл-Людвиг фон (1692 — 1775) — немецкий авантюрист, объездивший многие страды Европы. При дворе Фридриха II занимал должность обер-церемониймейстера.

Справка:

Кошуа Мария — танцовщица, выступавшая с 1742 по 1750 г. в Берлинском оперном, театре.

Амалия Прусская (1723 — 1787) — младшая сестра Фридриха II. Увлекалась магией и оккультными науками.

Справка:

Барберини (правильно — Барберина) — имя итальянской падчерицы Кампанини (1721 — 1799). С 1743 г. выступала в итальянской труппе Берлинского оперного театра, в 1749 г. тайно обвенчалась со старшим сыном канцлера Фридриха II Самуэля фон Кощцеи.

Жордан Шарль-Этьен: (1700 — 1745) — литератор, близкий друг Фридриха II. Ведал благотворительными и учебными заведениями, был: вице-президентом берлинской Академии, наук.

Шазвль — по-видимому, Иеаак-Франсуа-Эгмонт Шазо (1716 — 1797) — друг Фридриха II, французский аристократ, бежавший в Пруссию вследствие преследований, вызванных дуэлью.

Саи-Суеи (франц. saris-sou ci — «беззаботность») — дворец Фридрих» в Потсдаме, построенный в 1745 — 1747 гг. Справка:

Гофманские капли — капли, составленные по рецепту знаменитого немецкого врача Фридриха Гофмана (1660 — 1742).

Справка:

Альгаротти Франческо (1712 — 1764) — итальянский литератор и ученый, знаток изящных искусств, по поручению зааосойского короля Августа III занимался пополнением Дрезденской галереи. Был близок к Фридриху II, который возвел его в графское достоинство и назначил камергером. Квинт Ицилий — любимец Фридриха II Карл-Готлиб Гишар (1712 — 1775.) автор трудов по истории военного дела в древнем мире. В беседе с Гишафюм — Фридрих II однажды заметил, что имя Квинт Ицияия носил один из римских центурионов времен Цезаря, Гишар с ним не согласился, и тогда король стал называть этим именем его самого.

Справка:

Ремисберг (правильно — Рейнсберг) — поместье, в котором кронпринц Фридрих жил в 1736 — 1740 гг., занимаясь в обществе близких друзей изучением философии и древних авторов. Марк.

Аврелий (121 — 180) — римский император, философ-стоик. Пользовался репутацией гуманного и доброго правителя.

Клонила Старший (ум. в 367 г. до н.э.) — тиран сиракузский, славившийся крайней жестокостью.

Справка:

Табачная. коллегия — так назывались вечера, которые Фридрих Вильгельм I регулярно устраивал для придворных и высших офицеров… Участники их курили глиняные трубки, пили пиво и упражнялись в остроумии.

Сен-Же-рмен (ум. в 1784 г.) — известный авантюрист XVIII в. Сумел, приобрести расположение многих европейских монархов, выдавая себя за алхимика и мага. Уверял, что прожил две тысячи лет и помнит Иисуса Христа.

Справка:

Панург — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532 — 1564), веселый озорник, презирающий условности и предрассудки. Пантагрюэль и его отец Гаргантюа — образы, в которых Рабле воплощает свой идеал разумного и просвещенного монарха.

Философский камень — фантастическое вещество, которое, по представлениям средневековых

алхимиков, может превращать все металлы в золото, излечивать болезни и возвращать молодость.

Справка:

Калиостро Алессандро (1743 — 1795) — знаменитый авантюрист, объездивший все страны Европы. Публицистическая и мемуарная литература XVIII в. полна сообщений о приключениях и «чудесах» Калиостро, выдававшего себя за медика, алхимика, заклинателя духов. В 1789 г. в Риме он был арестован; умер в крепости.

Справка:

«Ты, сам ее назвал!» — слегка измененная цитата из «Федры» Расина (акт I, сц. 3).

Справка:

Траян (ок. 53 — 117) — римский император. Средневековые легенды прославили его как честного и правдивого государя.

Справка:

Д'Аструа Джованна (1730 — 1757) — итальянская певица.

В 1747 г. была приглашена в Берлинский оперный театр.

Справка:

Манихей — приверженец манихейства, религиозного учения (по имени легендарного перса

Мани), в основе которого лежала идея борьбы доброго и злого начал. С III в. н.э. манихейство получило широкое распространение в странах Востока и Запада. Жестоко преследовалось церковью. Справка:

… перед чудодейственным мастерством, которое приписывают Сен-Жермену. — Из предшествующих слов короля явствует, что речь идет не о Сен-Жермене, а о Калиостро.

Справка:

Маркиз Бранденбургский — Фридрих II.

…почивать в рощах Киферы. — Остров Кифера (Цитера), некогда один из центров культа Афродиты, в XVII — XVIII вв. служил олицетворением царства любви. Фридрих II имеет в виду галантные празднества, устраивавшиеся в его время французской аристократией (одно из таких празднеств изображено в картине Ватто Путешествие на остров Киферу»).

Шталь Георг-Эрнст (1660 — 1734) — немецкий химик и врач.

Ришелье Луи-Франсуа-Арман Дюплесси, герцог де (1696 — 1788) — внучатый племянник кардинала Ришелье. Был известен своими любовными похождениями.

Лозен Антуан-Номпер де Комон (1633 — 1723)

— придворный Людовика XIV, вступивший в тайный брак с двоюродной сестрой короля.

Справка:

Белая женщина — см. рассказ Амалии в 10 главе романа.

Справка:

Некромантия — вызывание теней умерших с целью узнать будущее.

Справка:

Тренк Фридрих фон (1726 — 1794) — прусский авантюрист.

Был офицером-ординарцем Фридриха II. В 1745 г. по обвинению в измене был заключен в крепость Глац, затем бежал, поступил на военную службу в Россию. В 1754 г. появился в Пруссии и был арестован; после неудачной попытки бежать был закован в кандалы и заключен в тюрьму в Магдебурге, где провел девять лет. Получив свободу, отправился в Париж и в Лондон, где выполнял тайные поручения венского двора. Во время французской революции вновь поехал в Париж. Там он был обвинен в шпионаже и гильотинирован.

Справка:

Ульрика — Луиза-Ульрика (1720 — 1782), супруга шведского короля Адольфа-Фридриха.

Справка:

Тренк-пандур — Франц фон Тренк (1711 — 1749), австрийский авантюрист, двоюродный брат Фридриха фон Тренка. Командовал пандурами — нерегулярными пехотными отрядами, формировавшимися в подвластных Габсбургам Венгрии и Хорватии. В 1746 г. был обвинен в разбое и мародерстве и приговорен к пожизненному заключению в крепости Шпильберг в Брюнне (Брно).

Справка:

… простодушие, достойное Генриха Четвертого и короля Рене! Генрих IV (1553 — 1610) — французский король, вступивший на престол в 1594 г. Согласно легенде, Генрих IV обещал править страной так, «чтобы у каждого крестьянина по воскресеньям была в супе курица». Рене Анжуйский (1409 — 1480), прозванный Добрым (Rene le Bon), был номинальным королем Неаполя и Сицилии и правителем Прованса.

Справка:

Вы не русская царица и не Мария-Терезия, какую же войну мог бы я объявить вам? — Русская царица Елизавета Петровна и австрийская императрица Мария-Терезия являлись противниками Фридриха II во время войны за австрийское на-

следство (1740 — 1748) и Семилетней войны (1756 — 1763).

Справка:

Войну льва с мушкой. — Имеется в виду басня Лафонтена «Лев и мушка».

Барон фон Крейц. — Под этим именем Фридрих II появляется в первой части дилогии (гл. С — С II).

Справка:

… из кожи Яна Жижки… — Ян Жижка (ок. 1370 — 1424) — национальный герой чешского народа, предводитель таборитов. Согласно легенде, Жижка перед смертью повелел, чтобы из кожи его сделали барабан, предсказывая, что бой этого барабана будет наводить ужас на врагов. В очерке «Ян Жижка» Жорж Санд ссылается на

письмо Фридриха II к Вольтеру, в котором король сообщает, что нашел в Праге легендарный барабан и привез его с собой в Берлин.

…поборника Чаши… — Чаша на знаменах гуситов была символом равенства и отрицанием привилегий духовенства.

Ланфан Жак (1661 — 1728) — французский историк и богослов, бежавший из Франции вследствие религиозных гонений и нашедший убежище в Пруссии. Автор книги «История гуситских войн и

Базельского собора» (1731).

Справка:

Трисмегист («трижды величайший» — греч.) — греческое название египетского бога мудрости Тота, покровителя наук и тайных знаний, который в эпоху эллинизма отождествлялся с Гермесом и именовался «Гермес Трисмегист». Позднее с именем Трисмегиста стали связывать мистическое учение, получившее отражение в так называемых «герметических книгах» (II — III вв. н.э.). В средние века сочинения Трисмегиста изучались алхимиками, а в XVIII в. — масонами.

Головкин Александр Александрович, граф (1732 — 1781) — сын русского посла в Голландии А. Г. Головкина. Современники дали ему прозвище «философ». Всю свою жизнь провел за границей. При дворе Фридриха II занимал должность директора спектаклей.

Справка:

Шарлоттенбург — замок, построенный в конце XVII в. под Берлином. Назван по имени супруги Фридриха I Софии-Шарлотты.

Мон-Бижу («мое сокровище» — франц.) — замок на Шпрее, построенный в начале XVIII в. для Софии-Доротеи, супруги ФридрихаВильгельма I.

Справка:

Сестра фон Анспах… — Фридерика-Луиза, маркграфиня Ансбахская (1714 — 1784). Жорж Санд пользуется старой южногерманской формой написания имени, сохранившейся еще в Германии в первой половине XIX в. Маркграфиня Байрейтская… — София-Фридерика-Вильгельмина, маркграфиня Байрейтская (1709 — 1758), старшая сестра Фридриха II. Ее мемуары, рисующие быт и нравы прусского двора, были изданы в 1810 г. Справка:

Сюпервиль Даниэль (1692 — 1773) — голландский врач.

Значительную часть своей жизни провел в Германии, сперва при дворе маркграфа Байрейтского, затем при дворе герцога Брауншвейгского. Каноиисса — лицо, участвующее в управлении монастырем или выполняющее его обеты, находясь в миру. Канониссы пользовались привилегированным положением и принадлежали обычно к аристократическим фамилиям.

Справка:

Я родилась в одном из уголков Испании… — Рассказ героини, помещенный в 7 и 8 главах «Графини Рудольштадт», содержит краткое изложение событий, составляющих содержание первой части романа-дилогии — «Консуэло».

Справка:

Площадь святого Марка — исторический центр Венеции, где находятся главные здания города: собор св. Марка и Дворец дожей.

Scuola del mendicanti. — Речь идет о школе, существовавшей при церкви Мендиканти (нищенствующих монахов). В Италии первые музыкальные школы открывались обычно ври духовно-благотворительных учреждениях и представляли собой сиротские дома.

Справка:

Табориты — радикальное крыло гуситов. Центром его были поселения на горе Табор в южной Чехии. Табориты не ограничивались требованием обрядового уравнения. Они выдвигали программу уничтожения феодального строя и создания общества, где не будет гнета и нужды. Поражение этого крест пянско-плебейского движения повлекло за собой победу феодальной реакции в Чехии.

Георг (Иржи) Подебрад (1420 — 1471) — король Чехии с 1458 г. Справка:

Вальденсы — религиозно-общественное движение в XII в. на юге Франции. Названо по имени лионского купца Пьера Вальда, проповедовавшего бедность и простоту жизни. Вальденсы не

признавали икон, их требование слушаться только бога, а не людей вело к отказу от подчинения светским властям.

Анабаптисты — религиозно-общественное движение эпохи Реформации. Участники его отрицали церковную иерархию, требовали общности имущества. В 1834 — 1835 гг. анабаптисты образовали Мюнстерскую коммуну, павшую после четырнадцатимесячной осады.

Пикарды (от имени французской области Пикардии, одного из главных очагов средневековых ересей), или пикарты, — крайне левое движение, существовавшее в Чехии в эпоху гуситских войн. Выражало социальные устремления и чаяния бедноты.

Справка:

Граф Годиц Август-Иозеф фон (1706 — 1778) — австрийский магнат, любитель искусств. Большой известностью пользовался парк в его имении Росвальд.

Справка:

Князь Каунии (Каунйц-Ритберг) Венцель-Антон (1770 — 1794) австрийский государственный деятель и дипломат, канцлер Марии-Терезии. Ван-Свитен Герард (1700 — 1772) — голландский врач.

Справка:

Будденброк Иоганн-Йобст-Генрих-Вильгедьм фон (1704 — 1781) — адъютант Фридриха II, с 1765 г. возглавлял прусскую военную академию.

Справка:

«Забавные музыканты» — комическая опера Гадуппи на либретто Гольдоыи.

Справка:

Граун. Иоанн-Готлиб (1699 — 1771) — немецкий композитор и скрипач, капельмейстер придворного оркестра Фридриха II, брат композитора Карла-Генриха Грауна.

Бенда Франтишек (1709 — 1786) — чешский скрипач и педагог, с 1733 г. — придворный скрипач в Берлине.

Кванц Иоганн-Иоахим (1697 — 1773) — флейтист и композитор, придворный музыкант Фридриха II, который под его влиянием стал изучать игру на флейте. Сочинил специально для короля несколько сот музыкальных пьес.

Справка:

Романина («Римляночка») — прозвище итальянской певицы Марианны Бульгарини (1688 — 1734), возлюбленной Метастано.

Тези (Тези-Трамонтини) Виттория (1700 — 1775) — выдающаяся итальянская певица. Выступала в

Дрездене, Неаполе, Венеции и Ве"е.

Справка:

Бенда Иржи (Георг) — чешский скрипач и композитор, брат Франтишка Бенды, с 1742 г. придворный скрипач в Берлине.

Справка:

Принц Генрих (1726 — 1802) — третий сын ФридрихаВильгельма I, прусский полководец. Между ним и его братом Фридрихом II часто возникали трения.

Справка:

Протей — в античной мифологии — морское божество, старец, обладавший способностью принимать любой облик.

Справка:

Клерон Ипполита (настоящее имя — Лерис де Латюд, 1723 — 1803) — знаменитая актриса, работавшая под руководством Вольтера. Сблизившись с маркграфом Ансбахским, переехала в его резиденцию, где прожила с 1770 по 1791 г.
Справка:

Люцифер — букв. «несущий свет» (лат.); согласно толкованию отцов церкви — князь тьмы, ангел, низринутый с небес за неповиновение богу.

Справка:

Полигимния — одна из девяти муз, покровительница танцев и пантомим.

«Покинутая Ариадна». — Имя автора этой оперы установить не удалось. Комментаторы французского издания «Графини Рудольштадт» (Париж, 1959) полагают, что речь идет об опере И. Бенды «Ариадна на Наксосе», которую Стендаль в «Письмах о Гайдне» называл «Покинутой Ариадной».

Справка:

… в вашей августейшей семье бьют детей… — Намек на отца Фридриха II — Фридриха-Вильгельма I, жестоко тиранившего свою семью.

Справка:

Сигизмунд (1361 — 1437) — король Чехии и римскогерманский император, возглавлял крестовые походы против революционных гуситов и неизменно терпел поражение.

Тридцатилетняя война — общеевропейская война 1618 — 1648 гг., происходившая на территории Чехии и Германии. Сопровождалась ограблением и массовым истреблением мирного населения.

Справка:

Вы имели несчастье жить под владычеством юбки… Намек на Помпадур.

Справка:

Катте Ганс-Герман фон (1704 — 1730) — друг юности Фридриха II, посвященный в план его бегства в Англию. Суд приговорил Катте к смертной казни, которая была совершена в Кюстрине, перед окнами тюрьмы наследного принца. Отчаяние Фридриха II, ставшего свидетелем этой казни, описано в мемуарах его сестры, Софии-Вильгельмины, маркграфини Байрейтской.

Справка:

Филипп Красивый (1268 — 1314) — французский король.

Нуждаясь в деньгах для ведения войн, уничтожил орден тамплиеров и конфисковал его имущество.

Справка:

Флери Андре-Эркюль де (1653 — 1743). — французский кардинал, ближайший советник Людовика XV, руководивший с 1726 г. государственными делами. Фридриху II приходилось вести переговоры с Флери в связи с участием Франции в войне за австрийское наследство.

Справка:

Карл Эдуард (1720 — 1788) — внук английского короля Иакова II из династии Стюартов, претендент на английский престол. В 1745 г. высадился в

Шотландии и одержал ряд побед над правительственными войсками, однако в конце концов был разбит и бежал во Францию.

…как Николь у господина Журдена. — Имеется в виду сцена из комедии-балета Мольера «Мещанин во дворянстве», где служанка Николь высмеивает своего хозяина — глупого и тщеславного буржуа, рабски копирующего манеры аристократии.

Силезию мы очень скоро отдадим Марии-Терезии… — В ходе войны за австрийское наследство австрийская Силезия была почти полностью захвачена Пруссией.

…курфюрст Саксонский лишится польского королевства… — В конце XVII в. саксонский курфюрст Август II был избран королем Польши. Его сын Фридрих Август был провозглашен в 1723 г. польским королем под именем Августа III.

Справка:

… после чего была отправлена в Бастилию… — На самом деле Клерон была арестована за то, что организовала в театре забастовку, будучи возмущена поведением одного из актеров. После ареста (1765) она навсегда покинула сцену.

Федра — героиня одноименной трагедии Расина; Химена — героиня драмы П. Корнеля «Сид».

Справка:

Электра — героиня трагедии Вольтера «Орест»; Семирамида — героиня одноименной трагедии Вольтера.

Справка:

Вельзевул — согласно Новому завету, сатана, предводитель злых духов. Справка:

Криспин — согласно католической легенде, христианский проповедник, принявший мученическую смерть. По профессии был башмачником.

Справка:

«Малюток любим мы своих…» — строки из басни Лафонтена «Орел и сова».

Справка:

Линдор — имя влюбленного кавалера, встречающееся в испанской и французской литературе XVII — XVIII вв. Справка:

«Я недостоин развязать ремни на его башмаках». Цитата из Евангелия от Луки (слова Иоанна Крестителя, возвещающего о пришествии Иисуса Христа).

Справка:

Аполлоний Тианский (I в. н.э.) — греческий философ, представитель религиозно-мистической школы неопифагореизма. Уверял своих

слушателей, что может предсказывать будущее и творить чудеса.

Справка:

… Италии с ее «сияющими небесами и лучезарным сводом»… строки из псалма Бенедетто Марчелло, цитируемого в 10 главе «Консуэло» и в эпилоге «Графини Рудольштадт».

Справка:

Беппо — уменьшительное от Джузеппе, итальянской формы имени Иосиф. Этим именем Консуэло называла Гайдна.

Справка:

Якоб Беме (1575 — 1624) — немецкий философ-мистик, по профессии сапожник. Рассматривал развитие мира как результат борьбы добра и зла, света и тьмы, считал, что бог есть не только начало добра, но и зла. Подвергался гонениям со стороны церкви.

Справка:

«В своей схватке с Люцифером…» — цитата из сочинения Я. Беме «Аврора».

Милленарии (тысячелстники) — последователи религиозно-мистического учения о тысячелетием земном «царствовании Христа».

Справка:

Самое имя Якоба Беме… — По-немецки Беме

(Bochme) означает «богемец», «чех».

Справка:

Невидимые — название, придуманное автором романа.

Справка:

Тамплиеры (храмовники) — члены духовно-рыцарского ордена, возникшего в начале XII в. в Палестине, рядом с тем местом, где, по преданию, возвышался Иерусалимский храм. В начале XIV в. против тамплиеров было выдвинуто обвинение в манихействе, и орден был уничтожен. Франкмасоны («вольные каменщики», от франц. franc-macons) — философское и религиозно-мистическое течение, возникшее в начале XVIII в. в Англии и получившее распространение во многих странах, преимущественно в аристократической и буржуазной среде. Масоны проповедовали нравственное совершенствование на основе религиозной терпимости и «братской любви». В своих ложах (отделениях) стремились возродить обычаи средневековых каменщиков. Первоначально имели три иерархические степени: мастер, подмастерье, ученик. Позднее общее число степеней в различных ложах доходило до тридцати трех. Названия некоторых из них приводятся Жорж Санд в эпилоге романа. Встречи

и обряды в масонских ложах совершались под покровом тайны. Имея в своих рядах представителей правящих династий, государственных деятелей, литераторов, ученых, франкмасоны оказывали значительное влияние на политическую и культурную жизнь Европы XVIII — начала XIX вв. Гернгутеры Цинцендорфа — члены религиозной общины Гернгут, основанной в 1722 г. в Саксонии, в поместье графа НиколаусаЛюдвига Цинцендорфа (1700 — 1760) чешскими переселенцами.

Моравские братья (Чешские братья. Богемские братья) — чешская религиозная секта, основанная в середине XV в., после поражения таборитов. В состав ее входили крестьяне и ремесленники. Моравские братья отрицали государство, социальное и имущественное неравенство, проповедуя вместе с тем непротивление злу насилием. После поражения чешских протестантов в битве у Белой горы (1620) секта была разгромлена, члены ее эмигрировали в другие страны.

Участники этого движения называли себя «Общиной братьев» (Jednota bratrska). Название «Моравские братья» возникло с появлением гернгутеров, в числе которых было много выходцев из Моравии.

Сироты. — Так называли себя после смерти Жижкн его сподвижники, участники антифеодального движения в Восточной Чехии, образовавшие так называемый «Малый Табор».

Парацельс Филипп-Ауреол-Теофраст-Бомбаст фон Гогенгейм (1493 — 1541) — знаменитый немецкий врач и алхимик.

Сведенборг Эммануил (1688 — 1772) — шведский философ-мистик.

Шрепфер Иоганн-Георг (ок. 1730 — 1774) — мистик и шарлатан, живший в Лейпциге. Собирал у себя в кофеине лиц, жаждавших общения с «загробным миром». Пытался создать новую религиозную секту; потерпев неудачу, покончил с собой.

Справка:

Фемгерихт — полулегальные суды в Германии XII — XV вв., выносившие приговоры в порядке секретного разбирательства, в отсутствие обвиняемого. Заседания фемгерихта проходили под председательством фрейграфов, представляющих императора. Приговоры суда приводились в исполнение его членами тайно.

Справка:

Вейсгаупт Адам (1748 — 1830) — глава ордена иллюминатов тайного религиозно-политиче-

ского общества, созданного в 1776 г. в Баварии. Проповедовал просветительные идеи, пытался бороться с влиянием клерикалов и иезуитов. В 1784 — 1785 гг. орден был разгромлен, Вейсгаупт и его сторонники подверглись преследованиям.

Симон-волхв — легендарный волшебник из Самарии, упоминаемый в апокрифах. По церковному преданию, Симон предлагал апостолам продать ему дар творить чудеса.

Справка:

«Я пошлю к тебе одного из ангелов…» — псалом XCI, ст. 11 12, приводится в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки.

Справка:

«Китай» — одно из увеселений в парке графа Годица, описанном в 100 главе «Консуэло».

Справка:

… станет для тебя отравленной туникой Деяниры. Имеется в виду миф о гибели Геракла. Супруга Геракла легковерная Деянира послала мужу одежду, пропитанную ядом, который она считала любовным зельем. Не выдержав страданий, Геракл сжег себя на костре.

Справка:

«Ринальдо» Генделя — опера, написанная на сюжет поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Была поставлена в Лондоне в 1711 г. Справка:

Уиклиф Джон (1320 — 1384) — английский религиозный реформатор. Отвергал церковную иерархию католицизма, обряды и таинства. Идеи Уиклифа оказали значительное влияние на Яна Гуса и деятелей Реформации XVI в. Справка:

… подобно любопытной Психее… — Имеется в виду роман Жана Лафонтена «Любовь Психеи и Амура».

Справка:

Мемфис — один из религиозных центров Древнего Египта.

Элевсин — город близ Афин, где совершались праздники с мистическими обрядами, посвященными богиням Деметре и Персефоне и богу Дионису. Иерофанты — старшие жрецы, участвовавшие в элевсинских мистериях. Святой Иоанн — по библейской легенде — один из апостолов Иисуса Христа. Считается автором четвертого Евангелия, Апокалипсиса и трех посланий.

Справка:

Иоанниты (госпитальеры) — члены духовно-рыцарского ордена, возникшего в начале XII в. и получившего свое название от основанного в Иерусалиме госпиталя св. Иоанна. Давали обет бедности и безбрачия.

Справка:

Бемисты — последователи Якоба Беме.

Теософы — религиозные мистики, утверждающие возможность непосредственного общения с «потусторонним миром».

Квакеры (букв. «дрожащие», «трясуны»), или Общество друзей — христианская протестантская секта, возникшая в Англии в период буржуазной революции XVII в. Членами секты в основном являлись представители мелкой буржуазии. Квакеры отвергали церковную организацию, таинства и обряды; единственным источником веры они признавали «внутренний свет», якобы озаряющий человека и указывающий ему путь.

Пантеисты — представители религиозно-философского учения, отождествляющего бога с природой.

Пифагорейцы — последователи философа и математика Пифагора, пытавшегося свести все явления природы к чисто количественным отношениям. Проповедовали мистическое учение о загробной жизни я перевоплощении душ умерших в тела вновь родившихся людей или животных.

Ксерофаги («сухояды») — члены мистической секты, основанной, как полагают, итальянскими

франкмасонами. Призывали к воздержанию, питались хлебом и сухими фруктами.

Иллюминаты — члены тайного религиозно-политического общества, основанного Адамом Вейсгауптом.

Иоахимиты — секта, основанная аббатом Иоахимом в Калабрии. В 1215 г. была осуждена на Латеранском соборе.

Справка:

Общество «Мопсов» — тайное общество, упоминаемое в памфлетах XVIII в. Было основано в 1739 или 1740 г. Эмблемой его была фигура мопса — олицетворение мягкосердечия и преданности.

Справка:

«Телемак» («Приключения Телемака») — роман, написанный в 1699 г. Франсуа де Фенелоном в назидание своему воспитаннику — внуку Людовика XIV, герцогу Бургундскому. Рассказывая историю сына Одиссея Телемака, отправившегося на поиски пропавшего отца в сопровождении мудрого воспитателя Ментора, Фенелон рисует идеал просвещенного и гуманного правителя, друга своих подданных.

Монтескье Шарль (1689 — 1755) — французский философ-просветитель. В труде «О духе законов» (1748) обосновал учение о разделении властей,

сыгравшее прогрессивную роль в борьбе с феодальным беззаконием. Гельвеций Клод-Адриан (1715 — 1771) — французский философматериалист.

Стремился с материалистических позиций объяснить общественную жизнь, резко критиковал религиозную идеологию. Его книга «Об уме» (1758) была запрещена и подвергнута публичному сожжению.

Фрейграфы — в средневековой Германии лица, председательствовавшие на тайных судилищах — фемгерихтах.

Справка:

Лолларды — «бедные братья», народные проповедники в средневековой Англии, выступавшие против привилегий церкви и социального неравенства.

Справка:

Сивилла (греч.) — пророчица.

Справка:

Ниобея — в греческой мифологии — супруга фиванского царя Амфиона, гордившаяся своим многочисленным потомством. За оскорбление богини Латоны поплатилась всеми своими сыновьями и дочерьми, которые были истреблены детьми Латоны — Аполлоном и Артемидой. Сама

Ниобея от горя превратилась в камень.

Справка:

«Я не из тех…» — цитата из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь».

Справка:

… несчастной принцессой Кульмбахской… — История принцессы Кульмбахской рассказывается в 87 главе романа «Консуэло».

Справка:

Церковь святого Иоанна и святого Павла — одна из древнейших церквей Венеции (XIII — XV вв.). В ней находятся гробницы дожей.

Справка:

Фарисеи и книжники. — Фарисеи — представители одной из главных религиозно-политических партий древней Иудеи, состоявшей из зажиточных горожан. Народ высмеивал их показное благочестие и лицемерие. В Евангелиях фарисеи и «книжники» (толкователи священных книг) выступают ожесточенными противниками Иисуса Христа.

Справка:

… под аркады Прокурации… — Старые Прокурации (XV — XVI вв.), построенные для высших чиновников Венецианской республики, и Новые Прокурации (XVI в.) — здания, обрамляющие

площадь святого Марка.

Справка:

Розенкрейцеры — тайные мистические братства, основанные, согласно легенде, средневековым монахом Кристианом Розенкрейцем. Были известны в XVII в. в Германии и Голландии. Во второй половине XVIII в. символика этих братств была возрождена в созданном по масонскому образцу религиозно-мистическом ордене Золотых розенкрейцеров. Справка:

… где некогда Жижка одержал одну из величайших своих побед…

— Имеется в виду битва при Кутной горе (Куттемберге), где в январе 1422 г. гуситы наголову разбили армию Сигизмунда.

Справка:

«Воспоемте славу…» — хор из оратории Генделя «Иуда Маккавей» (1746).

Справка:

… странное зрелище представилось ее взору. — Комментаторами французского издания «Графини Рудольштадт» установлено, что при описании обряда посвящения в общество Невидимых Жорж Санд пользовалась иллюстрациями книги Ф. — Т. — Б. Клавеля «Необычайная история франкмасонов и других тайных обществ как

прошлого, так и настоящего времени» (1843).

Справка:

Миф о Хираме. — Легенда об убийстве Хирама, строителя храма Соломона, инсценировалась в масонских обрядах. Излагая содержание легенды, Жорж Санд дает ей свое собственное истолкование, подсказанное идеями сенсимонизма.

Справка:

Озирис — в древнеегипетской мифологии — бог воды и растительности, властитель царства мертвых. Культ его получил широкое распространение и за пределами Египта. Миф об Озирисе — умирающем и воскресающем боге — оказал большое влияние на формирование легенды о Христе. Справка:

Жак Моле (ок. 1243 — 1314) — последний магистр ордена тамплиеров. Вместе с другими членами ордена был обвинен в манихействе и приговорен к сожжению на костре.

Абеляр Пьер (1079 — 1142) — французский философ и богослов, доказывавший необходимость научного обоснования веры. Учение Абеляра было объявлено еретическим.

Святой Бернар — Бернар Клервоский (1091 — 1153), церковный деятель, фанатический защитник католической догмы, добившийся

осуждения Абеляра. Иероним Пражский (ум. в 1416 г.) — ученик и сподвижник Яна Гуса, сожженный на костре по постановлению суда Констанцского собора. Обличал католическую церковь, способствовал распространению идей гусизма за пределами Чехии.

Святая Екатерина — согласно католической легенде, христианка, жившая в Александрии во времена императора Максимина и принявшая мученическую смерть. Считается покровительницей философов и учащейся молодежи.

Справка:

Марчелло Бенедетто (1686 — 1739) — итальянский композитор и поэт. Сочинял оперы, кантаты, мессы, оратории, прославился сочинением музыки к псалмам. «I cieli immensi narrano» — начальная строка псалма, цитируемого в 10 главе «Консуэло» и в эпилоге «Графини Рудольштадт».

Справка:

Ганганелли — имя папы Климента XIV (1705 — 1774), упразднившего в 1773 г. орден иезуитов. Фурьеризм — учение французского социалиста-утописта Шарля Фурье (1772 — 1837). Жорж Санд живо интересовалась выдвинутой Фурье идеей создания трудовых общин (фаланстеров).

Сенсимонизм — учение великого французского

социалиста-утописта Анри-Клода Сен-Симона (1760 — 1825) и его последователей.

Справка:

Ментенон Франциаза д'Обинье, маркиза (1635 — 1719) — фаворитка Людовика XIV, с которой он тайно обвенчался в 1685 г, Ревностная католичка, Ментенон стремилась обратить короля на путь христианского благочестия.

Дюбарри Мария-Жанна (1743 — 1793) — фаворитка Людовика XV. Во время революции была арестована по обвинению в сношении с жирондистами и гильотинирована.

Месмер Франц-Антон (1743 — 1815) — австрийский врач, создатель лженаучной теории животного магнетизма. Утверждал, что планеты действуют на людей посредством особой магнетической силы и что человек, овладевший ею, способен благотворно воздействовать на здоровье окружающих.

Дюбуа Гийом (1655 — 1723) — французский государственный деятель, при Людовике XIV занимал пост министра иностранных дел.

Лоу Джон (1671 — 1729) — экономист и финансовый делец, в 1720 г. был назначен министром финансов Франции. Был инициатором выпуска бумажных денег, создавшего почву для небыва-

лого биржевого ажиотажа. Потерпев крах, бежал за границу. Умер в нищете.

Филипп Эгалите — Луи-Филипп-Жозеф, герцог Орлеанский (1747 — 1793), представитель младшей линии Бурбонов. Во время французской революции вступил в якобинский клуб и, отказавшись от герцогского титула, принял фамилию Эгалите (фр. — «равенство»). В 1793 г. был обвинен в стремлении к захвату власти и гильотинирован.

Шарлотта Корде (1768 — 1793) — французская аристократка, убийца Марата.

Бабеф Гракх (наст. имя — Франсуа Ноэль, 1760 — 1797) — деятель французской буржуазной революции XVIII в., представитель утопического уравнительного коммунизма. В 1796 г. организовал и возглавил «заговор равных», после раскрытия заговора был казнен.

Справка:

Гора (монтаньяры) — политическая группировка, представлявшая во время французской революции XVIII в. радикальную часть буржуазии. Члены ее на заседаниях Конвента занимали верхние ряды, …реставрацию старого порядка… — то есть реставрацию Бурбонов после низложения Наполеона.

Справка:

Галатея — статуя, которую изваял легендарный древнегреческий скульптор Пигмалион и оживил своей любовью.

Справка:

«О Гименей!» — хор из оратории Порпоры «Праздник Гименея».

Шубарт Иоганн-Кристиан (1734 — 1787) — немецкий агроном, масон. Много путешествовал, поддерживая связь между масонскими ложами различных германских княжеств. Эон де Бомон (1728 — 1810), известный под именем Шевалье д'Эсж, французский авантюрист. В 1755 г., выполняя тайное-поручение Людовика XV, отправился в женском костюме в Петербург, где вел переговоры с императрицей Елизаветой Петровной.

Николаи Фридрих (1733 — 1811) — немецкий писатель и журналист, представитель умеренного бюргерского просветительства. Издавал журнал «Всеобщая немецкая библиотека».

Справка:

… отдайте богу богова… — евангельское изречение, перефразированное автором романа.

Справка:

Астрея — в греческой мифологии дочь Зевса, богиня справедливости, жившая в золотом веке

среди людей. «Времена Астреи» в переносном смысле — счастливая пора.

Справка:

— …как сказано в Евангелии… — Имеется в виду 20-й стих XVIII главы Евангелия от Матфея.

Справка:

Левиты — младшие священнослужители в древней Иудее, представлявшие собой особую наследственную касту.

Справка:

… красавица дочь, которую он воспитывал… — Речь идет об Амелии Головки-ной (1766 — 1855). В 1777 г. А. А. Головкин опубликовал на французском языке брошюру «Мои мысли о воспитании женского пола, или Основы проекта воспитания моей дочери».

…была для него и Эмилем и Софи… — Имеются в виду героя и героиня романа Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

…превращаясь то в красивого мальчика, то в прелестную девушку. — А.

А. Головкин, по свидетельству современников, имел обыкновение по утрам одевать свою дочь в мужской костюм, а с обеда до вечера — в жеяский.

Справка:

«Сон в летнюю ночь» — комедия Шекспира.

Справка:

Святой Грааль. — Религиозно-мистические мотивы, связанные с образом Грааля — источника «божественной благодати» — нашли воплощение в рыцарских романах XII — XIII вв. («Персеваль, или Повесть о Граале» Кретьеда де Труа, «Иосиф Аримафейскнй» Робера де Борона, «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха и др.). Впоследствии легенда о Граале получила символическое истолкование в масонских трактатах.

Евхаристия — причащение, одно из христианских таинств, посредством которого верующий, вкушая хлеб и разбавленное вино — «тело» и «кровь» Спасителя, — соединяется с Христом и становится причастным к «вечной жизни».

Арморика — кельтское название северо-западной Галлии.

Сад Геслерчлд — в мифе о Геракле сад, где росла яблоня с золотыми плодами. Геракл убил дракона, который стерег сад, и добыл золотые яблоки, совершив свой одиннадцатый подвиг. Справка:

История Иоганна Крейслера — роман Э. — Т. — А. Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганна Крейслера, случайно уцелевшими в

макулатурных листах» (1820 — 1822).

Справка:

Хай-Маркет — королевский театр, открытый в Лондоне в 1705 г. Предназначался главным образом для итальянской оперы.

Справка:

Перголезе (Перголези) Джованни Баттиста (1710 1736) — выдающийся итальянский композитор, один из создателей оперы-буффа («Служанка-госпожа», 1733). Прославился также произведениями церковной музыки.

Фаринелди (настоящее имя — Карло Броски, 1705 — 1782) — знаменитый певец-сопранист, получивший у себя на родине прозвище «дитя». Пел в оперных театрах Италии, Вены, Лондона и Мадрида. фаустына — имя итальянской оперной актрисы Бордочи (1710 — 1781), супруги композитора Гассс, выступавшей с большим успехом на сценах Венеции, Неаполя, Дрездена и Лондона.

Минготти Реджина (1728 — 1807) — дебютировала в придворном театре Дрездена, где соперничала с Фаустиной Бордони, выступала вместе с Фаринелли в Мадриде, пела в Лондоне.

Справка:

… если бы сам Тренк не позаботился опубликовать их… — Имеется в виду трехтомная

автобиография Фридриха фон Трепка, изданная в 1787 г. в Берлине и Вене. В 1789 г. была переведена автором на французский язык.

Справка:

Тьебо Дьедонне (1733 — 1807) — французский литератор и лингвист. С 1765 по 1784 г. преподавал грамматику в Прусской военной академии. Его книга «Мемуары о двадцатилетнем пребывании в Берлине» (5 томов, 1804 — 1805) тщательно изучалась Жорж Санд во время работы над «Графиней Рудольштадт».

Справка:

Мартинович Игнац Иосиф (1755 — 1795) — венгерский философ-материалист и естествоиспытатель, профессор Лембергского (ныне Львовского) университета. Возглавлял антиавстрийское республиканское движение, был предан суду и казнен.

Книгге Адольф, барон фон (1752 — 1796) — немецкий сатирик и публицист просветительского направления. Был видным деятелем ордена иллюминатов. Справка:

Веспер — латинское название планеты Венеры. Император Карл Карл VI, отец Марии-Терезии.

Справка:

Казалось, у него были две души… — перифраз

монолога Фауста «Ах, две души живут в моей груди...» (Гете, «Фауст», сцена «У городских ворот»).

Справка:

Te Deum — начало католического гимна «Te Deum laudamus».

Справка:

Прокоп Большой (ок. 1380 — 1434) — гуситский проповедник и полководец, возглавлявший армию таборитов после смерти Яна Жижки. Под его руководством были одержаны блестящие победы над войсками феодалов-католиков как в самой Чехии, так и за ее пределами. Погиб в битве при Лнпанах.

Оребиты — участники антифеодального движения в Восточной Чехии, начавшегося с массового паломничества на гору Ореб.

Справка:

Шотландское масонство — течение в европейском масонстве, оформившееся в начале 1740-х гг. во Франции. Шотландские ложи, именовавшиеся Андреевскими (в честь святого Андрея — покровителя Шотландии), отличались от старых английских лож большим числом степеней и более сложной обрядностью. Основатели шотландского масонства утверждали, что следуют более древним традициям, связывая происхож-

дение масонов с историей духовнорыцарских орденов. Ими была, в частности, создана легенда о семи тамплиерах, нашедших после разгрома ордена убежище в Шотландии и ставших там каменщиками.

Справка:

… благодаря вере хананеянки и лепте вдовицы. — Жорж Санд имеет в виду два рассказа из Нового завета: о женщинеязычнице (Евангелие от Марка называет ее сирофиникиянкой), поверившей в чудодейственную силу Христа, и о бедной женщине, которая отдала на храм божий все, что имела. Справка:

Эндимион — в греческой мифологии юный красавец, взятый Зевсом на небо. Эндимион воспылал любовью к супруге Зевса Гере, и за это отец богов и людей покарал его, погрузив в вечный сон.

Справка:

… сердцу Иисуса на горе… — Имеется в виду нагорная проповедь Иисуса Христа, в которой воплощены основные идеи христианского вероучения.

Королева Либуше — легендарная чешская правительница, отличавшаяся мудростью и наделенная даром предвидения, выбрала себе в

мужья простого пахаря Пржемысла из Стадиц, который стал родоначальником династии Пржемысловичей. Сказание о Либуше приводится в «Чешской хронике» летописца XI — XII вв. Козьмы Пражского.

…уму Яна и Иеронима…

Справка:

Рейсдаль Якоб (1628 или 1629 — 1682) — голландский живописец, выдающийся мастер пейзажа.

Справка:

Тетрада — у пифагорейцев число 4 считалось священным, Справка:

Дельфийский оракул — оракул при храме Аполлона в Дельфах. Ответы оракула изрекались прорицательницей Пифией.

Справка:

Имя этого философа — Лейбниц. — Жорж Санд и ее учитель Пьер Леру высоко ценили учение Лейбница, им был близок лейбницевский принцип непрерывности, согласно которому «все во вселенной находится в такой связи, что настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее».

Справка:

… спутники Одиссея… — Имеется в виду эпизод из «Одиссеи», в котором волшебница Цирцея превращает спутников Одиссея в свиней. Произ-

ведения Гермеса.

Справка:

Кампанелла Томмазо (1568 — 1639) — итальянский мыслитель, представитель утопического социализма. Был обвинен в заговоре, подвергнут пыткам и приговорен к пожизненному заключению. В тюрьме им была написана книга «Город Солнца», в которой изображено общество будущего.

Справка:

… муж из Апокалипсиса… — В последней части Нового завета, книге «Откровение святого Иоанна Богослова» (Апокалипсисе), описывается явление Христа, озаренного светом семи золотых светильников. Справка:

Homo sum… — цитата из комедии Теренция «Самоистязатель».

Справка:

«Дух божий дышит, где хочет». — Цитата из Евангелия от Иоанна.

Справка:

«Veni, Creator Splritus» — начало католического гимна, исполняемого в троицын день.

Справка:

«Восстань и осветись…» — цитата из библейской книги Исайи.

«Слава в вышних богу...» — цитата из Евангелия от Луки.